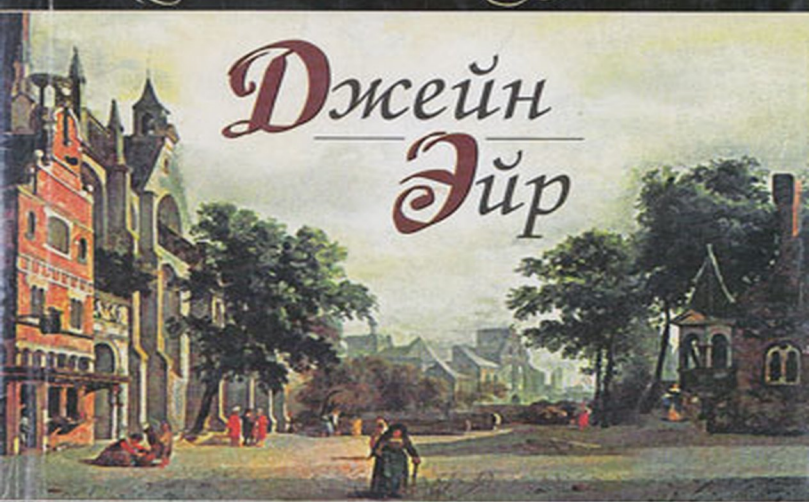


Шарлотта Бронте

Джейн Эйр



Джейн Эйр
Шарлотта Бронте

Аннотация
Шарлотта Бронте. Джейн Эйр
Предисловие автора
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19

Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30
Глава 31
Глава 32
Глава 33
Глава 34
Глава 35
Глава 36
Глава 37
Глава 38. Заключение

Аннотация

Это – одна из самых знаменитых книг всех времен и народов.

Книга, на которой выросли поколения и поколения читательниц.

Книга, которая не стареет и не теряет своего обаяния.

Книга, которая экранизировалась бессчетное количество раз, однако даже удачные экранизации не в силах были передать всю ее прелесть и всю силу ее воздействия на женское сердце.

Это «Джейн Эйр» – один из немногих любовных романов, вошедших в золотой фонд мировой литературы.

Шарлотта Бронте
Джейн Эйр

У. Теккерею, эсквайру,
с глубочайшим уважением
посвящает автор эту книгу

Предисловие автора

В предисловии к первому изданию «Джейн Эйр» нужды не было, и мне не пришлось его писать. Но это, второе, издание требует нескольких вступительных слов благодарности и кое-каких пояснений.

Благодарность мне до́лжно принести:

Во-первых, Публике — за снисходительность, с какой она склонила слух к незатейливой повести, ничем особо не блистающей;

Во-вторых, Печати — за благожелательную и беспристрастную поддержку, дарованную безвестному неофиту;

В-третьих, моим Издателям — за помощь, какую их тактичность, их энергия, их практический опыт и доброжелательность оказали неведомому и никем не рекомендованному Автору.

Печать и Публика для меня лишь неопределенные обобщения, и поблагодарить их я могу только в общих словах, однако моих Издателей я знаю и знаю тех благожелательных критиков, которые ободрили меня, как способны благородные и великодушные люди ободрить робкого

новичка. И вот им — то есть моим Издателям и этим Критикам — я говорю от всей души: «Господа, сердечно вас благодарю!»

Признав таким образом свой долг тем, кто способствовал выходу моей книги в свет и одобрил ее, я обращусь к другим, чье число, насколько мне известно, невелико, но тем не менее не может быть оставлено без внимания, — к немногим боязливым или сварливо-придирчивым хулителям, кому направление таких книг, как «Джейн Эйр», представляется сомнительным, в чьих глазах все необычное уже дурно, чей слух в любом обличении лицемерия — этого отца преступлений — различает оскорбление благочестию, сему наместнику Бога в земной юдоли. Таким недоверчивым судьям я хочу указать на некоторые неопровержимые различия, хочу напомнить им несколько простых истин.

Светские условности еще не нравственность. Ханжество еще не религия. Обличать ханжество еще не значит нападать на религию. Сорвать маску с лица Фарисея еще не значит поднять руку на Терновый Венец.

Все эти вещи и дела диаметрально противоположны, они столь же различны, как порок и добродетель. Люди слишком уж часто путают

их, а путать их нельзя. Нельзя принимать внешность за суть. Нельзя допускать, чтобы узкие человеческие доктрины, служащие вознесению и восхвалению немногих, подменяли учение Христа, искупившее весь мир. Между ними, повторяю, есть различие, и четко обозначить широкую границу, их разделяющую, — поступок благой, а не дурной.

Свету может не нравиться разделение этих идей, поскольку он привык сливать их воедино и находит удобным выдавать внешнюю благопристойность за истинную добродетель — принимать побелку стен за чистоту святилища. Он может ненавидеть того, кто дерзает проверять и обличать, соскабливать позолоту и обнажать низкий металл под ней, вскрывать гроб повапленный и обнажать всем взорам прах внутри — но и ненавидя, он в долгу у такого смельчака.

Ахав не любил Михея, ибо тот не пророчествовал о нем доброго, а только худое. Возможно, угодливый сын Хенааны был ему много приятнее, однако Ахав мог бы избежать кровавой гибели, если бы отвратил слух свой от лести и открыл бы его правдивому совету.

Среди нас живет человек, чьи слова не предназначены для того, чтобы приятно щекотать

нежные уши. Он, мне кажется, предстает перед великими мира сего, как некогда сын Иемлая предстал перед царем Израильским и царем Иудейским, сидевшими каждый на седалище своем, и провозглашает истину, столь же глубокую, с силой столь же пророческой и победной, с тем же бесстрашием и дерзновением. Вызывает ли сатирик «Ярмарки тщеславия» восхищение в высших сферах? Не знаю. Но полагаю, если бы некоторые из тех, на кого он обрушивает греческий огонь своих сарказмов, над чьими головами мечет свои перуны, вняли, пока не поздно, его предостережениям, то сами они или семя их могли бы еще избежать Рамофа Галаадского, этой роковой битвы.

Почему я называю этого человека? Я называю его, ибо вижу, что ум его гораздо более глубок и уникален, чем сознают современники; ибо почитаю в нем первого борца за очищение общества наших дней, главного мастера среди тех тружеников, кто стремится восстановить во всей чистоте извращенный порядок вещей; ибо считаю, что ни один критик его творений еще не нашел подобающего ему сравнения или слов, верно определяющих его талант. Говорят, что он подобен Филдингу, указывают на его остроумие, юмор, умение рассмешить. На Филдинга он похож, как орел — на стервятника: Филдинг снисходит до падали, но Теккерей — никогда. Остроумие его блистательно, юмор обаятелен, однако к серьезному его гению они имеют то же отношение, что летние зарницы — к смертоносной электрической вспышке, укрытой в глубинах грозовой тучи. И наконец, я называю мастера Теккерея потому, что ему — если он примет такую дань уважения от неизвестного лица — я посвящаю это второе издание «Джейн Эйр».

21 декабря 1847 года.

Каррер Белл

Глава 1

Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду (миссис Рид, если не было гостей, обедала рано) ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло.

А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимала тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания, насколько я физически слабее, чем Элиза, Джон и Джорджиана Риды.

Теперь указанные Элиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке: она полулежала на кушетке у камина и, окруженная своими ангельчиками (в эту минуту они не ссорились и не плакали), выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что сожалеет о необходимости держать меня

поодаль, но, пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной — ну, словом, более естественной, — она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей, всем довольных и счастливых.

— А что Бесси наговорила, будто я сделала?

— Джейн, я не терплю хныканья и дерзких вопросов, к тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Поди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой.

К гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гардину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон.

Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачные стекла служили мне защитой

от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид — вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи долгие порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов.

Я вернулась к моей книге — «Истории британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, «пустынным скалистым островкам и обрывистым мысам», приюту лишь их одних, — побережью Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Линнеснеса на юге и до Нордкапа на самом севере,

Где Северный вскипает Океан
Вокруг нагих унылых островов
Далекой Туле; где на грозные Гебриды
Гнев рушат атлантические волны.[1]

---

[1] Примечания: 1
Здесь и далее перевод стихов И. Гуровой.

Не могли не привлечь моего внимания и описания суровых, мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии — все эти «необъятные протяжения Арктической зоны, эти неисследованные области, гнетуще безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой, и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов». У меня сложился собственный образ этих мертвенно-белых царств: смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах введения связывались с иллюстрациями книги и придавали особое значение одинокой скале среди валов, взметающих фонтаны брызг, разбитой лодке на пустынном берегу, холодной жуткой луне, поглядывающей сквозь разрывы туч на тонущий корабль.

Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища, надгробной плиты с чьим-то именем, калитки, двух деревьев, заслоняющей даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца — ука-

зания на наступление ночи.

Два судна, скованные штилем на зеркальной глади дремлющего океана, я сочла морскими призраками.

Страницу, на которой дьявол крепко держал вора за его суму, я тут же перевернула, холодея от ужаса.

Как и другую, где на вершине скалы сидел кто-то черный и рогатый, глядя на толпу вдалеке, окружающую виселицу.

Каждая картинка содержала какую-то историю, часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств и все же необычайно интересную — не меньше рассказов Бесси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для утюжки у камелька в детской. Разрешив нам усесться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платьях миссис Рид, плоила ее ночные чепцы и потчевала нас перипетиями любви и приключений, заимствованными из старинных сказок и еще более старинных баллад, а то и (как я поняла позднее) из «Памелы» или «Повести о Генри, графе Морленде».

С Бьюиком на коленях я была счастлива, то есть счастлива на свой лад. И боялась только одного:

что мне помешают, как и произошло слишком скоро. Дверь отворилась.

— Ба! Госпожа Нюня! — раздался голос Джона Рида и тотчас умолк, так как комната оказалась пустой. — Куда, прах ее побери, она подевалась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоан тут нет! Скажите маменьке, что она убежала под дождь, дрянь этакая!

«Хорошо, что я задернула гардину», — подумала я, лихорадочно надеясь, что он не обнаружит мой тайник. И Джон Рид меня не нашел бы — он был туп и ненаблюдателен, но Элиза только заглянула в дверь и сразу сказала:

— Она за гардиной, Джек, где ей еще быть?

И я сразу вышла в комнату, дрожа при одной мысли, что упомянутый Джек вытащит меня оттуда насильно.

— Чего вам? — спросила я с неловкой робостью.

— Ну-ка скажи: «Что вам угодно, мастер Рид?» — последовал ответ. — А угодно мне, чтобы ты подошла сюда!

Он плюхнулся в кресло и жестом приказал, чтобы я встала перед ним. Джон Рид был четырнадцатилетним школьником (на четыре года старше меня, так как мне было тогда всего де-

сять), крупным и плотным для своего возраста, с землистой нездоровой кожей, грубыми чертами широкого лица, толстыми руками и большими ступнями. За столом он обжирался, и из-за постоянного несварения желудка глаза у него были мутными и тусклыми, а щеки дряблыми. Собственно, ему полагалось бы сейчас быть в школе, но его маменька забрала его домой на месяц-два «по причине деликатного здоровья». Мистер Майлс, директор школы, объяснил, что Джон был бы совсем здоров, если бы ему из дома присылали поменьше бисквитов и сластей, однако материнское сердце не приняло столь сурового суждения, склоняясь к более возвышенному убеждению, что дурной цвет лица Джона свидетельствует о чрезмерном прилежании, а возможно, и о том, что мальчик тоскует по дому.

Джон питал очень мало любви к матери и сестрам, а ко мне — живейшую антипатию. Он издевался надо мной и бил меня — и не два-три раза в неделю, не раз-другой на дню, но непрерывно: каждый мой нерв изнывал от страха перед ним, и все мое существо сжималось при его приближении. Бывали минуты, когда я совсем терялась от ужаса, который он мне внушал. Ведь у меня не было никакой защиты ни от его угроз, ни от

перехода от слов к делу. Слуги не хотели идти наперекор молодому хозяину, вступившись за меня, а миссис Рид оставалась слепа и глуха: она не видела, как он меня бьет, не слышала, как он осыпает меня бранью, даже если он расправлялся со мной, не стесняясь ее присутствия. Правда, чаще это происходило у нее за спиной.

Привычно подчиняясь Джону, я подошла к его креслу. Примерно три минуты он потратил на то, что показывал мне язык, высовывая его настолько, насколько было возможно, не повредив корня. Я знала, что потом он меня ударит, и хотя очень боялась удара, думала о том, как отвратителен и уродлив тот, кто сейчас его нанесет. Возможно, он прочитал эти мысли по моему лицу, потому что внезапно без единого слова ударил меня так сильно, что я зашаталась, однако удержалась на ногах и попятилась.

— Это тебе за то, что ты дерзко отвечала маменьке в гостиной, — сказал он, — и за то, что ты подло пряталась за занавеской, и за то, как ты на меня смотрела две минуты назад, слышишь, крыса!

Я давно привыкла к грубостям Джона Рида, и мне в голову не приходило возражать ему. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который

неизбежно должен был последовать за бранью.

— Что ты делала за занавеской? — спросил он.

— Читала.

— Покажи книгу.

Я вернулась к окну и принесла ее.

— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты приживалка; у тебя нет денег, твой отец тебе ничего не оставил; тебе бы надо милостыню клянчить, а не жить здесь с детьми джентльмена, есть то же, что едим мы, и носить одежду, за которую платит маменька. Ну, я проучу тебя, как рыться на моих книжных полках! Они ведь мои, весь дом мой — или станет моим через несколько лет. Иди встань у двери, подальше от зеркала и окон.

Я послушалась, не сообразив сначала, что он задумал. Но когда увидела, как он поднял книгу, прицелился и вскочил, чтобы швырнуть ее, я инстинктивно с испуганным криком кинулась в сторону. Но опоздала. Том уже был брошен, обрушился на меня, сбил с ног, и я стукнулась головой о косяк. Из ссадины потекла кровь. Боль была настолько сильной, что мой ужас внезапно прошел, сменившись другими чувствами.

— Гадкий, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами,

ты как римские императоры!

Я читала «Историю Рима» Голдсмита и имела свое суждение о Нероне, Калигуле и прочих. И про себя проводила параллели, хотя вовсе не собиралась вот так выложить их вслух.

— Как! Как! — завопил он. — Она сказала мне такое? Вы ее слышали, Элиза и Джорджиана? Ну, я скажу маменьке, но спервa…

Он ринулся на меня. Я почувствовала, как он ухватил меня за волосы и за плечо… но он напал на существо, доведенное до отчаяния. Я правда видела в нем тирана, убийцу. Я чувствовала, как у меня по шее сползают капли крови, испытывала острую боль, и все это на время возобладало над страхом. Я сопротивлялась как безумная. Не знаю, что делали мои руки, только он охнул: «Крыса! Крыса!» и завопил во всю мочь. Но ему недолго пришлось ждать спасения. Элиза с Джорджианой уже сбегали за миссис Рид, которая поднялась в свой будуар, и теперь она явилась на поле боя в сопровождении Бесси и Эббот, своей камеристки. Нас растащили. Я услышала слова:

— Подумать только! Набросилась на мастера Джона, как помешанная!

— Просто невообразимо, до чего она разъярилась!

А затем миссис Рид приказала:

— Уведите ее в Красную комнату и заприте там!

В меня тотчас вцепились две пары рук и понесли наверх.

Глава 2

Я сопротивлялась до самого конца. Нечто новое для меня и заметно укрепившее дурное мнение обо мне и Бесси, и мисс Эббот. Я и правда была не в себе или, вернее, вне себя, как говорят французы. Понимая, что секундный бунт уже обрек меня на неведомые кары, я, подобно всем восставшим рабам, в порыве отчаяния была исполнена решимости идти до конца.

— Держите ее руки, мисс Эббот, она хуже бешеной кошки!

— Стыдно! Стыдно! — вскричала камеристка. — Какое мерзкое поведение, мисс Эйр, — ударить молодого джентльмена, сына вашей благодетельницы! Вашего молодого хозяина!

— Хозяина? Как так — хозяина? Разве я служанка?

— Нет, вы ниже, чем последняя судомойка, ведь вы едите свой хлеб даром. Ну-ка сядьте и хорошенько подумайте о своем дурном сердце.

К этому времени они уже водворили меня в комнату, указанную миссис Рид, и насильно усадили на что-то мягкое. Я было вскочила как

ужаленная, но они вновь схватили меня и удержали на месте.

— Раз не хотите сидеть смирно, придется вас связать. Мисс Эббот, одолжите мне ваши подвязки, мои она сразу разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с пухлой ноги требуемые узы. Эти приготовления и новое унижение, каким они завершились бы, немного меня усмирили.

— Не снимайте их! — вырвался у меня крик. — Я не встану.

И в подтверждение я обеими руками вцепилась в мягкое сиденье.

— Ну, смотри! — сказала Бесси, а когда убедилась, что я и правда присмирела, то отпустила меня, и они с мисс Эббот стояли надо мной, скрестив руки на груди, подозрительно и хмуро вглядываясь в мое лицо, словно сомневаясь, в здравом ли я уме.

— Прежде она такого не вытворяла, — наконец сказала Бесси, повернувшись к камеристке.

— Только оно всегда в ней сидело, — ответила та. — Я хозяйке часто говаривала, какова, по-моему, эта девочка, и хозяйка, она со мной соглашалась. В тихом омуте черти водятся. В жизни не видела, чтоб маленькая девочка была

такой скрытной.

Бесси ничего не ответила, но затем сказала мне:

— Вам бы след помнить, мисс, что вы миссис Рид всем обязаны — она вас содержит. А если прогонит вас, так вам одна дорога — в работный дом.

Мне нечего было ответить на эти слова. Слышала я их не в первый раз. Самые первые мои воспоминания включали вот такие намеки. Попреки в моей обездоленности превратились в моих ушах в какой-то неясный напев — очень мучительный и унизительный, но понятный лишь наполовину. Мисс Эббот не замедлила подхватить:

— И вам не след считать себя ровней молодым барышням и мастеру Риду потому только, что хозяйка по доброте своей позволила, чтоб вы воспитывались вместе с ними. Они-то получат большие деньги, а вы — ничего, так вам надо набраться смирения, стараться угождать им.

— Мы ж вам это все говорим для вашей же пользы, — добавила Бесси совсем не злым голосом. — Уж постарайтесь быть полезной, приветливой, так, может, и останетесь жить тут. А если начнете злиться и грубить, хозяйка вас отошлет, это уж

как пить дать.

— А кроме того, — подхватила мисс Эббот, — ее Боженька покарает: поразит смертью, когда она будет беситься, и куда ей тогда прямая дорога? Пойдем, Бесси, оставим ее. Вот уж не хотела бы, чтоб мое сердце было бы таким черным, как у нее. А вы, мисс Эйр, когда останетесь одни, помолитесь хорошенько. Не то, если не покаетесь, как бы нечистая сила не забралась бы в трубу да и не утащила бы вас.

Они ушли, закрыв за собой дверь и заперев ее.

Красная комната была запасной спальней, которой пользовались очень редко, вернее сказать — никогда, кроме тех случаев, когда в Гейтсхед-Холл съезжалось столько гостей, что ни единой другой свободной комнаты не оставалось. И это притом что Красная комната была одной из самых больших и роскошных в доме. В центре, точно алтарь, возвышалась кровать красного дерева с массивными столбиками, поддерживавшими полог из багряного дамаска. Два больших окна с никогда не открывавшимися ставнями были наполовину занавешены гардинами из той же ткани, ниспадавшими фестонами и волнистыми складками. Ковер был красным. Стол в ногах кровати был накрыт малиновой скатертью.

Цвет стен был золотисто-коричневатым с розовым оттенком; комод, туалетный столик, стулья — все были старинного темно-красного дерева, тщательно отполированного. Среди общей этой темно-красности резала взгляд снежная белизна пикейного покрывала, прятавшего взбитые пуховики и подушки. Почти столь же слепяще белым выглядело глубокое покойное кресло у изголовья со скамеечкой для ног. Мне оно показалось мертвенно-белесым троном.

В комнате царил холод, так как в ней редко топили камин; там стояла мертвая тишина, так как она находилась далеко от кухни и детской, и она казалась мрачной, так как туда редко кто-нибудь входил. Только горничные по субботам стирали с зеркал и мебели пыль, тихо осевшую на них за неделю; да изредка ее посещала сама миссис Рид, чтобы проверить содержимое потайного ящика комода, где хранились разные документы, шкатулка с ее драгоценностями и миниатюра ее покойного мужа. Эти последние слова заключают в себе тайну Красной комнаты, то заклятие, из-за которого она пустовала, несмотря на все свое великолепие.

Мистер Рид девять лет покоился в могиле, и свой последний вздох он испустил на этой кро-

вати. Здесь он лежал в гробу, отсюда подручные гробовщика отнесли его на кладбище, и с того дня что-то вроде священного страха оберегало Красную комнату от частых вторжений.

Сиденье, к которому Бесси и злобная мисс Эббот пригвоздили меня, оказалось низенькой оттоманкой возле мраморного камина. Прямо передо мной вздымалась кровать, справа высился темный комод — отражения в его полированной стенке казались неясным узором, слева находились занавешенные окна, и высокое зеркало между ними повторяло тоскливое величие кровати и комнаты. Я не знала точно, заперли ли они дверь, и, когда набралась смелости встать, пошла проверить, так ли это. Но увы! Никакая темница не запиралась столь надежно. Возвращаясь к оттоманке, я должна была пройти мимо зеркала, и мой завороженный взгляд невольно измерил его глубины. Все в этой воображаемой нише выглядело более холодным, более темным, чем в натуре. И смотревшая на меня оттуда одинокая фигурка, чьи побелевшие лицо и руки выделялись в сумраке, а блестящие от страха глаза были единственным, что двигалось среди общей неподвижности, более всего походила на привидение. Мне она напомнила тех маленьких

духов, наполовину фей, наполовину бесенят, которые в рассказах Бесси населяли заросшие папоротником болотца среди вересковых пустошей и внезапно появлялись перед запоздалыми путниками. Я вернулась на оттоманку.

За эти минуты во мне пробудилось суеверие, но час его полной победы еще не настал: моя кровь еще оставалась теплой, во мне еще не угасло горькое воодушевление взбунтовавшегося раба. И прежде чем темное настоящее удручило меня, я надолго оказалась во власти быстрого потока воспоминаний и мыслей.

Все тиранические издевательства Джона Рида, спесивое безразличие его сестер, отвращение их матери, угодливое презрение прислуги — все это всколыхнулось в моем возмущенном сознании точно ил, взбаламученный в воде колодца. Почему я все время обречена страданиям, всегда подвергаюсь унижениям, всегда оказываюсь виноватой, всегда бываю наказана? Почему мной всегда недовольны? Почему бесполезны любые попытки кому-то понравиться? Элизу, упрямую и себялюбивую, уважают. Джорджиану, капризную, очень злопамятную, мелочно придирчивую, дерзкую, все балуют, во всем ей потакают. Ее красота, ее розовые щечки и золотые локончики

словно бы чаруют всех, кто ни посмотрит на нее, заранее искупая любые провинности. Джону ни в чем не препятствуют, и уж тем более его ни за что не наказывают, хотя он сворачивает шеи голубям, убивает цыплят цесарки, натравливает собак на овец, обрывает все плоды в оранжерее, обламывает все бутоны на редких растениях. Он называет мать старушенцией, иногда ругает за смуглую кожу, такую же, как у него, грубо перечит ей, не так уж редко рвет и портит ее шелковые платья, и все равно он — ее «милый сыночек». Я боюсь хоть в чем-нибудь провиниться, я стараюсь добросовестно исполнять все свои обязанности, а меня называют непослушной и дерзкой, злюкой и хитрой тихоней с утра до полудня и от полудня до ночи.

Голова у меня все болела от полученного удара, от ушиба о дверной косяк, а из ссадины все еще сочилась кровь, но никто не побранил Джона за то, что он без всякой причины набросился на меня, а я, потому лишь, что воспротивилась ему, пытаясь избежать новых беспричинных побоев, стала предметом всеобщего осуждения.

«Несправедливо! Несправедливо!» — твердил мой рассудок, обретший взрослую, хотя и временную остроту от боли и обиды. И они же породили

решимость прибегнуть к любому средству, только бы спастись от невыносимой тирании, — например, убежать, а если не удастся, больше не есть и не пить, пока не умру.

Какие душевные муки терзали меня в эти последние часы унылого дня! В каком смятении пребывал мой мозг, как бунтовало мое сердце! Но в каком мраке необъяснимости велся этот мысленный бой! Я не находила ответа на неумолчный внутренний вопрос — почему, за что я так страдаю? Теперь с расстояния… не скажу скольких лет, я нахожу его без всякого труда.

Я вносила дисгармонию в Гейтсхед-Холл. Я же была иной, чем все остальные там: у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными вассалами. Они меня не любили, так ведь и я их не любила. С какой стати должно было внушать им добрые чувства существо, взаимно не симпатичное каждому из них, существо, совершенно им чужое, полная их противоположность по характеру, по способностям, по склонностям; никчемное существо, которое не могло стать ни полезным им, ни еще одним источником радостей; ядовитое существо, взращивающее семена возмущения их обхождением, презрения к их мнениям. Я знаю, что, будь я

задорной, веселой, беззаботной, требовательной и красивой резвушкой, пусть и столь же обездоленной и зависимой от нее, миссис Рид терпела бы мое присутствие более спокойно, ее дети скорее были бы склонны видеть во мне подружку, а слуги не старались бы сваливать на меня вину за все, что могло приключиться в детской.

Дневной свет мало-помалу прощался с Красной комнатой; время шло к половине пятого, и пасмурный день переходил в гнетущие сумерки. Я слышала, как дождь все еще неумолчно стучит в окно лестницы, как воет ветер в рощице позади дома. Мне становилось все холоднее и холоднее, и тут смелость покинула меня. Привычное состояние униженности, сомнения в себе, тоскливой подавленности подернуло сыростью угли моего угасающего гнева. Все называли меня скверной девочкой, так, может быть, я и вправду такая? Разве я минуту назад не думала о том, как уморить себя голодом? Это, бесспорно, грешная мысль, а достойна ли я смерти? И такой ли желанный приют склеп под приделом гейтсхедской церкви? В этом склепе, как мне говорили, погребен мистер Рид. И тут мои мысли обратились к нему, наводя на меня все больший страх. Я его не помнила, но знала, что он был моим родным дядей — братом

моей матери, что он взял меня, осиротевшую на первом году жизни, в свой дом и что на смертном одре он потребовал от миссис Рид обещания, что она будет содержать и воспитывать меня, как собственную дочь. Вероятно, миссис Рид считала, что ни в чем не отступила от своего обещания, да так, полагаю, оно и было в той мере, в какой ей позволяла ее натура. Но как могла она питать добрые чувства к завещанной ей воспитаннице, не связанной с ней кровными узами, а после смерти ее мужа так вообще никакими? Несомненно, ее крайне тяготила необходимость из-за вырванного у нее слова заменять мать чужому ребенку, которого она не могла любить, и терпеть постоянное присутствие неприятной чужачки в своем семейном кружке.

Меня осенила странная мысль. Я не сомневалась — никогда не сомневалась, — что мистер Рид, будь он жив, обходился бы со мной заботливо и ласково. И вот теперь, глядя на белую кровать и тонущие в сумраке стены, а порой и обращая завороженный взгляд на смутно поблескивающее зеркало, я начала припоминать все истории, какие слышала о мертвецах, которые не находят покоя в могилах потому, что их последняя воля не была исполнена, и возвращаются в

мир живых, дабы покарать нарушивших клятву и отомстить за обиженных. И мне пришло в голову, что дух мистера Рида, разгневанный несправедливостями, которые терпит дочь его сестры, может покинуть то ли церковный склеп, то ли неведомый мир, где пребывают усопшие, и явиться мне в этой комнате. Я утерла слезы и подавила рыдания, боясь, как бы на свидетельства бурного горя не отозвался потусторонний голос, дабы утешить меня, или из темноты не возникло бы лицо, окруженное ореолом, и не склонилось бы надо мной с неземной жалостью. Хотя в теории эта мысль казалась утешительной, я почувствовала, что осуществление ее на деле было бы ужасным, и изо всех сил постаралась прогнать ее, постаралась быть твердой. Стряхнув волосы с глаз, я откинула голову и попыталась обвести темную комнату смелым взглядом — и в этот миг на стену лег светлый блик. Может быть, спросила я себя, лунный луч проник в щелку между ставнями? Нет, лунный свет неподвижен, а этот двигался: на моих глазах он скользнул к потолку и затрепетал у меня над головой. Теперь я не сомневаюсь, что, вероятнее всего, кто-то шел через лужайку с фонарем, луч которого скользил по ставням, но тогда я с трепетом ожидала

неведомых ужасов, мои нервы были возбуждены до крайности, и быстро скользящий блик представился мне предвестником потустороннего видения. Сердце у меня заколотилось, мои уши заполнил звук, показавшийся мне шелестом крыльев, я ощутила чье-то присутствие… Меня что-то давило, душило, и, утратив всякую власть над собой, я бросилась к двери и стала отчаянно дергать ручку. В коридоре послышались бегущие шаги, ключ повернулся в замке, и вошли Бесси с Эббот.

— Мисс Эйр, вам нехорошо? — спросила Бесси.

— Какой жуткий шум! Меня всю будто жаром обдало! — воскликнула Эббот.

— Выпустите меня! Можно, я вернусь в детскую? — кричала я.

— Зачем? Вы поранились? Вам что-нибудь привиделось? — расспрашивала меня Бесси.

— Ой! Я видела свет и подумала, что увижу привидение! — Я уцепилась за руку Бесси, и она ее не отняла.

— Она нарочно завопила, — заявила Эббот со злостью. — Оглохнуть можно было. Ну, заболи у нее что-то, так еще понятно было бы, но она же только одного хотела: чтобы мы все сюда прибежали. Знаю я подлые ее хитрости!

— В чем дело? — властно спросил еще один голос: по коридору шла миссис Рид. Ленты ее чепца развевались, платье воинственно шуршало. — Эббот и Бесси! Мне кажется, я распорядилась, чтобы Джейн Эйр оставили в Красной комнате, пока я сама за ней не приду.

— Мисс Джейн так громко кричала, сударыня, — сказала Бесси умоляюще.

— Не поддерживайте ее! — был единственный ответ. — Отпусти руку Бесси, девочка! Не сомневайся, таким способом ты ничего не добьешься. Я не терплю притворства, особенно в детях. Мой долг — показать тебе, что от лживых уловок пользы не бывает. Теперь ты пробудешь тут на час дольше, но и тогда я тебя выпущу, только если ты смиришься и будешь вести себя очень тихо.

— Тетя, сжальтесь! Простите меня! Я не вынесу… накажите меня как-нибудь по-другому! Я умру, если…

— Молчать! Эта буйная выходка отвратительна!

Без сомнения, она не кривила душой. В ее глазах я была не по летам умелой притворщицей. Она искренне видела во мне сочетание взбалмошности, скверного нрава и опасной двуличности.

Бесси и Эббот вышли в коридор, и миссис Рид,

еще более раздраженная моим теперь исступленным отчаянием и судорожными рыданиями, втолкнула меня внутрь без дальних слов и заперла дверь. Я услышала, как она удаляется, гневно шурша юбками, и тут, видимо, я потеряла сознание, и все подернулось темнотой.

Глава 3

Следующее мое воспоминание: я просыпаюсь будто от страшного кошмара и вижу жуткое багровое сияние, пересеченное черными полосками. И я слышу голоса, странно глухие, будто доносящиеся сквозь шум ветра или воды. Волнение, растерянность и властвующий надо всем ужас мутили мое сознание. Вскоре я почувствовала чьи-то руки: кто-то приподнял меня и усадил, поддерживая за плечи, причем никогда еще меня не приподнимали и не поддерживали с такой ласковой бережностью. Я прислонилась головой не то к подушке, не то к чьей-то руке, и мне стало легче.

Через пять минут туман, окутывавший мой мозг, рассеялся. И я поняла, что нахожусь в собственной кровати, а багровое сияние исходит от огня в камельке детской. Была ночь. На столе горела свеча. В ногах кровати стояла Бесси с тазиком в руке, а в кресле возле моего изголовья сидел незнакомый джентльмен и низко наклонялся надо мной.

Я испытала неизъяснимое облегчение: бли-

зость постороннего человека, не обитателя Гейтсхеда, не родственника миссис Рид, успокаивала, обещала защиту. Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было для меня куда менее тягостным, чем, например, Эббот), я вгляделась в его лицо и узнала мистера Ллойда, аптекаря, которого миссис Рид иногда звала к заболевшим слугам. Себя и своих детей она поручала заботам врача.

— Ну-с, кто я? — спросил он.

Я назвала его фамилию и протянула ему руку. Он взял ее с улыбкой, говоря:

— Скоро мы будем чувствовать себя совсем хорошо!

Затем мистер Ллойд осторожно положил меня и, обратившись к Бесси, велел ей последить, чтобы ночью меня не тревожили. Он отдал еще несколько распоряжений, упомянул, что заглянет на следующий день, и удалился — к большому моему огорчению. Мне было так уютно, так спокойно, пока он сидел у моего изголовья. И когда он притворил за собой дверь, в комнате словно стало темнее, и сердце у меня вновь упало, удрученное невыразимой тоской.

— Мисс, а вы уснете, как вам кажется? — спросила Бесси мягко.

Я ответила ей лишь с большим трудом, ожидая услышать злой упрек:

— Постараюсь.

— Дать вам попить? А может, скушаете чего-нибудь?

— Нет, спасибо, Бесси.

— Так я, пожалуй, лягу. Ведь время уже за полночь. Но если вам что понадобится ночью, так вы меня позовите.

Какая удивительная заботливость! Осмелев, я спросила:

— Бесси, а что со мной такое? Я заболела?

— Думается, в Красной комнате вам стало нехорошо, так вы сильно плакали. А теперь вам, надо быть, скоро полегчает.

Бесси пошла в комнату горничной рядом с детской. Я услышала, как она сказала:

— Сара, ляг со мной в детской. Я страх боюсь остаться одна с бедной девочкой. Она ж и умереть может! И что с ней такое приключилось? Может, ей что привиделось? Хозяйка была слишком уж строга.

Она вернулась с Сарой, и они легли спать. Но перед тем, как заснуть, шептались добрых полчаса. До меня доносились обрывки их разговора, и я более чем ясно понимала, какую тему они

обсуждают.

«Что-то прошло совсем рядом с ней, белое такое, и исчезло…» «А следом за ним — большой черный пес…» «Три громких удара по двери…» «Свет на кладбище прямо над его могилой…» И так далее, и так далее.

Наконец обе уснули, свеча и огонь погасли. Для меня часы этой ночи тянулись в жутком бдении. Уши, глаза, ум были равно во власти ужаса — того ужаса, какой способны испытывать только дети.

Случившееся в Красной комнате не завершилось тяжким или длительным телесным недугом: оно всего лишь вызвало у меня такое нервное потрясение, что его отголоски я испытываю по сей день. Да, миссис Рид, вам я обязана тягчайшими душевными страданиями. Но мне следует простить вас, ибо вы не ведали, что творили: надрывая струны моего сердца, вы считали, что искореняете мои скверные наклонности, не более того.

На следующий день к полудню я встала, оделась и укутанная в шаль сидела у камелька в детской. Физически я чувствовала себя очень слабой и разбитой, но куда хуже была моя душевная подавленность — подавленность, заставлявшая меня все время тихо плакать. Не успевала я стереть

со щеки одну соленую каплю, как тотчас по ней скользила другая. А ведь, думала я, мне следовало бы чувствовать себя счастливой: никого из младших Ридов дома не было — они уехали кататься в карете с маменькой, Эббот шила в соседней комнате, а Бесси, убиравшая игрушки на место и приводившая в порядок ящики комода, иногда заговаривала со мной с непривычной ласковостью. Казалось бы, мне, привыкшей к постоянным выговорам, к необходимости прислуживать, не получая ни слова благодарности, должно было бы казаться, будто я оказалась в раю тишины и покоя, однако мои истерзанные нервы достигли того состояния, когда тихая безмятежность уже не могла их успокоить и никакое удовольствие не вызвало бы приятного волнения.

Бесси спустилась в кухню и вернулась с пирожным-корзиночкой на фарфоровой тарелке с ярким красивым узором — райские птицы, обрамленные венком из розовых бутонов в сплетении листьев, давно вызывали у меня восторженное восхищение, и я часто просила позволения взять тарелку в руки, чтобы получше их разглядеть, но до сих пор меня считали недостойной такой чести. И вот теперь бесценная тарелка была водворена на мои колени, и меня ласково угова-

ривали съесть хоть кусочек изящной коронки из теста, лежащей на ней. Напрасная поблажка! Подобно большинству поблажек, в которых долго отказывают и о которых пылко мечтают, оказанная, слишком, слишком поздно! Я даже надкусить корзиночку не могла, а оперение птиц и лепестки цветов выглядели странно поблекшими. Я отставила тарелку вместе с корзиночкой. Бесси спросила, не почитаю ли я книжку. Слово «книжка» временно меня подбодрило, и я попросила Бесси принести мне из библиотеки «Путешествия Гулливера». Эту книгу я перечитывала снова и снова с неубывающим восторгом. Мне она казалась рассказом о том, что произошло на самом деле, и вызывала у меня куда более глубокий интерес, чем сказки: ведь после долгих тщетных поисков эльфов среди листьев наперстянки, в венчиках колокольчиков, под шляпками грибов и под плетями плюща на обомшелой ограде я в конце концов смирилась с печальным выводом, что все они переселились из Англии в какую-то дикую страну, где леса по-прежнему дремучи, а людей совсем мало. Тогда как Лилипутия и Бробдингнег, как я твердо верила, действительно существуют где-то на земле. Я не сомневалась, что могу в один прекрасный день после долгого

плавания собственными глазами увидеть маленькие поля, домики и деревья, миниатюрных людей, крохотных коров и птиц первого королевства, а после того — хлебные колосья высотой с корабельные мачты, могучих псов, чудовищных кошек и исполинских жителей второго. Тем не менее теперь, когда любимый том был вложен в мои руки, когда я начала листать его, ища в великолепных иллюстрациях то очарование, которое до сих пор неизменно находила в них, они показались мне жуткими, наводящими тоску и уныние. Великаны выглядели тощими людоедами, карлики — злобными, нагоняющими страх уродцами, а Гулливер — бесконечно одиноким странником в самых страшных и опасных областях мира. Я закрыла книгу, не решившись прочесть хотя бы строчку, и положила ее на тумбочку рядом с корзиночкой, к которой так и не притронулась.

Кончив прибирать комнату и вытирать пыль, Бесси вымыла руки, открыла некий ящичек, полный чудесных шелковых и атласных лоскутков, и занялась изготовлением новой шляпки для куклы Джорджианы, напевая вполголоса. А пела она вот что:

В дни, когда мы кочевали,

Так давно-давно…

Я часто слышала эту песню раньше — и всегда с живейшей радостью, так как голос Бесси был очень мелодичным… по крайней мере таким он казался мне. Но теперь, хотя ее голос ничуть не утратил мелодичности, в звуках песни мне почудилась невыразимая печаль. Иногда, поглощенная своей работой, она на припеве понижала голос почти до шепота, растягивая слова, и «Так давно-давно» обретало скорбную каденцию погребального гимна. Затем она завела вторую балладу, на этот раз по-настоящему грустную:

Устала идти я, и ноженьки ноют.
Как дики здесь горы, как тропы круты,
И сумерки скоро дорогу закроют
От взоров лишенной всего сироты.

Почто же послали меня так далеко,
Туда, где лишь скалы да дрока кусты?
Люди со мной поступают жестоко,
Но ангелы бдят над судьбой сироты.

И ветер мне теплый лицо овевает,
И светят мне звезды с небес высоты,
Господь в милосердье своем утоляет

Печали бредущей во тьме сироты.

Коль в пропасть иль в топь завлекут меня злые
Огни, что блуждают среди темноты,
Отец мой небесный за муки былые
Душу к себе призовет сироты.

Без близких и крова живу я, тоскуя,
Но в сердце не вянут надежды цветы:
На небе мой дом, там его обрету я.
Бог – любящий друг и оплот сироты.

— Да ну же, мисс Джейн, не плачьте, — сказала Бесси, кончив петь. С тем же успехом она могла сказать огню: «Не обжигай!» Но как она могла знать, какие тяжкие муки меня терзали?

Вскоре в детскую вошел мистер Ллойд.

— Как! Уже на ногах! — сказал он, притворяя за собой дверь. — Ну-с, нянюшка, как она?

Бесси ответила, что мне много лучше.

— Тогда ей следует выглядеть повеселее. Подойдите-ка сюда, мисс Джейн. Вас ведь зовут Джейн?

— Да, сэр, Джейн Эйр.

— Ну-с, вы плакали, мисс Джейн Эйр, так не скажете ли мне, из-за чего? У вас что-нибудь болит?

— Нет, сэр.

— А! Плачет небось, что не смогла поехать покататься в карете с хозяйкой, — вмешалась Бесси.

— Да не может быть! Она ведь уже большая и не станет дуться из-за таких пустяков.

Я придерживалась такого же мнения, и столь несправедливое обвинение больно уязвило мое самолюбие. Я поспешила ответить:

— Уж из-за этого я плакать не стала бы, ни за что! Ненавижу кататься в карете! А плакала я, потому что очень несчастна!

— Как не стыдно, мисс!

Добрый аптекарь, казалось, был озадачен. Я стояла перед ним, и он не сводил с меня внимательного взгляда. Глаза у него были небольшие, серые и не светились особым умом, однако, полагаю, теперь я сочла бы их проницательными. Лицо у него было суровое, но прятало доброту. Хорошенько меня разглядев, он наконец спросил:

— Отчего вы вчера заболели?

— Да упала она, — вновь вставила словечко Бесси.

— Упала! Как совсем маленькая? Что же, она ходить не научилась в ее-то возрасте? Ведь ей не меньше восьми, а то и девяти лет.

— Меня сбили с ног! — Вновь уязвленная гордость вырвала у меня эту правду. — Только

заболела я не потому, — добавила я.

Мистер Ллойд взял из табакерки понюшку табака, потом он убрал табакерку в жилетный карман, и тут громкий звон колокольчика позвал прислугу обедать. Этот сигнал ему был известен.

— Идите-ка обедать, нянюшка, — сказал он, — а я до вашего возвращения поучу мисс Джейн уму-разуму.

Бесси предпочла бы остаться, но выбора у нее не было: в Гейтсхед-Холле к столу полагалось являться минута в минуту.

— Но если вы заболели не от ушиба, так от чего же? — продолжал мистер Ллойд.

— Меня заперли в комнате с привидением, а уже совсем стемнело.

Мистер Ллойд улыбнулся и тотчас нахмурился:

— Привидение! Значит, вы все-таки совсем маленькая. Вы боитесь привидений?

— Призрака мистера Рида я боюсь. Он умер в той комнате и лежал там в гробу. Вечером туда никто не заходит — ни Бесси, ни кто-нибудь еще, если их не заставят. И было очень жестоко запереть меня там одну и даже без свечки, так жестоко, что, по-моему, мне этого никогда не забыть.

— Вздор! И поэтому вы расстраиваетесь? Вы боитесь и теперь, при свете дня?

— Нет, но ведь ночь снова настанет. И скоро. А несчастна я, очень несчастна, много еще из-за чего.

— Так из-за чего же? Можете вы назвать мне другие причины?

Как мне хотелось ответить на этот вопрос со всей полнотой! И как трудно оказалось найти хоть какой-то ответ! Дети способны чувствовать, но они не умеют анализировать свои чувства; а если немного разберутся в них, так не умеют выразить это в словах. Однако в страхе лишиться этого первого и единственного случая облегчить свое горе, поделившись им, я после минуты растерянного молчания кое-как умудрилась ответить, хоть и не подробно, но вполне правдиво:

— Ну, у меня ведь нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер.

— Зато у вас есть добрая тетушка и ваши кузины и кузен.

Вновь я помолчала, а затем выпалила:

— Но Джон Рид сшиб меня с ног, а тетя заперла в Красной комнате.

Мистер Ллойд вторично достал табакерку.

— Неужели вы не думаете, что Гейтсхед-Холл очень красивый? — спросил он. — Неужели не благодарны за то, что живете в таком прекрас-

ном доме?

— Это ведь не мой дом, сэр, а Эббот говорит, что у меня меньше права жить в нем, чем у судомойки.

— Пф! Вы ведь не глупенькая и не захотите расстаться с таким чудесным местом!

— Будь мне куда уехать, так я была бы рада расстаться с ним, но мне придется жить в Гейтсхед-Холле, пока я не вырасту.

— Может быть, и не придется, кто знает? Есть у вас родственники, кроме миссис Рид?

— Думаю, нет, сэр.

— А по отцу?

— Не знаю. Один раз я спросила тетушку Рид, а она ответила, что, возможно, у меня и есть бедные родственники по фамилии Эйр из самых простых, но ей о них ничего не известно.

— Если бы у тебя были такие родственники, ты бы захотела уехать к ним?

Я задумалась. Бедность отталкивает взрослых, но куда более отталкивающей она кажется детям. Они ничего не знают о почтенной бедности, трудолюбивой и добродетельной. Для них это слово связано только с лохмотьями, скудной едой, холодным очагом, грубыми манерами и грязными гадкими привычками. Для меня бедность была

синонимом унизительной нищеты.

— Нет, мне не хотелось бы жить у бедных людей, — ответила я.

— Даже будь они добры к вам?

Я покачала головой. Как бедняки могут быть добрыми к кому-то? И ведь мне пришлось бы научиться говорить, как они, перенять их манеры, остаться необразованной, а потом стать такой, как те бедные женщины в деревне Гейтсхед, которых я иногда видела у дверей их домишек, когда они нянчили младенцев или стирали, — нет, мне не хватило бы героизма купить свободу ценой потери касты.

— Но разве ваши родственники так уж бедны? Они, наверное, трудятся?

— Не знаю. Тетушка Рид говорит, что если у меня они и есть, так, конечно, одни только нищие. А мне бы не хотелось просить милостыню.

— А в школе вам учиться не хотелось бы?

Я снова задумалась. О школах понятие у меня было самое смутное. По словам Бесси выходило, что это такое место, где юные барышни сидят в колодках, ходят с привязанными к спине досками и обязаны вести себя со строжайшей благовоспитанностью. Джон Рид ненавидел свою школу и всячески поносил своего директора, однако

вкусы Джона Рида не были для меня законом, а если сведения Бесси о школьной дисциплине (почерпнутые из рассказов барышень, в чьем доме она служила до Гейтсхед-Холла) и внушали некоторый ужас, ее описания плодов образования тех же барышень казались мне удивительно заманчивыми. Она хвастала тем, как прекрасно они умеют рисовать пейзажи и цветы, как чудесно поют романсы и играют на фортепьяно. А какие кошелечки они вяжут и еще читают книги по-французски! Я слушала, и во мне пробуждалось желание научиться всему этому. Кроме того, школа подразумевала полную перемену во всем: долгую поездку, полный разрыв с Гейтсхедом, начало совсем новой жизни.

— Да, учиться в школе мне очень хотелось бы!

— Ну-ну, кто знает, что может случиться? — сказал мистер Ллойд, вставая. — Девочка нуждается в перемене воздуха и обстановки, — добавил он сам себе. — Нервы не в очень хорошем состоянии.

Тут вернулась Бесси, а снизу донесся шум подъезжающей кареты.

— Вернулась ваша госпожа, нянюшка? — спросил мистер Ллойд. — Я хотел бы поговорить с ней перед уходом.

Бесси проводила его в малую столовую. Судя по

дальнейшему, я полагаю, что в этом разговоре с миссис Рид аптекарь взял на себя смелость порекомендовать, чтобы меня отдали в пансион, и этот совет был, очевидно, принят весьма охотно. Во всяком случае, когда несколько дней спустя они с Бесси обсуждали эту тему за шитьем в детской, полагая, что я давно уснула, Эббот сказала:

— Хозяйка, сдается мне, только рада избавиться от такой несносной скверной девчонки, которая всегда будто следит за всеми и замышляет пакости.

В глазах Эббот я, видимо, была кем-то вроде Гая Фокса в детском платьице.

Из той же беседы мисс Эббот с Бесси я впервые узнала, что мой отец был бедным священником, что моя мать вышла за него замуж против воли своих родителей, считавших, что он ей неровня, и что мой дед Рид, разгневанный ее непокорностью, не дал за ней ни шиллинга, и что через год после их свадьбы мой отец заразился тифом, навещая бедняков своего прихода в большом фабричном городе, где тогда свирепствовала эта болезнь, а моя мать заразилась от него, и они оба умерли в один месяц.

Бесси, выслушав этот рассказ, вздохнула и сказала:

— Бедную мисс Джейн надо бы жалеть, Эббот!

— Да, — отозвалась Эббот, — будь она хорошей, милой девочкой, как было бы не пожалеть сиротку, да только не такую, не маленькую жабу!

— Верно, верно, — согласилась Бесси. — Уж конечно, красоточку, вроде мисс Джорджианы, было бы на ее месте куда жальче.

— Да уж! Я в мисс Джорджиане души не чаю! — пылко вскричала Эббот. — Вот уж душечка! Локончики длинные, глазки синие, и вся такая розовенькая и беленькая… Бесси, я бы поужинала гренками, поджаренными с сыром.

— И с луком! Пойдем-ка на кухню.

И они ушли.

Глава 4

Мой разговор с мистером Ллойдом и вышеизложенная беседа Эббот и Бесси настолько меня ободрили, что у меня появилось желание выздороветь: перемена была близка — я жаждала и ждала ее в молчании. Однако она все не наступала и не наступала: проходили дни, недели, ко мне вернулось обычное здоровье, но о том, на чем сосредотачивались все мои мысли, больше не было ни слова. Миссис Рид по временам мерила меня суровым взглядом, но редко одаривала хотя бы одной фразой. После моей болезни она еще больше отделила меня от собственных детей: распорядилась, чтобы мою кровать переставили в чуланчик, чтобы я ела в одиночестве и не выходила из детской, пока они проводили время в гостиной. Однако она ни намеком не обмолвилась о том, что собирается отправить меня в школу. Тем не менее я инстинктивно чувствовала, что она не намерена больше терпеть мое присутствие под своим кровом, — ведь теперь ее взгляд, когда был обращен на меня, еще больше, чем раньше, говорил о глубочайшей и неискоре-

нимой антипатии.

Элиза и Джорджиана, несомненно, по указанию маменьки, почти не разговаривали со мной вовсе, а Джон, едва увидев меня, корчил презрительные гримасы и как-то раз вознамерился снова дать волю кулакам, однако я тотчас оказала ему отпор, движимая тем же мятежным отчаянным гневом, за который уже заплатила так дорого. Поэтому он счел за благо воздержаться и бросился прочь, сыпля бранью и клянясь, что я разбила ему нос. Я действительно обрушила на эту выдающуюся черту его лица удар такой силы, на какую был способен мой кулачок. А я, заметив, как этот удар, а может быть, и весь мой вид напугали его, вознамерилась было завершить свою победу, но он уже удрал к маменьке. Я слышала, как он, хныча, принялся плести историю о том, что «эта противная Джейн Эйр» набросилась на него, точно взбесившаяся кошка, но был довольно резко оборван:

— Не говори со мной о ней, Джон. Я же велела тебе не подходить к ней близко. Она недостойна того, чтобы ее замечали. Я не желаю, чтобы ты или твои сестры общались с ней.

И тут, перегнувшись через перила, я внезапно закричала, не выбирая слов:

— Это они недостойны общаться со мной!

Миссис Рид была довольно дородной женщиной, но, услышав это нежданное и дерзкое заявление, она взбежала по лестнице стремительно, точно смерч, увлекла меня в детскую, втолкнула в чуланчик, опрокинула на кровать и выразительнейшим голосом заявила, чтобы до конца дня я не смела вставать с этого места, а если произнесу хоть слово…

— Что сказал бы вам дядя Рид, будь он жив? — крикнула я почти против воли. Я говорю «почти против воли», потому что мой язык произносил эти слова сам, без моего участия: во мне что-то кричало, над чем у меня не было власти.

— Как так? — проговорила миссис Рид еле слышно. В обычно холодных спокойных глазах мелькнул почти страх. Она отдернула руку от моего плеча и уставилась на меня, словно не понимая, ребенок ли я, или демон. Мне уже нечего было терять.

— Мой дядя Рид на небесах и знает все, что вы делаете и думаете, и мои папенька с маменькой тоже. Они знают, как вы запираете меня одну на весь день и как вы хотите, чтобы я умерла!

Миссис Рид скоро опомнилась. Она долго трясла меня за плечи, отвесила по паре пощечин на

мои щеки, а затем ушла, не произнеся больше ни слова. Впрочем, этот пробел вскоре восполнила Бесси, читая мне нотацию битый час и неопровержимо доказывая, что такой дрянной и бесстыжей девчонки свет не видывал. Я наполовину ей поверила — ведь в груди у меня бурлили только дурные чувства.

Ноябрь, декабрь и половина января остались позади. Рождество и Новый год праздновались в Гейтсхед-Холле со всем положенным весельем: обмен подарками, званые обеды, званые вечера. Разумеется, меня ничто это не касалось. Моя доля праздничных развлечений исчерпывалась каждодневным наблюдением, как Элиза и Джорджиана тщательно завивают локоны и одеваются для гостей. Потом я смотрела, как они в кисейных платьях, перепоясанных алыми кушачками, спускаются в гостиную. А потом я прислушивалась к доносившимся снизу звукам фортепьяно или арфы, к шагам дворецкого и лакея, к позвякиванию хрусталя и фарфоровой посуды, к гулу голосов, который возникал, едва дверь в гостиную отворяли, и тут же обрывался, едва ее закрывали. Когда это занятие мне приедалось, я уходила с лестничной площадки в пустую безмолвную детскую. Там, хотя мне и бывало грустно, несчастной я себя

не чувствовала. Правду сказать, мне вовсе не хотелось бы оказаться в обществе гостей — ведь все равно меня бы никто не замечал. И будь бы Бесси поласковей, подружелюбнее, я сочла бы за счастье тихонько коротать вечера с ней, а не проводить их под грозным взглядом миссис Рид в комнате, полной нарядных дам и джентльменов. Однако Бесси, едва кончив одевать своих барышень, удалялась вниз в оживление кухни и комнаты экономки, причем обычно уносила с собой свечу. А я сидела с куклой на коленях, пока огонь в камельке не угасал, иногда поглядывая по сторонам и убеждаясь, что над сумрачной комнатой тяготеет только мое присутствие и в ее тенях не прячется ничего похуже. А когда в камельке оставалась лишь кучка тускло-красных углей, я торопливо раздевалась, дергая тесемки, распутывая узлы, и искала приюта от холода и темноты в моем чуланчике. С собой в постель я всегда брала мою куклу. Людям необходимо любить кого-то, а мне некому было отдать свою привязанность, и я научилась находить радость, любя и лелея облезшее подобие, жалкое, как миниатюрное пугало. Теперь, вспоминая, я не могу понять ту нелепую искренность, с какой я обожала эту игрушку, наполовину веря, что она

живая и способна чувствовать. Заснуть я была способна, только завернув ее в складки моей ночной рубашки, и когда она лежала у меня за пазухой в тепле и безопасности, я чувствовала себя относительно счастливой, убежденная, что и она счастлива.

Как долго тянулись часы, пока я ждала, чтобы гости разъехались и на лестнице послышались бы шаги Бесси! Случалось, она заглядывала в детскую и раньше в поисках наперстка или ножниц или же даже приносила мне какое-нибудь лакомство — булочку с изюмом, сырный пирожок. И пока я ела, она сидела на краю кровати, а потом закутывала меня в одеяла. А два раза так даже поцеловала и сказала: «Спокойной ночи, мисс Джейн». Когда Бесси бывала такой ласковой, она казалась мне самым лучшим, самым красивым и добрым существом на свете, и как страстно мне хотелось, чтобы она всегда была такой милой и доброжелательной и никогда бы не отмахивалась от меня, не бранила, не мучила незаслуженными упреками, как было у нее в обыкновении. Бесси Ли, мне кажется, была очень способной от природы и все делала умело, а к тому же обладала незаурядным даром рассказчицы — то есть насколько я могу судить по впечатле-

нию, какое производили на меня тогда ее сказки в детской. И она была очень миловидной, если мои воспоминания о ее внешности верны. Помню я ее тоненькой девушкой, с черными волосами, темными глазами, приятными чертами и свежим цветом лица. Однако характер у нее был неровный и вспыльчивый, а понятие о принципах и справедливости — самое относительное. Но какова бы она ни была, я предпочитала ее всем остальным обитателям Гейтсхед-Холла.

Пятнадцатого января часов около девяти утра Бесси спустилась в кухню позавтракать. Моих кузин еще не позвали к маменьке, и Элиза надевала капор и теплый простой салопчик, чтобы пойти кормить своих кур — ей очень нравилось это занятие, а еще больше — продавать яйца от них экономке, пополняя свои сбережения. Ее отличали деловая жилка и очень заметное скопидомство, находившее выражение не только в продаже яиц и цыплят, но и в умении содрать с садовника самую высокую цену за цветочные клубни, семена и рассаду. Миссис Рид приказала ему покупать у барышни все продукты ее цветника, которые она пожелает продать, а Элиза продала бы даже волосы со своей головы, сули ей эта сделка солидную прибыль. Свои деньги она

вначале прятала по укромным уголкам, завернув в тряпочку или в старую бумагу для папильоток. Однако горничная нередко находила ее тайнички, и Элиза, опасаясь, как бы в один прекрасный день не лишиться заветных сокровищ, согласилась отдать накопленные деньги маменьке в рост под ростовщические пятьдесят-шестьдесят процентов годовых, каковые взыскивала каждые три месяца, с заботливым тщанием ведя им счет в записной книжечке.

Джорджиана, сидя на высоком табурете перед зеркалом, вплетала в локоны искусственные цветы и поблекшие перья, большой запас которых обнаружила в ящике на чердаке. Я стелила свою постель, так как Бесси строго-настрого приказала мне, чтобы к ее возвращению кровать была застелена. (Бесси теперь часто возлагала на меня обязанности младшей горничной — навести порядок в детской, стереть пыль со стульев и прочее.) Аккуратно сложив ночную рубашку и расправив покрывало, я подошла к диванчику в оконной нише, чтобы прибрать разбросанные на нем книжки с картинками и кукольную мебель. Однако Джорджиана резко прикрикнула, чтобы я не смела трогать ее игрушки (крохотные стульчики и зеркала, сказочно-миниатюрные тарелочки

и чашечки принадлежали ей). Тогда, от нечего делать, я принялась дышать на узоры, которыми мороз расписал окно, протирая дырочку, чтобы выглянуть наружу, где все было сковано стужей. Из этого окна можно было увидеть сторожку и подъездную дорогу, и в то мгновение, когда я растопила дырочку в серебристо-белой листве на стекле, ворота распахнулись и в них въехала карета. Я смотрела, как она катит к подъезду, без всякого любопытства — кареты часто приезжали в Гейтсхед, но никогда не привозили посетителей сколько-нибудь интересных для меня. Вот она остановилась у крыльца, громко зазвонил дверной колокольчик, гость вошел. Меня все это не касалось, и мое рассеянное внимание вскоре сосредоточилось на голодной малиновке, которая, щебеча, запрыгала по голым веткам шпалерной вишни, прибитой к стене рядом с окном. На столе еще стояли остатки моего завтрака из хлеба с молоком. Я раскрошила корку и дергала раму, чтобы приоткрыть окно и высыпать крошки на подоконник, когда в детскую вбежала Бесси.

— Мисс Джейн, снимите фартучек… Что вы там делаете? Лицо и руки вы утром вымыли?

Прежде чем ответить, я дернула еще раз, потому что хотела, чтобы птичка получила свой завтрак.

Рама поддалась, я высыпала крошки — часть на каменный подоконник снаружи, часть на сук вишни, — закрыла окно и лишь тогда сказала:

— Нет, Бесси. Я только сейчас кончила вытирать пыль.

— Неряшливая, непослушная девочка! Что вы тут затевали? Вон как покраснели, будто придумали гадкую шалость. А окно для чего открыли?

Отвечать мне не пришлось, так как Бесси было не до моих объяснений. Она торопливо потащила меня к умывальнику, беспощадно, но, к счастью, недолго намыливала мне лицо и руки и вытирала их грубым полотенцем. Привела в порядок мои волосы жесткой щеткой, сдернула с меня фартучек, вытащила на лестничную площадку и приказала немедленно спуститься в малую столовую, где меня ждут.

Я бы спросила, кто ждет, я бы потребовала узнать, там ли миссис Рид, но Бесси уже скрылась в детской и захлопнула дверь перед моим носом. Я медленно спустилась по лестнице. Уже почти три месяца я не видела миссис Рид, а после столь долгого заключения в детской гостиная, большая и малая столовые казались мне обителями ужаса, и я боялась в них вторгнуться. Робея и дрожа, я остановилась в пустой передней перед дверью

в малую столовую. В какую жалкую дурочку превратил меня в те дни страх, порожденный несправедливым наказанием! Я страшилась вернуться в детскую и страшилась открыть дверь и войти. Десять минут я простояла так в мучительных колебаниях, но затем донесшийся из малой столовой яростный звон колокольчика заставил меня решиться. Выбора не было: я должна была войти.

«Кому я понадобилась? — спросила я мысленно, обеими руками поворачивая тугую дверную ручку, которая не сразу поддалась моим усилиям. — Кого я увижу рядом с тетушкой Рид? Мужчину? Женщину?» Ручка повернулась, дверь отворилась внутрь, я вошла, сделала низкий реверанс, подняла глаза и увидела… черную каменную колонну! Во всяком случае, так мне померещилось в первое мгновение: на каминном коврике высилась прямая узкая фигура, облаченная в непроглядно черное. Суровое лицо вверху казалось каменной маской, заменяющей капитель.

Миссис Рид сидела на своем обычном месте у огня. Она сделала мне знак приблизиться, а затем представила меня каменной фигуре следующими словами:

— Вот девочка, по поводу которой я обратилась

к вам.

Он — потому что это был мужчина — медленно повернул голову в мою сторону и, осмотрев меня инквизиторскими серыми глазами, которые поблескивали из-под пары кустистых бровей, произнес торжественно глубоким басом:

— Она выглядит маленькой. Сколько ей лет?

— Десять.

— Так много? — сказал он с сомнением и еще несколько минут продолжал осмотр. Затем спросил у меня: — Как тебя зовут, девочка?

— Джейн Эйр, сэр.

Произнеся эти слова, я посмотрела вверх. Он показался мне очень высоким джентльменом, но ведь я и правда была маленькой. Крупные черты лица, как и очертания его фигуры, выглядели равно суровыми и чопорными.

— Ну-с, Джейн Эйр, ты хорошая девочка?

Ответить на этот вопрос утвердительно было невозможно: в моем крохотном мирке все придерживались противоположного мнения. И я промолчала. За меня ответила миссис Рид, выразительно покачав головой. После чего она добавила:

— Пожалуй, чем меньше говорить на эту тему, мистер Броклхерст, тем лучше.

— Слышать это поистине грустно! Нам с ней необходимо немного побеседовать. — И, отклонившись от перпендикуляра, он опустился в кресло напротив миссис Рид. — Подойди сюда, — сказал он.

Я подошла, и он поставил меня перед собой столбиком. Его лицо теперь оказалось почти на одном уровне с моим, и что это было за лицо! Какой огромный нос! А рот! А большие торчащие зубы!

— Нет ничего печальнее, чем видеть нехорошее дитя, — начал он. — И особенно нехорошую маленькую девочку. Ты знаешь, куда плохие люди попадают после смерти?

— Они попадают в ад, — ответила я без запинки, как положено.

— А что такое ад? Ты можешь мне сказать?

— Яма, полная огня.

— А тебе хотелось бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней?

— Нет, сэр.

— Что тебе следует делать, чтобы не попасть туда?

Я задумалась и ответила не слишком удачно:

— Я должна быть очень здоровой и не умереть.

— Как ты сумеешь оставаться здоровой? Дети

меньше тебя годами умирают ежедневно. Всего лишь два дня назад я похоронил дитя пяти лет, хорошее дитя, чья душа теперь на небесах. Следует опасаться, что того же нельзя было бы сказать о тебе, будь ты призвана теперь.

Не имея возможности рассеять его сомнения, я только опустила взгляд на две огромные ступни, упертые в коврик, и вздохнула, от всей души желая очутиться где-нибудь далеко-далеко отсюда.

— Уповаю, это вздох из глубины сердца, и ты раскаиваешься в том, что причиняла огорчения своей превосходнейшей благодетельнице.

«Благодетельнице! Благодетельнице! — повторила я про себя. — Они все называют миссис Рид моей благодетельницей. Значит, "благодетельница" это что-то очень скверное».

— Ты молишься утром и вечером? — продолжался допрос.

— Да, сэр.

— Ты читаешь Библию?

— Иногда.

— С радостью? Ты любишь ее читать?

— Мне нравятся Откровение, и Книга Даниила, и Бытие, и Самуил, и кусочки Исхода, и некоторые части в Книгах Царств и в Паралипоменоне, а еще Иов и Исайя.

— А псалмы? Уповаю, они тебе нравятся.

— Нет, сэр.

— Нет? Возмутительно! У меня есть сынок, моложе тебя годами, так он знает наизусть шесть псалмов, и когда его спрашивают, что он предпочтет: съесть имбирную коврижку или выучить стих псалма, он отвечает: «Стих псалма! Ангелы поют псалмы, — говорит он, — а мне хочется быть маленьким ангелом тут, внизу». И тогда он получает две коврижки в вознаграждение за свое младенческое благочестие.

— Псалмы совсем не интересные, — заметила я.

— Это доказывает, что у тебя дурное сердце. И ты должна молиться Богу, чтобы Он его изменил, дал бы тебе новое, чистое, и взял бы твое каменное и дал тебе сердце плотяное.

Я было собралась спросить, как будет производиться операция по замене моего сердца, но тут миссис Рид приказала мне сесть и продолжила разговор сама:

— Мистер Броклхерст, в письме, которое я написала вам три недели назад, было, если не ошибаюсь, указано, что характер и наклонности этой девочки не таковы, какими мне хотелось бы их видеть, и если вы примете ее в Ловудскую

школу, то я прошу, чтобы директрисе и учительницам было указано строго следить за ней и, главное, остерегаться ее худшего недостатка — склонности обманывать. Я упоминаю об этом в твоем присутствии, Джейн, чтобы ты не вздумала вводить мистера Броклхерста в заблуждение.

Да, не напрасно я боялась миссис Рид, не напрасно ее не любила — в ее натуре было наносить мне жестокие раны. Никогда я не чувствовала себя спокойно в ее присутствии: какой бы послушной я ни старалась быть, сколько бы усилий ни прилагала, чтобы угодить ей, любые мои попытки отвергались и вознаграждались фразами вроде приведенной выше. Это обвинение, произнесенное в присутствии незнакомого человека, поразило меня в самое сердце. Я смутно поняла, что она уже лишила всякой радости новое существование, которое мне предназначила. Я почувствовала, хотя и не сумела бы выразить этого словами, что она сеет отвращение и недоверие на моем будущем пути. Я увидела, как превращаюсь в глазах мистера Броклхерста в хитрую злокозненную лгунью. А как я могу исправить причиненный мне вред?

«Никак! Никак!» — думала я, пытаясь подавить рыдание и поспешно утирая слезы, свидетель-

ство моей горькой беспомощности.

— Склонность обманывать — поистине прискорбнейший недостаток, какой только может быть у ребенка, — сказал мистер Броклхерст. — Эта склонность сродни *лжи*, а все *лжецы* получат по делам своим в озере огненном и серном. О, за ней последят, миссис Рид! Я поговорю с мисс Темпл и учительницами.

— Мне бы хотелось, чтобы ее воспитали, как того требует ее положение, — продолжала моя благодетельница, — научили быть полезной, наставили в смирении. Что до каникул, то, с вашего дозволения, она будет проводить их в Ловуде.

— Ваши пожелания весьма мудры, сударыня, — ответил мистер Броклхерст. — Смирение — наихристианнейшая добродетель, особенно приличествующая ловудским ученицам, а посему я постоянно требую особого внимания к тому, чтобы они росли в смирении. Я настойчиво искал способ умерщвлять в них суетную гордыню и совсем недавно получил приятнейшее доказательство, что преуспел в этом. Моя вторая дочь, Огеста, поехала со своей матерью навестить школу, и, вернувшись, она вскричала: «Ах, милый папенька, какими тихими дурнушками выглядят все девочки в Ловуде! С волосами, гладко заче-

санными за уши, в этих длинных фартучках и с такими забавными холщовыми сумочками поверх платья они очень похожи на бедных детей. И, — добавила она, — на нас с маменькой они смотрели так, будто никогда прежде не видели шелковых платьев!»

— От всего сердца одобряю это, — подхватила миссис Рид. — Обыщи я хоть всю Англию, то не нашла бы системы воспитания, словно созданной именно для такой девочки, как Джейн Эйр. Последовательность, любезный мистер Броклхерст, я рекомендую последовательность во всем.

— Последовательность, сударыня, — первейший долг христианина, и в Ловудской школе она соблюдается во всем: простая пища, простая одежда, никаких излишеств ни в чем, ни малейшей изнеженности и деятельное прилежание — таковы порядки в школе, обязательные для всех учениц.

— Прекрасно, сэр. Следовательно, я могу надеяться, что эту девочку примут в Ловуд и воспитают в соответствии с ее положением в настоящем и будущем?

— О да, сударыня! Она будет помещена в этот питомник избранных растеньиц и, уповаю, покажет себя благодарной за эту величайшую

привилегию.

— В таком случае я отправлю ее туда как можно скорее, мистер Броклхерст, так как, поверьте, я не чаю снять с себя ответственность, которая стала слишком тяжелой.

— Без сомнения, без сомнения, сударыня. А теперь разрешите пожелать вам доброго утра. В Броклхерст-Холл я вернусь через неделю-другую: мой добрый друг архидиакон не отпустит меня раньше. Я извещу мисс Темпл о приеме новенькой, так что ее будут ожидать в Ловуде, и никаких недоразумений не произойдет. До свидания.

— До свидания, мистер Броклхерст, кланяйтесь от меня миссис и мисс Броклхерст, а также Огесте и Теодоре, и мастеру Бротону Броклхерсту.

— С величайшим удовольствием, сударыня. Девочка, вот тебе книга «Наставления детям». Читай ее с молитвой, а особенно «Рассказ об ужасной в своей внезапности смерти Марты Д., нехорошей девочки, склонной ко лжи и обману».

С этими словами мистер Броклхерст вложил мне в руку тоненькую брошюру и, позвонив, чтобы подали его карету, удалился.

Мы с миссис Рид остались вдвоем. Несколько минут прошли в молчании: она шила, я смотрела на нее. В то время миссис Рид было лет трид-

цать шесть-тридцать семь: женщина плотного сложения с квадратными плечами, невысокая, и хотя дородная, но не толстая и обрюзглая. Относительно широкое лицо с чуть выдающейся вперед нижней челюстью. Низкий лоб, тяжелый торчащий подбородок, рот и нос достаточно правильные. Под светлыми бровями поблескивали безжалостные глаза. Кожа смуглая и грубоватая, волосы — почти льняные.

Ее отличало крепкое здоровье: она не знала, что такое болезни. Дела свои она вела умело и умно, прислугу и фермеров-арендаторов держала в ежовых рукавицах, и только ее дети иногда решались ей противоречить. Одевалась она хорошо, обладала величавой осанкой и держалась так, что ее туалеты выглядели особенно выгодно.

Сидя на скамеечке в нескольких шагах от нее, я разглядывала ее фигуру, вглядывалась в черты ее лица. Моя рука сжимала брошюру с описанием внезапной смерти лгуньи, которое мне велели прочесть в назидание. То, что произошло несколько минут назад, то, что миссис Рид сказала обо мне мистеру Броклхерсту, общий тон их разговора — все это жгло и терзало меня точно кровоточащая рана. Я ведь ясно слышала каждое слово, и каждое больно меня язвило. Теперь же

во мне закипало возмущение.

Миссис Рид подняла голову от шитья, ее взгляд остановился на мне, пальцы замерли.

— Выйди вон, вернись в детскую, — таков был ее приказ. Видимо, выражение моего лица или еще что-то показалось ей оскорбительным, так как отдала она этот приказ с крайним, хотя и сдерживаемым раздражением. Я встала, я направилась к двери, я повернула обратно, я прошла через всю комнату до окна, а потом приблизилась к ней.

Мне необходимо было выговориться: меня так попрали, что я должна была восстать. Какими силами я обладала, чтобы ответить ударом на удар моей противницы? Я собрала их все и вложила вот в такую жгучую тираду:

— Я не склонна к обману, не то бы я сказала, будто люблю вас, а я говорю прямо, что не люблю вас. Я ненавижу вас больше всех на свете, если не считать Джона Рида. А эту книжку про лгунью лучше отдайте своей Джорджиане, потому что лжет она, а не я.

Руки миссис Рид все еще бездеятельно лежали на ее шитье, ее глаза, как два куска льда, по-прежнему были морозяще устремлены в мои.

— У тебя есть что сказать еще? — спросила она

тоном, каким обращаются к взрослому врагу, а не к ребенку.

Эти ее глаза, этот ее голос подлили масла в огонь моей ненависти. Содрогаясь с головы до ног, вся во власти исступленного возбуждения, я продолжала:

— Я рада, что вы мне не родственница, и никогда больше я не назову вас тетей, до самой смерти не назову! А когда вырасту, ни разу вас не навещу. А если кто-нибудь меня спросит, любила ли я вас и как вы со мной обходились, я отвечу, что мне делается тошно от мысли о вас, что обходились вы со мной жестоко и бессердечно.

— Как ты смеешь утверждать такое, Джейн Эйр?

— Как смею, миссис Рид? Как смею? Да потому, что это чистая правда. Вы считаете меня бесчувственной, полагаете, будто я не нуждаюсь хоть в капельке любви или доброты, но я так жить не могу, а в вас нет жалости. Я не забуду, как вы втолкнули меня… грубо и беспощадно втолкнули меня назад в Красную комнату и заперли там — до смертного часа не забуду. Хотя я изнемогала, хотя я кричала, задыхаясь от отчаяния: «Сжальтесь! Сжальтесь, тетя Рид!» И этому наказанию вы меня подвергли потому лишь, что ваш сквер-

ный сынок ударил меня, сбил с ног ни за что ни про что. Вот что я буду говорить всем, кто меня спросит. Люди считают вас хорошей женщиной, но вы скверная, бессердечная! Это вы обманываете и лжете!

Я еще не договорила, а моя душа уже воспрянула, возликовала от неведомого мне прежде ощущения вольности и торжества. Будто распались невидимые оковы и я вырвалась на свободу, о чем не смела даже мечтать. И для этого чувства были основания: миссис Рид выглядела испуганной, шитье соскользнуло с ее колен, она раскачивалась, подняв перед собой ладони, а лицо у нее сморщилось, словно она готова была заплакать.

— Джейн, ты в заблуждении. Что с тобой? Почему ты так дрожишь? Дать тебе воды?

— Не надо, миссис Рид.

— Может быть, ты чего-нибудь хочешь, Джейн? Поверь, я желаю быть тебе другом.

— Нет! Вы наговорили мистеру Броклхерсту, что у меня дурной характер, что я обманщица; и я всем в Ловуде расскажу, какая вы и что вы творили.

— Джейн, ты просто не понимаешь. Детей необходимо отучать от их дурных привычек.

— Обманывать — не моя привычка! — крикнула я отчаянным пронзительным голосом.

— Но ты не умеешь сдерживаться, Джейн, согласись. А теперь вернись в детскую, будь милочкой и ненадолго приляг.

— Я для вас не милочка и прилечь не хочу! Поскорее отошлите меня в школу, миссис Рид, потому что мне невыносимо жить здесь.

— Да, я отошлю ее в школу без промедления, — пробормотала миссис Рид про себя и, подняв шитье, быстро вышла из комнаты.

Я осталась там одна — победительницей на поле брани. Это была самая отчаянная битва в моей жизни и моя первая победа. Некоторое время я стояла на коврике, где совсем недавно стоял мистер Броклхерст, и в одиночестве наслаждалась своим триумфом. Вначале я улыбалась и испытывала гордое упоение. Но эта жгучая радость угасла во мне с той же быстротой, с какой замедлилось бурное биение сердца. Ребенок, восставая на взрослых, как восстала я, дав полную волю своим возмущенным чувствам, неминуемо испытывает потом уколы сожаления, и знобящая дрожь сменяет недавний жар. Пламя, бушующее на гряде вересковых холмов, живое, стремительное, всепожирающее, — вот чему можно было бы

уподобить мой гнев, пока я обличала миссис Рид и угрожала ей; та же гряда, почерневшая, оголенная после того как пламя погасло, столь же верно символизировала бы мое душевное состояние, когда получасовые размышления в гробовой тишине показали мне все безумие моего поведения, всю тягостность моего положения ненавидимой и ненавидящей.

Впервые я изведала вкус мщения; пока я им упивалась, оно было точно душистое вино — теплым и пьянящим. Но оставшийся от него металлический едкий привкус вызывал у меня ощущение, будто я хлебнула отравы. С какой охотой пошла бы я попросить прощения у миссис Рид! Но я знала, отчасти по опыту, отчасти инстинктивно, что она лишь оттолкнет меня с удвоенным презрением, чем вновь пробудит всю бурность моей натуры.

Я бы с радостью нашла в своем сердце что-нибудь, кроме яростных обвинений, с радостью отыскала бы пищу для менее дьявольского чувства, чем угрюмое негодование. И взяла книгу — какие-то арабские сказки. Села и попыталась читать. Но не понимала смысла ни единой строки; мои мысли заслоняли страницы, которые обычно завораживали меня. Затем я открыла

дверь в сад. Там не гнулась ни единая ветка. Все сковала стужа, не поддававшаяся ни солнцу, ни ветру. Я накинула на голову и плечи подол платья и вышла пройтись в уединении рощи, но меня не утешили безмолвные деревья, падающие еловые шишки, смерзшиеся останки осени — бурые листья, сметенные давними ветрами в кучи и теперь спаянные воедино. Я прислонилась к калитке и посмотрела на пустынный луг, где уже не паслись овцы и короткая, ощипанная почти до корней трава серебрилась инеем. День был беспросветно серым, хмурое небо обещало метель. Уже иногда редкие снежные хлопья ложились на твердую землю тропинки, на поседелый луг и не таяли. Я стояла, несчастная маленькая девочка, и шептала снова и снова:

— Что мне делать? Что мне делать?

Внезапно я услышала звонкий голос:

— Мисс Джейн! Где вы? Идите завтракать!

Я знала, что меня зовет Бесси, но не шевельнулась. Ее легкие шаги приближались по тропинке.

— Гадкая вы девочка! — сказала она. — Почему вы не идете, когда вас зовут?

Появление Бесси отвлекло меня от тяжелых мыслей и обрадовало, хотя она, по обыкнове-

нию, сердилась на меня. Но после того как я дала отпор миссис Рид и взяла над ней верх, преходящее неудовольствие няньки меня не особенно трогало, зато мне хотелось погреться в лучах ее молодой беззаботной бодрости. И я просто обняла ее обеими руками, говоря:

— Бесси, не бранись, пожалуйста!

Никогда прежде я не решалась на такие прямые и бесстрашные поступки, и почему-то ей мое поведение пришлось по вкусу.

— Странная вы девочка, мисс Джейн, — сказала она, глядя на меня с высоты своего роста. — Такая одинокая и непоседливая. А вас в школу отправляют?

Я кивнула.

— И вам не жалко покинуть бедную Бесси?

— А что я для Бесси? Она ведь все время меня бранит.

— Так вы же такая странная, напуганная и робкая малышка! Вам надо быть посмелее.

— Да? Чтобы получать больше тумаков?

— Глупости! Хотя с вами могли бы обходиться и помягче, это верно. Моя матушка сказала, когда навещала меня на прошлой неделе, что не хотела бы, чтобы кто-нибудь из ее младшеньких оказался на вашем месте. А теперь пойдемте домой, у

меня для вас хорошая новость.

— Откуда ей быть, Бесси?

— Деточка, о чем это вы? И какими грустными глазками на меня смотрите! Так вот: хозяйка с барышнями и мастером Джоном уезжают чай пить в гости, а вы будете пить чай со мной. Я попрошу кухарку испечь вам пирожок, а потом вы мне поможете разобрать ваши ящики. Мне ведь скоро надо будет уложить все нужное в сундучок. Хозяйка хочет, чтобы вы уехали через день, много два, так вам надо выбрать, какие игрушки взять с собой.

— Бесси, обещай, что больше не будешь меня бранить. До самого моего отъезда.

— Ну ладно. Только помните, вы очень хорошая девочка, так не надо меня бояться. И не вздрагивайте, если я и прикрикну, не то трудно бывает удержаться.

— Наверное, я вас больше никогда не буду бояться, Бесси, потому что я к вам привыкла. А скоро мне надо будет бояться совсем других людей.

— Будете их бояться, так они вас невзлюбят.

— Как и ты меня невзлюбила, Бесси?

— Вот уж нет, мисс. Думается, я к вам привязана куда больше, чем к остальным.

— Только не показываешь этого.

— До чего же вы умненькая! И разговариваете совсем по-новому. Чего это вы вдруг стали такой смелой и настойчивой?

— Так я же скоро уеду от всех вас, а еще…

Я было собралась упомянуть о том, что произошло между мною и миссис Рид, но тут же передумала, решив, что об этом лучше промолчать.

— Так, значит, вы рады от меня уехать?

— Да вовсе нет, Бесси. Сейчас мне вроде бы даже грустно.

— «Сейчас» и «вроде бы»! До чего же холодно моя маленькая барышня сказала это! Думается, попроси я сейчас, чтобы вы меня поцеловали, так вы скажете, что вроде бы не надо.

— Я тебя с радостью поцелую. Только нагни голову.

Бесси нагнулась, мы поцеловались, и я пошла за ней в дом совсем утешенная. Остаток дня прошел среди мира и гармонии, а вечером Бесси рассказывала мне самые занимательные свои истории и пела самые лучшие свои песни. Даже и в моей жизни порой светило солнце.

Глава 5

Едва утром девятнадцатого января часы пробили пять, как Бесси вошла в мой чуланчик со свечкой, но я уже встала и почти оделась. Проснувшись за полчаса до ее прихода, я умылась и начала одеваться при свете заходящего молодого месяца, лучи которого падали на оконце. В этот день мне предстояло покинуть Гейтсхед с дилижансом, который проезжал мимо ворот усадьбы в шесть часов утра. На ногах в доме была только одна Бесси. Она уже развела огонь в камельке детской и собрала мне завтрак. Редкий ребенок сумеет проглотить хоть кусочек, когда его мысли заняты предстоящим путешествием, и я не составила исключения. Бесси напрасно старалась заставить меня выпить несколько глотков молока, которое она для меня согрела, и съесть ломтик хлеба. Тогда она завернула в бумагу несколько сухариков и положила в мою сумку, потом помогла мне надеть салопчик и капор, накинула себе на плечи шаль, и мы вышли из детской. Когда мы поравнялись с дверью в спальню миссис Рид, Бесси спросила:

— А вы не зайдете попрощаться с хозяйкой?

— Нет, Бесси. Вчера, когда ты уходила ужинать, она зашла в мой чуланчик и сказала, чтобы утром я не тревожила ни ее, ни кузин, а еще велела мне помнить, что всегда была моим лучшим другом и я должна говорить о ней только так и быть ей благодарной.

— А вы что ответили, мисс?

— Ничего, натянула одеяло на лицо и отвернулась к стене.

— Не надо было так делать, мисс.

— Нет, надо, Бесси. Твоя хозяйка никогда не была моим другом, она была моим врагом.

— Ох, мисс Джейн, не говорите так!

— Прощай, Гейтсхед! — воскликнула я, когда мы миновали прихожую и вышли на крыльцо.

Месяц зашел, было очень темно. Бесси держала фонарь, и его лучи скользили по мокрым ступенькам и подъездной дороге, размокшей, так как началась оттепель. Промозглым, знобким было это зимнее утро, и, торопливо шагая к воротам, я стучала зубами от холода. Окно сторожки светилось, и, войдя, мы увидели, что жена привратника затапливает очаг. Мой сундучок, который принесли сюда накануне, стоял у двери, аккуратно обвязанный веревкой. До шести

оставалось лишь несколько минут, а когда часы пробили, очень скоро издалека донесся стук колес, возвещавший прибытие дилижанса. Я встала у двери и смотрела на его фонари, быстро приближающиеся сквозь сумрак.

— Она одна едет? — спросила жена привратника.

— Да.

— И далеко это?

— Пятьдесят миль.

— Далеконько! Как это миссис Рид не боится отпустить ее одну в такую даль?

Дилижанс остановился у ворот — запряженный четверней, с пассажирами на крыше. Кондуктор и кучер громогласно торопили нас. Мой сундучок погрузили, меня оторвали от Бесси, которую я осыпала поцелуями.

— Вы уж присмотрите за ней! — крикнула она кондуктору, когда тот подсадил меня внутрь.

— Ладно! — последовал ответ, дверца захлопнулась, раздался крик: «Трогай!» — и мы покатили.

У меня почти не сохранилось воспоминаний об этой поездке. Знаю только, что день показался мне нескончаемо длинным и мы словно проехали сотни и сотни миль. Мы миновали несколько городков, а в одном, очень большом,

остановились, лошадей выпрягли, и пассажиры вышли, чтобы пообедать в гостинице. Кондуктор отнес меня туда и хотел, чтобы я поела, но у меня совсем не было аппетита, и он оставил меня одну в огромной зале с камином в каждом конце, со свисающей с потолка люстрой и маленькими красными хорами на стене, где виднелись музыкальные инструменты. Я долго бродила по этой зале, чувствуя себя очень непривычно и смертельно боясь: вот-вот кто-то войдет и украдет меня. Ведь я верила в похищение детей: в рассказах Бесси у камелька они случались очень часто. Наконец кондуктор вернулся, и я была вновь водворена в дилижанс, мой хранитель занял свое место, дунул в рожок, и мы загромыхали «по улице мощеной» города Л.

Сырой туманный день перешел в сырые туманные сумерки, и я почувствовала, что Гейтсхед правда остался далеко-далеко позади. Теперь на нашей дороге уже не попадались городки, пейзаж изменился, впереди вздымались огромные серые холмы. Когда совсем стемнело, мы спустились в лесистую долину, где царил почти полный мрак, но когда все вокруг поглотила ночь, я еще долго продолжала слышать посвист буйного ветра в древесных ветвях.

Убаюканная этим звуком, я наконец уснула, но вскоре меня разбудил толчок: дилижанс остановился, дверца открылась, и в ней появилась женщина, одетая как прислуга. Свет фонаря ложился на ее лицо и одежду.

— Тут есть девочка по имени Джейн Эйр? — спросила она, и я ответила:

— Да.

Меня вновь вынесли наружу, мой сундучок сняли с крыши, и дилижанс тотчас покатил дальше.

От долгого сидения у меня затекло все тело, а в голове мутилось от топота копыт, скрипа и покачивания кузова. Стряхивая с себя оцепенение, я посмотрела вокруг. Тут царили дождь, ветер и тьма, тем не менее я различила перед собой каменную ограду и калитку в ней. Моя новая проводница вошла со мной в калитку, закрыла и заперла ее за собой. Теперь я увидела дом — а может быть, и не один, так как здание было очень длинным со множеством окон. Кое-где в них мерцали огоньки. Мы свернули на широкую, залитую дождем дорожку, посыпанную гравием, и вошли в какую-то дверь. Моя проводница провела меня по длинному коридору в комнату с топящимся камином и оставила там одну.

Я постояла у камина, согревая замерзшие паль-

цы, а потом огляделась. Ни одна свеча не горела, однако в неверном свете огня мне мало-помалу удалось рассмотреть оклеенные обоями стены, ковер, гардины, поблескивающую мебель красного дерева. Это была гостиная, не такая большая и великолепная, как парадная гостиная в Гейтсхеде, но достаточно уютная. Я пыталась понять сюжет картины на стене, когда дверь отворилась и кто-то вошел со свечой. За первой фигурой появилась вторая.

Первой вошла высокая дама, темноволосая, темноглазая, с высоким бледным лбом. Она куталась в шаль, но держалась очень прямо и строго.

— Такую маленькую девочку не следовало отправлять в дорогу одну, — сказала она и поставила свечу на стол. Минуты две она внимательно меня разглядывала, а потом добавила: — Ее лучше уложить поскорее спать, у нее очень усталый вид. Ты устала? — спросила она, положив ладонь мне на плечо.

— Немножко, сударыня.

— И, разумеется, голодна. Пусть она поужинает, мисс Миллер, прежде чем вы ее уложите. Ты в первый раз рассталась с родителями, чтобы учиться в школе, деточка?

Я объяснила, что родителей у меня нет. Она

спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, как меня зовут, умею ли я читать, писать и немного шить. Потом ласково погладила меня по щеке указательным пальцем и отослала с мисс Миллер, выразив надежду, что я буду «хорошей девочкой».

Ей могло быть лет двадцать девять, а мисс Миллер выглядела моложе на несколько лет. Голос, наружность, манера держаться дамы с высоким лбом произвели на меня глубокое впечатление. Мисс Миллер казалась более заурядной. Румяное, хотя и очень озабоченное лицо, торопливость в походке и всех движениях, обычная для тех, у кого на руках всегда множество неотложных дел, — короче говоря, она выглядела именно той, кем (как я узнала после) и была: младшей учительницей. Она вела меня из помещения в помещение, из коридора в коридор обширного здания прихотливой постройки. Наконец полную и немного гнетущую тишину, царившую в той части дома, которая осталась позади, нарушил гул множества голосов, и вскоре мы вошли в длинную широкую комнату с большими столами из сосновых досок — по два в обоих ее концах, с двумя горящими свечами на каждом, — а вокруг на скамейках сидели девочки и девушки всех

возрастов — от девяти-десяти до двадцати лет. В смутном свете сальных огарков их число мне показалось несметным, хотя на самом деле оно не превышало восьмидесяти. На всех были одинаковые платья из грубой коричневой материи и длинные холщовые передники. Шел час самостоятельных занятий, все они учили заданные уроки, и гул, который я слышала, слагался из шепота их зубрежки.

Мисс Миллер знаком велела мне сесть на ближайшую к двери скамью, а потом прошла в глубину длинной комнаты и скомандовала:

— Старосты, соберите учебники и отнесите их на место!

В разных углах комнаты встали четыре девушки, каждая обошла свой стол, собирая учебники, и унесла их. Мисс Миллер отдала новое распоряжение:

— Старосты, принесите подносы с ужином!

Девушки вышли и вскоре вернулись с подносами, на которых лежали порции чего-то, я не рассмотрела чего, а на середине каждого стоял кувшин с водой и кружка. Порции были розданы, те, кто хотел пить, попили воды из общей кружки. Когда дошла очередь до меня, я тоже выпила воды, потому что меня мучила жажда, но до еды

не дотронулась — от волнения и усталости я не могла есть. Однако я увидела, что ужин состоял из овсяной лепешки, разломанной на части.

Ужин кончился, мисс Миллер прочла молитву, и ученицы вышли из комнаты попарно. Я еле держалась на ногах от усталости и даже толком не разглядела мою новую спальню, заметив только, что она, как и классная комната, была очень длинной. На эту ночь мне предстояло разделить кровать с мисс Миллер, которая помогла мне раздеться. Ложась, я взглянула на ряды кроватей, в которые девочки быстро ложились по двое. Через десять минут единственная свечка была задута, и среди тишины в непроницаемой тьме я уснула.

Ночь промелькнула мгновенно. Я так устала, что спала мертвым сном без сновидений и проснулась лишь раз, услышала завывания ветра, шум дождевых струй и убедилась, что мисс Миллер лежит рядом со мной. Вновь я открыла глаза под громкий звон колокола. Девочки торопливо одевались. Однако лишь начинало светать, и комнату освещали два-три мерцающих огарка. Я с величайшей неохотой тоже сбросила одеяло. Холод стоял лютый, и, пока я одевалась, меня била дрожь. Потом умылась, дождавшись, пока не освободился таз, что произошло далеко не сразу,

так как на шестерых учениц полагался один таз (стояли тазы на умывальнике в середине дортуара). Вновь зазвонил колокол, пары построились в длинную вереницу, этим порядком спустились по лестнице и вошли в холодную, тускло освещенную классную комнату. Мисс Миллер прочла молитву, а затем скомандовала:

— Построиться по классам!

На минуту-другую воцарилась большая суматоха, и мисс Миллер вновь и вновь повторяла:

— Тише! Соблюдайте порядок!

Когда суматоха улеглась, я увидела, что девочки построились четырьмя полукружиями перед четырьмя стульями — по одному у каждого стола. Все держали в руках книги, а на каждом столе перед каждым свободным стулом лежал толстый том, похожий на Библию. Наступила пауза, заполненная тихими шепотками. Мисс Миллер переходила от класса к классу, и эти неясные звуки смолкали.

В отдалении звякнул колокол, и тотчас в комнату вошли три учительницы, каждая села к столу, а мисс Миллер опустилась на четвертый стул, ближайший к двери, возле которого собрались самые маленькие девочки. Она подозвала меня, и я заняла самое последнее место в этом,

начальном, классе.

Учебный день начался. Повторили положенную молитву, произнесли некоторые стихи Писания, после чего довольно долго читали главы из Библии — чтение это продолжалось час. К его концу уже совсем рассвело. Неутомимый колокол зазвенел в четвертый раз, классам велели построиться, и ученицы парами перешли в другую комнату завтракать. Как я обрадовалась! Меня терзал голод: ведь накануне я почти ничего не ела.

Столовая оказалась огромной мрачной комнатой с низким потолком. На двух длинных столах дымились миски с чем-то горячим, но от них, к моему отчаянию, исходил совсем не аппетитный запах. Когда аромат этой трапезы достиг ноздрей тех, для кого она предназначалась, вспыхнуло всеобщее неудовольствие. От передних пар, составленных из высоких девочек старшего класса, донесся тихий ропот:

— Какая гадость! Овсянка опять подгорела!

— Тише! — потребовал голос, только не мисс Миллер, а одной из старших учительниц, невысокой черноволосой особы, одетой щеголевато, и с ледяным выражением лица. Она села во главе одного стола, а за другим председательствовала

наставница с более пышной фигурой. Тщетно я искала взглядом даму, что встретила меня накануне, ее нигде не было видно. Мисс Миллер села в нижнем конце моего стола, а пожилая женщина, иностранка по виду (учительница французского языка, как я узнала потом), заняла такое же место за вторым столом. Была произнесена длинная молитва, пропет духовный гимн, затем служанка принесла чай для учительниц, и классы приступили к завтраку.

Изнемогая от голода и уже очень ослабев, я проглотила две ложки овсянки, не замечая ее вкуса. Но, едва голод притупился, я обнаружила, что ем нечто тошнотворное — пригорелая овсяная каша почти не менее омерзительна, чем гнилой картофель, и отобьет желание есть даже у самого изголодавшегося бедняка. Ложки двигались все медленнее. Каждая девочка, заметила я, пробовала кашу, пыталась проглотить, и почти все сразу же оставляли эти попытки. Завтрак кончился, и никто не позавтракал. Была вознесена благодарность Всевышнему за то, чего мы не получили, и пропет еще один гимн. Затем столовая опустела, а классная комната наполнилась. Я выходила среди последних и увидела, как одна из учительниц взяла миску и попробовала кашу. Она перегляну-

лась с остальными. На лицах их всех появилась брезгливость, а полная произнесла негромко:

— Отвратительное варево! Это просто позор!

До начала уроков оставалось пятнадцать минут, и в классной царил невообразимый шум. Видимо, в эти четверть часа разрешалось разговаривать громко о чем угодно и ученицы использовали свою привилегию сполна. Разговоры шли только о завтраке, который все дружно бранили. Бедняжки! Другого утешения у них не было. Из учительниц в комнате присутствовала лишь мисс Миллер. Вокруг нее столпились старшие девочки, что-то убедительно говоря с возмущенными жестами. Я услышала, как несколько раз прозвучало имя мистера Броклхерста, но мисс Миллер неодобрительно покачала головой. Однако она не прилагала особых стараний, чтобы утихомирить общее негодование: без сомнения, она его разделяла.

Часы в классной пробили девять. Мисс Миллер оставила старшеклассниц, вышла на середину комнаты и скомандовала:

— Тише! По местам!

Верх остался за дисциплиной: через пять минут беспорядочная толпа разошлась по своим местам, разноголосый хор смолк, и воцарилась

относительная тишина. Старшие учительницы пунктуально опустились на предназначенные им стулья, однако все словно чего-то ждали. Восемьдесят девочек сидели на скамейках по сторонам комнаты прямо и неподвижно. Какими невзрачными они выглядят! Все с гладко зачесанными за уши волосами — ни у одной ни единой кудряшки, все в коричневых платьях с застегнутыми у горла узкими воротничками, с холщовыми сумочками сбоку (несколько напоминающими сумки шотландских горцев), предназначенными для швейных принадлежностей. На всех толстые шерстяные чулки и грубые башмаки, застегнутые медными пряжками. Примерно двадцать одетых таким образом учениц были уже взрослыми девушками. Эта форма совсем им не шла, и даже самые миловидные выглядели в ней несуразно.

Я все еще смотрела на них, иногда поглядывая на учительниц — ни одна из них мне не понравилась: у полной лицо было грубым, смуглая казалась сердитой, иностранка — некрасивой и злой, а мисс Миллер, бедняжка, казалась посинелой, замученной холодом и множеством обязанностей. Как вдруг, пока мой взгляд переходил с лица на лицо, все ученицы встали, словно подброшенные одной пружиной.

Что случилось? Я не слышала никакой команды и растерялась. Но прежде чем я успела собраться с мыслями, девочки снова сели, все глаза обратились в одну сторону, и, посмотрев туда же, я увидела даму, которая встретила меня накануне вечером. Она стояла в глубине длинной комнаты и в молчании обводила внимательным взглядом два ряда девочек. Мисс Миллер подошла к ней, как будто о чем-то спросила и, получив ответ, вернулась на свое место, а потом распорядилась:

— Староста первого класса, принесите глобусы.

Пока это приказание выполнялось, дама неторопливо направилась к одному из столов. Видимо, у меня сильно развита шишка почтительного преклонения, так как я до сих пор помню, с каким благоговейным восхищением следила за каждым ее шагом. Теперь, при свете дня, она выглядела высокой, стройной и прекрасной. Светившиеся благожелательностью карие глаза, осененные длинными ресницами под тонкими бровями, смягчали белизну высокого лба. Темно-каштановые волосы были на висках собраны в букли (гладкие бандо и длинные локоны тогда в моде не были). Платье, опять-таки модного тогда фасона, было из лилового сукна с отделкой из черного бархата несколько в испанском стиле;

на ее поясе поблескивали золотые часики (в те дни такие часы были еще редкостью). Пусть для довершения портрета читатель вообразит тонкие черты лица, хотя и бледного, но с нежной чистой кожей, а также величавую осанку, и он получит правильное представление — насколько вообще его могут дать слова — о внешности мисс Темпл, Марии Темпл, как я впоследствии прочла в надписи на молитвеннике, который мне было доверено отнести в церковь.

Директриса Ловуда (вот кем она была) села перед двумя глобусами, поставленными на один из столов, подозвала к себе первый класс и начала урок географии. Учительницы подозвали к себе остальные классы. Повторение истории, грамматики и прочего продолжалось около часа. Затем последовали письмо и арифметика, а мисс Темпл занималась музыкой с некоторыми из старших учениц. Протяжение каждого урока проверялось по часам, которые наконец пробили двенадцать. Директриса встала.

— Я должна сказать кое-что ученицам, — объявила она.

Уже поднявшийся шум, который знаменует окончание занятий, разом оборвался при звуке ее голоса, и она продолжала:

— Утром вам подали завтрак, который вы не могли есть, и, следовательно, остались голодными. Я распорядилась, чтобы всем был подан хлеб с сыром.

Учительницы уставились на нее с изумлением.

— Ответственность я беру на себя, — добавила она в их сторону и тут же вышла из комнаты.

Вскоре хлеб с сыром был принесен и роздан к величайшему восторгу и утолению голода всей школы. Затем последовала команда: «В сад!» Все надели шляпки из грубой соломки с завязками из цветного коленкора и серые фризовые пелерины. Я получила такие же и в общем потоке вышла в сад.

Он представлял собой обширный участок, обнесенный высокой оградой, полностью загораживавшей вид на окрестности. Вдоль одной стороны тянулась крытая веранда, а широкие дорожки окаймляли разделенное на десятки маленьких клумб пространство в середине. Эти клумбочки поручались заботам учениц, и у каждой была своя владелица. Летом, все в цветах, они, без сомнения, были красивы, но теперь, во второй половине января, среди зимнего опустошения глаз не видел ничего, кроме бурых

гниющих стеблей. Пока я стояла и осматривалась, меня пробрала дрожь: день мало подходил для прогулок. Дождь, правда, не лил, но сад затягивал желтоватый туман, каплями оседавший на всем, а земля под ногами хранила следы вчерашнего потопа. Самые крепкие и здоровые девочки бегали, затевали игры, но бледные и щуплые сгрудились на веранде, чтобы как-то укрыться от сырости и согреться. Однако туман пробирался к ним под одежду, вызывая озноб, и я часто слышала глухой кашель.

До сих пор я еще ни с кем не перемолвилась ни словом, и никто словно бы меня не замечал. Я держалась в стороне ото всех, но такое одиночество было мне привычным. Я прислонилась к столбу веранды, поплотнее закуталась в серую пелерину и, стараясь забыть про холод, который пощипывал меня снаружи, и про голод, который грыз меня изнутри, принялась наблюдать и размышлять. Мои мысли были слишком неопределенными и беспорядочными, чтобы их стоило записывать. Я даже толком не знала, где нахожусь. Гейтсхед и моя прежняя жизнь словно отодвинулись в неизмеримую даль, настоящее было смутным и непривычным, а будущее я и представить себе не могла. Я снова обвела взгля-

дом этот монастырский сад, а потом поглядела на дом — половина огромного здания выглядела серой и древней, а вторая половина — совсем новой. Окна новой части, в которой находились классная комната и дортуар, напоминали церковные частым металлическим переплетом. Каменная доска над дверью гласила:

«Ловудский приют. Сия часть здания была восстановлена в лето Господне … иждивением Наоми Броклхерст из Броклхерст-Холла в сем графстве». «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфей V, 16».

Вновь и вновь перечитывала я эти слова и искала им объяснения, так до конца и не постигнув их смысла. И все еще ломала голову над «приютом», ища связи между первыми словами и стихом из Писания, когда раздавшийся совсем рядом кашель заставил меня повернуть голову. На каменной скамье поблизости я увидела девочку, склонившуюся над книгой и, видимо, увлеченную чтением. Я разглядела заглавие: «Расселас». Имя показалось мне необычным, а потому особенно любопытным. Переворачивая страницу, девочка подняла глаза, и я ее спросила:

— Интересная книга? (Я уже решила, что как-

нибудь попрошу дать мне ее почитать.)

— Мне она нравится, — ответила девочка после секунды-другой, пока окидывала меня взглядом.

— О чем она? — спросила я затем. Не могу понять, откуда у меня хватило смелости вот так начать разговор с незнакомой девочкой. Подобный поступок был противен моей натуре и привычкам, но, полагаю, книга в ее руках пробудила во мне симпатию. Я ведь тоже любила читать, правда, развлекательные и детские книжки — серьезные и поучительные я не умела ни постичь, ни переварить.

— Вот, пожалуйста, посмотри сама, — ответила девочка, протягивая мне книгу.

Я взяла ее и, пролистав, убедилась, что содержание было менее заманчивым, чем название. «Расселас» на мой необразованный вкус был скучен. Ничего о феях, ничего о джиннах, никакого яркого разнообразия в теснящихся строчках. Я вернула книгу девочке, она взяла ее молча и уже готова была вновь погрузиться в чтение, когда я осмелилась снова ее отвлечь:

— Ты не можешь объяснить мне, что означает надпись над дверью? Что такое Ловудский приют?

— Этот дом, куда ты приехала жить.

— А почему его называют приютом? Он чем-то не похож на другие школы?

— Отчасти это благотворительное учреждение: ты, я и все остальные — мы приютские дети. Ты, наверное, сирота. Ведь кто-то из твоих родителей умер?

— Они оба умерли, когда я была совсем маленькой, и я их не помню.

— Ну, тут все девочки лишились либо кого-то из родителей, либо обоих, и школа называется приютом для обучения сирот.

— И мы ничего не платим? Они держат нас тут даром?

— Мы платим, или платят наши друзья, пятнадцать фунтов в год каждая.

— Так почему же нас называют приютскими?

— Потому что пятнадцати фунтов недостаточно для оплаты полного пансиона и обучения и остальные средства собираются по подписке.

— И кто подписывается?

— Разные добрые дамы и джентльмены в этих краях и в Лондоне.

— Кто была Наоми Броклхерст?

— Дама, которая построила новую часть дома, как написано на доске, и чей сын за всем здесь следит и всем управляет.

— Почему?

— Потому что он казначей и попечитель Ловуда.

— Так этот дом не принадлежит высокой даме с часами на поясе, которая велела дать нам хлеба с сыром?

— Мисс Темпл? О нет! Как ни жаль. Она отвечает за все перед мистером Броклхерстом. Всю провизию и всю одежду для нас покупает мистер Броклхерст.

— Он живет здесь?

— Нет, в двух милях отсюда, в большой усадьбе.

— А он хороший человек?

— Он священник, и говорят, что он творит много добра.

— Значит, высокую даму зовут мисс Темпл?

— Да.

— А как зовут других учительниц?

— Румяную — мисс Смит, она преподает рукоделие и кроит для нас одежду, а мы ее шьем: платья, пелерины, ну, словом, все. Низенькая с черными волосами — мисс Скэтчерд, она преподает историю и грамматику и следит за тем, как второй класс делает заданные уроки, а та, которая в шали и желтой лентой привязывает к поясу носовой

платок, — это мадам Пьеро, она из французского города Лилля и преподает французский.

— А тебе нравятся учительницы?

— Более или менее.

— И маленькая черненькая, и мадам… я не могу выговорить ее фамилию, как ты.

— Мисс Скэтчерд нетерпелива, поостерегись, чтобы она на тебя не рассердилась. Мадам Пьеро совсем неплохая.

— Но мисс Темпл самая хорошая, правда?

— Мисс Темпл очень хорошая и очень умная. Она выше всех остальных, потому что знает гораздо больше, чем они.

— А ты давно здесь?

— Два года.

— Ты сирота?

— Моя мать умерла.

— Ты здесь счастлива?

— Ты задаешь слишком много вопросов. Пока достаточно. Я хочу еще почитать.

Однако в эту минуту ударил колокол к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую на этот раз, был лишь немногим аппетитнее того, который терзал наши ноздри за завтраком. Обед подали в двух огромных жестяных кастрюлях, над которыми клубился пар, благоухавший

прогорклым жиром. Содержимое представляло собой месиво из почти проросшего картофеля и непонятных кусочков мяса ржавого цвета, сваренных вместе. Этой стряпни каждая ученица получила солидную порцию. Я съела столько, сколько сумела, спрашивая себя, предстоит ли мне изо дня в день глотать подобное.

После обеда мы немедленно перешли в классную комнату. Уроки возобновились и продолжались до пяти часов.

До конца дня больше ничего примечательного не произошло, если не считать того, что мисс Скэтчерд во время урока по истории выбранила девочку, с которой я разговаривала на веранде, и отослала ее стоять на середине классной комнаты. Мне такое наказание представилось очень позорным, особенно для большой девочки — ей ведь на вид было тринадцать, а может быть, и все четырнадцать. Но, к моему удивлению, она не покраснела от стыда, не заплакала, а стояла спокойно, хотя и печально, — средоточие всех взглядов. «Как она может терпеть это с такой невозмутимостью, с такой твердостью? — спрашивала я себя. — Будь я на ее месте, так, конечно, хотела бы сквозь землю провалиться. А у нее такое лицо, будто она думает о чем-то

далеком от наказания, от положения, в которое она попала, — о чем-то не вокруг нее и не перед ней. Я слышала о грезах наяву, так, может, она сейчас грезит? Ее глаза устремлены в пол, но я уверена, они его не видят, ее взгляд обращен как бы внутрь, в глубину ее сердца: она смотрит на свои воспоминания, мне кажется, а не на то, что сейчас вокруг нее. Так какая же она девочка, хорошая или скверная?»

Вскоре после пяти часов нам снова дали поесть — пол-ломтя черного хлеба и кружечку кофе. Я набросилась на свой хлеб и пила кофе с наслаждением, но только и того, и другого было так мало! И я осталась голодна. Затем полчаса свободного времени, затем — за столы делать уроки; затем стакан воды и кусок овсяной лепешки, молитвы и постель. Таков был мой первый день в Ловуде.

Глава 6

Следующий день начался точно так же, как предыдущий: мы вставали и одевались при свете огарков, хотя без церемонии умывания нам пришлось обойтись — вода в кувшинах замерзла. Накануне вечером погода переменилась, в щелях окон нашего дортуара всю ночь свистел пронзительный северо-восточный ветер, заставляя нас дрожать под одеялами, и к утру превратил содержимое кувшинов в лед.

Задолго до конца нескончаемых полуторачасовых молитв и чтения Библии я совсем погибала от холода. Наконец наступило время завтрака. На этот раз овсянка не подгорела и была вполне съедобна. Какой малюсенькой показалась мне моя порция! Мне хотелось, чтобы она была вдвое больше.

В этот день меня поместили в четвертый класс и указали, что и как я должна делать. Накануне я была зрительницей в Ловуде, теперь мне предстояло стать участницей представления. Вначале, так как я не привыкла учиться на слух, уроки показались мне длинными и очень труд-

ными; сбивала меня с толку и постоянная смена предметов, а потому я обрадовалась, когда около трех часов дня мисс Смит вложила мне в руки кисейную оборку двух ярдов длиной, наперсток и прочее и отослала меня в тихий уголок классной комнаты с приказанием подрубить ее. Теперь шитьем занимались почти все ученицы, но один класс все еще стоял возле стула мисс Скэтчерд с учебниками в руках, а так как вокруг царила тишина, было хорошо слышно, о чем они читают и как отвечают на вопросы учительницы. Слышала я также ее порицания и ее похвалы. Урок был по истории Англии. Среди учениц мисс Скэтчерд я увидела мою новую знакомую. В начале урока она занимала место во главе класса, но из-за какой-то ошибки в произношении названия или пренебрежения точками ее за нерадивость внезапно отправили на последнее место. Но даже и там мисс Скэтчерд не оставляла ее вниманием, то и дело обращаясь к ней с фразами вроде:

«Бернс (очевидно, это была ее фамилия: девочек в Ловуде называли по фамилиям, как принято в школах для мальчиков), Бернс, вы заворачиваете ступню, немедленно поставьте пятки вместе, носки врозь». Или: «Бернс! Вы неприлично выпячиваете подбородок, немедленно уберите его!»

Или: «Бернс! Я настаиваю, чтобы вы держали голову прямо, я не потерплю, чтобы вы стояли передо мной в подобной позе!» и так далее, и так далее.

Глава из учебника была прочитана дважды, девочки закрыли учебники и подверглись экзамену. Урок был посвящен первой половине царствования Карла I, и вопросы в основном касались торговых судов, пошлин с общего веса груза, сборов на постройку военных кораблей, и мало кто отвечал верно, однако все неясности разъяснялись, когда наступала очередь Бернс. Ее память, видимо, сохранила урок во всей полноте, и у нее был готов ответ на каждый вопрос. Я все время ждала, что мисс Скэтчерд вот-вот ее похвалит за прилежание, но вместо этого она внезапно крикнула:

— Отвратительная неряха! Вы даже не подумали утром почистить ногти!

Бернс ничего не ответила, и я поразилась ее молчанию.

«Почему, — думала я, — она не объяснит, что не могла ни почистить ногти, ни вымыть лицо, так как вода замерзла?»

Тут мое внимание отвлекла мисс Смит, пожелавшая, чтобы я подержала моток шерсти, и,

сматывая ее в клубок, она задавала мне вопросы: училась ли я в другой школе, умею ли я вышивать метки, подрубать, вязать; и пока она меня не отпускала, я не могла продолжать свои наблюдения за мисс Скэтчерд. Когда же я вернулась на прежнее место, она как раз отдала распоряжение, смысл которого я не поняла. Однако Бернс тотчас вышла из классной в примыкавший чуланчик, где хранились учебники, и через полминуты вернулась с пучком прутьев, связанных у одного конца. Это зловещее орудие она протянула мисс Скэтчерд с почтительным реверансом, затем спокойно, не дожидаясь приказания, сняла передник, и учительница тут же двенадцать раз сильно хлестнула ее прутьями по шее. На глаза Бернс не навернулось ни единой слезинки. Я перестала шить, потому что у меня при виде этого пальцы задрожали от бесполезной, бессильной ярости, однако обычное выражение ее задумчивого лица ни на йоту не изменилось.

— Неисправимая упрямица! — воскликнула мисс Скэтчерд. — Видимо, нет способа отучить вас от неряшливости! Унесите розги.

Бернс подчинилась. Я внимательно вглядывалась в нее, когда она вышла из чуланчика: она как раз убирала в карман носовой платок, и на ее

худой щеке поблескивала полоска, оставленная слезой.

Вечерний час досуга оказался самой приятной частью ловудского дня. Пол-ломтя хлеба и глоток кофе в пять часов придавали бодрости, если и не утоляли голода; долгой муштре наступал временный конец; в классной становилось теплее, чем утром, так как в каминах разводили огонь поярче для экономии свечей, и красноватый полумрак, дозволенный шум, нестройный гул голосов — все это создавало желанное ощущение свободы.

В этот час, в тот день, когда мне пришлось увидеть, как мисс Скэтчерд била свою ученицу Бернс, я в одиночестве бродила между столами, скамьями, группками смеющихся девочек, но одинокой себя не чувствовала. Оказавшись рядом с окном, я иногда приподнимала штору и выглядывала наружу: там валил снег, и нижние стекла уже замело. Прижимая ухо к стеклу, я различала сквозь веселый гам внутри тоскливые стоны ветра снаружи.

Вероятно, расстанься я с уютным домом и ласковыми родителями, в этот час я бы особенно сильно переживала разлуку с ними, ветер за окнами удручал бы мне сердце, беспорядочный гвалт угнетал бы меня, теперь же они вызывали

во мне непривычное возбуждение, беззаботное, лихорадочное желание, чтобы ветер завыл еще более дико, сумерки сгустились во мрак, а гвалт стал бы оглушительным. Перепрыгивая через скамьи, проползая под столами, я добралась до одного из каминов. Там я увидела Бернс: стоя на коленях перед решеткой, безмолвная, сосредоточенная, она спряталась от всего окружающего в книгу, которую читала при тусклом свете догорающих углей.

— Все еще «Расселас»? — спросила я, подходя к ней сзади.

— Да, — сказала она. — Я как раз дочитываю.

И через пять минут она, к большой моей радости, захлопнула книгу.

«Теперь, — подумала я, — может быть, мне удастся ее разговорить». И я села рядом с ней на полу.

— А как тебя зовут не по фамилии, а по имени?

— Хелен.

— Ты сюда приехала издалека?

— Да, с севера, почти с самой шотландской границы.

— А ты вернешься туда?

— Надеюсь, но никто не может быть уверен в будущем.

— Тебе, наверное, хочется уехать из Ловуда?

— Нет. С какой стати? Меня послали в Ловуд получить образование, и пока я его не получила, уехать было бы бессмысленно.

— Но эта учительница, мисс Скэтчерд, она так жестока с тобой!

— Жестока? Вовсе нет. Она строга и не терпит моих недостатков.

— А я бы на твоем месте не стерпела таких ее придирок, я бы противилась ей! Ударь она меня, я бы вырвала розгу из ее рук и сломала бы у нее под носом!

— Наверное, ничего подобного ты не сделала бы; а сделала бы, так мистер Броклхерст исключил бы тебя из школы, и это было бы большим горем для твоих близких. Куда, куда лучше терпеливо сносить обиды, которых никто, кроме тебя, не чувствует, чем совершить необдуманный поступок, тяжкие последствия которого падут на всех, кто с тобой связан, а к тому же Писание учит нас платить добром за зло.

— Но ведь так стыдно, когда тебя бьют и посылают стоять посреди комнаты, где столько людей! Ты ведь уже большая девочка. Я намного моложе тебя, но я бы не вытерпела.

— Тем не менее вытерпеть — твой долг, раз это

неизбежно. Слова, что ты не вытерпишь того, что судьба назначила тебе терпеть, лишь свидетельствуют о слабости и глупости.

Я слушала ее с изумлением. Такая доктрина стоического терпения была мне недоступна; и уж совсем я не могла понять и принять оправданий ее мучительницы. Тем не менее я почувствовала, что Хелен Бернс видит все в свете, недоступном моим глазам. Мне показалось, что, возможно, правота за ней, а не за мной, и, подобно Феликсу, я отложила решение вопроса на потом.

— Ты говоришь, что у тебя есть недостатки, Хелен. Так какие же? По-моему, ты очень хорошая.

— Ну, тогда научись на моем примере не судить по наружности. Я, как и говорит мисс Скэтчерд, очень неряшлива; я редко привожу свои вещи в порядок и не слежу за этим; я небрежна, я забываю правила, я читаю, когда мне следовало бы учить уроки, я непоследовательна и иногда я вроде тебя говорю, что не способна вытерпеть подчинение строгому распорядку. Все это не может не раздражать мисс Скэтчерд, так как она по натуре аккуратна, пунктуальна и взыскательна.

— А еще зла и жестока, — добавила я, но Хелен Бернс не выразила согласия со мной и промолчала.

— Мисс Темпл так же сурова с тобой, как мисс Скэтчерд?

При упоминании имени мисс Темпл по ее серьезному лицу скользнула мягкая улыбка.

— Мисс Темпл — сама доброта, ей больно быть суровой к ученицам, даже к худшим в школе. Она видит мои ошибки и ласково указывает мне на них. А если мне что-нибудь удается, она не скупится на похвалу. О том, насколько дурен мой злополучный характер, можно судить хотя бы по тому, что ее уговоры, такие кроткие, такие справедливые, бессильны излечить меня от недостатков. И даже ее похвалы, как ни высоко я их ценю, не заставляют меня все время следить за собой и избегать ошибок.

— Странно! — сказала я. — Ведь так легко быть прилежной!

— Тебе легко, я не сомневаюсь. Утром в классной я следила за тобой и видела, какая ты сосредоточенная. Пока мисс Миллер объясняла урок и задавала тебе вопросы, ты ни разу не отвлеклась. А мои мысли всегда где-то блуждают: мне следует слушать мисс Скэтчерд и хорошенько запоминать все, что она говорит, а я нередко даже ее голоса не слышу. Словно погружаюсь в сон. Порой мне чудится, будто я в Нортумберленде и звуки

вокруг меня — это журчание ручья, который струится возле нашего дома в Дипдене. И когда настает мой черед отвечать, меня приходится будить. А так как я слушала мой воображаемый ручей, вместо того чтобы читать учебник, то ответить я не могу.

— Но ведь сегодня ты отвечала так хорошо!

— Чистая случайность: тема урока очень меня заинтересовала. Сегодня, вместо того чтобы мечтать о Дипдене, я старалась понять, каким образом человек, стремившийся исполнять свой долг, мог поступать так несправедливо и неразумно, как порой поступал Карл Первый. И мне было так жаль, что при всем своем благородстве и самых лучших намерениях он оказался не способен думать о чем-либо, кроме прерогатив короны. Будь он способен заглядывать в будущее и замечать, куда устремляется дух эпохи, как принято выражаться… Но все равно Карл мне нравится, я уважаю его, и я его жалею — бедного убитого короля! Да, его враги были несравнимо хуже — они пролили кровь, проливать которую не имели права. Как они посмели его убить!

Хелен теперь разговаривала сама с собой, забыв, что многое мне непонятно: ведь я не знала ничего — или почти ничего — о событиях, про

которые она говорила. И я вернула ее на мой уровень:

— А когда тебя учит мисс Темпл, твои мысли тоже разбегаются?

— Нет, конечно! Во всяком случае, очень редко. Ведь обычно мисс Темпл находит сказать нечто новое, дающее пищу для моих размышлений; ее манера говорить мне чрезвычайно нравится, и очень часто она сообщает сведения именно о том, что меня особенно интересует.

— Ну и значит, с мисс Темпл ты ведешь себя примерно?

— Да, но невольно. Я не делаю над собой никаких усилий, я следую своим склонностям. В такой примерности нет никакой заслуги.

— Нет, есть! Ты хорошая с теми, кто хорош с тобой. Сама я ничего другого и не хочу. Если постоянно быть хорошими и кроткими с теми, кто жесток и несправедлив, дурные люди начнут всегда добиваться своего, потеряют всякий страх и поэтому не только не станут меняться к лучшему, а, наоборот, будут делаться все хуже и хуже. Если нам наносят удар без малейшей причины, мы должны отвечать самым сильным ударом, на какой способны. Я в этом убеждена: таким сильным, чтобы тот, кто нас ударил первым, навсегда

закаялся поднимать на нас руку.

— Надеюсь, ты, когда станешь постарше, изменишь свое мнение. А пока ведь ты всего лишь маленькая невежественная девочка.

— Хелен, но я так чувствую! Я не могу не питать неприязни к тем, кто, как бы я ни старалась им угождать, продолжает питать неприязнь ко мне. Я должна противиться тем, кто наказывает меня несправедливо. Это так же естественно, как любить тех, кто со мной добр, и покорно нести наказание, если оно заслуженно.

— Эту доктрину исповедуют язычники и дикие народы, но христиане и цивилизованные нации ее отвергают.

— Почему же? Я не понимаю.

— Не насилие берет верх над ненавистью, и не месть лучше всего исцеляет обиды.

— А что же?

— Читай Новый Завет, вдумывайся в слова Христа и Его деяния, сделай Его слова законом для себя, а Его поступки — примером.

— А что Он говорит?

— Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим и презирающим вас.

— Тогда, значит, я должна любить миссис Рид,

а я не могу, и благословлять ее сына Джона, а это невозможно.

В свою очередь Хелен Бернс попросила меня объяснить мои слова, и я на свой лад поведала повесть моих страданий и обид. Волнение пробудило во мне ожесточение и воинственность; я изливала все, как чувствовала, ничего не смягчая и не утаивая.

Хелен терпеливо выслушала меня до конца. Я ожидала от нее каких-то слов, но она молчала.

— Ведь верно, — спросила я нетерпеливо, — что миссис Рид жестокосердная, плохая женщина?

— Она, бесспорно, не была добра к тебе. Но, видишь ли, ей не нравятся такие характеры, как твой, совсем так же, как мисс Скэтчерд не нравится мой склад характера. Но до чего же подробно ты помнишь, как она с тобой поступала и что говорила тебе! Какое необычайно глубокое впечатление ее несправедливость, видимо, оставила в твоем сердце! Никакое дурное обращение со мной не выжигает своего клейма на моих чувствах. Разве ты не была бы более счастлива, попытайся ты забыть ее суровость вместе с жгучим возмущением, которое она вызывала? Мне кажется, жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду

или запоминать обиды. В этой юдоли мы все без исключения обременены недостатками, но скоро, уповаю, наступает срок сбросить их груз вместе с нашими тленными телами, избавиться от этой сковывающей нас плоти, а с ней — от всего низменного и от греховности. И останется лишь искра духа, неуловимое начало жизни и мысли, столь же чистая, какой Творец вложил ее в свое творение. Она вернется туда, откуда явилась, быть может, для того, чтобы достаться существу более совершенному, чем человек, быть может, чтобы подниматься по сияющим ступеням от бледной человеческой души до серафима! Ведь невозможно, чтобы она, наоборот, пала от человека до адского демона? Нет, этому я не поверю. Во мне живет иное убеждение, которого никто мне не внушал: я редко говорю о нем, но оно преисполняет меня радостью и служит мне опорой. Я верую в надежду для всех, и она преображает Вечность в обитель безмятежности, в великолепный чертог, а не в бездну и ужас. И, веруя так, я столь же ясно отличаю преступника от его преступления, сколь искренне прощаю первому, питая отвращение ко второму. И потому, что я верую так, жажда мести никогда не терзает мое сердце, унижения не заставляют мучиться сты-

дом, несправедливость не гнетет меня слишком уж сильно. Я живу в душевном спокойствии и радостно жду конца.

Всегда слегка наклоненная голова Хелен при этой последней фразе опустилась чуть ниже. Я догадалась по ее лицу, что ей больше не хочется разговаривать со мной, что она предпочтет беседу с собственными мыслями. Однако времени для размышлений ей было отведено мало — почти сразу же к нам подошла староста, рослая грубая девушка, и заявила с заметным камберлендским выговором:

— Хелен Бернс, если ты сейчас же не пойдешь и не приведешь свой ящик в порядок и не сложишь шитье, как положено, я попрошу мисс Скэтчерд пойти поглядеть на него!

Хелен вздохнула вслед своим улетающим мыслям и послушно встала, молча и без промедления подчинившись требованию старосты.

Глава 7

Первые три мои месяца в Ловуде казались веком, причем отнюдь не золотым. Они были заняты тягостным поединком с необходимостью привыкать к новым правилам и неприятным обязанностям. Страх потерпеть неудачу мучил меня сильнее, чем выпадавшие на мою долю физические невзгоды, хотя эти последние никак нельзя было назвать пустяками.

На протяжении января, февраля и части марта сугробы, а когда они растаяли — почти непроезжие дороги не позволяли нам выходить за пределы садовой ограды, если не считать посещений церкви, зато в этих пределах мы ежедневно проводили обязательный час на свежем воздухе. Убогая одежда не могла защитить нас от холода; у нас не было теплых сапожек, снег набивался нам в башмаки и таял там. Наши ничем не защищенные руки немели и покрывались цыпками, и ноги тоже. Я хорошо помню мои вечерние мучения, когда я была способна думать только о том, как зудят и ноют у меня ноги. А какой пыткой было утром втискивать распухшие, стертые в

кровь, онемелые пальцы в башмаки! Кроме того — постоянный голод. У нас был обычный аппетит растущих детей, а еды, которую мы получали, только-только хватило бы не дать умереть больной старушке. Эта скудость приводила к тому, что истощенные старшие девочки улещиваниями или угрозами отнимали у младших учениц их долю. Сколько раз я делила положенный к кофе драгоценный ломтик ржаного хлеба между двумя претендентками на него. А затем, отлив третьей половину моей кружки, я выпивала то, что оставалось мне, с тайными голодными слезами.

Зимние воскресенья были тоскливыми днями. До броклбриджской церкви, где служил наш попечитель, было две мили. Мы выходили из Ловуда озябшими, входили в церковь, совсем оледенев, а пока шла утренняя служба, замерзали окончательно. Возвращаться в Ловуд обедать было слишком далеко, и между службами нам давали холодное мясо с хлебом, причем порциями ничуть не больше тех, что мы получали в будние дни.

По окончании дневной службы мы шли назад по холмистой открытой дороге, и пронизывающий зимний ветер с гряды снежных вершин на севере почти сдирал кожу с наших лиц.

Мне вспоминается, как мисс Темпл быстрой легкой походкой проходила вдоль нашей понурой вереницы, а ледяные порывы теребили теплый плащ, в который она куталась. И словами, и собственным примером она призывала нас воспрянуть духом и шагать вперед — «точно смелые воины», говорила она. Другие учительницы, бедняжки, обычно слишком страдали сами, и у них не хватало сил подбодрять.

А когда мы возвращались, как мечтали мы согреться у огня, пылающего в камине! Но младшим в этом утешении было отказано: оба камина в классной немедленно загораживались двумя рядами старших девочек, а младшие кучками скорчивались позади них, заворачивая исхудалые руки в передники.

Некоторым утешением была двойная порция хлеба к чаю (целый ломоть, а не половина, как в будни) с восхитительной добавкой в виде тонкого кусочка сливочного масла — еженедельного лакомства, о котором мы мечтали от Дня Господня до Дня Господня. Обычно я умудрялась сохранить для себя крохотную долю этого роскошного яства, но с остальным мне неизменно приходилось расставаться.

Воскресный вечер коротался за повторением

наизусть догматов церкви, а также пятой, шестой и седьмой глав Евангелия от Матфея, после чего следовала длинная проповедь, которую читала мисс Миллер, чьи судорожные позевывания свидетельствовали о ее усталости. Часто младшие девочки вносили некоторое разнообразие, уподобляясь Евтиху, который упал из окна во время проповеди апостола Павла, — они засыпали и падали, правда не с «третьего жилья», но с четвертой скамьи, и их поднимали полумертвыми от утомления. Против этого имелось действенное средство: их выталкивали на середину классной, где они и должны были стоять до конца проповеди. Иногда ноги у них подгибались, и они валились на пол. Тогда их подпирали табуретами старосты.

Я еще не упомянула про посещение школы мистером Броклхерстом, но сей джентльмен находился в отъезде почти до конца первого месяца моей жизни в Ловуде — возможно, он загостился у своего друга архидиакона. Так или иначе, а я испытывала большое облегчение: незачем говорить, что у меня были свои причины страшиться его появления в школе, но в конце концов он там появился.

Как-то днем (с моего приезда в Ловуд прошло

три недели) я сидела с грифельной доской в руке, решая пример на деление больших чисел, и рассеянно посмотрела в окно. Мой взгляд упал на фигуру, как раз проходившую мимо. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт, и когда две минуты спустя все в классной, включая учительниц, дружно поднялись на ноги, мне не требовалось объяснять, кого они так приветствуют. Широкий размеренный шаг через классную — и вот рядом с мисс Темпл, которая тоже встала, воздвиглась та же черная колонна, что столь зловеще хмурилась на меня с каминного коврика гейтсхедской гостиной. Теперь я осторожно покосилась на этот предмет архитектуры. Да, я не ошиблась: это был мистер Броклхерст, застегнутый на все пуговицы своего сюртука и на вид даже более длинный, узкий и несгибаемый, чем прежде.

У меня были свои причины прийти в смятение при виде него: слишком живы были в моей памяти губительные намеки миссис Рид на мои дурные наклонности и прочее, а также обещание мистера Броклхерста сообщить мисс Темпл и учительницам о порочности моей натуры. Все это время я отчаянно боялась, что он сдержит обещание. Ежедневно я высматривала приближение

вестника Рока, чей рассказ о моей прошлой жизни будет содержать сведения, которые навеки заклеймят меня как плохую девочку. И вот он здесь! Он стоял рядом с мисс Темпл и что-то говорил ей на ухо. Я не сомневалась, что он разоблачает мои злодейства, и вглядывалась в ее глаза с мучительной тревогой, с секунды на секунду ожидая, что эти темные зерцала души обратят на меня взгляд, полный отвращения и осуждения. И я вслушивалась, а так как я сидела неподалеку от них, то мне удалось разобрать почти все, что он говорил, и мои страхи несколько улеглись.

— Полагаю, мисс Темпл, нитки, которые я купил в Лондоне, именно то, что нужно. Мне пришло в голову, что они отлично подойдут для коленкоровых рубашек, и я подобрал необходимые иглы. Можете сказать мисс Смит, что я забыл сделать пометку о штопальных иглах, однако на следующей неделе она получит несколько пачек, только она ни в коем случае не должна выдавать более одной иглы единовременно. Если у каждой воспитанницы их будет более одной, они, конечно, забудут о бережливости и начнут их терять. Да, и еще одно, сударыня! Я желал бы, чтобы о шерстяных чулках заботились прилежней! Когда я был здесь в последний раз, то зашел в огород

и осмотрел одежду, сушившуюся на веревке. Большинство черных чулок оказалось в самом плачевном состоянии. Судя по дырам в них, я убежден, что их штопают небрежно и редко.

Он умолк.

— Ваши указания будут выполнены, сэр, — сказала мисс Темпл.

— И, сударыня, прачка сказала мне, что некоторые воспитанницы получили два чистых воротничка на протяжении одной недели. Это слишком! Правила ограничивают их одним!

— Полагаю, я могу объяснить это, сэр. В прошлый четверг Агнес и Кэтрин Джонстоуны были приглашены на чай к их знакомым в Лоутоне, и я разрешила им надеть в гости свежие воротнички.

Мистер Броклхерст кивнул:

— Ну, один раз можно сделать исключение, но, прошу, не допускайте подобного слишком часто. И меня удивило еще одно обстоятельство: проверяя счетную книгу с экономкой, я обнаружил, что за последние две недели ученицы дважды получали второй завтрак, состоявший из хлеба с сыром. Как могло произойти такое? Я сверяюсь с правилами и не нахожу в них никакого упоминания о вторых завтраках. Кто ввел подобное

новшество? И на каком основании?

— Отвечать за это должна я, сэр, — сказала мисс Темпл. — Завтрак был приготовлен столь дурно, что воспитанницы не могли его есть, и я не решилась оставить их голодными до обеда.

— Сударыня, одну минуту, прошу вас! Вы знаете, что мой план воспитания этих девочек состоит не в том, чтобы прививать им привычку к роскоши и излишествам, но в том, чтобы сделать их выносливыми, терпеливыми, нетребовательными. Если случайность вынуждает к некоторому воздержанию от пищи из-за испорченного блюда — подгоревшего или оставшегося полусырым, никак не следует заглаживать ее, возмещая потерю чем-то более изысканным, потакая требованиям плоти и пренебрегая целью сего заведения. Напротив, случайность эта должна способствовать духовному воспитанию ваших учениц, должна научить их противоставлять твердость временным невзгодам. Краткое поучение явилось бы отнюдь не лишним: благоразумная наставница воспользовалась бы подобной возможностью, дабы напомнить о страданиях первых христиан; о том, что претерпевали мученики; об увещеваниях самого Господа нашего, призывавшего Своих учеников взять крест свой и следовать за

Ним, о Его предостережении, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, о его божественном утешении: «Если терпите вы голод и жажду во Имя Мое, блаженны будете!» Ах, сударыня, влагая в уста этих детей хлеб с сыром взамен подгоревшей овсянки, вы поистине могли напитать их грешную плоть, но даже не помыслили о том, что морите голодом их бессмертные души!

Мистер Броклхерст вновь умолк — возможно, не совладав со своими чувствами. Мисс Темпл, когда он только обратился к ней, опустила глаза, но теперь она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, от природы белое как мрамор, словно вдруг обрело холодность и твердость этого камня — особенно губы, которые сомкнулись так, что казалось, будто открыться они могут лишь под резцом ваятеля, а лоб постепенно застыл в окаменелой суровости.

Тем временем мистер Броклхерст, стоя перед камином и заложив руки за спину, величественно озирал сидящих учениц. Внезапно его глаза мигнули, словно что-то ослепило или поразило их зрачки. Обернувшись, он проговорил уже не с прежней медлительностью:

— Мисс Темпл, мисс Темпл, что… что это за де-

вочка с завитыми волосами? Рыжими волосами, сударыня, завитыми… завитыми по всей голове?

Подняв трость, он трясущейся рукой указал на этот ужас.

— Джулия Северн, — ответила мисс Темпл очень спокойно.

— Джулия Северн, сударыня! А почему волосы у нее — и у кого угодно еще — почему они завиты? Почему, вопреки всем установлениям и принципам этой школы, она столь открыто предается мирской суетности здесь, в евангелическом благотворительном заведении, и превращает свои волосы в копну кудряшек?

— Волосы Джулии вьются от природы, — ответила мисс Темпл еще спокойнее.

— От природы! Да, но мы не подчинены природе! Я желаю, чтобы здешние воспитанницы были детьми Благодати… и почему они так пышны? Я снова и снова настоятельно указывал, что волосы должны причесываться гладко, скромно, просто. Мисс Темпл, волосы этой воспитанницы необходимо остричь, остричь под корень. Завтра я пришлю цирюльника; и, как вижу, у других тоже много подобного безобразия. Вот та высокая девочка, прикажите ей повернуться. Велите всему первому классу подняться и стать лицом к стене.

Мисс Темпл провела платком по губам, словно пряча улыбку, невольно изогнувшую их, однако отдала распоряжение, и когда старшие ученицы поняли, чего от них требуют, они послушно встали лицом к стене. Чуть-чуть откинувшись, я смогла поглядеть на их лица: какими гримасами они встретили это распоряжение! Жаль только, что мистер Броклхерст их не видел! Быть может, он понял бы, что, какую бы форму он ни тщился придать сосуду снаружи, внутренность этого сосуда была ему куда менее доступна, чем он полагал.

Минут пять он изучал оборотную сторону этих живых медалей, затем вынес приговор. Слова его прозвучали похоронным звоном:

— Все эти пучки необходимо убрать!

Мисс Темпл, казалось, что-то возразила.

— Сударыня, — продолжал он, — у меня есть Владыка, коему я служу, и царствие Его не от мира сего: мой священный долг — умерщвлять в этих девочках вожделения плоти; научить их украшать себя стыдливостью и смирением, а не заплетенными косами и дорогими нарядами. Ведь каждая из юниц перед нами уложила волосы в косу, какую могло бы заплести само тщеславие. Они, повторяю, должны быть отрезаны. Подумай-

те о попусту потраченном времени, о…

Мистер Броклхерст прервал свою речь, так как в комнату вошли три посетительницы. Им следовало бы войти чуть раньше и послушать обличение суетной любви к нарядам, ибо они блистали дорогими туалетами из бархата, шелка и мехов. На двух из них (прехорошеньких барышнях шестнадцати и семнадцати лет) были модные тогда серые касторовые шляпы, отделанные страусовыми перьями, и из-под полей этих изящных головных уборов ниспадали пышные, тщательно завитые локоны; вошедшая с ними дама куталась в бархатную накидку, отороченную горностаем, а ее лоб осеняла накладная завитая челка, изделие французского куафера.

Мисс Темпл очень почтительно встретила эту троицу — миссис Броклхерст с двумя мисс Броклхерст — и проводила их на почетные места в верхнем конце комнаты. Они приехали в карете с преподобным главой семьи, и пока он проверял с экономкой счета, расспрашивал прачку и наставлял директрису, они провели придирчивый осмотр комнат наверху. Теперь они принялись в три голоса упрекать мисс Смит, которая заведовала бельем и следила за порядком в дортуарах. Но мне было не до их замечаний: мое внимание

было поглощено совсем другим.

Прислушиваясь к беседе мистера Броклхерста с мисс Темпл, я одновременно принимала меры, чтобы обезопасить себя, полагая, что все обойдется, если я сумею остаться незамеченной. Ради этой цели я отодвинулась на скамье поглубже и, притворяясь, будто усердно решаю пример, старательно загораживала лицо грифельной доской. Возможно, я добилась бы своей цели, но только грифельная доска предательски выскользнула из моих пальцев и ударилась об пол с треском, который немедленно привлек ко мне все взгляды. Я поняла, что погибла, и, наклоняясь за обломками доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило обрушиться на меня.

— Небрежная девочка! — сказал мистер Броклхерст и тут же продолжал: — А, как вижу, это новенькая воспитанница! — добавив, прежде чем я успела перевести дух: — Помнится, мне следует сказать о ней два-три слова. — И очень громко — так по крайней мере показалось мне: — Пусть воспитанница, разбившая грифельную доску, выйдет вперед!

Сама бы я не шелохнулась — меня парализовал ужас, но две старшие девочки, сидевшие справа и слева от меня, подняли меня на ноги и подтолк-

нули к грозному судье. Затем мисс Темпл подвела меня почти к самым его ногам, и я расслышала ее подбадривающий шепот:

— Не бойся, Джейн, я видела, что это произошло случайно. Ты не будешь наказана.

Ее ласковый шепот вонзился мне в сердце кинжалом.

«Еще минута, и она начнет меня презирать, как лицемерку», — подумала я, и тотчас меня охватила страшная ярость против Ридов, Броклхерста и компании. Нет, я не была Хелен Бернс.

— Подайте вон тот табурет, — сказал мистер Броклхерст, указывая на очень высокий табурет, с которого только что встала одна из старост.

Его принесли.

— Поставьте на него эту девочку.

И меня водрузили на табурет, уж не знаю кто. Я была не в том состоянии, чтобы замечать частности, и сознавала лишь, что очутилась на уровне носа мистера Броклхерста, что меня от него отделяет один шаг и что ниже меня простирается и колышется облако лиловой и оранжевых накидок, пышных серебристых плюмажей.

Мистер Броклхерст откашлялся.

— Сударыни, — сказал он, обращаясь к жене и дочерям, — мисс Темпл, учительницы и воспи-

танницы, вы все видите эту девочку?

Еще бы они меня не видели! Я ощущала, как их взгляды опаляют мою кожу, будто солнечные лучи, собранные в пучок увеличительным стеклом.

— Вы видите, она еще юна, вы замечаете, что по облику она не отличается от других девочек; Бог милостиво дал ей ту же форму, какой одарил нас всех, никакое заметное уродство не указывает на порочный характер. Кто бы подумал, что Отец Зла уже обрел в ней свою служанку и сообщницу? Однако я с прискорбием должен сказать, что это именно так.

Пауза, в течение которой я начала справляться с пляской моих нервов и понимать, что Рубикон перейден, что испытание, которого избежать не удалось, необходимо перенести с твердостью.

— Дорогие детки, — с пафосом продолжал священник, вырубленный из черного мрамора, — это печальный, прискорбнейший случай, ибо мой долг — предостеречь вас, что эта девочка, которая могла бы стать Божьей овечкой, на самом деле — отступница, не пасомая верного стада, но проникшая в него притворщица. Вы должны остерегаться ее, вы должны бежать ее примера — если необходимо, избегайте ее общества, исключай-

те ее из ваших забав и не дозволяйте ей стать участницей ваших разговоров. Наставницы, вы должны бдительно следить за ней, не спускать с нее глаз, взвешивать каждое ее слово, вникать в каждый ее поступок, карать телесно во имя спасения ее души — если спасение для нее еще возможно! Ибо (язык отказывается повиноваться мне, пока я повествую об этом) сия девочка, сие дитя, рожденное в христианской стране, гораздо хуже многих маленьких язычников, которые молятся Браме и падают на колени перед Джаггернаутом. Эта девочка… Она — лгунья!

Наступила десятиминутная пауза, во время которой я, уже полностью вернув себе власть над рассудком и чувствами, наблюдала, как все Броклхерсты женского пола извлекли кружевные платочки и прижали их к очам, причем дама содрогалась, а барышни шептали:

— Какой ужас!

Затем мистер Броклхерст возобновил свою иеремиаду:

— Это я узнал от ее благодетельницы, от благочестивой и милосердной дамы, которая пригрела ее, сироту, растила, как собственную дочь, и за чью доброту, за чье великодушие эта злосчастная отплатила неблагодарностью, столь возмути-

тельной, столь чудовищной, что в конце концов ее превосходнейшая покровительница была вынуждена отделить ее от собственных чад, дабы ее дурной пример не осквернил их чистоты, и послала ее сюда для исцеления, как древле иудеи погружали своих недужных в возмущенные воды Вифезды, купальни у иерусалимских врат. Молю вас, учительницы, директриса, не дайте воде сей загнить вокруг нее!

После этой высочайшей кульминации мистер Броклхерст застегнул верхнюю пуговицу сюртука и сказал что-то вполголоса своей супруге и дочерям. Они поднялись, кивнули мисс Темпл, и именитая семья торжественно покинула комнату. Однако в дверях мой судья обернулся и сказал:

— Пусть постоит на табурете еще полчаса и пусть до конца дня никто с ней не разговаривает.

И я осталась стоять на своем пьедестале — я, утверждавшая, что не вытерпела бы, если бы меня заставили стоять на собственных ногах посреди комнаты, была теперь выставлена на всеобщее обозрение, как у позорного столба. Нет слов для описания моих чувств, но в тот миг, когда они жгучей волной захлестнули меня,

перехватывая дыхание, стискивая горло, мимо меня прошла девочка и, проходя, подняла на меня глаза. Какой неизъяснимый свет горел в них! Какое необыкновенное чувство вызвал во мне их луч! И как он меня ободрил. Словно мимо рабы, мимо жертвы прошел мученик, герой и одарил ее новой силой. Я подавила подступившие к горлу истерические рыдания, подняла голову и тверже поставила ноги. Хелен Бернс что-то спросила у мисс Смит о своем рукоделии, получила выговор за такое пустяковое затруднение, а затем вернулась на свое место, улыбнувшись мне, когда вновь проходила мимо. И какой улыбкой! Я и сейчас помню ее, этот отблеск чудного ума, истинного мужества. Она озарила ее черты, ее худое лицо, запавшие серые глаза точно свет, исходящий от ангела. И ведь на руке Хелен Бернс была повязка с надписью «Неряха» и менее часа назад я слышала, как мисс Скэтчерд бранила ее за кляксу на упражнении, которое она переписывала, и распорядилась, чтобы завтра на обед ей дали только хлеб с водой. Такова несовершенная природа человека! Таковы пятна на солнечном диске! А глаза, подобные глазам мисс Скэтчерд, способны видеть лишь эти крохотные несовершенства, а не полноту сияния!

Глава 8

Полчаса еще не истекли, как пробило пять, уроки завершились, и все пошли в столовую пить кофе с хлебом. Я осмелилась спуститься с табуретки. В комнате царил глубокий сумрак, и, укрывшись в углу, я села на пол. Силы, поддерживавшие меня, иссякли, я ощутила всю тяжесть того, что произошло, и от горя распростерлась ничком на полу. И заплакала. Хелен Бернс рядом не было, я ни в чем не находила поддержки и, предоставленная самой себе, перестала сдерживаться, обливая слезами половицы. А я-то собиралась быть такой хорошей! И ждала от Ловуда столь многого: найти подруг, добиться уважения, заслужить любовь! И ведь я уже была на пути к успеху. В это самое утро я заняла в своем классе первое место; мисс Миллер ласково меня похвалила; мисс Темпл одобрительно мне улыбнулась и пообещала учить меня рисованию и позволить мне учиться французскому языку, если я еще два месяца буду успевать не хуже. Кроме того, воспитанницы приняли меня в свою среду, мои сверстницы обходились со мной как

с равной, и никто меня не обижал. И вот теперь я снова сокрушена, растоптана! Мне уже больше никогда не подняться!

«Никогда!» — подумала я, и мне захотелось тут же умереть. И пока я сквозь рыдания прерывающимся голосом молила о смерти, до меня донеслись чьи-то шаги. Я приподнялась. Это снова была Хелен Бернс, в отблесках угасающего огня я увидела, что она идет ко мне через длинную пустую комнату.

Она поставила рядом со мной кружку с кофе и хлеб, говоря:

— Успокойся, поешь немного.

Но я отодвинула их, чувствуя, что в этом моем состоянии одной капли, одной крошки будет достаточно, чтобы я задохнулась. Хелен смотрела на меня, вероятно, с удивлением. Я не могла справиться с собой, как ни пыталась, и продолжала громко рыдать. Она села рядом, обхватила руками колени и положила на них голову. В этой позе она хранила молчание точно индеец. И первой заговорила я:

— Хелен, почему ты остаешься с девочкой, которую все считают лгуньей?

— Все, Джейн? Но ведь всего восемьдесят человек слышали, как тебя назвали так, а в мире

живут сотни миллионов людей.

— Какое мне дело до миллионов? А те восемьдесят, которых я знаю, меня презирают.

— Джейн, ты ошибаешься. Думаю, никто в школе не относится к тебе с презрением или неприязнью, а многие, я уверена, от души тебя жалеют.

— Как они могут жалеть меня после того, что наговорил мистер Броклхерст?

— Мистер Броклхерст не какой-то бог и даже не великий, достойный восхищения человек. Он не пользуется здесь любовью и никогда ничего не делал, чтобы ее заслужить. Если бы он обошелся с тобой как с избранной любимицей, у тебя появились бы враги — и явные, и тайные. Много врагов. Ну а сейчас большинство выразили бы тебе сочувствие, если бы осмелились. Учительницы и девочки, возможно, день-другой будут смотреть на тебя холодно, хотя и пряча в сердце дружеское расположение к тебе. А если ты не оставишь своих усилий быть хорошей, очень скоро оно проявится особенно сильно из-за того, что его временно пришлось подавлять. К тому же, Джейн… — Она умолкла.

— Так что же, Хелен? — спросила я, вкладывая ладонь в ее руку. Она осторожно погладила мои

пальцы, стараясь их согреть, а затем продолжала:

— Даже если бы весь свет ненавидел тебя и считал плохой, если собственная совесть тебя не укоряет, не находит за тобой никакой вины, ты не останешься без друзей.

— Нет. Я знаю, что ни в чем не виновата, но этого мало: если другие не станут меня любить, я предпочту умереть — я не вынесу, Хелен, если останусь одна, всеми ненавидимая! Послушай, чтобы заслужить доброе чувство — твое, мисс Темпл, всех, кого я по-настоящему люблю, — я бы с радостью дала сломать себе руку, или позволила бы быку поднять меня на рога, или встала бы позади брыкучей лошади и дала бы ей ударить меня копытом в грудь…

— Ш-ш-ш, Джейн! Ты слишком много думаешь о людской любви, ты слишком порывиста, слишком несдержанна: Всемогущая Рука, сотворившая твое тело и вложившая в него жизнь, одарила тебя иными опорами, нежели твоя слабая природа или другие ее создания, не менее слабые, чем ты. Кроме этой земли, кроме рода человеческого, есть невидимый мир и царство духов. Этот мир везде вокруг нас, ибо он повсюду, и духи эти берегут нас, ибо на них возложено охранять нас,

и если мы умираем в муках и позоре, если презрение поражает нас со всех сторон, а ненависть сокрушает нас, ангелы видят наши страдания и знают, что мы невиновны (если мы и вправду невиновны, как я знаю, невиновна ты — мистер Броклхерст неубедительно и напыщенно повторил обвинение, услышанное от миссис Рид и ничем не подкрепленное, а я читаю искренность в твоем горящем взоре, на твоем чистом лбу), и Бог ждет лишь отделения духа от плоти, чтобы сполна вознаградить нас. Так стоит ли никнуть под тяжестью горя, раз жизнь так скоро кончится, а смерть — заведомые врата к счастью, к вечному райскому блаженству?

Я молчала. Хелен успокоила меня, но к безмятежности духа, которой она меня одарила, примешивалась невыразимая печаль. У меня, пока она говорила, возникло ощущение неизбывной тоски, хотя я не понимала ее причины. А когда, договорив, Хелен задышала часто-часто и закашлялась, я забыла о своих бедах, испытывая смутную тревогу за нее. Положив голову на плечо Хелен, я обняла ее за талию, она притянула меня к себе, и мы сидели так, молча. Однако вскоре кто-то еще вошел в комнату. Поднимающийся ветер согнал с небосвода тяжелые тучи, и засияла луна.

Ее лучи, лившиеся в окно неподалеку, осветили и нас, и приближающуюся фигуру, в которой мы тотчас узнали мисс Темпл.

— Я пришла за тобой, Джейн Эйр, — сказала она. — Пойдем в мою комнату, а так как с тобой Хелен Бернс, она может пойти с нами.

Следом за директрисой мы прошли по лабиринту коридоров, потом поднялись по лестнице и вошли в ее комнату. Там пылал огонь и все выглядело очень уютно. Мисс Темпл велела Хелен Бернс сесть в низенькое кресло с одной стороны камина, опустилась в другое и подозвала меня к себе.

— Все позади? — спросила она, глядя сверху вниз на мое лицо. — Ты выплакала свое горе?

— Боюсь, мне его никогда не выплакать.

— Почему?

— Потому что меня несправедливо обвинили, и вы, сударыня, и все остальные теперь считаете меня плохой.

— Мы будем считать тебя такой, какой ты покажешь себя, дитя мое. Веди себя по-прежнему хорошо, и наше мнение о тебе останется хорошим.

— Правда, мисс Темпл?

— Конечно. — И она обняла меня за талию. — А

теперь скажи мне, кто та дама, которую мистер Броклхерст называл твоей благодетельницей?

— Миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и перед смертью поручил меня ее попечению.

— Так, значит, она приютила тебя не по собственному желанию?

— Да, сударыня. И ей это очень не нравилось, но я часто слышала от слуг о том, как дядя взял с нее торжественную клятву всегда обо мне заботиться.

— Так вот, Джейн, как тебе известно — а если нет, я тебе объясню, — обвиняемому всегда позволяют защищаться. Тебя обвинили во лживости, так оправдай себя передо мной, насколько в твоих силах. Расскажи все, что тебе представляется правдой. Но ничего не добавляй и ничего не преувеличивай.

В глубине сердца я решила, что буду говорить спокойно, не увлекаясь, и, собравшись с мыслями, чтобы понятнее изложить свою историю, я рассказала ей о моем тоскливом детстве. Измученная недавней бурей чувств, я говорила без горячности, которую обычно пробуждала во мне эта тема, помнила, как Хелен советовала не поддаваться ненависти, и в моих словах было куда меньше привычных желчи и злобы. Сдержан-

ность и простота придали моей повести больше убедительности. И мало-помалу я почувствовала, что мисс Темпл мне верит.

Упомянула я и о том, как мистер Ллойд навестил меня после припадка: я ведь не забыла такие для меня страшные часы, проведенные в Красной комнате. И, рассказывая о них, я вновь пришла в волнение, потому что даже в воспоминаниях ничто не могло смягчить агонию в моем сердце, когда миссис Рид презрела мои мольбы о пощаде и во второй раз заперла меня в темной комнате с привидением.

Я кончила свой рассказ. Мисс Темпл некоторое время смотрела на меня молча, а потом сказала:

— Я немного знакома с мистером Ллойдом и напишу ему. Если его ответ подтвердит твои слова, ты будешь публично очищена от всех обвинений. Но в моих глазах, Джейн, ты уже чиста.

Она поцеловала меня и, все еще удерживая рядом с собой (но теперь я была рада стоять там, потому что испытывала детское удовольствие от созерцания ее лица, ее платья, одного-двух украшений, белого лба, собранных в букли глянцевых кудрей и лучистых темных глаз), обратилась к Хелен Бернс:

— Как ты себя чувствуешь сегодня вечером,

Хелен? Днем ты много кашляла?

— Мне кажется — нет, сударыня.

— А боли в груди?

— Немного легче.

Мисс Темпл встала, взяла ее руку и пощупала пульс, потом опустилась в свое кресло, и я услышала ее тихий вздох. Несколько минут она просидела в задумчивости, затем очнулась и сказала весело:

— Но вы обе сегодня мои гостьи, и мне следует принять вас, как положено. — Она тряхнула колокольчиком и сказала вошедшей служанке: — Барбара, я еще не пила чай. Принесите поднос и поставьте две чашки для барышень.

Поднос появился очень скоро. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко расписанный чайник с заваркой на круглом столике у камина! Каким душистым был пар, как вкусно пахнул поджаренный хлеб! Однако, к моему отчаянию (потому что я уже сильно проголодалась), его ломтиков было очень мало. Мисс Темпл тоже это заметила.

— Барбара, — сказала она, — вы не принесете еще хлеба с маслом? Этого на троих недостаточно.

Барбара вышла, но скоро вернулась со слова-

ми:

— Сударыня, миссис Харден говорит, что хлеба положила как обычно.

(Миссис Харден, следует объяснить, была экономка, женщина очень по душе мистеру Броклхерсту, в равных долях сотворенная из китового уса и железа.)

— Ну что же! — ответила мисс Темпл. — Видимо, Барбара, нам придется обойтись этим. — А когда служанка ушла, она добавила с улыбкой: — К счастью, на этот раз у меня найдется для вас другое угощение.

Пригласив нас с Хелен к столику и поставив перед нами по чашке с чаем и положив по одному восхитительному, но, увы, такому тоненькому поджаренному ломтику, она встала, отперла ящик и, достав из него бумажный сверток, вскоре явила нашим глазам внушительный тминный кекс.

— Я собиралась дать вам по куску с собой, — сказала она, — но, раз хлеба так мало, вы получите их теперь. — И она нарезала кекс щедрой рукой.

В этот вечер мы ублажались нектаром с амброзией, и пиршество это дополняла благожелательная улыбка, с которой мисс Темпл наблюдала, как мы утоляем голод яствами, которыми она радуш-

но угостила нас. Когда чай был допит и поднос унесен, она вновь подозвала нас к огню. Мы сели справа и слева от нее, и они с Хелен начали беседу, слушать которую было большой привилегией. Облик мисс Темпл, выражение ее лица всегда отличало некое величавое спокойствие, а ее речи была свойственна изысканная правильность, которая исключала запальчивость, волнение, увлеченность, и это нечто сдерживало восторг тех, кто смотрел на нее и слушал ее, добавляя к нему почтительное благоговение. Именно таковы были мои чувства, но Хелен Бернс изумила меня.

Подкрепляющая еда, яркий огонь, присутствие и доброта любимой наставницы, а возможно, сверх того, ее собственный необычный ум пробудили ее духовные силы. Они проснулись, они воспряли, они окрасили румянцем ее лицо, которое до той минуты я видела всегда бледным и бескровным. Затем они засияли в ее оживившихся глазах, которые вдруг превзошли красотой глаза мисс Темпл. И это была красота не их чудесного цвета, не длинных ресниц, не тонких бровей, но прелести, блеска, света мысли. Душа ее раскрылась, и речь потекла свободно, не знаю из какого истока. Может ли сердце четырнадца-

тилетней девочки быть настолько большим и настолько сильным, чтобы вместить родник чистого, убедительного, пылкого красноречия? Вот чем поразила меня Хелен в тот достопамятный вечер: ее дух словно торопился прожить за краткий срок не менее, чем другие проживают за долгую жизнь.

Они говорили о вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия. О народах и давних временах, о дальних странах, о тайнах природы, открытых или пока не разгаданных. Они говорили о книгах. Как много они читали! Какими сокровищами знаний обладали! И были так хорошо знакомы с Францией и французскими авторами. Однако мое изумление достигло предела, когда мисс Темпл осведомилась у Хелен, удается ли ей выбирать минутку, чтобы освежать латынь, которой ее учил отец, и, взяв с полки книгу, попросила ее прочесть и перевести страницу из Вергилия. Хелен начала читать, и моя шишка почтительного благоговения увеличивалась с каждой звучной строкой. Едва она кончила, как колокол возвестил час отхода ко сну. Никакие отсрочки не допускались. Мисс Темпл поцеловала нас обеих и, привлекая к своему сердцу, сказала:

— Бог да благословит вас, мои дети!

Хелен она задержала в объятиях чуть дольше, чем меня, разжала руки с большой неохотой. До дверей ее глаза провожали Хелен, из-за нее она опять грустно вздохнула, из-за нее утерла слезу со щеки.

Подходя к дортуару, мы услышали голос мисс Скэтчерд. Проверяя наши ящики, она как раз выдвинула ящик Хелен Бернс, и, когда мы вошли, Хелен была встречена строгим выговором, а также обещанием, что завтра к ее плечу пришпилят полдюжины неаккуратно сложенных платков и прочего.

— Мои вещи, правда, в недозволительном беспорядке, — вполголоса сказала мне Хелен. — Я собиралась прибраться в ящике, но забыла.

Утром мисс Скэтчерд крупными буквами написала на полоске картона «Неряха» и словно повязку со словами Завета наложила ее на высокий, нежный, умный, добрый лоб Хелен. И Хелен носила эту надпись до вечера — терпеливо, без возмущения, считая такое наказание заслуженным. Едва мисс Скэтчерд удалилась после дневных уроков, как я подбежала к Хелен, сорвала картонку с ее лба и сунула в огонь: в моей груди с утра кипела ярость, на которую сама она была не способна, и крупные горячие слезы все

время обжигали мои щеки. Ее покорное смирение терзало мне сердце невыносимой болью.

Примерно через неделю после событий, о которых говорилось выше, мисс Темпл получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, и, видимо, то, что он написал, подтверждало мой рассказ. Мисс Темпл собрала всех воспитанниц и объявила, что обвинения против Джейн Эйр были тщательно проверены и она счастлива сообщить, что все они полностью опровергнуты. После чего учительницы пожали мне руку и поцеловали меня, а по рядам моих товарок прокатился одобрительный ропот.

Так, избавленная от невыносимого бремени, я с этого часа вновь принялась усердно заниматься, твердо решив преодолевать все трудности на своем пути. Я трудилась настойчиво, и мои успехи были пропорциональны моим усилиям. Моя память, от природы не очень цепкая, заметно улучшилась от постоянных упражнений. Недели две спустя меня перевели в следующий класс, и даже менее чем через два месяца мне было разрешено учиться рисованию и французскому. Я выучила первые два времени глагола «être»[2]

---

[2] Примечания: 2
быть (фр.).

и в тот же самый день нарисовала мой первый фермерский домик (стены которого, между прочим, превзошли наклоном падающую Пизанскую башню). Вечером, когда я легла спать, то забыла приготовить в воображении лукуллов пир из горячей жареной картошки или из белого хлеба и парного молока, каким обычно заглушала голод. Вместо этого я упивалась зрелищем безупречных рисунков, которые виделись мне в темноте. Все они были моими: столь изящно написанные дома и деревья, живописные скалы и развалины, пасущиеся коровы в стиле Кейпа, прелестные бабочки, порхающие над полураспустившимися розами, пичужки, клюющие спелые вишни, гнезда овсянок с перламутровыми яичками в сплетении молодых побегов плюща. И еще я с надеждой думала, а вдруг я когда-нибудь сумею прочесть книжечку французских сказок, которую мне показала мадам Пьеро. Так и не поверив в это окончательно, я сладко уснула.

Верно сказал Соломон: «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть».

Теперь я не променяла бы Ловуд со всеми его тяготами на Гейтсхед и его роскошь.

Глава 9

Однако тяготы Ловуда, а вернее сказать, лишения, которые мы терпели, становились легче. Приближалась весна — собственно говоря, она уже настала, зимние холода остались в прошлом, снег растаял, пронизывающие ветры потеплели. Мои бедные ступни, стертые и настолько распухшие от январской стужи, что я хромала, начали заживать под ласковым дыханием апреля. Ночи и утра уже не морозили кровь в наших жилах полярными температурами. Теперь час в саду перестал быть мукой, но порой в солнечные дни даже превращался в удовольствие, а бурые клумбы с каждым днем становились все зеленее, наводя на мысль, что каждую ночь их навещала Надежда: об этом каждое утро свидетельствовали новые стебли, листья и бутоны. Из-под листьев выглядывали цветы — подснежники, крокусы, лиловые примулы, анютины глазки с золотыми сердечками в середине. По четвергам во второй половине дня (уроки в четверг бывали только утром) мы теперь совершали прогулки по окрестностям и видели, как под живыми изгородями

распускаются даже еще более прелестные цветы.

И я сделала открытие, какая это радость выходить за высокую, усаженную остриями стену нашего сада на просторы, ограниченные лишь горизонтом, и любоваться величавыми холмами, опоясывающими обширную долину, сочной зеленью, игрою теней, светлыми водами ручья, где от темных камней разбегались маленькие сверкающие волны. Как не похож был этот пейзаж на тот, каким я впервые его увидела под хмурым зимним небом, окостеневшим от холода, окутанным снежным саваном! В дни, когда под ударами восточного ветра холодные, как сама смерть, туманы окутывали эти лиловые вершины и сползали в долину, где смешивались с морозными парами над ручьем, а сам ручей бешеным мутным потоком устремлялся к лесу, сотрясая оглушительным ревом воздух, часто пронизанный косыми струями дождя или полный вихрями снежной крупы. Деревья же по берегам казались тогда мрачным строем скелетов.

На смену апрелю пришел май, такой безоблачный, безмятежный май! Неизменно голубое небо, ласковое солнце и мирные ветерки с запада или с юга — вот каким он был до самого конца. И уж теперь для растений наступил праздник. Ловуд

встряхнул кудрями, оделся в наряд из зелени и цветов. Скелеты могучих вязов, ясеней и дубов возродили свое живое величие; его уголки заполнились лесной порослью, разнообразнейшее обилие мхов одело его ниши, а ковры диких примул казались солнечным светом, разлившимся по земле, — я даже в тени замечала их чудное бледно-золотое сияние. Всем этим я наслаждалась часто и сполна — вольная, без надзора и почти всегда в одиночестве. Для этой нежданной свободы и радости была причина, о которой я должна поведать теперь.

Разве я не описала красивейшее местоположение дома, окруженного холмами и лесом, стоящего на берегу ручья? Красивейшее — бесспорно, но вот здоровое или нет — дело другое.

Лесистая долина, приютившая Ловуд, была колыбелью туманов и рождаемых ими миазм, которые, пробудившись с пробуждением весны, заползли в сиротский приют, дохнули тифозной горячкой в тесноту классной комнаты и дортуаров и еще до воцарения мая преобразили школу в больницу.

Вечное недоедание и оставляемые без внимания простуды предрасположили большинство воспитанниц к заражению — и болезнь уложила

в постель сорок пять девочек из восьмидесяти. Уроки прекратились, правила утратили силу. Немногим, кто остался здоров, была предоставлена почти неограниченная свобода, так как лекарь настаивал, что им необходимо подольше оставаться на свежем воздухе, чтобы не заболеть. Но и в любом случае ни у кого не было времени надзирать за ними и удерживать их. Внимание мисс Темпл целиком поглощали больные: она почти не выходила из лазарета, покидая его только ночью, чтобы ненадолго уснуть. Учительницы целыми днями занимались укладкой вещей и другими приготовлениями к отъезду тех девочек, у кого милостью судьбы были родственники или друзья, которые могли и хотели забрать их из зачумленной школы. Многие, уже пораженные недугом, возвращались в родной дом, только чтобы умереть; некоторые умерли в школе и были тут же спешно похоронены, так как природа болезни воспрещала малейшую отсрочку.

Болезнь поселилась в Ловуде, а смерть стала его частой гостьей. В его стенах воцарились уныние и страх, комнаты и коридоры пропитались больничными запахами, и никакие окуривания не могли изгнать их.

Тем временем в гордых холмах под безоблач-

ным небом и в зеленеющих лесах сиял этот чудесный май. Школьный сад тоже пестрел цветами, штокрозы в высоту почти сравнялись с деревьями, развернули лепестки лилии, расцвели тюльпаны и розы, бордюры клумбочек радовали глаз розовыми армериями и алыми маргаритками, утром и вечером шиповник пряно благоухал яблоками. Но все эти душистые сокровища не приносили пользы подавляющему большинству обитательниц Ловуда — разве что цветы эти срывали, чтобы положить в гроб.

Но я и остальные, кто оставался здоров, со всей полнотой наслаждались красотой всего, что нас окружало, прелестью этого времени года. Нам разрешалось бродить по лесу, точно цыганам, с утра до ночи, мы занимались, чем хотели, да и жилось нам лучше. Мистер Броклхерст и его семейство теперь не навещали Ловуд, никто не занимался въедливой проверкой счетов, хмурая экономка уехала, опасаясь заразы, а ее преемница, которая прежде была кастеляншей в Лоутонской больнице, ничего пока не зная об обычаях и правилах своего нового обиталища, не очень скупилась на провизию. К тому же больные ели мало, и наши утренние мисочки бывали полны чуть не до краев. А когда не было

времени приготовить настоящий обед, что случалось нередко, новая экономка давала нам по большому куску холодного мясного пирога или толстый бутерброд с сыром. Мы забирали их с собой в лес и в облюбованных уголках предавались чревоугодию.

Мне особенно нравилось сидеть на гладком широком камне, который, белый и сухой, поднимался из воды на самой середине ручья; добраться до него можно было только вброд — и я шлепала по воде босиком. На камне вполне хватало места еще для одной девочки, Мэри-Энн Уилсон, тогда моей подружки, умной и наблюдательной. Ее общество доставляло мне удовольствие отчасти потому, что она была находчивой и остроумной, а отчасти потому, что я чувствовала себя с ней непринужденно. Она была на несколько лет старше меня, житейски гораздо опытнее и могла поведать мне много интересного. У нее я находила удовлетворение своему любопытству, а к моим недостаткам она была снисходительна и никогда не мешала мне говорить и думать, что я хочу. Ее отличал дар рассказчика, а меня — критика, она любила делиться сведениями, а я — задавать вопросы, и потому мы чудесно ладили, извлекая из нашего общения если не пользу, так, во всяком

случае, немало удовольствия.

А где же была Хелен Бернс? Почему не с ней проводила я эти сладостные дни свободы? Я забыла о ней или была столь никчемна, что мне надоело ее чистое возвышающее общество? Ведь, конечно же, Мэри-Энн Уилсон, только что мной упомянутая, во всем уступала той, кто была моей первой знакомой в Ловуде. Мэри-Энн могла лишь рассказывать мне смешные истории и в ответ на занимавшие меня интересные сплетни сообщать такие же. А Хелен, если я верно ее описала, умела приобщить тех, кто был удостоен чести бесед с нею, к несравненно более высоким предметам.

Все так, читатель, и я знала, я чувствовала это, и хотя я очень несовершенное существо со множеством недостатков и очень немногими искупающими их достоинствами, надоесть мне Хелен Бернс никак не могла, и я ни на миг не переставала питать к ней такую сильную, нежную, полную уважения привязанность, на какую только способно мое сердце. Как могло быть иначе, если Хелен все время и при всех обстоятельствах дарила меня тихой и верной дружбой, которую никогда не портило дурное расположение духа и не подтачивало раздражение? Но Хелен была больна. Уже несколько недель она оставалась

недоступной для меня в одной из комнат наверху, и я даже не знала в какой. Мне сказали, что она не в лазарете, где лежали больные горячкой, так как ее недугом была чахотка, а не тиф, я же в своем невежестве полагала, что чахотка совсем не опасна и требуется только время да заботливый уход, чтобы ее вылечить.

В этой мысли меня утвердило то обстоятельство, что раза два в особенно теплые солнечные дни она спускалась вниз, и мисс Темпл провожала ее в сад. Однако мне не разрешили подойти поговорить с ней. Я только смотрела на нее из окна классной комнаты и почти не разглядела, потому что она была укутана и сидела в отдалении на веранде.

Как-то вечером в начале июня я допоздна задержалась в лесу с Мэри-Энн. Как обычно, мы уединились от остальных и зашли очень далеко — настолько далеко, что заблудились и должны были обратиться за помощью к супругам, жившим в уединенной лесной хижине: они приглядывали за стадом полудиких свиней, которые сами находили себе корм в лесу. До Ловуда мы добрались, когда уже взошла луна. У садовой калитки была привязана лошадка лекаря, и Мэри-Энн заметила, что, видно, кому-то стало

очень плохо, раз за мистером Бейтсом послали в такой поздний час. Она вошла в дом, а я задержалась, чтобы посадить на моей клумбе корни, которые выкопала в лесу, — я опасалась, что до утра они совсем высохнут. А потом задержалась еще немного — выпала роса, и цветы благоухали особенно дивно. Вечер был такой приятный, такой безмятежный, такой теплый! Закат, еще догоравший на западе, сулил назавтра новый чудесный день, а на востоке по темному небу величественно поднималась луна. Я любовалась всем этим и радовалась, как умеет радоваться лишь ребенок, но тут меня внезапно посетила совсем новая мысль:

«Как печально лежать сейчас на одре болезни, может быть, умирая! Этот мир так прекрасен! Как же, наверное, жутко покидать его и отправляться, кто знает куда?»

Тут мой ум предпринял первую серьезную попытку осмыслить то, что в него вложили касательно рая и ада. Впервые он встал в тупик, и впервые, взглянув назад, по сторонам и вперед, он повсюду вокруг узрел разверзнувшуюся бездну и ощутил в пространстве лишь ту точку, в которой находился, — настоящее. Все прочее было клубящимся туманом и пустотой. И мой ум

содрогнулся от ужаса, что может пошатнуться и рухнуть в этот хаос. Погруженная в эти совсем новые мысли, я услышала, как открылась входная дверь. Из нее вышел мистер Бейтс и с ним сиделка. Она смотрела, пока он не сел на свою лошадку и не уехал, а затем собралась закрыть дверь, но тут я подбежала к ней.

— Как Хелен Бернс?

— Очень плохо, — последовал ответ.

— Мистер Бейтс к ней приезжал?

— Да.

— И что он говорит?

— Он говорит, что ей недолго оставаться с нами.

Если бы я услышала эти слова накануне, то решила бы, что ее должны увезти домой в Нортумберленд. Мне бы и в голову не пришло, что истинный их смысл — она умирает, но теперь я сразу поняла все. Мне стало ясно, что дни Хелен Бернс в этом мире сочтены и что ее ждет вознесение в обитель душ — если есть такая обитель. Меня поразил ужас, потом нахлынула волна горя, и возникла потребность… нет, необходимость увидеться с ней, и я спросила, в какой комнате она лежит.

— В комнате мисс Темпл, — ответила сиделка.

— Можно мне подняться туда, поговорить с ней?

— Нет-нет, дитятко! Нельзя. А теперь иди-ка в дом, не то схватишь лихорадку. Ведь роса уже выпала.

Она закрыла парадную дверь, а я вошла в боковую, которая вела в классную комнату, и успела как раз вовремя: было девять часов и мисс Миллер отсылала воспитанниц спать.

Часа два спустя, вероятно, около одиннадцати, я, не сумев уснуть и полагая, что все мои товарки крепко спят — так тихо было в комнате, — осторожно встала, надела платье поверх ночной рубашки и босиком выскользнула в коридор, чтобы отправиться в комнату мисс Темпл. Идти надо было почти через весь дом, но я знала дорогу, а в окна коридоров лились лучи летней сияющей в чистом небе луны, освещая мой путь. Запах камфары и уксуса предупредил меня, что впереди — лазарет с тифозными, и я тихонько пробралась мимо двери, опасаясь, как бы меня не услышала сиделка, дежурившая там всю ночь. Я страшилась, что меня заметят и отправят назад, а мне было необходимо увидеть Хелен, мне было необходимо обнять ее, прежде чем она умрет, мне необходимо было дать ей прощальный поцелуй,

обменяться с ней последними словами.

Спустившись по лестнице, пройдя по нижнему коридору, умудрившись беззвучно открыть и закрыть две двери, я добралась до другой лестницы и, поднявшись по ней, оказалась прямо напротив комнаты мисс Темпл. Из дверной скважины падал лучик света. Светилась и щелка под дверью. Вокруг стояла нерушимая тишина. Подойдя поближе, я увидела, что дверь чуть приотворена — возможно, чтобы впустить свежего воздуха в душную обитель болезни. Не колеблясь, полная жгучего нетерпения — и душа, и все чувства во мне дрожали точно туго натянутые струны, — я открыла дверь пошире и заглянула внутрь. Мой взгляд искал Хелен и страшился узреть ее мертвой.

Возле кровати мисс Темпл стояла еще одна небольшая кровать с пологом. Я разглядела очертания фигуры под одеялом, но лицо было скрыто. Сиделка, с которой я разговаривала в саду, спала, сидя в кресле, на столе тускло горела непогашенная свеча. Мисс Темпл в комнате не было. Позднее я узнала, что ее позвали в лазарет к бредившей девочке. Я сделала несколько шагов, остановилась перед пологом, но решила заговорить, прежде чем его отдернуть. Я все еще

страшилась увидеть там труп.

— Хелен, — прошептала я тихонько, — ты не спишь?

Она повернулась, отдернула полог, и я увидела ее лицо — бледное, осунувшееся, но очень спокойное. Она так мало изменилась, что мой страх мгновенно улетучился.

— Неужели это ты, Джейн? — спросила она своим прежним мягким голосом.

«Ах, — подумала я, — она не умрет. Они ошиблись. Она не говорила бы и не выглядела бы так спокойно, если бы это было правдой!»

Я забралась под полог и поцеловала ее. Лоб у нее был холодным, щеки холодными и ввалившимися, пальцы и запястья исхудалыми, но улыбнулась она своей прежней улыбкой.

— Почему ты пришла, Джейн? Уже двенадцатый час. Несколько минут назад я слышала, как пробило одиннадцать.

— Я пришла повидать тебя, Хелен. Я узнала, что ты очень больна, и поняла, что не засну, если не поговорю с тобой.

— Значит, ты пришла попрощаться со мной. Вероятно, ты пришла как раз вовремя.

— Ты куда-то уезжаешь, Хелен? Ты едешь домой?

— Да, в мой последний дом, в мой вечный дом.

— Нет-нет, Хелен! — У меня сжалось горло, и я умолкла. Пока я старалась сдержать слезы, Хелен закашлялась, однако сиделка не проснулась, и Хелен, когда кашель отпустил ее, несколько минут пролежала, совсем обессилев, а потом прошептала:

— Джейн, ты пришла босая! Ложись ко мне и укройся моим одеялом.

Я послушалась. Она обняла меня, и я прильнула к ней. После долгого молчания она снова зашептала:

— Я очень счастлива, Джейн, и когда ты услышишь, что я умерла, не оплакивай меня и не горюй. Причин для горя нет. Смерть суждена нам всем, а мой недуг не причиняет мне боли; он действует мягко и постепенно. И я пребываю в покое. Я ухожу, и об этом некому жалеть. У меня есть только отец, но он недавно женился и не почувствует особой утраты. Умирая молодой, я избавляюсь от многих страданий. У меня нет ни талантов, ни качеств, нужных для этого мира. Я бы только постоянно делала что-то не так.

— Но куда ты уходишь, Хелен? Ты видишь? Ты знаешь?

— Я верую, и в вере я тверда: я ухожу к Богу.

— Где Бог? Что такое Бог?

— Мой Творец и твой. И Он никогда не уничтожит то, что сотворил. Я бестрепетно доверяю себя Его могуществу и уповаю на Его милосердие. Я веду счет часам, пока не настанет тот, что вернет меня Ему, и Он откроется мне.

— Значит, Хелен, ты не сомневаешься, что рай действительно есть и наши души вознесутся туда, когда мы умрем?

— Я не сомневаюсь, что есть жизнь иная, я верую, что Бог милосерд, и без страха передам ему свою бессмертную часть. Бог — Отец мой, Бог — друг мой, я люблю Его и верую, что Он любит меня.

— А я увижу тебя, Хелен, когда умру?

— Ты войдешь в ту же обитель счастья, будешь принята тем же Всемогущим Вездесущим Отцом. Не сомневайся, милая Джейн.

Вновь я задала вопрос, но лишь мысленный: «Где эта обитель? Существует ли она?»

И я крепче обняла Хелен. Еще никогда она не была мне так дорога. Я чувствовала, что не могу расстаться с ней, и спрятала лицо у нее на плече. Вскоре она сказала таким ласковым, таким нежным тоном:

— Как мне хорошо! Последний припадок кашля

меня немножко утомил, и я как будто засыпаю. Но не оставляй меня, Джейн. Мне так приятно, что ты рядом!

— Я останусь с тобой, Хелен, милая! Никто не сможет меня прогнать!

— Тебе тепло, родная?

— Да.

— Спокойной ночи, Джейн.

— Спокойной ночи, Хелен.

Она поцеловала меня, а я ее, и вскоре мы обе уснули.

Когда я проснулась, был уже день. Разбудило меня какое-то непонятное движение. Я открыла глаза и увидела, что кто-то держит меня на руках. Это была сиделка, и она несла меня по коридору в дортуар. Меня не выбранили за то, что я ночью встала с постели. Все были заняты другим. И я не получила ответы на свои многочисленные вопросы. Но два дня спустя узнала, что мисс Темпл, вернувшись в свою комнату с рассветом, увидела, что я лежу под пологом, уткнувшись лицом в плечо Хелен, и обнимаю ее за шею. Я крепко спала. Хелен была… мертва.

Ее похоронили на кладбище при Броклбриджской церкви. Пятнадцать лет после ее смерти могила оставалась заросшим травой холмиком,

но теперь на него положена плита из серого мрамора с ее именем и словом «Resurgam».[3]

[3] Примечания: 3
«Чаю воскресения» (лат.).

Глава 10

До сих пор я очень подробно рассказывала о событиях моей ничем не примечательной жизни. Ее первым десяти годам я посвятила почти такое же количество глав. Но это вовсе не автобиография, и я обращаюсь к моей памяти, только когда, по моему мнению, хранящиеся в ней воспоминания могут представить некоторый интерес. Поэтому следующие восемь лет я обойду почти полным молчанием. Несколько строчек будут достаточным связующим звеном между частями моего повествования.

Когда тифозная горячка пожала в Ловуде свою страшную жатву, она незаметно сошла на нет, но не прежде, чем ее неистовство и число жертв привлекли к школе внимание общества. Было произведено расследование причин такой ее вспышки, и постепенно на свет выплыли факты, вызвавшие бурю негодования. Нездоровое местоположение школы, количество и качество еды, которой кормили воспитанниц, затхлая вода, употреблявшаяся для ее приготовления, убогая одежда и всяческое урезывание самого необхо-

димого — все это было обнаружено и привело к результатам весьма неприятным для самомнения мистера Броклхерста, но благотворным для школы.

Несколько богатых филантропов в графстве собрали по подписке сумму для постройки более удобного здания в более здоровой местности; были введены новые правила, одежда и рационы стали заметно лучше, а средствами на содержание школы теперь распоряжался попечительский совет. Мистер Броклхерст, чье богатство и семейные связи не могли не быть приняты во внимание, сохранил пост казначея, но в исполнении его обязанностей ему помогали люди с более широкими и более гуманными взглядами. И свою должность инспектора ему пришлось разделить с теми, кто умел сочетать взыскательность с благоразумием, экономность с щедрым обеспечением всем необходимым, праведность с сострадательностью. После таких улучшений школа со временем стала истинно полезным и образцовым заведением. После ее возрождения я провела в ее стенах еще восемь лет: шесть ученицей и два года — учительницей. И в том, и в другом качестве я готова свидетельствовать, что она во всем отвечала своему назначению.

Все эти восемь лет моя жизнь оставалась однообразной, но при том достаточно счастливой, так как была деятельной. Мне была предоставлена возможность приобрести прекрасное образование, подкрепленная горячим интересом к некоторым предметам и желанием преуспеть в них всех. К этому надо добавить пришпоривавшую меня радость, когда я заслуживала похвалу учительниц, и особенно тех, кого любила. Со временем я стала первой ученицей первого класса. Затем меня возвели в учительницы, и два года я исполняла свои обязанности с ревностным усердием. Однако к этому сроку во мне произошла перемена.

Мисс Темпл продолжала возглавлять школу на протяжении всех нововведений, и большей частью моими успехами я обязана ее руководству. Ее дружба и общество служили главным моим утешением — она была для меня матерью, гувернанткой, а в последние годы — и задушевной подругой. Но в указанное время она вышла замуж, переехала со своим мужем (священником, превосходнейшим человеком, почти достойным такой жены) в отдаленное графство и поэтому была для меня потеряна.

Со дня ее отъезда я и переменилась — с ней

исчезло ощущение устроенности, привычности, благодаря которым Ловуд в какой-то мере стал для меня родным домом. Я восприняла что-то от ее натуры и немалую часть ее принципов — мои мысли обрели некоторую гармоничность, я научилась властвовать над своими чувствами. Приверженность долгу, уважение к порядку стали для меня обязательными. В моей душе царил покой, я верила, что всем довольна. В глазах окружающих и обычно даже в моих собственных мой характер представлялся дисциплинированным и уравновешенным.

Но судьба в облике преподобного мистера Нэсмита разлучила меня с мисс Темпл. Я видела, как вскоре после совершения брачного обряда она в дорожном платье села в почтовую карету. Я следила, как карета покатила вверх по склону и скрылась за гребнем, а тогда ушла к себе в комнату и провела в одиночестве почти всю вторую половину дня — по случаю свадьбы вечерние уроки были отменены.

Почти все время я расхаживала по комнате взад и вперед. Мне мнилось, будто я только скорблю о моей утрате и думаю, как мне ее восполнить, но когда наконец я очнулась от задумчивости и обнаружила, что дневной свет погас и вечер

давно настал, мне внезапно открылось еще одно: а именно, что за эти часы во мне произошла перемена, что моя натура отвергла все ею позаимствованное у мисс Темпл, а вернее, что вместе с мисс Темпл исчезла и атмосфера безмятежности, которой я дышала, пока была возле нее, и что я вновь та, какой создала меня природа, и во мне пробуждаются былые чувства. Не то чтобы у меня вдруг отняли опору, вернее было бы сказать, что я лишилась побудительной причины: не способность хранить безмятежность изменила мне, просто хранить безмятежность больше не имело смысла. Несколько лет весь мой мир сосредотачивался в Ловуде, и весь мой опыт исчерпывался его порядками и правилами. Теперь я вспомнила, что есть настоящий большой мир и что тех, кто посмеет вторгнуться в его просторы в желании сполна познать жизнь среди его опасностей, ожидают самые разные надежды и страхи, впечатления и треволнения.

Я подошла к окну, открыла его и выглянула наружу. Вот два крыла здания, вот сад, вот ограда Ловуда, вот холмистый горизонт. Мой взгляд скользнул мимо всего и остановился на самых дальних голубых вершинах: меня снедало желание преодолеть их. Все в пределах их валунов

и вереска казалось тюремным двором, местом ссылки. Я смотрела на белую ленту дороги, которая опоясывала подножие одного холма и исчезала из виду в лощине между ним и соседним, — как мне хотелось отправиться по ней дальше, дальше! Мне вспомнилось, как я ехала по этой самой дороге в дилижансе, как в сумерках он катил по этому самому склону, — казалось, прошел век с того дня, когда я приехала в Ловуд. С тех пор я его не покидала. Все каникулы я проводила тут — миссис Рид ни разу не прислала за мной, ни она, ни ее дети ни разу меня не навестили. Из внешнего мира я не получала никаких вестей, никаких писем. Школьные правила, школьные обязанности, школьные привычки и понятия, одни и те же голоса, лица, фразы, платья, предпочтения и антипатии — вот чем исчерпывалась моя жизнь. А теперь я почувствовала, что этого мало, и за эти считанные часы неизменная рутина восьми лет стала для меня нестерпимой. Я возжаждала свободы, о свободе я вздыхала и вознесла краткую молитву о свободе — но ее, казалось, унес и рассеял легкий вечерний ветер. И я снова помолилась более смиренно о перемене, о вдохновляющей новизне, но и это прошение словно было сметено в смутную даль.

— В таком случае, — вскричала я почти в отчаянии, — даруй мне хотя бы новое служение!

Тут колокол, возвестивший об ужине, позвал меня вниз.

И до отхода ко сну у меня не было свободной минуты, чтобы вернуться к этим мыслям. Но и тогда учительница, с которой я делила комнату, долгой болтовней о всяких пустяках мешала мне вновь обратиться к размышлениям на столь важную для меня тему. Как я желала, чтобы сон заставил ее умолкнуть! Мне чудилось, что стоит мне вернуться к мысли, которая осенила меня последней там, у окна, — и что-то подскажет, как найти выход.

Наконец мисс Грайс захрапела. Она была грузной уроженкой Уэльса, и до сих пор ее носовые фиоритуры лишь раздражали меня, но на этот раз я с радостью услышала первые басовые ноты. Теперь я была избавлена от докучливой помехи, и полустершиеся мысли вновь нахлынули на меня.

«Новое служение! В этом есть что-то, — рассуждала я (разумеется, мысленно — у меня не было привычки говорить вслух с самой собой). — Да-да! Потому что это звучит не так заманчиво, как слова Свобода, Треволнения, Восторги — бес-

спорно, чудесные звуки, но для меня лишь звуки, и настолько мимолетные и пустые, что внимать им смысла не имеет. Но Служение! В нем есть нечто материальное. Служить способен всякий. Я прослужила здесь восемь лет, а теперь хочу лишь одного: служить где-то еще. Так разве я не могу осуществить своего желания? Ведь оно достижимо? Да-да! Цель не столь уж трудная. Только бы у моего мозга хватило, сообразительности подыскать средства, как ее достичь».

Я даже села на постели, чтобы заставить упомянутый мозг заработать. Ночь была холодная, и я закуталась в шаль, а потом принялась размышлять изо всех сил.

«Я хочу… чего? Нового места в новом доме среди новых лиц и новых обстоятельств. Хочу я этого потому, что бесполезно хотеть чего-то получше. Как находят новое место? Наверное, с помощью друзей. У меня нет друзей. Но ведь у очень многих друзей нет, и они должны сами себе помогать. А как?»

Этого я не знала и ответа не находила. Тогда я приказала своему мозгу найти выход, и поскорее! Он заработал. И заработал быстрее. На висках у меня забились жилки, однако почти час работал он беспорядочно, и его старания плодов не при-

носили. Разгорячившись от тщетных усилий, я встала, прошлась по комнате, отдернула занавеску, поглядела на звезды, задрожала от холода и снова забилась в постель.

Несомненно, за минуту моего отсутствия добрая фея положила мне на подушку желанный ответ: едва я легла, как он спокойно и естественно пришел мне на ум: «Те, кто ищет место, помещают объявления в газетах. Ты должна послать объявление в "***ширский вестник"».

«Но как? Я ничего не знаю о том, как дают объявления».

Однако ответы теперь возникали сами собой и без промедления.

«Тебе надо поместить объявление и деньги в уплату за него в пакет, а его адресовать редактору "Вестника" и при первой же возможности снести его в Лоутон на почту. Ответы пусть адресуют Д. Э. до востребования в лоутонскую почтовую контору. Справишься о них через неделю, и если получишь какое-нибудь предложение, то решишь, что тебе делать».

Этот план я обдумала дважды, трижды, и наконец мой ум его переварил, он обрел четкую практичную форму, я успокоилась и тотчас уснула.

С первыми лучами рассвета я была уже на ногах. Мое объявление было написано, вложено в пакет и адресовано, прежде чем звон колокола разбудил спящую школу. Вот оно:

«Молодая особа, имеющая опыт преподавания (разве же я не была учительницей целых два года?), хотела бы получить место гувернантки при детях моложе четырнадцати лет. (Я подумала, что, поскольку мне едва исполнилось восемнадцать, вряд ли разумно предлагать себя в наставницы почти своим ровесникам.) Обучение основным предметам, а также французскому языку, рисованию и музыке. (В те дни, читатель, этот довольно скудный перечень таким еще не казался.) Писать Д. Э., почтовая контора, Лоутон, ***шир».

Этот документ пролежал под замком в моем ящике весь день, а после чая я попросила у новой директрисы разрешения сходить в Лоутон за кое-какими покупками для себя и двух-трех других учительниц. Разрешение она дала охотно, и я отправилась в путь. Идти предстояло две мили, а вечер был дождливый, однако дни еще не пошли на убыль. Я зашла в две-три лавки, занесла письмо на почту и вернулась домой под проливным дождем в промокшей насквозь одежде, но с

легким сердцем.

Следующая неделя показалась мне очень долгой. Однако, как все в подлунном мире, она все-таки подошла к концу, и вновь под вечер ясного, осеннего дня я оказалась на дороге в Лоутон. Кстати, она была очень живописной — вилась по берегу ручья по самым прелестным уголкам долины. Однако в этот день мои мысли занимала не красота бегущей воды и вересковых склонов, но мысль о письме, которое ждало меня (а может быть, и не ждало) в городке, куда лежал мой путь.

Предлогом на этот раз мне послужила необходимость снять мерку для пары туфель. Начала я с этого, а потом перешла чистую тихую улочку, отделявшую мастерскую сапожника от почтовой конторы, вошла и спросила у почтмейстерши, пожилой дамы с роговыми очками на носу и в черных митенках по локоть:

— Есть ли письма для Д. Э.?

Она прищурилась на меня поверх очков, затем выдвинула какой-то ящик и столь долго копалась в его содержимом, что надежда во мне начала угасать. Наконец, подержав какой-то конверт перед очками почти пять минут, она протянула его через барьер, сопроводив это движение еще

одним въедливым и подозрительным взглядом. Адресован конверт был Д. Э.

— Только одно письмо? — осведомилась я.

— Больше нет, — ответила она, и, положив письмо в карман, я отправилась обратно. Прочесть его у меня не было времени: правила требовали, чтобы я вернулась в Ловуд до восьми, а время шло к половине восьмого.

В Ловуде меня поджидали различные дела: я сидела с ученицами, пока они делали уроки, затем была моя очередь прочесть молитву и отправить их спать. После чего я поужинала с другими учительницами. Даже когда мы разошлись по нашим комнатам, рядом со мной была неизбежная мисс Грайс. От свечи в нашем подсвечнике остался лишь огарок, и я опасалась, что она будет болтать, пока он не сгорит вовсе. Но, к счастью, плотный ужин, который она съела, вызвал у нее сонливость, и она захрапела, когда я еще только раздевалась. При свете дюймового огарка я достала письмо. На сургучной печати красовалась буква «Ф». Я сломала печать. Письмо было коротким:

«Если Д. Э., давшая объявление в "***ширском вестнике" от последнего четверга, преподает все указанные предметы и может представить солид-

ные рекомендации касательно своего характера и компетентности, ей может быть предложено место гувернантки при девятилетней девочке с жалованьем в тридцать фунтов в год. Д. Э. просят послать рекомендации, а также сообщить свою фамилию, адрес и прочее миссис Фэрфакс, Тернфилд в окрестностях Милкота, ***шир».

Я очень долго разглядывала письмо: почерк был старомодный и несколько неуверенный, словно буквы выводила старческая рука. Последнее меня очень успокоило, так как во мне жил тайный страх, что, поступая по своему усмотрению, ни с кем не советуясь, я рискую попасть в сомнительное положение, а я особенно желала, чтобы завершение моего предприятия было бы респектабельным, ни в чем не нарушало приличий, короче говоря, вполне en règle.[4] И пожилая дама была именно тем, что требовалось. Миссис Фэрфакс! Я словно увидела ее в черном платье и вдовьем чепце: возможно, она чопорна, но достаточно вежлива — образец английской почтенной пожилой дамы. Тернфилд! Несомненно, название ее дома, в котором царят чистота и безупречный порядок — в этом я не сомневалась,

---

[4] Примечания: 4
солидным (фр.).

хотя и не сумела мысленно нарисовать точный план расположения ее комнат. Милкот, ***шир. Я попыталась воскресить в памяти карту Англии. Да-да! Я увидела их — графство и город ***шир был на семьдесят миль ближе к Лондону, чем глухой уголок, где жила я, — что в моих глазах было отличной рекомендацией. Меня влекли к себе кипение жизни и суета. Милкот, большой фабричный город на берегах А., несомненно, шумен и многолюден. Что ж, тем лучше! Во всяком случае, перемена будет полной. Не то чтобы мое воображение так уж чаровала картина длинных труб, извергающих клубы дыма. «Но, — предположила я, — Тернфилд, вероятно, находится на порядочном расстоянии от города».

Тут огарок совсем растаял, и фитилек погас.

На следующий день предстояло предпринять решительные шаги.

Больше я не могла таить мой план в сердце. Мне требовалось сообщить о нем, иначе его не удалось бы привести в исполнение. Во время полуденного перерыва я попросила директрису принять меня и рассказала ей, что мне предлагают место, где я буду получать вдвое больше, чем сейчас (в Ловуде мне платили в год всего пятнадцать фунтов). Так не могла бы она сообщить об

этом мистеру Броклхерсту или кому-нибудь из попечительского совета, чтобы узнать, разрешат ли они мне сослаться в рекомендации на них. Она любезно взяла на себя роль посредницы. На следующий же день она поговорила с мистером Броклхерстом, который сказал, что надо написать миссис Рид, поскольку она остается моей опекуншей. Этой даме было послано письмо, и она ответила, что я могу поступать, как мне угодно, так как она давно отказалась от какого бы то ни было вмешательства в мои дела. Эта записка была представлена совету, и в конце концов после, как мне казалось, мучительнейших проволочек я получила официальное разрешение улучшить свое положение, если смогу. А так как в Ловуде я всегда вела себя образцово и как учительница, и как ученица, мне будет выдана рекомендация, подписанная школьными инспекторами.

Рекомендацию эту я получила примерно через неделю и тут же отправила копию миссис Фэрфакс. Она ответила, что вполне удовлетворена и что через две недели я могу приступить к обязанностям гувернантки в ее доме.

Я занялась приготовлениями. Две недели пролетели очень быстро. Большого гардероба у меня не было, хотя он включал все, что мне требова-

лось, и последнего дня вполне хватило, чтобы упаковать мой сундучок — тот самый, с которым восемь лет назад я приехала из Гейтсхеда.

Сундучок был обвязан веревками, ярлык наклеен. Через полчаса должен был заехать возчик, чтобы доставить его в Лоутон, куда я намеревалась отправиться рано поутру к дилижансу. Я вычистила мое дорожное платье из черной шерсти, достала шляпку, перчатки и муфточку, обшарила все ящики — не забыла ли я чего-нибудь, и, переделав все дела, села, чтобы отдохнуть. Но из этого ничего не вышло. Хотя я весь день провела на ногах, я и минуты не могла остаться в кресле, такое возбуждение мной владело. Сегодня вечером завершилась одна фаза моей жизни, завтра начиналась другая, и провести промежуток между ними в спокойствии? Невозможно! Я должна была лихорадочно следить за тем, как происходит эта перемена.

— Мисс, — сказала служанка, подойдя ко мне в коридоре, по которому я бродила, как неприкаянная душа, — вас спрашивают внизу.

«Наверное, возчик», — подумала я и, ничего у нее не спросив, сбежала по лестнице. По дороге к кухне я прошла мимо гостиной для учительниц, дверь которой была полуоткрыта, и ускорила

шаг, как вдруг из гостиной кто-то выбежал.

— Это она, она! Я бы ее всюду узнала! — раздался возглас, и меня схватили за руку.

Я посмотрела и увидела женщину, одетую, как одеваются старшие горничные и экономки, полную, но еще молодую, очень красивую, с черными волосами и глазами, с румянцем во всю щеку.

— Ну-ка, кто я? — спросила она очень знакомым голосом и со столь же знакомой улыбкой. — Думается, вы меня не совсем забыли, мисс Джейн, а?

Мгновение спустя я восторженно обнимала и целовала ее. «Бесси! Бесси! Бесси!» — больше я ничего выговорить не сумела, а она полусмеялась-полуплакала, и так, обнявшись, мы вошли в гостиную. У камина стоял малыш лет трех в теплой курточке и штанишках.

— А это мой сынок, — сказала Бесси без всяких предисловий.

— Так ты замужем, Бесси?

— Да, почти пять лет. Я вышла за Роберта Ливена, кучера, и у меня, кроме Бобби, есть еще дочка. Я ее окрестила Джейн.

— И ты уже не живешь в Гейтсхеде?

— Я живу там в сторожке. Прежний привратник уехал.

— Ну и как они там все? Расскажи мне про них

поподробней, Бесси. Но только сначала сядь. Бобби, хочешь сесть ко мне на колени?

Но Бобби предпочел прильнуть к матери.

— А вы, мисс Джейн, не очень-то выросли, да и не пополнели, — продолжала миссис Ливен. — Похоже, в школе вас не то чтобы баловали. Мисс Рид вы по плечо будете, а мисс Джорджиана вас поперек вдвое шире.

— Джорджиана, я полагаю, настоящая красавица, Бесси?

— И еще какая! Прошлой зимой она жила в Лондоне с маменькой, и ею там все восхищались, а один молодой лорд так по уши в нее влюбился. Да только его родня была против того, чтобы он на ней женился. И — что вы думаете? — он уговорил мисс Джорджиану бежать с ним, только про это прознали и помешали им. А прознала мисс Рид. Думается, позавидовала сестрице. И теперь они словно кошка с собакой, целые дни бранятся.

— А Джон Рид?

— Ну, он себя оказывает не так хорошо, как его маменьке хотелось бы. Поступил было в университет, а его… ощипали. Исключили то есть, такое вроде бы там у них словечко. Потом его дяденька решил, что быть ему адвокатом и чтобы он законы учил. Да только он такой распущенный

молодчик, что, думается, толку от него никакого не добьются.

— А как он выглядит?

— Очень высоким стал. Некоторые его красавчиком называют, да только губы у него очень уж толстые.

— А миссис Рид?

— С виду хозяйка выглядит хорошо, да только, думается, на душе у нее кошки скребут. Уж очень ее поведение мистера Джона удручает. Он уйму денег транжирит.

— Это она тебя сюда послала, Бесси?

— Вот уж нет! Я уже давно думала вас повидать, ну а когда прослышала, что от вас письмо пришло и что вы далеко уедете, так и решила: съезжу взгляну, какая вы стали, а то уж потом мне до вас не добраться.

— Боюсь, я тебя разочаровала, Бесси! — Я сказала это со смехом, заметив, что взгляд Бесси, хотя и любящий, ни малейшего восхищения не выражал.

— Да нет, мисс Джейн, не то чтобы. Выглядите вы как благородная барышня, а ничего другого я и не ждала. Девочка-то вы были совсем замухрышка.

Откровенность Бесси вызвала у меня улыбку.

Конечно, она была права, но, признаюсь, я почувствовала досаду: в восемнадцать лет кто же не хочет нравиться? И напоминание, что с такой наружностью на это надеяться нечего, ни малейшей радости не доставляет.

— Зато вы умница, — продолжала Бесси, чтобы меня утешить. — А что вы умеете? На фортепьянах играете?

— Немножко.

В гостиной стояло фортепьяно. Бесси подошла к нему, открыла крышку и попросила меня сыграть ей что-нибудь. Я исполнила пару вальсов, и она пришла в восторг.

— Обеим мисс Рид так в жизни не сыграть! — заявила она с торжеством. — Я всегда говорила, что в образованности им до вас далеко будет. И рисовать вы умеете?

— Картину над камином написала я.

Это была акварель — пейзаж, который я преподнесла директрисе в благодарность за ее ходатайство перед попечителями, а она вставила его в рамку и застеклила.

— Красота какая, мисс Джейн! Да учитель рисования мисс Рид лучше не нарисует, а уж про самих-то барышень и говорить нечего. Куда им до вас! А по-французски вы тоже знаете?

— Да, Бесси, я умею и говорить, и читать по-французски.

— А по канве вышивать умеете?

— Умею.

— Так вы же, мисс Джейн, настоящая благородная барышня! Я всегда знала, что так и будет, пусть ваши родственники вас и знать не хотят. Да, я вас вот о чем спросить собиралась. Вы когда-нибудь получали вести от родни вашего папеньки? От Эйров?

— Никогда.

— Ну, вы знаете, хозяйка всегда твердила, что они нищие, каких в дом не пускают. А мне думается, они хоть, может, и бедные, да по благородству не хуже Ридов. Потому как почти семь лет назад в Гейтсхед приехал какой-то мистер Эйр и хотел вас повидать. Хозяйка сказала, что вы в школе, а до нее пятьдесят миль оттуда. Ну, он вроде бы очень огорчился, потому как не мог задержаться: собирался в какую-то страну за морем, и корабль должен был отплыть из Лондона через день-два. Собой был настоящий джентльмен, и сдается мне, он брат вашего папеньки.

— А в какую страну он отправлялся, Бесси?

— На какой-то остров в тысячах миль отсюда, где вино делают… мне дворецкий сказал.

— Может быть, на Мадейру? — предположила я.

— Вот-вот.

— И он уехал?

— Ага. Он недолго пробыл: хозяйка с ним очень спесиво обходилась, а когда он уехал, назвала «пронырой торговцем». Мой Роберт думает, что он негоциант по винной части.

— Вполне возможно, — сказала я. — А может быть, клерк или доверенный агент такого негоцианта.

Мы с Бесси поговорили о старых временах еще час, а потом ей настало время попрощаться со мной. Утром мы на несколько минут свиделись с ней в Лоутоне, где я ждала дилижанс. Наконец мы расстались с ней у дверей «Герба Броклхерстов» — она пошла к гребню Ловуд-Фелла, чтобы оттуда с попутным фургоном вернуться в Гейтсхед, а мне предстояло сесть в дилижанс, который повезет навстречу новым обязанностям и новой жизни в неведомых окрестностях Милкота.

Глава 11

Новая глава в романе похожа на новую сцену в пьесе. И когда, читатель, я подниму занавес на этот раз, вы должны вообразить, будто видите залу в гостинице «Георг» в Милкоте: именно такие обои с крупным узором, какими оклеивают стены в гостиницах, именно такой ковер, такая мебель, такие безделушки на каминной полке, такие олеографии, включая портрет Георга Третьего и портрет принца Уэльского и картину, изображающую гибель генерала Вулфа в битве при Квебеке. Все это вы зрите при свете свисающей с потолка масляной лампы, к которому добавляется свет огня, буйно пылающего в камине, возле которого сижу я в накидке и шляпке. Мои муфточка и зонтик лежат на столике, а я согреваюсь после того, как шестнадцать часов коченела в сырости октябрьского дня. Из Лоутона я уехала в четыре часа пополуночи, а часы здесь как раз отбивают восемь часов вечера.

Читатель, хотя можно подумать, что я с приятностью отдыхаю, на душе у меня тревожно. Когда дилижанс остановился тут, я полагала, что меня

встретят. Когда я спускалась по ступенькам деревянной лесенки, которую коридорный поставил под дверцей для моего удобства, то обеспокоенным взглядом обводила все вокруг, надеясь вот-вот услышать свое имя и увидеть экипаж, который отвезет меня в Тернфилд. Но я ничего не увидела, а когда осведомилась у полового, не спрашивал ли кто-нибудь мисс Эйр, то услышала отрицательный ответ, так что остался лишь один выход: попросить, чтобы меня проводили в отдельный кабинет, где теперь я и томилась в ожидании, пока всяческие сомнения и опасения смущали мой ум.

Какое это странное чувство, когда неопытная девушка вдруг понимает, что она совсем одна, что все связи обрублены и она не знает, удастся ли ей добраться до гавани, куда она направляется, возвратиться же назад ей мешают непреодолимые препятствия. Обаяние приключений подслащивает это чувство, жар гордости согревает его, но затем оно вытесняется страхом, и именно страх возобладал над всем в моей душе, когда миновало полчаса, а я все еще была одна. И я позвонила.

— В окрестностях тут есть поместье Тернфилд? — спросила я у полового, явившегося на мой зов.

— Тернфилд? Не знаю, сударыня. Пойду спрошу

в буфете.

Он исчез, однако вернулся очень скоро.

— Ваша фамилия Эйр, мисс?

— Да.

— Так вас спрашивают.

Я вскочила, схватила со столика муфточку с зонтиком и поспешила по коридору к входной двери. Она была полуоткрыта, рядом с ней стоял какой-то мужчина, а снаружи в свете уличных фонарей я разглядела одноконный экипаж.

— Думается, это ваш? — увидев меня, без предисловий спросил мужчина и кивнул на мой сундучок у стены коридора.

— Да.

Он взгромоздил его на запятки экипажа, похожего на маленькую карету. Я села и, прежде чем он захлопнул дверцу, только-только успела спросить, далеко ли до Тернфилда.

— Миль шесть будет.

— А долго туда ехать?

— Да часа полтора.

Он запер дверцу, взгромоздился на козлы, и мы тронулись. Ехали мы медленно, и у меня хватило времени для раздумий. Я радовалась, что мое путешествие близится к концу, и, откинувшись на сиденье удобного, хотя и не щегольского эки-

пажа, безмятежно предалась своим мыслям.

«Полагаю, — думала я, — что миссис Фэрфакс, судя по экипажу и слуге, не из тех, кто гоняется за модой. Тем лучше. В доме, поставленном на светскую ногу, мне довелось жить лишь в детстве, и я была там очень несчастна. Возможно, она живет одна, если не считать маленькой девочки, а в таком случае, если ей хоть немного присуща благожелательность, я, конечно, сумею с ней поладить — во всяком случае, приложу все силы. Как жаль, что подобные усилия не всегда приводят к успеху! В Ловуде я приняла такое решение, усердно его выполняла, и мне удалось заслужить общее расположение. Но я помню, как миссис Рид презрительно пресекала любые мои старания угодить ей. Остается только молить Бога, чтобы миссис Фэрфакс не оказалась второй миссис Рид. Но ведь я же не обязана оставаться у нее. В худшем случае можно снова дать объявление в газету. Сколько еще нам остается ехать, хотелось бы мне знать?»

Я опустила стекло и выглянула наружу. Милкот остался позади. Судя по количеству огней, это был город, с которым Лоутон не шел ни в какое сравнение. А мы, насколько я могла судить, ехали среди лугов. Однако по ним были разбросаны дома, и

я решила, что здешние края во всем отличны от Ловуда — более населены, менее живописны, более полны жизни, менее романтичны.

Дорогу усеивали рытвины, вечер был туманным, и кучер пустил лошадь шагом, так что полтора часа превратились по меньшей мере в два. Наконец он обернулся ко мне и сказал:

— Вот он, Тернфилд-то.

Я снова выглянула в окошко. Мы проезжали мимо церкви: на фоне неба я разглядела ее невысокую массивную колокольню. Колокол как раз отбивал четверть часа. Узкое созвездие огней на склоне холма указывало, что там расположено небольшое селение. Минут через десять кучер слез с козел и открыл какие-то ворота, створки лязгнули позади нас. Теперь мы медленно направлялись по подъездной дороге, которая привела нас к фасаду длинного дома, погруженного в полную темноту, если не считать огонька свечи за шторой в эркере. Экипаж остановился у подъезда. Горничная отворила дверь, я покинула экипаж и вошла.

— Сюда пожалуйте, сударыня, — сказала горничная, и я последовала за ней через квадратную переднюю с высокими дверями справа и слева, в комнату, где меня ослепил двойной блеск свечи

и огня в камине. Когда же я вновь обрела способность видеть, мне открылась радующая взор картина.

Уютная комнатка, круглый столик у весело танцующего пламени, старомодное кресло с высокой спинкой, а в нем чудеснейшая миниатюрная старушка во вдовьем чепце, черном платье и белоснежном муслиновом переднике — именно такая, какой я представляла в своем воображении миссис Фэрфакс, только менее величественная и более ласковая по виду. Она вязала, у ее ног чинно восседала толстая кошка — короче говоря, более полное воплощение домашней безмятежности было бы трудно вообразить. Самый обнадеживающий прием, на какой только могла надеяться новая гувернантка. Ни подавляющего высокомерия, ни обескураживающей чопорности. Едва я вошла, как старушка встала и приветливо засеменила мне навстречу.

— Здравствуйте, душенька. Боюсь, вы очень устали: Джон всегда ездит так медленно! Вы, должно быть, озябли. Идите-идите к огню.

— Миссис Фэрфакс, я полагаю? — сказала я.

— Да-да! Так садитесь же!

Она подвела меня к своему собственному креслу, сняла с меня шаль и начала развязывать

ленты моей шляпки. Я умоляла ее не затрудняться.

— Какое же это затруднение? А у вас пальцы, конечно, совсем онемели от холода. Лия, свари-ка горячего негуса и сделай пару бутербродов. Вот ключи от кладовой.

Она извлекла из кармана внушительнейшую связку ключей и протянула ее горничной.

— А теперь придвиньтесь-ка к огню, — продолжала она. — Свой багаж вы, верно, привезли с собой, душенька?

— Да, сударыня.

— Пойду распоряжусь, чтобы его отнесли к вам в комнату! — И она хлопотливо засеменила к двери.

«Она обходится со мной как с гостьей, — подумала я. — Такого радушного приема я никак не ждала. Думала, что встречу только холодность и сдержанность. Судя по тому, что мне доводилось слышать, с гувернантками редко так церемонятся. Однако не следует радоваться слишком рано».

Она вернулась, собственноручно убрала со стола вязанье и две-три книги, чтобы освободить место для подноса, который внесла Лия, и сама протянула мне стакан и тарелку с бутербродами.

Я совершенно не привыкла к такому вниманию и совсем смутилась. Тем более что его мне оказывала дама, гораздо выше меня по положению, моя нанимательница. Однако раз она сама, казалось, не находила в таком поведении ничего необычного, я сочла за благо скрыть свое удивление.

— Буду ли я сегодня вечером иметь удовольствие познакомиться с мисс Фэрфакс? — спросила я, когда покончила с предложенным мне угощением.

— Что вы сказали, душенька? Я на ухо туговата, — сообщила старушка, приближая ухо к моим губам.

Я повторила вопрос, выговаривая слова более четко.

— Мисс Фэрфакс? А! Вы про мисс Варанс! Вашей будущей ученицы фамилия Варанс.

— Ах вот как! Значит, она не ваша дочь?

— Нет, у меня детей не было.

Мне следовало бы спросить, кем ей приходится мисс Варанс, но я подумала, что задавать слишком много вопросов — дурной тон, а к тому же я это скоро и сама узнаю.

— Я так рада… — продолжала она, садясь напротив меня и укладывая кошку на колени. — Я так рада, что вы приехали; куда приятнее будет

жить здесь, раз будет с кем поговорить. Конечно, жить тут всегда приятно, потому что Тернфилд — чудесный старинный дом, хотя, пожалуй, в последние годы о нем недостаточно заботились. Но все-таки тут прекрасно. Только, понимаете, зимой и во дворце тоскливо, если ты одна! Да, одной… Лия — милая девушка, и Джон с женой люди очень приличные, но ведь они же только слуги, и разговаривать с ними как с ровней никак нельзя. Надо держать их на подобающем расстоянии, не то они потеряют всякое уважение. Прошлой зимой (может, вы помните, она была очень холодной, и если метель не мела, так дождь лил, и ветер завывал, точно в бурю) так в дом с ноября по февраль ни одна живая душа не заглядывала, если не считать мясника да почтальона, и, просиживая тут вечер за вечером одна-одинешенька, я совсем истосковалась. Иногда я звала Лию почитать мне, но, по-моему, бедной девочке это не очень нравилось, не по вкусу ей было. Весной и летом, конечно, дело другое: когда солнце светит, а темнеет поздно, чувствуешь себя совсем иначе. Ну а в начале этой осени приехала малютка Адель Варанс со своей няней — с ребенком-то дом сразу оживает. А теперь, когда и вы здесь, я уже не затоскую!

Слушая почтенную старушку, я проникалась к ней всевозрастающей симпатией и, придвинув кресло чуть ближе, высказала искреннюю надежду, что она найдет мое общество не менее приятным, чем предвкушает.

— Но сегодня я не должна задерживать вас допоздна, — сказала она. — Вот-вот полночь пробьет, а вы весь день провели в дороге и, конечно, устали до полусмерти. Если ноги у вас совсем отошли, я провожу вас в вашу спальню. Я велела вам приготовить комнату рядом с моей. Она небольшая, но я подумала, вам в ней будет удобнее, чем в какой-нибудь парадной. Конечно, мебель там побогаче, да только все они какие-то унылые, неуютные. Я сама ни в одной из них ни разу не ночевала.

Я поблагодарила ее за такой заботливый выбор, а так как действительно была утомлена длинной дорогой, то согласилась, что мне лучше поскорее лечь спать. Она взяла свечу, и я вышла из комнаты следом за ней. Сначала она пошла проверить, заперта ли входная дверь, и, вынув ключ из замка, повела меня вверх по лестнице. Ступеньки и перила были дубовыми, окна — высокими, с частым переплетом. И лестница, и длинная галерея, на которую выходили двери спален, казалось, бы-

ли бы более уместны в соборе, чем в жилом доме. Воздух там был знобким, точно в склепе, и навевал грустные мысли о пустоте и одиночестве. Я почувствовала большое облегчение, когда, войдя в мою новую комнату, увидела, что она невелика и обставлена в обычном современном стиле.

Миссис Фэрфакс ласково пожелала мне доброй ночи, я заперла за ней дверь, неторопливо осмотрелась, и уютный веселый вид моей комнатки почти избавил меня от жути, навеянной широкой передней, темной грандиозной лестницей и длинной холодной галереей. И мне показалось, что после долгого дня телесного утомления и душевной тревоги я обрела наконец надежный приют. Мое сердце преисполнилось благодарности, я опустилась на колени рядом с кроватью и излила эту благодарность в молитве, не забыв, прежде чем подняться с колен, попросить о помощи на моем новом пути и о силах, чтобы оказаться достойной той доброты, которая была мне оказана прежде, чем я ее заслужила. В эту ночь я спала на ложе без шипов, моя комнатка не таила никаких страхов. Одновременно и усталая, и довольная, я скоро погрузилась в крепкий сон, а когда проснулась, за окнами уже совсем рассвело.

Теперь, когда лучи солнца в комнату лились сквозь веселенькие голубые занавески, озаряя обои на стенах и ковер на полу, она показалась мне настолько не похожей на ловудскую с ее голыми половицами и крашеной штукатуркой, что у меня взыграло сердце. В молодости все внешнее кажется таким важным! И я подумала, что для меня начинается жизнь, в которой будут не только шипы и вечный труд, но и цветы и удовольствия. Пробужденные переменой обстановки, новыми открывающимися мне надеждами, все мои чувства обрели особую силу. Не могу точно определить, чего именно я ожидала, но, бесспорно, чего-то радостного. Быть может, не в этот самый день и не в этом месяце, а где-то в неопределенном будущем.

Я встала и оделась с большим тщанием — очень просто, так как у меня не было ни единого платья сколько-нибудь нарядного покроя — однако я всегда заботилась о том, чтобы выглядеть аккуратно. Не в моей натуре было пренебрегать внешностью, относиться равнодушно к тому, какое впечатление я произвожу. Напротив, мне всегда хотелось выглядеть как можно лучше и нравиться настолько, насколько позволяло отсутствие у меня и тени красоты. Иногда я сожалела,

что лишена миловидности, иногда я мечтала о розовых щечках, прямом носике и вишневых губках бантиком. Мне хотелось быть высокой, статной, величественной. Я воспринимала как несчастье, что так мала ростом, так бледна, а черты лица у меня такие неправильные и такие необычные. Но почему меня посещали эти мечты и эти сожаления? Трудно ответить. Я не могла объяснить причину даже самой себе. Однако причина была, причем логичная, естественная причина. Впрочем, когда я причесала волосы очень гладко, надела мое черное платье, которое при всей своей квакерской строгости по крайней мере хорошо на мне сидело, и поправила белоснежный воротничок, я подумала, что выгляжу достаточно пристойно, чтобы явиться на глаза миссис Фэрфакс, и что моя новая ученица, во всяком случае, не отшатнется от меня с брезгливостью. Открыв окно и удостоверившись, что на туалетном столике царит полный порядок, я решилась покинуть свою комнату.

Пройдя по длинной, устланной ковром галерее, я спустилась по скользким дубовым ступенькам, но в передней ненадолго задержалась. Поглядела на портреты по стенам (один, помнится, изображал мрачного мужчину в кирасе, а другой — даму

с напудренными волосами и жемчужным ожерельем), на подвешенную к потолку бронзовую люстру, на напольные часы, дубовый футляр которых, покрытый замысловатой резьбой, совсем почернел от времени и усердной полировки. Все казалось мне очень внушительным и величественным, но ведь я же понятия не имела о роскоши. Входная дверь, стеклянная в верхней половине, была открыта, и я вышла за порог. Было ясное осеннее утро, раннее солнце безмятежно лило лучи на побуревшие рощи и еще зеленые луга. Спустившись на лужайку, я обернулась и обозрела фасад дома. Он был трехэтажным, не чересчур огромным, хотя все-таки обширным — помещичий дом, а не замок вельможи. Крышу опоясывал зубчатый парапет, придавая живописный вид серому зданию. Оно отстояло довольно далеко от грачиной рощи, чьи каркающие обитатели как раз взвились в воздух, пролетели над лужайкой и садом и опустились на широком лугу, отделенном от этих последних рвом с низкой изгородью, тянущейся по его дну. Строй могучих старых тернов, крепких, узловатых, толщиной не уступающих дубам, объяснял, откуда взялось название поместья. Дальше начинались холмы, не такие величавые, как вокруг Ловуда, но и не

такие суровые, не вставшие непреодолимой стеной между домом и остальным миром. И все же, пустынные и безмолвные, они словно замыкали Тернфилд в уединении, чего я никак не ожидала найти в такой близости от суеты Милкота. На одном из склонов лепилась деревушка, крыши которой прятались за деревьями. Приходская церковь находилась ближе к Тернфилду. Верх ее старинной колокольни виднелся над пригорком между домом и воротами.

Я еще наслаждалась этим мирным пейзажем и живительной свежестью воздуха, еще с восторгом прислушивалась к шумному карканью грачей, еще озирала широкий, отмеченный печатью веков фасад дома и думала, что он слишком велик для такой одинокой старушки, как миссис Фэрфакс, когда она сама появилась в дверях.

— Как! Уже на ногах? — сказала она. — Вижу, вы ранняя пташка.

Я подошла к ней и получила ласковый поцелуй, сопровождавшийся сердечным рукопожатием.

— Как вам понравился Тернфилд? — осведомилась она, и я ответила, что очень.

— Да, — продолжала она, — красив-то он красив, но, боюсь, придет в полное запустение, если мистер Рочестер не решит поселиться тут посто-

янно или хотя бы приезжать сюда почаще. Такие поместья требуют присутствия владельца.

— Мистер Рочестер? — воскликнула я. — Кто он такой?

— Владелец Тернфилда, — ответила она невозмутимо. — А вы не знали, что его фамилия Рочестер?

Разумеется, не знала: я впервые услышала о нем только сейчас, однако старушка, видимо, полагала, что его существование — непреложный факт, о котором каждый должен быть инстинктивно осведомлен.

— Я думала, — сказала я, — что Тернфилд принадлежит вам.

— Мне? Господь с вами, деточка! Подумать только — мне! Я ведь всего лишь экономка, домоправительница. Да, я в дальнем родстве с Рочестерами по материнской линии, вернее, не я, а мой муж. Он был приходским священником Хея — вон той деревеньки на холме, и служил в церкви, вон там, за воротами. Матушка нынешнего господина Рочестера была урожденная Фэрфакс и приходилась моему мужу троюродной сестрой. Но я даже и не упоминаю о моем с ними свойстве и никакого значения ему не придаю, а считаю себя просто экономкой: мой хозяин всегда со мной

учтив, и мне ничего другого не нужно.

— А девочка? Моя ученица?

— Она воспитанница мистера Рочестера, и он поручил мне найти для нее гувернантку. Он хочет, чтобы она росла в ***шире, так мне кажется. А вот и она со своей «бонной», как она называет няню.

Тайна разъяснилась. Эта добродушная миниатюрная вдова была не светской дамой, а жила в доме на жалованьи, как и я. От этого она не стала мне менее симпатичной, напротив, я обрадовалась. Равенство между ней и мною было подлинным, а не просто снисходительностью с ее стороны. Тем свободней я буду себя чувствовать.

Пока я обдумывала это открытие, на лужайку выбежала девочка в сопровождении няни. Я посмотрела на свою ученицу, которая сначала словно бы меня не заметила. Она была еще совсем ребенок, лет семи-восьми, худенькая, с бледным маленьким личиком и пышными кудрями, которые доставали ей до пояса.

— С добрым утром, мисс Адель, — сказала миссис Фэрфакс. — Подойдите поговорите с мисс, которая будет вас учить и поможет вам стать очень умной.

Девочка подошла.

— C'est sa ma gouvernante?[5] — спросила она у своей няни, указывая на меня. Та ответила:

— Mais oui, certainement.[6]

— Они иностранки? — в изумлении осведомилась я, услышав французскую речь.

— Няня — иностранка, а Адель родилась на континенте, и, если не ошибаюсь, увезли ее оттуда только полгода назад. Она, когда приехала, ни словечка по-английски не знала, а теперь уже немножко разговаривает, только я ее не понимаю: она столько французского добавляет. Но вас-то, конечно, это не затруднит.

К счастью, у меня было то преимущество, что французскому языку я училась у француженки: я всегда старалась разговаривать с мадам Пьеро как можно чаще, а кроме того, последние семь лет ежедневно выучивала наизусть какой-нибудь французский отрывок, старательно следя за своим выговором и прилежно подражая прононсу моей учительницы. Таким образом я приобрела определенную легкость в разговорном языке, и вряд ли мадемуазель Адель могла поставить меня в тупик. Едва поняв, что я ее гувернантка,

---

[5] Примечания: 5
Это моя гувернантка? (фр.)

[6] Примечания: 6
Ну да, конечно (фр.).

она подошла, протянула мне руку, а я, когда повела ее завтракать, сказала ей несколько фраз по-французски. Сначала она отвечала коротко, но, когда мы сели за стол, она минут десять не спускала с меня больших карих глаз, а потом начала весело болтать.

— А! — воскликнула она по-французски. — Вы говорите на моем языке не хуже, чем мистер Рочестер. И я могу разговаривать с вами, как с ним. И Софи тоже. Она будет рада, а то тут ее никто не понимает. Мадам Фэрфакс знает только английский. Софи — моя няня, она приехала со мной на очень большом корабле с дымящей трубой — как она дымила! — и мне было нехорошо, и Софи тоже, и мистеру Рочестеру. Мистер Рочестер лежал на диване в красивой комнате, которая называлась салон, а у нас с Софи были постельки в другом месте. Я чуть не упала с моей, она была похожа на раковину. И, мадемуазель… как вас зовут?

— Эйр. Джейн Эйр.

— Айр? Ба! Я этого не выговорю. Ну, так наш корабль остановился утром, когда еще светло не было, в большом городе — огромном городе с очень темными домами — они все в копоти. Он совсем не похож на красивый чистый город,

откуда я приехала. И мистер Рочестер перенес меня на руках по доске на землю, а Софи шла за нами, и мы все сели в карету, и она привезла нас в красивый большой дом — больше, чем этот, и красивее! — и он назывался «гостиница». Мы там жили почти неделю, и мы с Софи каждый день гуляли среди зеленых-презеленых деревьев в месте, которое называется «парк». И там, кроме меня, было очень много других детей, а еще пруд с красивыми птицами, и я кормила их кусочками хлеба.

— И вы ее понимаете, когда она так тараторит? — спросила миссис Фэрфакс.

Понимала я ее прекрасно, потому что привыкла к быстрой речи мадам Пьеро.

— Мне бы хотелось, — продолжала старушка, — чтобы вы порасспрашивали ее о родителях. Помнит ли она их?

— Адель, — спросила я, — с кем ты жила в красивом чистом городе, про который говорила?

— Очень давно я жила с maman, только она улетела к Пресвятой Деве. Maman учила меня танцевать, петь и читать стихи. Очень много господ и дам приезжали к maman, и я танцевала перед ними или сидела у них на коленях и пела. Мне это нравилось. Хотите послушать, как я пою?

Она уже доела завтрак, а потому я разрешила ей показать свои таланты. Соскочив со стула, она села ко мне на колени, потом чинно сложила ручки, встряхнула кудрями и, возведя глаза к потолку, запела арию из какой-то оперы. Это были жалобы покинутой героини, которая, оплакав вероломную измену возлюбленного, призывает на помощь свою гордость, приказывает прислужницам облачить ее в самый пышный наряд, надеть на нее лучшие ее драгоценности и решает встретиться с обманщиком вечером на балу и веселостью доказать ему, сколь мало его измена ее удручила.

Странная тема для малютки певицы! Видимо, слушатели находили особый смак в том, как шепелявый детский голосок щебечет о любви и ревности. Что свидетельствовало об очень дурном вкусе — во всяком случае, так подумала я.

Адель пропела арию достаточно мелодично и с наивностью своего возраста. Закончив, она спрыгнула с моих колен, говоря:

— А теперь, мадемуазель, я прочитаю вам стихи. — Встав в позу, она объявила: — «La Ligue des Rats», fable de La Fontaine.[7]

---

[7] Примечания: 7
«Союз крыс», басня Лафонтена (фр.).

Затем она продекламировала басню с большим выражением, соблюдая паузы, меняя интонацию и сопровождая чтение выразительными жестами. Все это было тоже необычно для ребенка и указывало, что учили ее с большим тщанием.

— Тебя этой басне научила maman? — спросила я.

— Да, и она всегда говорила вот так: «Qu'avez-vous donc? — lui dit un de ces rats. — Parlez!»[8] Она заставляла меня поднимать руку вот так, чтобы на вопросе я не забывала повышать тон. А теперь я потанцую для вас?

— Нет, пока достаточно. Но после того, как твоя maman, по твоим словам, улетела к Пресвятой Деве, у кого ты жила?

— У мадам Фредерик и ее мужа. Она обо мне заботилась, но мне она совсем не родная. По-моему, она бедная, потому что дом у нее не такой хороший, как у maman. Но я там недолго жила. Мистер Рочестер спросил меня, хочется мне поехать в Англию с ним и жить там у него, и я ответила «да», потому что знала мистера Рочестера давно, а мадам Фредерик совсем мало. И он всегда был очень добрым, дарил мне красивые платьица

---

[8] Примечания: 8

«Что случилось? — спросила одна из крыс. — Говорите!» (фр.)

и игрушки. Только, понимаете, он не сдержал своего обещания. Привез меня в Англию. А сам уехал назад, и я его совсем не вижу.

После завтрака мы с Адель удалились в библиотеку — мистер Рочестер отвел ее для наших занятий. Почти все книги стояли за стеклянными дверцами запертых шкафов, но один шкаф был не заперт, и в нем хранилось все, что было нужно для занятий с ребенком, а еще там стояли беллетристические книги — стихи, биографии, путешествия, несколько романов и так далее. Наверное, он полагал, что гувернантке для собственного чтения ничего другого не требуется. Правду сказать, на первое время, в сравнении с Ловудом, где книги были редкостью, мне предлагался весьма богатый выбор и для пополнения знаний, и для развлечения. Кроме того, в библиотеке стоял кабинетный рояль, совсем новый и безупречно настроенный, а еще — мольберт и два глобуса.

Моя ученица оказалась послушной, однако не очень старательной, так как не привыкла к каким бы то ни было обязательным занятиям. Я сочла, что будет неразумным сразу усадить ее за книги. Поэтому я много с ней разговаривала, заставила немножко позаниматься, а когда настал

полдень, позволила ей вернуться к няне, решив до обеда сделать несколько набросков для нее.

Когда я поднималась по лестнице за альбомом и карандашами, меня окликнула миссис Фэрфакс.

— Вижу, вы закончили утренние уроки? — донесся ее голос из открытой двустворчатой двери. Я направилась туда и очутилась в комнате благородных пропорций с сиреневыми креслами и сиреневыми занавесами, турецким ковром, панелями орехового дерева на стенах, одним огромным окном с цветными стеклами и высоким лепным потолком. Миссис Фэрфакс стирала пыль с ваз из лиловатого камня, которые стояли на столике у стены.

— Какая чудесная комната! — воскликнула я, оглядываясь по сторонам, так как никогда еще не видела ничего и вполовину столь великолепного.

— Да. Это столовая. Я как раз открыла окно, чтобы впустить немножко воздуха и солнечного света. Ведь в нежилых комнатах скоро заводится сырость. Гостиная вон там уже немножко смахивает на склеп.

Она указала на широкую арку, точно повторявшую форму окна, с портьерой того же темно-синего цвета, что и гардины. Портьера была

откинута, и, поднявшись по двум ступенькам, я, как мне почудилось, увидела волшебный чертог, столь непривычным для моих неискушенных глаз было открывшееся мне зрелище. На самом же деле это была всего лишь прелестная гостиная, к которой примыкал будуар. И там, и там пол устилался белым ковром, на котором, казалось, лежали яркие цветочные гирлянды; и там, и там потолок обрамляли белоснежные лепные виноградные гроздья и листья, а внизу, контрастируя с ними, стояли малиновые кушетки и оттоманки; каминную полку белейшего паросского мрамора украшали сверкающие рубиново-алые изделия из богемского хрусталя, и высокие зеркала в простенках между окнами отражали это сочетание снега и огня.

— В каком образцовом порядке вы содержите эти комнаты! — воскликнула я. — Ни пылинки, ни холщовых чехлов. Если бы не холодок в воздухе, можно было бы подумать, что ими пользуются ежедневно.

— Так как же, мисс Эйр! Хоть мистер Рочестер и редко сюда наезжает, но всегда без предупреждения, совсем неожиданно. А я заметила, что ему не нравится, когда все укутано и чуть он войдет в дом, как начинается суматоха. Вот я и подумала,

что лучше держать комнаты наготове.

— Мистер Рочестер придирчив и взыскателен?

— Да нет, не очень. Но у него вкусы и привычки джентльмена, и он хочет, чтобы дом содержался как подобает.

— Он вам нравится? И другим тоже?

— О да! Рочестеров тут издавна уважают. Почти вся земля, которую вы отсюда видите, принадлежит им с незапамятных времен.

— Но если не касаться его земель, сам он вам нравится? То есть как человека его здесь любят?

— Ну, мне он не может не нравиться, и, по-моему, фермеры, которые арендуют у него землю, считают его справедливым и щедрым, но они его редко видят.

— А особенности у него есть? Короче говоря, какой у него характер?

— А! Характер у него, думается, безупречный. Пожалуй, кое-какие странности ему свойственны. Он много путешествовал, повидал мир. Полагаю, он очень умен, но я-то с ним почти никогда не разговариваю.

— А в чем он странен?

— Не знаю. Так просто словами не опишешь, ничего особенно заметного, но чувствуешь это, когда говоришь с ним. Не всегда поймешь, шу-

тит он или серьезен, доволен он или наоборот. Короче говоря, его трудно понимать, во всяком случае, мне. Только это не важно, хозяин очень хороший.

Вот и все, что я узнала от миссис Фэрфакс о ее и моем патроне. Есть люди, словно бы не способные набросать характер или уловить и описать самое важное в других людях или предметах. Добрая старушка, видимо, принадлежала к этой категории. Мои вопросы вызывали у нее недоумение, а не подталкивали на откровенность. В ее глазах мистер Рочестер был мистером Рочестером, джентльменом, землевладельцем — и только. Узнавать и выяснять что-либо сверх этого она не пыталась, и, видимо, ее удивило мое желание получить более точное представление о нем.

Когда мы покинули столовую, миссис Фэрфакс предложила показать мне дом, и следом за ней я поднималась и спускалась по лестницам, то и дело восхищаясь, так как все было отлично устроено и выглядело великолепно. Особенно роскошными мне показались парадные апартаменты, а некоторые комнаты на третьем этаже, хотя и темные и с низкими потолками, вызывали интерес царившим в них духом старины. В нижних комнатах время от времени мебель по

велению моды заменялась, и прежнюю водворяли сюда. В смутном свете, пробивавшемся сквозь узкие окна с частым переплетом, виднелись кровати вековой давности, дубовые и ореховые комоды, походившие на Ковчег Завета из-за странной покрывавшей их резьбы — пальмовых ветвей и херувимов; ряды старинных стульев с узкими сиденьями и высокими спинками, еще более древние табуреты, мягкий верх которых еще хранил следы вышивки, творения пальцев, давным-давно истлевших под гробовой доской. Все эти реликвии превращали третий этаж Тернфилд-Холла в хранилище былого, в святилище памяти. Глубокая тишина, сумрак, удаленность этих приютов прошлого очень понравились мне при свете дня. Но у меня не возникло ни малейшего желания провести ночь на одной из этих широких массивных кроватей, отгороженных от окружающего мира дубовыми дверцами или затененных старинными английскими пологами с выпуклой вышивкой, изображающей странные цветы и еще более странных птиц и уж совсем странные человеческие фигуры. Так какими же странными показались бы все они в бледном лунном свете!

— В этих комнатах спят слуги? — спросила я.

— Нет. Им отведены небольшие комнаты в задней части дома. Тут никто никогда не ночует. Так и кажется, водись в Тернфилд-Холле привидения, они бродили бы тут.

— Да, пожалуй. Но, значит, привидений у вас нет?

— Во всяком случае, я о них никогда не слышала, — ответила миссис Фэрфакс с улыбкой.

— И никаких упоминаний о них — никаких легенд или жутких историй?

— По-моему, нет. Хотя говорят, что Рочестеры в свое время не отличались кротостью и миролюбием, а прямо наоборот. Возможно, потому они теперь и почиют спокойно в своих могилах.

— Да. «От лихорадки жизни отсыпаясь», — произнесла я вполголоса слова Макбета. — А куда вы теперь меня поведете, миссис Фэрфакс? — спросила я затем, так как она свернула в боковой коридор.

— На крышу. Хотите полюбоваться видом оттуда? — сказала она, уже направляясь к узкой лестнице.

Следом за ней я поднялась на чердак, а затем по приставной лестнице и через люк мы выбрались на плоскую крышу. Теперь я оказалась на уровне колонии грачей и могла бы заглянуть в их гнезда.

Перегнувшись через парапет, я разглядывала окрестности, раскинувшиеся далеко внизу точно географическая карта. Ярко-зеленый бархат лужайки, охватывающей серое подножие дома, луг, обширностью не уступающий парку, кое-где усеянный купами старых деревьев; лес, серо-бурый, разделенный пополам подъездной дорогой, совсем заросшей, зеленеющей мхами — куда более зеленой, чем древесная листва; церковь по ту сторону ворот, проезжая дорога, безмятежные холмы, дремлющие под осенним солнцем; горизонт, ограниченный благостным небосводом, лазурным с вкраплениями перламутровой белизны. Ничто не ошеломляло воображения, но все радовало глаз. Когда я повернулась и пошла к люку, то лишь с большим трудом сумела увидеть приставную лестницу. Чердак казался темным, точно склеп, после голубого свода, на который я только что смотрела, и залитого солнцем пейзажа — леса, пастбища и зеленых холмов, которые я обозревала с таким восторгом с крыши дома в самом их центре.

Миссис Фэрфакс задержалась, закрывая крышку люка, а я ощупью нашла выход с чердака и начала спускаться по узкой лестнице. Затем немного постояла у начала длинного коридора,

разделявшего комнаты третьего этажа, — узкого, низкого и полутемного, лишь с одним оконцем в дальнем конце. Два ряда черных плотно закрытых дверей придавали ему сходство с потайным ходом в замке Синей Бороды.

Я бесшумно пошла по нему, и вдруг мой слух поразили звуки, какие я меньше всего ожидала услышать здесь, — чей-то смех. Это был странный смех, дробный, вымученный, невеселый. Я остановилась. Звуки оборвались. Но лишь на мгновение. Потом раздались снова и громче. В первый раз смех, хотя и четкий, был очень тихим. Теперь он завершился бурным раскатом, который, казалось, отозвался эхом в каждой запертой комнате, хотя вырвался лишь из одной, и я могла бы указать из какой.

— Миссис Фэрфакс! — позвала я, услышав, что она спускается по лестнице. — Вы слышали громкий смех? Кто это мог быть?

— Кто-нибудь из прислуги, — ответила она. — Возможно, Грейс Пул.

— Но вы его слышали? — снова спросила я.

— Да, очень ясно. Я ее часто слышу: она шьет в одной из этих комнат. Иногда к ней заходит Лия, и вместе они, бывает, очень шумят.

Вновь зазвучал смех — на этот раз тихо, отры-

висто и завершился странным бормотанием.

— Грейс! — воскликнула миссис Фэрфакс.

Я не ждала, что на этот зов откликнется какая-нибудь Грейс. Такого трагичного, такого потустороннего смеха я еще никогда не слышала, и лишь то, что день был в разгаре, и эти странные «ха-ха-ха!» не сопровождались никакими сверхъестественными проявлениями, а ни обстановка, ни час не пробуждали страха, помешало мне проникнуться суеверным ужасом. Впрочем, тут же выяснилось, что моя фантазия сыграла со мной глупую шутку.

Ближайшая ко мне дверь отворилась, и оттуда вышла женщина лет тридцати-сорока, плотная, широкоплечая, рыжая, с суровым простым лицом — менее романтичную или менее призрачную фигуру трудно было вообразить.

— Слишком много шума, Грейс, — сказала миссис Фэрфакс. — Не забывайте, какие вам даны распоряжения.

Грейс молча сделала книксен и затворила дверь.

— Она взята в дом швеей и помогает Лии с уборкой, — продолжала миссис Фэрфакс. — Нельзя сказать, чтобы она была безупречна во всем, но со своими обязанностями справляется. Да, кста-

ти, как вы утром позанимались со своей новой ученицей?

Разговор перешел на Адель и продолжался, пока мы не добрались до залитого солнечным светом безмятежного нижнего этажа. Навстречу нам выбежала Адель, восклицая:

— Mesdames, vous êtes servies! — И добавила: — J'ai bien faim, moi![9]

[9] Примечания: 9

Сударыни, кушать подано!.. Я уже очень проголодалась! (фр.)

Глава 12

Обещание спокойной и деятельной жизни, залогом которой, казалось, стало мое первое безоблачное знакомство с Тернфилдом, не обмануло и при продолжении этого знакомства. Миссис Фэрфакс оказалась именно такой, какой выглядела: доброй, в меру умной женщиной с мирным характером и хорошей домоправительницей. Моя ученица была бойкой девочкой, избалованной и иногда капризной. Но так как ее поручили всецело моим заботам и никто не вмешивался в мои планы ее воспитания, то вскоре прежние выходки были забыты и она стала послушной и прилежной. У нее не было ни блестящих способностей, ни оригинальности в характере, ни особой чувствительности или не по годам развитого вкуса — словом, ничего, что хотя бы на дюйм приподнимало ее над обычным уровнем детей ее возраста, но не было и никаких особых недостатков или дурных наклонностей, которые бы поставили ее ниже него. Она делала положенные успехи, питала ко мне живую, хотя, наверное, не очень глубокую привязанность и

своей наивностью, веселой болтовней и стараниями заслужить похвалу вызвала у меня ответную симпатию, достаточную, чтобы нам обеим было приятно общество друг друга.

Мои слова, par parenthèse,[10] несомненно, сочтут весьма бездушными те, кто провозглашает торжественные доктрины об ангельской природе детей и почитает священной обязанностью их воспитателей относиться к ним с идолопоклонническим обожанием. Однако я пишу не для того, чтобы льстить родительскому эгоизму, повторять ханжеские слащавости или подтверждать лицемерные выдумки, но просто веду правдивый рассказ. Я добросовестно заботилась о здоровье и образовании Адели, учила ее и испытывала теплое чувство к милой девчушке, точно так же как питала благодарность к миссис Фэрфакс за ее доброту и удовольствие от ее общества, пропорциональную ее расположению ко мне и заурядности ее ума и характера.

Пусть кто хочет порицает меня, если я добавлю, что порой, когда я в одиночестве прогуливалась по лесу, когда подходила к воротам и смотрела на дорогу или, воспользовавшись тем, что Адель

---

[10] Примечания: 10
скажем в скобках (фр.).

играет с бонной, а миссис Фэрфакс варит варенье в кладовой, я поднималась по трем лестницам, откидывала крышку люка, выходила на крышу и смотрела на луга и холмы, на дальний горизонт, что тогда во мне просыпалась жажда обладать зрением, которое проникло бы за эти пределы, достигло бы большого мира: городов и дальних краев, кипящих жизнью, о которых я только слышала, что тогда я мечтала приобрести побольше опыта, чем у меня было, встречаться с близкими мне по духу людьми, расширить круг моих знакомств, а не ограничиваться обществом тех, с кем судьба свела меня здесь. Я ценила то хорошее, что было в миссис Фэрфакс, и то хорошее, что было в Адели, но я верила, что есть иное и лучшее, а веря, жаждала убедиться в этом воочию.

Кто станет винить меня? Несомненно, очень многие. И меня назовут излишне требовательной. Но что я могла? Стремление к переменам было заложено в моей натуре, иногда оно оборачивалось мучительным волнением, и тогда облегчение я находила, только расхаживая по коридору третьего этажа взад и вперед, в тишине, в безлюдье, позволяя моему внутреннему взору созерцать манящие видения, которые представали перед ним, — а их было множество, одно

другого прельстительнее. Мое сердце возбуждалось ликующим чувством, которое и тревожило его, и ободряло. И что самое лучшее, я открывала свой внутренний слух повести, которая никогда не завершалась, повести, творимой моим воображением и не имеющей конца, полной событий, жизни, огня, чувств — всего того, о чем я страстно мечтала и чего не было в моем будничном существовании.

Тщетно настаивать, будто человеческая душа должна удовлетворяться покоем. Нет, ей необходима бурная деятельность, и она создает ее подобие в мечтах, если не может обрести в яви. Миллионы обречены на еще более застывшее существование, чем мое, и миллионы безмолвно восстают против своего жребия. Никому не известно, сколько еще восстаний, кроме политических, зреет во множествах, населяющих мир. Считается, что женщины, как правило, очень спокойны, но женщины чувствуют точно так же и точно то же, что и мужчины, применение своих способностей и поле для деятельности им необходимы не менее, чем их братьям. Они страдают от навязанных им слишком жестких ограничений, от абсолютной застойности жизни совершенно так же, как страдали бы на их месте мужчины.

И какая узость со стороны этих привилегированных счастливцев утверждать, будто женщинам положено ограничиваться приготовлением пудингов, штопкой чулок, игрой на фортепьяно и вышиванием кошелечков. Какое недомыслие осуждать их или смеяться над ними, если они стремятся делать более того, узнавать более того, чем обычай предписывает их полу.

В этом моем уединении я довольно часто слышала смех Грейс Пул — тот же раскат, та же медлительность, растянутые «ха-ха-ха!», которые так напугали меня в первый раз. Слышала я и ее невнятное бормотание, даже более странное, чем ее смех. Бывали дни, когда она хранила полное безмолвие, но в другие я не находила объяснения звукам, которые доносились до меня. Порой я видела, как она выходила из своей комнаты с тазиком, тарелкой или подносом в руках, спускалась в кухню и вскоре возвращалась, обычно (ах, романтичный читатель, прости меня за пошлую правду!) с кувшинчиком портера. Ее наружность всегда действовала охлаждающе на любопытство, которое пробуждали во мне непонятные звуки, доносившиеся из-за ее запертой двери. Суровость и туповатость ее черт не сулили ничего интересного. Я несколько раз старалась завязать

с ней разговор, но она оказалась очень немногословной: короткие «да» и «нет» обычно тут же клали конец моим попыткам.

Другие обитатели дома, а именно Джон и его жена, Лия, горничная, и Софи, французская няня, были обычными — вполне достойными, но ничем не примечательными людьми. С Софи я разговаривала по-французски и иногда задавала ей вопросы о ее родине, но она была плохой рассказчицей и не умела ничего толком описать. Ответы ее чаще всего были настолько сбивчивыми и пустыми, что охлаждали всякое желание расспрашивать ее дальше.

Октябрь, ноябрь, декабрь остались позади. Как-то в январе миссис Фэрфакс после обеда попросила меня устроить Адели маленькие каникулы, так как она немножко простудилась, и Адель поддержала эту просьбу с пылом, напомнившим мне, как я сама в детстве радовалась любому освобождению от уроков. Поэтому я дала согласие, считая, что некоторая уступчивость тут вполне уместна. День был ясный, безветренный, хотя и очень холодный. Мне не хотелось и дальше сидеть в библиотеке, где я провела все утро, а миссис Фэрфакс как раз написала письмо, которое требовалось отнести на почту, и потому, надев

шляпку и пелерину, я вызвалась отнести его в Хей — две мили сулили приятную зимнюю прогулку. Убедившись, что Адель уютно устроилась в своем креслице у пылающего камина в комнате миссис Фэрфакс, и вручив ей для развлечения ее самую хорошую восковую куклу (обычно кукла эта лежала в запертом ящике, завернутая в фольгу), а также сборник сказок, я ответила поцелуем на ее «Revenez bientôt, ma bonne amie, ma chère mademoiselle Jeanette»[11] и отправилась в путь.

Земля была твердой, воздух неподвижным, дорога пустынной. Я шла быстрым шагом, пока не разогрелась, а потом замедлила его, чтобы насладиться прогулкой и проанализировать, чем объясняется удовольствие, которое дарил мне этот час и все вокруг. Церковный колокол, когда я проходила мимо колокольни, как раз отбил три, и очарование часа заключалось в надвигающихся сумерках, в бледном солнце, опустившемся совсем низко. Тернфилд остался в миле позади, и я шла между живыми изгородями, которые в летние месяцы славились благоухающим шиповником, а осенью орехами и ежевикой и даже теперь кое-где хранили алые клады ягод

[11] Примечания: 11

Возвращайтесь поскорее, мой дружочек, милая мадемуазель Джейн (фр.).

боярышника и рябины. Однако зимой дорога больше всего пленяла полным одиночеством и безлиственным покоем. Порыв ветра, налети он, остался бы беззвучным, потому что вокруг не было ни остролиста, ни других вечнозеленых растений, чтобы зашелестеть в ответ, а облетевшие ореховые кусты и боярышник оставались столь же неподвижными, как белые истертые камни, которыми была вымощена средняя часть дороги. Справа и слева вдаль уходили луга, где теперь не паслось ни единого стада, а коричневые пичужки, иногда опускавшиеся на ветки, казались одинокими побурелыми листьями, которые позабыли опасть.

До Хея дорога все время вела вверх. Пройдя половину пути, я села на приступку перелаза, открывавшего доступ на луг, поплотнее закуталась в пелерину, спрятала руки в муфточку и совсем не чувствовала холода, хотя день был морозный, о чем свидетельствовала ледяная корка перед мостом через ручей. Теперь он замерз, но несколько дней назад во время бурной оттепели вышел из берегов и хлестал через мост. С моего места мне был виден Тернфилд: серый с зубчатым парапетом дом был центром долины подо мной. На западе темнел его лес и грачиная роща. Я медлила

там, пока солнце не зашло за деревья, а затем его багровый диск закатился за горизонт позади них. Тогда я повернула голову и поглядела на восток.

Гребень холма впереди оседлала восходящая луна. Бледная точно облако, но с каждой минутой обретая яркость, она повисла над Хеем, который был почти целиком заслонен деревьями. Струйки сизого дыма вились над его малочисленными печными трубами. До селения оставалась еще миля, но в полнейшей тишине до меня уже доносились легкие отголоски тамошней жизни. Мой слух улавливал и ропот речек — в каких долинах и оврагах, я не могла бы сказать, но за Хеем поднимались другие холмы, и, без сомнения, их там струилось немало. Вечернее же безмолвие выдавало и журчание самых ближних потоков, и вздохи самых дальних.

Грубый шум вторгся в эти замирающие всплески и шепоты — одновременно и очень далекий, и очень четкий: перестук и полязгивание заглушили нежный лепет вод. Так на картине тяжелая громада отрога или корявый ствол могучего дуба, написанные на переднем плане сильными темными мазками, заслоняют воздушную даль голубеющих холмов, солнечный горизонт и перламутр облаков, где один оттенок мягко

переходит в другой.

Шум приближался к мосту — нарастающий лошадиный топот, хотя извивы дороги пока еще прятали коня. Я как раз собиралась встать с приступки, но дорога тут сужалась, и я осталась сидеть, чтобы пропустить всадника. В те дни я была молода, и в моем мозгу обитали всяческие фантазии — и светлые, и темные. Среди прочего вздора там прятались воспоминания о няниных сказках. Когда они пробуждались, расцветшая юность добавляла им силы и яркости, на которые детство не способно. И, слушая топот, ожидая появления лошади из сумрачных теней, я вспомнила услышанные от Бесси предания, в которых действовал некий северо-английский оборотень, называемый Гитраш, — в облике коня, мула или огромного пса он являлся припоздавшим путникам на пустынных дорогах, как этот конь должен был вот-вот появиться передо мной.

Он был уже совсем близко, но все еще оставался невидимым, когда я услышала шорох под живой изгородью, и совсем рядом возле ореховых кустов проскользнул огромный пес, ясно выделявшийся на их фоне черно-белой окраской шерсти. Точно таким же было, по словам Бесси, одно из обличий Гитраша — подобие льва с длинной

шерстью и тяжелой головой. Однако, вопреки моим ожиданиям, пес пробежал мимо меня, не остановившись, не поглядев мне в лицо жуткими, вовсе не собачьими глазами. И тут появилась лошадь — высокий скакун с всадником на спине. Всадник, человек, мгновенно разрушил чары: никто никогда не оседлывал Гитраша, он всегда был одинок, да и гоблины, полагала я, хотя и вселяются в тела бессловесных животных, вряд ли склонны искать приют в человеческой оболочке. Да, это был не Гитраш, а просто путешественник, избравший более короткий путь в Милкот. Он промчался мимо, и я пошла своей дорогой, но не сделала и нескольких шагов, как остановилась и оглянулась, услышав скрежет и восклицание: «Какого дьявола?», за которыми последовал звук тяжелого падения. Всадник и конь лежали на земле — копыта коня поскользнулись на обледеневшей дороге. Пес вернулся огромными прыжками, увидел, что его хозяин попал в беду, услышал стон коня и принялся лаять, а темные холмы отвечали ему раскатистым эхом. Лай был очень басистым, пропорционально телосложению пса. Он обнюхал два лежащих тела, а потом подбежал ко мне, словно призывая на помощь — никого другого он о ней попросить не мог. Я

послушно направилась к всаднику, который к этому времени выпутался из стремян. Движения его были такими энергичными, что, подумала я, он вряд ли сильно ушибся, но все-таки спросила:

— Вы не расшиблись, сэр?

По-моему, он сыпал проклятиями, хотя я не могу утверждать это наверное; однако он, несомненно, произносил какое-то заклинание, так как не ответил мне сразу.

— Не могу ли я чем-нибудь помочь? — задала я еще один вопрос.

— Просто отойдите в сторону, — ответил он, поднимаясь с земли — сначала став на колени, а потом и на ноги.

Я послушалась, и начался процесс кряхтения, ударов и лязганья копыт под аккомпанемент лая и подвываний, так что я отошла еще на несколько ярдов, однако решила подождать и посмотреть, чем все завершится. К счастью, завершилось все хорошо. Конь поднялся на ноги, а пес угомонился по команде «Куш, Лоцман!». Теперь всадник нагнулся и ощупал свою ногу, начав со ступни, словно проверяя, цела ли она. Видимо, что-то оказалось не так — он добрел до перелаза и сел на приступку, с которой я только что встала.

Несомненно, я была в настроении оказать ему

услугу или, во всяком случае, предложить ее, потому что я снова подошла к нему.

— Если вы нуждаетесь в помощи, сэр, то я могу привести кого-нибудь из Тернфилд-Холла или из Хея.

— Благодарю вас, но я справлюсь сам. Обошлось без переломов, просто небольшое растяжение. — Вновь он встал, нажал на ступню, и у него вырвалось невольное «ох!».

Еще не совсем стемнело, а луна уже светила в полную силу, и я могла его рассмотреть. Он был закутан в скрывавший его фигуру плащ с меховым воротником, со стальными застежками, и я увидела только, что он среднего роста и широкоплеч. Лицо у него было смуглое, с суровыми чертами и тяжелым лбом. В эту минуту его глаза под нахмуренными бровями были полны сердитой досады. Был он уже не первой молодости, но не выглядел и пожилым. Я дала ему лет тридцать пять. Страха я не испытывала — лишь легкую робость. Будь он героического вида красавцем, я бы не посмела задавать ему вопросы против его желания и предлагать ему непрошеную помощь. Молодых красавцев мне редко приходилось видеть, и ни разу в жизни я не разговаривала ни с одним. Теоретически я почитала красоту,

элегантность, благородную смелость, обаяние, однако, повстречайся они мне воплощенными в живом мужчине, я инстинктивно уловила бы, что все это не имеет и не может иметь отношения ко мне, и отпрянула бы, точно от молнии, от огня — от всего, что ярко блещет, но может опалить.

Даже если бы этот незнакомец улыбнулся и был бы вежлив со мной, когда я заговорила с ним, если бы он отклонил предложенную помощь учтиво и с благодарностью, я бы пошла своей дорогой, не испытывая никакой потребности повторить свое предложение. Однако нахмуренные брови и его резкость ободрили меня: я осталась стоять на месте, когда он сделал мне знак идти дальше, и объявила:

— Я не могу оставить вас одного, сэр, на этой пустынной дороге, пока не увижу, что вы способны сесть в седло.

При этих моих словах он взглянул на меня (прежде он почти не поворачивал ко мне головы).

— Мне кажется, вам бы следовало быть сейчас дома, — сказал он. — Если ваш дом где-то здесь. Где вы живете?

— Неподалеку, ниже по дороге. И я ничуть не боюсь выходить в вечерние часы, если светит

луна. Если вы пожелаете, я с большим удовольствием схожу за помощью в Хей. Собственно говоря, я как раз иду туда отправить письмо.

— Вы живете ниже по дороге? Вон в том доме с парапетом? — И он указал на Тернфилд-Холл, облитый бледными лучами луны и четко белевший на фоне леса, который по контрасту с небом на западе казался сплошным скоплением черных теней.

— Да, сэр.

— А чей это дом?

— Мистера Рочестера.

— Вы знакомы с мистером Рочестером?

— Нет. Я никогда его не видела.

— Так, значит, он сейчас в отсутствии?

— Да.

— А вы не могли бы сказать мне, где он сейчас?

— Я не знаю.

— Разумеется, вы не прислуга. Вы… — Он смолк, поглядел на мою одежду, как всегда очень простую: пелерина из черной шерсти, черная касторовая шляпка, какие бы не стала носить ни одна уважающая себя камеристка. Он, видимо, не мог понять, кто же я такая, и я ему помогла:

— Я гувернантка.

— А, гувернантка! — повторил он. — Прах меня

побери, совсем забыл. Гувернантка! — И вновь моя одежда подверглась взыскательному осмотру. Через две минуты он встал с приступки и поморщился от боли, едва сделал первый шаг.

— Отправить вас за помощью я не хочу, — сказал он, — но вы могли бы сами помочь мне, если будете столь любезны.

— Разумеется, сэр.

— У вас нет зонтика, на который я мог бы опереться?

— Нет, сэр.

— Попытайтесь взять моего коня под уздцы и подвести его ко мне. Вы не боитесь?

Будь я одна, то, конечно, побоялась бы подойти к лошади, но, когда меня об этом попросили, я послушалась, положила муфточку на приступку перелаза, направилась к высокому коню и попыталась схватить уздечку, но он нервничал и отворачивал голову. Тщетно я вновь и вновь протягивала руку, смертельно боясь, что окажусь под передними копытами. Незнакомец некоторое время наблюдал за нами, а потом засмеялся.

— Вижу, — сказал он, — что гору подвести к Магомету не удастся, значит, у вас есть только один выход: помочь Магомету подойти к горе. Я вынужден попросить вас подойти сюда.

Я послушалась, и он продолжал:

— Извините меня, но необходимость вынуждает меня воспользоваться вами как костылем.

Он положил тяжелую руку мне на плечо и, опираясь на меня, дохромал до коня. Схватив уздечку, он тотчас подчинил его своей воле и вспрыгнул в седло, хотя при этом движении его лицо исказилось от боли.

— Теперь, — сказал он, разжав зубы, которыми закусил нижнюю губу, — будьте добры, подайте мне хлыст. Он упал под изгородь.

Поискав, я нашла хлыст и отдала ему.

— Благодарю вас. А теперь поспешите с письмом в Хей, чтобы вернуться как можно скорее.

При первом прикосновении шпор его конь вздрогнул и взвился на дыбы, но тут же понесся по дороге, пес бросился за ним, и все трое исчезли из виду,

как ветка вереска, что вихрь
сломал и вдаль умчал.

Я взяла муфту и пошла дальше. Случилось небольшое происшествие и осталось позади. Да, это было незначительное происшествие, ничуть не романтичное, не интересное, но все же оно скрасило переменой один час однообразной жиз-

ни. В моей помощи нуждались, о ней попросили, и я ее оказала. Я радовалась, что могла что-то сделать — хотя и пустячный, но это был поступок, а мне приелось бездейственное существование. И новое лицо было как новый портрет, помещенный в галерее памяти, такой непохожий на все остальные. Во-первых, потому что это было лицо мужчины, а во-вторых, потому, что оно было смуглым, сильным и суровым. Оно виделось мне, когда я добралась до Хея и сдала письмо в почтовую контору. Я видела его перед собой, когда быстро шла вниз по склону всю дорогу до дома. Когда я поравнялась с перелазом, то остановилась на минуту, осмотрелась, прислушалась. А вдруг вновь конские копыта простучат по мосту, вновь появятся всадник в плаще и похожий на Гитраша ньюфаундленд? Но я видела только живую изгородь, да прямо передо мной ива тянулась вверх навстречу лунным лучам. И я слышала только легкие вздохи ветра, порывами проносящегося между тернфилдскими деревьями в миле от меня. А когда я посмотрела вниз, туда, где раздавались эти вздохи, мой взгляд, скользнув по фасаду, задержался на освещенном окне, напомнившем мне, что час поздний и надо поторопиться.

Мне не хотелось возвращаться в Тернфилд.

Переступить его порог значило вернуться в застойную рутину. Подняться по темной лестнице, войти в мою одинокую келью, а потом встретиться с исполненной спокойствия миссис Фэрфакс и провести с ней долгий зимний вечер, с ней одной, — все это совсем погасило бы легкое радостное возбуждение, вызванное прогулкой, заставило бы меня вновь наложить на порывы моего духа невидимые оковы однообразного и чересчур размеренного существования — существования, самые преимущества которого, обеспеченность и покой, я переставала хоть сколько-нибудь ценить. Какую пользу я извлекла бы, будь в ту минуту я ввергнута в бури необеспеченной, зыбкой жизни и на горьком опыте научилась бы ценить покой, среди которого я сейчас изнывала? Ровно такую же, какую человек, устав от «пыточных тисков удобнейшего кресла», извлекает из длинной прогулки. И столь же естественным в моих обстоятельствах, как и у этого поэта, было желание вырваться на волю.

Я задержалась у ворот, я задержалась на лужайке, я прохаживалась взад и вперед у крыльца. Ставни стеклянной двери были закрыты, и я не могла заглянуть внутрь, а и мои глаза, и мой дух словно отталкивались от угрюмого дома,

от серой оболочки, скрывавший кельи, куда не проникал луч света, каким он представлялся мне, и устремлялись к раскинувшемуся надо мной небу — синему морю, не испорченному пятнами облаков. Луна торжественно поднималась по нему и казалась оком, взирающим вверх, пока вершины холмов, из-за которых она поднялась, уходили все ниже и ниже, она же устремлялась к зениту, полуночно темному в своей неизмеримой глубине. А трепещущие звезды на ее пути вызывали ответный трепет в моем сердце и горячили кровь в моих жилах, пока я смотрела на них. Однако самое незначительное способно вернуть нас с небес на землю: в прихожей пробили часы, и этого оказалось достаточно. Я отвернулась от луны и звезд, открыла боковую дверь и вошла.

В передней было не совсем темно, хотя высоко висящую бронзовую люстру еще не зажгли. Однако там разливалось мягкое сияние, ложась и на нижние ступеньки дубовой лестницы. Исходило это красноватое свечение из открытых дверей парадной столовой. Широко распахнутые створки позволяли увидеть веселое пламя в камине, отражающееся и от его мрамора, и от медной решетки, бросающее теплые блики на сиреневые гардины и на отполированную мебель. Ложи-

лись они на маленькое общество, собравшееся у камина. Едва мой взгляд упал на эту группу, едва я услышала смешанный гул голосов, в котором различила веселое тараторение Адели, как створки двери сомкнулись.

Я поспешила в комнату миссис Фэрфакс. Там тоже горел огонь, но не было ни свечи, ни миссис Фэрфакс. Вместо нее на коврике восседал, устремив внимательные глаза на огонь, большой лохматый черно-белый пес, как две капли воды похожий на Гитраша у перелаза. Настолько похожий, что я шагнула вперед и позвала:

— Лоцман!

Пес встал, подошел ко мне и обнюхал меня. Я погладила его, и он завилял пушистым хвостом. Но все равно было жутковато оставаться с ним наедине. К тому же я не представляла, откуда он мог появиться здесь. И позвонила, потому что хотела, чтобы мне принесли свечу — а также узнать, что это за странный гость. Вошла Лия.

— Что это за пес?

— Он сопровождал хозяина.

— Кого-кого?

— Хозяина. Мистера Рочестера. Он только что приехал.

— Вот как! И миссис Фэрфакс сейчас с ним?

— Да. И мисс Адель тоже. Они в столовой, а Джон поехал за доктором. С хозяином случилась беда: его лошадь упала, и он потянул лодыжку.

— Упала на дороге в Хей?

— Да, на спуске. Поскользнулась на замерзшей луже.

— А! Принесите мне, пожалуйста, свечу, Лия.

Лия пошла за свечой и вернулась вместе с миссис Фэрфакс, которая, в свою очередь, сообщила мне новость, добавив, что мистер Картер, доктор, уже приехал и сейчас осматривает мистера Рочестера. Затем она торопливо вышла, чтобы распорядиться насчет чая, а я поднялась к себе, чтобы снять верхнюю одежду.

Глава 13

Оказалось, что по совету доктора мистер Рочестер лег спать пораньше, а вот встал на следующее утро довольно поздно. Когда же он все-таки спустился вниз, то для того лишь, чтобы заняться делами: его управляющий и несколько фермеров уже ждали, когда он их примет.

Мы с Аделью покинули библиотеку: теперь ей предстояло играть роль приемной для ежедневных посетителей. В одной из верхних комнат затопили камин. Туда я перенесла учебники и книги и приготовила все, чтобы преобразить эту комнату в классную. В течение утра я убедилась, что Тернфилд-Холл неузнаваемо изменился: исчезла церковная тишина, чуть ли не каждый час раздавался стук в дверь или трезвонил колокольчик. И в передней то и дело слышались шаги, там звучали новые незнакомые голоса. По дому заструился ручеек из внешнего мира — он обрел хозяина и таким нравился мне больше.

Учить Адель в этот день оказалось нелегко: она все время отвлекалась, бегала за двери и перегибалась через перила посмотреть, не покажется

ли мистер Рочестер, придумывала предлоги спуститься вниз, чтобы, как я не сомневалась, навестить библиотеку, где, я знала, она оказалась бы совершенно лишней. А когда я, рассердившись, потребовала, чтобы она сидела смирно, Адель принялась болтать про своего ami, monsieur Edouard Fairfax de Rochester,[12] как она его называла (его полное имя я услышала только теперь от нее), и строить предположения, какие подарки он ей привез. Оказалось, он накануне вечером намекнул, что в его багаже, когда он прибудет из Милкота, найдется коробка, содержимое которой может ее заинтересовать.

— Et cela doit signifier, — сказала она, — qu'il y aura ladedans un cadeau pour moi, et peut-être pour vous aussi, mademoiselle. Monsieur a parlé de vous; il ma demandé le nom de ma gouvernante, et si elle n'était pas une petite personne, assez mince et un peu pâle. J'ai dit que oui: car c'est vrai, n'est-ce pas, mademoiselle?[13]

---

[12] Примечания: 12

друга, мистера Эдварда Фэрфакса де Рочестера (фр.).

[13] Примечания: 13

А это значит, что там есть подарок для меня, а может, и для вас тоже, мадемуазель. Ведь он говорил про вас, он спросил меня, как зовут мою гувернантку, а еще он спросил: «Это такая бледная худышка небольшого роста?», и я сказала, что да, потому что это ведь правда, мадемуазель? (фр.)

Как обычно, мы с моей ученицей пообедали в гостиной миссис Фэрфакс. Днем забушевала метель, и до вечера мы оставались в классной комнате. Когда стемнело, я разрешила Адели убрать книги и тетради и отправиться вниз, так как относительная тишина там и умолкший дверной колокольчик навели меня на мысль, что мистер Рочестер покончил с делами. Оставшись одна, я подошла к окну, но ничего не увидела: хлопья, кружащие в потемневшем воздухе, скрывали даже кусты на лужайке. Я опустила штору и вернулась к камину.

Глядя на горки янтарных углей, я творила в своем воображении некое подобие Гейдельбергского замка над Рейном, который видела на картинке в книге, но тут вошла миссис Фэрфакс и своим появлением рассыпала огненную мозаику, которую я успела составить, а также разогнала нежеланные тяжкие мысли, начавшие вторгаться в мое одиночество.

— Мистер Рочестер будет рад, если вы со своей ученицей сегодня вечером присоединитесь к нему за чаем в гостиной, — сказала она. — Он весь день был очень занят и не мог прежде познакомиться с вами.

— Когда он пьет чай? — спросила я.

— Да около шести: в деревне он ложится рано. Вам лучше переодеться сейчас же. Я пойду с вами, помогу застегнуть пуговицы. Возьмите свечу.

— А надо ли мне переодеваться?

— Да, разумеется. Когда мистер Рочестер здесь, я всегда переодеваюсь к вечеру.

Соблюдение этого светского обычая показалось мне излишне церемонным, но я пошла к себе и с помощью миссис Фэрфакс сменила черное шерстяное платье на черное шелковое. Лучшее и единственное не ежедневное в моем гардеробе, кроме светло-серого, которое, по моим ловудским понятиям о туалетах, я считала настолько нарядным, что надевать его полагалось лишь в самых торжественных случаях.

— Тут нужна брошь, — объявила миссис Фэрфакс. У меня была маленькая жемчужная брошка, которую мисс Темпл подарила мне на память при прощании. Я приколола ее, и мы спустились вниз. Я так не привыкла к обществу незнакомых людей, что явиться перед глазами мистера Рочестера по приглашению, которое больше походило на приказание, было для меня тягостным испытанием. В столовую я пропустила миссис Фэрфакс вперед и оставалась в ее тени, пока мы не прошли под аркой (портьера на этот раз была

опущена) в изящную гостиную.

На столе горели две высокие свечи, и еще две — на каминной полке. Лоцман лежал, нежась в их свете и в тепле, лившихся от ярко пылающего огня. Рядом с Лоцманом на коленях стояла Адель. На кушетке полулежал мистер Рочестер — под его ступню была подложена подушка. Он смотрел на Адель и собаку, свет огня падал прямо на его лицо, и я узнала моего всадника по густым угольно-черным бровям, квадратному лбу, который казался еще более квадратным из-за того, что черные волосы были зачесаны набок. Я узнала его резко очерченный нос, говоривший о характере и ничего не добавлявший к красоте, и крупные ноздри, которые, решила я, свидетельствовали о вспыльчивости, и угрюмый рот, и подбородок. Да, они были очень угрюмые. Его фигура без плаща, заметила я, квадратностью гармонировала с лицом. С атлетической точки зрения, полагаю, он был сложен превосходно: широкие плечи, узкие бедра. Но при том он не был ни высок, ни строен.

Мистер Рочестер не мог не заметить нас с миссис Фэрфакс, однако, видимо, он был не в настроении дарить нас вниманием — во всяком случае, он даже не поднял головы при нашем появлении.

— Вот мисс Эйр, сэр, — представила меня миссис Фэрфакс обычным мягким голосом.

Он поклонился, все еще не отводя глаз от собаки и девочки.

— Так пусть мисс Эйр сядет, — сказал он, а отрывистый сухой поклон, нетерпеливый, хотя и холодно-вежливый тон словно добавили: «Какое мне дело, черт возьми, здесь мисс Эйр или нет? Сейчас я не склонен разговаривать с ней».

Я села, не испытывая ни малейшей робости. Изысканная учтивость, наверное, смутила бы меня, и я не сумела бы ответить на нее с достаточной светскостью и непринужденностью. Однако ничем не оправданная резкость не накладывала на меня никаких обязательств. Напротив, эта выходка давала мне право на невозмутимое молчание, что было заметным преимуществом. К тому же такая эксцентричность заинтриговывала, и мне было интересно, как он будет себя вести дальше.

А повел он себя как истукан. То есть не произносил ни слова и сохранял полную неподвижность. Миссис Фэрфакс, видимо, считала, что кто-то должен разбить лед, и попробовала завести разговор. С обычной своей приятной доброжелательностью и с обычной своей тривиальностью она

изъявила ему сочувствие: он был так занят весь день, и как, верно, ему было тяжело из-за больной ноги! После чего восхитилась его терпением и упорством, с какими он без отлагательств решил все дела.

— Сударыня, я хотел бы выпить чая, — был единственный ответ, которого она добилась.

Миссис Фэрфакс поспешила позвонить и, когда принесли поднос, начала с бодрым усердием расставлять чашки, раскладывать ложки и так далее. Мы с Аделью сели за стол, но хозяин дома остался лежать.

— Вы не передадите чашку мистеру Рочестеру? — сказала мне миссис Фэрфакс. — Адель ведь непременно расплещет.

Я выполнила ее просьбу. Когда он взял у меня чашку, Адель решила, что это наиболее подходящая минута, чтобы походатайствовать за меня, и весело воскликнула:

— N'est-ce pas, monsieur, qu'il y a un cadeau pour mademoiselle Eyre dans votre petit coffre?[14]

— Какой еще cadeau?[15] — сказал он ворчливо.

---

[14] Примечания: 14

Ведь правда, мсье, в вашем багаже есть подарок и для мадемуазель Эйр? (фр.)

[15] Примечания: 15

подарок (фр.).

— Вы ожидали подарка, мисс Эйр? Вы любите подарки? — И он впился в мое лицо пронзительными, гневными, темными глазами.

— Право, не знаю, сэр. У меня в этом отношении мало опыта. Обычно их считают приятным сюрпризом.

— Обычно? Но что думаете вы?

— Прежде чем я смогу найти ответ, достойный вашего внимания, мне нужно время. Подарок ведь может означать самое разное, не правда ли? И перед тем, как высказать мнение о нем, необходимо понять, какой смысл в него вложен.

— Мисс Эйр, вы не столь непосредственны, как Адель: она, едва завидит меня, начинает громогласно требовать свой cadeau, а вы ходите вокруг да около.

— Потому что Адель в отличие от меня твердо уверена в своих правах — она может сослаться на давнее знакомство и на обычай: по ее словам, вы постоянно дарите ей игрушки. Но мне нечем было бы обосновать свои претензии, вы ведь со мной не знакомы и я не сделала ничего, чтобы заслужить подобный знак расположения или благодарности.

— К чему такая чрезмерная скромность? Я поэкзаменовал Адель и нахожу, что вы сделали для

нее очень много. У нее нет ни ума, ни каких-либо особых способностей, тем не менее она сделала заметные успехи за очень короткое время.

— Сэр, вот я и получила от вас мой cadeau и весьма вам признательна. Подобная похвала для учителей всего дороже — похвала успехам их учеников.

— Хм! — сказал мистер Рочестер и начал молча пить чай.

— Садитесь к огню, — приказал хозяин дома, когда поднос унесли, а миссис Фэрфакс устроилась в уголке с вязаньем. Адель тем временем водила меня за руку по гостиной, показывая мне книги в нарядных переплетах и безделушки на консолях и шифоньерках. Мы, разумеется, послушались. Адель хотела было забраться ко мне на колени, но ей было велено поиграть с Лоцманом.

— Вы живете в моем доме три месяца?

— Да, сэр.

— И вы приехали?..

— Из Ловуда, школы в ***шире.

— А! Благотворительное учреждение. И долго вы там пробыли?

— Восемь лет.

— Восемь лет! Видимо, вы крепко держитесь за жизнь. Мне кажется, и половина этого срока

в подобном месте погубила бы любое здоровье. Неудивительно, что в вас сквозит что-то не от этого мира. Я все гадал, откуда у вас подобное лицо. Когда вчера вечером вы вдруг возникли передо мной на дороге в Хей, мне почему-то вспомнились сказки, и я чуть было не спросил, уж не заколдовали ли вы моего коня? И все еще подозреваю, что без этого не обошлось. Кто ваши родители?

— У меня их нет.

— И никогда не было, я полагаю. Вы их помните?

— Нет.

— Я так и думал. Так, значит, на приступке перелаза вы сидели в ожидании вашей родни?

— О ком вы, сэр?

— Об эльфах. Вечер был лунный, вполне в их вкусе. Я ворвался в ваше кольцо, и за это вы наколдовали лед у моста?

Я покачала головой и ответила с не меньшей серьезностью:

— Все эльфы покинули Англию сотни лет назад. И вы не сыщете их следов ни на дороге в Хей, ни даже среди окрестных лугов. Не думаю, что летней, осенней или зимней луне когда-либо вновь доведется освещать их праздники.

Миссис Фэрфакс опустила вязанье и, казалось, не могла понять, о чем мы говорим.

— Что же, — продолжал мистер Рочестер, — если от родителей вы отрекаетесь, у вас все же должны быть какие-нибудь родственники. Дяди? Тетки?

— Нет. Во всяком случае, я никогда их не видела.

— А ваш родной дом?

— У меня его никогда не было.

— Где живут ваши братья и сестры?

— У меня нет ни братьев, ни сестер.

— Кто рекомендовал вам искать место здесь?

— Я дала объявление в газету, и миссис Фэрфакс на него ответила.

— Да, — вмешалась добрая старушка, обрадованная тем, что наконец разобралась, о чем идет речь. — И я ежедневно возношу благодарность Провидению за то, что Оно помогло мне сделать правильный выбор. Мисс Эйр — моя бесценная собеседница и помощница, а также добрая и заботливая наставница Адели.

— Не трудитесь рекомендовать ее мне, — возразил мистер Рочестер. — Никакие панегирики на меня не повлияют. Я составлю собственное мнение. Начала она с того, что сбила с ног моего

коня.

— Сэр? — с недоумением спросила миссис Фэрфакс.

— За это растяжение мне следует поблагодарить ее.

Старушка была совершенно сбита с толку.

— Мисс Эйр, вы когда-нибудь жили в городе?

— Нет, сэр.

— У вас большой круг знакомых?

— Нет, сэр. Только ловудские воспитанницы и учительницы, а теперь еще и те, кто живет в Тернфилде.

— Вы много читали?

— Только те книги, которые мне удавалось найти. Но их было немного, и особой серьезностью они не отличались.

— Вы вели жизнь монахини. Не сомневаюсь, что вы знаток религиозных обрядов. Броклхерст, ловудский попечитель, если не ошибаюсь, — он ведь священнослужитель?

— Да, сэр.

— И вы, ученицы, наверное, благоговели перед ним, как в женских монастырях благоговеют перед духовником.

— О нет!

— Какой холодный тон! Не может быть! Как?

Послушница не благоговеет перед священником? Смахивает на богохульство.

— Я не терпела мистера Броклхерста, и в этом была отнюдь не одинока. Он черствый человек. Одновременно и спесивый, и мелочный. Он приказывал стричь нас и из экономии покупал для нас такие скверные иголки и нитки, что ими невозможно было шить.

— Такая экономия только вред приносит, — заметила миссис Фэрфакс, вновь уловившая в нашем разговоре хоть какой-то смысл.

— И в этом вся его вина? — осведомился мистер Рочестер, используя слова Отелло.

— До того, как был создан попечительский совет и покупка провизии велась под его единоличным наблюдением, он морил нас голодом. И раз в неделю доводил нас до зевоты длиннейшими наставлениями и вечерним чтением им самим сочиненных трактатов про внезапные смерти и загробные кары, так что мы потом боялись лечь спать.

— Сколько вам было лет, когда вы поступили в Ловуд?

— Около десяти.

— И оставались там восемь лет. Значит, сейчас вам восемнадцать?

Я кивнула.

— Как видите, арифметика — полезная наука. Без ее помощи я вряд ли сумел бы угадать ваш возраст. Трудно сделать правильный вывод, когда черты лица и его выражение противоречат друг другу так, как у вас. Ну а теперь скажите, чему вы научились в Ловуде? Вы играете?

— Немножко.

— Ну конечно: обязательный ответ. Идите в библиотеку… то есть не будете ли вы так добры пойти туда. (Извините мой повелительный тон, но я привык говорить: «Сделайте то-то или то-то» — и это тут же исполняется. И не могу изменить свои привычки ради одной новой обитательницы моего дома.) Так идите в библиотеку, захватите с собой свечу, дверь оставьте открытой, сядьте за рояль и сыграйте что-нибудь.

Я выполнила все его распоряжения.

— Достаточно! — донесся вскоре из гостиной его голос. — Да, я вижу, что вы играете немножко. Как всякая английская барышня. Возможно, лучше многих и многих, но все-таки дурно.

Я закрыла рояль и вернулась в гостиную. Мистер Рочестер продолжал:

— Адель показала мне утром несколько рисунков и сказала, что они ваши. Но я не знаю

насколько. Возможно, их подправлял учитель?

— Вовсе нет! — воскликнула я.

— А! Раненая гордость! Что же, принесите мне вашу папку, если можете поручиться, что ее содержимое — всецело ваше. Однако не давайте слова, если только вы не уверены безоговорочно. Я умею распознавать заплаты.

— В таком случае я промолчу, а вы можете судить сами, сэр.

И я принесла папку из библиотеки.

— Придвиньте столик, — сказал он.

Я подкатила столик к кушетке. Адель и миссис Фэрфакс подошли поближе, чтобы тоже поглядеть на рисунки.

— Не так близко! — скомандовал мистер Рочестер. — Будете брать листы у меня, когда я покончу с ними, но не заглядывайте мне через плечо.

Он неторопливо разглядывал каждый этюд, каждую акварель. Три он отложил, остальные, кончив рассматривать, отбросил.

— Отнесите их на другой стол, миссис Фэрфакс, — сказал он, — и займитесь ими вместе с Аделью, а вы (он поглядел на меня) сядьте, где сидели, и отвечайте на мои вопросы. Я убедился, что все они сделаны одной рукой. Вашей?

— Да.

— А когда вы находили для них время? Они ведь требовали долгой работы и некоторого обдумывания.

— Я работала над ними во время двух моих последних каникул в Ловуде. Других занятий у меня тогда не было.

— Откуда вы брали сюжеты?

— Из головы.

— Вот из этой, которую я вижу у вас на плечах?

— Да, сэр.

— И внутри есть еще такое же?

— Думаю, да. И надеюсь, что лучше.

Он разложил листы перед собой и снова по очереди рассмотрел.

Пока он занимается этим, читатель, я расскажу тебе, что он видит. Для начала следует указать, что замечательными их назвать было никак нельзя. Да, сюжеты их ярко возникали у меня в уме. И были поразительными, пока я видела их духовным оком до того, как попыталась перенести на бумагу. Однако моя рука оказалась слабее моей фантазии, и каждый из них был лишь бледным отражением замысла.

Это были акварели. На первой низкие свинцовые тучи стлались над бушующим морем. Даль

тонула в сумраке, как, впрочем, и передний план, а вернее — ближайшие вздымающиеся волны, так как суши не было. Единственный луч света выделял полузатопленную мачту, на которой сидел баклан, темный, большой, в брызгах пены на крыльях. В клюве он держал золотой браслет, усаженный драгоценными камнями, которым я придала всю ту яркость, какую сумела извлечь из своих красок, и всю ту выпуклую четкость, на какую была способна моя кисть. Под мачтой и птицей сквозь зеленую воду различались очертания трупа — хорошо видна была лишь прекрасная рука, с которой был смыт или сорван браслет.

Передний план второго рисунка занимала вершина холма, трава на которой гнулась, словно под ветром, гнавшим несколько листьев. Позади и вверх простиралась темная, как бы вечерняя, синева неба, а в ней виделись женская голова и плечи, выписанные такими сумеречными и мягкими тонами, какие только мне удалось подобрать. Едва различимый лоб венчала звезда, ниже лицо будто окутывала дымка. Темные глаза хранили неукротимый блеск, волосы ниспадали неясными тенями, будто черная туча, разметанная на пряди бурей или ударами молний. На шее

лежал бледный блик, как пятно лунного света, и тот же перламутровый оттенок отличал легкую гряду облаков, над которой поднималось это видение Вечерней Звезды.

На третьем шпиль айсберга вонзался в зимнее полярное небо, по горизонту северное сияние вскидывало свои расплывчатые копья, почти соприкасающиеся друг с другом. Отодвигая все это в глубину, на первом плане вздымалась голова — титаническая голова, склонившаяся к айсбергу и опирающаяся на него. Подо лбом смыкались пальцы двух тонких рук, поддерживая его и закрывая черным покрывалом нижнюю часть лица. Видны были лишь лоб, мертвенно-белый, точно кость, и один глубоко запавший глаз, застывший, лишенный даже проблеска мысли, остекленевший в отчаянии. Над висками, среди складок черного тюрбана, безвидного, как сгусток мглы, блестело полукружие белого пламени с вкраплениями багровых искр. Этот бледный полумесяц был «подобием Монаршего Венца», осеняющего «форму, что формы лишена», о которых говорил Мильтон в «Потерянном Рае».

— Вы были счастливы, когда работали над этими рисунками? — осведомился затем мистер Рочестер.

— Я была всецело ими поглощена, сэр. И да, я была счастлива. Собственно говоря, работа над ними была одной из высших радостей, выпавших мне в жизни.

— Ну, это мало что значит. По вашим же словам, радостей вам выпадало мало. Однако, смею сказать, смешивая краски и добиваясь этих необычных оттенков, вы пребывали в стране грез, открытой только художникам. И вы каждый день сидели над ними подолгу?

— У меня не было других занятий на каникулах, и я работала над ними с раннего утра до полудня, а с полудня до темноты — длина летних дней способствовала моему усердию.

— И вас удовлетворили результаты вашего пылкого прилежания?

— Вовсе нет. Меня мучило различие между моим замыслом и его воплощением. Все три раза я представляла себе нечто такое, что была бессильна воплотить.

— Не преувеличивайте. Тень своих замыслов вы воплотить сумели, но, пожалуй, не более. Чтобы выразить их сполна, вам не хватает мастерства и школы. Однако для школьницы эти рисунки необычны. Ну а замыслы вы черпали в краю эльфов. Глаза Вечерней Звезды вы, думаю,

видели во сне. Как вам удалось сделать их такими ясными, но при этом не сверкающими? Звезда над ними гасит их сияние. И какую тайну прячут их загадочные глубины? И кто научил вас изображать ветер? Ведь в этом небе, над вершиной этого холма бушует буря. И где вы видели Латмос? Ведь это же гора Латмос. Возьмите, уберите их.

Не успела я завязать тесемки папки, как, взглянув на часы, он сказал резко:

— Девять часов! О чем вы думаете, мисс Эйр? Адели давно пора спать. Уведите ее.

Адель подбежала поцеловать его на прощание, и он стерпел эту ласку, но не с большим удовольствием, чем Лоцман, а возможно, что и с меньшим.

— Желаю вам всем спокойной ночи, — сказал он и взмахнул рукой в сторону двери, показывая, что наше общество ему надоело и он нас отсылает. Миссис Фэрфакс сложила вязанье, я взяла папку, мы сделали легкий реверанс, получили в ответ холодный кивок и ушли.

— Вы говорили, что у мистера Рочестера нет особых странностей, миссис Фэрфакс, — сказала я, когда вошла в ее комнату, после того как уложила Адель.

— А вам кажется, что есть?

— По-моему, да. Он очень переменчив и резок.

— Да, правда. Пожалуй, он может показаться таким при первом знакомстве, но я настолько привыкла к его манере держаться, что давно ее не замечаю. А если ему и свойственны некоторые странности в характере, их можно извинить.

— Почему же?

— Отчасти потому, что такова его природа, а никто из нас над своей природой не властен; отчасти же потому, что его, наверное, преследуют тяжелые мысли и вызывают некоторую неуравновешенность в поведении.

— Какие мысли?

— Ну, во-первых, семейные беды.

— Но у него же нет семьи.

— Теперь нет, а прежде была. То есть близкие родственники. Несколько лет назад он потерял старшего брата.

— Старшего брата?

— Да. Владельцем фамильного поместья мистер Рочестер стал не так уж давно. Всего девять лет назад.

— Девять лет — порядочный срок. Неужели он был настолько привязан к брату, что все еще оплакивает свою потерю?

— Да нет… пожалуй что нет. Мне кажется, меж-

ду ними были какие-то недоразумения. Мистер Роланд Рочестер был не совсем справедлив к мистеру Эдварду и, возможно, восстановил против него их отца. Старик любил деньги и стремился сохранить в целости фамильное состояние. Ему не хотелось делить его, но он считал необходимым, чтобы и мистер Эдвард был богат — для поддержания семейного имени. Вскоре после того, как он достиг совершеннолетия, были предприняты кое-какие шаги, не очень достойные и причинившие много бед. Старый мистер Рочестер и мистер Роланд вместе поставили мистера Эдварда в положение, которое он считал очень тяжелым, а по их мнению, он таким образом мог составить себе состояние. Мне не известно, что, собственно, произошло, но его дух не мог смириться с тем, что ему приходилось терпеть. Он не из тех, кто легко прощает, и порвал с отцом и братом и довольно много лет вел скитальческую жизнь. По-моему, с тех пор, как смерть брата, не оставившего завещания, сделала его хозяином поместья, он ни разу не оставался в Тернфилде дольше двух недель. Да и неудивительно, что он избегает жить в фамильном доме.

— Но зачем ему его избегать?

— Возможно, он находит его слишком мрач-

ным.

Ответ был явно уклончивым — я бы предпочла что-нибудь более определенное, но миссис Фэрфакс либо не могла, либо не желала яснее объяснить причину и природу испытаний, которые пришлось терпеть мистеру Рочестеру. Она заверила меня, что ничего о них не знает и что все ею сказанное по большей части — ее собственные домыслы. В любом случае было очевидно, что она предпочла бы, чтобы я оставила эту тему. Я так и сделала.

Глава 14

В следующие дни я почти не видела мистера Рочестера. По утрам он как будто занимался делами, днем приезжали джентльмены из Милкота или соседи, иногда оставались пообедать с ним. Когда его нога позволила ему вновь садиться на лошадь, он начал часто уезжать — возможно, возвращал визиты, — и отсутствовал до ночи.

В промежутках он даже за Аделью посылал редко, продолжение же моего знакомства с ним ограничивалось случайными встречами в прихожей, на лестнице или в галерее. Иногда он проходил мимо меня с безразличным высокомерием, ограничиваясь легким кивком или холодным взглядом, а иногда галантно кланялся и улыбался. Такая смена настроений меня не задевала, так как я понимала, что она со мной никак не связана: приливы и отливы зависели от причин, к которым я ни малейшего отношения не имела.

Как-то к обеду съехались гости, и он прислал за моей папкой, без сомнения, чтобы развлечь их ее содержимым. Джентльмены уехали рано,

торопясь на какое-то собрание в Милкоте, как я узнала от миссис Фэрфакс, однако вечер был таким сырым и холодным, что мистер Рочестер предпочел остаться дома. Вскоре после их отъезда он позвонил, и мне с Аделью передали, что он ждет нас внизу. Я причесала Адель, переодела ее и, убедившись, что мой квакерский наряд в полном порядке (да и как могло быть иначе при такой скромной простоте, включая и гладко причесанные волосы?), повела ее вниз. Адель строила предположения, что, быть может, наконец прибыл багаж мистера Рочестера, задержавшийся из-за какой-то ошибки. И ее надежды оправдались: в столовой мы увидели на столе картонную коробку. Адель инстинктивно ее узнала.

— Ma boîte, ma boîote![16] — восклицала она, бросаясь к столу.

— Да, твоя boîte наконец-то прибыла. Забери ее в какой-нибудь уголок, ты, истинная дочь Парижа, и выпотроши в свое удовольствие, — донесся иронический бас мистера Рочестера из глубин покойного кресла у камина. — Но смотри, — продолжал он, — не докучай мне подробностями этого анатомического процесса и ничего

---

[16] Примечания: 16
Моя коробка! Моя коробка! (фр.)

не сообщай о состоянии внутренностей. Препарируй в молчании. Tiens-toi tranquille, enfant, comprends-tu?[17]

Адель не нуждалась в этом предупреждении: она уже устроилась со своим сокровищем на диване и сосредоточенно развязывала шнур, удерживавший крышку на месте. Удалив эту помеху и развернув серебряную бумагу, она ограничилась восклицанием:

— Oh ciel! Que c'est beau![18] — и погрузилась в благоговейное созерцание.

— Мисс Эйр здесь? — осведомился затем хозяин дома, приподнимаясь и глядя на дверь, возле которой я остановилась. — А! Ну, так подойдите и сядьте! — Он придвинул соседнее кресло поближе к своему. — Не люблю детского сюсюканья, — продолжал он. — Как старый холостяк я не храню никаких приятных воспоминаний о лепете младенцев. Я не смог бы провести весь вечер тет-а-тет с этой болтушкой. Не отодвигайте кресло, мисс Эйр, сядьте там, где я его поставил, — если будете столь любезны, разумеется. Прах побери эти вежливые присказки, я всегда о них

---

[17] Примечания: 17
Веди себя тихо, дитя, ты поняла? (фр.)

[18] Примечания: 18
О Боже! Какая прелесть! (фр.)

забываю. И я не слишком привержен обществу простодушных старых дам. А, видимо, мне вспомнилась моя. Не годится пренебрегать ею — она же как-никак Фэрфакс, хотя бы по мужу, а кровь как-никак не вода.

Он позвонил и отправил приглашение миссис Фэрфакс, которая не замедлила прийти с рабочей корзинкой в руке.

— Добрый вечер, сударыня. За вами я послал во имя милосердия. Я запретил Адели разговаривать со мной о ее подарках, и она прямо-таки захлебывается. Будьте так добры, послужите ей слушательницей и собеседницей, и так вы совершите величайшее благодеяние в вашей жизни.

И правда, едва Адель увидела миссис Фэрфакс, как она позвала ее к себе на диван и тотчас завалила ее колени фарфоровым, восковым, слоновой кости содержимым своей boîte под излияние тех восторгов и объяснений, какие допускал ее ограниченный запас английских слов.

— Теперь, когда я исполнил свои обязанности радушного хозяина, — продолжал мистер Рочестер, — и предоставил моим гостям развлекать друг друга, можно подумать и о себе. Мисс Эйр, выдвиньте ваше кресло еще немного вперед: вы прячетесь в его глубине, и мне трудно смотреть

на вас, не меняя своей удобной позы в этом уютном кресле, чего я делать не собираюсь.

Я подчинилась, хотя предпочла бы остаться более в тени. Но мистер Рочестер отдавал распоряжения с такой категоричностью, что их незамедлительное выполнение казалось само собой разумеющимся.

Мы, как я упомянула, сидели в столовой. Зажженная для обеда с гостями люстра озаряла комнату праздничным светом. Камин был полон алого чистого пламени, сиреневые драпировки пышными ниспадающими волнами закрывали величественные окна и еще более величественную арку. Везде царила тишина, если не считать тихого голоска Адели (говорить громко она не осмеливалась) да шума зимнего дождя, стучавшего по стеклам.

В обтянутом атласом кресле мистер Рочестер выглядел иным, чем прежде, — не таким суровым, менее мрачным. На его губах играла улыбка, глаза блестели — от вина или нет, сказать не берусь, хотя это и представляется мне вполне вероятным. Короче говоря, он пребывал в послеобеденном настроении: утренняя холодность и сухая сдержанность сменились благодушием и некоторой любезностью, словно он ослабил

тиски, в которых держал себя, но тем не менее он все-таки выглядел угрюмым. Массивная голова была откинута на спинку кресла, отблески огня ложились на его словно высеченное из гранита лицо, отражались в больших темных глазах — ведь у него были большие темные глаза, и к тому же очень красивые, — и порой что-то менялось в их глубинах: в них появлялась если не доброта, то выражение, наводившее на мысль о ней.

Он уже минуты две смотрел на огонь, а я те же две минуты смотрела на него, но тут, внезапно обернувшись, он перехватил мой взгляд, устремленный на его лицо.

— Вы исследуете меня, мисс Эйр, — сказал он. — И находите красивым?

Если бы я хоть на секунду задумалась, то ответила бы на этот вопрос с вежливой неопределенностью, но ответ сорвался у меня с языка совершенно невольно.

— Нет, сэр.

— А! Честное слово, в вас есть нечто особенное, — сказал он. — Вы сидите с видом маленькой послушницы — такая старомодная, тихая, серьезная, бесхитростная. Руки чинно сложены, глаза обычно устремлены на ковер (кроме, кстати, тех случаев, когда они пронзительно смотрят на

мое лицо, вот как теперь). А когда вам задают вопрос, на который вы вынуждены ответить, вы отделываетесь отповедью, если не прямо грубой, то резкой. Как это объяснить?

— Сэр, я была слишком прямолинейна и прошу у вас прощения. Мне следовало бы сказать, что не просто вот так сразу высказать мнение о чьей-то внешности, что вкусы бывают разными, что красота — это далеко не самое важное или еще что-нибудь в том же духе.

— Ничего подобного вам говорить не следовало бы. Красота — не самое важное, подумать только! И вот так под предлогом смягчить свой возмутительный выпад и умиротворить, ублажить меня вы коварно всаживаете перочинный ножик мне под ухо! Но продолжайте. Какие изъяны вы во мне обнаружили? Полагаю, руки, ноги, фигура и лицо у меня такие же, как у прочих людей?

— Мистер Рочестер, разрешите мне взять назад мой первый ответ. Я не собираюсь затевать вежливую пикировку, это была простая оговорка.

— Вот именно! Я так и считаю, и вы за нее поплатитесь. Покритикуйте меня. Вам не нравится мой лоб?

Он откинул черную как ночь волну волос, ниспадавшую ему на лоб, и показал достаточ-

но внушительное вместилище ума, которому, однако, явно не хватало шишки-другой благожелательности.

— Так как же сударыня? Я глуп?

— Отнюдь, сэр. Возможно, вы сочтете меня грубиянкой, если я в свою очередь спрошу: вы филантроп?

— Вот опять! Новый укол перочинным ножом, когда она делает вид, будто гладит меня по головке. И все только потому, что я признался, насколько не выношу общества детей и старух (да будет это сказано шепотом!). Нет, милая барышня, я далеко не филантроп, но у меня есть совесть! — И он указал на выпуклость, которую принято считать подтверждением этого качества и которая, на его счастье, бросалась в глаза. Собственно говоря, именно ей верхняя часть его головы была обязана своей шириной. — А еще прежде я обладал, так сказать, неотполированной нежностью сердца. В вашем возрасте я был достаточно чувствительным малым, полным симпатии к сирым, простодушным и несчастливым. Однако судьба с тех пор меня неплохо проучила, даже помесила, будто тесто, и теперь, льщу себя мыслью, я тверд и неуязвим, как гуттаперчевый мяч, хотя, правда, с парой трещинок и чувствительной точкой в

самом центре комка каучука. Так оставляет ли это для меня какую-нибудь надежду?

— Надежду на что, сэр?

— На то, что в конце концов преображусь из гуттаперчи обратно в плоть и кровь?

«Нет, он, несомненно, выпил слишком много вина», — подумала я и не нашла ответа на его странный вопрос. Откуда мне было знать, способен он на обратное преображение или нет?

— У вас озадаченный вид, мисс Эйр, и хотя вы хороши собой не более, чем я красив, недоумение вам к лицу. А к тому же оно и полезно, так как ваши испытующие глаза впиваются не в мою физиономию, а в самые скверные цветы на ковре. Милая барышня, нынче вечером я расположен к говорливости и общительности.

С этими словами он встал и облокотился о каминную стойку. В такой позе рассмотреть его фигуру было столь же легко, как и его лицо, и в глаза бросалась необычная ширина плеч, почти не пропорциональная рукам. Я уверена, многие сочли бы его уродливым, но в его осанке была такая естественная гордость, в его позе — такая непринужденность, такое равнодушие к своей наружности, такая надменная уверенность в превосходстве других врожденных или благо-

приобретенных достоинств над чисто внешней красотой, что, глядя на него, нельзя было не проникнуться тем же равнодушием, не разделить слепо эту уверенность, хотя бы отчасти.

— Сегодня вечером я расположен к говорливости и общительности, — повторил он, — и вот почему я послал за вами: огонь и люстра не могли составить мне компании, как и Лоцман. Ведь никто из них не умеет говорить. Адель — несколько лучше, но тем не менее до приятной собеседницы ей далеко. Как и миссис Фэрфакс. Вы же, я убежден, подойдете мне, если захотите. В первый вечер, когда я пригласил вас сюда, вы меня озадачили. С того дня я почти забыл о вас, другие мысли вытеснили из моей головы те, что я услышал от вас. Однако сегодня вечером я расположен отдохнуть, отвлечься от всего докучного и ограничиться только тем, что приятно. И сейчас мне будет приятно вызвать вас на откровенность, узнать о вас побольше, а потому — говорите.

Но я не заговорила и лишь улыбнулась — причем не очень любезной или уступчивой улыбкой.

— Говорите же! — настаивал он.

— О чем, сэр?

— О чем хотите. И выбор темы, и ее трактовку я

оставляю всецело на ваше усмотрение.

В ответ я промолчала, не изменив позы.

«Если он полагает, будто я стану говорить ни о чем, лишь бы выставлять себя напоказ, то убедится, что ошибся в выборе собеседницы», — подумала я.

— Вы онемели, мисс Эйр?

Но я осталась немой. Он чуть наклонил ко мне голову и словно нырнул в мои глаза торопливым взглядом.

— Упрямитесь? — сказал он. — И сердитесь? А, тут есть логика! Я выразил свою просьбу в нелепой, почти дерзкой форме. Мисс Эйр, прошу у вас прощения. Раз и навсегда: я не собираюсь обходиться с вами как с нижестоящей, то есть, — поправился он, — я оставляю за собой то превосходство, какое дают двадцать лет разницы в возрасте и неизмеримо большая опытность. Это вполне законно, et j'y tiens,[19] как сказала бы Адель. И в силу этого превосходства, и лишь его одного, я желал бы, чтобы вы оказали мне любезность немного побеседовать со мной сейчас, чтобы отвлечь мой мысли, которые до утомительности сосредоточиваются в одной точке и

---

[19] Примечания: 19
и я на этом настаиваю (фр.).

застревают в ней точно ржавый гвоздь.

Он снизошел до объяснения, почти до извинений. Я не осталась бесчувственной к его снисходительности и не собиралась этого скрывать.

— Я охотно развлеку вас, сэр, если это в моих силах. Очень охотно, но я не могу выбрать темы, не зная, что может показаться вам интересным. Задавайте мне вопросы, и я постараюсь отвечать на них как можно полнее.

— Тогда для начала. Вы согласны, что у меня есть право быть немного властным, возможно, резким, иногда требовательным, исходя из вышеуказанного. А именно: что я гожусь вам в отцы, что я прошел через возможные испытания среди многих людей во многих странах и объехал половину земного шара, пока вы вели тихую жизнь среди одних и тех же людей в одном-единственном доме?

— Считайте что вам угодно, сэр.

— Это не ответ! То есть ответ, крайне раздражающий своей уклончивостью. Ответьте яснее.

— Я не считаю, сэр, что у вас есть право командовать мной только потому, что вы старше меня или что вы в отличие от меня повидали мир. Ваше право на превосходство определяется тем, с какой пользой вы употребили ваше время и

приобретенный опыт.

— Хм! Сказано без запинки. Но я никогда не соглашусь с подобным выводом, так как он говорит не в мою пользу: и то, и другое преимущество я использовал посредственно, если не сказать скверно. В таком случае оставим вопрос о превосходстве в стороне, но тем не менее вы должны согласиться время от времени получать от меня приказания, не сердясь и не обижаясь на властный тон, — по рукам?

Я улыбнулась, подумав, что мистер Рочестер поистине имеет свои странности: он как будто забыл о том, что платит мне в год тридцать фунтов, чтобы я выполняла его приказания.

— Улыбка, это хорошо! — сказал он, мгновенно уловив даже такое мимолетное выражение на моем лице. — Но все-таки и говорите тоже.

— Я думала, сэр, как мало нанимателей стали бы затрудняться, спрашивая, не сердят ли и не обижают ли их приказы тех, кто у них служит за плату.

— Служат за плату! Как? Вы служите у меня за плату? Ах да! Я совсем забыл про ваше жалованье. Ну так хотя бы из меркантильных соображений вы согласны разрешить мне некоторое своевластие?

— На этом основании — нет, сэр. Но на том основании, что вы позабыли про жалованье и предпочитаете, чтобы те, кто от вас зависит, не тяготились этой зависимостью, я соглашаюсь от души.

— И вы согласны терпеть отсутствие вежливых фраз, не приписывая его надменной бесцеремонности?

— Мне кажется, сэр, я никогда не спутаю простоту и непринужденность с бесцеремонностью. Первые мне нравятся, а со второй никто, рожденный свободным, не смирится даже за щедрое жалованье.

— Вздор! За щедрое жалованье подавляющее большинство свободнорожденных смирится с чем угодно, а потому впредь держите при себе и не высказывайте обобщений того, о чем не имеете ни малейшего понятия. Тем не менее я мысленно жму вам руку за ваш ответ, пусть он и основан на заблуждении, — и за его тон не менее, чем за содержание. Тон был на редкость искренним, какой не часто доводится слышать. Напротив, откровенность обычно вознаграждают манерностью или холодностью или же глупым и вульгарным истолкованием сказанного. Из тысячи наивных гувернанток, едва со школьной

скамьи, вряд ли хотя бы три ответили мне так, как только что ответили вы. Но я не собираюсь льстить вам: если вы скроены по иным меркам, чем большинство, в этом нет вашей заслуги — так распорядилась Природа. Ну и кроме того, я слишком тороплюсь с выводами: насколько мне пока известно, вы, возможно, ничуть не лучше остальных. И не исключено, что в противовес двум-трем особенностям в вашу пользу вам свойственны нестерпимые недостатки.

«Как, возможно, и вам», — подумала я. В этот миг мои глаза встретились с его глазами, и, словно прочитав мою мысль, он ответил так, будто я высказала ее вслух.

— Да-да, вы правы, — сказал он. — У меня множество собственных недостатков. Я это знаю и не собираюсь их оправдывать. Бог свидетель, не мне быть строгим к другим. У меня есть прошлое, поступки, перипетии моей жизни, какие могут обратить против меня самого мои же пренебрежительные насмешки и упреки в адрес ближних. В возрасте двадцати одного года я избрал, а вернее, был вынужден вступить (ведь подобно всем оступившимся я склонен взваливать половину вины на свой несчастный жребий или враждебные обстоятельства) на неверный путь и с тех

пор так и не вернулся на правильную дорогу. Но я мог бы быть совсем иным, мог бы быть не менее хорошим, чем вы (причем умудреннее!), почти столь же незапятнанным. Я завидую вашему душевному миру, вашей чистой совести, незамутненности вашей памяти. Маленькая девочка, каким драгоценным сокровищем должна быть память без единого пятна или скверны, каким неистощимым источником безмятежного отдохновения! Не правда ли?

— А какой была ваша память, сэр, в ваши восемнадцать лет?

— Тогда — безупречной: кристальной, животворящей. Никакие вторжения зловонных вод еще не превратили ее в гнилостную жижу. В восемнадцать я был вам равен — во всем равен. Природа предназначала меня стать хорошим человеком, мисс Эйр, одним из лучших, но, как вы видите, я не таков. Вы скажете, что не видите этого, во всяком случае, льщу себя мыслью, что читаю это в ваших глазах. (Кстати, будьте осторожнее с тем, что они выражают, я легко понимаю их язык.) В таком случае поверьте мне на слово. Нет, я не злодей, не думайте так и не приписывайте мне столь негодного величия. Однако благодаря, как я искренне верю, не моей природе, но воле об-

стоятельств я теперь — зауряднейший грешник, изведавший все жалкие мелкие пороки, которыми богатые и никчемные тщатся скрашивать свою жизнь. Вас удивляет, почему я признаюсь вам в этом? Так знайте, что в будущем вас часто ожидает роль невольной наперсницы. Вам станут поверять свои тайны люди, которые, подобно мне, инстинктивно поймут, что ваш дар — не говорить о себе, но слушать, как повествуют о себе другие. И еще они почувствуют, что слушаете вы не со злобной насмешкой над их откровенностью, но с внутренним сочувствием, тем более утешительным и побуждающим к дальнейшим признаниям, что оно совсем не навязчиво в своих проявлениях.

— Откуда вы знаете? На чем вы строите свои догадки, сэр?

— Я это знаю и продолжаю столь же свободно, как если бы записывал свои мысли в дневнике. Вы скажете, мне следовало бы встать выше обстоятельств. Да-да, следовало бы. Но, как видите, я этого не сделал. Когда судьба сыграла со мной злую шутку, у меня не хватило мудрости сохранить хладнокровие, отчаяние взяло верх, и я пал. Теперь, когда какой-нибудь порочный глупец вызывает во мне отвращение, я не могу утешиться

мыслью, что я лучше него, и вынужден признать, что мы с ним стоим друг друга. Как я жалею, что не воспротивился судьбе, Бог свидетель! Страшитесь сожалений, мисс Эйр, когда соблазн будет вас толкать на неверный шаг. Сожаления отравляют жизнь.

— Но, сэр, говорят, что в раскаянии — исцеление.

— Нет. Исцелить может только стремление исправиться. И я мог бы, я должен был бы исправиться, у меня еще пока есть на это силы, если бы… Но что толку думать об этом, раз я связан по рукам и ногам, обременен, проклят? Но если в счастье мне отказано навеки, то у меня есть право пожинать радости жизни, и я буду их пожинать, чего бы это ни стоило.

— И тогда вы падете еще ниже, сэр.

— Возможно. Но почему, если радость будет сладостной и чистой? И я могу ее обрести — такую сладостную и чистую, как мед, который пчелы собирают на вересках.

— Но пчелы жалят, и вкус его будет горьким, сэр.

— Откуда вы знаете? Ведь вы же не пробовали его. Какой серьезный, ну просто торжественный у вас вид! А о подобном вы знаете не больше,

чем профиль на этой камее. — Он взял камею с каминной полки. — У вас нет права читать мне проповеди, вы еще даже не вступили под портал жизни и не имеете ни малейшего понятия о ее тайнах.

— Я всего лишь напоминаю вам о ваших словах, сэр. Вы сказали, что неверный шаг приносит сожаления, и объявили, что сожаления отравляют жизнь.

— Но кто сейчас говорит о неверных шагах? Не думаю, что мелькнувшая в моем мозгу мысль ведет к неверному шагу. Я считаю ее откровением, а не искушением — в ней радость и покой, я знаю это. Знаю! Вот снова та же мысль! Уверяю, ее послал не дьявол. Разве что он облекся в одежды ангела света. И думаю, мне следует впустить в сердце столь прекрасного гостя, когда он стучится туда.

— Не доверяйте ему, сэр. Это не истинный ангел.

— И опять я спрошу: откуда вы знаете? Какой инстинкт якобы помогает вам отличить павшего серафима бездны от посланца извечного Престола? Проводника от соблазнителя?

— Я судила по выражению вашего лица, сэр. Оно стало тревожным, когда вы сказали, что

откровение вновь вас посетило. Я уверена, оно принесет вам еще больше горя, если вы ему последуете.

— Вовсе нет! Более благой вести невозможно вообразить. И кстати, вы не сторож моей совести, а потому не тревожьтесь понапрасну. Так входи же, добрый странник!

Он сказал это, будто обращаясь к видению, доступному только его взору. Затем, скрестив на груди протянутые было руки, он, казалось, заключил в объятия невидимое существо.

— И вот, — продолжал он, вновь обращаясь ко мне, — я принял в свое сердце паломника, переодетое божество, как я твердо верю. И уже это обернулось для меня благом: мое сердце до сих пор было подобием склепа, теперь оно станет святилищем.

— По правде говоря, я перестала вас понимать, сэр. И не могу поддерживать разговор, недоступный моему рассудку. Но одно я знаю: вы сказали, что не были таким хорошим, как вам хотелось быть, и что вы сожалеете о своих недостатках, и одно я понимаю: вы намекнули, что осквернённая память становится вечным проклятием. Мне кажется, что, искренне попытавшись, вы могли бы со временем стать таким человеком, которого

одобрили бы. И что если бы с этого самого дня вы приняли решение следить за своими мыслями и поступками, то уже через несколько лет у вас накопилось бы достаточно новых и ничем не запятнанных воспоминаний, к каким вы могли бы возвращаться с ничем не замутненным удовольствием.

— Справедливая мысль, верно высказанная, мисс Эйр, и в эту секунду я усердно мощу дорогу в ад.

— Сэр?

— Я запасаюсь благими намерениями, твердыми, я верю, как кремень. Во всяком случае, теперь у меня будут иные товарищи и занятия, чем прежде.

— И лучше?

— И лучше, насколько чистое золото лучше шлака. Вы как будто сомневаетесь во мне, но я в себе не сомневаюсь. Мне известна моя цель, известны мои побуждения, и в эту минуту я творю закон, столь же неизменный, как закон Мидийский и Персидский, подтверждающий их благость.

— Они не могут быть благими, сэр, если нужен новый закон, подтверждающий это.

— Они благи, мисс Эйр, хотя категорически

нуждаются в особом законе — неслыханное сочетание обстоятельств требует неслыханных установлений.

— Такая максима кажется опасной, сэр, поскольку сразу видно, как легко употребить ее во зло.

— Нравоучительница! Да, так и есть, но клянусь богами моего домашнего очага не употреблять ее во зло.

— Вы — человек и не обладаете непогрешимостью.

— Да, как и вы. И что из этого следует?

— Человеческому, способному ошибаться, не должно присваивать власть, принадлежащую только божественному и совершенному.

— Какую власть?

— Власть провозглашать по поводу любой необычной, не дозволенной законом линии поведения: «Да будет она благой!»

— Да будет она благой! Самые уместные слова, и произнесли их вы.

— Ну, в таком случае: да окажется она благой! — сказала я и встала, решив, что бессмысленно продолжать разговор на тему, совершенно мне неясную, тем более что характер моего собеседника для меня непостижим, по крайней мере

пока. И меня охватили неуверенность, смутная тревога, сопровождающие убеждение в своей неосведомленности.

— Куда вы?

— Уложить Адель. Ей давно пора спать.

— Вы меня боитесь, потому что я говорю загадками, как Сфинкс.

— Ваша речь загадочна, сэр, но я лишь недоумеваю, но не боюсь.

— Нет, боитесь. Ваше самолюбие боится попасть впросак.

— Да, в этом смысле я испытываю некоторые опасения, так как не хочу говорить вздора.

— Но и вздор вы высказали бы таким серьезным, убежденным тоном, что я принял бы его за истину. Вы никогда не смеетесь, мисс Эйр? Не трудитесь отвечать: я вижу, что смеетесь вы очень редко, но зато очень весело. Поверьте, вы вовсе не суровы от природы, как и я от природы не склонен к пороку. Ловудские ограничения все еще тяготеют над вами, заставляют следить за выражением лица, приглушать голос, сдерживать движения. И вы боитесь в присутствии человека и брата — или отца, или нанимателя, или кого угодно еще — улыбаться слишком весело, говорить слишком свободно или двигаться слишком

быстро. Но со временем, думаю, вы научитесь быть непринужденной со мной, точно так же, как я при всем желании не могу обходиться с вами церемонно. И тогда в ваших чертах и движениях появятся живость и веселость, которым вы пока не смеете дать волю. Порой я замечаю взгляд, какой бросает сквозь прутья клетки любопытная птица, — взгляд непокоренной, полной сил, смелой пленницы. Вырвись она на волю, так сразу же взмыла бы в недосягаемую высь. Вы все еще намерены уйти?

— Уже пробило девять, сэр.

— Не важно… погодите минуту: Адель еще не готова лечь в постель. Моя позиция, мисс Эйр, спиной к огню и лицом к комнате, способствует наблюдениям. Разговаривая с вами, я иногда поглядывал на Адель (у меня есть свои причины считать ее интересным предметом для исследований — причины, которые я, возможно… нет, непременно как-нибудь вам поведаю). Минут десять назад она вытащила из своей коробки розовое шелковое платьице и, пока она его разворачивала, просияла от восторга: кокетство струится в ее крови, пропитывает ее мозг, проникает в самые ее кости. «Il faut que je l'essaie!

— вскричала она. — Et à l'instant même!»[20] — и выбежала из комнаты. Сейчас она с Софи занята переодеванием, а через минуту-другую она войдет, и я знаю, кого я увижу: Селину Варанс в миниатюре, какой она появлялась на подмостках, когда занавес… впрочем, не важно. Однако я получу удар по самому болезненному месту. Таково мое предчувствие. Останьтесь и посмотрите, сбудется ли оно.

Вскоре послышались легкие шаги Адели — она бежала вприпрыжку через прихожую. Вот она появилась в дверях — преображенная, как и предсказал ее опекун. Коричневое платье теперь сменилось розовым атласным, с короткой, но очень пышной юбочкой. Ее головку увенчивал венок из розовых бутонов. Наряд довершали шелковые чулочки и белые атласные туфельки.

— Est-ce que ma robe me va bien? — воскликнула она. — Et mes souliers? Et mes bas? Tenez, je crois que je vais danser![21]

Затем расправила юбочку, выделывая па, направилась к нам и закружилась на носках перед

---

[20] Примечания: 20

Я хочу его примерить!.. И прямо сейчас! (фр.)

[21] Примечания: 21

Идет мне мое платье?.. А туфельки? А чулочки? Смотрите, я сейчас начну танцевать! (фр.)

мистером Рочестером, а потом опустилась на одно колено с восклицанием:

— Monsieur, je vous remercie mille fois de votre bonté! — И, поднявшись, добавила: — C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur?[22]

— Вот и-мен-но, — последовал ответ, — и comme cela[23] она чарами извлекала английские золотые из кармана моих британских панталон. А я был зеленым юнцом, мисс Эйр, да-да, зеленее травы, как вы теперь. Однако моя весна миновала, оставив на моих руках сей французский цветочек, от которого порой в дурном расположении духа я был бы рад избавиться. Давно перестав дорожить давшим ему жизнь корнем, едва я убедился, что корень этот питала только золотая пыль, к цветочку я испытываю довольно прохладную привязанность, и особенно когда он выглядит таким искусственным, как сейчас. Я берегу и взращиваю его, следуя собственно католической доктрине искупления многих грехов, больших и малых, одним благим поступком. Как-нибудь я объясню вам все это. Доброй ночи.

---

[22] Примечания: 22

Мсье, примите тысячу благодарностей за вашу доброту!.. Ведь мама так делала, правда, мсье? (фр.)

[23] Примечания: 23

именно так (фр.).

Глава 15

И мистер Рочестер объяснил, едва представился случай. А представился он, когда однажды днем мистер Рочестер случайно встретил меня с Аделью на прогулке, и пока она играла то с Лоцманом, то подбрасывала волан, начал прогуливаться со мной взад и вперед по длинной буковой аллее, так что я могла следить за моей воспитанницей.

Он сказал, что Адель — дочь Селины Варанс, француженки, которая пела и танцевала в опере и к которой он некогда питал une grande passion,[24] как он выразился. Селина делала вид, что отвечает ему даже еще более пылкой взаимностью. Он верил, что она от него без ума. Хотя он и безобразен, сказал он, но верил, что она предпочитает его taille d'athlète[25] изящной красоте Аполлона Бельведерского.

— И, мисс Эйр, мне так льстило предпочтение, которое галльская сильфида отдавала своему

---

[24] Примечания: 24
пылкую страсть (фр.).

[25] Примечания: 25
атлетическую фигуру (фр.).

британскому гному, что я поселил ее в особняке, окружил штатом прислуги, снабдил каретой, осыпал брильянтами, дарил дорогие ткани, dentelles[26] и прочее, и прочее. Короче говоря, я начал разоряться в традиционном стиле, подобно всякому другому влюбленному дуралею. И не могу даже похвастать, что нашел новый путь к позору и гибели. Я шагал по давно проторенной дороге, с глупым упрямством ни на дюйм не сходя с нее. И меня ждала — вполне заслуженно — судьба всех влюбленных дуралеев. Как-то вечером я заглянул к Селине, когда она меня не ждала, и не застал ее дома. Но вечер был жарким, я устал от прогулки по Парижу и потому сел отдохнуть в ее будуаре, счастливый, что дышу воздухом, освященным ее недавним присутствием там. Нет, я преувеличиваю, я никогда не думал, будто ей дана сила что-либо освящать. Вернее, это был аромат ее духов, благоухание мускуса и амбры, а вовсе не святости. Вскоре я начал задыхаться от душного запаха оранжерейных цветов и разбрызганных душистых эссенций, и мне пришло в голову выйти подышать свежим воздухом на балкон. Все вокруг было озарено луной, не гово-

[26] Примечания: 26
кружева (фр.).

ря уж о газовых фонарях, и окутано благостной тишиной. На балконе стояли два-три кресла. Я сел и достал сигару… как достану сейчас, если вы меня извините.

Наступила пауза, заполненная извлечением и раскуриванием сигары. Сунув ее в рот и распространив в холодном бессолнечном воздухе аромат гаванны, он продолжал:

— В те дни, мисс Эйр, я еще любил конфеты и, croquant[27] (извините такой варваризм), croquant шоколадное драже между затяжками, наблюдал за экипажами, которые катили по фешенебельным улицам в сторону оперного театра, как вдруг в элегантной закрытой карете, запряженной парой прекрасных английских лошадей, столь ясно видной в светлой городской ночи, я узнал voiture, который подарил Селине. Она возвращалась домой! Разумеется, мое сердце принялось от нетерпения громко стучать о чугунные перила, на которые я облокотился. Как я и предполагал, карета остановилась у подъезда особняка, пламя души моей (наиболее подходящее описание оперной возлюбленной) появилась из дверцы. Хотя она была закутана в мантилью — между прочим,

---

[27] Примечания: 27
грызя (фр.).

совершенно ненужную в такой теплый вечер, — я тотчас узнал ее по прелестной ножке, которая на миг мелькнула из-под края юбки. Перегнувшись через перила, я как раз собрался воскликнуть: «Mon ange!»[28] — разумеется, тоном, который был бы внятен лишь слуху любви, — когда из кареты выпрыгнула еще одна закутанная фигура, однако теперь тротуара коснулся каблук со шпорой, и в распахнутых дверях скрылась военная шляпа.

Вы никогда не испытывали ревности, мисс Эйр, не правда ли? Ну разумеется, нет. И спрашивать незачем: вы ведь никогда не влюблялись. Вам только предстоит испытать оба эти чувства. Ваша душа еще спит, и то потрясение, которое ее пробудит, пока еще в будущем. Вам кажется, будто жизнь всегда и всюду струится таким же мирным потоком, к какому вы привыкли в своей юности. Закрыв глаза, затворив слух, вы отдаетесь его течению и не видите камней, торчащих со дна, не слышите грохота разбивающихся о них волн. Но я скажу вам — и запомните мои слова, — настанет день, когда вы окажетесь в теснине, когда поток жизни превратится в кипящую пену, водовороты, рев дробящихся валов. И вы либо

---

[28] Примечания: 28
Мой ангел! (фр.)

превратитесь в атомы на острых камнях, либо вас подхватит особенно могучая волна и унесет в более спокойные воды, в которых плыву сейчас я. Мне нравится этот день, нравится это стальное небо, мне нравится суровость и неподвижность мира, скованного этим морозом. Мне нравится Тернфилд, его древность, его уединенность, его старая грачиная роща и терны, его серый фасад и ряды темных окон, отражающих этот металлический небосвод. И все же как долго мне была противна даже мысль о нем, и я избегал его, как зачумленного лазарета. И мне все еще противен…

Он скрипнул зубами, умолк и, остановившись, топнул каблуком по замерзшей земле. Он снова оказался во власти какой-то ненавистной мысли, которая сковала его и не позволяла сделать ни шага.

В эту минуту мы возвращались по аллее, и дом был прямо перед нами. Подняв глаза к парапету, он обратил туда жгучий взгляд, какой мне не доводилось видеть ни прежде, ни потом. Боль, стыд, гнев, нетерпение, омерзение секунду вели схватку в расширенных до предела зрачках под черными бровями. Безумным был бой за первенство, но восторжествовало вспыхнувшее в

них совсем иное чувство, нечто неумолимое и саркастическое, своевольное и беспощадное. Оно и придало его лицу каменную неподвижность. Он продолжал:

— В ту минуту, когда я замолчал, мисс Эйр, я кое-что решал с моей судьбой. Она стояла вон там у ствола бука — ведьма вроде тех, что являлись Макбету средь вересков под Форресом. «Ты любишь Тернфилд? — сказала она, подняла палец и синеватым пламенем начертала в воздухе письмена вдоль всего фасада между нижними и верхними окнами. — Так люби его, если можешь! Люби его, если смеешь!» «Я буду любить его, — сказал я. — Я смею любить его», и, — добавил он угрюмо, — я сдержу свое слово. Я смету препятствия во имя счастья, во имя добродетели — да, добродетели! Я хочу стать лучше, чем был, чем пока остаюсь. Подобно тому как Левиафан Иова сокрушал копья, дротики и латы, так я считаю соломой и гнилым деревом препятствия, которые другим представляются железом и медью.

Тут к нему подбежала Адель, подбрасывая волан.

— Прочь! — резко приказал он. — Не подходи ко мне, дитя, или вернись с Софи в дом!

Он продолжал идти дальше в молчании, и я

осмелилась напомнить ему то место, на котором этим внезапным отступлением он прервал свой рассказ.

— Когда мадемуазель Варанс вернулась, — спросила я, — вы ушли с балкона, сэр?

Я почти ожидала резкой отповеди за этот совсем не своевременный вопрос, однако он очнулся от своей хмурой рассеянности, взглянул на меня, и его лицо прояснилось.

— А! Я и забыл про Селину! Ну так продолжим. Когда я увидел, что моя чаровница вернулась в сопровождении кавалера, мне почудилось шипение: зеленая змея ревности кольцами взвилась с озаренного луной балкона, заползла под мой жилет и за две минуты прогрызла себе путь в мое сердце. Странно! — воскликнул он, вновь отвлекаясь от своего рассказа. — Странно, барышня, что я избрал вас в наперсницы, и еще более странно, что вы слушаете меня с полным спокойствием, будто мужчине вроде меня так и положено рассказывать про своих оперных любовниц скромной неопытной девушке вроде вас! Но вторая странность объясняет первую: как я уже упоминал раньше, ваша серьезность, участливость и сдержанность обрекают вас быть поверенной чужих секретов. К тому же я знаю,

какому духу я дал соприкоснуться с моим. Я знаю, он недоступен заражению, это особый дух, единственный в своем роде. К счастью, у меня нет намерения причинить ему вред, а если бы и было, он не поддался бы этой порче. Чем больше мы будем беседовать, тем лучше: я не могу испортить вас, но вы можете обновить меня.

После этого отступления он вернулся к теме:

— Я остался на балконе. «Без сомнения, они поднимутся в ее будуар, — подумал я. — Надо устроить засаду». И протянув руку в открытую дверь, я задернул портьеру, но оставил узкий просвет, чтобы следить за происходящим в комнате. Затем я притворил дверь так, чтобы в щелку на балкон мог доноситься шепот влюбленных. Едва я вернулся в свое кресло, как они вошли. Я не спускал глаз с просвета. Следом за ними вошла горничная Селины, зажгла лампу, поставила ее на столик и удалилась. Теперь они были хорошо видны. Мантилья и плащ были сброшены, и моим глазам явилась мадемуазель Варанс, блистая атласом и брильянтами (подаренными мною, разумеется), а с ней и ее кавалер в офицерском мундире. Я узнал некоего виконта, молодого вертопраха, безмозглого и порочного, которого иногда встречал в свете и которого мне в голову

бы не пришло возненавидеть, так глубоко я его презирал. И в этот миг ядовитые клыки змеи — то есть ревности — сломались, так как моя любовь к Селине тотчас угасла. Женщина, способная изменить мне с таким соперником, не стоила соперничества, а заслуживала лишь презрения — впрочем, пожалуй, меньшего, чем я, глупец, попавший на ее крючок.

Они заговорили, и их беседа окончательно меня излечила: такие бессмысленные фривольности, такие свидетельства бессердечности и корыстолюбия, какими она была полна, могли вызвать у слушателя лишь скуку, а не гнев. На столе лежала моя визитная карточка, и, заметив ее, они заговорили обо мне. Ни у нее, ни у него не хватало живости и остроумия, чтобы отделать меня на все корки. Они поносили меня с мелочной грубостью, и особенно Селина. Она даже достигла некоторого блеска, прохаживаясь по адресу моих физических недостатков — уродств, как она их именовала. А ведь у нее было обыкновение пылко восхищаться тем, что она назвала моей «beauté mâle».[29] Этим она диаметрально отличается от вас: ведь вы во втором нашем разговоре без

[29] Примечания: 29
мужской красотой (фр.).

обиняков сообщили мне, что не считаете меня красавцем. И меня поразил такой контраст…

К нам снова подбежала Адель.

— Monsieur, сейчас приходил Джон и сказал, что пришел ваш управляющий и хочет вас видеть.

— А! Ну, в таком случае мне придется быть кратким. Я распахнул дверь, вышел к ним, освободил Селину от моего покровительства, предупредил, чтобы она немедленно покинула особняк, бросил ей кошелек для оплаты неотложных расходов, пропустил мимо ушей вопли, истерику, мольбы, оправдания, не заметил конвульсий и условился с виконтом о встрече в Булонском лесу. Где наутро имел удовольствие встать с ним к барьеру, оставил пулю в его хилом плече, слабом, точно цыплячье крылышко, и решил, что покончил с ними обоими навсегда. Но, к несчастью, мадемуазель Варанс через шесть месяцев подарила мне эту fillette,[30] Адель, клянясь, будто она моя дочь, что, впрочем, возможно, хотя я не замечаю в ней никаких черт, унаследованных от столь безобразного родителя. Лоцман куда больше похож на меня, чем она. Через несколько лет после того, как я порвал с ее матерью, та бросила дочку

---

[30] Примечания: 30
девочку (фр.).

и уехала в Италию с каким-то музыкантом или певцом. Я не признал за Аделью никаких прав на мою поддержку, как не признаю их и теперь, так как я не ее отец, однако, узнав, что она брошена на произвол судьбы, я извлек бедняжку из зловонной грязи Парижа и пересадил в чистую и здоровую почву английского загородного сада, то есть сюда. Миссис Фэрфакс нашла вас, чтобы вы взращивали это растеньице. Однако теперь, когда вы знаете, что она — незаконнорожденный росток французской оперной певички, ваше отношение к вашим обязанностям и вашей протеже может измениться. И в один прекрасный день вы предупредите меня, что подыскали новое место, так не найду ли я новую гувернантку и прочая, и прочая, э?

— Нет. Адель ведь не отвечает ни за грехи своей матери, ни за ваши. Я привязалась к ней, а теперь, когда узнала, что она, в сущности, сирота, покинутая матерью и не признанная вами, сэр, она станет мне дороже. Как я могу предпочесть избалованную любимицу богатых родителей, которая возненавидит свою гувернантку, как досадную помеху, одинокой сиротке, ищущей в ней друга и опору?

— А, так вот как вы на это смотрите! Ну, я дол-

жен идти. Да и вам не мешает вернуться в дом, уже темнеет.

Однако я задержалась на несколько минут с Аделью и Лоцманом — побегала с ней наперегонки, поперекидывалась воланом. Когда мы вернулись в дом, я сняла с нее шляпку и пелерину, посадила к себе на колени и час позволила ей болтать, сколько душе угодно. И даже не выговаривала за те вольности и пошлости, которые порой вырывались у нее, если она оказывалась в центре внимания, выдавая в ней пустенькое легкомыслие, вероятно, унаследованное от матери и чуждое английским натурам. Впрочем, она обладала своими достоинствами, и я была склонна ценить все лучшее в ней как можно выше. Я старалась найти в ее наружности и манерах хоть какое-то сходство с мистером Рочестером, но не обнаружила ни малейшего: ни единая черточка, ничего в выражении лица не говорило о родстве. Мне было жаль: если бы в ней нашлось сходство с ним, он начал бы относиться к ней лучше.

Только поднявшись к себе в комнату, я наконец подробно обдумала все, что услышала от мистера Рочестера. Как он и сказал, в самой истории о страсти богатого англичанина к французской танцовщице и ее измене ему ничего особенного

не было — несомненно, для высшего света такое было в обычае. Однако решительно странным был взрыв чувств, внезапно нахлынувших на него, когда он заговорил о своем новом безмятежном настроении и воскресшем интересе к старому дому и поместью. Я долго ломала голову над этой вспышкой, но затем сочла ее необъяснимой и задумалась над отношением мистера Рочестера ко мне. Доверие, которое он счел возможным оказать мне, казалось данью моей сдержанности — именно так я истолковала и приняла его признания. В своем поведении со мной в последние недели он стал более ровным, чем был вначале. Я словно бы перестала казаться ему досадной помехой, и, случайно встречаясь со мной, он не только не обдавал меня надменным холодом, но, казалось, был рад такой встрече: у него всегда находилось для меня слово-другое, а порой и улыбка. Когда же я по его приглашению являлась в гостиную, то чувствовала себя польщенной сердечностью приема, внушавшей мне мысль, что я и правда умею развлекать его и что эти вечерние беседы ведутся столько же для его удовольствия, сколько из любезности ко мне.

Правда, сама я говорила относительно мало, зато его слушала с огромным удовольствием.

Общительность была в его натуре, и ему нравилось набрасывать сознанию, не знакомому с миром, картины этого мира, приобщать к нравам и обычаям (и отнюдь не к картинам порока или дурным нравам, но ко всему тому, что было интересно своим величием, своей особой новизной). И я с восторгом слушала объяснение новых идей, к которым он меня приобщал, с восторгом воображала новые дали, которые он распахивал передо мной, и следовала за ним в новые области мысли, которые он открывал мне. И ни единого раза меня не задел, не испугал хоть какой-нибудь темный намек.

Его непринужденность рассеяла мою болезненную застенчивость, дружеская откровенность, столь же корректная, как и сердечная, с какой он обходился со мной, притягивала меня к нему. По временам он казался моим родственником, а не патроном. О да, случалось, он проявлял прежнюю властность, но меня это не задевало: просто такая у него привычка, думалось мне. Я была так счастлива, так довольна новым интересом, появившимся в моей жизни, что перестала скорбеть о своем одиночестве. Узкий серп моей судьбы словно становился все шире, пробелы в жизни заполнялись, мое здоровье окрепло, я пополнела,

набиралась сил.

И оставался ли мистер Рочестер теперь уродливым в моих глазах? О нет, читатель! Благодарность и множество связанных с ним приятных и радостных минут сделали его лицо прекрасным для меня, его присутствие в комнате грело больше самого яркого огня в камине. Притом я не забывала про его недостатки — да и как бы я могла о них забыть, если так часто сталкивалась с ними? Он был горд, сардоничен, придирчив к тем, кто был ниже его в любом отношении. В глубине души я сознавала, что его великая доброта ко мне уравновешивалась незаслуженной строгостью со многими другими. И он бывал необъяснимо мрачен. Не раз и не два, входя в библиотеку, куда меня звали читать ему, я заставала его там одного, и он сидел, уронив голову на руки, а когда поднимал ее, лицо у него хмурилось угрюмо, почти злобно. Но я верила, что его мрачность, суровость и былые отступления от морали («былые» потому, что теперь он, казалось, преодолел свои слабости) были порождены каким-то жестоким поворотом судьбы. Я верила, что природа предназначила его быть человеком с лучшими наклонностями, более высокими принципами и благородными вкусами, чем его сделали об-

стоятельства, а также воздействие воспитания и ударов, наносимых жизнью. Я считала, что он обладает замечательными задатками, хотя пока они оставались подавленными и заглохшими. Не отрицаю, я скорбела о его скорби, чем бы она ни вызывалась, и многое дала бы, лишь бы облегчить ее.

И вот теперь, хотя я задула свечу и закуталась в одеяло, мне не удавалось уснуть: я словно вновь видела его лицо в ту минуту, когда он остановился в буковой аллее и сказал мне, что ему явилась его судьба и спросила, посмеет ли он быть счастливым в Тернфилде?

«Но почему нет? — спрашивала я себя. — Чем дом отталкивает его? И он скоро уедет?» Миссис Фэрфакс говорила, что он редко оставался в поместье дольше, чем на две недели, а на этот раз со дня его приезда прошло уже два месяца. Но если он уедет, какой грустной будет перемена в доме! А что, если он не вернется ни весной, ни летом, ни осенью? Какими безрадостными покажутся сияние солнца и погожие дни!

Не знаю, задремала ли я или нет, раздумывая над этим, но в любом случае я забыла про сон, услышав смутный шум, непонятный и зловещий, который словно бы раздался прямо надо мной. Я

пожалела, что погасила свечу. Ночь была непроницаемо черной, и на меня как будто навалилась какая-то тяжесть. Приподнявшись, я села на постели и прислушалась. Звуки стихли.

Я вновь попыталась уснуть, но сердце у меня тревожно билось, душевный покой уступил место смятению. Далеко внизу в прихожей часы пробили два раза. И тут же будто кто-то прикоснулся снаружи к моей двери, будто по филенке скользнули пальцы, нащупывая путь по темной галерее снаружи. Я спросила:

— Кто тут? — но никто не отозвался, и меня оледенил страх.

Однако я тут же сообразила, что могла, конечно, слышать Лоцмана: когда кухонную дверь забывали ненароком закрыть, он имел обыкновение пробираться к дверям спальни мистера Рочестера. Я не раз по утрам видела, как он дремлет у его порога. Мысль эта немного меня успокоила, и я снова легла. Тишина действует на нервы умиротворяюще, и так как в доме вновь царило нерушимое безмолвие, я начала задремывать. Но в эту ночь мне не суждено было уснуть. Сон, едва начав смыкать мне вежды, опять испуганно бежал, устрашенный звуком, от которого и правда кровь стыла в жилах.

Это был демонический хохот — подавленный, придушенный, басистый. Прозвучал он, казалось, над самой моей замочной скважиной. Изголовье моей кровати было повернуто к двери, и мне было почудилось, будто хохочущая нечисть нагибается надо мной или, вернее, припала к моей подушке. Однако, вскочив и оглядевшись, я ничего не увидела; тут противоестественный хохот повторился, и я поняла, что раздается он за дверью. Первым моим побуждением было вскочить и задвинуть задвижку, а потом я вновь вскрикнула:

— Кто тут?

Что-то забулькало, застонало. Вскоре послышались шаги, удаляющиеся по галерее к лестнице на третий этаж — недавно в проеме перед лестницей повесили дверь. Я услышала, как она открылась, потом закрылась, и наступила тишина.

«Это была Грейс Пул? Она — бесноватая?» — подумала я и почувствовала, что не в силах долее оставаться в одиночестве. Поскорее к миссис Фэрфакс! Я торопливо надела платье, набросила на плечи шаль, отодвинула задвижку и дрожащей рукой приотворила дверь. Снаружи, совсем радом, горела свеча, поставленная на пол. Меня это удивило, но еще более я поразилась какой-

то мгле в воздухе, словно коридор наполнялся дымом. Поворачивая голову вправо и влево, чтобы проследить, откуда тянутся эти голубые завивающиеся струи, я почувствовала сильный запах гари.

Что-то скрипнуло. Распахнутая дверь… дверь в комнату мистера Рочестера! Оттуда вырывались клубы дыма. Я забыла про миссис Фэрфакс, я забыла про Грейс Пул и про хохот. В мгновение ока я вбежала в спальню. Вокруг кровати танцевали языки огня — полог пылал. Среди пламени и дыма, вытянувшись, лежал мистер Рочестер, погруженный в глубокий сон.

— Проснитесь! Проснитесь! — закричала я, тряся его за плечо, но он только что-то пробормотал и повернулся на другой бок. Видимо, дым его уже одурманил. Нельзя было терять ни секунды: уже начали тлеть простыни. Я кинулась к кувшину и тазу для умывания. К счастью, один был глубок, другой — широк, и оба полны воды. Я опрокинула их содержимое на постель и спящего, кинулась в свою комнату, принесла свой кувшин, вновь окрестила ложе сна и с Божьей помощью погасила огонь, его пожиравший.

Шипение утопленной стихии, звон разбившегося кувшина, который я бросила, едва он

опустел, а главное, холодный душ, мною устроенный, наконец разбудили мистера Рочестера. Хотя вокруг воцарился мрак, я поняла, что он проснулся, так как услышала, как он изрыгает непонятные проклятия, обнаружив, что лежит в луже воды.

— Это что? Всемирный потоп? — воскликнул он.

— Нет, сэр, — ответила я. — Но начинался пожар. Встаньте, вы, наверное, совсем промокли. Я принесу свечу.

— Во имя всех эльфов подлунного мира, это Джейн Эйр? — рявкнул он. — Что вы надо мной сотворили, ведьма, колдунья? Кто еще тут, кроме вас? Вы замышляете утопить меня?

— Я сейчас принесу свечу, сэр, и, во имя всего святого, встаньте! Кто-то что-то замышляет. И вам следует поторопиться, чтобы поскорее узнать, кто и что!

— Ну вот, я встал, но горе вам, если вы принесете свечу немедленно. Погодите две минуты, пока я не надену что-нибудь сухое, если тут осталось хоть что-то сухое! А! Мой халат. Теперь бегите!

И я действительно побежала, вернувшись со свечой, которая все еще горела в коридоре. Он взял ее из моих рук, поднял повыше и обозрел

почерневшую, опаленную кровать, мокрые насквозь простыни, лужу на ковре.

— В чем дело? И кто виной?

Я коротко рассказала ему о странном смехе, который услышала в галерее, о шагах, затихших на лестнице третьего этажа, о дыме — о запахе гари, который привел меня в его комнату. И о том, что я там увидела, и о том, как я утопила его во всей воде, какая оказалась под рукой.

Он выслушал меня с мрачной серьезностью, но на лице у него отражалось не столько удивление, сколько беспокойство. Когда я умолкла, он промолчал.

— Я позову миссис Фэрфакс? — спросила я.

— Миссис Фэрфакс? Нет! С какой стати ее звать? Чем она может помочь? Пусть себе спит спокойно.

— Ну так я схожу за Лией, разбужу Джона и его жену.

— Ни в коем случае. Посидите смирно, и все. Вы в шали? Но если вам холодно, завернитесь в мой плащ, он вон там. Укутайтесь в него и сядьте в кресло. Я вам помогу. Теперь поставьте ноги на скамеечку, подальше от сырости. Я на минуту вас покину и возьму с собой свечу. Оставайтесь тут, пока я не вернусь. Сидите тихо, как мышка.

Мне надо подняться на третий этаж. Помните: не шевелитесь и никого не зовите.

Он ушел. Я следила, как удаляется пятно света. Он прошел по галерее совсем бесшумно, открыл дверь на лестницу почти без скрипа, закрыл за собой, и в галерее воцарился полный мрак. В непроницаемой тьме я прислушивалась, не раздастся ли какой-нибудь шум, но ничего не услышала. Прошло очень много времени, меня охватила слабость, и я мерзла, несмотря на плащ. Тут мне пришло в голову, что нет смысла и дальше сидеть здесь — ведь будить дом я не стану! И я уже была готова навлечь на себя гнев мистера Рочестера, ослушавшись его приказа, но тут на стену галереи лег светлый блик, и я услышала, как по ее полу ступают необутые ноги.

«Надеюсь, это он, — подумала я, — а не что-то пострашнее!»

Он вошел в спальню, бледный и очень мрачный.

— Я все выяснил, — сказал он, ставя свечу на умывальник. — Я так и предполагал.

— Но что, сэр?

Он не ответил и продолжал стоять, скрестив руки на груди, глядя в пол. Через несколько минут он спросил каким-то странным тоном:

— Не помню, вы сказали, что видели что-то, когда открыли свою дверь?

— Нет, сэр, ничего, кроме свечи.

— Но слышали странный смех? И, кажется, слышали его раньше? Во всяком случае, что-то похожее?

— Да, сэр. Здешняя швея, Грейс Пул, она смеется именно так. Очень странная женщина.

— Вот именно. Грейс Пул! Вы догадались верно. Она, как вы говорите, странная женщина — и очень. Ну, я обдумаю все это. А пока я рад, что, кроме меня, только вы знаете, что тут случилось. Вы не пустоголовая болтунья и сумеете никому не проговориться. Я придумаю, как объяснить состояние кровати. — Он указал на нее. — А теперь возвращайтесь к себе. Я отлично скоротаю остаток ночи на диване в библиотеке. Уже почти четыре. Через два часа встанут слуги.

— Ну, так спокойной ночи, сэр, — сказала я, направляясь к двери.

Он как будто удивился — вопреки всякой логике, поскольку сам велел мне уйти.

— Как! — воскликнул он. — Вы уже покидаете меня? Прямо так?

— Вы же сказали, что я могу уйти, сэр.

— Да, но не попрощавшись, не сказав пары-

другой добрых слов? Короче говоря, не так сухо и коротко! Вы же спасли мне жизнь! Избавили от лютой и мучительной смерти! И вы проходите мимо меня, будто мы даже не знакомы? Хотя бы обменяемся рукопожатием!

Он протянул свою руку, я протянула ему свою. Он взял ее, а потом сжал обеими руками.

— Вы спасли мне жизнь. Я имею удовольствие быть у вас в неоплатнейшем долгу. Большего я сказать не могу. Оказаться должником кого бы то ни было еще мне было бы невыносимо. Но вы — другое дело! Ваше благодеяние, Джейн, не ляжет на меня тяжким бременем.

Он умолк и посмотрел на меня. Почти видимые слова рвались с его губ, но он ничего не сказал.

— Спокойной ночи, сэр. И нет никакого долга, никакого благодеяния, бремени или обязательств.

— Я знал, — продолжал он, — что вы каким-то образом когда-нибудь поможете мне. Я увидел это в ваших глазах в первую же минуту. Их выражение и улыбка не… — он вновь умолк, — не напрасно исполнили восторгом мое сердце. Утверждают, что существует особое родство душ… мне доводилось слышать о добрых духах… в самых невероятных сказках есть доля истины.

Моя бесценная спасительница, спокойной ночи!

Непонятная сила в его голосе, непонятный огонь в его глазах.

— Я рада, что мне не спалось, — сказала я и сделала движение к двери.

— Как! Вы все-таки уходите?

— Я озябла, сэр.

— Озябли? И стоите в луже! Ну так идите, Джейн, идите! — Но он продолжал держать мою руку, и мне не удавалось ее высвободить. Пришлось прибегнуть к уловке.

— Мне кажется, я слышу миссис Фэрфакс, сэр!

— Тогда уходите! — Он разжал пальцы, и я поспешила к себе.

Я легла в постель, но даже думать не могла о сне. До зари я была словно игрушкой неспокойного моря, под волнами радости закручивавшего подводные течения тревоги. Иногда мне чудилось, будто за бушующими валами виднеется берег, прекрасный, как Земля Обетованная, и ласкающие порывы ветра надежды победно уносили мой дух туда, но берег остался недостижимым даже в грезах — с суши задувал противный ветер, вновь и вновь относя меня назад. Здравый смысл восставал против упоения, рассудок остерегал страсть. Снедаемая этой лихорадкой, я поднялась

с зарей.

Глава 16

После этой бессонной ночи я и хотела, и страшилась встречи с мистером Рочестером. Мне не терпелось вновь услышать его голос, но я страшилась встретиться с ним взглядом. Всю первую половину утра я ждала, что он вот-вот войдет. В классную комнату он заглядывал нечасто, однако иногда все-таки заходил на минуту-другую, и почему-то я не сомневалась, что на этот раз он нас обязательно посетит.

Однако утро прошло как обычно. Ничто не прервало занятий Адели. Правда, вскоре после завтрака я услышала суматоху около спальни мистера Рочестера и голоса миссис Фэрфакс, Лии, кухарки (то есть жены Джона) и даже ворчание самого Джона. Раздавались восклицания: «Какое счастье, что хозяин не сгорел в постели! Очень опасно не гасить свечку перед сном!», «Как хорошо, что он не растерялся и вспомнил про кувшин с водой!», «Только почему он не стал никого будить?», «Будем надеяться, что он не простудился, пока спал в библиотеке!», ну и так далее.

Эти возгласы сменились звуками, свидетель-

ствовавшими об уборке в спальне, и когда я проходила мимо, собираясь спуститься к обеду, то увидела в открытую дверь, что там воцарился полный порядок и лишь кровать оставалась без полога. Лия стояла на подоконнике и протирала закоптившиеся стекла. Я хотела было окликнуть ее, чтобы узнать, как мистер Рочестер объяснил происшедшее, но, переступив порог, увидела, что она в спальне не одна. На стуле у кровати сидела женщина и пришивала кольца к новому пологу. И женщина эта была… Грейс Пул!

Она сидела, невозмутимая, в обычном молчании: коричневое шерстяное платье, клетчатый передник, косынка на шее, чепец — все как всегда. Она была поглощена своей работой, на которой, казалось, сосредоточивались все ее мысли. Ни ее суровый лоб, ни простонародное лицо не несли печати отчаяния, не поражали бледностью, какие, казалось бы, должны отметить женщину, которая вчера ночью пыталась совершить убийство, а затем была настигнута своей предполагаемой жертвой у себя в логове и (как полагала я) изобличена в задуманном преступлении. Я была изумлена, ошеломлена. Пока я продолжала смотреть на нее, она подняла на меня глаза… и не вздрогнула, не переменилась

в лице. Ни малейшего проявления чувств, ни сознания вины, ни страха перед возмездием.

— Доброго утра, мисс, — произнесла она с обычной флегматичной краткостью, взяла новое кольцо, кусок тесьмы и продолжала шить.

«Надо подвергнуть ее испытанию, — подумала я. — Подобная неуязвимая невозмутимость непостижима!»

— Доброго утра, Грейс, — ответила я. — Что-нибудь случилось? Мне показалось, что недавно слуги о чем-то говорили тут все вместе.

— Так хозяин вчера вечером читал в постели и уснул, а свечи не задул. Полог и загорись. Хорошо еще, что он проснулся прежде, чем занялись простыни и деревянное изголовье, и успел залить огонь водой из таза.

— Как странно! — произнесла я тихо и впилась в нее взглядом. — И мистер Рочестер не стал никого будить? И никто не слышал его шагов в спальне?

Она вновь подняла на меня глаза, и на этот раз в них появилась настороженность. Казалось, она вглядывается в меня с некоторой опаской. Затем ответила:

— Вы же знаете, мисс, слуги спят далеко отсюда и ничего услышать не могли. Ближе всего

к спальне хозяина комнаты миссис Фэрфакс и ваша. Миссис Фэрфакс говорит, что ничего не слышала, ну да с возрастом люди спят крепче. — Она помолчала, а затем продолжала с притворным равнодушием, но также и с подчеркнутой многозначительностью: — Но вы-то, мисс, молоды и спите, думается, чутко. Может, вы какой шум слышали?

— Да, слышала, — ответила я, понижая голос, чтобы он не донесся до ушей Лии, которая все еще протирала стекла. — Сначала я подумала, что это был Лоцман. Но Лоцман не умеет смеяться, а я слышала смех, и очень странный.

Она отмотала нитку, аккуратно навощила ее, твердой рукой продела в игольное ушко и только тогда сказала с полнейшим самообладанием:

— Ну, хозяин навряд ли стал бы смеяться, мисс, в такой-то опасности. Наверное, вам во сне почудилось.

— Я не спала, — возразила я с некоторой горячностью, раздраженная ее наглым хладнокровием. Вновь она посмотрела на меня тем же настороженным сверлящим взглядом.

— А вы сказали хозяину, что слышали смех? — осведомилась она.

— Сегодня утром у меня еще не было случая

поговорить с ним.

— А вы двери не открыли, в галерею не выглянули? — спросила она затем.

Казалось, она меня допрашивает, старается что-то незаметно у меня вызнать. «Если она узнает, что я знаю о ее преступлении или подозреваю о нем, — мелькнула у меня мысль, — то сорвет на мне свою злобу», и я решила соблюдать осторожность.

— Наоборот, — ответила я. — Задвинула задвижку покрепче.

— Так, значит, у вас нет привычки запираться на ночь?

«Злодейка! Она выведывает мои привычки, чтобы легче со мной расправиться!»

Вновь негодование взяло верх над предусмотрительностью.

— До сих пор я часто не запиралась на ночь, — ответила я резко. — Не считала это необходимым. Мне и в голову не приходило, что в Тернфилд-Холле надо остерегаться каких-то опасностей или неприятных происшествий. Но в будущем, — эти слова я произнесла со всей выразительностью, — я не лягу, прежде чем не проверю все запоры.

— Так и надо, — последовал ответ. — Места тут очень тихие, и я не слышала, чтобы в Тернфилд

хоть раз, с тех пор как он стоит тут, забирались воры, хотя всем известно, что серебряной посуды в кладовой хранится на сотни и сотни фунтов. Да вы сами видите, что на такой дом прислуги маловато, как хозяин никогда тут подолгу не живал, а когда и приезжает, так он ведь холостяк и ему многого не требуется. Только я так думаю: лишняя осторожность никогда не помешает. Запереть дверь недолго, а что может быть лучше задвинутой задвижки между вами и невесть какой бедой снаружи. Люди, мисс, часто на Провидение уповают — и все, а я так скажу: Провидение свои милости направо-налево не расточает, а на помощь приходит, когда все другое перепробуешь.

На этом она завершила свое очень для нее длинное поучение, которое произнесла со смирением квакерши.

Я все еще стояла в полном ошеломлении от такого, как мне казалось, сверхъестественного самообладания и неописуемого лицемерия, когда вошла кухарка.

— Миссис Пул, — обратилась она к Грейс, — обед для прислуги скоро будет готов. Вы придете вниз?

— Нет. Поставьте на поднос мою пинту портера да кусок пудинга, и я заберу его с собой наверх.

— Мяса положить?

— Один ломтик, ну и кусочек сыра. А больше ничего.

— А саго как же?

— Пока не нужно. Я перед чаем спущусь и сама приготовлю.

Кухарка повернулась ко мне со словами, что миссис Фэрфакс меня ждет, и я ушла.

Во время обеда я почти не слышала рассказа миссис Фэрфакс о воспламенившемся пологе, настолько мои мысли были поглощены загадкой Грейс Пул. Какое положение она занимает в Тернфилд-Холле? Почему ее утром не передали в руки полиции? Или хотя бы не уволили, не выгнали вон? Ее хозяин вчера ночью почти признался, что считает ее виновницей случившегося, так какая же таинственная причина помешала ему ее обличить? Почему он потребовал от меня, чтобы я молчала? Странно! Гордый, непрощающий, высокомерный джентльмен словно бы каким-то образом оказался во власти жалкой швеи, занимающей наиболее низкое положение в его доме. И эта власть так велика, что, даже когда она покусилась на его жизнь, он не посмел открыто ее назвать, а тем более покарать!

Будь Грейс молодой и красивой, я была бы

склонна предположить, что за такой снисходительностью мистера Рочестера прячутся чувства более нежные, нежели осторожность или страх. Но ее возраст и весь ее непривлекательный облик делали подобное подозрение нелепым. «Однако, — размышляла я, — она ведь когда-то была молодой, причем тогда же, когда и ее хозяин. А от миссис Фэрфакс я слышала, что она живет тут уже много лет. Не думаю, что хоть когда-нибудь она была хороша собой, но кто знает? Отсутствие красоты могло возмещаться оригинальностью и силой характера. Мистер Рочестер большой ценитель необычности и эксцентричности, а Грейс по меньшей мере необычна. Что, если давняя прихоть (каприз, вполне гармонирующий с такой переменчивой и упрямой натурой, как у него) отдала его ей во власть, и теперь она имеет на него тайное влияние, следствие его собственной легкомысленности, от которого он не может освободиться и которым не смеет пренебречь?» Но когда в своих рассуждениях я дошла до этого вывода, перед моим внутренним взором всплыла коренастая плоская фигура миссис Пул, некрасивое, угрюмое, даже грубое лицо, и я подумала: «Нет, невероятно! Такое предположение не может быть верным! И все же, — шепнул тайный

голос, который вещает нам из глубины наших сердец, — ты ведь тоже некрасива и все же, быть может, нравишься мистеру Рочестеру. Во всяком случае, тебе так часто казалось. И прошлая ночь — вспомни его слова, вспомни его взгляд, вспомни его голос!»

О, я их хорошо помнила: в этот миг его речь, глаза, тон воскресли в моей памяти с новой силой. Я уже сидела в классной комнате. Адель рисовала, и, наклонившись над ней, я направляла ее карандаш. Внезапно она с недоумением подняла на меня глаза.

— Qu'avez-vous, mademoiselle? — спросила она. — Vos doigts tremblent comme la feuille, et vos joues sont rouges: mais rouges comme des cerises![31]

— Мне жарко, Адель, из-за того, что я нагибаюсь.

Она продолжала рисовать, я продолжала размышлять.

И поспешила прогнать отвратительную мысль, на которую меня натолкнула Грейс Пул: мне стало невыносимо гадко на душе. Теперь я сравнила ее с собой и убедилась, что мы совершенно разные. Бесси Ливен сказала, что я настоящая

---

[31] Примечания: 31

Что с вами, мадемуазель? Ваши пальцы дрожат словно листочки, а щеки такие красные, ну прямо как вишни! (фр.)

барышня, и сказала она правду: я настоящая благовоспитанная барышня! И выглядела я много лучше, чем когда Бесси прощалась со мной. Лицо у меня было уже не такое бледное, я пополнела. Во мне появилось больше живости, больше задора, потому что я обрела более светлые надежды и умение радоваться.

«Скоро вечер, — сказала я себе, поглядев на окно. — Сегодня я еще ни разу не слышала голоса мистера Рочестера, его шагов. Но, конечно же, я увижу его теперь. Утром я боялась этой встречи, а теперь жажду ее: ведь ожидание обманывалось так долго, что сменилось нетерпением».

Когда наступили сумерки и Адель, покинув меня, отправилась в детскую играть с Софи, я уже желала этой встречи всей душой и всем сердцем. Я прислушивалась, не зазвонил ли внизу колокольчик, я прислушивалась, не поднимается ли по лестнице Лия, чтобы позвать меня. Порой мне чудилось, что я слышу шаги самого мистера Рочестера, и я оборачивалась к двери, ожидая, что она вот-вот откроется и войдет он. Дверь оставалась закрытой, и только мрак входил в комнату через окна. Но ведь было еще не так поздно. Иногда он присылал за мной и в семь, и в восемь часов, а часы показывали лишь шесть. Не может быть,

чтобы я совсем обманулась в моих ожиданиях, когда мне необходимо столько ему сказать! Мне не терпелось вновь заговорить о Грейс Пул и услышать, что он скажет в ответ. Я хотела прямо спросить его, действительно ли он верит, что во вчерашнем жутком поджоге повинна она? А если так, то почему он хранит ее преступление в тайне? И пусть моя настойчивость вызовет у него раздражение! Я уже познала удовольствие поочередно сердить и успокаивать его. Я наслаждалась этим, а верный инстинкт помогал мне не заходить слишком далеко. Я никогда не переступала последней черты. Мне очень нравилось проверять свое новое искусство у самого предела. Соблюдая почтительность во всех мелочах, ни в чем не нарушая строгих правил, налагаемых моим положением, я тем не менее могла вести с ним спор на равных без страха или опасливой сдержанности. Это нравилось и ему, и мне.

Наконец ступеньки заскрипели от чьих-то шагов. Вошла Лия — но только для того, чтобы позвать меня к миссис Фэрфакс пить чай. Туда я и направила свои стопы, радуясь, что хотя бы спущусь вниз: мне казалось, что это приблизит меня к мистеру Рочестеру.

— Наверное, вы заждались чая, — заметила

добрая старушка, когда я села к столу. — Вы же за обедом почти ничего не ели. Боюсь, — продолжала она, — вам нездоровится: вы раскраснелись, как от жара.

— Нет, я совершенно здорова. Никогда не чувствовала себя лучше.

— Ну так докажите это хорошим аппетитом. Вы не нальете кипятку в чайник, пока я довяжу этот ряд?

Довязав, она встала, чтобы опустить штору. Полагаю, она не сделала этого прежде, желая использовать дневной свет до конца, хотя теперь сумерки уже сгустились в полную тьму.

— Погожий вечер, — заметила она, поглядев наружу, — хотя звезд и не видно. Для поездки мистер Рочестер выбрал неплохой день.

— Для поездки! Так мистер Рочестер уехал? А я и не знала.

— Так он отправился в путь, чуть позавтракал. Поехал в Лийс, поместье мистера Эштона. Оно в десяти милях за Милкотом. Там, кажется, собралось большое общество. Лорд Ингрэм, сэр Джордж Линн, полковник Дент и еще многие.

— Вы ждете его сегодня?

— Нет. Да и завтра тоже. Думаю, он там погостит неделю, а то и больше. Когда светские люди

съезжаются вместе там, где их ждут роскошь и веселье и все, что может доставить удовольствие или развлечь, они не торопятся расставаться. Ну и джентльменами особенно дорожат. А мистер Рочестер такой интересный, такой остроумный! По-моему, его все любят. Дамы в нем души не чают, хотя сразу и не подумаешь, что его наружность может привлекать их взоры, но, полагаю, его таланты, умный разговор, а может быть, и богатство, и благородная кровь возмещают этот маленький недостаток.

— А в Лийсе будут и дамы?

— Сама миссис Эштон, ее две дочери, очень светские барышни, а еще высокородные Бланш и Мэри Ингрэм, настоящие красавицы, как я слышала. Бланш я видела лет шесть-семь назад, когда ей было восемнадцать. Она приезжала сюда на рождественский бал, который давал мистер Рочестер. Видели бы вы столовую в тот день! Как роскошно она была убрана, как ярко освещена! И гостей было не меньше пятидесяти — все первые семейства в графстве. А мисс Ингрэм была царицей бала, так она блистала красотой.

— Вы сказали, что видели ее, миссис Фэрфакс. Так как она выглядела?

— Да, видела, видела. Двери в столовую были

распахнуты, а так как было Рождество, слугам позволили собраться в прихожей — послушать, как некоторые дамы играли и пели. Меня же мистер Рочестер пригласил войти в гостиную, не позволил отказаться, и я тихо сидела в уголке и смотрела на них. Ничего великолепнее я в жизни не видела: наряды дам самые великолепные, и почти все они — ну, конечно, барышни и те, кто помоложе, — выглядели красавицами, но царицей бала, бесспорно, была мисс Ингрэм.

— Но как она выглядела?

— Высокая, пышный бюст, покатые плечи, шея длинная, лебединая, цвет лица смуглый, но такой чистый! Классические черты, глаза — совсем как у мистера Рочестера — большие, черные и блестящие, как ее брильянты. И прекрасные волосы! Черные как вороново крыло и с таким вкусом причесаны — на затылке косы уложены коронкой, а спереди самые длинные, самые блестящие локоны, какие я только видела. Платье белое, на плечи и грудь наброшен палевый шарф, завязанный на боку, а длинная бахрома ниспадает ниже колен. К волосам приколот цветок такого же оттенка, что и шарф. Он прелестно оттенял ее пышные черные локоны.

— И разумеется, все ею восхищались?

— О да! И не только ее красотой! У нее столько светских талантов. Она тогда пела, ей аккомпанировал один джентльмен, и она спела дуэт с мистером Рочестером.

— С мистером Рочестером? Я не знала, что он поет!

— У него чудесный бас и превосходный вкус во всем, что касается музыки.

— А мисс Ингрэм? Какой у нее голос?

— Очень звучный и сильный. Пела она восхитительно. Слушать ее было настоящее наслаждение. А потом она еще и сыграла гостям. Я судить не берусь, но мистер Рочестер большой знаток, и я слышала, как он говорил, что играет она на редкость хорошо.

— И эта столь одаренная красавица до сих пор не замужем?

— Как будто так. Кажется, и у нее, и у ее сестры состояние самое скромное. Поместья Ингрэмов — майорат, так что после смерти их батюшки старший сын унаследовал почти все семейное богатство.

— Но неужели ни один богатый вельможа или помещик в нее не влюбился? Например, мистер Рочестер. Он ведь богат, правда?

— Да, но, видите ли, между ними значительная

разница в возрасте. Мистеру Рочестеру под сорок, а ей всего двадцать пять.

— Так что? Каждый день заключаются браки с еще большей разницей в возрасте.

— Ваша правда, но, мне кажется, мистер Рочестер ни о чем таком не думает… Однако вы же совсем ничего не едите! Чай выпили и ни кусочка не съели!

— Да. Я слишком хочу пить. Вы не нальете мне еще чашечку?

Я намеревалась вернуться к теме брака между мистером Рочестером и красавицей Бланш, но тут вбежала Адель, и разговор перешел на другую тему.

Поднявшись к себе, я обдумала все, что услышала, заглянула в свое сердце, проверила его чувства и попыталась суровой рукой вернуть в безопасную крепость здравого смысла те, что заблудились в безграничных просторах воображения.

Вызванная на мой суд свидетельница Память дала показания о надеждах, желаниях, чувствах, которые я лелеяла с прошлой ночи, о состоянии моего духа в последние две недели; затем выступил Рассудок и в свойственной ему спокойной манере просто, не приукрашая и не преувеличи-

вая, изложил, как я отворачивалась от подлинной реальности и упивалась фантазиями. После чего я вынесла следующий приговор:

Большей дурочки, чем Джейн Эйр, свет не видывал; ни одна глупая любительница фантазий не объедалась так сладкой ложью, не упивалась отравой точно нектаром.

«Ты, — сказала я, — пользуешься особым расположением мистера Рочестера? Ты наделена силой нравиться ему? Убирайся! Мне дурно от твоего безумия. И ты радовалась случайным знакам внимания, ничего не значащим знакам, которые родовитый джентльмен, светский лев, оказывал наивной гувернантке у него на жалованье? Да как ты смела? Несчастная доверчивая дура! Неужели даже самолюбие тебя не образумило? Ты все утро вновь и вновь переживала краткие события прошлой ночи? Закрой лицо руками и устыдись! Он сказал что-то похвальное о твоих глазах, а? Слепой котенок! Разлепи веки и взгляни на собственное проклятое безрассудство! Женщина не смеет чувствовать себя польщенной словами того, кто выше нее и никак не может жениться на ней. Безумны те женщины, что позволяют тайной любви вспыхнуть в своем сердце — любви, которая, если останется безответной и

неизвестной, неизбежно сожжет жизнь, ее вскормившую. А если будет открыта и найдет ответ, то завлечет, точно блуждающий огонек в коварную трясину, откуда возврата нет.

Так выслушай, Джейн Эйр, свой приговор! Завтра поставь перед собой зеркало и нарисуй мелками свой портрет — правдиво, не скрывая ни единого недостатка. Не смягчи ни единой жесткой линии, не затушуй ни единой неправильности и подпиши его: "Портрет гувернантки, безродной, бедной, некрасивой". А потом возьми дощечку из слоновой кости — у тебя есть такая, — приготовь свою палитру и выбери самые яркие, самые чистые, самые нежные краски, возьми самые тонкие кисточки из верблюжьего волоса и бережно набросай самое прелестное лицо, какое ты только способна вообразить. Накладывай самые мягкие тона и прелестнейшие оттенки, следуя тому, как миссис Фэрфакс описывала Бланш Ингрэм. Не забудь пышные локоны цвета воронова крыла, глаза восточного разреза... Как! Ты берешь в натурщики мистера Рочестера? Держи себя в руках! Не хныкать! Не распускаться! Не сожалеть! Я не потерплю ничего, кроме здравого смысла и решимости! Вспомни величавые, но гармоничные черты, греческую

шею и грудь. Покажи округлую ослепительную руку и изящные пальцы; не забудь брильянтовое кольцо и золотой браслет; тщательно выпиши наряд — воздушные кружева и блестящий атлас, легкий шарф и чайную розу, потом подпиши: "Бланш, наделенная всеми талантами светская красавица".

И если в будущем тебе померещится, будто мистер Рочестер о тебе высокого мнения, достань оба портрета, сравни их и скажи: "Мистер Рочестер, конечно, завоюет любовь вот этой знатной красавицы, если пожелает того. Так неужели он хоть на миг серьезно подумает вот об этой нищей, невзрачной плебейке?"»

«Я это сделаю!» — решила я и, успокоившись, заснула.

Свое слово я сдержала. Потребовалось не больше двух часов, чтобы набросать мелками мое лицо; и менее чем через две недели я закончила миниатюру воображаемой Бланш Ингрэм на слоновой кости. Рожденное фантазией лицо выглядело очаровательным, и сравнение между ним и наброском с натуры было настолько не в пользу последнего, что ничего лучшего самодисциплина и пожелать не могла бы. Работа над портретами принесла мне большую пользу: она

занимала мои мысли и руки и добавила силы и твердости ко всему, что я хотела неизгладимо запечатлеть в своем сердце.

Вскоре у меня появилась причина поздравить себя со строгой муштрой, которой я подвергла свои чувства. Благодаря ей я сумела встретить последующие события с подобающим спокойствием, которое, будь они застигнуты врасплох, мне, вероятно, не удалось бы сохранить даже внешне.

Глава 17

Прошла неделя, а от мистера Рочестера не было никаких вестей. Не приехал он и через десять дней. Миссис Фэрфакс сказала, что не удивится, если он из Лийса отправится прямо в Лондон, а оттуда на континент и снова побывает в Тернфилде не раньше, чем через год: он ведь не в первый раз уезжал вот так внезапно без всякого предупреждения. Услышав это, я почувствовала, что сердце у меня как-то странно сжимается и холодеет. И позволила себе испытать горькое разочарование. Однако тотчас опомнилась, утвердилась в своем решении и тут же усмирила свои чувства. Поистине удивительно, как я преодолела минутное заблуждение, как доказала, какая ошибка полагать, будто меня хоть сколько-нибудь интересует, куда и на какое время уезжает мистер Рочестер. И я не оскорбила себя рабским признанием, будто стою настолько ниже него, что не смею допускать подобные мысли. Напротив, я просто сказала:

«С хозяином Тернфилда у тебя нет ничего общего: просто он платит тебе за то, что ты учишь

и воспитываешь его протеже, и будь довольна, что он оказывает тебе то уважение и ту доброту, на какие ты имеешь право, добросовестно исполняя свои обязанности. Не сомневайся: это единственная связь между тобой и им, которую он признает серьезно. А потому не отдавай ему свои лучшие чувства, свои восторги, муки и тому подобное. Он не ровня тебе, держись своей касты и из уважения к себе не отдавай всю силу любви твоего сердца, твоей души тому, кому твой дар не нужен и может вызвать лишь презрение».

Я продолжала изо дня в день спокойно исполнять свои обязанности, но нередко меня посещали неясные мысли, что есть причины, по которым мне следует расстаться с Тернфилдом, и я невольно начинала сочинять объявления в газеты и прикидывать, какое место могло бы меня устроить. Таким мыслям я предела не клала: пусть себе созреют и приносят плоды, если это возможно.

Мистер Рочестер отсутствовал почти полмесяца, и тут с утренней почтой миссис Фэрфакс пришло письмо.

— От хозяина, — сказала она, едва взглянув на адрес. — Ну, теперь мы, наверное, узнаем, ждать его возвращения или нет.

Пока она взламывала печать и читала, я продолжала пить кофе (мы завтракали). Было жарко, и этим я объяснила жгучий румянец, вдруг разлившийся по моим щекам. Искать же объяснения, почему моя рука вздрогнула и половина содержимого чашки выплеснулась на блюдце, я не сочла нужным.

— Ну-у… Иногда мне кажется, что мы ведем слишком уж тихую жизнь, однако теперь у нас хлопот будет хоть отбавляй, пусть и не очень долго, — сказала миссис Фэрфакс, все еще держа письмо перед очками.

Прежде чем позволить себе вопрос, я завязала развязавшуюся тесемку фартучка Адели, дала ей еще булочку, подлила ей в кружку молока и только тогда сказала небрежно:

— Полагаю, мистер Рочестер не намерен вернуться в ближайшее время?

— Да нет же! Приедет через три дня, пишет он, и не один. Не знаю, сколько знатных гостей приедет с ним из Лийса, но он указывает приготовить все спальни и произвести полную уборку в библиотеке и в гостиной. И чтобы я наняла прислугу в «Георге», или в Милкоте, или где смогу. Дамы приедут со своими камеристками, джентльмены с камердинерами, так что в доме яблоку будет

негде упасть.

Миссис Фэрфакс торопливо доела завтрак и отправилась отдавать распоряжения.

Три дня, как она и предсказывала, прошли в непрерывных хлопотах. Я-то думала, что все комнаты в Тернфилде содержатся в безупречной чистоте и порядке, но, видимо, я заблуждалась. В помощь Лии были наняты три деревенские женщины, и все они скребли, чистили, мыли стекла, выбивали ковры, снимали и снова вешали картины, протирали зеркала и люстры, растапливали камины во всех спальнях, проветривали перины и простыни перед огнем — ничего подобного я не видела ни раньше, ни позже. Среди этой суматохи Адель пребывала на седьмом небе: приготовления к приему гостей, их скорый приезд ввергали девочку в настоящий экстаз. Она заставила Софи перебрать все ее «toilettes»,[32] как она именовала свои платьица, подновить passées,[33] а остальные проветрить и отгладить. С утра до ночи она резвилась: посещала все парадные комнаты и спальни, прыгала по кроватям, укладывалась на матрасы, валики и подушки, сложенные для

---

[32] Примечания: 32
туалеты (фр.).

[33] Примечания: 33
вышедшие из моды (фр.).

проветривания перед каминами, в которых ревел огонь. От уроков она была освобождена — миссис Фэрфакс потребовались и мои услуги: весь день я проводила на кухне, помогая (или мешая) ей и кухарке. Училась готовить заварные кремы, сладкие пудинги и французские пирожные, обвязывать птичьи тушки для жаренья и красиво сервировать десерт.

Общество ожидалось в четверг днем, чтобы отобедать в шесть. Все это время мне было не до того, чтобы нянчиться с химерами, и верю, что энергией и веселостью я не уступала никому — за исключением Адели, разумеется. Тем не менее порой я теряла бодрость и против воли возвращалась к сомнениям, дурным предчувствиям и темным подозрениям. Случалось это, когда я видела, как дверь на лестницу третьего этажа (теперь она всегда была заперта) медленно отворяется и из нее выходит Грейс Пул в аккуратном чепце, белом переднике, с белой косынкой на шее, когда я наблюдала, как она движется по галерее, бесшумно ступая ногами, обутыми в домашние туфли, когда я смотрела, как она заходит в перевернутую вверх дном спальню, чтобы объяснить служанке из деревни наилучший способ начистить каминную решетку, или вымыть

мраморную каминную полку, или удалить пятно с обоев, а затем идет дальше.

Вот так один раз в день она спускалась на кухню, обедала, выкуривала трубочку у очага и возвращалась с пинтой портера, чтобы в одиночестве ублажать себя в своем мрачном логове наверху. Только один час в сутки из двадцати четырех проводила она внизу с другими слугами, а все остальное время пребывала в обшитой дубовыми панелями комнате с низким потолком где-то на третьем этаже. Там она сидела и шила — и, наверное, угрюмо посмеивалась чему-то своему, такая же одинокая, как узник в темнице.

Однако самым странным было то, что никто в доме, кроме меня, не замечал ее привычек и не удивлялся им; никто не судачил о ее положении в Тернфилд-Холле, никто не сочувствовал ее одиночеству и уединению. Правда, один раз мне выпало услышать часть разговора Лии с одной из служанок. Касался он Грейс. Я не расслышала, что сказала Лия, но служанка спросила:

— Так, наверное, она хорошее жалованье получает?

— Да, — ответила Лия. — Мне бы такое! Ну, не то чтобы я жаловалась на свое: в Тернфилде не скаредничают. Да только миссис Пул получает

впятеро больше. И копит денежки: каждые три месяца едет в Милкот и кладет их в банк. Я бы не удивилась, если ей хватит, чтобы жить в свое удовольствие, оставь она это место хоть сейчас. Только, думаю, она привыкла к здешнему дому. И ей же еще сорока нет, а здоровья и силы не занимать. Рановато ей уходить на покой.

— Так, наверное, она свое дело знает, — сказала служанка.

— Да, обязанности она свои понимает лучше некуда, — многозначительно сказала Лия. — И пойди найди кого другого на ее место, какое жалованье она ни получай!

— Да уж! — последовал ответ. — А что, хозяин…

Тут Лия обернулась, увидела меня и толкнула свою собеседницу локтем в бок.

— А она что — не знает? — прошептала та.

Лия покачала головой, и разговор, естественно, оборвался. А все мной услышанное сводилось к тому, что в Тернфилде существует какая-то тайна и что меня в нее посвящать не намерены.

Наступил четверг. Все приготовления завершились накануне: ковры разложены, пологи на кроватях повешены, белоснежные покрывала расстелены, туалетные столики снабжены всем

необходимым, мебель натерта воском, цветы поставлены в вазы. И парадные комнаты, и спальни выглядели такими безупречными и сверкающими, какими только могли их сделать усердные руки. Не уступала им и прихожая: резной футляр напольных часов, ступеньки и перила парадной лестницы блестели от долгой полировки, как зеркала; буфет в столовой сверкал великолепнейшим фамильным серебром; в гостиной и будуаре всюду красовались оранжерейные цветы в изящных вазах.

Миновал полдень. Миссис Фэрфакс облачилась в свое лучшее платье из черного атласа, надела перчатки, приколола золотые часики — ведь ей предстояло встретить гостей, проводить дам в их комнаты и прочее. Адель тоже пожелала надеть свой лучший наряд, хотя я полагала, что она вряд ли будет представлена обществу — и уж во всяком случае, не в первый день. Однако, чтобы доставить ей удовольствие, я разрешила Софи облачить ее в кисейное платьице с пышной короткой юбочкой. Самой мне прихорашиваться нужды не было. Мне не придется покидать мое надежное убежище — ибо классная комната стала моим тайным убежищем, спасительным подспорьем в дни тревог.

День был теплый, по-весеннему безмятежный — один из тех, что в конце марта или в начале апреля нежат землю ласковыми лучами, словно герольды, возвещая о приближении лета. Теперь он клонился к закату, но вечер сулил быть еще теплее, и я сидела за работой в классной, открыв окна.

— Что-то они задерживаются, — сказала миссис Фэрфакс, входя в торжественном шуршании атласа. — Хорошо еще, что обед я заказала на час позже, чем распорядился мистер Рочестер. Ведь уже начало седьмого! Я послала Джона к воротам следить, не появятся ли они на дороге. Отсюда в сторону Милкота она видна очень далеко. — Она подошла к окну. — А вот и он, — объявила она. — Джон! — крикнула она, высовываясь в окно. — Что там?

— Едут, сударыня, — донесся ответ. — Будут тут через десять минут.

Адель кинулась к окну. Я последовала за ней и встала сбоку — так, чтобы меня загораживала гардина и я могла бы смотреть, оставаясь невидимой.

Десять минут, предсказанные Джоном, казались очень долгими, но наконец послышался стук колес, по подъездной аллее пронеслись гало-

пом четыре всадника, за которыми следовали два открытых экипажа — в них колыхались перья и вуали, которыми играл ветер. Два всадника оказались молодыми джентльменами, явно щеголявшими своей лихостью, третьим был мистер Рочестер на своем вороном Месруре — перед ним несся Лоцман, а рядом скакала всадница, вместе с ним возглавляя кавалькаду. Ее лиловая амазонка почти касалась земли, вуаль вилась на ветру, и сквозь прозрачные складки просвечивали блестящие локоны цвета воронова крыла.

— Мисс Ингрэм! — воскликнула миссис Фэрфакс и поспешила на свой пост у входной двери.

Теперь кавалькада скрылась за углом дома, и я потеряла ее из виду. Адель принялась умолять меня сойти с ней вниз, но я посадила ее к себе на колени и дала ей понять, что она ни в коем случае не должна являться на глаза гостей ни сейчас, ни потом, если только за ней не пошлют, что мистер Рочестер очень рассердится и т. д. Подобно мильтоновским Адаму и Еве «тут слезы пролила она», но лицо у меня стало таким строгим, что в конце концов она согласилась утереть их.

Из прихожей доносился веселый шум, низкие голоса джентльменов и серебристые — дам сливались в приятную гармонию, и в ней был хорошо

различим звучный, хотя вовсе не громкий голос хозяина Тернфилд-Холла, который приветствовал прекрасных гостий и благородных гостей, почтивших своим присутствием его дом. Затем вверх по лестнице прозвучали легкие шаги — и дальше по галерее под веселый мелодичный смех; скрипнули, отворяясь и затворяясь, двери, а затем на время воцарилась тишина.

— Elles changent de toilettes,[34] — сказала Адель, которая, внимательно прислушиваясь, догадывалась о каждом их движении, и она горестно вздохнула.

— Chez maman, — продолжала она, — quand il y avait du monde, je le suivais partout, au salon et à leur chambres; souvent je regardais les femmes de chambre coiffer et habiller les dames, c'était si amusant: comme cela on apprend.[35]

— Ты голодна, Адель? — спросила я.

— Mais oui, mademoiselle: voilà cinq ou six heures

---

[34] Примечания: 34

Они переодеваются (фр.).

[35] Примечания: 35

Когда у мамы бывали гости, я ходила за ними повсюду: в гостиную и в их комнаты; я смотрела, как камеристки причесывают и одевают дам, это очень забавно! Ведь так и самой можно всему научиться (фр.).

que nous n'avons pas mangé.[36]

— Ну, пока дамы переодеваются, я попробую спуститься вниз и раздобуду для тебя что-нибудь.

И с предосторожностями покинув свое убежище, я по черной лестнице спустилась прямо в кухню. Там царили жар огня и суматоха. Суп и рыба приближались к совершенству, и кухарка колдовала над своими тиглями в таком состоянии тела и духа, что грозила вот-вот вспыхнуть пламенем сама. В людской у камина стояли и сидели два кучера и три камердинера. Камеристки, решила я, помогали своим госпожам наверху. Везде хлопотали новые слуги, нанятые в Милкоте. Пробравшись сквозь этот бедлам, я наконец достигла кладовой. Там я завладела холодной курицей, булкой, полдесятком сладких пирожков, парой тарелок, вилкой, ножом и поспешила прочь с этой добычей. Я как раз достигла галереи и собралась закрыть за собой дверь черного хода, как внезапный шум предупредил меня, что дамы вот-вот покинут свои спальни. Между мной и классной комнатой было несколько дверей, и, не желая попасться гостьям на глаза с моим грузом

---

[36] Примечания: 36

Ну конечно, мадемуазель, мы уже почти шесть часов ничего не ели (фр.).

съестных припасов, я замерла там, где стояла, почти в полной темноте: солнце уже закатилось, снаружи сгущались сумерки, а в этом конце галереи не было окон.

Вскоре из спален одна за другой появились их прекрасные обитательницы — грациозные, веселые; и даже в полумраке их платья сверкали и переливались. На мгновение они собрались в дальнем от меня конце галереи, переговариваясь с живостью, хотя и вполголоса, а затем спустились по лестнице почти столь же бесшумно, как белое облако тумана плывет вниз по склону холма. Появление их всех вместе произвело на меня впечатление такой великосветской элегантности, о какой я прежде не имела никакого понятия.

Я обнаружила, что Адель подглядывала за ними, чуть-чуть приоткрыв дверь.

— Какие красивые дамы! — воскликнула она. — Как мне хочется пойти к ним! Мистер Рочестер пришлет за нами после обеда, как вы думаете?

— Я уверена, что нет. Мистеру Рочестеру теперь не до нас. Но ничего, возможно, ты увидишь своих красивых дам завтра. А вот твой ужин.

Она по-настоящему проголодалась, а потому курица и пирожки на время отвлекли ее внимание.

Я поступила правильно, отправившись на эту фуражировку, не то и мы с ней, и Софи, с которой я поделилась нашим пиршеством, скорее всего остались бы без ужина: все внизу были слишком заняты, чтобы вспомнить про нас. Десерт подали только в десятом часу, а в десять лакеи все еще бегали взад и вперед с подносами и кофейными чашками. Я позволила Адели посидеть гораздо дольше обычного, так как она заявила, что не уснет, пока внизу будут хлопать двери и суетиться люди. К тому же, заявила она, мистер Рочестер может прислать за ней, когда она уже ляжет, «et alors, quel dommage!».[37]

Я рассказывала ей сказки, пока они ей не надоели, а тогда вышла с ней в галерею. В прихожей горела люстра, и Адели очень нравилось смотреть между столбиками перил, как слуги бегают туда-сюда. Когда вечер уже близился к ночи, из гостиной, куда перенесли рояль, донеслись звуки музыки. Мы с Аделью сели на верхнюю ступеньку и стали слушать. Вскоре в красивую мелодию инструмента вплелся чудесный женский голос, лаская слух. После чего послышался дуэт, а затем несколько голосов запели хором. Промежутки

[37] Примечания: 37
до чего же будет досадно! (фр.)

заполнял шум веселой беседы. Слушала я долго и вдруг поймала себя на том, что в общем гуле голосов мой слух стремится уловить и выделить из их прихотливого смешения голос мистера Рочестера. А когда ему это удалось, что произошло довольно скоро, он принялся за новую работу: складывать отдаленные неясные звуки в слова.

Часы пробили одиннадцать. Я взглянула на Адель, прислонившую головку к моему плечу. Глаза у нее слипались, а потому я взяла ее на руки и отнесла в кровать. Когда наконец гости разошлись по своим спальням, был почти час ночи.

На следующий день погода была такой же прекрасной, как и накануне, и все общество отправилось осматривать какие-то местные достопримечательности. Выехали они перед полуднем — некоторые верхом, остальные в экипажах. Я наблюдала и отъезд, и возвращение. И вновь из всей женской половины общества только мисс Ингрэм предпочла седло. Мистер Рочестер скакал рядом с ней, и они чуть опережали остальных. Я указала на это обстоятельство миссис Фэрфакс, которая вместе со мной стояла у окна.

— Вы говорили, что брак между ними маловероятен, — сказала я, — но, как видите, мистер Рочестер оказывает ей особое внимание.

— Да, пожалуй. Несомненно, она его восхищает.

— А он — ее, — добавила я. — Посмотрите, как она наклонила к нему голову, точно они беседуют о чем-то, известном только им обоим. Жаль, что ничего, кроме ее спины, я рассмотреть не успела. Я ведь еще не видела ее лица.

— Вечером увидите, — ответила миссис Фэрфакс. — Я упомянула мистеру Рочестеру, как Адели хочется познакомиться с дамами, и он сказал: «Так пусть она после обеда придет в гостиную: попросите мисс Эйр привести ее туда».

— Да, но это он сказал только из вежливости. Мне идти с ней вовсе не обязательно, — ответила я.

— Ну, я позволила себе указать ему, что вы не привыкли бывать в обществе, так навряд ли вам захочется спуститься в гостиную, где вам никто не знаком, а он ответил в этой быстрой своей манере: «Вздор! Если она начнет возражать, скажите, что таково мое желание, а если она заупрямится, я сам схожу и приведу ее».

— Я избавлю его от этого затруднения, — ответила я, — и приду, раз этого избежать нельзя. А вы там будете, миссис Фэрфакс?

— Нет. Я попросила извинить меня, и он не

настаивал. Я объясню вам, что надо сделать, чтобы не входить в гостиную, когда там все будут в сборе — ведь это самое неприятное. Спуститесь вниз, пока дамы еще будут сидеть за столом, выберите укромный уголок в гостиной и сядьте там. После того как джентльмены присоединятся к дамам, вы можете уйти, если только сами не захотите остаться подольше. Пусть мистер Рочестер увидит вас там, а тогда ускользните. Никто и не заметит.

— А гости тут еще долго пробудут, вы не знаете?

— Недели две-три, не больше. После пасхальных каникул сэру Джорджу Линну надо быть в столице к началу заседаний парламента — его ведь как раз выбрали туда от Милкота. А мистер Рочестер, думаю, поедет с ним. Я и так удивляюсь, что он столько задержался в Тернфилде.

Не без трепета ждала я приближения часа, когда мне предстояло отвести Адель в гостиную. Она весь день пребывала в экстазе, едва услышала, что вечером ее представят обществу. Угомонилась она, только когда Софи приготовилась переодеть ее. Важность этой процедуры быстро ее успокоила, и к тому времени, когда ее кудри были собраны в тщательно расчесанные пучки, розо-

вое атласное платьице надето, длинный кушачок завязан и кружевные митенки натянуты на руки, она могла бы поспорить серьезностью с любым судьей. И не потребовалось предупреждать ее, чтобы она не помяла свой наряд: после того как ее туалет был завершен, она чинно опустилась в свое креслице, осторожно расправив юбочку, и заверила меня, что не шевельнется, пока я не буду совсем готова. На это у меня ушло немного времени: в мое лучшее платье (серебристо-серое, сшитое к свадьбе мисс Темпл и с тех пор ни разу не надевавшееся) я облеклась за две минуты, осталось пригладить волосы и приколоть жемчужную брошку, мое единственное украшение, и мы спустились в гостиную — к счастью, туда вела еще одна дверь, кроме выходившей в залу, где они обедали.

Там никого не было. В мраморном камине пылал огонь, восковые свечи ярко горели при полном безлюдии среди чудесных букетов, украшавших столы. Малиновая портьера закрывала арку, но хотя завеса между нами и обедающим рядом обществом и была столь тонка, беседовали они так негромко, что до нас доносился только невнятный ропот.

Адель, все еще немного подавленная торже-

ственностью случая, послушно села на скамеечку, повинуясь моему знаку, а я выбрала диванчик в эркере, взяла книгу с ближайшего столика и попробовала читать, но Адель придвинула скамеечку к моим ногам и очень скоро потрогала меня за колено.

— Что тебе, Адель?

— Est-ce que je ne puis pas prendre une seule de ces fleurs magnifiques, mademoiselle? Seulement pour compléter ma toilette![38]

— Ты слишком много думаешь о своем «toilette», Адель, но добавить к нему цветок можно.

С этими словами я взяла розу из вазы и приколола ее к кушаку девочки. Она испустила вздох неописуемого счастья, словно чаша ее блаженства переполнилась. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку: было что-то не только грустное, но и смешное в этой врожденной любви маленькой парижанки к «туалетам».

До нас донеслись мягкие шорохи — дамы вставали из-за стола. Портьера была отдернута, и нашим глазам предстала столовая, где сияющая свечами люстра озаряла великолепный хрусталь и серебряную посуду на длинном столе. Под

[38] Примечания: 38

Мадемуазель, можно мне взять один-единственный из этих чудных цветков? Только чтобы дополнить мой туалет! (фр.)

аркой появились дамы, они вошли, и портьера опустилась.

Было их всего восемь, но почему-то их тесная группа под аркой выглядела куда многочисленнее. Некоторые казались очень высокими, на большинстве платья были белыми, и наряды всех будто одевали их сиянием, словно дымка вокруг лунного диска. Я встала и сделала реверанс. Две ответили мне легким наклоном головы, остальные просто смерили меня взглядом.

Они рассеялись по гостиной, и грациозная легкость их движений придала им в моих глазах сходство с белыми длинноперыми птицами. Некоторые откинулись на диванах и оттоманках, другие наклонялись над столиками, рассматривая цветы и книги, остальные собрались в кружок перед камином. Все говорили негромко, но очень ясно, как было у них в манере. Имена их я узнала позже, но для простоты назову теперь же.

Во-первых, миссис Эштон и две ее дочери. В свое время она, несомненно, отличалась редкой красотой и все еще сохранила ее остатки. Эми, старшая дочь, выглядела миниатюрной, с наивным детским лицом и пикантной фигуркой. Белое кисейное платье с голубым кушаком очень ей шло. Ее сестра Луиза была более высокой, бо-

лее изящного сложения и с миловидным лицом, того типа, который французы называют «minois chiffonné».[39] Обе они были белокуры и белизной походили на лилии.

Леди Линн, матрона лет сорока, обладала внушительной дородностью, держалась необыкновенно прямо и надменно и была облачена в пышное атласное платье, цвет которого все время менял оттенки. Темные глянцевитые волосы осеняло лазоревое перо, склоняясь над диадемой из драгоценных камней.

Миссис Дент, жена полковника, выглядела не столь броско, но, на мой взгляд, как истинная леди. У нее были светлые волосы, тоненькая фигура и бледное кроткое лицо. Ее черное атласное платье, шарф из тонких заграничных кружев и жемчужный убор понравились мне куда больше многоцветной радуги, украшавшей титулованную даму.

Однако наиболее выделялись среди них — возможно, благодаря высокому росту, — вдовствующая леди Ингрэм и ее дочери, Бланш и Мэри. Всех троих отличала величавость осанки. Матушке было что-то между сорока и пятьюдесятью. Ее

---

[39] Примечания: 39
хорошенькая мордашка (фр.).

фигура была все еще хороша, волосы (по крайней мере при свечах) сохраняли черноту, зубы также выглядели безупречными. Все назвали бы ее настоящей зрелой красавицей, да она, несомненно, и была такой, если говорить лишь о внешности, но в ее лице и манере держаться сквозило нестерпимое высокомерие. Черты ее лица были римскими, подбородок двойным и соединялся с шеей точно капитель с колонной. Мне казалось, что ее лицо было не просто надуто гордыней, но и потемнело и даже покрылось складками от нее. Та же гордыня удерживала ее подбородок почти неестественно вздернутым. А глаза смотрели яростно и беспощадно, напомнив мне глаза миссис Рид. Она отчеканивала слова, голос у нее был басистым, а тон очень чванным, очень безапелляционным — короче говоря, совершенно невыносимым. Малиновое бархатное платье и тюрбан из затканной золотом индийской материи придавали ей (как, полагаю, она считала) величие императрицы.

Бланш и Мэри были одного телосложения — стройные и высокие, как тополя. Для своего роста Мэри выглядела слишком худощавой, но Бланш могла фигурой поспорить с Дианой. Разумеется, на нее я смотрела с особым интересом. Во-пер-

вых, меня интересовало, насколько ее внешность соответствует описанию миссис Фэрфакс, во-вторых, есть ли в ней хоть малейшее сходство с миниатюрой, рожденной моей фантазией, и в-третьих — не стану скрывать, — в какой мере она, по моему мнению, отвечает вкусу мистера Рочестера.

Что до ее внешности, то она — черта за чертой — соответствовала и моему портрету, и описанию миссис Фэрфакс. Греческий бюст и покатые плечи, лебединая шея, темные глаза, черные локоны — все было на месте. Но ее лицо? Это было лицо ее матери, молодое, не тронутое временем подобие: тот же низкий лоб, те же римские черты, та же гордыня. Впрочем, гордыня эта еще не обрела мрачности — она часто смеялась, смех у нее был язвительным, как и обычное выражение надменно изогнутых губ.

Говорят, что гении самоуверенны. Не знаю, была ли мисс Ингрэм гением, но ее самоуверенность поистине поражала. Она заговорила о ботанике с кроткой миссис Дент. Оказалось, что миссис Дент не изучала этой науки, хотя, по ее словам, и очень любила цветы, «особенно полевые». А вот мисс Ингрэм ботанику изучала и теперь с величайшим апломбом пустила в ход

ее язык. Я вскоре поняла, что она, как говорится, вываживает миссис Дент, то есть играет на ее неосведомленности. Вываживание это могло быть искусным, но притом и очень злым. Она сыграла на рояле — и сыграла блестяще, она спела — и ее голос был прекрасным, она заговорила по-французски со своей маменькой — с большой легкостью, с безупречным выговором.

Лицо Мэри казалось более добрым и более открытым, чем лицо Бланш, черты его были мягче, а кожа заметно светлее (мисс Ингрэм была смуглой, как испанка), однако Мэри выглядела безжизненной, ее чертам недоставало выразительности, глазам — блеска, ей нечего было сказать, и, опустившись в кресло, она сохраняла неподвижность, точно статуя в нише. Наряды обеих сестер были строго белоснежными.

И решила ли я, что мисс Ингрэм дано быть избранницей мистера Рочестера? Я не могла решить, я ведь не знала, какой тип женской красоты его привлекает. Если ему нравилась величественность, то она была само величие, а к тому же обладала множеством талантов и отличалась живостью. Наверное, ею должны восхищаться почти все джентльмены, размышляла я, а что ею восхищается он, у меня, казалось

мне, уже были доказательства. Оставалось лишь понаблюдать за ними, когда они будут вместе.

Не думай, читатель, будто Адель все это время чинно сидела на скамеечке у моих ног. Нет, едва дамы вошли, как она встала, направилась им навстречу, сделала безупречный реверанс и произнесла торжественно:

— Bon jour, mesdames![40]

Мисс Ингрэм смерила ее насмешливым взглядом и воскликнула:

— Что за говорящая куколка!

Леди Линн заметила:

— Я полагаю, это воспитанница мистера Рочестера, та французская девочка, о которой он говорил.

Миссис Дент ласково пожала ей руку и поцеловала ее. Эми и Луиза Эштон вскричали хором:

— Какое прелестное дитя!

И тут же позвали ее на диван, где она теперь сидит между ними, щебеча то по-французски, то на ломаном английском (и не только с этими барышнями, но и с миссис Эштон, и с леди Линн), и может купаться в их внимании сколько ее душе угодно.

---

[40] Примечания: 40
Здравствуйте, сударыни! (фр.)

Наконец подают кофе и приглашают джентльменов. Я сижу в тени — если возможно отыскать тень в пылании стольких свечей. Гардины полускрывают меня. Вот вновь зияет арка, и появляются они. Группа входящих джентльменов производит не меньшее впечатление, чем прежде — группа дам. Все они одеты в черное, почти все — высокого роста. Некоторые молоды. Генри и Фредерик Линны, бесспорно, выглядят истинным воплощением светских повес, а полковник Дент — бравым солдатом. Мистер Эштон, мировой судья округи, очень благообразен: волосы у него совсем седые, но брови и бакенбарды все еще темные, и это придает ему сходство с театральным «благородным отцом». Лорд Ингрэм очень высок, как и его сестры, — как и они, он красив, но, подобно Мэри, выглядит апатичным и вялым. Видимо, горячность крови и сила его ума заметно уступают высоте роста.

А где же мистер Рочестер?

Наконец он входит. Я не смотрю на арку и все же вижу, как он входит. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на коклюшках, на петлях кошелечка, который плету, — я хочу думать только о моем рукоделии, видеть только серебристые бусины и шелковые нитки на моих коленях. И

все-таки я ясно зрю его фигуру и, разумеется, вспоминаю те минуты, когда видела его в последний раз. Сразу после того, как я оказала ему, как он утверждал, неоценимую услугу: он держал меня за руку и глядел на мое лицо глазами, говорившими, как полно его готовое излиться сердце, и мне принадлежала доля этих чувств! Как близка я была к нему в тот миг! Так что же случилось с тех пор, какая перемена произошла в нашем положении относительно друг друга? Насколько далекими, насколько чужими мы стали теперь! Я не ждала, что он подойдет и заговорит со мной. И не удивилась, когда, даже не взглянув на меня, он сел в другом конце гостиной и начал беседовать с дамами.

Едва я убедилась, что его внимание приковано к ним и я могу не опасаясь смотреть туда, как мои глаза оказались прикованы к его лицу. Я не могла совладать со своими веками: они упрямо поднимались, и зрачки обращались на него. Я смотрела и испытывала горькую радость, несравненную, и все же болезненную радость — чистейшее золото со стальным острием муки, радость, подобную той, какая может охватить умирающего от жажды человека, знающего, что источник, до которого он с таким трудом добрался, отравлен,

и все же страстно припадающего губами к божественной влаге.

Как справедливо присловье, что «красота — в глазах смотрящего»! Бледное оливково-смуглое лицо моего патрона, массивный квадратный лоб, густые черные брови, глубокие глаза, резкие черты, твердый мрачно сжатый рот — воплощение энергии, решительности, воли, — нет, их никак нельзя было счесть красивыми согласно канонам! Но для меня они были более чем красивыми, неизъяснимо интересными, полными силы, покорившей меня, отнявшей у меня власть над моими чувствами и приковавшей к нему. Я не собиралась любить его. Читателю известно, как я тщилась вырвать из своей души ростки любви, едва я их обнаружила. И вот теперь, при первом же взгляде на него, они сразу ожили: зеленые, полные жизни! Он принудил меня любить его, даже не удостоив меня взгляда.

Я взглянула на других джентльменов. Разве могли светская лощеность Линнов, томное изящество лорда Ингрэма и даже бравость полковника Дента сравниться с природной силой и истинной властностью его облика? Я не находила ничего притягательного в их внешности, хотя без труда могла себе представить, что очень и очень мно-

гие сочли бы их привлекательными, красивыми, импозантными, а мистера Рочестера упрекнули бы одновременно за грубость черт и за меланхолическое выражение. Я смотрела, как они улыбаются, смеются — так бесцветно! В огоньках свечей было не больше души, чем в их улыбках, в звоне колокольчика не больше смысла, чем в их смехе. Я увидела, как мистер Рочестер улыбнулся — его суровые черты смягчились, глаза просияли, подобрели, взгляд стал внимательным и сочувственным. В ту минуту он разговаривал с Луизой и Эми Эштон. И я поразилась, с каким спокойствием они встретили этот взгляд, который мне показался всепобеждающим. Напрасно я ожидала, что их глаза опустятся, щеки заалеют, но я обрадовалась такому их равнодушию. «Для них он не значит того, что для меня, — подумала я. — Он создан не для них; я верю, что он создан для меня. Нет, я в этом убеждена. Я чувствую родство с ним, я понимаю язык его лица и движений. Пусть нас разделяют его высокое положение и богатство, есть нечто в моем мозгу и в моем сердце, в моей крови и в моих нервах, что связывает меня с ним духовно. Неужели всего несколько дней тому назад я мысленно твердила, что нас соединяет лишь жалованье, которое он мне платит?

Неужели я приказала себе думать о нем только как о моем нанимателе? Кощунство против Природы! Все мои лучшие, истинные, сильные чувства сосредоточились на нем. Я знаю, что должна скрывать это, должна задушить надежду, должна помнить, что для него я ничего не значу. Ведь когда я говорю о нашем духовном родстве, я вовсе не подразумеваю, будто обладаю его силой воздействия и его обаянием, но имею в виду лишь общность некоторых наших интересов и чувств. Значит, я должна без конца повторять, что нас навеки разделяет пропасть, и все же, пока я дышу и мыслю, я должна его любить».

Чашечки с кофе розданы. Дамы, едва вошли джентльмены, стали беззаботно веселы. Завязываются живые, остроумные беседы. Полковник Дент и мистер Эштон спорят о политике, их жены слушают. Две гордые вдовицы, леди Линн и леди Ингрэм, что-то обсуждают. Сэр Джордж (я забыла описать его: очень дородный и очень румяный деревенский помещик) стоит перед их диваном с кофейной чашечкой в руке и порой вставляет словечко-другое. Мистер Фредерик Линн подсел к Мэри Ингрэм и показывает ей гравюры, листая великолепный альбом. Она смотрит на гравюры, иногда улыбается, но, видимо, хранит молчание.

Высокий флегматичный лорд Ингрэм облокотился скрещенными руками на спинку кресла миниатюрной задорной Эми Эштон. Она глядит на него снизу вверх и щебечет как малиновка: он ей нравится больше, чем мистер Рочестер. Генри Линн завладел пуфиком у ног Луизы. Адель разделяет с ним пуфик, и он пытается говорить с ней по-французски, а Луиза смеется его промахам. Кто составит пару Бланш Ингрэм? Она в одиночестве стоит у столика, грациозно нагибаясь над альбомом. И, кажется, ждет, что кто-то пожелает разделить ее общество. Но долго ждать она не намерена и сама выберет себе кавалера.

Мистер Рочестер отошел от Эштонов и стоит у камина в таком же одиночестве, что и она у своего столика. Она направляется к нему и останавливается по другую сторону камина.

— Мистер Рочестер, мне казалось, что вы не питаете любви к детям!

— Да, не питаю.

— Так что же понудило вас взять на себя заботы об этой куколке? — Она указала на Адель. — Где вы ее подобрали?

— Я ее не подбирал, ее оставили у меня на руках.

— Вам следует отослать ее в пансион.

— Мне это не по карману, пансионы так дороги!

— Но ведь, кажется, вы взяли для нее гувернантку? Я только что видела с ней какую-то особу… она ушла? Ах нет! Вон она сидит за оконной занавеской. Разумеется, вы платите ей жалованье и, значит, тратите столько же, сколько платили бы за пансион. Нет, больше, так как вам ведь приходится кормить их обеих.

Я испугалась — или, следует сказать, исполнилась надежды, — что упоминание о нас заставит мистера Рочестера посмотреть в мою сторону, и невольно отпрянула в глубину оконной ниши. Однако он ответил своей собеседнице безразлично, глядя прямо перед собой:

— Право, я никогда об этом не задумывался.

— Ну разумеется! Вы, мужчины, никогда не думаете о разумной экономии. Вам бы послушать маменьку на тему о гувернантках! У нас с Мэри, я думаю, перебывало их не меньше десятка, и половина никуда не годилась, а остальные были смешны, и все — пиявки, не правда ли, маменька?

— Ты что-то сказала, мое сокровище?

Барышня, объявленная таким образом драгоценной собственностью вдовицы, повторила

свой вопрос с некоторыми пояснениями.

— Радость моя, не упоминай гувернанток! Это слово может вызвать у меня нервический припадок. Своей глупостью и капризами они превратили меня в мученицу. Благодарю Небо, что я с ними покончила!

Миссис Дент наклонилась к уху благочестивой дамы и что-то ей шепнула. Судя по ответу, она ей напомнила, что одна из предаваемых анафеме тварей присутствует в гостиной.

— Tant pis![41] — сказала знатная дама. — Надеюсь, это пойдет ей на пользу! — Затем, понизив голос, но так, чтобы я непременно услышала, она добавила: — Да, она привлекла мое внимание. Я почитаю себя недурной физиономисткой и в ее лице вижу признаки всех недостатков, присущих ей подобным.

— А каковы они, сударыня? — громко осведомился мистер Рочестер.

— Скажу вам на ушко, — ответила она и трижды с внушительной многозначительностью покачала тюрбаном.

— К тому времени аппетит моего любопытства притупится. Оно голодно сейчас.

---

[41] Примечания: 41
Тем хуже! (фр.)

— Спросите Бланш, она ближе к вам, чем я.

— Ах, не отсылайте его ко мне, маменька. О всем этом племени я могу сказать лишь одно слово. Они несносны. Не то чтобы я много страдала от них. Я умела оставить верх за собой. Как мы с Теодором изводили всех наших мисс Уилсон, и миссис Грей, и мадам Жубер! Мэри всегда была слишком вялой и почти не участвовала в наших шалостях. Интересней всего было травить мадам Жубер. Мисс Уилсон, жалкая болезненная плакса, оказалась настолько бесхребетной, что не стоила особого внимания. А миссис Грей была такой грубой и бесчувственной, что ее ничем не удавалось пронять. Но бедная мадам Жубер! Как сейчас вижу, в какое неистовое бешенство она впадала, когда мы выводили ее из себя — расплескивали чай, крошили хлеб с маслом, подкидывали учебники к потолку или устраивали концерт, колотя линейкой по столу, а каминными щипцами по каминной решетке! Теодор, ты помнишь эти веселые деньки?

— О, несомненно, — протянул лорд Ингрэм. — А бедная старая карга кричала: «Ах, вы нехорош дети!» И мы тогда растолковывали ей, какая дерзость с ее стороны пытаться обучать таких светочей ума, как мы, когда она сама ни о чем

понятия не имеет.

— Верно! А я, Тедо, помогала тебе припекать (или допекать?) твоего учителя, худосочного мистера Вининга. Мы еще прозвали его «хворый поп». Они с мисс Уилсон посмели влюбиться друг в друга. Во всяком случае, так решили мы с Тедо, подмечая томные взгляды и вздохи, которые истолковывали как свидетельства de la belle passion,[42] и не сомневайтесь: мы не замедлили сделать наше открытие достоянием гласности, использовали его как рычаг, чтобы вышвырнуть вон эту обузу. Едва новость дошла до слуха моей милой маменьки, как она усмотрела в их поведении вопиющую безнравственность. Не правда ли, миледи матушка?

— Разумеется, моя душечка. И я была совершенно права, можете мне поверить. Есть тысячи причин, почему ни в одном приличном доме романы между учителями и гувернантками нельзя терпеть ни минуты лишней. Во-первых…

— Ради всего святого, маменька! Избавьте нас от перечисления причин, тем более что мы их знаем все: опасность дурного примера для невинных ангелочков, интерес друг к другу и,

---

[42] Примечания: 42
нежных чувств (фр.).

следовательно, пренебрежение своими обязанностями, взаимная поддержка и союз, а отсюда дерзость и наглость, бунты и скандалы. Я права, баронесса Ингрэм из Ингрэм-Парка?

— Моя лилея, ты права, как всегда.

— В таком случае сказать больше нечего, переменим тему.

Эми Эштон, то ли не услышав этого распоряжения, то ли не обратив на него внимания, сказала своим нежным детским голоском:

— Мы с Луизой тоже любили дразнить нашу гувернантку, но она была такая добрая душа! Все терпела, и ничто не могло вывести ее из себя. Она никогда на нас не сердилась, правда, Луиза?

— Да, никогда. Мы могли делать все, что нам вздумается: рыться в ее столе и рабочей шкатулке, выворачивать ее ящики. А она была такая покладистая и дарила нам все, чего бы мы ни попросили.

— Полагаю, — перебила мисс Ингрэм, насмешливо изогнув губы, — нам грозят воспоминания обо всех когда-либо живших гувернантках, и чтобы избежать подобной кары, я вновь предлагаю переменить тему. Мистер Рочестер, вы поддерживаете мое предложение?

— Сударыня, я поддерживаю вас и сейчас, и

всегда.

— Тогда беру на себя труд предложить новую. Синьор Эдуардо, вы сегодня в голосе?

— Донна Бьянка, если прикажете, то буду.

— В таком случае, синьор, примите мое королевское повеление привести в порядок ваши легкие и прочие голосовые органы, ибо они потребуются для служения моему величеству.

— Кто откажется быть Риччио при такой божественной Марии?[43]

— Ах, подите вы с Риччио! — воскликнула она, встряхнув головой и локонами, и направилась к роялю. — По-моему, пиликавший на скрипочке Давид был тряпкой. Я предпочитаю черного Босуэлла.[44] На мой взгляд, мужчина — не мужчина, если в нем нет хоть частицы дьявола. И пусть история твердит что хочет о Джеймсе Хепберне, но мне кажется, он был именно таким необузданным, неистовым героем-разбойником, кому бы я согласилась даровать мою руку.

— Господа, вы слышали? Так кто же из вас всех

---

[43] Примечания: 43

Риччио, Давид — придворный музыкант шотландской королевы Марии Стюарт (1547-1582) и ее фаворит, был убит у нее на глазах.

[44] Примечания: 44

Джеймс Хепберн Босуэлл — шотландский вельможа и любовник Марии Стюарт. Женился на ней после убийства ее мужа, в организации которого обвиняли их обоих.

больше похож на Босуэлла? — воскликнул мистер Рочестер.

— Я бы сказал, что первенство тут принадлежит вам, — отозвался полковник Дент.

— Клянусь честью, я весьма вам обязан, — был ответ.

Мисс Ингрэм, которая тем временем с гордым изяществом села за рояль, теперь королевским жестом расправила складки белоснежной юбки и блестяще заиграла вступление, продолжая говорить. В этот вечер она выглядела необыкновенно оживленной, и ее слова, и весь ее вид предназначались, казалось, для того, чтобы вызвать у слушателей не просто восхищение, а благоговейное изумление: она, несомненно, собиралась поразить их чем-то особенно смелым и блистательным.

— Ах, как мне надоели нынешние молодые люди! — вскричала она, бегая пальцами по клавишам. — Слабодушные, слабосильные сморчки, которые не смеют шагу ступить за ворота родительского парка, да и туда дойти могут лишь с разрешения маменьки и под ее опекой. Они только и знают, что ухаживать за собственными смазливыми физиономиями, холить свои белые руки и выставлять напоказ маленькие ступни!

Как будто красота хоть что-то значит в мужчине! Как будто красота и прелесть это не особая привилегия женщины! Ее законное украшение и наследие. Я соглашусь, что уродливая женщина — это пятно на светлом лике творения, но что касается мужчин, пусть их стремлением будут сила и доблесть. Охота, травля, сражения — вот в чем должны они искать успеха, все остальное не стоит и ломаного гроша. Вот в чем стремилась бы преуспеть я, будь я мужчиной.

— Когда я выйду замуж, — продолжала она после паузы, которую никто не прервал, — мой избранник будет мне не соперником, но фоном. Я не потерплю посягательств на свой трон и потребую поклонения мне одной. Он не станет делить его между мной и своим отражением в зеркале. Мистер Рочестер, теперь пойте, а я буду вам аккомпанировать.

— Я весь покорность, — последовал ответ.

— Ну так песня корсара! Узнайте, что я обожаю корсаров, а потому пойте con spirite.[45]

— Приказы из уст мисс Ингрэм вложат жар и в снеговика.

— Но остерегитесь! Если вы мне не угодите,

---

[45] Примечания: 45
с жаром (ит.).

я пристыжу вас, показав, как надо петь такие вещи.

— Но это значит предложить награду за провал! Теперь я приложу все усилия, чтобы потерпеть неудачу.

— Gardez-vous en bien![46] Если вы нарочно сфальшивите, я придумаю соразмерное наказание.

— Мисс Ингрэм следует быть милосердной, ибо в ее власти наложить кару, какой не выдержит никто.

— О? Объясните! — приказала она.

— Простите, сударыня, тут объяснения не нужны. Ваш собственный тонкий ум должен подсказать вам, что один ваш суровый взгляд уже равносилен самой страшной казни.

— Пойте! — сказала она и, вновь опустив руки на клавиши, заиграла аккомпанемент с большим воодушевлением.

«Вот подходящая минута, чтобы ускользнуть», — подумала я, но меня остановили мощные звуки, огласившие комнату. Миссис Фэрфакс сказала, что у мистера Рочестера прекрасный голос, и она не преувеличила: могучий, но мяг-

---

[46] Примечания: 46
И думать не смейте! (фр.)

кий бас, в который он вкладывал свои чувства, свою силу. Этот голос проникал в самое сердце и будил там странное волнение. Я подождала, пока не стихла последняя полнозвучная нота и не возобновились прерванные на время разговоры, а тогда тихо покинула свой укромный уголок и вышла через боковую дверь, которая, к счастью, была в двух шагах от моего диванчика. Узкий коридор вел в прихожую, но там я заметила, что бант моей туфли развязался, и, чтобы завязать его, опустилась на колено на ковре перед нижней ступенькой лестницы. Я услышала, что дверь столовой открылась, раздались мужские шаги. Поспешно поднявшись, я оказалась лицом к лицу с мистером Рочестером.

— Как поживаете? — спросил он.

— Хорошо, сэр.

— Почему вы не подошли поговорить со мной в гостиной?

Я подумала, что могла бы задать тот же вопрос ему, но вслух от подобной вольности удержалась и ответила только:

— Я не хотела отвлекать вас, сэр. По-моему, вы все время с кем-нибудь беседовали.

— Что вы поделывали в мое отсутствие?

— Ничего особенного. Занималась с Аделью,

как всегда.

— И становились все бледнее и бледнее. Я это заметил с первого взгляда. В чем причина?

— Ни в чем, сэр.

— Вы не простудились в ту ночь, когда чуть меня не утопили?

— Вовсе нет.

— Возвращайтесь в гостиную. Вы дезертировали слишком рано.

— Я устала, сэр.

Он некоторое время смотрел на меня.

— И немного приуныли, — сказал он затем. — Из-за чего? Скажите мне.

— Да нет же, сэр. Я ничуть не приуныла.

— А я утверждаю обратное. Вы так приуныли, что еще несколько слов — и у вас потекут слезы. Вот они заблестели у вас на глазах. Да-да, блестят, поднимаются выше, и одна капля уже сорвалась с ресниц на пол. Если бы у меня было время и я не испытывал бы смертельного ужаса при мысли, что мимо пройдет какая-нибудь болтливая камеристка, я выяснил бы, что все это означает. Ну что же, на этот вечер я вас извиню, но помните, пока мои гости не уедут, вы будете каждый вечер проводить в гостиной. Таково мое желание, не пренебрегите им! А теперь идите и пришлите

Софи за Аделью. Спокойной ночи, моя… — Он умолк, закусил губу и ушел, не оглянувшись.

Глава 18

Эти дни в Тернфилд-Холле были полны веселья и столь же полны хлопот — какой контраст с первыми тремя месяцами тишины, однообразия и уединения, которые я провела под его кровом! Все тягостные чувства, казалось, были изгнаны оттуда, все мрачные неясности забыты — всюду кипела жизнь, с утра до ночи царила суматоха. Теперь нельзя было пройти по галерее, совсем недавно такой безлюдной, или заглянуть в парадные апартаменты — и не натолкнуться на бойкую камеристку или щеголеватого камердинера.

Та же суета в кухне, в буфетной, в людской, в прихожей, а тишина и пустота возвращались в парадные комнаты, только когда синее небо и веселое солнце ласковой весны звали гостей покинуть пределы дома. Даже когда погода переменилась и на несколько дней зарядил дождь, никакая сырость не могла угасить веселья: игры и другие салонные развлечения просто становились разнообразнее и увлекательнее, раз уж приходилось оставаться в четырех стенах.

В тот вечер, когда кто-то предложил «разыгры-

вать шарады», я долго гадала, чем они намерены заняться, — столь велико было мое невежество. Призвали слуг, из столовой унесли столы, водворили канделябры на новые места, стулья были расставлены полукругом напротив арки. Пока мистер Рочестер и остальные джентльмены руководили этими перестановками, дамы бегали вверх-вниз по лестнице и звонили своим камеристкам. Призвали миссис Фэрфакс: от нее пожелали узнать, какие шали, платья, шарфы и прочее имеются в доме. Начался обыск гардеробов на третьем этаже, и камеристки охапками уносили вниз их содержимое — парчовые юбки на обручах, атласные карако, черные газовые шарфы, кружева, ленты и т. д. Затем все это подверглось тщательному осмотру, и выбранные вещи были унесены в примыкающий к гостиной будуар.

Тем временем мистер Рочестер вновь собрал дам в кружок, чтобы решить, кто будет играть на его стороне.

— Мисс Ингрэм, разумеется, моя, — сказал он, а затем назвал обеих мисс Эштон и миссис Дент, которой я как раз помогла застегнуть браслет. Он посмотрел на меня. — Вы будете играть? — спросил он.

Я покачала головой.

Вопреки моим опасениям он не стал настаивать и позволил мне тихонько сесть на мое обычное место.

А он и его помощницы скрылись за портьерой, остальные — их возглавлял полковник Дент — сели на расставленные полумесяцем стулья. Мистер Эштон посмотрел в мою сторону и, видимо, предложил, чтобы меня пригласили присоединиться к ним, однако леди Ингрэм тотчас воспротивилась.

— Нет, — услышала я ее голос, — она слишком глупа для участия в такой игре.

Вскоре зазвонил колокольчик, и портьера была откинута, открыв грузную фигуру сэра Джорджа Линна, которого мистер Рочестер тоже забрал себе. Он был закутан в белую простыню, на столике перед ним лежал открытый толстый том, а рядом стояла Эми Эштон в плаще мистера Рочестера и с книгой в руке. Кто-то невидимый энергично зазвенел колокольчиком, и тут Адель (настоявшая, чтобы ее взяли в компанию ее опекуна) выбежала вперед, разбрасывая цветы из корзинки, висевшей у нее на локте. Затем появилась несравненная мисс Ингрэм, облаченная в белое: с ее головы ниспадала длинная вуаль, а

лоб венчал венок из роз. Рядом с ней шел мистер Рочестер, и они вместе приблизились к столику, где опустились на колени, а миссис Дент и Луиза Эштон, тоже в белом, встали у них за спиной. Началась пантомима, несомненно, изображавшая обряд бракосочетания. Когда она завершилась, полковник Дент и его компания посовещались шепотом, а затем он громко объявил:

— Bride![47]

Мистер Рочестер ответил поклоном, и портьера опустилась.

Прошло порядочно времени, прежде чем импровизированный занавес вновь взвился, открыв декорацию, куда более замысловатую, чем в первой сцене. Как я уже упоминала, гостиная была расположена выше столовой, куда вели две ступеньки. Теперь на верхней, в двух-трех шагах от края, стояла большая мраморная чаша, в которой я узнала одно из украшений оранжереи, где она помещалась среди тропических растений и служила приютом золотым рыбкам. Несомненно, при таком весе и размерах принести ее оттуда было очень нелегко.

На ковре рядом с чашей сидел мистер Рочестер

---

[47] Примечания: 47
Невеста! (англ.)

в костюме и тюрбане, сооруженных из шалей. Одежда эта удивительно гармонировала с его темными глазами, смуглой кожей и лицом язычника. Он выглядел настоящим восточным эмиром, владыкой шелкового шнурка или его жертвой.[48] Вскоре появилась мисс Ингрэм, тоже в восточном наряде: талию обвивал кушак из алого шарфа, голова была повязана вышитым платком. Красивые руки были обнажены по плечи, и одной она грациозно придерживала кувшин, поставленный надо лбом. Фигура, лицо, смуглость, весь ее облик приводили на ум красавиц Израиля времен патриархов. Несомненно, такое впечатление она и старалась произвести.

Она приблизилась к чаше и наклонилась над ней, словно зачерпывая кувшином воду, а затем снова поставила его на голову. Сидевший у колодца, казалось, окликнул ее, о чем-то попросил. Она «тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его».[49] Тогда из складок одежды на груди он извлек ларчик, открыл и показал ей ве-

---

[48] Примечания: 48

Восточные властители, чтобы убрать неугодного вельможу, посылали к нему палача с шелковым шнурком, который затягивали у него на горле.

[49] Примечания: 49

Бытие, 24, 18.

ликолепные браслеты и серьги. Она изобразила изумление и восторг. Опустившись на колени, он поставил ларчик с драгоценностями у ее ног. Ее лицо и жесты выражали ошеломление и радость. Незнакомец застегнул браслеты на ее запястьях и вдел золотые обручи ей в уши. Елиезер и Ревекка! Не хватало только верблюдов.

Отгадывающие вновь тихо посовещались, но, видимо, так и не пришли к согласию, какое слово или слог изображала эта сцена. От их имени полковник Дент потребовал, чтобы было показано «целое», после чего занавес вновь опустился.

Когда он открылся в третий раз, видна была лишь часть гостиной, остальное загораживала ширма, на которую набросили какую-то темную грубую ткань. Мраморную чашу убрали, а на ее месте стояли сосновый стол и кухонный табурет, тускло освещенные лишь фонарем — восковые свечи были погашены.

Среди этого убожества сидел мужчина — сжатые кулаки покоились на его коленях, глаза были устремлены в пол. Я узнала мистера Рочестера, хотя вымазанное сажей лицо, беспорядок в одежде (один рукав был почти оторван, словно в драке), отчаявшееся угрюмое выражение, взлохмаченные, спутанные волосы очень его

изменили. Когда он шевельнулся, раздался лязг — на его руках были цепи.

— Bridewell![50] — воскликнул полковник Дент, и шарада была решена.

После того как участники переоделись в обычные костюмы, что заняло некоторое время, они вернулись в столовую. Мистер Рочестер шел с мисс Ингрэм, которая расхваливала его актерские способности.

— Знаете, — сказала она, — из этих трех ролей больше всего вы мне понравились в третьей. Ах, если бы вы родились немного раньше, каким незабываемым джентльменом с большой дороги вы стали бы!

— Я смыл с лица всю сажу? — спросил он, повернувшись к ней.

— Увы, да, как ни жаль. Ничто так не подходит к цвету вашего лица, как эта разбойничья пудра.

— Так, значит, вам понравился бы герой с большой дороги?

— Английский разбойник занимает следующее место за итальянским бандитом, а того способен превзойти только левантийский пират!

— Ну, кем бы я ни был, не забывайте — вы моя

---

[50] Примечания: 50

Название лондонской тюрьмы (второй слог well означает «колодец»).

жена. Мы ведь сочетались браком час назад на глазах у всех этих свидетелей.

Она игриво засмеялась и слегка покраснела.

— А теперь ваша очередь, Дент, — сказал мистер Рочестер, и его компания заняла освободившиеся стулья. Мисс Ингрэм села по правую руку своего режиссера, остальные лицедеи расположились справа и слева от них. Теперь я не следила за новыми актерами, уже не ждала с интересом, чтобы занавес открылся. Все мое внимание приковывали зрители, мои глаза, прежде обращенные на арку, неумолимо притягивал полумесяц стульев. Какую шараду разыграла компания полковника Дента, какое слово они задумали, как оделись, я совершенно не помню, но у меня все еще встают перед глазами минуты, когда следом за каждой сценой зрители совещались. Вновь я вижу, как мистер Рочестер поворачивается к мисс Ингрэм, а она к нему, я вижу, как наклоняется ее голова, так что локоны почти прикасаются к его плечу и щекочут его щеку. Я слышу их приглушенный шепот, вспоминаю взгляды, которыми они обменивались, и в памяти оживают чувства, охватившие меня тогда.

Я уже призналась тебе, читатель, что полюбила мистера Рочестера и не могла его разлюбить

потому лишь, что он перестал меня замечать, потому лишь, что я могла проводить часы в одной комнате с ним и он ни разу не обращал на меня ни единого взгляда, потому лишь, что я видела, как им всецело завладела знатная красавица, которая брезговала коснуться меня и оборкой платья, а если ее темные надменные глаза случайно замечали меня, тотчас отводила их, как от ничтожества, недостойного и секунды внимания. Я не могла разлюбить его потому лишь, что не сомневалась в его скором браке с этой самой красавицей, потому лишь, что я ежедневно замечала ее гордую уверенность в его выборе, потому лишь, что я ежечасно наблюдала его манеру ухаживать, которая, хотя и была небрежной, более рассчитанной на то, чтобы не он искал, но его искали, очаровывала именно этой небрежностью, а гордость делала ее неотразимой.

В подобных обстоятельствах нечему было охладить или прогнать любовь, хотя многое рождало отчаяние. И многое — ревность, как подумаешь ты, читатель, то есть если женщина, стоящая столь низко, как я, посмела бы ревновать к женщине, стоящей так высоко, как мисс Ингрэм. Однако я не испытывала ревности, во всяком случае, очень редко. Мучавшую меня боль это слово

не объяснило бы. Мисс Ингрэм стояла ступенью ниже ревности, была недостойна этого чувства. Извините кажущийся парадокс, но я говорю серьезно. Она была вся напоказ, но ни в чем не настоящая; она обладала прекрасной внешностью, многими светскими талантами, но ее ум был убогим, сердце пустым от природы: на этой почве ничто не взрастало само собой, ни один плод не радовал душистой свежестью. Она не была доброй, она не умела мыслить самостоятельно и повторяла звучные фразы, вычитанные из книг, и никогда не высказывала — никогда не имела! — собственного мнения. Она превозносила сильные чувства, но не знала, что такое сочувствие и жалость. В ее характере не было ни мягкости, ни искренности. И очень часто она выдавала это, без всякого повода давая волю злобной неприязни, которую питала к маленькой Адели: отталкивала с тем или иным презрительным эпитетом, стоило девочке приблизиться к ней, или приказывала ей выйти из комнаты, неизменно обходясь с ней холодно и презрительно. Не только мои глаза следили за этими проявлениями истинного характера — и следили внимательно, пристально, проницательно. Да! Будущий жених, мистер Рочестер, держал свою суженую под неусыпным

наблюдением, и вот этот-то здравый смысл, эта его настороженность, это ясное и полное представление о недостатках его красавицы, это явное отсутствие страсти к ней и были неиссякаемым источником моих мук.

Я видела, что он намерен жениться на ней ради ее знатности или, возможно, по политическим соображениям — потому что ее положение в свете и родственные связи его устраивали. Я чувствовала, что он не подарил ей свою любовь и не в ее силах завладеть этим сокровищем. В этом-то и заключалась беда, это-то и язвило и мучило, это-то и вызывало и питало лихорадку, снедавшую меня: ей не было дано его очаровать.

Если бы она сразу одержала победу, если бы он был покорен и со всей искренностью сложил сердце к ее ногам, я бы закрыла лицо, отвернулась к стене и (фигурально выражаясь) умерла бы для них. Будь мисс Ингрэм истинно хорошей, благородной женщиной, наделенной волей, пылкостью, добротой, умом, я бы вступила в смертельный поединок с двумя тиграми — ревностью и отчаянием, а затем, когда сердце было бы вырвано из моей груди и пожрано, я бы с восхищением признала ее превосходство и успокоилась бы до конца моих дней. И чем выше было бы ее

превосходство, тем сильнее она восхищала бы меня — и тем большее спокойствие я обрела бы. Однако видеть, как мисс Ингрэм прилагает все усилия обворожить мистера Рочестера, видеть бесплодность этих усилий и ее неспособность понять, что она вновь и вновь терпит неудачу, хотя самодовольно верит в меткость своих стрел, видеть, как она торжествующе поздравляет себя с победой, тогда как на самом деле ее гордыня и самовлюбленность все дальше и дальше отодвигают желанную цель, — видеть все это и было мукой, борьбой между ежеминутным волнением и необходимостью безжалостно его подавлять.

Ведь когда она терпела неудачу, я видела, каким образом она могла бы преуспеть. Стрелы, которые постоянно отскакивали от груди мистера Рочестера и падали к его ногам, не оставив ни единой царапины, могли бы, направляй их более меткая рука, пронзить его гордое сердце, осветить любовью его суровые глаза, смягчить его насмешливое лицо — вот что я знала. И что важнее, что еще лучше — покорить его можно было бы безо всякого оружия и в полном безмолвии.

«Почему ее чары бессильны, хотя ей дана привилегия быть от него в такой близости? — спрашивала я себя. — Нет-нет, он не нравится

ей по-настоящему, не вызывает у нее истинного чувства! Не то она не стала бы так щедро чеканить свои улыбки, столь непрестанно блистать взорами, столь тщательно изыскивать позы и без устали пленять. Мне кажется, она скорее тронула бы его сердце, если бы просто сидела тихо рядом с ним, говорила бы меньше и не тщилась поражать своей красотой. Ведь я же видела на его лице совсем иное выражение, чем то, которое придает ему еще больше суровости сейчас, когда она с такой живостью кокетничает с ним. Но ведь тогда оно возникало само, а не вознаграждало искусственные ухищрения и расчетливые маневры. И достаточно было лишь просто встретить его на полпути, ответить ему искренне или в случае нужды обратиться к нему без ужимок — вот тогда его лицо становилось все добрее, все ласковее и грело душу как солнечный луч. Как удастся ей дать ему счастье, когда они поженятся? Не думаю, что она сумеет, а ведь достичь этого можно, и его жена, я искренне верю, будет тогда счастливейшей женщиной во всем мире».

Пока я еще ничего не сказала в осуждение плана мистера Рочестера вступить в брак по расчету ради связей своей избранницы. Я была удивлена, когда обнаружила, что таково его намерение.

Мне казалось маловероятным, чтобы подобный человек в выборе жены руководствовался столь меркантильными соображениями, но чем дольше я раздумывала о положении их обоих в обществе, о взглядах, в каких оба воспитывались, и т. д., тем менее я чувствовала себя вправе судить и обвинять его и мисс Ингрэм за то, что они поступают в полном согласии с идеями и принципами, которые, без сомнения, внушались им с младенческих лет. Все их сословие следовало этим принципам, и я полагала, что на то есть причины, недоступные моему пониманию. Будь на его месте я, казалось мне, ничто не побудило бы меня вступить в брак ни с кем, кроме той, кому была бы отдана моя любовь. Однако именно мысль о счастье, которое такой план, несомненно, сулил мужу, убедила меня, что существуют какие-то убедительные доводы против того, чтобы следовать ему. Ведь иначе весь свет поступал бы так, как желала бы поступить я.

Впрочем, я становилась все снисходительнее к моему патрону не только в этом вопросе, но и в других: я забывала любые его недостатки, которые прежде так бдительно выискивала. Прежде я стремилась изучить все грани его характера, и хорошие, и дурные, беспристрастно

взвесить их и вынести столь же беспристрастное суждение. Теперь же дурного я вообще не видела. Саркастичность, отталкивавшая меня, резкость, столь прежде меня пугавшая, теперь стали лишь острой приправой к бесподобному кушанью. Они обжигали, но без них оно стало бы чуть пресным. Ну а то неясное нечто — зловещее или печальное, злокозненное или отчаявшееся выражение? — которое порой вдруг открывалось внимательному наблюдателю в его глазах и тут же исчезало, прежде чем можно было измерить неведомые глубины, на миг ставшие доступными взору? Нечто, прежде наводившее на меня страх, ввергавшее в ужас, словно я бродила среди вулканических гор и внезапно ощущала, как содрогается земля у меня под ногами и передо мной разверзается бездна. Нечто, которое по временам я видела и теперь, но если сердце у меня начинало отчаянно биться, то нервы не леденил холод. И испытывала я не стремление бежать, а желала лишь смелости — смелости заглянуть и узнать. Мисс Ингрэм я считала счастливицей; ведь настанет день, когда она сможет смотреть в бездну, сколько захочет, исследовать ее тайны, постигать их природу.

Тем временем, пока я думала только о моем

патроне и его будущей жене — видела только их, слышала только их разговоры и считала имеющим значение только то, что делали они, — остальное общество развлекалось и проводило время так, как было по вкусу каждому и каждой. Леди Линн и леди Ингрэм продолжали важно беседовать между собой, кивая друг другу тюрбанами, и всплескивать четырьмя руками от удивления, недоумения или ужаса (это зависело от темы их сплетен), точно две марионетки в человеческий рост. Кроткая миссис Дент разговаривала с добродушной миссис Эштон, и обе они иногда удостаивали меня приветливым словом или улыбкой. Сэр Джордж Линн, полковник Дент и мистер Эштон обсуждали политические вопросы, или дела графства, или судебные казусы. Лорд Ингрэм флиртовал с Эми Эштон, Луиза играла на рояле и пела с одним из молодых Линнов, а Мэри Ингрэм томно слушала галантные речи другого — или наоборот. Порой все словно по сигналу объединялись, чтобы смотреть на главных действующих лиц и слушать их. Ведь в конце-то концов мистер Рочестер и — из-за постоянной близости к нему — мисс Ингрэм были душой этого общества. Если он отсутствовал в комнате час, его гости начинали заметно скучать, а при

его появлении они сразу оживлялись.

Отсутствие его воодушевляющего влияния особенно сильно сказалось в тот день, когда ему пришлось уехать по делам в Милкот, откуда он должен был вернуться довольно поздно. Днем заморосил дождь, а потому предполагавшуюся прогулку в Хей, где на выгоне остановился цыганский табор, пришлось отложить. Старшие джентльмены отправились в конюшню, младшие вместе с младшими барышнями занялись бильярдом в бильярдной. Леди Ингрэм и Линн коротали время за картами. Бланш Ингрэм, положив высокомерным молчанием конец попыткам миссис Дент и миссис Эштон втянуть ее в разговор, сначала напевала, аккомпанируя себе на рояле, чувствительные песенки и арии, а затем принесла из библиотеки роман, расположилась на кушетке в надменно-скучающей позе и приготовилась скрасить скучные часы ожидания, листая его страницы. Гостиная и весь дом погрузились в тишину, которую изредка нарушал смех, доносившийся сверху из бильярдной.

Уже начало смеркаться, и бой часов предупредил, что подходит время переодеваться к обеду, и тут Адель, стоявшая на коленях рядом со мной на диванчике в эркере, радостно воскликнула:

— Voilà monsieur Rochester, qui revient![51]

Я обернулась, а мисс Ингрэм спорхнула с кушетки. Остальные тоже оторвались от своих занятий. В ту же минуту до нас донесся хруст мокрого песка под колесами и чмоканье лошадиных копыт по лужам. К дому приближалась коляска.

— Почему он вдруг решил вернуться домой в экипаже? — сказала мисс Ингрэм. — Он ведь уехал на Месруре (вороном жеребце), не правда ли? И с ним был Лоцман. Куда он их дел?

Говоря это, высокая барышня в пышном платье подошла к окну так близко, что мне пришлось откинуться назад и я чуть не сломала спину. В спешке она сначала меня не заметила, а когда заметила, то искривила губы и отошла к другому окну. Коляска остановилась, кучер позвонил в дверной колокольчик, и из коляски выпрыгнул джентльмен в дорожном костюме, но это был не мистер Рочестер, а высокий одетый по последней моде незнакомец.

— Какая досада! — вскричала мисс Ингрэм. — Ах ты, негодная мартышка! — Это относилось к Адели. — Кто посадил тебя на окно, чтобы вводить нас в заблуждение? — И она бросила на меня

---

[51] Примечания: 51
А вот и мистер Рочестер вернулся! (фр.)

сердитый взгляд, словно это была моя вина.

Из прихожей донеслись голоса, и вскоре приезжий вошел в гостиную. Он поклонился леди Ингрэм как самой старшей из дам.

— Кажется, я приехал в неудачное время, сударыня, — сказал он, — и не застал моего друга, мистера Рочестера, дома. Но я проделал очень длинный путь, и, мне кажется, на правах старой дружбы я могу подождать здесь его возвращения.

Держался он очень вежливо, но его манера выговаривать слова показалась мне несколько особенной — не то чтобы иностранной, но и не совсем привычной для слуха. Он выглядел ровесником мистера Рочестера — то есть ему можно было дать от тридцати до сорока. Его кожа казалась нездорово-желтоватой, но в остальном он выглядел очень красивым, во всяком случае, на первый взгляд. Приглядевшись внимательнее, вы замечали в его лице что-то неприятное, а вернее, в лице этом не было ничего приятного: черты правильные, но какие-то расплывчатые, глаза большие, красивого разреза, но жизнь в них читалась пресная и пустая. Во всяком случае, так показалось мне.

Удар гонга позвал всех переодеваться, и снова я

увидела его только после обеда. Он, казалось, чувствовал себя очень непринужденно, но его лицо понравилось мне еще меньше. Оно показалось мне одновременно и обеспокоенным, и безжизненным. Блуждающий и безучастный взгляд придавал ему очень странный вид, подобия которому я не находила. Несмотря на красивую и словно бы приятную внешность, он производил на меня крайне отталкивающее впечатление: в этом гладком овальном лице не было силы, не было гордости в орлином носе и вишневых губах маленького рта, не было мысли в низком гладком лбу, не было воли в пустых карих глазах.

Я сидела в моем укромном уголке и рассматривала его в ярком свете канделябров на каминной полке (он придвинул кресло к самому огню, будто все время мерз) и сравнивала его с мистером Рочестером. Я думаю (со всем уважением), что такого контраста нельзя было бы найти между откормленным гусем и смелым соколом, между кротким барашком и его стражем — лохматым остроглазым псом.

Он назвал мистера Рочестера старым другом. Какой же странной, несомненно, была эта дружба — замечательный пример старого присловья «противоположности сходятся».

Двое-трое джентльменов сели рядом с ним, и через комнату до меня иногда доносились обрывки их разговора. Вначале я ничего не понимала, так как Луиза Эштон и Мэри Ингрэм расположились неподалеку от меня и их болтовня заглушала голоса у камина. Они обсуждали приезжего, которого обе объявили красавцем. Луиза сказала, что он «прелесть» и она «обожает его», а Мэри признала, что его «хорошенький ротик и очаровательный нос» вполне отвечают ее идеалу мужской красоты.

— До чего у него милый лоб, не правда ли? — воскликнула Луиза. — Такой гладкий — ни единой складки, ни морщинки между бровями, чего я терпеть не могу. А какие безмятежные глаза и улыбка!

Но тут, к моему большому облегчению, мистер Генри Линн позвал их в другой конец гостиной обсудить отложенную прогулку на выгон с табором.

Теперь я могла сосредоточить внимание на обществе у камина и вскоре узнала имя незнакомца — мистер Мейсон, а затем выяснилось, что он только что прибыл в Англию из каких-то жарких краев, чем, без сомнения, объяснялся и желтоватый цвет его лица, и то, что он сидел у самого огня,

оставшись в сюртуке. Вскоре названия «Ямайка», «Кингстон», «Спаниш-Таун» подсказали, что он живет в Вест-Индии, и, к моему большому удивлению, я вскоре поняла, что именно там он впервые увидел мистера Рочестера и познакомился с ним. Он рассказывал, как его друг ненавидел жгучую жару, ураганы и дождливые сезоны тех мест. Я знала, что мистер Рочестер много путешествовал: об этом говорила миссис Фэрфакс, но я полагала, что его путешествия ограничивались Европой — до этой минуты я не слышала ни единого намека на плавания к более дальним берегам.

Я все еще размышляла над этим, как вдруг довольно неожиданное происшествие отвлекло меня. Мистер Мейсон, когда кто-то открыл дверь, задрожал от озноба и попросил, чтобы в камин подсыпали угля. Огонь почти погас, хотя спекшаяся масса еще жарко рдела. Лакей принес уголь, но затем остановился возле мистера Эштона и что-то сказал ему вполголоса. Я разобрала лишь слова «старуха» и «ничего не желает слушать».

— Скажите ей, что ее посадят в колодки, если она не уберется, — ответил мировой судья.

— Нет, погодите! — перебил полковник Дент. — Не прогоняйте ее, Эштон. Почему бы не поразвлечься? Давайте посоветуемся с дамами. — И,

повысив голос, он продолжал: — Сударыни, вы собирались посетить цыганский табор, а Сэм доложил, что сейчас в людской сидит гадалка и требует, чтобы ее допустили к «знатным особам» предсказать им их судьбу. Вы не желаете увидеть ее?

— Право, полковник! — вскричала леди Ингрэм. — Неужели вы хотите поощрить такую низкую обманщицу? Ее надо немедленно прогнать!

— Но я не сумел уговорить ее, чтобы она ушла, миледи, — сказал лакей. — Она никого не слушает. Сейчас с ней миссис Фэрфакс — просит, чтобы она ушла, а она села в угол у плиты и говорит, что ни за что не уйдет, пока ее не пустят сюда.

— Но чего она хочет? — спросила миссис Эштон.

— Погадать господам, так она говорит, сударыня, и клянется, что ей поведено предсказать им их судьбу и она это сделает.

— А как она выглядит? — спросили хором обе мисс Эштон.

— Пребезобразная старуха, мисс, черная что твой чугунный котел.

— О, так, значит, она настоящая колдунья! — воскликнул Фредерик Линн. — Ее надо обязательно пригласить сюда!

— Всеконечно! — подхватил его брат. — Будет жаль упустить такой случай позабавиться.

— Милые мои, о чем вы говорите? — воскликнула леди Линн.

— Я никак не могу разрешить подобной легкомысленности! — вмешалась леди Ингрэм.

— Нет, маменька, можете и разрешите! — раздался надменный голос Бланш, повернувшейся на вращающемся табурете (она сидела у рояля и до этой минуты молча листала ноты). — Мне любопытно узнать мое будущее, а потому, Сэм, пусть старая карга поднимется сюда.

— Милая Бланш! Подумай!

— Я подумала и знаю все, что вы намерены сказать, и хочу, чтобы мое желание было исполнено. Поторопитесь, Сэм.

— Да-да-да! — вскричала молодежь, джентльмены и барышни, хором. — Пусть придет! Будет так весело!

Однако лакей помедлил.

— Уж очень вид у нее страхолюдный.

— Иди же! — приказала мисс Ингрэм, и он вышел.

Все общество очень оживилось, посыпались шутки, начались поддразнивания, но тут вернулся Сэм.

— Она не хочет идти сюда, — сказал он. — Говорит, что не ей являться перед «суетной толпой» (ее собственные слова). Я должен проводить ее в какую-нибудь пустую комнату, а те, кто хочет посоветоваться с ней, пусть приходят туда по очереди.

— Вот видишь, моя царственная Бланш, — начала леди Ингрэм, — она становится все наглее. Послушай, мой ангел, и…

— Проводите ее в библиотеку! — перебил «ангел». — И не мне слушать ее перед суетной толпой. Я намерена говорить с ней наедине. Камин в библиотеке затоплен?

— Да, сударыня, да только она ведь цыганка…

— Перестань молоть вздор, болван! Делай что тебе говорят.

Вновь Сэм вышел, и вновь посыпались со всех сторон веселые предположения и догадки.

— Она готова, — доложил вернувшийся лакей. — И хочет знать, кто войдет к ней первым.

— Думаю, мне следует посмотреть на нее до того, как с ней начнут беседовать дамы, — заявил полковник Дент. — Скажите ей, Сэм, чтобы она ждала джентльмена.

Сэм вышел и незамедлительно вернулся.

— Она говорит, сэр, джентльменам гадать не

будет. И пусть не затрудняются входить к ней. А также, — добавил он с трудом подавив смешок, — и дамы тоже. Только барышни.

— Что же, во вкусе ей не откажешь! — воскликнул Генри Линн.

Мисс Ингрэм величественно встала.

— Я пойду первая! — произнесла она тоном, который посрамил бы офицера, бросающегося во главе своих солдат на последний отчаянный приступ.

— Ах, моя прелесть, ах, любовь моя, подумай! — вопияла маменька, но она проплыла мимо в величественном молчании и скрылась за дверью, которую распахнул перед ней полковник Дент. Мы услышали, как она вошла в библиотеку.

Наступила относительная тишина. Леди Ингрэм сочла это подходящей причиной для того, чтобы ломать руки, чем тут же и занялась. Мисс Мэри объявила, что она ни за что не решится пойти туда. Эми и Луиза Эштон захихикали, но вид у них был немного испуганный.

Минуты тянулись медленно-медленно. Их миновало пятнадцать, прежде чем дверь библиотеки вновь отворилась. Мисс Ингрэм вернулась к нам через арку.

Засмеется ли она? Объявит ли гадание шуткой?

Все глаза обратились на нее с живейшим любопытством. Она ответила взглядом холодного высокомерия, на ее лице не отражалось ни волнение, ни веселость. Она прошествовала к своему креслу и опустилась в него, храня молчание.

— Так что же, Бланш? — осведомился лорд Ингрэм.

— Что она тебе сказала, сестрица? — спросила Мэри.

— Что ты подумала? Как тебе кажется? Она настоящая гадалка? — хором настаивали обе мисс Эштон.

— Тише, тише, добрые люди, — оборвала вопросы мисс Ингрэм. — Право, шишки удивления и доверчивости у вас весьма велики. Судя по важности, которую вы все — включая и мою почтенную матушку — придаете этому, вы как будто не сомневаетесь, что к нам явилась подлинная ведьма, состоящая в союзе с Нечистым. Я же увидела бродяжку-цыганку, якобы искусную в науке хиромантии. Она наговорила мне все то, что обычно говорят ей подобные. Свой каприз я удовлетворила, и, полагаю, мистер Эштон поступит правильно, если завтра утром посадит старуху в колодки, как намеревался.

Мисс Ингрэм взяла книгу и откинулась на спин-

ку кресла, отказавшись, таким образом, добавить к своим словам, еще что-нибудь. Я следила за ней почти полчаса, и за это время она ни разу не перевернула страницу, а ее лицо все больше темнело, становилось все более кислым от разочарования. Очевидно, она не услышала ничего ей приятного, и, судя по такой мрачности и молчаливости, вопреки притворному равнодушию, она придавала большое значение услышанному от цыганки.

Тем временем Мэри Ингрэм, Эми и Луиза Эштон объявили, что боятся идти в библиотеку по одиночке, но пойти им всем ужасно хотелось. Начались переговоры через Сэма в качестве полномочного посла, и после очень долгих хождений туда-сюда (не сомневаюсь, что ноги указанного Сэма должны были сильно заныть) у суровой сивиллы наконец было исторгнуто разрешение им трем войти к ней вместе.

В отличие от мисс Ингрэм они особой тишины не соблюдали: из библиотеки доносились истеричные смешки и аханье, а когда прошло минут двадцать, они распахнули дверь и пробежали через прихожую, словно были перепуганы до полусмерти.

— Нет, она не простая гадалка! — кричали они наперебой. — Она нам такое говорила! Она знает

про нас все! — И, задыхаясь, они опустились в кресла, которые не преминули придвинуть им молодые джентльмены.

Когда от них потребовали дальнейших объяснений, они принялись рассказывать, как она описывала им, что они говорили и делали в детстве, а также книги и безделушки в их будуарах — подарки их родственников. Они утверждали, что она даже читала их мысли и шепнула на ушко каждой имя того, кто ей дороже всех на свете, и назвала самые заветные их желания.

Тут молодые джентльмены потребовали, чтобы их просветили относительно последних двух откровений, но ответом на такое дерзкое требование были лишь невнятные восклицания, румянец смущения, трепетания и смешки. Тем временем матроны предлагали флакончики с нюхательными солями, обмахивали бедняжек веерами и без конца повторяли, как они сожалеют, что их предостережения остались втуне. Пожилые джентльмены смеялись, а молодые заботливо предлагали свои услуги взволнованным красавицам.

В разгар этой суматохи, когда мои глаза и уши были всецело поглощены происходящим, я услышала покашливание у себя за спиной и,

обернувшись, увидела Сэма.

— С вашего разрешения, мисс, цыганка говорит, что тут есть еще одна барышня, которая у нее не побывала, а она ни за что не уйдет, пока не погадает всем. Я и подумал, что она про вас, мисс. Тут ведь больше никого нет. Так что мне ей сказать?

— О, я пойду! — ответила я, обрадовавшись такой возможности удовлетворить свое жгучее любопытство. Я выскользнула из гостиной, никем не замеченная, так как там все столпились вокруг трепещущих девиц, и тихонько притворила за собой дверь.

— Если хотите, мисс, — сказал Сэм, — я вас подожду под дверью. Коли она вас напугает, кликните, и я сразу войду.

— Нет, Сэм, вернитесь на кухню. Я ничуть не боюсь.

Я и правда совсем не боялась, только сгорала от любопытства и была приятно возбуждена.

Глава 19

Библиотека, когда я вошла в нее, выглядела совсем обычно, а сивилла — если она была сивиллой — сидела в уютном кресле у камина. На ней был красный плащ и черная широкополая цыганская шляпа, завязанная под подбородком пестрой тесьмой. На столике стояла погашенная свеча, а цыганка, наклонясь поближе к огню, казалось, читала небольшую черную книгу, похожую на молитвенник. Она бормотала слова вслух, как часто делают старухи, и не умолкла при моем появлении. Видимо, она хотела дочесть абзац до конца.

Я встала на коврике и протянула руки к огню — они озябли, потому что я столько времени провела в гостиной вдалеке от камина. Я чувствовала себя спокойной, как никогда в жизни, — в наружности цыганки не было ничего пугающего. Она закрыла книгу и медленно подняла глаза на меня. Поля шляпы частично заслоняли ее лицо, но, когда она повернулась ко мне, оно оказалось далеко не обычным. Темно-коричневым, смуглым почти до черноты. Из-под белого завязанного

под подбородком платка, совсем закрывавшего щеки, а вернее — скулы, выбивались черные лохмы. Она впилась в меня дерзким взглядом.

— Ну, так ты хочешь узнать свою судьбу? — сказала она голосом, столь же решительным, как ее взгляд, столь же грубым, как ее черты.

— Мне все равно, матушка. Погадайте мне, если вам угодно, но мне следует предупредить вас, что я не верю гаданиям.

— Такие слова доказывают твое непокорство. Другого я от тебя и не ждала. Я услышала его в твоих шагах, едва ты переступила порог.

— Неужели? У вас чуткий слух.

— Да, и чуткий взгляд, и чуткий мозг.

— Для вашего ремесла необходимы все три.

— Да, и особенно когда приходится иметь дело с такими, как ты. Почему ты не дрожишь?

— Мне не холодно.

— Почему не бледнеешь?

— Я не больна.

— Почему не хочешь прибегнуть к моему искусству?

— Я не глупа.

Из-под платка и полей шляпы вырвался хриплый смешок, затем зловещая старуха достала короткую трубку и закурила. Понаслаждавшись

минуты две-три успокоительным действием табака, она повернула скрюченное тело, вынула трубку изо рта и, неотрывно глядя в огонь, сказала внушительно:

— Тебе холодно, ты больна и ты глупа.

— Докажите, — сказала я.

— Докажу двумя-тремя словами. Тебе холодно, потому что ты одинока: ничто не питает скрытый в тебе огонь. Ты больна, потому что лучшие из чувств, дарованных человеку, самое высокое и самое сладостное бежит тебя. Ты глупа, потому что, как ни велики твои страдания, ты не призываешь его к себе и не делаешь ни шагу к нему навстречу.

Вновь она сунула в рот свою короткую черную трубку и энергично запыхтела.

— Это вы можете сказать почти всякой одинокой девушке, служащей в богатом доме.

— Могу-то могу, но будет ли это правдой для всякой?

— Всякой в моих обстоятельствах.

— Вот-вот! В твоих обстоятельствах! Но найди мне еще хотя бы одну точно в твоем положении.

— Ничего не стоит найти хоть тысячу.

— Ты и одной такой не сыщешь. Твое положение, если хочешь знать, особое: совсем рядом со

счастьем. Да-да, стоит руку протянуть! Все нужное уже есть, остается только собрать его воедино. Случай разъединил его составные части, но стоит сблизить их, и плодом будет блаженство.

— Я не понимаю загадок. Ни разу в жизни мне не удалось найти ответа хотя бы на одну.

— Если хочешь, чтобы я говорила яснее, покажи мне свою ладонь.

— И ее надо позолотить, я полагаю?

— Уж конечно.

Я протянула ей шиллинг, и она сунула его в старый носок, который извлекла из кармана. Завязав в нем монету и убрав его, она велела мне протянуть руку, наклонила лицо почти к самой ладони и, не прикасаясь к ней, вперила в нее взгляд.

— Линии слишком тонкие, — объявила она. — Такая ладонь мне ничего не говорит. И линий ведь почти нету… Да и что такое ладонь? Судьба не там записана.

— Верю, — заметила я.

— Да, — продолжала старуха, — она запечатлена на лице: на лбу, около глаз, в самих глазах, в очертании рта. Встань на колени и подними голову.

— Ага! Теперь вы говорите дело, — заметила я,

опускаясь на колени. — Еще немного, и я в вас поверю.

Я стояла на коленях в полушаге от нее. Она помешала в камине, и угли вспыхнули ярче, однако их отблески осветили только мое лицо, ее же, когда она откинулась в кресле, еще больше погрузилось в тень.

— С какими чувствами ты пришла ко мне сейчас? — сказала она, вновь внимательно вглядевшись в меня. — Какими мыслями полнится твое сердце все часы, которые ты проводишь в той комнате, где эти знатные люди мелькают перед тобой будто тени, отбрасываемые волшебным фонарем; а если вспомнить, как мало общего между тобой и ими, так для тебя они и вправду лишь призраки, а не существа из плоти и крови.

— Я часто чувствую себя усталой, иногда сонной, но печальной лишь изредка.

— Так, значит, какая-то тайная надежда поддерживает твой дух и успокаивает тебя, пророча светлое будущее?

— Вовсе нет. Самая моя заветная надежда — откладывать часть моего жалованья и накопить сумму, достаточную, чтобы открыть собственную маленькую школу, арендовав для этого дом.

— Убогая пища для поддержания духа! И сидя

на этом диванчике в окне — как видишь, мне известны твои привычки…

— Вы узнали о них от слуг.

— А! Ты думаешь, что очень проницательна? Ну… быть может, и так, если сказать правду. Я знакома здесь кое с кем… с миссис Пул…

Услышав это имя, я вскочила на ноги.

«Ах, так! — подумала я. — Значит, тут и правда замешана дьявольщина!»

— Не тревожься, — продолжала колдунья, — на нее можно положиться, на нашу миссис Пул. Она умеет молчать и достойна всяческого доверия. Однако, как я начала говорить: сидя на этом диванчике, ты не думаешь ни о чем, кроме своей будущей школы? И тебя нисколько не интересуют те, кого ты видишь перед собой на диванах и в креслах? Хотя бы кто-то один? И нет хотя бы одного лица, в которое ты вглядываешься с особым вниманием? Нет никого, за чьими движениями ты следишь, хотя бы из любопытства?

— Я люблю наблюдать за всеми лицами, за всеми движениями.

— И ты никогда не выделяешь кого-то одного? Или, может быть, двух?

— Очень часто. Когда жесты и взгляды какой-нибудь пары словно рассказывают их историю

— да, мне нравится следить за ними.

— И какие же истории ты предпочитаешь остальным?

— Ну, у меня нет большого выбора! Тема почти всегда одна и та же: ухаживания, грозящие завершиться одной и той же катастрофой — свадьбой.

— И тебе нравится эта однообразная тема?

— Я к ней равнодушна. Меня она не касается.

— Не касается? Когда знатная барышня, молодая, жизнерадостная, полная здоровья, чарующая красотой, наделенная всеми благами высокого положения и богатства, сидит и улыбается в глаза джентльмену, которого ты…

— Что — я?

— Ты знаешь… и, быть может, о котором ты высокого мнения.

— Я не знаю никого из этих джентльменов и даже двумя словами ни с кем из них не обменялась. А что до высокого мнения, то некоторых я нахожу солидными, почтенными и пожилыми, а других — молодыми, щеголеватыми, красивыми и веселыми, но все они, бесспорно, могут наслаждаться улыбками кого им угодно; меня это никак не трогает.

— Ты не знаешь здесь ни одного джентльмена? Ты ни с кем из них и словом не обменялась? И

скажешь то же самое про хозяина дома?

— Его здесь нет.

— Какой сокрушительный довод! Весьма хитроумная передержка! Он уехал утром в Милкот и должен вернуться сегодня же или завтра утром. Разве это исключает его из списка твоих знакомых? Так сказать, отрицает самое его существование?

— Нет. Но я не вижу, какое отношение имеет мистер Рочестер к тому, о чем вы говорите.

— Я говорю о барышнях, улыбающихся в лицо джентльменам. И последнее время столько таких улыбок дарилось глазам мистера Рочестера, что они переполнились ими до краев. Неужели ты этого не заметила?

— У мистера Рочестера есть право дорожить обществом своих гостей.

— О его правах речи нет. Но разве ты не замечала, что среди историй о свадьбах в этой гостиной наиболее увлекательные и длинные касаются мистера Рочестера?

— Интерес слушателей развязывает язык рассказчика, — сказала я более себе, чем цыганке, чьи странные речи, голос, манера держаться к этому времени меня словно заворожили. Одна неожиданная фраза срывалась с ее губ за другой,

пока я не запуталась в таинственной паутине, стараясь понять, что за невидимый дух неделю за неделей наблюдал за моим сердцем и запечатлевал каждое его биение.

— Интерес слушателей! — повторила она. — Да, мистер Рочестер часами преклонял слух к прекрасным губам, которые получали наслаждение от возложенной на них обязанности говорить с ним. А мистер Рочестер внимал им с такой охотой и выглядел таким благодарным за предоставленное ему развлечение, ты заметила?

— Благодарным? Я не помню, чтобы хотя бы раз подметила благодарность в его лице.

— Подметила? Так ты вела наблюдения! И что же ты подметила, если не благодарность?

Я промолчала.

— Ты видела любовь, не так ли? И, заглядывая вперед, ты видела его женатым и его супругу — счастливой?

— Хм! Не совсем. Ваш пророческий дар иногда вам изменяет.

— Так какого дьявола ты видела?

— Не важно. Я пришла сюда спрашивать, а не исповедываться. Значит, известно, что мистер Рочестер женится?

— Да, и на красавице мисс Ингрэм.

— Скоро?

— Все свидетельствует в пользу такого вывода. И несомненно (хотя с дерзостью, за которую тебя бы следовало проучить, ты как будто в это не веришь), они будут на редкость счастливой парой. Он не может не любить такую красивую, благородную, остроумную девицу, наделенную всеми светскими талантами. И, вероятно, она тоже его любит — если не его самого, так его кошелек. Я знаю, она считает поместье Рочестера партией во всех отношениях отличной, хотя (Бог меня прости) я кое-что сказала ей про это час назад, так она на удивление помрачнела: уголки губ у нее опустились не менее чем на дюйм. Я бы посоветовала ее чернолицему кавалеру поостеречься: если явится другой, с кошельком потяжелее и поместьем побольше, ему конец.

— Матушка, я пришла сюда, чтобы узнать не судьбу мистера Рочестера, а мою. Но о ней вы мне ничего не сказали.

— Твое будущее пока неясно: когда я гляжу на твое лицо, одна черта противоречит другой. Случай назначил тебе толику счастья, это я знаю. И знала до того, как пришла сюда нынче вечером. Он очень бережно ее для тебя отмерил, я сама видела. От тебя зависит протянуть руку и взять,

но сделаешь ли ты это — вот загадка, которую мне должно разгадать. Встань опять на колени у огня.

— Только ненадолго. Огонь меня жжет.

Я встала на колени. Она не нагнулась ко мне, а просто глядела, откинувшись на спинку кресла. Потом забормотала:

— Пламя отражается в глазах, глаза блестят как роса. Взгляд их мягок и исполнен чувства. Они улыбаются моей речи. Они восприимчивы — в их ясных глубинах впечатление сменяет впечатление. Когда они перестают улыбаться, их омрачает печаль. Нежданная томность отягощает веки — знак меланхолии, рожденной одиночеством. Они прячутся от меня. Избегают дальнейшего проникновения в их тайны и насмешливым взглядом словно отрицают истину того, что уже мной открыто — отрицают присущие им чуткость и грусть, но их гордость и сдержанность только утверждают меня в моем мнении. Глаза благоприятны.

Что до рта, то порой он наслаждается смехом и склонен излагать все мысли, посещающие мозг, хотя, полагаю, хранит молчание об опытах сердца. Подвижный и чуткий, он не предназначен для того, чтобы замыкаться в вечном молчании

одиночества. Это рот, которому следует говорить много, улыбаться часто и дарить симпатией своего собеседника. Рот тоже обещает удачу.

Я вижу лишь одно препятствие для счастливого исхода — это лоб. Он как будто утверждает: «Я могу жить в одиночестве, если того требуют от меня самоуважение и обстоятельства. Мне не нужно продавать душу, чтобы обрести блаженство. Я владею внутренним сокровищем, родившимся вместе со мной, и оно поддержит мою жизнь, если все внешние радости окажутся мне недоступными или будут предложены за цену, которую я не могу уплатить». Лоб провозглашает: «Рассудок твердо сидит в седле и держит поводья, он не позволит чувствам вырваться на волю и увлечь его в пропасть. Пусть бешено бушуют страсти, необузданные язычники по своей сути, пусть желания сулят множество суетных радостей — последнее слово в каждом споре останется за здравым смыслом, как и решающий голос в принятии каждого решения. Ураган ли, землетрясение или пожар — я все равно буду следовать наставлению того тихого голоска, который истолковывает веления совести».

Отлично сказано, лоб! Твои требования будут приняты с уважением. Мои планы обдуманы,

верные планы, как я верю, и в них учтены требования совести, советы рассудка. Я знаю, как скоро поблекнет юность и увянет ее цвет, если в предложенной чаше счастья окажется хотя бы капля стыда или горечи сожалений. И я не желаю самопожертвования, скорби, погибели — мне они чужды. Я хочу лелеять, а не губить, заслужить благодарность, а не исторгнуть кровавые слезы… Или даже просто соленые. Моей жатвой должны стать улыбки, нежность, сладость… Достаточно! Мне кажется, я брежу в блаженнейшей лихорадке. Мне хотелось бы продлить этот миг ad finitum,[52] но я не смею. До сих пор мне удавалось сохранить власть над собой в полной мере и не нарушить данную себе клятву, но дальнейшее может оказаться выше моих сил. Встаньте, мисс Эйр. Оставьте меня: «Пьеса доиграна до конца».

Где я? Сплю или бодрствую? Мне приснился сон, и я все еще сплю? Голос старухи изменился, ее выговор, жесты — все было знакомо мне, как мое собственное лицо в зеркале, как моя собственная речь. Я поднялась с колен, но не ушла. Я посмотрела, я помешала в камине и снова посмотрела, но она опустила поля шляпы и поправила повязку

---

[52] Примечания: 52
вечно (лат.).

на лице, снова сделав мне знак уйти. Огонь осветил ее протянутую руку, и я, очнувшись, готовая ко всему, тотчас обратила внимание на эту руку.

Морщинистой клешней старости она была не более чем моя собственная. Я увидела упругую кожу, гибкие гладкие пальцы — на мизинце сверкал перстень. Нагнувшись, я посмотрела на него и узнала камень, который видела сотни раз прежде. Вновь я поглядела на лицо. Оно уже не было скрыто от меня. Наоборот, шляпа была сброшена, повязка сдвинута, голова наклонена ко мне.

— Что же, Джейн, вы меня узнаете? — спросил знакомый голос.

— Только снимите красный плащ, сэр, и тогда…

— Но пояс завязан узлом. Помогите мне.

— Разорвите его, сэр.

— Ну, в таком случае прочь рубище! — И мистер Рочестер сбросил свой маскарадный костюм.

— Право, сэр, что за странная идея!

— Но отлично воплощенная, э? Вы не согласны?

— С барышнями вы, очевидно, отлично сыграли свою роль.

— Но не с вами?

— Со мной вы не изображали цыганку, сэр.

— Так кого же я изображал? Себя самого?

— Нет. Кого-то непостижимого. Короче говоря, мне кажется, вы старались разговорить меня или вовлечь во что-то. Вы говорили вздор, чтобы заставить меня говорить вздор. Вряд ли это честно, сэр.

— Вы прощаете меня, Джейн?

— Не могу ответить, пока не обдумаю всего. Если по размышлении я приду к выводу, что ни в какой особой глупости не повинна, то попробую вас простить, но все-таки вы поступили дурно.

— А! Вы были очень сдержанны, очень осторожны и очень разумны.

Я подумала и решила, что в целом так и было. Но, правду сказать, я насторожилась с самого начала нашего разговора. Подозрение, что это какой-то маскарад, возникло у меня почти сразу. Я знала, что цыганки и гадалки не говорят так, как говорила эта *лжестаруха*. К тому же я заметила и измененный голос, и старания скрыть лицо. Но мои мысли обращались к Грейс Пул, этой живой загадке, этой тайне тайн, какой я считала ее. О мистере Рочестере я не подумала ни разу.

— Ну-с, — сказал он, — о чем вы задумались? Что означает эта серьезная улыбка?

— Удивление и комплименты самой себе, сэр.

Полагаю, вы разрешите мне уйти?

— Нет, погодите немного и расскажите мне, чем занимается общество в гостиной.

— Разговаривают о цыганке, я полагаю.

— Сядьте! Скажите, что они говорили обо мне?

— Мне лучше не оставаться тут долго, сэр, ведь уже почти одиннадцать и… О! Вы знаете, мистер Рочестер, что после вашего отъезда сюда приехал неизвестный джентльмен?

— Неизвестный! Нет. Но кто? Я никого не ожидал. Он уже уехал?

— Нет. Он сказал, что знает вас давно и может позволить себе вольность подождать вашего возвращения здесь.

— О черт! Он назвал свое имя?

— Его фамилия Мейсон, сэр, и он приехал из Вест-Индии. Из Спаниш-Тауна на Ямайке, если не ошибаюсь.

Мистер Рочестер стоял рядом со мной, держа меня за руку, словно собирался подвести меня к креслу. При этих моих словах его пальцы конвульсивно стиснули мое запястье, улыбка застыла на его губах, горло как будто сжала судорога.

— Мейсон!.. Вест-Индия! — повторил он тоном, каким, наверное, говорящий автомат произносит

свою единственную фразу. — Мейсон!.. Вест-Индия! — повторил он. А потом еще трижды, все больше и больше бледнея. Казалось, он не понимает, где он и что с ним.

— Вам дурно, сэр? — спросила я.

— Джейн, я получил страшный удар… Страшный удар, Джейн! — Он пошатнулся.

— О! Обопритесь на меня, сэр.

— Джейн, однажды вы уже предложили мне свое плечо. Подставьте мне его еще раз.

— Да, сэр, вот! И руку тоже.

Он сел и заставил меня сесть рядом. Сжимая мою руку в обеих своих, он растирал ее, глядя на меня очень расстроенным мрачным взглядом.

— Мой дружок, — сказал он, — чего бы я ни дал, чтобы оказаться на уединенном острове только с вами, свободным от тревог, опасностей и страшных воспоминаний.

— Не могу ли я помочь вам, сэр? Ради вас я готова отдать жизнь.

— Джейн, если мне понадобится помощь, я буду искать ее у вас. Обещаю!

— Благодарю вас, сэр. Только скажите мне, что надо сделать, и я хотя бы попытаюсь.

— А пока, Джейн, принесите мне из столовой бокал вина, они сейчас там ужинают. И скажите

мне, с ними ли Мейсон и что он делает.

Я пошла в столовую. Общество ужинало там, как и сказал мистер Рочестер, но они не сидели за столом, так как блюда стояли на буфете и каждый накладывал себе на тарелку что хотел. Они собрались группами, с тарелками и рюмками в руках, и, казалось, были очень веселы. Смех мешался с оживленными голосами. Мистер Мейсон стоял у камина, беседуя с полковником и миссис Дент. Он был словно бы в таком же прекрасном расположении духа, как и они все. Я налила вина в бокал (миссис Ингрэм наблюдала за мной, хмуря брови, — вероятно, она считала, что я посмела забыть о своем положении) и вернулась в библиотеку.

Мертвенная бледность мистера Рочестера исчезла, он вновь выглядел решительным и суровым.

— Твое здоровье, милосердный дух! — сказал он, беря у меня бокал, осушил его и вернул мне. — Так что же они делают, Джейн?

— Смеются и разговаривают, сэр.

— А они не выглядят серьезными и озадаченными, будто услышали что-то неожиданное?

— Ничуть. Шумят и веселятся.

— А Мейсон?

— Он тоже смеялся.

— Если бы они все вошли сюда и плюнули мне в лицо, что бы вы сделали, Джейн?

— Выгнала бы их вон, сэр, если бы могла.

Он чуть-чуть улыбнулся.

— А если я пойду к ним, а они только холодно переглянутся и начнут переговариваться вполголоса, а потом повернутся ко мне спиной и выйдут один за другим? Вы пойдете с ними?

— Не думаю, сэр. Я предпочла бы остаться с вами.

— Чтобы утешить меня?

— Да, сэр, чтобы утешить, насколько это было бы в моих силах.

— А если они подвергнут вас остракизму за то, что вы останетесь со мной?

— Я, вероятно, просто об этом не узнаю, а если бы узнала, то меня бы это ничуть не тронуло.

— Значит, ради меня вы посмели бы подвергнуться общему осуждению?

— Посмела бы, как и ради любого другого друга, заслужившего мою верность, как, полагаю, ее заслуживаете вы.

— Вернитесь в столовую, осторожно подойдите к мистеру Мейсону и шепните ему, что мистер Рочестер вернулся и хочет его видеть. Проводите его сюда, а потом оставьте нас.

— Хорошо, сэр.

Я выполнила его просьбу. Все гости уставились на меня, когда я спокойно прошла между ними и, сообщив мистеру Мейсону, что его ждут, вышла из столовой впереди него. Проводив его в библиотеку, я поднялась к себе.

Поздно ночью, когда я уже легла, я услышала, как гости расходились по спальням, и различила голос мистера Рочестера — он говорил:

— Сюда, Мейсон, вот твоя комната.

Голос был веселый, у меня полегчало на сердце, и я скоро уснула.

Глава 20

Против обыкновения я забыла задернуть полог и опустить штору. Когда же полная луна, светившая очень ярко (ее не затемняло ни единое облачко), на своем пути по небосводу оказалась напротив моего окна и посмотрела в мою комнату сквозь ничем не завешенные стекла, ее блистающий взор разбудил меня. Проснувшись в глухой предрассветный час, я открыла глаза и узрела ее диск — серебристо-белый, хрустально-чистый. Он был прекрасен, но слишком ослепителен. Я приподнялась и протянула руку, чтобы задернуть полог.

О Господи! Какой страшный вопль!

Ночь, ее безмолвие, ее покой были рассечены пополам диким, яростным, пронзительным криком, огласившим Тернфилд-Холл из конца в конец.

Мое сердце оборвалось, замерло, протянутую руку парализовало. Крик замер и не повторился. Да и кто бы ни испустил этот душераздирающий вопль, вряд ли он мог скоро обрести силы, чтобы его повторить. Самый ширококрылый кондор

в Андах не смог бы дважды подряд испустить столь оглушающий клекот сквозь облака, окутывающие его гнездо. Да, прежде чем повторить подобный звук, любое существо должно было бы отдышаться.

Раздался он на третьем этаже, так как донесся сверху. И вверху, да-да, в комнате прямо над моей, я теперь расслышала звуки борьбы — схватки не на жизнь, а на смерть, если судить по ним. Придушенный голос быстро трижды выкрикнул:

— На помощь! На помощь! На помощь! Неужели никто не придет? — звал он. Стук и шарканье продолжались, но сквозь доски и штукатурку я расслышала: — Рочестер! Рочестер! Бога ради, где ты?

Распахнулась дверь чьей-то спальни, кто-то побежал, а вернее, помчался по галерее. Вверху раздались еще шаги, что-то упало, и водворилась тишина.

Вся дрожа от ужаса, я накинула платье и вышла в галерею. Все спящие проснулись. Из спален доносились восклицания, полные страха вопросы. Двери открывались одна за другой, галерея заполнялась. Джентльмены и дамы — все покинули свои постели. Везде слышались возгласы: «Что это было?» «Кто ранен?» «Принесите свечу!»

«Мы горим?» «Разбойники!» «Куда бежать?» Если бы не лунный свет, никто бы вообще ничего не видел. Они метались по галерее, собирались в кучки, кто-то рыдал, кто-то спотыкался, суматоха была неописуемая.

— Куда, черт побери, подевался Рочестер? — воскликнул полковник Дент. — Я заглянул к нему в спальню, его там нет!

— Я здесь! — послышался ответный крик. — Успокойтесь, успокойтесь все! Я сейчас приду.

Дверь в конце галереи распахнулась, из нее вышел мистер Рочестер со свечой. Он, несомненно, спустился с третьего этажа. К нему бросилась женская фигура, схватила его за руку — это была мисс Ингрэм.

— Что случилось? — воскликнула она. — Говорите же! Не скрывайте от нас ничего. Даже самое худшее!

— Только, пожалуйста, не повалите меня на пол и не задушите, — взмолился он: за него уже цеплялись обе мисс Эштон, а две знатные вдовицы в широчайших белых капотах поспешали к нему точно два фрегата под всеми парусами.

— Довольно! Довольно! — восклицал он. — Просто репетиция шекспировского «Много шума из ничего»! Сударыни, отриньтесь, не то я могу

стать опасным!

И правда, вид у него был опасный, черные глаза метали искры. С усилием взяв себя в руки, он добавил:

— Горничной приснился кошмар, только и всего. Она очень нервна и легко приходит в возбуждение. Внушила себе, будто ей явился призрак, и не во сне, а наяву, и с ней приключился истерический припадок. А теперь, прошу вас, вернитесь к себе в спальни. Пока дом не успокоится, ее вряд ли удастся привести в чувство. Господа, сделайте одолжение — покажите дамам благой пример. Мисс Ингрэм, не сомневаюсь, вы не поддадитесь бессмысленному страху. Эми и Луиза, голубки мои, возвращайтесь в свои гнездышки. Сударыни, — он повернулся к вдовицам, — вы непременно простудитесь, если еще побудете на этом холодном сквозняке.

Вот так, то уговаривая, то настаивая, он сумел отправить их всех назад в их спальни. Я же вернулась в свою по собственному почину, столь же незаметно, как покинула ее.

Однако вовсе не для того, чтобы лечь в постель. Наоборот: я поторопилась одеться как следует. Вероятно, я одна слышала шум, раздавшийся после вопля, и пробивавшиеся сквозь него слова

убедили меня, что не кошмар горничной навел ужас на весь дом — эту историю сочинил мистер Рочестер, успокаивая своих гостей. Поэтому я и оделась, чтобы быть готовой ко всему. Потом я долго сидела у окна, глядя на безмолвные деревья, на осеребренные луга, в ожидании… сама не знала чего. Я лишь не сомневалась, что у странного вопля, отчаянной борьбы и призывов на помощь должно быть продолжение.

Однако мало-помалу воцарилась полная тишина — ни звука, ни шороха: примерно через час Тернфилд-Холл вновь окутало безмолвие пустыни. Казалось, сон и ночь опять вступили в свои права. Тем временем луна спустилась к самому горизонту. Мне не хотелось зябнуть в темноте, и, решив прилечь не раздеваясь, я встала и бесшумно прошла по ковру к кровати. Когда я нагнулась снять туфли, кто-то тихо и осторожно постучал в мою дверь.

— Нужна моя помощь? — спросила я.

— Вы не спите? — спросил голос, который я ожидала услышать, то есть голос моего патрона.

— Да, сэр.

— И одеты?

— Да.

— Тогда выйдите, но только очень тихо.

Я послушалась. В галерее стоял мистер Рочестер, держа свечу.

— Вы мне нужны, — сказал он. — Идемте, но не торопитесь и не шумите.

На мне были легкие туфли, и по ковру я ступала бесшумно, как кошка. Он прошел в конец галереи, поднялся по лестнице и остановился в темном низком коридоре зловещего третьего этажа. Я остановилась рядом с ним.

— У вас есть губка? — спросил он шепотом.

— Да, сэр.

— А соли? Нюхательные?

— Да.

— Сходите принесите их.

Я вернулась, взяла губку с умывальника, достала из ящика флакончик с солями и возвратилась к мистеру Рочестеру. Он ждал меня с ключом в руке и, подойдя к одной из маленьких черных дверей, вложил ключ в скважину, но не повернул его, а снова задал мне вопрос:

— Вы не падаете в обморок при виде крови?

— Думаю, что нет. Но проверить это на опыте мне пока не довелось.

Отвечая ему, я ощутила трепет в душе. Но ничуть не похолодела, и мне не стало дурно.

— Дайте-ка мне вашу руку, — сказал он. — На

случай обморока. Лучше не рисковать.

Я вложила свои пальцы в его руку.

— Теплые и не дрожат, — заметил он, повернул ключ и открыл дверь.

Я увидела комнату и вспомнила, что уже видела ее в тот день, когда миссис Фэрфакс показывала мне дом. Ее стены были завешены гобеленами, но на этот раз в одном месте гобелены были откинуты и обнаружилась прежде не видимая дверь. Она была открыта, и из нее падал свет. Оттуда донеслось что-то вроде рычания и лязганья зубов, будто схватились две собаки. Мистер Рочестер поставил свечу и вошел во внутреннюю комнату, сказав мне:

— Подождите минуту!

Его появление было встречено хохотом, очень громким и завершившимся гоблинским «ха-ха!» Грейс Пул. Так, значит, там была она! Мистер Рочестер, видимо, отдал какое-то безмолвное распоряжение — я уловила тихий голос, что-то ему ответивший. Он вернулся и закрыл за собой дверь.

— Сюда, Джейн, — сказал он, и я обошла большую кровать с задернутым пологом, занимавшую добрую половину комнаты. К изголовью было придвинуто кресло. В нем сидел мужчина, со-

всем одетый, но без сюртука. Он хранил полную неподвижность, голова была откинута, глаза закрыты. Мистер Рочестер поднял свечу повыше, и я узнала это бледное, словно безжизненное лицо — Мейсон. Еще я заметила, что одна сторона его рубашки и один рукав намокли от крови.

— Подержите свечу! — распорядился мистер Рочестер, и я взяла подсвечник, а он взял с умывальника тазик с водой. — Подержите! — сказал он, а когда я взяла и тазик, намочил губку и обтер бледное, как у мертвеца, лицо. Затем попросил у меня нюхательные соли и поднес флакончик к ноздрям мистера Мейсона. Тот вскоре открыл глаза и застонал. Мистер Рочестер, расстегнув рубашку раненого (я увидела, что его плечо и рука у локтя забинтованы), быстро вытер губкой просачивающиеся капли крови.

— Рана очень опасная? — прошептал мистер Мейсон.

— Вздор! Простая царапина. Не падай духом, ободрись! Сейчас я съезжу за лекарем, и утром, надеюсь, ты уже сможешь отправиться в дорогу. Джейн! — сказал он затем.

— Сэр?

— Мне придется оставить вас здесь с этим джентльменом на час-два. Чуть кровь начнет

снова просачиваться, вытирайте ее губкой, как делал я. Если ему станет дурно, пусть выпьет воды вон из того стакана и понюхает ваши соли. Ни в коем случае не разговаривайте с ним… и… Ричард, если ты заговоришь с ней, то подвергнешь опасности свою жизнь! Попробуй произнести хоть слово, взволнуйся — и я не отвечаю за последствия.

Вновь бедняга застонал. Казалось, он боится сделать движение: его совсем парализовал ужас перед смертью — или перед чем-то еще. Мистер Рочестер вложил уже окровавленную губку мне в руку, и по его примеру я начала стирать кровь. Несколько секунд он наблюдал за мною, потом вышел из комнаты со словами:

— Так помните — никаких разговоров!

Когда ключ скрипнул в замке и звук его шагов замер в конце коридора, меня охватило странное чувство.

Я сижу на третьем этаже, запертая в одной из таинственных келий, вокруг ночь, мои глаза устремлены на бледного окровавленного человека, и лишь тонкая дверь отделяет меня от убийцы! Весь ужас таился именно в этом: остальное я могла стерпеть, но одна мысль о том, как дверь распахивается и на меня набрасывается

Грейс Пул, ввергала меня в ледяной озноб.

Тем не менее я должна оставаться на моем посту. Должна следить за этим жутким лицом, за посинелыми неподвижными губами, на которые наложена печать молчания, за глазами, которые то закрываются, то открываются, то блуждают по комнате, то останавливаются на мне, — за глазами, остекленевшими от ужаса. Я должна вновь и вновь окунать пальцы в воду, смешанную с кровью, и стирать. Стирать вишневые капли. Должна сидеть там, а нагар все больше затемняет огонек свечи, тени на старинных гобеленах вокруг сгущаются, сгущаются, становясь совсем черными под пологом старинной кровати, и странно колеблются на дверцах широкого шифоньера напротив — дверцы состоят из двенадцати панелей, и каждая точно в раме заключает голову одного из двенадцати апостолов. Шифоньер над всеми ними увенчан крестом черного дерева с умирающим Христом.

В смутной игре теней и угасающих отблесков, замирающих здесь, скользящих там, то бородатый врач Лука склонял свое чело, то колыхались длинные власы святого Иоанна, а то из панели таинственно вырастало дьявольское лицо Иуды, наполнялось жизнью, грозило явлением архи-

предателя, самого Сатаны в облике его присного.

Как будто этого было мало, мне приходилось напрягать не только зрение, но и слух — не даст ли о себе знать дикий зверь или демон в логове за дверью. Однако, побывав там, мистер Рочестер словно наложил чары на соседнюю комнату: за остаток ночи до меня донеслось всего три звука, причем через большие промежутки: скрип половицы, новое рычание и пронзительный человеческий стон.

Мучили меня и собственные мысли. Какое воплощение зла обитает в этом уединенном доме, которое его владелец не может ни изгнать, ни обуздать? Какая тайна давала о себе знать то огнем, то кровью в глухие часы ночи? Что за существо, прячась под обликом обычной женщины, испускает крики то язвительного демона, то стервятника в поисках падали?

А этот человек, над которым я наклоняюсь? Этот ничем не примечательный приезжий? Как он оказался запутанным в этой паутине ужасов? И почему фурия набросилась на него? Что понудило его проникнуть на этот этаж в столь зловещий час, когда ему следовало спокойно спать в постели? Я ведь слышала, как мистер Рочестер проводил его до спальни в галерее, так

что же привело его сюда? И почему теперь он так покладист, хотя ему нанесен столь неистовый и предательский удар? Почему он так покорно согласился с настояниями мистера Рочестера скрыть случившееся? И почему мистер Рочестер настаивает на этом? На его гостя напали; в тот раз на его жизнь коварно покусились, и оба посягательства он скрывает и предает забвению.

И в-третьих, я узнала, что мистер Мейсон всецело подчиняется мистеру Рочестеру, что несгибаемая воля второго полностью властвует над апатичным характером первого: в этом меня убедили те немногие слова, которыми они обменялись. Было очевидно, что в прежних их отношениях вялая натура одного находилась всецело под влиянием деятельной энергии другого, — так чем же было вызвано смятение мистера Рочестера, когда он узнал о приезде мистера Мейсона? Почему фамилия столь слабовольного субъекта, который точно ребенок слушается каждого его слова, всего лишь несколько часов назад поразила его точно гром с ясного неба?

О! Я не забыла выражения его лица, его бледность, когда он прошептал: «Джейн, я получил страшный удар… Страшный удар, Джейн!» Я не забыла, как дрожала рука, которой он оперся на

мое плечо: нет, не пустяк мог настолько сокрушить неукротимый дух Фэрфакса Рочестера и вызвать у него дрожь!

«Когда же он вернется? Когда же он вернется?» — беззвучно восклицала я, пока ночные часы еле ползли, а раненый стонал, слабел, почти терял сознание. Но ни рассвета, ни помощи все не было. Я вновь и вновь подносила стакан с водой к побелевшим губам Мейсона, вновь и вновь предлагала ему подбадривающие соли, но все мои усилия как будто пропадали втуне: телесные или душевные страдания или потеря крови, а может быть, все вместе неумолимо отнимали у него последние силы. Он так стонал, выглядел таким ослабевшим, потерянным, угасшим, что мне казалось — он умирает, а я не могла даже заговорить с ним!

Свеча совсем истаяла и погасла, но в наступившей темноте я заметила, что по краям занавешенных окон пробивается серый свет. Значит, занималась заря. Вскоре снизу донесся лай Лоцмана — из его конуры в дальнем конце двора, — и надежда воскресла. Обманута она не была: через пять минут скрипнул ключ, щелкнул замок — мое бдение подошло к концу. Длилось оно не более двух часов, хотя казалось длиннее недели.

Вошел мистер Рочестер, а за ним врач, которого он привез.

— А теперь, Картер, поторопитесь! — сказал мистер Рочестер. — Даю вам полчаса, чтобы промыть раны, наложить повязки и проводить вашего пациента вниз.

— Но в состоянии ли он ехать, сэр?

— Без всякого сомнения. Раны пустячные, но у него расстроены нервы, и его необходимо подбодрить. Ну, так за дело!

Мистер Рочестер отдернул плотную занавеску и поднял полотняную штору, впуская в комнату побольше света. Я обрадовалась и воспрянула духом, заметив, что заря уже занялась и восток порозовел. Затем он подошел к Мейсону, над которым склонился врач.

— Ну, мой милый, как ты? — спросил он.

— Боюсь, она меня прикончила, — ответил тот еле слышно.

— Чепуха! Не вешай носа! Через две недели ты и думать об этом забудешь. Потерял немного крови, вот и все. Картер, убедите его, что он вне опасности.

— Это я могу сказать с чистой совестью, — заметил Картер, уже снявший повязку с раны. — Конечно, было бы лучше, если бы я приехал

пораньше: он не потерял бы так много крови… Но как же так? Рана ведь рваная! Она нанесена не просто ножом, вот следы зубов!

— Она меня укусила, — прошептал Мейсон. — Вцепилась, как тигрица, когда Рочестер отнял у нее нож.

— Но почему ты не сопротивлялся? Тебе следовало сразу схватить ее за руки.

— При таких обстоятельствах? — возразил Мейсон. — Это было ужасно! — добавил он с дрожью в голосе. — Я никак не ожидал. Она выглядела такой спокойной!

— Я ведь предупреждал тебя, — возразил его друг. — Я же сказал тебе: «Будь настороже, когда войдешь к ней». Кроме того, ты мог бы подождать до утра и пойти вместе со мной. Чистое безумие — пойти ночью и одному!

— Я думал, что смогу помочь.

— Ты думал! Ты думал! Да, меня раздражают твои слова. Однако оттого, что ты пренебрег моим советом, тебе пришлось худо и не сразу станет лучше, вот почему я больше ничего не скажу. Картер, поторопитесь! Скоро взойдет солнце, а его обязательно надо увезти еще до этого.

— Сейчас, сэр. Плечо забинтовано, остается рана у локтя. Она, кажется, и тут поработала зубами?

— Сосала кровь… говорила, что высосет мое сердце, — пробормотал Мейсон.

Я заметила, что мистер Рочестер вздрогнул. Отвращение, ужас, ненависть на мгновение исказили его черты, но он сказал только:

— Помолчи, Ричард, и забудь ее бред, не повторяй его.

— Если бы я мог забыть! — последовал ответ.

— Забудешь, чуть только Англия останется за кормой. Когда вернешься в Спаниш-Таун, думай, что она умерла и похоронена, а лучше вообще о ней не думай.

— Забыть эту ночь невозможно!

— Вовсе нет. Соберись с духом, мой милый. Два часа назад ты себя считал уже покойником, но, как видишь, ты жив и у тебя есть силы разговаривать. Ну вот! Картер привел тебя в порядок. Во всяком случае, почти. А я займусь твоим туалетом. Джейн! — Он повернулся ко мне в первый раз после того, как вошел в комнату. — Вот ключ. Спуститесь ко мне в спальню, пройдите прямо в гардеробную, откройте верхний ящик комода, достаньте чистую рубашку, шейный фуляровый платок и принесите их сюда. Поторопитесь.

Я пошла, открыла указанный ящик, нашла требуемые предметы и вернулась с ними.

— Теперь, — распорядился он, — отойдите за кровать, пока я помогу ему одеться. Но останьтесь в комнате. Возможно, вы еще понадобитесь.

Я подчинилась.

— Пока вы ходили, Джейн, вы не слышали, кто-нибудь встал? — вскоре спросил мистер Рочестер.

— Нет, сэр, там полная тишина.

— Мы тебя увезем незаметно, Дик. Так будет лучше и для тебя, и для несчастной там, за дверью. Я очень старался хранить все в тайне, и мне не хотелось бы огласки теперь. Картер, ну-ка помогите ему с жилетом. Где твой плащ на меху? Я же знаю, в этом чертовом климате ты и мили без него не проехал бы! У тебя в комнате? Джейн, сбегайте в комнату мистера Мейсона, она рядом с моей, и принесите плащ.

Снова я побежала и вернулась с большим плащом, подбитым мехом и с меховой опушкой.

— А теперь у меня есть для вас еще одно поручение, — сказал мой неутомимый патрон. — Вам придется снова спуститься в мою спальню. Как удачно, что на вас бархатные туфельки: деревянные башмаки были бы крайне неуместны. Откройте средний ящик моего туалетного столика, достаньте флакон и стаканчик, которые

увидите там. И побыстрее!

Я побежала и вернулась с требуемыми сосудами.

— Отлично! Теперь, доктор, я возьму на себя смелость собственноручно дать ему дозу. Это снадобье я купил в Риме у итальянского шарлатана — вы бы, Картер, прогнали его пинками! Злоупотреблять им не стоит, но в некоторых случаях оно незаменимо — вот как сейчас. Джейн, немного воды!

Он подставил стаканчик, и я наполовину наполнила его водой из графина.

— Достаточно. Теперь смочите края флакона.

Я смочила их. Он отмерил двенадцать капель рубиновой жидкости и протянул стаканчик Мейсону.

— Выпей, Ричард. На час-другой это прибавит тебе смелости, в какой ты нуждаешься.

— Но не повредит? Не обожжет?

— Пей же! Пей! Пей!

Мистер Мейсон подчинился, так как ничего другого ему не оставалось. Он был уже одет и, хотя оставался бледным, в остальном выглядел так, словно с ним ничего не случилось. Мистер Рочестер позволил ему спокойно посидеть три минуты, а потом взял под руку.

— Я уверен, теперь ты сможешь встать на ноги. Ну-ка попробуй!

Раненый встал.

— Картер, возьмите его под другую руку. Веселей, Ричард. Несколько шагов — и все.

— Мне и правда лучше, — объявил мистер Мейсон.

— Я так и полагал. А теперь, Джейн, спорхните вниз по черной лестнице раньше нас, откройте боковую дверь и скажите кучеру коляски, которую увидите во дворе… или сразу за оградой — я предупредил его, чтобы он не грохотал колесами по булыжнику, — и скажите ему, что мы уже спускаемся. И, Джейн, если увидите кого-нибудь, вернитесь к лестнице и кашляните.

Время шло к половине шестого, и солнце должно было вот-вот взойти, но в кухне все еще царили мрак и тишина. Засовы на боковой двери были заложены, и я отодвинула их, как могла бесшумнее. Двор был пуст, но за открытыми воротами виднелась запряженная коляска. Кучер сидел на козлах, я подошла к нему и сказала, что джентльмены сейчас придут. Он кивнул, а я внимательно посмотрела по сторонам и прислушалась, но все вокруг окутывала утренняя дремота, занавески на окнах, за которыми спали слуги, оставались

задернутыми. Пичужки только-только защебетали в цветущем плодовом саду среди деревьев, чьи ветви будто белые гирлянды колыхались над оградой по ту сторону двора. Упряжные лошади в конюшне переминались с ноги на ногу, но больше ничто не нарушало тишины.

Из двери вышли джентльмены. Мейсон, поддерживаемый мистером Рочестером и врачом, шел, казалось, довольно легко. Они помогли ему сесть в коляску. Картер сел рядом с ним.

— Позаботьтесь о нем, — сказал мистер Рочестер врачу. — Пусть он поживет у вас, пока совсем не выздоровеет. Я заеду на днях справиться о нем. Ричард, как ты себя чувствуешь?

— Свежий воздух придал мне сил, Фэрфакс.

— Откройте окошко с его стороны, Картер. Ведь ветра нет. Прощай, Дик.

— Фэрфакс…

— Так что же?

— Пусть о ней хорошо заботятся, пусть с ней обращаются как можно бережнее, пусть… — Он умолк и разразился слезами.

— Я делаю все, что в моих силах. Делал прежде и буду делать дальше, — ответил мистер Рочестер, захлопнул дверцу коляски, и лошади тронулись. — Хотя всем сердцем хотел бы, чтобы всему этому

пришел конец, — добавил он, закрывая тяжелые створки ворот и закладывая засов.

Потом в задумчивости он медленно направился к калитке в стене плодового сада. Я, полагая, что уже не нужна ему, повернулась, чтобы вернуться в дом, но тут он окликнул меня: «Джейн!», открыл калитку и остановился в ожидании.

— Пойдите подышите немножко душистым воздухом, — сказал он. — Этот дом просто тюрьма, вы не замечали?

— На мой взгляд, он больше похож на дворец, сэр.

— Ваш взор затуманивает радужность неопытности, — ответил он. — Вы видите дом сквозь волшебные очки и не замечаете, что позолота — всего лишь болотная тина, а шелковые занавесы сотканы пауками, что мрамор — всего лишь скверный кирпич, а полированное дерево — не более чем нетесаные доски и растрескавшаяся кора. Зато здесь, — он обвел рукой зеленый приют, в который мы вошли, — все подлинное, чудесное и чистое.

Он пошел по дорожке, обсаженной лавровыми кустами, где с одной стороны колыхались ветви яблонь, груш и вишневых деревьев, с другой — тянулся цветник: привычные гвоздики, ду-

шистый горошек, первоцветы, анютины глазки соседствовали там с шиповником, жимолостью и различными душистыми травами. Они были полны всей той прелести, какую только могли придать им апрельские ливни, перемежавшиеся солнечной погодой, а теперь — еще и это чудесное весеннее утро, когда солнце показалось на востоке среди розовеющих облачков и его лучи озарили окропленные росой цветущие деревья и вьющиеся под ними дорожки.

— Джейн, можно подарить вам цветок?

Он отломил ветку розового куста с полураспустившимся бутоном, пока единственным.

— Благодарю вас, сэр.

— Вам нравится этот солнечный восход, Джейн? Это небо с легкими пушистыми облачками, которые исчезнут, когда прохлада утра сменится жарой, этот душистый, полный покоя воздух?

— Да. И очень.

— Вы провели необычную ночь.

— Да, сэр.

— И вы так бледны! Вы боялись, когда я оставил вас наедине с Мейсоном?

— Боялась, что кто-то выйдет из соседней комнаты.

— Но ведь я запер дверь, и ключ лежал у меня

в кармане. Плохим был бы я пастухом, если бы оставил овечку — мою любимицу — рядом с волчьим логовом без всякой защиты. Вам ничего не угрожало.

— Грейс Пул будет жить здесь по-прежнему, сэр?

— О да! Но не тревожьтесь из-за нее, выкиньте ее из головы.

— Но мне кажется, ваша жизнь будет в опасности, пока она остается здесь.

— Не бойтесь, я сумею о себе позаботиться.

— Опасность, которую вы предотвратили вчера, теперь исчезла?

— Пока Мейсон не покинет Англию, поручиться за это я не могу. Жить для меня, Джейн, значит стоять в кратере вулкана на застывшей корке лавы, которая может в любую секунду растрескаться и брызнуть огнем.

— Но мистер Мейсон производит впечатление человека очень уступчивого, а ваше влияние на него, сэр, видимо, очень велико. Он никогда сознательно не поступит наперекор вам, не причинит вам вреда по своей воле.

— Разумеется, нет! Мейсон никогда не бросит мне вызова, не захочет навлечь на меня беду, однако непреднамеренно он одним неосторожным

словом может мгновенно лишить меня если не жизни, то счастья.

— Так предостерегите его, сэр. Дайте ему понять, чего вы опасаетесь, и объясните, как предотвратить опасность.

Он саркастически усмехнулся, внезапно взял мою руку в свои и столь же внезапно отпустил ее.

— Если бы я мог это сделать, глупышка, так в чем бы заключалась опасность? О ней и помину бы не было. С тех самых пор, как я познакомился с Мейсоном, мне достаточно было сказать «сделай то-то или то-то», и все тут же исполнялось. Однако в этом случае я не могу отдавать ему распоряжения. Не могу сказать: «Остерегись причинить мне вред, Ричард!» Ибо важнее всего тут — держать его в неведении, какой вред может быть мне причинен. Вы кажетесь озадаченной. А я озадачу вас еще больше. Вы ведь мой дружок, правда?

— Мне нравится служить вам, сэр, и подчиняться вам во всем достойном.

— Вот именно. Я вижу это. Вижу искреннее удовольствие в вашей походке и выражении, в ваших глазах и лице, когда вы помогаете мне и угождаете, когда работаете для меня и со мной во всем — как вы столь похоже на вас вырази-

лись — во всем достойном. Ведь попроси я вас сделать то, что вы полагаете дурным, не было бы ни легкости в бегущих шагах, ни торопливости и аккуратности в исполнении, ни радости в глазах, ни румянца оживления. Мой дружок тогда бы повернулся ко мне, притихший, бледный, и сказал бы: «Нет, сэр, это невозможно, я не могу, так как это дурно». И остался бы непоколебим, как звезда в небесной тверди. Что же, и у вас есть власть надо мной, и вы можете причинить мне боль, и все же я не смею показать вам, где я уязвим, из опасения, что вы, как ни расположены ко мне, как ни верны, тут же отшатнетесь от меня.

— Если, сэр, у вас не больше поводов опасаться мистера Мейсона, чем меня, вам ничто не угрожает.

— Дай Бог, чтобы это было так! Вот беседка, Джейн, сядьте.

Беседка представляла собой увитую плющом нишу в стене с простой скамьей внутри. Мистер Рочестер опустился на скамью, оставив место и для меня, но я осталась стоять перед ним.

— Садитесь же, — сказал он. — Скамья достаточно длинна для двоих. Ведь вы же не боитесь занять место рядом со мной, правда? Что в этом дурного, Джейн?

Вместо ответа я села, чувствуя, что отказаться было бы неразумно.

— А теперь, мой дружок, пока солнце пьет росу, пока все цветы в этом старом саду пробуждаются и разворачивают лепестки, а птицы улетают искать завтрак для своих птенцов на лугу среди тернов и ранние пчелы летят за первым взятком, я изложу некий казус, который извольте считать вашим собственным. Но прежде посмотрите на меня и скажите, что чувствуете себя свободно и не опасаетесь, что я грешу, задерживая вас здесь, а вы грешите, оставаясь со мной.

— Нет, сэр. У меня спокойно на душе.

— В таком случае, Джейн, призовите на помощь свою фантазию и вообразите, будто вы больше не благовоспитанная, вымуштрованная девица, а необузданный юноша, избалованный с детства. Вообразите себя в далеком отсюда краю и предположите, будто там вы совершили роковую ошибку — не важно, какую именно и из каких побуждений, но последствия которой будут преследовать вас всю жизнь, омрачая самое ваше существование. И помните, я ведь не сказал «преступление». Я говорю не о пролитии чьей-то крови или каком-либо еще нарушении закона, грозящим той или иной карой. Нет, я

говорю об ошибке. Однако со временем ее последствия становятся для вас невыносимыми. Вы ищете способы обрести облегчение — необычные способы, однако не преступные и не противозаконные. И все же вы несчастны, ибо надежда покинула вас на самой заре юности, ваше солнце полностью затмилось в полдень и вы чувствуете, что оно останется в затмении до заката. Горькие, низменные воспоминания — вот все, что предлагает вам память; вы скитаетесь по свету, ища отдохновения в изгнании, счастья — в удовольствиях, в холодных, чувственных удовольствиях, имею я в виду, которые притупляют ум и парализуют чувства. С окаменевшим сердцем и опустошенной душой вы возвращаетесь к родным пенатам после долгих лет добровольного изгнания и знакомитесь — как и где, значения не имеет — с кем-то, в ком находите те чудесные, светлые качества, какие тщетно искали предыдущие двадцать лет, и они свежи, прекрасны, чисты и незапятнанны. Такое знакомство воскрешает вас, излечивает — вы чувствуете, что вернулись ваши лучшие дни, дни более высоких устремлений, более возвышенных чувств, и вас охватывает желание начать жизнь сначала, прожить оставшиеся вам дни более плодотворно,

более достойно бессмертного создания. И чтобы достигнуть этой цели, вправе ли вы преодолеть препятствие, навязываемое обычаем, всего лишь досадную условность, которую ваша совесть не освящает и ваш здравый смысл не признает?

Он умолк в ожидании ответа. Но что я могла сказать? О, если бы какой-нибудь благой дух подсказал мне взвешенный исчерпывающий ответ! Тщетная надежда! В плюще вокруг меня шелестел западный ветерок, но не нашлось Ариэля воспользоваться им, чтобы нашептать мне нужные слова; в цветущих ветвях над моей головой звенели птичьи трели, но и их нежная музыка ничего посоветовать не могла.

Вновь мистер Рочестер задал вопрос:

— Имеет ли право этот грешный скиталец, теперь раскаивающийся и взыскующий душевного мира, пренебречь мнением света, чтобы навеки связать с собой судьбу этой кроткой, возвышенной, милосердной души, тем самым обретя покой и возрождение к новой жизни?

— Сэр, — ответила я, — покой скитальца или возрождение грешника не должны зависеть от простых смертных. Люди умирают, философы изменяют мудрости, а христиане — добродетели. Если кто-то, кого вы знаете, страдал и ошибался,

пусть он ищет силы для раскаяния и исцеления не у ближних, но выше.

— Но орудие… орудие! Господь для своих деяний выбирает орудие. Я сам — оставим притчи — был суетным, порочным человеком, не находившим покоя, и я верю, что нашел орудие моего исцеления в…

Он умолк, птицы продолжали щебетать, чуть шелестели листья. Меня почти удивило, что они не оборвали щебета и шелеста, лишь бы услышать непроизнесенное признание. Впрочем, ждать им пришлось бы немало минут — так долго длилось молчание. Наконец я подняла глаза на медлящего, он жадно всматривался в меня.

— Мой дружок, — сказал он совсем другим тоном, и лицо у него тоже стало другим: мягкость и проникновенность сменились холодностью и сарказмом, — вы ведь заметили мою склонность к мисс Ингрэм? Не кажется ли вам, что она, если я женюсь на ней, возродит меня, как никто другой?

Он вскочил, прошел до конца дорожки, а вернулся, напевая какой-то мотив.

— Джейн, Джейн, — сказал он, остановившись передо мной, — вы совсем побелели из-за бессонной ночи. Вы проклинаете меня за то, что я

нарушил ваш ночной отдых?

— Проклинаю? Нет, сэр.

— Пожмите мне руку в подтверждение своих слов. Какие холодные пальцы! Вчера ночью, когда я прикоснулся к ним у двери в потайную комнату, они были теплее. Джейн, когда вы снова разделите мое ночное бдение?

— Когда бы я ни оказалась нужной, сэр.

— Например, в ночь накануне моей свадьбы! Я уверен, что не сумею уснуть. Обещаете составить мне компанию? С вами я смогу говорить о моей красавице. Ведь вы уже видели ее, познакомились с ней!

— Да, сэр.

— Какая величавость, точно статуя, Джейн. Высокая, смуглая, пышная, и волосы, какими, наверное, гордились знатные карфагенянки. Боже мой! Дент и Линн направляются к конюшне! Идите к дому между лаврами, вон в ту калитку.

Я пошла в одну сторону, он в другую, и я услышала, как во дворе он сказал весело:

— Мейсон вас всех опередил! Уехал еще до зари. Я встал в четыре, чтобы проводить его.

Глава 21

Странная вещь предчувствия! Как и симпатия душ, как и знамения. Объединение же всех трех слагается в тайну, к которой человечество еще не подобрало ключа. Я никогда не смеялась над предчувствиями — ведь они бывали у меня самой, и самые нежданные. Я верю, что родство душ существует — например, между разделенными огромными расстояниями родственниками, ставшими чужими друг другу, не знакомыми между собой, — и дает о себе знать, указывая на единый источник, к которому каждый прослеживает свое происхождение, однако проявления его выше ума человеческого. Что до знамений, как знать, не являются ли они плодом симпатии между Природой и родом людским?

Когда я была шестилетней девочкой, однажды вечером мне довелось услышать, как Бесси рассказывала Марте Эббот, что ей приснился младенец, а младенец во сне — это к беде, и случится она либо с тем, кто видел такой сон, либо с кем-то из его родных. Конечно, я быстро бы забыла этот разговор, если бы на следующий же

день он не запечатлелся в моей памяти навсегда — Бесси вызвали домой проститься с умирающей сестренкой.

И вот теперь мне пришлось вспомнить эту примету. Всю прошлую неделю, едва я засыпала, мне снилось маленькое дитя — то я его укачивала, держа в объятиях, то нянчила у себя на коленях, то смотрела, как малыш рвет маргаритки на лугу или же опускает ладошки в журчащий ручей. В этом сне малыш горько плакал, а на следующую ночь мне грезилось, как он весело смеется; то он льнул ко мне, то убегал от меня. Но в каком бы настроении он ни представал передо мной в ночных видениях, как бы ни выглядел, семь ночей он встречал меня, едва я вступала в царство снов.

Мне не нравилось, что меня преследует этот образ, это повторение одного и того же. Мне становилось не по себе, едва приближался час отхода ко сну, а с ним — и новая такая встреча. В ту ночь, когда меня разбудил вопль, он прервал игру, которой я развлекала малыша, а под вечер следующего же дня меня позвали в комнату миссис Фэрфакс — меня спрашивал какой-то приезжий. Войдя туда, я увидела мужчину, по виду слугу из хорошего дома. Он был в глубоком трауре, и даже шляпу, которую он держал в руке,

обвивала черная креповая лента.

— Думается, вы меня не помните, мисс, — сказал он, встав, когда я вошла. — Фамилия моя Ливен, я служил кучером у миссис Рид, когда вы жили в Гейтсхеде восемь-девять лет тому назад. Я и теперь там служу.

— Ах, Роберт! Здравствуйте! Я прекрасно вас помню. Вы иногда позволяли мне покататься на гнедом пони мисс Джорджианы. А как поживает Бесси? Вы ведь женились на ней?

— Да, мисс. Моя жена здорова, благодарю вас. Два месяца назад она подарила мне еще ребеночка. У нас их теперь трое. Мать и дитя чувствуют себя очень хорошо.

— А как ваши господа?

— Сожалею, мисс, но новости у меня самые дурные. У них большое несчастье. Такая беда!

— Надеюсь, никто не умер? — спросила я, посмотрев на его черную одежду. Он взглянул на черную ленту, обвивавшую его шляпу, и ответил:

— Мистер Джон умер неделю назад в своей лондонской квартире.

— Мистер Джон?

— Да.

— Как его матушка перенесла это?

— Так, мисс Эйр, это не был несчастный случай. Жизнь он вел самую беспутную, а последние три года и вовсе свихнулся, вот и умер темной смертью.

— Да, я слышала от Бесси, что он вел себя не очень хорошо.

— Не очень хорошо? Да хуже некуда! Губил свое здоровье и проматывал имение со скверными приятелями и с женщинами, скверней которых не бывает. Запутался в долгах и угодил в тюрьму. Мать за него уплатила раз, уплатила два, но чуть он выходил на свободу, как снова принимался за прежнее в той же компании. Умом он никогда крепок не был, а негодяи, с которыми он водился, и вовсе его задурили. Недели три назад он приехал в Гейтсхед и потребовал, чтобы хозяйка отписала ему все. Она отказалась: дескать, он и так почти ее разорил. Ну, он уехал в Лондон, а потом пришло известие о его смерти. Как он умер, одному Богу известно. Поговаривают, что наложил на себя руки.

Я молчала: новость была страшная. И Роберт Ливен продолжал:

— Хозяйка сама уже давно нездорова была. Очень растолстела, да и ослабела. Ну а тут разорение — она все боялась совсем нищей остаться,

— и пришла в расстройство. А известие о смерти мистера Джона и о том, как он умер, так ее поразило, что с ней удар приключился. Три дня говорить не могла, а во вторник ей полегчало, и все она вроде что-то сказать хотела, все знаки моей жене делала и мычала. А Бесси только вчера утром разобрала, что она ваше имя произносит, а потом и другие слова: «Привезите Джейн… пошлите за Джейн Эйр, мне надо с ней поговорить». Бесси толком не разобрала, в своем она уме или нет, то есть понимает ли сама, что говорит. Но она сказала мисс Рид и мисс Джорджиане и посоветовала послать за вами. Барышни хотели было отложить это, да только их мать совсем беспокойной стала и все повторяла: «Джейн! Джейн!», пока они не согласились. Я из Гейтсхеда уехал вчера, и коли вы поедете, мисс, так нам бы завтра с самого утра.

— Хорошо, Роберт, я буду готова. Мне кажется, я должна поехать.

— Я тоже так думаю, мисс. Бесси так и сказала, что вы не откажетесь. Да только, наверное, вам отпроситься надо?

— Да, и я сейчас же об этом поговорю.

И, проводив Роберта в людскую, я поручила его заботам жены Джона и самого Джона, а сама

отправилась на поиски мистера Рочестера.

В нижних апартаментах я его не нашла. Не было его ни во дворе, ни в конюшне, ни в саду. Я спросила миссис Фэрфакс, не видела ли она его. Да-да, он как будто играет в бильярд с мисс Ингрэм. Я поспешила в бильярдную, откуда доносились голоса и щелканье шаров. Играли мистер Рочестер, мисс Ингрэм, обе мисс Эштон и их кавалеры. Потребовалось некоторое мужество, чтобы вторгнуться в такое общество, однако мое дело не терпело отлагательств, а потому я подошла к моему патрону, стоившему рядом с мисс Ингрэм. Она обернулась на звук моих шагов и смерила меня надменным взглядом. Ее глаза словно говорили: «Что еще понадобилось этой ползучей твари?» А когда я негромко произнесла: «Мистер Рочестер!», она сделала жест, словно ей очень хотелось меня прогнать. Я помню, как она выглядела в ту минуту — удивительно грациозной и поразительно красивой. На ней было утреннее платье из небесно-голубого шелка, темные волосы обвивал лазурный газовый шарф. Она была поглощена игрой, и высокомерная досада еще усилила обычную надменность ее черт.

— Эта особа как будто ищет вас? — осведомилась она у мистера Рочестера, и он повернулся

посмотреть, какая «особа». На его лице промелькнула странная гримаса, столь же не поддающаяся истолкованию, как и многие другие выражения, порой появлявшиеся на его лице. Он бросил кий и вышел следом за мной.

— Что такое, Джейн? — спросил он, когда закрыл за нами дверь классной комнаты и прислонился к ней.

— С вашего разрешения, сэр, мне нужен отпуск на неделю или две.

— Для чего? Куда вы собрались?

— Навестить больную, которая прислала за мной.

— Какую больную? Где она живет?

— В Гейтсхеде, в ***шире.

— В ***шире? Так это же в ста милях отсюда! Кто она такая, что заставляет ехать к ней в такую даль?

— Ее фамилия Рид, сэр. Миссис Рид.

— Рид… Гейтсхед… Был Рид, владелец Гейтсхеда, мировой судья.

— Она его вдова, сэр.

— А какое отношение имеете к ней вы? Откуда вы ее знаете?

— Мистер Рид был моим дядей, братом моей матери.

— Да неужели? Вы никогда мне раньше этого не говорили. Всегда утверждали, что у вас нет родственников.

— Таких, кто признавал бы меня, и нет, сэр. Мистер Рид давно скончался, а его вдова избавилась от меня.

— Почему?

— Потому что я бедна, была для нее обузой, и она меня терпеть не могла.

— Но у Рида же были дети? Значит, у вас есть двоюродные братья и сестры? Вчера Джордж Линн говорил про какого-то Рида из Гейтсхеда: по его словам, другого такого порочного шалопая в Лондоне не найти. А Ингрэм упомянул мисс Джорджиану Рид из того же поместья, которой не то в прошлом, не то в позапрошлом сезоне очень восхищались в лондонском свете.

— Джон Рид умер, сэр. Он разорился сам, почти разорил мать и как будто покончил с собой. Новость эта так поразила его мать, что с ней случился апоплексический удар.

— Так чем вы можете ей помочь? Вздор, Джейн! Мне бы и в голову не пришло проехать сто миль, чтобы увидеть старуху, которая, возможно, умрет, прежде чем вы туда доберетесь. К тому же вы сами сказали, что она от вас избавилась.

— Да, сэр, но это случилось давно, когда у нее все было по-другому. Мне будет не по себе, если я пренебрегу ее желанием сейчас.

— И долго вы намерены там пробыть?

— Как можно меньше, сэр.

— Обещайте, что задержитесь не больше недели…

— Дать слово я не могу. А вдруг мне придется его нарушить?

— Но в любом случае вы вернетесь? И вас ни под каким предлогом не заставят остаться у нее насовсем?

— О нет! Я, безусловно, вернусь, если не случится ничего непредвиденного.

— А кто поедет с вами? Вы же не можете отправиться за сто миль одна.

— Разумеется, сэр. Она прислала за мной своего кучера.

— На него можно положиться?

— Да, сэр. Он служит там десять лет.

Мистер Рочестер задумался.

— Когда вы хотите уехать?

— Завтра рано утром.

— Ну, так вам нужны деньги. Путешествовать без денег вы никак не можете, а их, я полагаю, у вас маловато. Я же еще не платил вам… Так

сколько у вас за душой, Джейн? — добавил он с улыбкой.

Я достала мой кошелек — он был очень тощим.

— Пять шиллингов, сэр.

Он забрал у меня кошелек, высыпал содержимое на ладонь и засмеялся, словно столь малое число монет его обрадовало. Затем он открыл свой бумажник.

— Вот возьмите, — сказал он, протягивая мне банкноту. Пятидесятифунтовую — а он был мне должен всего пятнадцать фунтов! Я сказала, что у меня нет сдачи.

— Мне не нужна сдача, вы же знаете. Берите свое жалованье.

Я отказалась взять больше того, на что имела право. Он было нахмурился, но тут же ему пришла в голову новая мысль, и он воскликнул:

— Верно, верно! Лучше не давать вам столько, не то как бы вы не остались там на три месяца — с пятьюдесятью-то фунтами! Вот десять, этого же больше чем достаточно?

— Да, сэр, но теперь вы мне должны еще пять фунтов.

— Так вернитесь за ними! Я ваш банкир на сорок фунтов.

— Мистер Рочестер, раз мне представился та-

кой случай, я хотела бы упомянуть еще об одном деле.

— О деле? Любопытно послушать!

— Вы практически поставили меня в известность о своем намерении вскоре вступить в брак.

— Да, но что из этого?

— Тогда, сэр, Адель следует отправить в пансион. Не сомневаюсь, вы понимаете, насколько это необходимо.

— Убрать ее с дороги моей молодой супруги, которая иначе может и наступить на нее? В этом есть смысл. Да, без сомнения, Адель, как вы говорите, следует отправить в пансион, а вы, разумеется, должны тут же удалиться… э… ко всем чертям?

— Уповаю, что нет, сэр, но мне надо будет найти другое место.

— Да, конечно! — вскричал он тоном столь же неожиданным и нелепым, как гримаса, исказившая его лицо. Некоторое время он молча смотрел на меня. — И, полагаю, подыскать вам это место вы попросите старую госпожу Рид или барышень, ее дочерей?

— Нет, сэр. Я не в таких отношениях с моими родственницами, чтобы просить их об одолже-

нии. Я просто помещу объявление в газету.

— Ну уж нет! — проворчал он. — Только посмейте! Жалею, что не дал вам вместо десяти фунтов один соверен. Верните-ка девять фунтов, Джейн. Они мне нужны.

— Как и мне, сэр! — возразила я, пряча за спину руку с кошельком. — У меня каждый пенни на счету!

— Маленькая скряга! — сказал он. — Отказывает мне в денежной помощи. Уделите пять фунтов, Джейн!

— Ни пяти шиллингов, сэр. Ни пяти пенсов.

— Дайте мне хоть полюбоваться банкнотой!

— Нет, сэр, вам нельзя доверять.

— Джейн!

— Сэр?

— Пообещайте мне одно.

— Я пообещаю вам все что угодно, сэр. При условии, что сочту это выполнимым.

— Не давайте объявления. Доверьте поиски этого места мне. Я вам непременно что-нибудь найду.

— С радостью, сэр, если вы в свою очередь обещаете, что мы с Аделью покинем ваш дом до того, как в него войдет ваша супруга.

— Очень хорошо. Даю вам слово. Так вы едете

завтра?

— Да, прямо с утра.

— После обеда вы придете в гостиную?

— Нет, сэр. Мне надо собраться в дорогу.

— Значит, нам следует сейчас проститься на недолгий срок?

— Видимо, да, сэр.

— А как люди совершают церемонию прощания, Джейн? Научите меня. Я в этом мало осведомлен.

— Они говорят: «До свидания» или другие слова прощания, какие предпочитают.

— Ну, так скажите.

— До свидания, мистер Рочестер. До новой встречи.

— А что должен сказать я?

— То же самое, если хотите, сэр.

— До свидания, мисс Эйр. До новой встречи. И все?

— Да.

— На мой взгляд, слишком скупо, и сухо, и холодно. Мне хотелось бы что-нибудь добавить к церемонии. Например, рукопожатие… Но нет, оно меня тоже не удовлетворило бы. Так что, Джейн, ничего, кроме «до свидания», вы не скажете?

— Этого вполне достаточно, сэр. Одно слово

может содержать столько же сердечности, как десяток.

— Вполне возможно, но звучит так пусто и равнодушно. «До свидания»!

«Долго ли еще он будет стоять, прислонясь к двери? — спросила я себя. — Мне надо заняться сборами».

Раздался удар гонга, призывающий переодеваться к обеду, и мистер Рочестер внезапно покинул комнату, не добавив ни слова. Больше я его в этот день не видела, а утром уехала до того, как он встал.

К сторожке Гейтсхеда я подъехала около пяти часов первого мая и зашла туда, прежде чем отправиться в господский дом. В комнатке царили чистота и порядок. На окнах висели белые занавесочки, на полу — ни соринки, каминная решетка и прибор к нему сверкали в отблесках весело пылающего огня. Перед камином сидела Бесси, нянча своего новорожденного, а в углу тихонько играли маленький Роберт и его сестричка.

— Благослови вас Бог! Я знала, что вы не откажетесь приехать! — воскликнула миссис Ливен, едва я переступила порог.

— Да, Бесси, — сказала я, расцеловав ее, — и, надеюсь, я не опоздала? Как миссис Рид? Еще,

уповаю, жива?

— Да, жива. И уже не так путается в словах и мыслях. Доктор говорит, что неделю-другую она протянет, а вот на выздоровление он не надеется.

— Про меня она еще упоминала?

— Только сегодня утром говорила про вас и хотела, чтобы вы приехали. Сейчас она спит, то есть спала десять минут назад, когда я оттуда уходила. Она днем обычно лежит вроде как в оцепенении, а к шести-семи часам просыпается. Может, отдохнете здесь часок, мисс? А потом я вас провожу к ней.

Тут вошел Роберт, и Бесси, положив уснувшего младенца в колыбель, подбежала к мужу поздороваться. Потом она настояла, чтобы я сняла шляпку и выпила чашку чаю. Потому что, сказала она, выгляжу я очень усталой и бледной. Я была рада принять ее радушное приглашение и позволила снять с меня дорожную пелерину так же послушно, как позволяла в детстве раздевать себя перед сном.

Я глядела, как она хлопочет, и на меня нахлынули воспоминания о былом. А она доставала свои лучшие чашки, намазывала хлеб маслом, поджаривала ломтики хлеба и между делом

давала шлепка маленькому Роберту и Джейн, как когда-то мне. Бесси сохранила прежнюю вспыльчивость вместе с легкостью движений и миловидностью.

Чай был готов, и я привстала, чтобы подойти к столу, но она потребовала, чтобы я сидела смирно, прежним своим повелительным тоном. Я должна сидеть у камина, заявила она и поставила передо мной круглый столик с моей чашкой и тарелкой с угощением — совсем так же, как когда-то угощала меня в детстве каким-нибудь утаенным лакомством, положив его на детский стульчик. Я улыбнулась и подчинилась ее требованиям, как в те далекие дни.

Она пожелала узнать, счастлива ли я в Тернфилд-Холле и что за человек моя хозяйка, а когда я ответила, что хозяйки там нет, а только хозяин, она принялась задавать вопросы о нем: добрый ли он джентльмен и нравится ли мне. Я ответила, что он очень некрасив, но настоящий джентльмен, вежлив со мной, и я вполне там счастлива. Затем я принялась описывать гостящее там веселое общество, и Бесси с большим любопытством выслушивала все подробности. Такого рода вещи всегда ее очень интересовали.

За этими разговорами незаметно промелькнул

час. Бесси помогла мне надеть шляпку и прочее, и затем я вышла с ней из сторожки и направилась к дому. Точно так же девять лет назад я уходила из него. В темное, туманное, промозглое январское утро я покинула враждебный мне кров с отчаявшимся, ожесточенным сердцем, чувствуя себя изгнанницей, почти преступницей, — чтобы обрести холодный приют в Ловуде, таком далеком и неведомом. Тот же враждебный кров теперь вновь предстал передо мной, а мое будущее было столь же неясным и на сердце было так же тяжело. Я все еще ощущала себя скиталицей, однако теперь я больше полагалась на себя, на свои силы, и прежний гнетущий ужас оставил меня. Да и зияющие раны от обид и несправедливостей давно зажили, пламя возмущения угасло.

— Сначала пойдите в малую столовую, — сказала Бесси, когда мы вошли в прихожую. — Барышни сейчас там.

Минуту спустя я уже оглядывала малую столовую; все там выглядело таким же, каким было в то утро, когда я впервые увидела мистера Броклхерста, — даже перед камином лежал тот же самый коврик, на котором тогда стоял он. А в книжном шкафу на третьей полке на прежнем месте я различила два тома «Истории британских

птиц» Бьюика, а прямо над ними «Путешествия Гулливера» и «Арабские сказки». Неодушевленные предметы не изменились ни на йоту, чего никак нельзя было сказать об одушевленных.

Я увидела перед собой двух девиц — одну очень высокую, почти такую же высокую, как мисс Ингрэм, и очень худую, с суровым выражением на желтоватом лице. В ее облике было что-то почти аскетическое, еще больше подчеркиваемое крайней простотой черного суконного платья с прямой юбкой, а также накрахмаленным полотняным воротничком, гладко зачесанными от висков волосами и четками из черного дерева с распятием, какие носят монахини. Я не сомневалась, что вижу Элизу, хотя не улавливала в этом длинном бескровном лице никакого сходства с девочкой, которую когда-то знала.

Вторая, бесспорно, была Джорджиана, но не та, которую я помнила, тоненькая, грациозная девочка одиннадцати лет. Я увидела очень полную барышню в полном расцвете, с прозрачной, точно восковой кожей, красивыми правильными чертами лица, томными голубыми глазами и золотистыми локонами. Цвет ее платья тоже был черный, но оно разительно отличалось от платья сестры более пышным покроем и очень ей шло

— такое модное по контрасту с пуританским одеянием Элизы.

В обеих сестрах была черта сходства с матерью, но только одна: худая, бледная старшая дочь унаследовала материнские глаза с их желтоватым отливом, цветущая, пышнотелая младшая — очертания тяжелого подбородка, пожалуй, чуть смягченные, но тем не менее придававшие какое-то бессердечие внешности в остальном такой, казалось бы, авантажной и пленительной.

Обе барышни поднялись мне навстречу и обе, здороваясь, назвали меня «мисс Эйр». Голос Элизы был отрывистым и резким, на губах не появилось и тени улыбки. Она тотчас снова села и, устремив взгляд на огонь, казалось, забыла о моем существовании. Джорджиана к своему «здравствуйте» добавила несколько общепринятых фраз о том, как я доехала, о погоде и прочее, растягивая слова и искоса рассматривая меня с головы до ног, то скользнув взглядом по складкам моей поношенной шерстяной пелерины, то задерживая его на простенькой отделке моей немодной шляпки. Обе барышни обладали настоящим талантом, не произнеся ни слова, дать ясно понять, что считают вас предметом, достойным только насмешек. Легкая презрительность в глазах, холодность в

манере держаться, небрежность тона исчерпывающе выразили их мнение, причем их никак нельзя было обвинить в грубости.

Однако теперь презрительные насмешки, открытые или замаскированные, полностью утратили былую власть надо мной. Сидя между моими кузинами, я с удивлением обнаружила, насколько мне безразличны и полное игнорирование со стороны одной, и полусаркастичное внимание другой — Элиза не могла меня унизить, а Джорджиана оскорбить. Ведь мне было о чем подумать, кроме них: последние месяцы пробудили во мне столько чувств несравненно более сильных, чем те, которые они были способны задеть, — страдания и восторги настолько более острые и чудесные, чем все, чем могли уязвить или одарить меня они, а потому их поведение никак меня не трогало.

— Как себя чувствует миссис Рид? — вскоре спросила я, спокойно глядя на Джорджиану, которой вздумалось при прямом вопросе вздернуть нос, словно это была неожиданная дерзость.

— Миссис Рид? А! Вы о маменьке! Ей очень плохо. Не думаю, что вы увидите ее сегодня.

— Не могли бы вы, — сказала я, — подняться наверх и сказать ей, что я приехала? Я была бы

чрезвычайно вам обязана.

Джорджиана чуть не подпрыгнула на стуле, ее голубые глаза широко раскрылись и почти вылезли на лоб.

— Ведь она изъявила настойчивое желание увидеться со мной, — добавила я. — И мне не хотелось бы медлить с исполнением ее желания дольше, чем это совершенно необходимо.

— Маменька не любит, чтобы ее беспокоили по вечерам, — заметила Элиза.

Вскоре я встала, спокойно сняла без приглашения шляпку и перчатки и сказала, что поищу Бесси, которая, полагаю, сейчас в кухне, и попрошу ее узнать, захочет ли миссис Рид принять меня сегодня или нет. Так я и сделала, а отослав Бесси с моим поручением к миссис Рид, решила позаботиться о дальнейшем. До сих пор высокомерие всегда обращало меня в бегство. Год назад оказанный мне прием заставил бы меня покинуть Гейтсхед на следующее же утро; однако теперь мне сразу стало ясно, что это был бы глупый поступок. Я проделала путь в сто миль, чтобы увидеться со своей теткой, и должна оставаться с ней, пока ей не станет лучше или она не умрет. А что до гордости, а вернее, спеси ее дочерей, я должна пренебречь ею, не обращать на нее ника-

кого внимания. Поэтому я попросила экономку приготовить для меня комнату, объяснила, что, вероятно, пробуду здесь одну-две недели, распорядилась, чтобы мой дорожный сундук отнесли туда, и начала подниматься по лестнице следом за слугой. На площадке меня встретила Бесси.

— Хозяйка не спит, — сообщила она. — Я ей сказала, что вы здесь. Пойдемте посмотрим, узнает ли она вас.

Я не нуждалась в проводнице, чтобы найти дорогу к столь хорошо мне знакомой комнате, куда в былые дни меня так часто призывали для наказания или выговора. Я обогнала Бесси, тихонько открыла дверь. Уже стемнело, и на столе горела затененная свеча. Вот большая кровать с темно-желтым пологом, вот туалетный столик, кресло, скамеечка для ног — сколько раз мне приходилось стоять на ней на коленях и просить прощения за дурные поступки, мною не совершенные. Я покосилась на некий угол, почти ожидая увидеть тонкие очертания некогда такой страшной розги, которая пряталась там, выжидая, когда можно будет прыгнуть на меня подобно бесу и исполосовать мои дрожащие ладони или поникшую шею. Я подошла к кровати, откинула полог и наклонилась над взбитыми

подушками.

Лицо миссис Рид я помнила до последней черточки и теперь поискала его взглядом в полутьме. Какое счастье, что время гасит желание мести и заставляет умолкнуть голоса гнева и ненависти! Я рассталась с этой женщиной в горечи и ожесточении, а теперь вернулась, испытывая только жалость к ее тяжким страданиям и сильнейшую потребность простить и забыть все обиды, помириться и протянуть руку дружбы.

Да, вот оно, такое знакомое лицо, столь же суровое и безжалостное, как когда-то, вот эти особенные глаза, которые ничто не могло смягчить, чуть приподнятые, властные, тиранические брови. Как часто они угрожающе и с такой ненавистью хмурились на меня! Пока я смотрела на их неумолимую линию, в моей душе всколыхнулись воспоминания о детском ужасе и горестях! И все же я наклонилась и поцеловала ее. Она посмотрела на меня.

— Это Джейн Эйр? — спросила она.

— Да, тетя Рид. Как вы себя чувствуете, милая тетя?

Когда-то я поклялась, что ни разу больше не назову ее тетей, но теперь подумала, что забыть и нарушить эту клятву не будет большим грехом.

Мои пальцы коснулись ее руки, лежавшей поверх одеяла, — если бы она ласково их пожала, думаю, меня охватила бы искренняя радость. Но каменные натуры не смягчаются так быстро, а глубокие антипатии не вырываются с корнем так просто. Миссис Рид отодвинула руку и, слегка отвернув лицо, сказала, что вечер жаркий. Потом посмотрела на меня ледяным взглядом, и мне стало ясно, что ее мнение обо мне, ее чувства ко мне не изменились и измениться не могут. Я поняла по ее каменным глазам, в которые не было доступа ни нежности, ни слезам, что она твердо решила до самого конца считать меня неисправимо дурной, потому что, признав меня хорошей, она не испытала бы великодушной радости, а почувствовала бы себя оскорбленной и униженной.

Мне стало больно. Боль сменилась гневом, решимостью взять над ней верх, подчинить ее себе вопреки ее натуре и воле. К моим глазам, как в детстве, подступили слезы — я приказала им высохнуть. Потом принесла стул к изголовью кровати, села и нагнулась над подушкой.

— Вы послали за мной, — сказала я, — и я здесь. И намерена оставаться здесь, пока вам не станет лучше.

— Да, конечно! Ты видела моих дочерей?

— Да.

— Можешь сказать им; что я желаю, чтобы ты осталась, пока я не поговорю с тобой о том, что меня тяготит. Сейчас уже поздно, и мне трудно вспомнить все. Но что-то я хотела сказать… дай подумать…

Блуждающий взгляд, вдруг ослабевший голос поведали, как гибельно изменился ее когда-то могучий организм. Она беспокойно завороча-лась, попыталась повыше натянуть одеяло, но помешал мой локоть, прижатый к его уголку. Ее тут же охватило раздражение.

— Сядь прямо! — сказала она. — Не досаждай мне! Отпусти одеяло… ты Джейн Эйр?

— Я Джейн Эйр.

— Никто не поверит, сколько хлопот было у меня с этой девчонкой. Такая навязанная мне обуза — и как она сердила меня ежедневно, ежечасно своим непонятным характером, внезапными злобными вспышками и постоянным противо-естественным наблюдением за каждым моим движением! Право, как-то она кричала на меня, будто сумасшедшая, будто исчадие ада — ни один ребенок никогда так не кричал и не выглядел так! Я была рада избавиться от нее. Что с ней сделали

в Ловуде? Там вспыхнула горячка, и многие воспитанницы умерли. А вот она — нет. А я сказала, что да. Я так хотела, чтобы она умерла!

— Странное желание, миссис Рид. За что вы ее так ненавидели?

— Я всегда не терпела ее мать, потому что она была единственной сестрой моего мужа и он ее очень любил — противился тому, чтобы родные отреклись от нее, когда она сделала такой мезальянс, а когда пришло известие о ее смерти, он плакал точно слабоумный. Потом привез девчонку в дом, хотя я умоляла отдать ее кормилице и только платить за нее. Я возненавидела ее, едва увидела — такой хнычущий писклявый заморыш! Она орала в колыбели всю ночь напролет, и не просто громко плакала, как положено детям, а верещала и стонала. Рид ее жалел. Нянчил, заботился, как о своей собственной. Да нет, куда больше: их он в этом возрасте и не замечал вовсе. Старался, чтобы мои детки полюбили маленькую тварь. Ангельчики терпеть ее не могли, а он сердился на них, если замечал их неприязнь. Во время своей последней болезни он то и дело требовал, чтобы ее принесли к нему, и всего за час до смерти связал меня клятвой заботиться о ней. Уж лучше бы мне навязали нищенское отродье

из работного дома! Но он был слабовольным, от природы слабовольным. Джон совсем не похож на отца, и я рада этому. Джон похож на меня, на моих братьев — он настоящий Гибсон. Только бы он перестал терзать меня письмами о деньгах! У меня больше не осталось денег, чтобы давать ему, мы совсем обеднели. Придется рассчитать половину слуг и закрыть часть дома. Или сдать его внаем. Но я этого не стерплю! Но что же нам остается делать? Две трети моего дохода уходит на уплату процентов по закладным… А Джон днюет и ночует в игорных домах и всегда проигрывает… бедный мой мальчик! Его обманывают и обирают. Джон низко пал… на него страшно смотреть… мне стыдно за него, когда я его вижу.

Она приходила во все большее возбуждение.

— Думаю, мне лучше уйти, — сказала я Бесси, стоявшей по другую сторону кровати.

— Пожалуй что и лучше, мисс. Но к ночи она часто говорит вот так. Утром она бывает поспокойнее.

Я встала.

— Погоди! — воскликнула миссис Рид. — Я еще не все сказала. Он угрожает мне, все время угрожает своей смертью или моей, и мне иногда снится, что он лежит, а в его горле зияет огромная

рана, или что лицо у него почернело и распухло. Я в безвыходном положении. Столько сразу бед! Что делать? Как достать деньги?

Бесси принялась уговаривать ее выпить успокаивающий настой и лишь с трудом настояла на этом. Вскоре миссис Рид стихла и задремала. Тогда я ушла.

Прошло более десяти дней, прежде чем мне удалось еще раз поговорить с миссис Рид. Она либо бредила, либо впадала в забытье, и доктор запретил ее волновать. Тем временем я по мере сил старалась ладить с Джорджианой и Элизой. Сначала они были очень холодны. Элиза большую часть дня шила, читала или писала, почти не разговаривая ни с сестрой, ни со мной. Джорджиана часами сюсюкала со своей канарейкой и не замечала меня. Однако я решила, что непременно найду себе занятия и развлечения. Я захватила с собой рисовальные принадлежности, и вот они-то и послужили мне как для того, так и для другого.

Вооружившись коробкой карандашей и несколькими листами бумаги, я садилась в стороне от сестер у окна и набрасывала рисунки, подсказываемые вечно меняющимся калейдоскопом воображения: вид на море между двумя

скалами; восходящая луна и силуэт корабля на фоне ее диска; заросли камыша и водяных ирисов, а между ними — голова наяды в венке из лотосов; эльф, примостившийся под веткой цветущего боярышника на краю гнезда овсянки.

Как-то утром мне захотелось набросать лицо — какое, я не знала и не думала об этом. Я взяла мягкий карандаш, притупила его и принялась за работу. Вскоре на листе появился широкий выпуклый лоб и очертания нижней части лица с квадратной челюстью. Этот абрис меня удовлетворил, и мои пальцы принялись добавлять остальные черты. Такой лоб потребовал прямых широких бровей, затем, естественно, последовал четко очерченный нос с прямой переносицей и широкими ноздрями, затем выразительный и вовсе не узкий рот, затем твердый подбородок, разделенный ямкой. Разумеется, потребовались темные бакенбарды и иссиня-черные волосы, взбитые на висках и вьющиеся поперек лба. А теперь глаза. Их я оставила напоследок, потому что они требовали особого тщания. Я нарисовала их большими, с красивым разрезом, осенила темными длинными ресницами, придала радужкам особый блеск. «Неплохо! Но не совсем то, — подумала я, оценивая результат моих стараний. — Им

требуется больше силы и одухотворенности!» И я сделала тени контрастнее, чтобы блеск обрел новую яркость — два-три удачных штриха создали необходимый эффект. Теперь я видела перед собой лицо друга — так не все ли равно, что эти барышни поворачиваются ко мне спиной? Я любовалась, я улыбалась выразительному сходству и, вполне довольная, не замечала ничего вокруг.

— Портрет вашего знакомого? — спросила Элиза, незаметно подошедшая ко мне. Я ответила, что это игра фантазии, и поспешила подложить лист под другие. Разумеется, я солгала: сказать правду, это был портрет мистера Рочестера, причем очень похожий. Но ее это не касалось — никого не касалось, кроме меня.

Джорджиана тоже подошла взглянуть. Остальные рисунки ей очень понравились, но, взглянув на портрет, она воскликнула: «Какой урод!» Их обеих, казалось, удивило, что я недурно рисую. Я предложила нарисовать их портреты, и они по очереди попозировали для наброска. Затем Джорджиана принесла свой альбом. Я обещала нарисовать в нем какую-нибудь акварель. Это сразу привело ее в хорошее настроение, и она предложила мне погулять по парку. Гуляли мы около двух часов, беседуя самым дружеским об-

разом: она почтила меня подробным описанием чудесной зимы, которую провела в Лондоне два сезона тому назад, — всеобщего восхищения, которое вызывала, многочисленных поклонников, и даже несколько раз намекнула на титулованного обожателя. В течение оставшегося дня, а затем вечера намеки эти обрастали подробностями: я услышала про нежные нашептывания, мне описывались чувствительные сцены — короче говоря, в этот день она сочинила для меня первый том романа из жизни высшего света. Продолжения следовали изо дня в день — и все на одну и ту же тему: она, ее влюбленности, ее горести. Как ни странно, она ни разу не упомянула о болезни матери, или о смерти брата, или о невеселом будущем, ожидающем их семью. Ее, казалось, всецело поглощали воспоминания о прошлом веселье и надежды на грядущие легкомысленные удовольствия. В комнату матери она ежедневно заходила на пять минут, но не больше.

Элиза по-прежнему говорила мало — видимо, у нее не было времени на праздную болтовню. Мне еще не доводилось наблюдать подобной занятости. Однако было бы нелегко сказать, чем именно она была занята — а вернее, описать плоды ее трудов. С помощью будильника она

вставала спозаранку. Не знаю, что она делала до завтрака, но после него ее время было расписано по часам, и каждый час посвящался определенному делу. Трижды в день она внимательно читала маленький томик — молитвенник, как я установила. Как-то я спросила, что именно ее в нем привлекает, и она ответила: «Часослов». Три часа в день она вышивала золотыми нитками кайму по краям большого куска красного сукна величиной с добрый ковер. В ответ на мой вопрос о его назначении она ответила, что это покров на аналой для новой церкви, недавно построенной неподалеку от Гейтсхеда. Два часа она отдавала своему дневнику, два — работе на огороде и один — приведению в порядок счетов. Казалось, она не нуждалась ни в обществе, ни в разговорах. Мне кажется, она была по-своему счастлива — подобный распорядок отвечал ее вкусам, и ничто так ее не раздражало, как необходимость по той или иной причине отступить от этого почасового расписания.

Однажды вечером она — в более разговорчивом настроении, чем обычно, — сообщила мне, что поведение Джона и грозящее семье разорение были для нее большим горем, но теперь, сказала она, ее решение принято, и безвозвратно. Собственное

состояние она сумела уберечь, и когда ее мать умрет — ведь, невозмутимо добавила она, весьма маловероятно, чтобы она выздоровела или хотя бы протянула еще долго, — она приведет в исполнение давно лелеемый план: отыщет приют, где ничто не сможет нарушить привычного распорядка, и воздвигнет надежную преграду между собой и суетным светом. Я спросила, удалится ли с ней туда Джорджиана.

Разумеется, нет! Между ней и Джорджианой нет ничего общего и никогда не было. Она ни за что на свете не обременит себя ее обществом. Джорджиана пойдет своим путем, а она, Элиза, — своим.

Джорджиана, когда не изливала мне свое сердце, почти все остальное время лежала на кушетке, ворчала на царящую в доме скуку и без конца твердила, как бы ей хотелось, чтобы тетушка Гибсон пригласила ее в Лондон.

Ей бы только уехать отсюда на месяц-другой, пока все не будет кончено!

Я не спросила ее, что она подразумевает под «все», но, полагаю, она имела в виду кончину матери и мрачный ритуал похорон. Элиза обычно не замечала ни лени, ни жалоб сестры, будто никто не лежал на кушетке и не сетовал с утра до

ночи. Однако настал день, когда, отложив молитвенник и взяв рукоделие, она внезапно прочла сестре следующую нотацию:

— Джорджиана, земля, безусловно, не видывала более тщеславной и безмозглой курицы, чем ты. Ты вообще не имела права родиться, так как и не пытаешься сделать свою жизнь полезной. Вместо того чтобы жить для себя, в себе и с собой, как положено разумным существам, ты только и думаешь, как бы обременить своею слабостью чужую силу. А поскольку не находится никого, кто был бы готов посадить на шею такую жирную, распухшую, никчемную бестолочь, ты вопишь, что с тобой обходятся скверно, что ты всеми брошена и несчастна. Ну да, конечно, жизнь ты представляешь лишь как непрерывную смену удовольствий, а иначе объявляешь мир темницей. Тебя должны окружать восхищением, поклонением, лестью, тебе необходимы музыка, танцы, светское общество, не то ты зачахнешь. Неужели у тебя не хватает здравого смысла составить план, который сделал бы тебя независимой от всего и вся, кроме твоей собственной воли? Возьми день, раздели его на части, каждой части назначь занятие, не оставь пустыми четверть часа, десять минут, даже пять! А заданное себе вы-

полняй усердно, со строгой пунктуальностью. И день пройдет прежде, чем ты успеешь заметить, что он начался. И тебе не понадобилась ничья помощь, чтобы избавиться от пустых минут, не пришлось искать чьего-то общества, разговоров, сочувствия, снисходительности — короче говоря, ты прожила этот день так, как положено независимому существу. Послушайся совета, который слышишь от меня в первый и в последний раз, и что бы ни случилось, впредь ты обойдешься и без меня, и без кого бы то ни было еще. Пренебреги им, продолжай и дальше мучиться желаниями, хныкать, бездельничать — и терпи последствия своей глупости, какими бы тяжкими и невыносимыми они ни оказались. Предупреждаю тебя прямо! Так слушай — хотя я и не повторю того, что скажу сейчас, но поступлю именно так. После смерти нашей матери я отрекусь от тебя: с того часа, когда ее гроб опустят в склеп Гейтсхедской церкви, мы станем друг другу чужими, как будто никогда даже знакомы не были. Не думай, что я позволю тебе предъявлять на меня хоть какие-то права из-за того лишь, что мы дети одних родителей. Вот что я тебе скажу: если бы весь род людской, кроме меня и тебя, погиб бы и мы остались на земле только вдвоем, я бы бросила тебя в

Старом Свете, а сама отправилась бы в Новый.

Она плотно сжала губы.

— Ты напрасно утруждала себя этой тирадой, — ответила Джорджиана. — Кто же не знает, что ты самое эгоистическое, самое бессердечное существо в мире! И уж мне-то известно, какую завистливую ненависть ты затаила на меня. Ты показала ее в полной мере, когда устроила мне такую подлость с лордом Эдвином Виром. Не стерпела, что я стану выше тебя, буду носить титул, буду вращаться в кругах, куда тебе нет доступа, а потому не постеснялась сыграть роль шпионки и доносчицы, лишь бы навсегда погубить мое будущее. — Джорджиана достала носовой платок и сморкалась в него еще добрый час. Элиза продолжала прилежно вышивать, храня свою холодность и неуязвимость.

Некоторые люди ставят ни во что истинную чувствительность, но ее отсутствие сделало одну из этих двух натур невыносимо кислой, а другую — нестерпимо пресной. Чувствительность без рассудительности — напиток, бесспорно, водянистый, однако рассудительность, не сдобренная чувствительностью, — кусок слишком горький и сухой, чтобы его можно было проглотить.

День выдался ветреный и дождливый. Джор-

джиана заснула на кушетке над романом, Элиза отправилась на службу в новую церковь, ибо строго соблюдала внешние требования религии. Никакая погода не могла помешать ей пунктуально исполнить то, что она почитала своим религиозным долгом: по воскресеньям она трижды посещала церковь и в дождь, и в вёдро, а также и все службы по будням.

Я поднялась наверх узнать о состоянии умирающей, которая лежала там почти без присмотра. Даже слуги только делали вид, будто ухаживают за ней, а нанятая сиделка, за которой никто не следил, ускользала из комнаты при каждом удобном случае. Бесси хранила верность, но должна была заботиться о муже и детях, так что отлучаться в господский дом ей удавалось не очень часто. Как я и ожидала, сиделки в спальне не оказалось. Больная лежала неподвижно, словно в забытьи. Свинцово-бледное лицо тонуло в подушках. Огонь в камине почти погас. Я подложила угля, поправила одеяло, постояла некоторое время, глядя на ту, что уже не могла ответить мне взглядом, а потом отошла к окну.

Струи дождя хлестали по окнам, ветер гнул деревья. «Тут в комнате лежит женщина, — думала я, — над кем буйство земных стихий вскоре не

будет иметь никакой власти. Дух, который сейчас тщится вырваться из своей бренной оболочки, куда он улетит, когда наконец обретет свободу?»

В размышлении над этой великой тайной я вспомнила Хелен Бернс, вспомнила ее предсмертные слова, ее неколебимую веру, ее доктрину о равенстве бестелесных душ. И я все еще мысленно слышала ее незабвенный голос, все еще словно видела ее бледное, осунувшееся, исполненное такой одухотворенности лицо, ее ясный взгляд, когда на тихом смертном одре она шептала о нетерпеливом желании воссоединиться со своим Небесным Отцом… как вдруг с кровати у меня за спиной донесся слабый голос:

— Кто тут?

Я знала, что уже несколько дней миссис Рид не произносила ни слова. Так ей полегчало? И я подошла к ней.

— Это я, тетя Рид.

— Кто — я? — отозвалась она. — Кто ты? — Она посмотрела на меня удивленным, слегка тревожным, но не бессмысленным взглядом. — Я тебя не знаю. Где Бесси?

— В сторожке, тетя.

— Тетя? — повторила она. — Кто называет меня тетей? Ты ведь не Гибсон, и все же я тебя знаю.

Лицо, глаза, лоб мне хорошо знакомы. Ты похожа… да-да, ты похожа на Джейн Эйр!

Я промолчала, опасаясь, что, назвав свое имя, могу повредить ей.

— Однако, — продолжала она, — боюсь, я ошибаюсь. Мои мысли вводят меня в заблуждение. Я ведь хотела увидеть Джейн Эйр и вижу сходство там, где его нет. Да и за восемь лет она должна была очень измениться.

И я мягко постаралась заверить ее, что я именно та, кем она меня сочла, кем хотела, чтобы я оказалась. Убедившись, что она понимает мои слова, что она в полном сознании, я объяснила, как Бесси послала своего мужа за мной в Тернфилд-Холл.

— Я знаю, я очень больна, — сказала она затем. — Я пыталась повернуться на другой бок и не могла пошевельнуть ни рукой, ни ногой. И мне надо облегчить душу перед смертью. То, о чем мы забываем в здравии, гнетет в часы, какие настали для меня теперь. Сиделка здесь? Или в комнате ты одна?

Я заверила ее, что мы в спальне одни.

— Ну, так я дважды поступила с тобой нехорошо, о чем сейчас сожалею. Во-первых, нарушила обещание, которое дала мужу, вырастить тебя,

как собственного ребенка. А во-вторых… — Она сделала паузу. — Впрочем, это, возможно, особой важности не имеет, — пробормотала она самой себе. — И ведь я могу выздороветь, а унижаться перед ней мучительно.

Она попыталась повернуться, но не сумела. Лицо у нее изменилось — видимо, она почувствовала что-то: возможно, предвестие последнего вздоха.

— Нет, я должна пройти через это. Меня ждет Вечность. Лучше сказать ей… Подойди к туалетному столику, открой шкатулку и достань письмо, которое в ней лежит.

Я сделала все, как она велела.

— Прочти письмо, — сказала она.

Оно оказалось коротким и содержало вот что:

«Милостивая государыня, не будете ли вы столь любезны прислать мне адрес моей племянницы Джейн Эйр и сообщить, как она. Я намереваюсь в ближайшее время выписать ее ко мне на Мадейру. Провидение благословило мои труды преуспеянием и достатком, а так как я не женат и бездетен, то хотел бы удочерить ее, пока жив, и оставить ей после моей смерти все, что смогу оставить. Примите, милостивая государыня, уверения и т. д. и т. п.

Джон Эйр, Мадейра».

Послано письмо было три года назад.

— Почему я ничего об этом не знала? — спросила я.

— Потому что я питала к тебе слишком сильную и неколебимую неприязнь и не желала способствовать твоему благополучию. Не могла забыть, как ты вела себя со мной, Джейн, — ярость, с какой ты однажды набросилась на меня, тон, каким ты объявила, что ненавидишь меня больше всех на свете; твой недетский взгляд и голос, когда ты крикнула, что тебе тошно от мысли обо мне и что я обходилась с тобой жестоко и бессердечно. Я не могла забыть, что я почувствовала, когда ты вдруг вспылила и выплеснула весь яд своих мыслей. Мне стало страшно, будто собака, которую я ударила или пнула, вдруг посмотрела на меня человеческими глазами и прокляла меня человеческим голосом… Подай мне воды! Поторопись!

— Милая миссис Рид, — сказала я, подавая ей воду, — не думайте больше обо всем этом, забудьте. Простите меня за мою несдержанность, но ведь я тогда была ребенком и с того дня прошло восемь-девять лет.

Она не слышала меня и, отпив воды и переведя дух, продолжала:

— Говорю тебе, что я не могла этого забыть и отомстила: мне была невыносима мысль, что твой дядя тебя удочерит и ты будешь жить в довольстве и радости. И я ему написала. Объяснила, что очень сожалею, что причиню ему горе, но Джейн Эйр умерла, скончалась от тифозной горячки в Ловуде. А теперь поступай как хочешь. Напиши и опровергни мое утверждение, разоблачи мою ложь, когда пожелаешь. По-моему, ты родилась, чтобы терзать меня: мой последний час омрачен мучительным воспоминанием о поступке, который, если бы не ты, я никогда не соблазнилась бы совершить.

— Если бы я могла, тетя, убедить вас больше об этом не думать и посмотреть на меня с добротой и прощением…

— У тебя очень скверный характер, — сказала она. — Я и теперь не способна его понять. Почему девять лет ты спокойно сносила любое обхождение, а на десятом году вдруг пришла в такое исступление… Нет, для меня это непостижимо.

— Мой характер не такой скверный, как вы думаете. Я вспыльчива, но не мстительна. В детстве я много раз готова была полюбить вас, если бы вы мне позволили, и я искренне хочу, чтобы мы помирились. Поцелуйте меня, тетя.

Я приблизила щеку к ее губам, но она не пожелала к ней прикоснуться, сказала, что, нагибаясь над кроватью, я мешаю ей дышать, и снова потребовала воды. Когда я опять уложила ее на подушки — мне пришлось приподнять ее и поддерживать, пока она пила, — я прикрыла ладонью ее ледяную липкую руку… Слабые пальцы отодвинулись от моего прикосновения, стекленеющие глаза смотрели в сторону.

— Любите меня или ненавидьте, как вам угодно, — сказала я наконец, — а я вам прощаю по доброй воле и от всего сердца. Попросите прощения у Бога и обретите покой.

Бедная страдающая женщина! У нее уже не было сил перемениться: живая, она всегда меня ненавидела и, умирая, не могла не ненавидеть по-прежнему.

Тут вошла сиделка, а за ней Бесси. Я помедлила там еще полчаса, надеясь на какой-нибудь знак примирения, но напрасно. Она быстро впадала в глубокое забытье и больше уже не приходила в сознание. В полночь она умерла. Меня там не было, чтобы закрыть ей глаза. Как и ее дочерей. На следующее утро нам сказали, что все кончено. К тому времени ее уже обрядили. Мы с Элизой поднялись проститься с ней. Джорджиана, кото-

рая сначала разразилась громкими рыданиями, сказала, что у нее нет сил пойти с нами. Тело Сары Рид, когда-то крепкое и полное сил, теперь вытянулось в окостенелой неподвижности. Холодные веки закрывали кремневые глаза, лоб и резкие черты лица еще хранили отпечаток ее неумолимой души. Странным и пугающим казалось это мертвое тело мне. Я смотрела на него со скорбью и болью, но никаких кротких чувств оно во мне не вызывало — ни мягкой жалости, ни надежды, ни благоговения: я испытывала не горе от потери, а лишь муку от соприкосновения с ее муками да отчаяние без слез перед ужасом подобной смерти.

Элиза смотрела на свою мать с полным спокойствием. Несколько минут спустя она сказала:

— С ее конституцией она могла бы дожить до глубокой старости. Несчастья сократили ей жизнь. — Тут на миг спазм перехватил ей дыхание, а едва он прошел, как она повернулась и вышла из комнаты. Я последовала за ней. Ни она, ни я не уронили ни слезинки.

Глава 22

Мистер Рочестер отпустил меня всего на неделю, однако прошел месяц, прежде чем я покинула Гейтсхед. Я хотела уехать сразу же после похорон, но Джорджиана умоляла меня остаться, пока она не отправится в Лондон, куда наконец ее пригласил дядя, мистер Гибсон, который приехал, чтобы распорядиться погребением сестры и привести в порядок семейные дела. Джорджиана твердила, что боится остаться наедине с Элизой: ведь она не посочувствует ей в горе, не поддержит в унынии, не поможет собраться в дорогу, а потому я, как могла, терпела ее глупые жалобы и эгоистические сетования, а сама приводила в порядок и упаковывала ее гардероб. Разумеется, пока я трудилась, она сидела сложа руки, и я думала про себя: «Если бы нам суждено было жить вместе, кузина, мы бы начали все совсем по-другому. Я бы не смирилась покорно с тем, что вся работа взваливается на меня. Я бы оставляла тебе твою долю обязанностей и вынуждала бы выполнять их, либо ты сама и страдала от последствий своего безделья. И я бы настояла, чтобы ты держала при

себе свои хнычущие, наполовину неискренние причитания. Только потому, что оставаться нам вместе очень недолго, а в доме траур, я веду себя так терпеливо и услужливо».

Наконец Джорджиана уехала, но теперь Элиза, в свою очередь, попросила меня задержаться на неделю. Она сказала, что ее планы требуют всего ее времени и внимания, так как она намерена отправиться в места ей не известные. Все дни напролет она оставалась у себя в комнате и, заперев дверь, укладывала дорожные сундуки, опустошала ящики, сжигала ненужные бумаги и ни с кем не разговаривала. Мне же она поручила вести дом, принимать посетителей и отвечать на письма соболезнования.

Затем, как-то утром, она объявила мне, что я свободна.

— И, — добавила она, — я весьма обязана тебе за ценную помощь и тактичное поведение. Есть некоторая разница в том, чтобы жить с такой, как ты, или с Джорджианой. Ты сама управляешь своей жизнью и никого не обременяешь. Завтра, — продолжала она, — я отправлюсь на континент и поселюсь в религиозном приюте под Лиллем — в женском монастыре, если тебе так больше нравится. Там я буду жить спокойно,

никем не тревожимая. Некоторое время я посвящу знакомству с догмами католической церкви и тщательному изучению монастырских правил и порядка. Если я найду — а полагаю, так и будет, — что благодаря им все делается достойно и наилучшим образом, то перейду в католичество и, возможно, приму постриг.

Я не выразила удивления перед таким решением и не попыталась отговаривать ее. «Монастырская жизнь в совершенстве подойдет тебе, — подумала я. — Пусть же она принесет тебе счастье!»

Когда мы расставались, она сказала:

— Прощай, кузина Джейн Эйр. Желаю тебе всяких благ; у тебя есть толика здравого смысла.

Я ответила:

— И ты наделена здравым смыслом, кузина Элиза. Но, полагаю, через год он будет погребен в стенах французского монастыря. Однако это не мое дело, и если таково твое желание, мне нечего больше сказать.

— Ты права, — сказала она, и на этом мы расстались.

Так как больше мне не представится повода упоминать о ней или о ее сестре, то я воспользуюсь случаем, чтобы сообщить тут, что Джорджиана

сделала отличную партию, выйдя за богатого светского хлыща не первой молодости, а Элиза действительно постриглась в монахини, и теперь она — настоятельница того монастыря, в котором была послушницей и которому пожертвовала все свое состояние.

Я не знала, какие чувства обуревают людей, когда они возвращаются домой после долгого или краткого отсутствия. У меня не было случая испытать их. Девочкой я знала, что вернуться в Гейтсхед после долгой прогулки значило получить нагоняй, потому что я озябла или хмурюсь. Позднее я узнала, что возвращаться в Ловуд из церкви значило мечтать о сытной еде и жарком огне, но остаться и без того, и без другого. Оба эти возвращения не были приятными или желанными, никакой магнит не притягивал меня все сильнее и сильнее по мере приближения к цели. Теперь мне предстояло узнать, что такое возвращение в Тернфилд.

Сама поездка казалась скучной, невыносимо скучной: пятьдесят миль в первый день, ночь в гостинице, пятьдесят миль на следующий день. Первые двенадцать часов я думала о миссис Рид на смертном одре, вновь видела ее искаженное свинцово-бледное лицо, слышала ее странно

изменившийся голос. Вспоминала день похорон — гроб, катафалк, черную вереницу провожавших ее в последний путь фермеров и слуг (из родственников почти никто не приехал), зияющий склеп, тишину в церкви, заупокойную службу. Потом мои мысли обратились к Элизе и Джорджиане: я увидела одну в блеске бального зала — средоточие всех взоров; другую — в монастырской келье, и перебирала в уме особенности их натур и характеров. Прибытие в сумерках в *** рассеяло эти мысли, а ночь придала им совсем иной оборот. Лежа в гостиничной постели, я оставила воспоминания ради раздумий о будущем.

Я возвращалась в Тернфилд, но долго ли я там останусь? О нет! В этом я была уверена. В Гейтсхеде я получила письмо от миссис Фэрфакс. Гости разъехались, мистер Рочестер отправился в Лондон три недели назад, но собирался вернуться через две недели. Миссис Фэрфакс предположила, что уехал он для приготовлений к свадьбе, так как упомянул о своем намерении купить новую карету. Ей, писала она, все еще не верится, что он женится на мисс Ингрэм, однако, судя по тому, что говорят все и что она видела своими глазами, сомневаться в скорой свадьбе уже нельзя. «Было бы странно, если бы вы в этом усомнились!

— мысленно заметила я. — У меня никаких сомнений нет».

Отсюда следовал вопрос: «Куда уехать мне?» Всю ночь напролет мне виделась мисс Ингрэм. В особенно четком предутреннем сне она захлопнула передо мной ворота Тернфилда и указала на другую дорогу, а мистер Рочестер смотрел, скрестив руки на груди, сардонически посмеиваясь словно бы и над ней, и надо мной.

Я не известила миссис Фэрфакс о точном дне моего приезда, так как не хотела, чтобы в Милкоте меня ждала карета или коляска. Я намеревалась пройтись пешком и, поручив мой дорожный сундук заботам возчика, тихонько покинула гостиницу «Георг» около шести часов вечера и пошла в Тернфилд по старой дороге, которая вилась среди лугов. Ездили теперь по ней очень редко.

Июньский вечер не был по-летнему великолепным, а только светлым и погожим. В лугах трудились косари, и небо, хотя отнюдь не безоблачное, сулило хорошую погоду на завтра. Его голубизна — там, где она виднелась, — выглядела мягкой и обнадеживающей, а облачная пелена простиралась высоко вверху и была тонкой. Запад одевало теплое зарево, не охлаждаемое сырым туманом: казалось, там горит огонь, за за-

весой легкой дымки пылает алтарь, червонным золотом блестя в ее просветах.

Большая часть дороги осталась позади, и меня охватила радость — такая радость, что я даже остановилась и спросила себя, чему я радуюсь, а потом напомнила рассудку, что возвращаюсь я не в родной дом, не в надежный приют, не к любящим друзьям, нетерпеливо меня ожидающим. «Миссис Фэрфакс, конечно, приветливо тебе улыбнется, — сказала я, — а малютка Адель захлопает в ладоши и запрыгает, увидев тебя, но ты-то знаешь, что думаешь не о них, а он о тебе не думает».

Но есть ли что-нибудь более упрямое, чем юность? Более слепое, чем неопытность? Они заявили, что даже просто смотреть на мистера Рочестера — уже великая радость, смотрит ли он на меня или нет. И они добавили: «Поторопись! Поторопись! Будь с ним, пока можно. Ведь еще несколько дней, в лучшем случае — недель, и ты расстанешься с ним навсегда!» Но тут я задушила новую муку — безобразное чудовище, которое не хотела прятать в себе и растить, — и кинулась дальше бегом.

На тернфилдских лугах, конечно, тоже трудятся косари, а вернее, они к этому часу уже завершили

работу и теперь, вскинув на плечи косы и грабли, возвращаются домой. Впереди еще два луга, а потом я перейду через новую дорогу и окажусь у ворот. Сколько цветов в живых изгородях! Но у меня нет времени рвать их — я хочу поскорее войти в дом. Позади остался высокий куст шиповника, протянувший над дорогой зеленые ветки все в алых цветках, и я вижу узкий перелаз с каменными ступеньками и вижу… мистера Рочестера: он сидит там с книгой и карандашом в руках, он пишет.

Он ведь не призрак, так почему же все мои нервы напряжены и я теряю власть над собой? Что это значит? Я не предполагала, что затрепещу, когда увижу его, что лишусь голоса, способности двигаться лишь от одного его присутствия. Надо быстро пойти назад, как только я сумею сделать хоть шаг. Не к чему вести себя как последняя дурочка. Я знаю другую дорогу к дому… Что толку, знай я их хоть двадцать, — он увидел меня!

— Э-эй! — восклицает он и кладет книгу и карандаш. — Вот и вы! Идите-ка, идите сюда!

Я, кажется, иду, хотя не понимаю как, не сознаю своих движений и только стараюсь выглядеть спокойной, а главное, справиться со своим лицом, которое дерзко противится моей воле и

стремится выразить то, что я твердо решила скрыть. Но у меня же есть вуаль! И я опускаю ее: возможно, мне все-таки удастся вести себя с пристойной чинностью.

— Это ведь Джейн Эйр? Вы идете из Милкота пешком? Да. Одна из ваших штучек: не послать за экипажем, не трястись по улицам и дорогам, будто простая смертная, но прокрасться в сумерках к вашему дому, будто тень или сонное видение. Где, черт побери, вы пропадали целый месяц?

— Я провела его у моей тети, сэр. Она скончалась.

— Ответ в истинно джейнском духе! Добрые ангелы, будьте мне покровом! Она возвращается из мира иного, из обители скончавшихся людей, и объявляет мне об этом, встретив меня совсем одного в сгущающемся мраке! Если бы у меня хватило смелости, я бы прикоснулся к вам, проверил, не тень ли вы? Слышите, эльф! Но я скорее возьму в руки голубой огонек, блуждающий по болоту! Изменница! Изменница! — добавил он после короткой паузы. — Покинула меня на целый месяц и, готов поклясться, совсем забыла о моем существовании!

Я знала, что снова увидеть моего патрона будет радостью, пусть и омраченной мыслью, что скоро

он перестанет им быть и что я для него ничего не значу, но мистер Рочестер (по крайней мере так считала я) обладал такой властью дарить счастье, что вкусить даже две-три крошки, которые он разбрасывал бесприютным птицам вроде меня, было настоящим пиром. Однако его последние слова явились целительным бальзамом: они как будто подразумевали, что для него имеет значение, забыла я его или нет. И он назвал Тернфилд моим домом — ах, если бы это было так!

Он все еще сидел на ступеньках перелаза, а я, конечно, не могла попросить его дать мне пройти. И я осведомилась, уезжал ли он в Лондон.

— Да. Полагаю, об этом вы узнали тайными чарами?

— Миссис Фэрфакс упомянула о вашем отъезде в письме.

— А сообщила ли она вам, зачем я туда отправился?

— О да, сэр! Это ведь знали все.

— Вы обязательно посмотрите новую карету, Джейн, и скажете мне, верно ли, что она удивительно подойдет миссис Рочестер, которая, откинувшись на алые подушки, будет выглядеть как Боадицея в колеснице. Хотел бы я, Джейн, больше подходить ей наружностью. Скажите,

раз уж вы фея, не найдется ли у вас талисмана, или зелья, или еще чего-то, что превратит меня в красавца?

— Магия тут бессильна, сэр, — ответила я и мысленно добавила: «Любящий взгляд могущественнее любого талисмана. Для него вы уже красавец, а вернее, ваш суровый облик не нуждается в красоте, он выше нее».

Мистер Рочестер порой читал мои мысли с проницательностью, для меня непостижимой. Вот и теперь он не обратил внимания на мой резкий высказанный вслух ответ, но улыбнулся мне своей особой улыбкой, которая появлялась на его губах лишь изредка. Казалось, он считал ее слишком драгоценной для постоянного употребления — она была полна истинного солнечного света, и вот теперь он излил этот свет на меня.

— Проходите, Дженет, — сказал он, отодвигаясь и давая мне дорогу. — Идите домой и дайте отдых усталым ножкам странницы у дружеского очага.

Мне оставалось лишь молча его послушаться: никаких слов больше от меня не требовалось. Я молча перебралась через перелаз и намеревалась спокойно пойти дальше. Но какая-то сила приковала меня к месту, понудила обернуться. Я сказала — вернее, сказано это было мною и

против моей воли:

— Благодарю вас, мистер Рочестер, за вашу великую доброту. Я непостижимо рада вернуться к вам, и мой дом — там, где вы. Мой единственный дом. — И я побежала так быстро, что, попытайся он меня догнать, даже ему это вряд ли удалось бы. Увидев меня, Адель пришла в безумный восторг. Миссис Фэрфакс поздоровалась со мной в своей обычной манере — спокойно и дружелюбно, Лия мне улыбнулась, и даже Софи радостно сказала мне «Bon soir!».[53] Все это было очень приятно; нет счастья выше, чем чувствовать, что тебя любят, что твое присутствие доставляет радость.

В этот вечер я решительно отвратила свой взор от будущего, затворила уши от голоса, который продолжал напоминать мне о близкой разлуке и неизбежном горе. Когда после чая миссис Фэрфакс взяла вязанье, я села на пуфик возле нее, а Адель прижалась ко мне, опустившись на колени, и нас словно окутало золотое облако глубокого покоя, рожденного взаимной привязанностью, я безмолвно помолилась, чтобы разлука наступила нескоро, а расстояние, которое нас разделит, не было бы большим. Но тут без предупреждения

---

[53] Примечания: 53
Добрый вечер! (фр.)

вошел мистер Рочестер и оглядел нас так, словно ему доставил удовольствие вид нашей маленькой дружеской группы. И когда он сказал, что, наверное, миссис Фэрфакс рада получить назад свою приемную дочку, и добавил, что Адель, как видно, est prête à croquer sa petite maman Anglaise,[54] я осмелилась дать волю надежде, что, может быть, он не разлучит нас даже после брака, а поселит где-нибудь под крылом своей опеки, не лишит нас вовсе солнечного света своего присутствия.

После моего возвращения в Тернфилд наступила двухнедельная полоса подозрительного спокойствия. О женитьбе хозяина не говорилось ни слова, и я не видела никаких приготовлений к столь важному событию. Чуть ли не каждый день я осведомлялась у миссис Фэрфакс, не слышала ли она, решено что-нибудь или нет, но она всегда отвечала отрицательно. Один раз, сказала она, у нее достало смелости прямо спросить мистера Рочестера, когда он приведет в дом молодую хозяйку, но он отделался шуткой и бросил на нее один из своих непонятных взглядов. Она просто ничего не понимает.

Одно обстоятельство особенно меня удивило:

---

[54] Примечания: 54
просто обожает свою английскую мамочку (фр.).

никаких визитов в Ингрэм-Холл, никаких постоянных поездок туда и оттуда. Да, конечно, ехать туда двадцать миль — почти к самой границе с соседним графством, но что значит подобное расстояние для влюбленного? Для столь умелого и неутомимого наездника, как мистер Рочестер, это было бы просто утренней прогулкой. И я начала лелеять надежды, на которые не имела ни малейшего права: что, если помолвка расторгнута? Или слухи были пустыми? А может быть, она передумала, или он, или они оба? Я всматривалась в лицо моего патрона, ища следов печали или гнева, но никогда еще оно не было так свободно от хмурых туч или горьких чувств. Если в те минуты, которые я и моя ученица проводили с ним, я поддавалась грусти и впадала в неизбежное уныние, он становился особенно весел. Никогда еще он так часто не приглашал меня в гостиную, никогда еще не был таким добрым ко мне, чем в те дни, но — увы! — никогда еще я не любила его так сильно!

Глава 23

Чудесный июнь царил над Англией — чистые небеса, сияющее солнце благословляли длинную череду дней, хотя обычно и единственный такой редко выпадает нашей опоясанной морями стране. Будто они покинули Италию, как стая блещущих оперением перелетных птиц, и на пути с юга опустились отдохнуть на утесах Альбиона. Сено было убрано, луга вокруг Тернфилда зазеленели отавой, дороги белели спекшейся пылью, деревья стояли во всей своей темной красе, живые изгороди и рощи контрастировали глубокой зеленью роскошной листвы с солнечной светлостью молодой травки на лугах между ними.

В конце Иванова дня Адель, полдня собиравшая землянику у дороги в Хей, отправилась спать с солнцем. Я подождала, пока она не уснула, а тогда вышла подышать вечерней прохладой.

Наступил самый сладостный час из двадцати четырех: «пыланье дня уже угасло», роса освежила истомленные жарой поля и опаленные вершины холмов. Там, где солнце закатилось в величавой простоте, свободное от спесивой пыш-

ности облаков, по небосводу разливался лиловый сумрак; его мягкие тона переходили в еще более нежные, и лишь в одном месте над вершиной холма алел край алого рубина, пламенное жерло печи. Восток же чаровал своей темной синевой и собственным скромным алмазом — замерцавшей одинокой звездой. Луна же, которой предстояло его озарить, пока еще пряталась за горизонтом.

Некоторое время я прогуливалась по двору, но затем откуда-то донесся тонкий, такой знакомый запах — аромат сигары, — и я увидела, что дверь из библиотеки на террасу чуть приоткрыта. Я знала, что за мною могут наблюдать оттуда, и потому ушла в плодовый сад. В усадьбе не нашлось бы уголка уединеннее и более сходного с Эдемом. Под сенью деревьев благоухали цветы. Очень высокая стена отгораживала сад от двора, а с другой стороны буковая аллея заслоняла его от лужайки. В дальнем конце только утопленная изгородь отделяла сад от пустынных лугов. Обсаженная лаврами аллея, извиваясь, спускалась к изгороди и завершалась могучим каштаном, опоясанным скамьей, и там можно было прогуливаться, оставаясь невидимой для посторонних глаз. И пока выпадала такая медвяная роса, пока царила такая тишина, пока собирались такие сумерки, мне

казалось, что я могла бы вечно бродить в этой обители теней. Но вот я возвращаюсь наверх к цветникам и плодовым деревьям, привлеченная туда светом, который проливает между ними восходящая луна, и тут вдруг меня останавливает… нет, не услышанный звук, не увиденная фигура, но опять предостерегающий терпкий аромат.

Шиповник и жимолость, жасмин, гвоздики и розы уже давно курят фимиам наступившему вечеру, но это не аромат цветков или цветов, это — мне он хорошо известен — это аромат сигары мистера Рочестера. Я оглядываюсь и вслушиваюсь. Я вижу деревья, обремененные зреющими плодами. Я слышу трели соловья в роще в полумиле от сада. Нигде не видно движущейся фигуры, не слышно приближающихся шагов. Но это благоухание усиливается. Мне надо бежать отсюда. Я устремляюсь к калитке, ведущей в другую часть сада, — и вижу, что в нее входит мистер Рочестер. Я отступаю в увитую плющом нишу. Он ведь не останется здесь долго, он скоро вернется туда, откуда пришел, и, если я затаюсь, он меня не заметит.

Но нет! Вечер столь же приятен ему, как и мне, и старый сад чарует его, как и меня. Он неторопливо шагает по дорожке, то приподнимает

ветку крыжовника с ягодами, не уступающими величиной сливе, то срывает спелую вишню, то нагибается над клумбой вдохнуть душистость цветов или полюбоваться жемчужинами росы на их лепестках. Мимо меня пролетает большой бражник и опускается на цветок у ног мистера Рочестера. Он видит бабочку и нагибается, чтобы рассмотреть ее получше.

«Сейчас он стоит спиной ко мне, — подумала я, — и занят бражником. Если я буду ступать очень осторожно, то сумею ускользнуть незаметно».

Я пошла по дерну бордюра, чтобы меня не выдал хруст песка. Он стоял шагах в четырех-пяти от того места, где мне предстояло пройти, но как будто был всецело занят бражником. «Нет, он меня не заметит!» — подумала я и переступила через его длинную тень (луна еще не поднялась высоко). Он сказал негромко, не оборачиваясь:

— Джейн, подойдите посмотрите на этого молодца!

Я ступала бесшумно, глаз на затылке у него нет… неужели его тень способна чувствовать? Я вздрогнула и подошла к нему.

— Поглядите, какие крылья! — сказал он. — Он напомнил мне вест-индских бабочек. В Англии нечасто видишь таких больших и узорчатых

ночных странников… А! Вот он и улетел!

Бражник исчез из виду. Я смущенно направилась к калитке. Мистер Рочестер дошел со мной до нее и тогда сказал:

— Поверните назад. Такой чудесный вечер жаль проводить в четырех стенах. И уж конечно, никто не захочет лечь спать, когда закат вот так встречается с лунным восходом.

К несчастью, мой язык, хотя обычно не медлит с ответом, порой подводит меня, не сумев отыскать благовидный предлог. И, разумеется, спотыкается он именно в ту минуту, когда уместное слово, правдоподобное извинение особенно необходимы, чтобы выручить меня из неловкого положения. Мне не хотелось в этот час прогуливаться с мистером Рочестером по ночному саду, но я не находила причины, на которую могла бы сослаться, чтобы уйти от него. И пошла назад очень медленно, думая только о том, какую бы отыскать лазейку. Однако он выглядел таким невозмутимым и серьезным, что я устыдилась своего смущения. Дурные последствия, если они вообще угрожали, казалось, существовали лишь в моих мыслях, он же пребывал в безмятежном неведении.

— Джейн, — начал он, когда мы вошли в лав-

ровую аллею и неторопливо направились к утопленной изгороди и каштану, — летом Тернфилд очень приятен, не правда ли?

— Да, сэр.

— Вероятно, вы его полюбили? Вы, с вашим умением воспринимать красоту Природы и вашей солидной шишкой, знаменующей силу привязанностей.

— Да, он стал мне дорог.

— И хотя я не в состоянии этого понять, но, как я замечаю, вы привязались и к глупенькой Адели, и даже к простодушной старушке Фэрфакс?

— Да, сэр. По-разному, но я привязана к ним обеим.

— И вам будет грустно расстаться с ними?

— Да.

— Жаль-жаль! — сказал он, вздохнул и помолчал. — В жизни всегда так, — продолжал он затем, — едва обретешь милое сердцу место отдохновения, как некий голос приказывает встать и продолжить путь, ибо час привала закончился.

— Должна ли я продолжить путь, сэр? — спросила я. — Должна ли я покинуть Тернфилд?

— Мне кажется, должны, Джейн. Мне очень жаль, Дженет, но, мне кажется, иного выбора у вас нет.

Это был тяжкий удар, но я сумела его выдержать.

— Что же, сэр, когда будет отдан приказ отправиться в путь, я буду готова.

— Он уже отдан. Я должен отдать его теперь же.

— Так, значит, вы правда женитесь, сэр?

— Вот и-мен-но! Со-вер-шен-но вер-но! С обычной вашей проницательностью вы попали в самый центр мишени.

— И скоро, сэр?

— Очень скоро, моя… то есть мисс Эйр. И благоволите вспомнить, Джейн, как вы первая, едва я или Молва открыто намекнули на мое намерение всунуть мою старую холостую голову в священную петлю законного брака — короче говоря, заключить в супружеские объятия мисс Ингрэм (очень широкие потребуются объятия! Но не важно: такой прелести, как моя красавица Бланш, в избытке быть не может). Ну, так я хотел сказать, что… да слушайте же меня, Джейн! Или вы отворачиваете лицо, высматривая других бабочек? Не трудитесь, дитя: это только игра теней. Я хочу напомнить вам, что это вы сами первая сказали мне с тактом, который я столь в вас уважаю, с той предусмотрительностью, осто-

рожностью и смирением, столь подобающими вашему ответственному и зависимому положению, что в случае, если я сочетаюсь браком с мисс Ингрэм, и вам, и малютке Адели лучше убраться куда-нибудь подальше. Не стану останавливаться на тени, которую такая поспешность бросает на характер моей возлюбленной. Право, Дженет, когда вы будете далеко, я попытаюсь забыть о нем и буду помнить лишь о мудрости этой мысли, столь глубокой, что я положил ее в основу своих действий. Адель отбудет в пансион, а вы, мисс Эйр, должны найти себе новое место.

— Да, сэр. Я немедленно пошлю объявление в газету, а пока, полагаю… — Я собиралась сказать: «Полагаю, мне можно остаться здесь до того, как я отыщу себе новый кров», однако я умолкла, испугавшись, что фраза получается слишком длинная и я не совладаю со своим голосом.

— Примерно через месяц, — продолжал мистер Рочестер, — я надеюсь стать счастливым новобрачным, а до тех пор сам подыщу место и приют для вас.

— Спасибо, сэр, извините, что я причиняю…

— Извиняться не к чему! Я считаю, что нанимаемая, когда она исполняет свои обязанности так хорошо, как исполняли их вы, получает право

ожидать от своего нанимателя любую небольшую помощь, которую он может оказать без особых затруднений. Более того, через свою будущую тещу я узнал о месте, которое, мне кажется, подойдет вам; пять дочерей миссис Дионисиус О'Ядд, Белена-Лодж, Коннот, Ирландия, нуждаются в наставнице. Ирландия вам понравится. Говорят, если не ошибаюсь, люди там на редкость добросердечны.

— Но это так далеко, сэр.

— Вздор! Небольшое путешествие и расстояние — что они для столь разумной девицы, как вы!

— Дело не в путешествии, а в расстоянии, а кроме того, море ведь такая преграда…

— Между чем и чем, Джейн?

— Между мной и Англией, и Тернфилдом, и…

— Чем же еще?

— И вами, сэр.

Последнее я выговорила почти невольно, и так же без разрешения моей воли у меня хлынули слезы. Однако беззвучные — я не зарыдала, даже не всхлипнула. Мысли о миссис О'Ядд в Белена-Лодже оледенили мое сердце. Еще более ледяной была мысль о соленых пенных валах, которые забушуют между мной и тем, рядом с кем я сейчас шла, однако более всего ледяным

было напоминание о даже еще более широком море — богатстве, знатности, сословных предрассудках, — отделявшем меня от предмета моей такой естественной и такой неизбежной любви!

— Это так далеко, — повторила я.

— О, бесспорно, а когда вы поселитесь в Белена-Лодже, Коннот, Ирландия, я уже никогда не увижу вас, Джейн, поскольку могу сказать с полной уверенностью, что никогда не поеду в Ирландию, так как эта страна не слишком влечет меня. Мы были добрыми друзьями, Джейн, не правда ли?

— Да, сэр.

— А накануне разлуки друзья предпочитают остающееся недолгое время проводить друг с другом. Так побеседуем полчаса о вашем путешествии и нашем расставании, пока на небосводе звезды не обретут весь свой блеск. Вот каштан, вот скамья на его узловатых корнях. Так посидим здесь в покое и тишине, хотя, возможно, нам больше никогда не придется сидеть здесь.

Он усадил меня и сел сам.

— Путь до Ирландии далек, Дженет, и мне жаль отправлять моего дружка в столь утомительную дорогу. Но если ничего лучшего я найти не могу, так что же делать? Между мной и вами есть сход-

ство, как вам кажется, Джейн?

К этому времени я боялась произнести хоть слово. Сердце у меня разрывалось.

— Потому что, — продолжал он, — иногда у меня возникает странное связанное с вами чувство, особенно когда вы совсем рядом со мной, вот как сейчас. Словно под левыми ребрами у меня есть шнур, крепко и неразрывно соединенный с таким же шнуром в точно том же месте вашей фигурки. И если бурное море и двести миль суши разделят нас, я боюсь, что связующий шнур разорвется, и меня мучают нервные опасения, как бы у меня не началось внутреннее кровоизлияние. Ну а вы — вы меня забудете.

— Вот этого никогда не будет, сэр, вы знаете…

Продолжать было невозможно.

— Джейн, вы слышите, что в роще поет соловей? Послушайте!

Я слушала и судорожно всхлипывала, так как больше у меня не было сил подавлять свои чувства. Я не могла сопротивляться и вся содрогалась от безысходного отчаяния. Когда я обрела дар речи, то лишь для того, чтобы сказать, что предпочла бы никогда не родиться и, уж во всяком случае, никогда не приезжать в Тернфилд-Холл.

— Потому что вам жаль его покидать?

Буря чувств, поднятая горем и любовью в моей груди, брала верх, рвалась наружу, заявляла свое право на главенство — право смести все препятствия, право жить, восстать и, наконец, воцариться. Да — и заговорить.

— Мне горько расстаться с Тернфилдом, я люблю Тернфилд, люблю его, потому что здесь я испытала чудесную полноту жизни, пусть недолго. Мной не помыкали. Не леденили ужасом. Я не была замурована среди тупости, не была лишена соприкосновения с блестящей, сильной, высокой духовностью. Я беседовала лицом к лицу с тем, кого я почитаю, кто наполняет меня восторгом, — с человеком оригинального, могучего, широкого ума. Я узнала вас, мистер Рочестер, и мысль, что я должна быть разлучена с вами безвозвратно и навсегда, поражает меня ужасом и обрекает на муки. Я вижу неизбежность моего отъезда, и она подобна неизбежности смерти.

— Где вы видите неизбежность? — внезапно спросил он.

— Где? Вы сами, сэр, показали мне ее.

— В каком образе?

— В образе мисс Ингрэм, благородной красавицы, вашей невесты.

— Моей невесты? Какой невесты? У меня нет

невесты.

— Но будет.

— Да! Будет! Будет! — Он скрипнул зубами.

— Тогда я должна уехать, вы сами это сказали.

— Нет, вы должны остаться! Я клянусь — и клятва эта нерушима.

— Говорю же вам, я должна уехать! — возразила я почти с исступлением. — Вы думаете, я могу остаться и быть для вас ничем? Вы думаете, я говорящий автомат? Механизм, лишенный чувств? И стерплю, чтобы мой кусочек хлеба был вырван из моих уст и капелька моей живой воды выплеснута из моей чаши? Вы думаете, что, раз я бедна, безродна, некрасива и мала ростом, у меня нет души, нет сердца? Вы ошибаетесь! У меня есть душа, как и у вас, и сердце тоже! И если бы Господь даровал мне немного красоты и много богатства, я бы добилась того, чтобы расстаться со мной вам было бы столь же тяжко, как мне теперь расставаться с вами. Сейчас я говорю с вами без посредничества обычаев и условностей или даже смертной плоти: моя душа обращается к вашей душе, словно они обе миновали врата могилы и мы стоим перед Божьим Престолом равные — потому что мы равны!

— Потому что мы равны, — повторил мистер

Рочестер. — Вот так, — добавил он и заключил меня в объятия, прижал к груди, прикоснулся губами к моим губам. — Вот так, Джейн!

— Да, так, сэр, и все же не так, — возразила я. — Ведь вы женаты, или почти женаты, почти муж той, кто во всем ниже вас, той, к кому вы не питаете уважения, той, кого, я убеждена, вы не любите истинной любовью. Ведь я видела и слышала, как вы высмеивали ее. Я бы с презрением отвергла такой союз, а потому я лучше вас… Отпустите меня!

— Куда, Джейн? В Ирландию?

— Да — в Ирландию. Я высказала все, что думаю, и теперь могу уехать куда угодно.

— Джейн, угомонитесь. Не вырывайтесь, точно дикая обезумевшая птица, которая ломает свои перья в отчаянных попытках освободиться.

— Я не птица, и я не бьюсь в сетях. Я независимый человек, наделенный собственной волей, и я хочу уйти от вас.

Еще усилие — и я, высвободившись, выпрямилась, глядя ему в лицо.

— И ваша воля решит вашу судьбу, — сказал он. — Я предлагаю вам мою руку, мое сердце и все, чем владею.

— Вы разыгрываете фарс, и мне смешно.

— Я прошу вас прожить жизнь рядом со мной, быть моим вторым «я», чудесной спутницей на земном пути.

— Ее вы уже выбрали и должны остаться верны своему выбору.

— Джейн, помолчите немного, вы чересчур взволнованы, я тоже помолчу.

По лавровой аллее пронесся порыв ветра, зашуршал в листве каштана, унесся прочь в незримую даль и замер. Теперь единственным звуком в ночи была соловьиная песня, и, слушая ее, я опять заплакала. Мистер Рочестер сидел не двигаясь и смотрел на меня ласково и серьезно. Прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил.

— Подойдите ко мне, Джейн, нам надо объясниться и понять друг друга, — наконец сказал он.

— Я больше никогда к вам не подойду. Все разорвано, и я не могу вернуться.

— Но, Джейн, я зову вас как мою жену: только вы моя избранница.

Я молчала, не сомневаясь, что он смеется надо мной.

— Подойдите же, Джейн, подойдите!

— Между нами стоит ваша невеста.

Он встал и в один шаг оказался передо мной.

— Моя невеста здесь, — сказал он, вновь меня обнимая. — Потому что здесь равная мне, подобная мне. Джейн, вы станете моей женой?

Но я все еще не отвечала, все еще старалась вырваться, потому что все еще не могла поверить.

— Вы сомневаетесь во мне, Джейн?

— Полностью.

— У вас совсем нет веры в меня?

— Ни чуточки.

— Так я в ваших глазах лжец? — спросил он почти с гневом. — Мой маленький скептик, вам придется поверить. Люблю ли я мисс Ингрэм? Нет. И вы это знаете. Любит ли она меня? Нет. Чему я искал и нашел доказательства. Я устроил так, что до нее дошли слухи, будто мое состояние втрое, если не вчетверо, меньше, чем считают, а затем поехал в Ингрэм-Холл узнать результат. И она, и ее маменька обдали меня холодом. Я не хочу и не могу жениться на мисс Ингрэм. Вы… вы странное… вы почти неземное создание! Я люблю вас, как себя. Вас — бедную и безродную, и маленького роста, и некрасивую, вас я умоляю взять меня в мужья.

— Как, меня? — вскричала я (его пылкость, а главное, его невежливость, начали меня убеж-

дать в его искренности). — Меня, у кого в мире нет ни единого друга, кроме вас — если вы мой друг, — и ни единого шиллинга, кроме тех, что дали мне вы?

— Вас, Джейн! Вы должны стать моей, всецело и только моей. Вы согласны? Ответьте «да», и поскорее!

— Мистер Рочестер, дайте мне посмотреть на ваше лицо. Подставьте его лунным лучам.

— Зачем?

— Потому что я хочу прочесть его выражение. Повернитесь же!

— Ну вот! Но прочесть мое лицо вам будет не легче, чем смятый, исчерченный лист бумаги. Читайте же, но поторопитесь, ведь я страдаю.

Его лицо было необыкновенно взволнованным, и его залила волна краски. Одно выражение сменялось другим, в глазах таился непонятный огонь.

— Джейн, вы пытаете меня! — воскликнул он. — Этим взыскующим, но преданным и великодушным взглядом вы пытаете меня!

— Но почему? Если вы говорите правду и искренни в своем предложении, мои чувства к вам — лишь благодарность и преданность, а они не могут быть орудием пытки.

— Благодарность! — воскликнул он и добавил в каком-то безумии: — Джейн, дайте мне согласие сейчас же! Скажите: Эдвард — назовите меня по имени — Эдвард, я выйду за тебя замуж!

— Вы говорите серьезно? Вы правда меня любите? Вы искренне хотите, чтобы я стала вашей женой?

— Да. И если вам нужны клятвы, я клянусь!

— Тогда, сэр, я выйду за вас замуж.

— Эдвард… Моя милая женушка!

— Милый Эдвард!

— Приди же ко мне, совсем, совсем, — сказал он и продолжал проникновенным голосом мне на ухо, прижимаясь щекой к моей щеке: — Будь моим счастьем, я буду твоим.

— Да простит меня Бог, — сказал он потом, — а человек да не помешает. Она моя и останется моей.

— Мешать некому, сэр. У меня нет родственников, которые могли бы возражать.

— Да, и это самое лучшее, — сказал он.

Люби я его меньше, торжество в его голосе и глазах показалось бы мне свирепым, но, сидя рядом с ним, очнувшись от кошмара расставания, обретя рай в обещанном союзе, я могла думать лишь о блаженстве, испить которое мне было да-

ровано столь щедро. Вновь и вновь он повторял: «Ты счастлива, Джейн?», вновь и вновь я отвечала: «Да». А потом он заговорил, словно про себя:

— В этом искупление, искупление… разве я не нашел ее без друзей, сирой и безутешной? Разве я не буду хранить, лелеять и утешать ее? Разве в моем сердце нет любви, а в моем решении — неколебимой твердости? На Божьем суде это послужит оправданием. Я знаю, мой Творец не осуждает того, что я делаю. А что до суда света, я отвергаю его. Людскому мнению я бросаю вызов.

Но ночь — что произошло с ней? Луна еще не зашла, однако мы погрузились во мрак: я едва различала его лицо, хотя оно было так близко. И что случилось с каштаном? Он гнулся и стонал, а в лавровой аллее бушевал ветер.

— Надо вернуться в дом, — сказал мистер Рочестер. — Погода изменилась, а я мог бы просидеть здесь с тобой до утра, Джейн.

«А я с вами», — подумала я. И, возможно, произнесла бы это вслух, но тут из тучи, на которую я смотрела, вырвался свинцово-голубой зигзаг, над нашими головами раздался треск, грохот, раскат следовал за раскатом. Я спрятала мои ослепленные глаза на плече мистера Рочестера.

Хлынул ливень. Мистер Рочестер увлек меня

вверх по аллее и через сад в дом. Но мы вымокли насквозь, прежде чем успели вбежать в дверь. В прихожей он снял с меня шаль и стряхивал воду с моих волос, когда из своей комнаты вышла миссис Фэрфакс. Я заметила ее не сразу, как и мистер Рочестер. На столике горела лампа. Часы начали бить двенадцать.

— Поскорее сними мокрую одежду, — сказал он. — Но прежде, чем ты уйдешь, — спокойной ночи, спокойной ночи, моя любимая.

Он несколько раз поцеловал меня. Когда же он опустил руки и я подняла глаза, то увидела старушку, бледную, нахмурившуюся, ошеломленную. Я только улыбнулась ей и побежала наверх. «Объяснения подождут!» — подумала я. Тем не менее, очутившись у себя в комнате, я огорчилась при мысли, что она, пусть временно, неверно истолкует то, что увидела. Но вскоре радость изгнала все другие чувства. И как ни завывал ветер, как ни близко грохотал гром, как ни часто и ослепительно сверкали молнии, как ни лил дождь на протяжении двухчасовой грозы, я не испытывала ни малейшего страха и почти никакого почтения к разбушевавшимся стихиям. За это время мистер Рочестер трижды подходил к моей двери спросить, не боюсь ли я, спокойна

ли, и в этом было утешение, был источник силы, чтобы выдержать что угодно.

Утром я еще не успела встать с постели, как ко мне прибежала Адель и сообщила, что в старый каштан за плодовым садом ночью ударила молния и расколола его пополам.

Глава 24

Одеваясь, я думала о том, что произошло накануне, и спрашивала себя, не был ли это сон? Убедиться в обратном я могла, лишь снова увидев мистера Рочестера, услышав, как он повторит слова любви и свои обещания.

Причесываясь, я рассматривала в зеркале свое лицо: оно перестало казаться мне некрасивым. Его освещала надежда, жизнь окрасила щеки, а глаза, казалось, узрели источник благодати и похитили блеск у его сверкающих вод. Я часто боялась посмотреть на моего патрона в уверенности, что ему мой взгляд будет неприятен, но теперь я знала, что могу смело повернуть к нему мое лицо и нежность в его глазах не остынет. Я надела простенькое, но чистое и легкое летнее платье. Казалось, ни один наряд еще никогда мне так не шел, но ведь я еще никогда не надевала ничего в столь радужном настроении.

Сбежав по лестнице, я ничуть не удивилась, когда увидела, что на смену ночной грозе пришло ослепительно солнечное июньское утро, и ощутила через открытую стеклянную дверь дыхание

прохладного душистого ветерка. Природа не могла не радоваться, когда я была так счастлива. По дороге шла нищая с мальчиком — бледные, в лохмотьях. Я побежала навстречу и отдала им все деньги, оказавшиеся в моем кошельке, — три-четыре шиллинга, но так или эдак, я не могла не поделиться с ними моей радостью. Каркали грачи, певчие птицы рассыпали трели, но мое ликующее сердце пело еще веселее и мелодичнее.

Из окна внезапно выглянуло грустное лицо миссис Фэрфакс. Она печально позвала:

— Мисс Эйр, почему вы не идете завтракать?

За столом она хранила холодное молчание, но я по-прежнему не могла вывести ее из заблуждения. Как и она, я должна была дождаться объяснений мистера Рочестера. Я заставила себя немного поесть, а потом поспешила наверх. Из классной комнаты выбежала Адель.

— Куда ты? Пора садиться за уроки.

— Мистер Рочестер отослал меня в детскую.

— Где он?

— Там. — Она кивнула на дверь, из которой вышла. Я вошла туда и увидела его.

— Подойди, пожелай мне доброго утра, — сказал он, и я радостно подчинилась. Теперь это было не холодное слово и даже не рукопожатие

— меня обняли и поцеловали. Казалось таким естественным и чудесным, что он целует меня и ласкает.

— Джейн, ты расцвела, улыбаешься и выглядишь на редкость хорошенькой, — сказал он. — По-настоящему хорошенькой! И это мой бледненький маленький эльф? Моя Паутинка? Эта солнечная девочка с ямочками на щеках, розовыми губками, атласными каштановыми волосами и сияющими карими глазами?

У меня зеленые глаза, читатель, но вы должны извинить ему эту ошибку: полагаю, он их увидел в другом цвете.

— Это Джейн Эйр, сэр.

— А скоро — Джейн Рочестер, — поправил он. — Через четыре недели, Дженет, и ни на день позже. Ты слышишь?

Да, я услышала, но не сумела полностью понять. У меня закружилась голова. Чувство, которое вызвали эти слова, было сильнее всякой радости — оно сражало и оглушало: мне кажется, оно было сродни страху.

— Ты покраснела, а теперь совсем побелела, Джейн, почему?

— Потому что вы дали мне новое имя — Джейн Рочестер. И это так странно!

— Да! — сказал он. — Миссис Рочестер. Молодая миссис Рочестер, юная супруга Фэрфакса Рочестера.

— Этого не будет, сэр. Не может быть. Людям в этом мире не дано испытывать полного счастья. И мой жребий тот же, что и у ближних моих. Вообразить, что я так взыскана судьбой, значит поверить в волшебные сказки, в грезы наяву.

— Которые я могу сделать и сделаю явью. Начну сегодня же. Утром я отправил моему лондонскому банкиру распоряжение прислать мне некоторые драгоценности, отданные ему на хранение, — фамильные украшения хозяек Тернфилда. Надеюсь через день-два высыпать их тебе на колени. Тебе принадлежат все привилегии, все знаки внимания, какими я окружил бы дочь пэра, если бы собирался жениться на ней.

— Ах, сэр! К чему драгоценности? Мне неприятно слышать о них. Драгоценности для Джейн Эйр! Как неестественно и странно это звучит. Я предпочту обойтись без них.

— Я сам обовью бриллиантовым ожерельем твою шейку и возложу диадему на твою головку — как будут алмазы гармонировать с твоим лбом, Джейн, на который Природа наложила печать благородства. И застегну браслеты на этих тонких

запястьях, и надену кольца на эти волшебные пальцы феи.

— Нет-нет, сэр! Подумайте о чем-нибудь другом! Найдите иную тему, перемените тон. Не обращайтесь ко мне, будто я красавица. Я ведь всего лишь ваша простенькая гувернантка, больше всего похожая на квакершу.

— В моих глазах ты красавица, и красавица, которую всегда искало мое сердце, — изящная и воздушная.

— Плюгавая и невзрачная, хотите вы сказать. Вы грезите, сэр… или смеетесь надо мной. Ради Бога, не будьте ироничным!

— Я заставлю весь мир признать тебя красавицей, — продолжал он, и меня правда испугали его настояния, так как я чувствовала, что он либо обманывает себя, либо старается обмануть меня. — Я одену мою Джейн в атлас и кружева, а в волосах у нее будут розы, и я накрою головку, которая мне дороже всего в мире, бесценной фатой.

— И не узнаете меня, сэр. Я ведь буду уже не вашей Джейн Эйр, а мартышкой в расшитой галуном курточке, вороной в павлиньих перьях. Уж скорее, мистер Рочестер, я предпочту увидеть вас в театральной мишуре, чем себя — в придворном наряде. И ведь я не называю вас красавцем, сэр,

как ни сильна моя любовь к вам — она слишком сильна для лести. Так и вы не льстите мне.

Однако он продолжал, словно не услышав моих возражений:

— Сегодня же я отвезу тебя в карете в Милкот, и ты выберешь себе материи на платья. Я сказал, что мы поженимся через четыре недели. Церемония будет скромной — вон в той церкви, а затем я сразу умчу тебя в Лондон. После недолгой остановки там я увезу мою жемчужину на юг — к французским виноградникам, в итальянские долины, и она увидит все, что славится с древних времен или обрело знаменитость в наши дни. И она вкусит от жизни столиц и научится ценить себя просто благодаря сравнению с другими.

— Я буду путешествовать? И с вами, сэр?

— Ты проведешь недели и месяцы в Париже, Риме и Неаполе, во Флоренции, Венеции и Вене. Всюду, где странствовал я, теперь побываешь и ты. По той земле, которую топтали мои копыта, теперь будут ступать твои ножки сильфиды. Десять лет назад я скитался по Европе в полубезумии, и спутниками моими были отвращение, ненависть и ярость. Теперь я объеду ее исцеленным, очищенным, вместе с моим ангелом-утешителем.

Я засмеялась его словам.

— Я не ангел, — заверила я его, — и могу стать ангелом только после смерти. Нет, я буду сама собой, мистер Рочестер, и вы не должны ни ожидать, ни требовать от меня ничего небесного, потому что ангел я не более, чем вы, но от вас я ведь и не жду, что вы им окажетесь.

— Так чего ты ждешь от меня?

— Какое-то время вы, вероятно, останетесь таким, как сейчас, — очень недолгое время, а потом поохладеете, а потом станете капризным, а потом — суровым и взыскательным, и мне нелегко будет угождать вам. Но когда вы совсем привыкнете ко мне, возможно, я снова начну вам нравиться. Да, я сказала «нравиться», а не «снова меня полюбите». Я полагаю, ваша любовь испарится через полгода, если не раньше. Я заметила, что в книгах, написанных мужчинами, такой срок называется самым длинным, какой способна выдержать пылкость мужа. И все же я надеюсь, что как друг и спутница не стану для моего мужа совсем уж невыносимой.

— Невыносимой! Снова понравишься! Я думаю, ты будешь мне нравиться снова и снова, и я заставлю тебя признать, что я люблю тебя со всей искренностью, жаром и постоянством.

— Но ведь вы капризны, сэр?

— С женщинами, привлекающими меня лишь наружностью, я становлюсь самим дьяволом, едва убеждаюсь, что в них нет ни души, ни сердца, когда они сулят мне только пресность и банальность, а может быть, еще и глупость, вульгарность и сварливость. Но ясным глазам и красноречивым устам, душе, сотканной из огня, и характеру, который уступает, но не ломается, одновременно и гибкому, и твердому, мягкому и последовательному, я навеки отдаю нежность и верность.

— Вам доводилось встречать такой характер, сэр? Вы когда-нибудь любили женщину с таким характером?

— Я люблю ее сейчас.

— Но до меня? Если, конечно, я и правда в чем-то приближаюсь к вашему недосягаемому идеалу?

— Я никогда не встречал кого-нибудь, похожего на тебя, Джейн. Ты чаруешь меня и покоряешь. Ты словно бы подчиняешься, и мне нравится ощущение уступчивости, которое ты внушаешь. Но пока я наматываю мягкую шелковую нить на палец, по моей руке пробегает блаженный трепет и проникает в самое мое сердце. Я попадаю во власть чар, я покорен. Но власть эта чудеснее всего, что можно выразить словами, а покорение

исполнено колдовства, которое превыше любой доступной мне победы. Почему ты улыбаешься, Джейн? Что означает это необъяснимое, непостижимое выражение глаз?

— Мне вспомнились, сэр (вы извините такую мысль, она возникла невольно), мне вспомнились Геркулес с Самсоном и их коварные соблазнительницы.

— Ах так! Ну, берегись, эльф…

— Ш-ш-ш, сэр! Вы сейчас говорите не слишком умно — немногим умнее, чем вели себя эти господа. Однако женись они на своих красавицах, то, несомненно, суровостью в роли мужей возместили бы себе свою мягкую уступчивость как поклонников. Как, боюсь, произойдет и с вами. Хотела бы я знать, что вы мне ответите через год, если я попрошу о чем-то, а вам эта просьба будет неприятной или в тягость.

— Потребуйте что-нибудь у меня сейчас, Дженет, — любой пустяк. Я хочу, чтобы меня просили…

— Непременно, сэр! И моя просьба уже обдумана.

— Так говори! Но если ты и дальше будешь смотреть на меня и улыбаться такой улыбкой, я поклянусь сделать все, что угодно, до того, как

узнаю, в чем дело, и окажусь в глупом положении.

— Нет-нет, сэр. Я попрошу лишь одного: не посылайте за драгоценностями и не увенчивайте меня розами. Не станете же вы обшивать золотом и кружевами вот этот простой носовой платок.

— С тем же успехом я мог бы «золото позолотить», как сказано у Шекспира. Хорошо, на этот раз ваша просьба будет исполнена. Я напишу моему банкиру и отменю свое распоряжение. Но ведь ты у меня еще ничего не попросила. Только настояла на отказе от подарка. Попробуй еще раз.

— Ну хорошо, сэр. Удовлетворите мое любопытство относительно одной вещи.

Он как будто встревожился.

— Что-что? — сказал он торопливо. — Любопытство — опасный советчик. Хорошо еще, что я не поклялся исполнить любую просьбу!

— Исполнить эту никакой опасности не представляет, сэр.

— Так произнеси ее, Джейн, однако я предпочел бы, чтобы вместо возможного желания прояснить какую-то тайну это была бы просьба о половине всего, чем я владею.

— Ах, царь Артаксеркс! Зачем мне половина ваших владений? Или я, по-вашему, ростов-

щик, желающий вложить деньги в землю? Я бы предпочла ваше полное доверие. Вы ведь не лишите меня своего доверия, если допустите в свое сердце?

— Я отдаю тебе все мое доверие, Джейн, которое того заслуживает, но, ради Бога, не ищи ненужной ноши! Не возжелай яда, не превратись в моих объятиях в новую Еву.

— Но почему, сэр? Вы мне только что объяснили, как вам нравится быть покоренным и как вам приятны настойчивые убеждения. Так не воспользоваться ли мне вашим признанием? Не приняться ли улещивать, умолять и даже плакать и дуться, если потребуется, просто чтобы проверить свою власть?

— Только посмейте проделать такой опыт! Посягните, возьмите на себя лишнее — и игра кончена.

— Неужели, сэр? Скоро же вы сдаетесь! Какой у вас суровый вид! Брови ощетинились, стали шириной в мой палец, а лоб заставляет вспомнить уподобление, которое я однажды прочла в весьма необычных стихах, — «громовых туч суровая гряда». Таким будет ваше выражение в узах брака, сэр?

— А если вы будете выглядеть в узах брака вот

так, то я как добрый христианин, пожалуй, вскоре перестану якшаться с какой-то там сильфидой или саламандрой. Но чего ты хочешь, нечисть? Говори же!

— Ну вот, вы уже невежливы, а мне грубость нравится много больше лести. И я предпочту быть нечистью, чем ангелом. А спросить я хотела вот что: почему вы прилагали столько стараний, чтобы заставить меня поверить в ваше желание жениться на мисс Ингрэм?

— И все? Слава Богу, что не хуже! — Теперь он раздвинул черные брови, посмотрел на меня, улыбнулся и погладил по волосам, словно радуясь, что опасность миновала. — Пожалуй, я могу покаяться, — продолжал он, — пусть даже приведу тебя в негодование, Джейн, а я видел, в какого духа огня ты превращаешься, когда негодуешь. Ты ведь вчера ночью в холодном лунном свете запылала жарким пламенем, когда восстала на судьбу и объявила, что равна мне. Да, кстати, Дженет, это ведь ты сделала мне предложение!

— Разумеется, я, но к делу, сэр! Мисс Ингрэм?

— Ну, я притворился влюбленным в мисс Ингрэм, потому что хотел, чтобы ты влюбилась в меня столь же безумно, как я был влюблен в тебя, и я знал, что наилучшей союзницей в достижении

этой цели будет ревность.

— Превосходно! Вот теперь вы малы ростом — не выше кончика моего мизинца. Такое поведение, сэр, просто возмутительно и позорно! И вы даже не подумали о чувствах мисс Ингрэм, сэр?

— Все ее чувства соединены в одном — в гордыне, а гордыню полезно укрощать. Ты ревновала, Джейн?

— Не важно. Мистер Рочестер, вам это знать совершенно ни к чему. Еще раз дайте мне правдивый ответ. Мисс Ингрэм не будет страдать из-за вашего бессовестного флирта с ней? Она ведь должна чувствовать себя брошенной и отвергнутой?

— Ничего подобного! Я же рассказал тебе, что, напротив, это она меня отвергла. Слух о моей бедности в один миг охладил, а вернее, угасил ее пламя.

— Вот на какие коварные замыслы вы способны, мистер Рочестер! Боюсь, некоторые ваши принципы очень далеки от общепринятых.

— Мои принципы не прошли никакой выучки, Джейн, и могли несколько сбиться с пути из-за недостатка внимания к ним.

— Еще раз, и совершенно серьезно: могу ли я радоваться великому благу, мне выпавшему, не

опасаясь, что кто-то еще терпит горькие муки, какие недавно испытывала я?

— Можешь, моя пай-девочка. Никто в мире не питает ко мне такой чистой любви, как ты, — ведь, Джейн, веря в твое чувство ко мне, я умащиваю душу благодатью.

Я прижала губы к руке, лежавшей у меня на плече. Я так сильно его любила! Так сильно, что не могла выразить, — так сильно, что для этого не было слов.

— Попроси еще чего-нибудь, — сказал он затем. — Так приятно, когда ты просишь и я уступаю.

У меня уже была наготове новая просьба.

— Сообщите о своем намерении миссис Фэрфакс, сэр. Вчера ночью она видела меня с вами в прихожей и была поражена. Объясните ей, сэр, прежде чем я снова ее увижу. Мне больно, что такая хорошая женщина неверно судит обо мне.

— Иди к себе в комнату и надень шляпку, — ответил он. — Я намерен поехать с тобой в Милкот без отлагательств, и пока ты будешь переодеваться, я рассею заблуждение старушки. Она подумала, Джейн, что ты пожертвовала всем миром ради любви и рада этому?

— Я думаю, она решила, что я забыла, кто вы и кто я, сэр. Забыла свое место.

— Место! Место! Твое место — в моем сердце и на выях тех, кто посмеет оскорбить тебя теперь или после. Иди же.

Я скоро оделась и, услышав, что мистер Рочестер вышел из комнаты миссис Фэрфакс, поспешила туда. Старушка по своему утреннему обыкновению читала главу Святого Писания — перед ней лежала ее Библия и на открытой странице покоились ее очки. Новость, сообщенная мистером Рочестером, видимо, заставила ее забыть про благочестивое чтение — ее взгляд был устремлен на противоположную стену с выражением растерянности, которое появляется у простодушных натур при нежданном известии. При виде меня она очнулась, попыталась улыбнуться и произнесла несколько поздравительных слов. Однако улыбка сразу угасла, фраза осталась недоговоренной. Она надела очки, закрыла Библию и отодвинула стул от стола.

— Я так изумлена! — начала она. — Право, не знаю, что и сказать вам, мисс Эйр. Мне ведь это не снится, правда? Порой я задремываю. Когда сижу вот так одна и мне мерещится всякое, чего нет. Мне не раз в такой дремоте казалось, будто мой дорогой муж, который пятнадцать лет как скончался, вдруг входит и садится рядом со мной.

И я даже слышу, как он зовет меня по имени — Элис, как звал когда-то. Теперь вы можете мне сказать, правда ли, что мистер Рочестер попросил вас стать его женой? Не смейтесь надо мной. Но я очень ясно помню, как он приходил сюда минут пять назад и сказал, что через месяц ваша с ним свадьба.

— То же самое он сказал и мне, — ответила я.

— Значит, правда! Вы ему верите? Вы дали согласие?

— Да.

Она посмотрела на меня в полном недоумении.

— Вот уж никогда бы не подумала! Он ведь очень гордый. Все Рочестеры были горды, а его отец к тому же любил деньги. Да и его самого всегда называли расчетливым. Он намерен жениться на вас?

— Так он мне сказал.

Она оглядела меня с ног до головы. Ее глаза сказали мне, что не обнаружили никаких чар, которые могли бы объяснить тайну.

— Это выше моего понимания! — продолжала она. — Но, несомненно, все так и есть, раз вы подтверждаете. Что из этого получится, я предсказать не берусь. Просто не знаю. Равенство в

положении и состоянии в таких случаях имеет большое значение. А еще разница в возрасте! Целых двадцать лет! Он же почти в отцы вам годится!

— О нет, миссис Фэрфакс! — воскликнула я, несколько задетая. — Ничего подобного! Никто, увидев нас вместе, этого даже не подумал бы. Мистер Рочестер выглядит совсем молодым, да и душой моложе, чем некоторые в двадцать пять лет.

— Он правда женится на вас по любви? — спросила она.

Ее холодность и скептичность так больно меня ранили, что на мои глаза навернулись слезы.

— Мне грустно, что я вас огорчаю, — продолжала старушка, — но вы так молоды, так плохо знаете мужчин, что мне хотелось предостеречь вас. Как учит старинная пословица: «Не все то золото, что блестит». И я очень опасаюсь, как бы не вышло что-то совсем другое, чем мы с вами ожидаем.

— Но почему? — спросила я. — Разве я так омерзительна? Разве мистер Рочестер не может питать ко мне подлинную нежность?

— Да нет же! Выглядите вы достойно и очень похорошели в последнее время. И мистер Роче-

стер, вполне вероятно, очень к вам привязался. Я с самого начала замечала, что он относится к вам по-особому. Бывали минуты, когда подобное предпочтение тревожило меня, внушало желание остеречь вас, но мне не хотелось указать даже на возможность чего-то дурного. Я знала, что подобное предположение поразит вас или оскорбит. А вы были такой тактичной, скромной и благоразумной! И я надеялась, что вы сами сумеете защитить себя. Просто выразить не могу, что я пережила вчера ночью, когда искала вас по всему дому и не могла найти. И хозяина тоже. А потом, в полночь, увидела, как вы вернулись с ним.

— Не стоит обсуждать это теперь, — нетерпеливо перебила я. — Достаточно того, что все хорошо.

— Надеюсь, все будет хорошо до самого конца, — сказала она. — Но, поверьте, вы не можете быть излишне осторожной. Постарайтесь держать мистера Рочестера на расстоянии вытянутой руки, не полагайтесь не только на него, но и на себя. Джентльмены его положения не часто женятся на гувернантках.

Во мне росла досада, но тут, к счастью, вбежала Адель.

— Позвольте мне… позвольте мне поехать с вами в Милкот! — восклицала она. — Мистер Рочестер говорит «нет!». А ведь в новой карете так много места. Попросите его, чтобы он позволил мне поехать в Милкот.

— Хорошо, Адель, — сказала я и поспешила выйти с ней, радуясь, что избавляюсь от мрачных наставлений. Карета была запряжена и как раз подъезжала к крыльцу, а мой патрон расхаживал по двору. За ним по пятам следовал Лоцман.

— Адель ведь может поехать с нами, сэр? Не правда ли?

— Я сказал ей «нет». Дети мне ни к чему! Только вы!

— Пожалуйста, мистер Рочестер, позвольте ей поехать, будьте добры! Так лучше.

— Вовсе нет. Она будет несносной помехой.

В его голосе и взгляде было нетерпеливое раздражение. Я вновь ощутила холод предостережений миссис Фэрфакс, давящий груз ее сомнений — нечто неясное, неопределенное омрачало мои надежды. Чувство, что мне дана власть над ним, почти меня покинуло. И я привычно подчинилась ему без новых настояний. Однако, подсаживая меня в карету, он заглянул мне в лицо.

— Что случилось? — спросил он. — Солнечное сияние погасло. Вы правда хотите, чтобы девочка поехала? Вы огорчитесь, если она останется?

— Да, я предпочла бы, чтобы она поехала с нами, сэр.

— Ну так беги надень шляпку, — приказал он Адели. — И молнией назад!

Она выполнила его распоряжение со всей быстротой, на какую была способна.

— В конце-то концов одно утро значит не так уж много, — заметил он, — раз совсем скоро я намерен сделать тебя своей: твои мысли, разговоры, общество станут моими на всю жизнь!

Адель, оказавшись в карете, осыпала меня поцелуями в благодарность за мое заступничество и тотчас была пересажена в угол с другого бока от него. Теперь она лишь грустно поглядывала в мою сторону: столь грозное соседство заставило ее присмиреть — опасаясь новой перемены в его настроении, она не решалась даже шепотом сказать что-то, спросить о чем-нибудь.

— Пусть она сядет рядом со мной, — сказала я умоляюще. — Она может обеспокоить вас, сэр, а здесь достаточно места.

Он передал ее мне точно болонку.

— Я все-таки отошлю ее в пансион, — объявил

он, но уже с улыбкой.

Адель поняла и спросила, должна ли она будет поехать туда sans mademoiselle?[55]

— Да, — ответил он. — Категорически sans mademoiselle, так как я собираюсь забрать мадемуазель на луну. Там я отыщу пещеру в какой-нибудь белой долине между вулканами, и мадемуазель будет жить в ней со мной, и только со мной.

— Но ей же нечего будет есть. Она умрет с голоду, — задумчиво предположила Адель.

— Утром и вечером я буду собирать для нее манну небесную. Лунные равнины и горные склоны, Адель, выбелены манной.

— Но она замерзнет. Как она разожжет огонь?

— Огонь вырывается из лунных гор. Когда она замерзнет, я унесу ее на вершину вулкана и положу на краю кратера.

— Oh! Q'elle y sera mal — peu confortable![56] И ведь ее одежда износится. Как она сможет купить новую?

Мистер Рочестер притворился озадаченным.

— Хм! — сказал он. — А что бы сделала ты,

---

[55] Примечания: 55
без мадемуазель (фр.).

[56] Примечания: 56
Ой! Как же ей там будет плохо — совсем неудобно! (фр.)

Адель? Напряги свой умишко, поищи ответа. Например, годится на платье белое или розовое облачко? А из радуги можно выкроить красивый шарф.

— Нет, ей лучше остаться там, где она сейчас, — решила Адель после некоторого размышления. — И ведь ей станет скучно жить на луне только с вами. На месте мадемуазель я бы ни за что не согласилась поехать с вами туда.

— А она согласилась. Она дала слово.

— Но вы не сможете увезти ее туда. На луну нет дороги. Она же висит в воздухе. А вы летать не умеете, и мадемуазель тоже!

— Адель, погляди вон на тот луг! — Мы уже выехали из ворот Тернфилда и, чуть покачиваясь, катили по ровной дороге к Милкоту. Гроза надежно прибила пыль к земле, дождь ровно освежил невысокие живые изгороди и величавые деревья — их умытая листва чаровала нежной зеленью. — Как-то поздно вечером, Адель, я шел по этому лугу. Было это недели две назад, вечером того дня, когда ты помогала мне сгребать сено под яблонями. Я устал, поработав граблями, и сел отдохнуть на ступеньку перелаза. Достал записную, книжку, карандаш и начал писать о несчастье, постигшем меня очень давно, и о своей надежде,

что настанут счастливые дни. Я писал очень быстро, хотя уже смеркалось, и тут что-то появилось на тропинке и остановилось в двух шагах от меня. Малюсенькое создание с покрывалом из паутинки на голове. Я поманил его к себе, и оно подошло к моему колену. Я ничего не говорил, и оно не говорило словами, но я читал по его глазам, а оно по моим. И вот каким был наш беззвучный разговор: оно сказало, что прислано из страны эльфов сделать меня счастливым и что оно — фея. Мне надо покинуть обычный мир ради уединенного места — например, луны. Тут она кивнула головкой на рог месяца, поднимавшегося над Хей-Хиллом. И рассказала мне о мраморной пещере в серебряной долине, где мы могли бы поселиться. Я сказал, что был бы рад отправиться туда, но напомнил — вот, как сейчас ты, — что у меня нет крыльев.

«Ничего страшного, — сказала фея, — вот талисман, который уничтожит все трудности». И протянула мне красивое золотое кольцо. «Надень его, — сказала она, — на безымянный палец моей левой руки, и тогда я — твоя, а ты — мой, мы вместе покинем землю и создадим свои небеса вон там». И она опять показала на луну. Это кольцо, Адель, лежит у меня в кармане панталон в

виде соверена, но я вскоре вновь превращу его в кольцо.

— Но при чем тут мадемуазель? Мне про фею неинтересно. Вы же сказали, что возьмете на луну мадемуазель!

— Мадемуазель — фея, — таинственно прошептал он, а я сказала ей, что он шутит, и она, в свою очередь, с истинно французским скептицизмом назвала мистера Рочестера «un vrai menteur»,[57] заявив, что ни чуточки не поверила в его «Contes de fée»[58] и вообще, «du reste, il n'y avait pas de fées et quand même il y en avait»,[59] они, конечно бы, ему не являлись, не дарили бы никаких колец и не предлагали бы жить с ними на луне.

Час, проведенный в Милкоте, оказался для меня очень нелегким. Мистер Рочестер приказал остановиться у склада шелковых тканей. И мне было приказано выбрать материи на полдюжины платьев. Для меня это было мучением. Я умоляла отложить… когда-нибудь потом… Нет! Непременно теперь же! Мольбы, произносимые

---

[57] Примечания: 57
настоящим выдумщиком (фр.).

[58] Примечания: 58
Волшебные сказки (фр.).

[59] Примечания: 59
на самом деле никаких фей не бывает, а если бы и были (фр.).

энергичным шепотом, сократили их число до двух. Но он поклялся, что выберет сам. С тревогой я смотрела, как его взгляд скользит по разнообразию ярких расцветок. Выбор он остановил на блестящем шелке самого глубокого аметистового оттенка и великолепном розовом атласе. Вновь я настойчиво зашептала, что уж лучше бы он сразу купил мне платье из золота, а шляпку из серебра — надеть платье из этих тканей я не решусь никогда. С невероятным трудом — он был тверд как кремень — я убедила его взять взамен черный атлас и жемчужно-серый шелк.

«Так уж и быть!» — сказал он. Но я у него еще буду соперничать красками с цветником.

Как я обрадовалась, когда мне удалось увести его из этого склада, а потом и из ювелирной лавки! Чем больше он покупал для меня, тем жарче горели мои щеки от досады и унижения. Когда я наконец вновь оказалась в карете, возбужденная и совсем измученная, я внезапно вспомнила о том, о чем в вихре событий последних дней совершенно забыла, — о письме моего дяди Джона Эйра миссис Рид, о его намерении удочерить меня и сделать своей наследницей. «Каким облегчением, — подумала я, — было бы самое скромное состояние, лишь бы оно обеспечило мне независимость.

Мысль, что мистер Рочестер когда-нибудь станет одевать меня, как куклу, невыносима: я не хочу быть второй Данаей, изо дня в день осыпаемой золотым дождем! Я напишу на Мадейру, как только поднимусь к себе, напишу дяде Джону о том, что выхожу замуж, и за кого. Если у меня будет надежда в грядущем принести мистеру Рочестеру приданое, мне будет легче терпеть, что он содержит меня сейчас». Почувствовав некоторое облегчение от этой мысли (которую я не преминула исполнить в тот же день), я вновь осмелилась встречаться взглядом с моим патроном и возлюбленным, чьи глаза упорно искали мои, пока я отводила их и отворачивала лицо. Он улыбнулся, и я подумала, что точно такой же улыбки в милостивом расположении духа мог бы султан удостоить рабыню, осыпая ее золотом и драгоценными камнями. Я крепко сжала руку, которая все время искала мою, и оттолкнула ее, побагровевшую от моего гневного пожатия.

— К чему такой взгляд? — сказала я. — Если вы и дальше будете так смотреть, я до конца моих дней буду донашивать ловудские платья, в церковь отправлюсь в лиловом полотняном, а из серого шелка можете сшить себе халат, а также множество черных атласных жилетов вдобавок.

Он засмеялся и потер руку.

— Какой восторг видеть и слышать ее! — воскликнул он. — Какая находчивость! Какое остроумие! Я бы не променял эту маленькую английскую скромницу на весь сераль турецкого султана, на глаза газелей, фигуры гурий, и прочее, и прочее.

Это восточное уподобление еще больше меня задело.

— Я и на дюйм не стану заменять вам сераль, — заявила я, — а потому не приравнивайте меня к нему. Если вас манит что-то в таком роде, так немедля, сэр, отправляйтесь на стамбульские базары и накупите невольниц на часть суммы, которую как будто не находите на что употребить тут.

— А что будете делать вы, Дженет, пока я буду выторговывать столько-то тонн пышной плоти и полный набор черных глаз?

— Буду готовиться стать миссионершей, чтобы проповедовать свободу тем, кто порабощен, в том числе и обитательницам вашего гарема. Я добьюсь доступа туда и подниму мятеж. Вы, сэр, эдакий трехбунчужный паша, будете нами связаны во мгновение ока. И я, например, соглашусь освободить вас от уз не раньше, чем вы подпи-

шете хартию вольностей, каких не даровал еще ни один тиран.

— Я охотно предам себя вашему милосердию, Джейн.

— Я не найду в себе и капли милосердия, мистер Рочестер, если вы будете меня умолять о нем с таким выражением на лице. Этот ваш взгляд заверяет меня в том, что, какую бы хартию вы ни даровали под принуждением, едва получив свободу, вы тут же нарушите все ее условия.

— Джейн, Джейн, чего вы, собственно, хотите? Боюсь, вы вынудите меня, кроме церковного обряда, согласиться еще и на заключение брачного контракта, потребовав, как вижу, особых условий. Так каких же?

— Сэр, я хочу только душевного покоя. Меня не прельщает сокрушительное бремя обязательств. Помните, что вы говорили о Селине Варанс? О брильянтах и шелках, которые ей дарили? Но я отказываюсь быть вашей английской Селиной Варанс. Я останусь гувернанткой Адели, отрабатывая свой стол и кров и получая сверх того тридцать фунтов в год. Из этих денег я и буду сама пополнять свой гардероб. А от вас я не возьму ничего, кроме…

— Чего же?

— Вашего сердца. А если я взамен отдам вам свое, то мы будем квиты.

— Ну, по природной хладнокровной дерзости и чистейшей врожденной гордости вам нет равных, — сказал он. Мы уже подъезжали к Тернфилду. — Не будет ли вам угодно пообедать со мной сегодня? — добавил он, когда ворота остались позади.

— Нет, благодарю вас, сэр.

— Осмелюсь спросить, за что же «нет, благодарю вас»?

— Я никогда прежде не обедала с вами, сэр, и не вижу причин для этого, пока…

— Пока что? Как вы любите недоговаривать!

— Пока мне не останется другого выбора, сэр.

— Вы опасаетесь, что я грызу кости наподобие людоеда или могильного беса, и поэтому вы не хотите разделить со мной трапезу?

— Никаких предположений относительно этого я не строила, сэр. Но я хочу, чтобы еще месяц все оставалось по-прежнему.

— Вы немедленно освободитесь от рабского положения гувернантки!

— Вот как! Прошу прощения, сэр, и не подумаю! Я буду вести себя точно как прежде. Весь день не встречать вас, как я привыкла. Можете

присылать за мной по вечерам, когда у вас будет настроение увидеть меня, и я приду. Но только тогда!

— Мне необходимо покурить, Джейн, или взять понюшку табака, чтобы найти хоть какое-то утешение — pour me donner une contenance,[60] как сказала бы Адель. Увы, я не захватил с собой ни портсигара, ни табакерки! И вот что, — шепотом, — пока ваше время, маленькая тиранка, но скоро наступит мое, и когда я свяжу вас узами брака, то, фигурально выражаясь, повешу вас на цепочке — вот так. — Он прикоснулся к брелоку на часовой цепочке. — Да, «к груди я, малютка, тебя приколю, чтоб алмаз мой не потерялся», если вы помните Бернса.

Это он договаривал, пока высаживал меня из кареты, а когда он отвернулся, чтобы спустить на землю Адель, я вошла в дом и укрылась у себя наверху.

Вечером он не преминул призвать меня к себе. Однако я придумала для него занятие, так как решительно хотела избежать беседы тет-а-тет. Я не забыла его чудесного голоса, я знала, что он любит петь — как все хорошие певцы. Сама я

---

[60] Примечания: 60
чтобы утешиться (фр.).

никогда не пела, а играла недостаточно хорошо для его взыскательного слуха, зато очень любила слушать, если пение и музыка были хороши. Едва наступил романтичный час сумерек и за окном вечер начал развертывать синее звездное знамя, как я встала, открыла рояль и, заклиная его всеми святыми, попросила спеть мне. Он сказал, что я капризная колдунья и он предпочтет спеть как-нибудь в другой раз, но я заявила, что не хочу слушать никаких отговорок.

Нравится ли мне его голос, осведомился он.

— Очень! — Мне не нравилось потакать его тщеславию, но против обыкновения, под давлением обстоятельств, я решила пробудить и подкормить это тщеславие.

— В таком случае, Джейн, изволь аккомпанировать мне.

— Хорошо, сэр. Я попробую.

И я попробовала, но меня незамедлительно сняли с табурета и назвали «маленькой фальшивицей». Бесцеремонно устранив меня — чего я как раз и хотела, — он занял мое место и начал сам себе аккомпанировать (ведь играл он столь же хорошо, как и пел). Я ускользнула в оконную нишу, и пока я сидела там, глядя на неподвижные деревья и окутанную тьмой лужайку, бархатный

голос пел вот какие слова:

Навеки сердце покорив,
Вошла в него любовь.
Как лавы огненный прилив,
Вскипает в жилах кровь.

О, мука расставанья с ней!
А встреча – как весна!
И становился день темней,
Коль медлила она.

Я грезил, рай я обрету,
Любимым став, любя.
Лелеял дивную мечту
И отдал ей себя.

Но разделила пропасть нас,
Пустыня без дорог.
Сам разъяренный океан
Сравниться б с ней не мог.

Закон и Зло, Добро и Гнев
Преградой стали нам.
Но все опасности презрев,
Путь отыскал я там.

Знаменья презрел, презрел грех
Угрозам не внимал,
Средь всех препон, средь всех помех
Дорогу пролагал.

Манила Радуга меня,
Моих отрада дней,
Дочь капель летнего дождя
И солнечных лучей.

Над мук и страха чернотой
Ее сияет свет,
И выйти я готов на бой
Хоть с целым сонмом бед.

Мне счастье высшее дано,
И я готов платить,
Коль все, что мной побеждено,
Вернется отомстить.

Пусть ненависть меня сразит
И вечно будет гнать,
Закон суровый не простит,
Воспрянет Зло опять.

Доверчиво любовь моя

Скрепила наш союз,
Лобзанье нежное даря,
Залог священных уз.

Моя любовь клянется ведь,
Мне руку дав свою,
Со мною жить и умереть,
Любя, как я люблю.

Он встал и направился ко мне. Я увидела, что его лицо полно огня, соколиные глаза сверкают, каждая черта дышит нежностью и страстью. На миг меня охватила робость, но я взяла себя в руки. Нет, я не хотела ни трогательных изъяснений, ни смелого натиска, а мне угрожало и то, и другое. Необходимо было приготовить оборонительное оружие. Я облизнула губы и, когда он был совсем рядом, спросила с негодованием:

На ком он намерен жениться?

Странный вопрос из уст его обожаемой Джейн.

Неужели? А я так считала этот вопрос самым естественным и необходимым. Он ведь упомянул, что его будущая жена умрет с ним. Откуда такая языческая мысль? Я, во всяком случае, не имею ни малейшего намерения умирать с ним, он может не сомневаться!

О, его единственным желанием, единственным молением было, чтобы я жила для него. Смерть не для подобных мне.

Вовсе нет. У меня не меньше права умереть, чем у него, когда придет мой час. Но я намереваюсь дождаться этого часа, а не приблизить его, взойдя на костер, как супруга какого-нибудь индийского раджи.

Не прощу ли я его за такую эгоистическую мысль, не закреплю ли прощение миротворческим поцелуем?

Нет, прошу извинить меня.

Тут я услышала, как меня объявили «твердокаменной малюткой» с добавлением, что «любая другая женщина растаяла бы, услышав такую хвалебную песнь в ее честь».

Я заверила его, что от природы очень тверда — настоящий кремень, как он будет часто убеждаться. К тому же до истечения ближайших четырех недель я намерена показать ему все разнообразные колючие стороны моего характера — пусть он до конца разберется, какую сделку заключает, пока еще не поздно от нее отказаться.

Может быть, я помолчу и попробую разговаривать разумно?

Я помолчу, если он хочет, ну а в остальном

льщу себя мыслью, что я и сейчас разговариваю вполне разумно.

Он позлился, поворчал, поиронизировал. «Очень хорошо, — думала я, — бесись и язви, сколько душе угодно, но я убеждена, что держаться с тобой следует именно так. Ты мне нравишься больше, чем способны выразить слова, но я не поддамся сладкой сентиментальности и этой пикировкой не подпущу тебя к краю пропасти, а кроме того, парируя твои выпады, сохраню между нами расстояние, наилучшее для нашей взаимной пользы».

Мало-помалу я довела его почти до исступления, а когда он оскорбленно отошел в дальний конец гостиной, встала и со словами «спокойной ночи, сэр», произнесенными моим обычным почтительным тоном, выскользнула в боковую дверь и была такова.

Такой системы поведения я придерживалась весь испытательный срок с совершеннейшим успехом. Он, правда, сердился и не скупился на резкости, но я видела, что тем не менее все это было очень ему по вкусу и что покорность овечки и чувствительность голубки хотя и польстили бы его деспотизму, однако угодили бы его здравому смыслу, удовлетворили бы его проницательность

и даже пришлись бы ему по нраву куда меньше.

В присутствии кого-либо еще я, как и прежде, была очень почтительна и молчалива, так как всякое иное поведение выглядело бы неуместным, и только во время наших ежевечерних встреч я все время ему перечила и ставила препоны. Он продолжал посылать за мной, едва часы били семь, однако, когда я являлась перед ним, с его уст уже не срывались медовые обращения вроде «любовь моя» или «милая». Самыми мягкими моими обозначениями были «наглый котенок», «злокозненный эльф», «нечисть», «оборотень» и тому подобное.

Вместо ласковых взглядов меня теперь дарили гримасами, пожатие руки сменилось щипками повыше локтя, а вместо поцелуя в щеку меня больно дергали за ухо. Тем лучше: эти гневные знаки внимания я решительно предпочитала любым выражениям нежности. Миссис Фэрфакс, как я замечала, весьма одобряла мое поведение и перестала тревожиться за меня, а потому я не сомневалась, что поступаю правильно. Мистер Рочестер утверждал, что я совсем его замучила, и грозил страшно отомстить мне за мои выходки, едва истечет назначенный срок — а ожидать этого оставалось совсем недолго. Я тайком посме-

ивалась над его угрозами. «Мне удается держать тебя в узде сейчас, — размышляла я, — и не сомневаюсь, что я сумею преуспеть в этом и дальше. Если одно оружие утратит силу, придумаем другое».

Тем не менее я взяла на себя нелегкую задачу. Как часто мне хотелось не дразнить его, а радостно ему уступить. Мой будущий муж стал для меня всем миром и даже более — почти моей надеждой на небесное блаженство. Он встал между мной и религиозными помыслами почти так же, как тень луны заслоняет солнце от людских глаз в часы полуденного затмения. В те дни я не видела Бога, но лишь Его создание, сотворив из него себе кумира.

Глава 25

Месяц ухаживания подошел к концу, его последние часы были на счету. Нельзя было отсрочить наступление приближающегося дня — дня свадьбы, и все приготовления к нему завершились. Во всяком случае, мне больше делать было нечего. Мои дорожные сундуки, упакованные, запертые и перевязанные веревками, стояли у стены моей комнатки. Завтра в этот час они будут уже далеко на пути в Лондон, как и я (с соизволения Божьего)… то есть не я, а некая Джейн Рочестер, с которой я пока еще не была знакома. Оставалось только прибить карточки с адресом — вот они, четыре квадратика на комоде. Мистер Рочестер собственноручно написал на каждой адрес: «Миссис Рочестер, гостиница …, Лондон». Я никак не могла заставить себя прибить их — или поручить это кому-нибудь еще. Миссис Рочестер! Ее пока не существовало, и родиться она должна была завтра где-то после восьми часов утра. Нет, я подожду, пока не буду убеждена в ее появлении на свет, и вот тогда помечу этот багаж ее именем. Достаточно и того, что вон из

того гардероба напротив туалетного столика якобы принадлежащая ей одежда уже изгнала мое черное суконное ловудское платье и соломенную шляпку. Ведь не моим был этот подвенечный наряд — жемчужного цвета платье и воздушная фата, узурпировавшие вешалку. Я закрыла дверцы гардероба, чтобы не видеть скрытое в нем чужое колдовское облачение, которое в этот вечерний час (девять часов), казалось, призрачно мерцало в сумраке моей спальни. «Пребудь сама с собой, белая греза, — сказала я мысленно. — Меня снедает лихорадочный жар, я слышу шум ветра и выйду подставить ему лицо».

Мое лихорадочное состояние объяснялось не только суетой приготовлений, не только предвкушением великой перемены — новой жизни, которая должна была начаться на следующий день. Без сомнения, оба эти обстоятельства содействовали снедавшему меня беспокойству, которое в тот поздний час погнало меня в ночную тьму. Но была третья причина, более властная, чем они.

Меня угнетала неясная тревога. Произошло нечто непонятное, но никто ничего не видел, никто, кроме меня, не ведал о том, что случилось накануне ночью. Мистера Рочестера не было

дома — он еще и сейчас не вернулся, — дела призвали его в небольшое принадлежащее ему имение милях в тридцати от Тернфилда. Хоть включало оно всего две-три фермы, но ему было необходимо самому побывать там до отъезда из Англии. И теперь я ожидала его возвращения, чтобы облегчить свое смятение и найти у него ответ на загадку, которая поставила меня в тупик. Подождите его и вы, читатель, а когда я открою ему мою тайну, узнаете ее и вы.

Я пошла в плодовый сад, надеясь укрыться в нем от сильного южного ветра, который дул весь день, не принеся, однако, ни капли дождя. С приближением ночи он не только не затих, но как будто удвоил свой натиск и вой. Деревья гнулись в одну сторону, часами не разгибаясь, не расправляя веток, такой была сила, клонившая их густые кроны к северу; по небу, клубясь, неслись тучи, и ни разу голубое небо не улыбнулось этому июльскому дню.

С каким-то необузданным восторгом бежала я перед ветром, и гремящий воздушный поток словно развеивал мою тревогу. Спустившись по лавровой аллее, я остановилась перед рассеченным каштаном. Он стоял черный, опаленный, расколотый ствол жутко зиял. Его половины

не разделились до конца — мощный комель и крепкие корни удерживали их вместе, но разъединение погубило их — живительный сок уже не струился, могучие сучья справа и слева были мертвы, и, конечно, зимние бури повалят если не обе, то, уж во всяком случае, одну половину. Однако пока они еще как бы составляли единое дерево — и, погубленное, оно продолжало стоять.

— Вы поступаете правильно, держась друг за друга, — сказала я, будто эти великаны-близнецы были живыми и могли меня слышать. — Наверное, хотя вы выглядите сокрушенными, обожженными, обугленными, в вас еще теплится жизнь, питаемая прочной связью с верными, трудолюбивыми корнями. Больше вы никогда не оденетесь зеленой листвой, птицы больше не станут вить гнезда и рассыпать безыскусственные трели на ваших ветвях. Ваше время радостей и любви миновало, но вы не одиноки: у каждого из вас есть друг, соболезнующий ему в его несчастье.

Пока я смотрела вверх на них, вдруг в узком клине неба между ними на миг проглянула луна — ее диск был кроваво-красен и полузакрыт: казалось, она бросила на меня один растерянный, отчаявшийся взгляд и тотчас вновь погребла

себя в глубине тучи. На мгновение ветер около Тернфилда стих: но откуда-то издали, из-за рощ и ручьев, донеслись дикие скорбные стенания. Слушать их было невыносимо, и я опять побежала.

И бродила по саду, собирая яблоки, усеивавшие траву у стволов. Затем занялась тем, что отделила спелые от неспелых, унесла их в дом и спрятала в кладовой. Оттуда я отправилась в библиотеку проверить, растоплен ли камин — ведь в такой бурный, пусть и летний вечер мистера Рочестера, когда он вернется, обрадует уютный огонь. Да, камин уже затопили, и он хорошо разгорелся. Я придвинула его кресло поближе, подкатила к нему столик, опустила шторы и распорядилась, чтобы принесли свечи — их оставалось только зажечь. Закончив эти приготовления, я по-прежнему не находила себе места и чувствовала, что не могу оставаться в доме. Небольшие часы в библиотеке и старинные напольные в прихожей одновременно пробили десять.

«Как поздно! — подумала я. — Надо побежать к воротам. Временами светит луна, и я без труда разгляжу дорогу. Наверное, он вот-вот приедет, и встретить его там значит хоть немного сократить томительное ожидание».

В огромных деревьях, осенявших ворота, ревел

ветер, но дорога, насколько она была видна и вправо, и влево, была пустынна, и лишь порой, когда выглядывала луна, по ней бежали тени туч, однако, кроме них, на всем ее длинном, белеющем в темноте протяжении ничто не двигалось.

Пока я смотрела, детские слезы затуманили мне глаза — слезы разочарования и нетерпения. Устыдившись, я утерла их. Но все стояла там. Луна затворилась в своей небесной обители, плотно задернула занавески густых туч. Стало совсем темно. Ветер захлестал каплями дождя.

— Почему он не едет! Почему он не едет! — восклицала я вне себя от дурных предчувствий, рождаемых фантазией. Я ждала, что он приедет еще перед чаем, а теперь темно, что могло его задержать? Несчастный случай? Опять я вспомнила о том, что произошло прошлой ночью. И истолковала это как предзнаменование беды. Я боялась, что мои надежды слишком прекрасны, чтобы сбыться, что последний месяц я купалась в чрезмерном блаженстве, что солнце моего счастья уже миновало зенит и теперь надо ожидать заката.

«В дом я вернуться не могу, — думала я. — Не могу сидеть у камина, пока он во власти такого ветра и дождя. Лучше устать телом, чем исто-

миться сердцем. Пойду вперед, ему навстречу».

И я зашагала по дороге — очень быстро, но пройти мне пришлось немного. Не миновала я и четверти мили, как послышался конский топот, и я увидела несущегося галопом всадника. Рядом с ним бежала собака. Прочь зловещие предчувствия! Это он! Он верхом на Месруре, сопровождаемый Лоцманом. Он увидел меня, потому что луна как раз выплыла на середину окутанной дымкой синей поляны, посылая на землю смутные лучи. Он снял шляпу и замахал над головой. Я припустилась к нему бегом.

— Ну вот! — воскликнул он, нагибаясь в седле и протягивая руку. — Ты не можешь жить без меня, это очевидно. Поставь ногу на мой сапог, дай мне обе свои руки и прыгай!

Я подчинилась. Радость придала мне ловкости, и я очутилась на спине коня перед ним. Меня приветствовал горячий поцелуй, сдобренный маленькой толикой хвастливого торжества, с которым я кое-как смирилась. Он умерил свои восторги и спросил:

— Но что случилось, Дженет? Почему ты вышла встретить меня в такой час? Произошло что-то дурное?

— Нет, но мне казалось, что вы никогда не

вернетесь. И нестерпимо было ждать в доме, особенно в такой ветер и дождь.

— Ветер и дождь, это верно! Да с тебя течет вода, как с русалки. Закутайся в мой плащ, Джейн, мне кажется, у тебя жар. Твоя щека и пальцы просто обжигают! Так ответь же, что-нибудь случилось?

— Сейчас ничего. Я не боюсь и не чувствую себя несчастной.

— Но, значит, раньше чувствовала?

— И очень. Я потом расскажу вам, сэр, и, наверное, вы только посмеетесь над моими страхами.

— Я буду от души смеяться над тобой, когда кончится завтрашний день. А пока не смею. Мой приз еще не завоеван. Последний месяц ты ведь была скользкой точно угорь и колючей как дикая роза! Я не мог протянуть пальца и не уколоться. А теперь я словно держу в объятиях заблудившуюся овечку. Ты отбилась от стада, ища своего пастуха, правда, Джейн?

— Мне были нужны вы, но не торжествуйте. Мы приехали. Спустите меня на землю.

Он ссадил меня с коня. Джон увел Месрура, а мистер Рочестер, войдя следом за мной в прихожую, велел мне поскорее переодеться во что-нибудь сухое и тогда спуститься к нему в библиотеку. А когда я побежала к лестнице, остановил меня

и потребовал обещания, что я потороплюсь. И я поторопилась: через пять минут я уже вошла в библиотеку, куда ему подали ужин.

— Сядь, Джейн, и составь мне компанию. С соизволения Божьего, теперь, если не считать завтрака, тебе очень долго не придется есть в Тернфилд-Холле.

Я села возле него, но сказала, что есть не могу.

— Потому что ты думаешь о предстоящем тебе путешествии, Джейн? Мысль о Лондоне отбивает у тебя аппетит?

— Сейчас, сэр, я не заглядываю в будущее и едва понимаю собственные мысли. Все в жизни кажется призрачным.

— Кроме меня! Я достаточно весом. Вот потрогай и убедись сама.

— Вы, сэр, фантом! Вы всего лишь сон — даже больше, чем все остальное.

Он, смеясь, протянул руку.

— Это сон? — спросил он, поднося ладонь к самым моим глазам. Кисть у него была округленной, мускулистой и сильной, как и вся рука.

— Да, хотя я прикасаюсь к ней, это все-таки сон, — ответила я, отводя ее от лица. — Сэр, вы кончили ужин?

— Да, Джейн.

Я позвонила и распорядилась, чтобы унесли поднос. Когда мы вновь остались одни, я помешала в камине, а потом села на скамеечку у ног моего патрона.

— Скоро полночь, — сказала я.

— Верно. Но вспомни, Джейн, ты обещала бдеть со мной в ночь перед моей свадьбой.

— Да. И я сдержу обещание — во всяком случае, на час-другой. У меня нет ни малейшего желания лечь спать.

— Ты закончила все приготовления?

— Да, все.

— И я тоже, — сказал он. — Уладил все дела, и завтра мы покинем Тернфилд через полчаса после того, как вернемся из церкви.

— Очень хорошо, сэр.

— С какой странной улыбкой, Джейн, ты произнесла эти слова — «очень хорошо»! Какой румянец пылает на твоих щеках, и как необычно блестят твои глаза! Ты здорова?

— Мне кажется, что да.

— Кажется! В чем дело? Скажи мне, что ты чувствуешь?

— Не могу, сэр. Никакие слова не выразят то, что я чувствую. Мне бы хотелось, чтобы этот час никогда не кончался. Кто знает, какую судьбу

принесет следующий?

— Это меланхолия, Джейн. Ты либо чересчур взволнована, либо переутомлена.

— А вы, сэр, чувствуете себя спокойным и счастливым?

— Спокойным? Нет. Но счастливым — до самой глубины сердца.

Я подняла глаза, чтобы увидеть свидетельства счастья на его лице: оно пылало.

— Доверься мне, Джейн, — сказал он. — Избавь свой дух от тяготеющей над ним тяжести, поделись ею со мной. Чего ты страшишься? Что я не окажусь хорошим мужем?

— Такая мысль мне даже в голову не приходила.

— Тебя пугает новая сфера, в которую ты вступаешь, новая жизнь, которую ты начинаешь?

— Нет.

— Ты ставишь меня в тупик, Джейн. Твое лицо, этот тон, такой грустный и вызывающий, заставляют меня недоумевать и страдать. Объясни же!

— Ну так слушайте, сэр! Вчера вы не ночевали дома.

— Да, конечно, и ты некоторое время назад намекнула, что в мое отсутствие что-то произошло. Вероятно, что-то незначительное, но тем не

менее ты расстроена. Может быть, миссис Фэрфакс сказала что-то? Или ты случайно услышала болтовню слуг? Твое чувствительное уважение к себе получило рану?

— Нет, сэр. — Часы начали отбивать двенадцать, и я подождала, пока серебряный звон не замер, как и хриплые удары, доносившиеся из прихожей, а затем продолжала: — Вчера я весь день была очень занята и чувствовала себя очень счастливой в этих хлопотах, потому что меня, хотя вы как будто считаете иначе, вовсе не преследуют страхи перед новой сферой и прочим. Для меня чудо — надежда на то, что я буду жить с вами, потому что я люблю вас. Нет, сэр, не надо сейчас нежностей, не мешайте мне говорить. Вчера я всей душой уповала на Провидение и верила, что все складывается прекрасно и для вас, и для меня. День был солнечный, если помните, безветрие и ясное небо сулили вам безопасность и легкую поездку. После чая я немного погуляла по двору, думая о вас, и в воображении видела вас так близко, что почти не замечала вашего отсутствия. Я думала о жизни, ожидающей меня впереди: вашей жизни, сэр, более богатой и волнующей, чем моя, — настолько, насколько океан глубже ручья, несущего в него свои воды

по прямому песчаному руслу. Я спрашивала себя, почему моралисты называют этот мир юдолью скорби — для меня он цвел будто роза. На закате воздух похолодел, небо заволокли облака. Я вернулась в дом, и Софи позвала меня наверх поглядеть на мое подвенечное платье, которое как раз доставили, и под ним в коробке я нашла ваш подарок, за который с княжеской щедростью вы послали в Лондон, решив, я полагаю, обманом заставить меня принять подарок не менее дорогой, чем драгоценности, от которых я отказалась. Разворачивая ее, я улыбалась и думала о том, как буду поддразнивать вас за ваши аристократические вкусы и ваши усилия облечь вашу невесту-плебейку в наряд герцогини. Думала, как покажу вам полосу простых кружев, которую собственноручно приготовила, чтобы покрыть свою плебейскую голову, как спрошу, не считаете ли вы, что такая фата больше пойдет невесте, которая не принесет своему мужу ни состояния, ни красоты, ни родственных связей. И ясно увидела выражение вашего лица, услышала ваши нетерпеливые республиканские ответы, ваше надменное утверждение, что вы не ищете пополнить ваше богатство или возвыситься в обществе, женившись на кошельке или титуле.

— Ты видишь меня насквозь, колдунья! — перебил мистер Рочестер. — Но что еще ты усмотрела в фате, кроме вышивки? Яд или кинжал? Иначе почему теперь у тебя такой опечаленный вид?

— Нет-нет, сэр! Кроме тонкости и изукрашенности ткани, я обнаружила только гордость Фэрфакса Рочестера, а она меня не испугала, так как я уже свыклась с этим демоном. Но, сэр, когда стало смеркаться, поднялся ветер, хотя вчера вечером он дул иначе, чем сегодня: не завывал дико, а «стонал угрюмо» — звук куда более жуткий. Я так жалела, что вас не было дома. Я вошла сюда, и при виде пустого кресла и темного камина у меня похолодело сердце. И когда я легла, то не могла уснуть: меня терзало тревожное волнение. А буря все усиливалась, и моим ушам почудилось, что она заглушает иной тоскливый звук, раздававшийся то ли в стенах дома, то ли снаружи — вначале я не могла решить. Но он повторялся — неясный, но страдальческий — всякий раз, когда ветер на миг стихал. В конце концов мне пришло в голову, что где-то вдалеке воет собака. Я была рада, когда вой оборвался. И заснула, но и над моими снами тяготела темная бурная ночь. Оставалось в них и мое стремление быть с вами, только омраченное сознанием, что нас разделила

непреодолимая преграда. На протяжении первого сна я шла и шла по неведомой извилистой дороге, меня окружал непроницаемый мрак, дождь хлестал по моему лицу. Я несла ребенка, совсем еще младенца, слишком маленького и слишком слабого, чтобы идти самому. Он дрожал от озноба в моих оледенелых руках и жалобно плакал у самого моего уха. Мне казалось, сэр, что вы на той же дороге где-то далеко впереди меня, и я напрягала все силы, тщась нагнать вас, вновь и вновь пыталась произнести ваше имя, умолять, чтобы вы меня подождали, но двигалась я с трудом, а мой голос замирал, не выговорив ни слова. Вы же, я чувствовала, с каждой минутой все удалялись и удалялись.

— И эти сны продолжают угнетать тебя, Джейн, теперь, когда я рядом? Испуганная пичужка! Забудь примерещившееся горе и думай только о счастье наяву! Ты говоришь, что любишь меня, Дженет. Я помню твои слова, и ты не можешь их отрицать. Эти слова не замерли у тебя на губах. Я услышал их, ясные и тихие, — мысль, быть может, слишком заветная, но сладостная, будто музыка: «для меня чудо — надежда на то, что я буду жить с тобой, Эдвард, потому что я люблю тебя». Ты любишь меня, Джейн? Повтори!

— Да, сэр, всем сердцем.

— Странно! — сказал он после минутного молчания. — Эта фраза пронзила мою грудь болью. Почему? Мне кажется, причина в том, что ты произнесла ее с религиозным пылом. И твой устремленный на меня взгляд исполнен веры, искренности, преданности. Это слишком! Будто ко мне приблизился ангел. Погляди на меня с вызовом, Джейн, как ты умеешь смотреть! Улыбнись одной из своих непонятных, застенчивых, дразнящих улыбок. Скажи, что ненавидишь меня, подтрунивай надо мной, язви меня — делай что хочешь, но только не наполняй мое сердце грустью: я предпочел бы рассердиться, лишь бы не впустить в него печаль.

— Я буду подтрунивать и язвить, сколько вам захочется, когда завершу свой рассказ. Но выслушайте меня до конца.

— Я полагал, Джейн, что ты рассказала мне все. Я думал, что нашел причину твоей меланхолии в сонных грезах.

Я покачала головой.

— Как! Что-то еще? Не верю, что это может быть нечто важное. Заранее заверяю тебя в моем скептицизме. Так что же дальше?

Какое-то беспокойство в его голосе, нетерпе-

ние, прячущее тревогу, удивили меня, однако я продолжила свой рассказ:

— Мне приснился еще один сон, сэр. В нем Тернфилд-Холл превратился в руины, приют летучих мышей и сов. Мне чудилось, что от великолепного фасада осталась только передняя стена, очень высокая и еле держащаяся. В лучах луны я бродила по заросшим бурьяном развалинам позади нее, натыкаясь то на мраморный камин, то на обломок лепного карниза. И опять я несла на руках завернутого в шаль неизвестного младенца. Как ни устали мои руки, как ни мешал мне он идти, положить его где-нибудь мне было воспрещено. Мне надлежало нести его. Вдали на дороге раздался конский топот: я знала, что это вы, что вы отправляетесь на много лет в далекий край. С отчаянной опасной быстротой я начала карабкаться на единственную стену, чтобы сверху увидеть вас в последний раз. Камни срывались под моими ступнями, я хваталась за плети плюща, а они ломались. Ребенок в ужасе цеплялся за мою шею, чуть меня не задушил. Наконец я оказалась на верху стены и увидела вас — пятнышко на белой дороге, уменьшающееся с каждой секундой. Налетел такой сильный порыв ветра, что я не устояла на ногах и присела на

выступ, положив перепуганного младенца себе на колени. Вы скрылись за поворотом дороги, я наклонилась, чтобы посмотреть вам вслед, стена обрушилась, меня тряхнуло, младенец скатился с моих колен, я потеряла равновесие, упала и проснулась.

— Ну теперь-то, Джейн, уже все?

— Предисловие, сэр. Сам рассказ еще впереди. Проснувшись, я открыла глаза, и их что-то ослепило. Я подумала: «А! Восходит солнце!» Но ошиблась. Глаза мне ослепил всего лишь огонек свечи. Я решила, что ко мне вошла Софи. Свеча стояла на туалетном столике, а дверцы гардероба, в котором я повесила подвенечное платье и фату, были распахнуты. Я услышала шорох в той стороне и спросила: «Софи, что вы тут делаете?» Ответа не было, но от гардероба отошла неясная фигура. Ее рука взяла свечу и поднесла ее к платью на вешалке. «Софи! Софи!» — снова окликнула я. Ответом вновь было молчание. Я села на кровати, наклонилась вперед, почувствовала удивление, потом недоумение, и вдруг кровь похолодела в моих жилах. Мистер Рочестер, это была не Софи, это была не Лия, не миссис Фэрфакс, это была не… — Да, я была уверена тогда и уверена сейчас — это даже не была

загадочная Грейс Пул.

— Конечно же, это была либо та, либо другая, либо третья, — перебил мой патрон.

— Нет, сэр. Уверяю вас, что нет. Фигура, стоявшая передо мной, ни разу не попадалась мне на глаза в Тернфилд-Холле до этого часа. Рост, все очертания были мне незнакомы.

— Опиши ее, Джейн.

— Мне кажется, сэр, это была женщина высокая, широкоплечая, с густыми черными волосами, падавшими ей на спину. Я не поняла, во что она была одета. Что-то белое, прямое, но что это было — платье, простыня или саван, я не знаю.

— Ты видела ее лицо?

— Сначала нет. Но затем она взяла в руки мою фату, долго на нее смотрела, а потом накинула себе на голову и повернулась к зеркалу. Тут я увидела в темном овале стекла четкое отражение лица.

— Каким оно было?

— Страшным, ужасным… Ах, сэр, я никогда еще не видела ничего подобного! Багровое лицо, свирепое лицо! Как мне хотелось бы забыть блуждающие налитые кровью глаза, черную опухлость черт!

— Привидения, Джейн, обычно бывают блед-

ными.

— Это было скорее лиловым. Вздутые темные губы, лоб в складках, крутые дуги черных бровей над красными глазами. Сказать вам, кого оно мне напомнило?

— Я слушаю.

— Призрачное германское чудовище — вампира, сэр.

— А! Так что же оно сделало?

— Сэр, оно сняло мою фату со своей уродливой головы, разорвало пополам и, бросив обрывки на пол, растоптало их.

— А потом?

— Отдернуло гардину и выглянуло наружу. Возможно, оно заметило приближение зари, потому что взяло свечу и направилось к двери. У кровати оно остановилось, злобные глаза уставились на меня… Женщина поднесла свечу к моему лицу и задула под самыми моими глазами. Я успела увидеть наклоненное над собой ее багрово-синее лицо и потеряла сознание — во второй раз за всю мою жизнь я лишилась чувств от ужаса.

— Кто был с тобой, когда ты пришла в себя?

— Никого, сэр. Но в окна светило солнце. Я встала, умыла лицо, смочила волосы на висках и выпила стакан воды. Убедившись, что я не

больна, а только ослабела, я решила, что никому, кроме вас, не расскажу об этом видении. Теперь, сэр, откройте мне, кто эта женщина?

— Порождение слишком разгоряченной фантазии. Тут сомнений быть не может. Мне придется поберечь тебя, мое сокровище. Такие нервы не созданы для грубого с ними обхождения.

— Сэр, поверьте, мои нервы тут ни при чем. Это была явь. Все, о чем я рассказала, произошло на самом деле.

— А твои предыдущие сны, они тоже были явью? Тернфилд-Холл лежит в развалинах? Я разлучен с тобой непреодолимыми препятствиями? Я покидаю тебя без единой слезы, без поцелуя, без единого слова?

— Пока нет.

— О, значит, я намерен поступить так в недалеком будущем? Но уже зарождается день, который соединит нас нерушимыми узами. А тогда, ручаюсь тебе, эти бредовые ужасы не повторятся.

— Бредовые ужасы, сэр! Если бы я могла поверить! А теперь желала бы еще сильнее, так как даже вы не можете объяснить мне тайну этого жуткого видения.

— Раз я не могу, Джейн, значит, оно лишь сонная химера.

— Но, сэр, именно это я и сказала себе, когда проснулась утром. А когда я обвела взглядом комнату, чтобы при свете солнца найти утешение и ободрение в привычности каждого предмета, то на ковре… я увидела неопровержимое доказательство неверности такого объяснения — фату, разорванную пополам по всей длине.

Я почувствовала, как мистер Рочестер вздрогнул. Он порывисто обнял меня.

— Благодарение Богу! — воскликнул он. — Если и правда к тебе прошлой ночью забралось какое-то воплощение зла, то уничтожена была лишь фата! Только подумать, что могло бы произойти!

Он перевел дух и так крепко обнял меня, что я не могла вздохнуть. После минуты-другой молчания он продолжал уже веселым тоном:

— Теперь, Дженет, я все тебе объясню. Это был наполовину сон, наполовину явь. Не сомневаюсь, к тебе в комнату действительно заходила женщина, и это была… ну конечно же, Грейс Пул. Ты сама называешь ее странной. И у тебя есть на то полное право: что она сделала со мной? Что с Мейсоном? В полусне ты увидела ее, наблюдала ее поведение, но в лихорадочном, почти бредовом состоянии тебе померещился жуткий облик, не схожий с ее подлинной внешностью. Длинные

растрепанные волосы, распухшее черное лицо, рост, широкие плечи были плодом воображения, результатом кошмара. То, что фата была в злобе разорвана, — это правда, и поступок в ее духе. Понимаю, ты спросишь, почему я держу в своем доме такую женщину. В годовщину нашей свадьбы я объясню тебе это, но не теперь. Ты удовлетворена, Джейн? Согласна с моим объяснением тайны?

Я подумала и пришла к выводу, что другого объяснения нет. Удовлетворена же я не была, но не хотела расстраивать его и притворилась. Впрочем, на душе у меня и правда стало легче, а потому я ответила ему спокойной улыбкой. После чего — уже давно шел второй час — я приготовилась уйти.

— Софи ведь спит с Аделью в детской? — спросил он, когда я зажгла свою свечу.

— Да, сэр.

— И в кроватке Адели достанет места для тебя. Раздели ее с ней до утра, Джейн. Вполне понятно, что случившееся взбудоражило твои нервы, а потому я предпочту, чтобы ты не спала в одиночестве. Обещай, что ляжешь в детской.

— С радостью, сэр.

— И хорошенько заприте дверь изнутри. Раз-

буди Софи, когда поднимешься туда, попроси, чтобы она подняла тебя завтра пораньше. Тебе ведь нужно одеться и позавтракать до восьми. И больше никаких мрачных мыслей! Прогони докучные тревоги, Дженет. Разве ты не слышишь, как нежно теперь шепчет ветер? И дождь больше не стучит в окна. Погляди-ка, — он приподнял штору, — какая чудесная ночь!

Да! Половина небосвода совсем очистилась от туч — ветер теперь переменился, дул с запада, — и они длинными посеребренными волнами уносились на восток. Мирно лила свой свет луна.

— Что же, — сказал мистер Рочестер, глядя на меня. — Как теперь чувствует себя моя Дженет?

— Ночь безмятежна, сэр, и я тоже.

— И тебе не будут сегодня сниться разлуки и несчастья, а только счастливая любовь и священные узы.

Предсказание это сбылось лишь наполовину: несчастья мне не снились, но и радости тоже. Попросту говоря, я так и не заснула. Обняв малютку Адель, я берегла ее детский сон — такой спокойный, такой мирный, такой невинный — и ждала наступления дня. Моя душа бодрствовала, и я встала вместе с солнцем. Помню, как прильнула ко мне Адель, когда я хотела приподняться,

помню, как я поцеловала ее, разжимая обвившие мою шею маленькие руки. Какое-то странное чувство вдруг заставило меня заплакать, и я поспешила уйти, опасаясь, как бы мои всхлипывания не нарушили ее по-прежнему крепкий сон. Она казалась символом моей прошлой жизни, а тот, грозный, но обожаемый, кого мне предстояло встретить, когда я оденусь для него, знаменовал мой неведомый будущий день.

Глава 26

Софи пришла в семь, чтобы одеть меня, и занималась этим очень долго — столь долго, что мистер Рочестер, видимо, потеряв терпение из-за такого промедления, прислал справиться, почему я не спускаюсь. Она как раз прикалывала брошью к моим волосам фату (полосу простых кружев, которой все-таки пришлось обойтись), и я тут же вырвалась из ее рук.

— Погодите! — вскричала она по-французски. — Посмотрите же на себя в зеркало — вы ни разу к нему не повернулись!

Поэтому я повернулась у двери — и увидела фигуру в подвенечном наряде под фатой, настолько не похожую на меня, что она показалась мне незнакомой.

— Джейн! — позвал голос, и я поспешила вниз. Мистер Рочестер встретил меня у подножия лестницы.

— Копуша! — сказал он. — Я сгораю от нетерпения, а ты так медлишь!

Он повел меня в столовую, внимательно оглядел с ног до головы, объявил, что я «прекрасна,

как лилия», и не только гордость его жизни, но и радость его глаз, а затем, добавив, что дает мне десять минут на завтрак, позвонил. Явился лакей — один из новых нанятых им слуг.

— Джон закладывает карету?

— Да, сэр.

— Багаж снесли вниз?

— Сейчас сносят, сэр.

— Пойдите в церковь, посмотрите, там ли мистер Вуд (священник) и причетник, а потом вернитесь и доложите мне.

Церковь, как известно читателю, находилась почти сразу за воротами, и лакей вернулся очень скоро.

— Мистер Вуд в ризнице, сэр. Надевает облачение.

— А карета?

— Запрягают лошадей.

— Мы не поедем в ней в церковь, но к тому времени, когда мы вернемся, она должна быть готова, весь багаж погружен, привязан, а кучер на козлах.

— Слушаю, сэр.

— Джейн, ты готова?

Я встала. Не было ни шаферов, ни подружек невесты, ни родственников. Не надо было ни

ждать их, ни готовиться к церемонии — никого, кроме мистера Рочестера и меня. В прихожей стояла миссис Фэрфакс. Когда мы проходили мимо, мне очень хотелось поговорить с ней, но мою руку сжимали железные тиски, меня увлекали вперед даже быстрее, чем я могла идти, и один взгляд на лицо мистера Рочестера сказал, что он не потерпит ни секунды промедления ни по какой причине. Не знаю, выглядел ли так когда-нибудь другой жених — столь сосредоточенным на единственной цели, столь полным неумолимой решимости, в чьих глазах под таким гранитным лбом пылал бы такой огонь.

Не знаю, был ли день ясным или пасмурным. По дороге я не смотрела ни на небо, ни на землю, мои глаза и мое сердце сосредотачивались на мистере Рочестере. Я жаждала увидеть то невидимое, на которое он словно бы устремлял гневный и яростный взгляд. Я жаждала постигнуть мысли, которые он, казалось, хранил, с которыми, казалось, вел борьбу.

У церковной калитки он остановился, вдруг заметив, что я совсем запыхалась.

— Я жесток с моей любовью? — сказал он. — Постоим немного. Обопрись на мою руку, Джейн.

Теперь передо мной словно вновь встает ма-

ленькая серая обитель Божья. Над колокольней вьется грач, а за ней алеет утреннее небо. Я помню и еще кое-что: зеленеющие могильные холмики. В моей памяти живут и двое незнакомцев, бродящие между ними, читая надписи на кое-где сохранившихся обомшелых надгробиях. Запомнились они мне потому, что, едва увидев нас, скрылись за углом церкви — чтобы, как я предположила, войти в нее через боковую дверь и присутствовать на церемонии. Мистер Рочестер их не заметил, так как вглядывался в мое лицо, видимо, внезапно побелевшее. Во всяком случае, я почувствовала, как увлажнился мой лоб, как похолодели щеки и губы. Когда я оправилась, что не потребовало много времени, он бережно повел меня по дорожке к паперти.

Мы вошли в скромный маленький храм. У невысокого аналоя нас уже ожидал священник в белом стихаре. Причетник стоял возле него. Царила глубокая тишина: лишь в дальнем углу маячили две тени. Я не ошиблась: незнакомцы проскользнули в церковь раньше нас и теперь стояли спиной к нам у семейного склепа Рочестеров, глядя сквозь ограду на потемневший мрамор гробницы, где коленопреклоненный ангел охранял останки Дамера де Рочестера, павшего при

Марстон-Муре в дни войны Парламента против короля, и Элизабет, его супруги.

Мы заняли свое место у алтарной ограды. Услышав позади осторожные шаги, я оглянулась. Один из незнакомцев, несомненно, джентльмен, шел по проходу. Служба началась. Было объяснено, во имя чего заключаются браки, а затем священник сделал шаг вперед и, слегка наклонившись в сторону мистера Рочестера, продолжал:

— Прошу и заклинаю вас обоих (как вам придется ответствовать в грозный Судный День, когда откроют и тайны всех сердец), если кому-то из вас известно препятствие, воспрещающее вам вступить в законный брак, объявить о нем незамедлительно, ибо все те, кто соединяется иначе, чем дозволяет Слово Божье, не получают Божьего благословения на свой союз, и он недействителен в глазах Закона.

Он замолчал, как того требовал обычай. Был ли случай, когда пауза после этого предупреждения нарушалась бы? Вероятно, ни разу за сотню лет. И священник, даже не поднявший глаз от требника, лишь перевел дух и, протянув руку к мистеру Рочестеру, уже приготовился спросить: «Берешь ли ты в жены эту женщину?», как вдруг совсем близко чей-то голос ясно и громко произнес:

— Обряд не может быть продолжен. Я заявляю о наличии препятствия.

Священник посмотрел на говорившего и онемел. Как и причетник. Мистер Рочестер покачнулся, будто у него под ногами содрогнулась земля, но выпрямился и, не повернув головы, глядя прямо перед собой, сказал:

— Продолжайте.

После того как он произнес это слово глубоким низким басом, воцарилась мертвая тишина. Затем мистер Вуд сказал:

— Я не могу продолжать, не раньше, чем будет рассмотрено это возражение и доказано, верно оно или ложно.

— Обряд не будет продолжен, — вновь раздался голос позади нас. — Я могу неопровержимо доказать свои слова: заключение этого брака невозможно из-за непреодолимого препятствия.

Мистер Рочестер услышал, но и бровью не повел. Он стоял упрямо и неподвижно и только взял меня за руку. Каким горячим и сильным было это пожатие! Его бледный твердый, широкий лоб казался высеченным из мрамора, и как сверкали глаза под этим лбом — застывшие, настороженные и яростные!

Мистер Вуд, казалось, растерялся.

— Но какое препятствие? — осведомился он. — Быть может, это лишь недоразумение, и достаточно будет тех или иных объяснений?

— Едва ли! — последовал ответ. — Я назвал его непреодолимым и отвечаю за свои слова.

Незнакомец подошел к алтарной ограде и оперся на нее, а затем продолжал, произнося каждое слово четко, спокойно, неумолимо, но негромко:

— Оно заключается в существовании предыдущего брака. У мистера Рочестера есть жена.

Мои нервы содрогнулись от этого тихого утверждения, как не содрогались ни от какого удара грома. Моя кровь отозвалась на их скрытую сокрушительность, как не отзывалась ни на мороз, ни на огонь. Но я держала себя в руках, и мне не угрожал обморок. Я посмотрела на мистера Рочестера, заставила его посмотреть на меня. Его лицо преобразилось в бескровный гранит, глаза были и блестящими, и кремневыми. Он не поспешил с отрицаниями. Казалось, он просто бросает вызов всему и вся. Молча, не улыбаясь, словно бы даже не признавая во мне человеческой сущности, он только обвил рукой мою талию и привлек меня к себе.

— Кто вы? — спросил он незнакомца.

— Моя фамилия Бригс, я нотариус, …-стрит,

Лондон.

— И вы готовы снабдить меня какой-то женой?

— Я готов напомнить вам о вашей супруге, сэр, которую таковой признает закон, если вы ее не признаете.

— Будьте любезны, ознакомьте меня с ее именем, происхождением, местом проживания.

— Разумеется! — Мистер Бригс невозмутимо достал из кармана официального вида документ и начал читать официальным же, чуть гнусавым голосом: — Я утверждаю и могу доказать, что двадцатого октября такого-то года (дата пятнадцатилетней давности) Эдвард Фэрфакс Рочестер, владелец Тернфилд-Холла в графстве … и имения Ферндин в ***шире, Англия, вступил в брак с моей сестрой Бертой Антуанеттой Мейсон, дочерью Джонаса Мейсона, негоцианта, и Антуанетты, его супруги, креолки, в … церкви в Спаниш-Тауне, Ямайка. Запись об этом браке имеется в книге записей этой церкви, копия каковой находится у меня. Подписано: Ричард Мейсон.

— Если это подлинный документ, он доказывает лишь то, что я был женат, но не то, что женщина, именуемая в нем моей женой, еще жива.

— Три месяца назад она была жива, — возразил нотариус.

— Откуда вы знаете?

— У меня есть свидетель, чьи показания, сэр, даже вы не сумеете опровергнуть.

— Предъявите его… или убирайтесь к черту!

— Прежде я предъявлю его. Он здесь. Мистер Мейсон, будьте так добры, подойдите сюда.

Услышав это имя, мистер Рочестер скрипнул зубами, и по его телу пробежала судорожная дрожь. Он так крепко прижимал меня к себе, что я ощутила эту конвульсию гнева или отчаяния. Теперь приблизился второй незнакомец, до этой минуты остававшийся в темном углу. Из-за плеча нотариуса выглянуло бледное лицо… Да, это был мистер Мейсон. Мистер Рочестер повернулся и обратил на него свирепый взгляд. Как я не раз упоминала, глаза у него были черными, но теперь в их глубине появился желтый… нет, кровавый блеск, а его лицо залила краска — смуглые щеки, мраморный лоб заалели, будто от вырвавшейся из сердца лавы. И он сделал движение — вскинул сильную руку. Он мог бы ударить Мейсона, свалить его на церковные плиты, вышибить кулаком дух из его тела, но Мейсон отпрянул и вскрикнул тоненьким голосом:

— О Господи!

Презрение остудило мистера Рочестера. Его

гнев угас, словно на него дохнул полярный холод. И он спросил только:

— Так что же скажешь ты?

С побелевших губ мистера Мейсона сорвался невнятный звук.

— Дьявол! Или ты не способен ответить громко? Я снова тебя спрашиваю: что скажешь ты?

— Сэр… сэр, — перебил священник, — не забывайте, вы в храме Божьем! — Повернувшись к мистеру Мейсону, он спросил мягко: — Вам известно, сэр, жива супруга этого джентльмена или нет?

— Смелей! — подбодрил нотариус. — Говорите же!

— Она живет сейчас в Тернфилд-Холле, — сказал Мейсон уже тверже. — Я видел ее там в апреле. Я ее брат.

— В Тернфилд-Холле! — воскликнул священник. — Не может быть! Я, сэр, живу здесь много лет и никогда не слышал о миссис Рочестер в Тернфилд-Холле.

Я увидела, как губы мистера Рочестера изогнулись в угрюмой улыбке, и он пробормотал:

— Да, черт побери! Я позаботился, чтобы о ней не услышал никто! И уж во всяком случае, под этим именем.

Он задумался на несколько минут, затем принял решение и объявил его:

— Достаточно! Все разъяснится разом, точно вылетающая из ружья пуля. Вуд, закройте требник и снимите облачение! Джон Грин (это было сказано причетнику), уходите из церкви: свадьбы сегодня не будет.

Тот подчинился, а мистер Рочестер продолжал твердо, с какой-то отчаянной беззаботностью:

— Двоеженство — безобразное слово. Однако я намеревался стать двоеженцем, но судьба меня перехитрила или Провидение остановило. Пожалуй, последнее. В эту минуту я недалеко ушел от самого дьявола и, как сказал бы мне мой пастырь вот здесь, несомненно, заслуживаю суровейшей Божьей кары, даже быть ввергнутым в геенну, в огонь неугасимый. Господа, мой план рухнул. Нотариус и его клиент сказали правду. Я вступил в брак, и женщина, с которой я связал себя брачными узами, еще жива! Вы сказали, Вуд, что никогда не слышали о миссис Рочестер в доме вон там. Но, полагаю, вам не раз доводилось слышать о таинственной сумасшедшей, которую держат там под замком. Одни шептали, что она незаконнорожденная дочь моего отца, моя сводная сестра, другие считали ее моей брошенной

любовницей… Так узнайте теперь, что она — моя жена, с которой я сочетался браком пятнадцать лет назад, Берта Мейсон по имени. Сестра вот этого решительного субъекта, чьи трясущиеся руки и побелевшие щеки свидетельствуют, насколько храбрым может быть сердце мужчины. Ободрись, Дик! Тебе нечего меня бояться. Я ведь скорее подниму руку на женщину, чем на тебя… Берта Мейсон сумасшедшая и происходит из семьи, в которой сумасшествие было наследственным — идиоты и умалишенные в каждом поколении. Ее мать, креолка, была не только сумасшедшей, но вдобавок еще и пьяницей! Как я узнал после того, как стал мужем ее дочери. Они сумели хорошо сохранить семейную тайну до той поры. Берта, как положено послушной дочери, последовала примеру своей родительницы и в том, и в другом. Я получил пленительную подругу жизни — чистую, благоразумную, скромную, — вы можете вообразить, каким счастливейшим человеком я был! Но к чему дальнейшие объяснения? Бригс, Вуд, Мейсон, приглашаю вас всех к себе в дом нанести визит пациентке миссис Грейс Пул — моей жене! Вы увидите, на ком меня обманом женили, и сами решите, было ли у меня право разорвать узы и попытаться обрести утешение в близости

с по меньшей мере человеческой душой. Эта девушка, — продолжал он, взглянув на меня, — знала об этом гнусном секрете, Вуд, не больше, чем вы. Она полагала, будто все честно и законно. Ей и не снилось, что ее старается поймать в ловушку лжебрака злополучный негодяй, уже неразрывно связанный с порочной, сумасшедшей, потерявшей человеческий облик законной женой! Идемте же, все вы! Следуйте за мной!

Все еще крепко меня держа, он вышел из церкви. Те трое — за нами. У подъезда мы увидели карету.

— Поставьте ее назад в сарай, Джон, — невозмутимо приказал мистер Рочестер. — Она сегодня не понадобится.

В прихожей нам навстречу вышли миссис Фэрфакс, Адель, Софи и Лия.

— Кругом марш! — вскричал мистер Рочестер. — Поберегите ваши поздравления! Кому они нужны? Во всяком случае, не мне. Они запоздали на пятнадцать лет.

Он прошел мимо них к лестнице, все еще держа меня за руку, и кивнул нашим спутникам, чтобы они следовали за ним. Мы поднялись на второй этаж, прошли по галерее и поднялись на третий, где мистер Рочестер отпер низенькую черную

дверь и впустил нас в увешанную гобеленами комнату с большой кроватью под пологом и резным шифоньером.

— Тебе это место хорошо известно, Мейсон, — сказал наш проводник. — Ведь она здесь ударила тебя ножом и искусала.

Он откинул гобелен над внутренней дверью и отпер ее. За ней оказалось помещение без окон, где огонь горел в камине, защищенном высокой и крепкой решеткой. С потолка на цепи свисала лампа. Грейс Пул, нагибаясь над огнем, видимо, подогревала что-то в котелке. В глубокой тени в дальнем конце помещения металось взад и вперед какое-то существо. Был ли это зверь или человек, решить с первого взгляда оказалось невозможным. Двигалось оно словно бы на четырех конечностях, лязгало зубами и рычало, точно какой-то чудовищный волк. Однако на нем была одежда. Грива спутанных темных с проседью волос скрывала его голову вместе с мордой… или лицом.

— Доброе утро, миссис Пул, — сказал мистер Рочестер. — Как вы? И как сегодня ваша подопечная?

— Ничего, сэр. Нынче мы поспокойнее, благодарю вас, — ответила Грейс, аккуратно подвешивая

кипящий котелок на крюк в камине. — Рычать рычим, но особо не бросаемся.

Злобный вопль, казалось, опровергнул этот благоприятный отзыв. Одетая гиена поднялась на задние лапы и осталась стоять так, оказавшись очень высокой.

— Сэр, она вас увидела! — воскликнула Грейс. — Вам бы лучше уйти.

— Всего минуту-другую, Грейс! Всего минуту-другую.

— Только поберегитесь, сэр. Богом молю, поберегитесь!

Безумная завыла. Она отбросила с лица всклокоченные пряди и бросила дикий взгляд на вошедших. Я тотчас узнала это багрово-лиловое лицо, эти распухшие черты. Миссис Пул шагнула вперед.

— Посторонитесь! — сказал мистер Рочестер, отстраняя ее. — Полагаю, ножа у нее на этот раз нет? А я настороже.

— Никогда нельзя знать, чего она припрятала, сэр. До того хитрая, что просто уму непостижимо.

— Нам лучше уйти, — прошептал мистер Мейсон.

— Убирайся к черту! — рекомендовал ему его

зять.

— Берегитесь! — крикнула Грейс.

Трое джентльменов дружно попятились. Мистер Рочестер толкнул меня себе за спину. Сумасшедшая прыгнула и схватила его за горло, стремясь вцепиться зубами ему в щеку. Они начали бороться. Она была крупного сложения, почти одного роста с мужем, а к тому же дородна. И силы у нее были почти мужские: раза два ей чуть не удалось его задушить, как ни был силен он сам. Конечно, он мог бы оглушить ее хорошо рассчитанным ударом, но он не бил, а только боролся. Наконец ему удалось зажать ее руки. Грейс Пул протянула ему веревку, и он связал их за спиной. Другой веревкой, тоже бывшей наготове, он примотал ее к креслу. Все это происходило под свирепейшие завывания и судорожные попытки вырваться. Затем мистер Рочестер обернулся к зрителям с улыбкой одновременно и ядовитой, и скорбной.

— Вот моя жена, — сказал он. — Таковы супружеские объятия, какие меня ожидают до конца наших дней, таковы нежные слова, ласкающие мой слух в часы досуга. А вот то, что я жаждал обрести! — Он положил руку мне на плечо. — Эту юную девушку, которая стоит так спокойно и

грустно перед пастью ада и смотрит невозмутимо на неистовства демона. Она пленила меня, как отдохновение после этого неуемного и сокрушающего бешенства. Вуд и Бригс! Оцените разницу! Сравните эти ясные очи с теми налитыми кровью глазами, это лицо с той уродливой маской, это легкое изящество с той грузностью и тогда судите меня, служитель Бога и служитель Закона! Но помните: каким судом судите, таким будете судимы! А теперь уходите! Мне нужно запереть мое сокровище.

Мы вышли все вместе. Мистер Рочестер задержался, отдавая какие-то распоряжения Грейс Пул. Когда мы спускались по лестнице, нотариус обратился ко мне со словами:

— Вы, сударыня, ни в чем не повинны. Ваш дядя обрадуется, узнав это, если он еще будет жив, когда мистер Мейсон вернется на Мадейру.

— Мой дядя? Но как же? Вы его знаете?

— С ним знаком мистер Мейсон. Мистер Эйр уже давно был представителем его торгового дома на Мадейре. Возвращаясь на Ямайку, мистер Мейсон для поправления здоровья задержался на Мадейре и волей случая оказался в гостях у вашего дядюшки, когда пришло ваше письмо с извещением о вашем предстоящем браке с ми-

стером Рочестером. Мистер Эйр сообщил об этом своему гостю, так как знал, что мой нынешний клиент знаком с джентльменом, носящим эту фамилию. Мистер Мейсон, как вы можете себе представить, был поражен и удручен подобной новостью и рассказал о действительном состоянии дел. Ваш дядюшка, как мне ни жаль, сейчас прикован к одру болезни, и почти нет надежды, что он поправится, так как его болезнь — общий упадок сил — достигла уже роковой стадии. Он не мог сам поспешить в Англию, чтобы спасти вас из ловушки, в которую вы попали, и умолял мистера Мейсона безотлагательно принять меры, чтобы воспрепятствовать этому лжебраку. И рекомендовал ему для помощи меня. Я приложил все старания и счастлив — как, несомненно, и вы, — что успел вовремя. Не будь я совершенно уверен, что ваш дядюшка скончается прежде, чем вы доберетесь до Мадейры, я рекомендовал бы вам отправиться туда с мистером Мейсоном. Но при данном положении вещей, мне кажется, вам лучше остаться в Англии, пока вы не получите вести от мистера Эйра или о нем. Надо ли нам еще для чего-либо задерживаться здесь? — осведомился он у мистера Мейсона.

— Да-да! Поторопимся! — последовал испу-

ганный ответ, и, не дожидаясь возможности проститься с мистером Рочестером, они покинули дом.

Священник задержался, чтобы обменяться несколькими фразами со своим надменным прихожанином, то ли пеняя ему, то ли увещевая, а затем, исполнив свой долг, он тоже удалился.

Я услышала, как он уходит, стоя возле полуоткрытой двери моей комнаты, куда я поднялась, едва дом затих; я закрыла дверь, задвинула задвижку, чтобы никто не мог войти, и начала… нет, не рыдать, не скорбеть — я пока еще сохраняла некоторое спокойствие, — но снимать с себя свадебный наряд, а затем надела суконное платье, которое накануне сбросила, полагая, что навсегда. Потом села, испытывая утомление и большую слабость. Я положила руки на стол, и моя голова склонилась на них. И тут я начала думать. До этой минуты я только слышала, видела, двигалась — шла, куда меня вели или тащили, — следила, как одно открытие стремительно сменялось другим, одно признание громоздилось на другое, но теперь я начала думать.

Утро было тихим, если не считать нескольких минут в помещении сумасшедшей. В церкви все происходило тихо — не было ни взрывов

страсти, ни громких пререканий, ни споров, ни взаимных обвинений, ни слез, ни рыданий. Было произнесено несколько слов; спокойно объявлено препятствие к заключению брака; несколько суровых кратких вопросов были заданы мистером Рочестером; получены ответы и объяснения; представлены доказательства. Мой патрон открыто признал их верность; затем было предъявлено живое подтверждение; посторонние удалились, и все осталось позади.

Я, как обычно, находилась в своей комнате — совсем одна, и словно бы ничто не переменилось: ничто меня не сразило, не уничтожило, не искалечило. И все же куда исчезла вчерашняя Джейн Эйр? Куда делась ее жизнь? Ее упования?

Джейн Эйр, еще недавно пылкая, исполненная надежд, почти новобрачная, вновь стала холодной одинокой девушкой, чья жизнь была лишена красок, а будущее сулило унылую безрадостность. В разгар лета выпал рождественский снег; декабрьская вьюга замела июль; ледяная корка покрыла спелые яблоки; сугробы погребли расцветшие розы; луга и поля укрыл холодный белый саван; дороги, еще вчера вившиеся среди цветущих живых изгородей, сегодня оказались скрыты под нетоптаным снегом, а рощи, лишь

двенадцать часов назад зеленеющие и душистые, будто тропические леса, теперь стояли оголенные, суровые и белые, как сосновые боры в зимней Норвегии. Все мои надежды погибли, уничтоженные тайным роком, подобным тому, который однажды ночью поразил всех первенцев в земле Египетской. Я смотрела на свои заветные мечты, вчера такие сияющие и прекрасные — теперь они превратились в окостеневшие, холодные, посинелые трупы, которые уже никогда не воскреснут. Я смотрела на свою любовь, на чувство, отданное моему патрону, им сотворенное, — она дрожала у меня в сердце будто больной младенец в колыбели. Недуг и страдание поразили ее, но она не могла искать исцеления в объятиях мистера Рочестера, не могла согреться на его груди. О, никогда, никогда больше не сможет она воззвать к нему, ибо вера разрушена, доверие уничтожено! Мистер Рочестер перестал быть для меня тем, чем был прежде. Он оказался не таким, каким я его считала. Я не приписывала ему порочности, не обвиняла его в том, что он меня предал, но его образ утратил незапятнанность, и мне следовало бежать от него — вот это я понимала твердо. Когда… как… куда — этого я еще не знала, но не сомневалась, что он сам

поторопит меня покинуть Тернфилд. Ведь он не мог питать ко мне истинного чувства. Это был лишь каприз страсти — и только. Раз ей положен предел, я уже не нужна ему. Теперь мне следует опасаться даже встречи с ним. Мой вид должен быть ему ненавистен. О, как слепы были мои глаза! Как безвольно мое поведение!

Теперь мои глаза были закрыты и заслонены: казалось, вокруг меня плещутся волны мрака, и мысли кружили темным неясным хороводом. Отрекшись от себя, расслабившись, я без малейших усилий словно положила себя в сухое русло великой реки. Я слышала, как в дальних горах забушевал поток, почувствовала приближение его бешеных вод, но у меня не было воли встать, не было сил бежать, я лежала в полузабытьи, желая одного: умереть. Лишь одна мысль еще трепетала во мне словно жизнь — мысль о Боге, и из нее родилась непроизнесенная молитва. Слова псалма бились в моем лишенном света сознании, будто требуя, чтобы я прошептала их, но и на это не было сил.

«Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет».

Да, она была близка, а так как я не вознесла мольбы к Небесам отвратить ее, не сложила

ладони, не преклонила колени, не шевельнула губами — она нахлынула. Тяжелой волной поток обрушился на меня. Вся прожитая жизнь, моя погибшая любовь, мои утраченные надежды, моя получившая смертельный удар вера взметнулись надо мной одним угрюмым кипящим валом. Этот горький час невозможно описать. Поистине, как взывал псалмопевец: «воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня».

Глава 27

Прошли часы, я подняла голову, посмотрела вокруг и увидела, что западное солнце пишет золотом на стене знаки заката. И спросила:

— Что мне делать?

Однако ответ моего сознания: «Покинь Тернфилд немедля» последовал так незамедлительно, был таким страшным, что я затворила слух и сказала, что пока такие слова для меня невыносимы. «Что я уже не невеста Эдварда Рочестера — это наименьшая часть моего горя, — заявила я. — Что я очнулась от дивных грез и убедилась в их лживости и тщете — ужасно, но этот ужас я могу стерпеть и возобладать над собой. Однако то, что я должна расстаться с ним незамедлительно, бесповоротно, навсегда, — нет, это нестерпимо! Я не могу!»

Тут какой-то внутренний голос возразил, что нет — могу, предсказал, что я это сделаю. Я боролась с собственным решением, хотела быть слабой, чтобы избежать начертанного для меня страшного пути новых страданий. И Совесть превратилась в тирана, взяла Страсть за горло,

насмешливо сказала ей, что пока она лишь окунула пальчик изящной ножки в грязь, и поклялась неумолимой рукой погрузить ее в бездонную пучину мук.

«Так пусть меня вырвут отсюда! — вскричала я. — Пусть кто-то поможет мне!»

«Нет, ты сама вырвешь себя отсюда, никто тебе не поможет. Ты сама выколешь свой правый глаз, сама отсечешь себе правую руку: твое сердце будет жертвой, а ты — жрецом, готовым заколоть ее!»

Я вскочила, ужаснувшись одиночества, в котором таился такой беспощадный судия, тишины, в которой звучал такой грозный голос. Когда я выпрямилась, голова у меня закружилась, и я поняла, что мне вот-вот станет дурно от лихорадочного волнения и телесной слабости — в этот день я не съела ни кусочка, не выпила ни глотка. Ведь завтрак я оставила нетронутым. И сердце у меня странно сжалось — я вдруг сообразила, что все долгое время, пока я оставалась в своей комнате взаперти, ко мне не постучали спросить, как я себя чувствую, или передать приглашение спуститься в гостиную. Даже маленькая Адель не поскреблась в дверь, даже миссис Фэрфакс не вспомнила обо мне.

— Друзья всегда забывают тех, к кому судьба немилостива, — пробормотала я, отодвигая задвижку и открывая дверь. Я споткнулась обо что-то — голова у меня все еще кружилась, в глазах темнело, ноги плохо слушались. Я не сумела сохранить равновесие и упала — но не на пол. Меня поддержала протянутая рука. Я подняла глаза: меня поддержал мистер Рочестер, который сидел в кресле у моего порога.

— Наконец ты вышла! — сказал он. — Я долго ждал тебя и все время прислушивался, но не услышал ни единого шороха, ни единого рыдания. Еще пять минут этой мертвой тишины — и я взломал бы замок точно грабитель. Так ты бежишь меня? Запираешься и горюешь совсем одна? Я предпочел бы, чтобы ты вышла и осыпала меня жгучими упреками. У тебя страстная натура. Я ждал вспышки. Был готов к потокам жарких слез, но хотел, чтобы пролиты они были на моей груди. Теперь же они оросили бесчувственный пол или твой намокший носовой платок. Впрочем, я ошибаюсь — ты вовсе не плакала! Я вижу побелевшие щеки и померкшие глаза, но никаких следов, оставленных слезами. Так, значит, твое сердце плакало кровью? Как, Джейн! Ни слова упрека? Ни ожесточения, ни стремления уязвить

побольнее? Ничего, что ранило бы чувства или возбудило гнев? Ты тихо сидишь, как я посадил тебя, и смотришь на меня усталым безразличным взглядом. Джейн, я не хотел нанести тебе такой раны. Будь у человека единственная овечка, которая была бы дорога ему точно дочь, ела бы его хлеб, пила бы из его чашки, покоилась бы у него на груди, а он по роковой случайности, сам того не зная, зарезал бы ее, то он не мог бы сильнее оплакивать свою кровавую ошибку, чем я оплакиваю мою. Простишь ли ты меня когда-нибудь?

Читатель! Я его простила в ту же секунду. В его глазах было такое глубокое раскаяние, такое искреннее сожаление в его тоне, такое мужество в поведении! А главное, такая неизменная любовь в его лице и выражении! Я простила ему все. Но не словами, не открыто, а лишь в глубине сердца.

— Ты знаешь, что я негодяй, Джейн? — печально спросил он затем, полагаю, сбитый с толку моим молчанием и покорностью, хотя причиной их была только телесная слабость.

— Да, сэр.

— Ну, так скажи мне это, без обиняков и гневно. Не щади меня!

— Не могу. Я измучена и дурно себя чувствую. Мне надо выпить воды.

Он испустил судорожный вздох, подхватил меня на руки и унес вниз. Сначала я не поняла, в какой комнате оказалась: моему утомленному зрению все представлялось подернутым туманом. Вскоре я ощутила живительное тепло огня, ведь у себя в комнате я совсем оледенела, словно была зима, а не лето. Он поднес вино к моим губам, я отпила, и мне полегчало. Потом я съела что-то, предложенное им, и вскоре пришла в себя. Я была в библиотеке, сидела в его кресле, он стоял рядом. «Если бы я могла сейчас уйти из жизни без особых страданий, для меня это было бы лучше всего, — подумала я. — Тогда бы мне не пришлось сделать усилие, чтобы порвать узы, связующие мое сердце с сердцем мистера Рочестера. Видимо, я должна расстаться с ним. Я не хочу расставаться с ним, я не могу расстаться с ним».

— Как ты себя чувствуешь теперь, Джейн?

— Гораздо лучше, сэр. Скоро слабость пройдет совсем.

— Выпей еще вина, Джейн.

Я выпила. Тогда он поставил рюмку на столик, встал передо мной и устремил на меня пристальный взгляд. Но внезапно отвернулся с невнятным восклицанием, полным какой-то неясной страсти. Стремительно прошелся по

комнате, нагнулся, словно собираясь меня поцеловать, но, помня, что ласки теперь запретны, я отвернулась и оттолкнула его.

— Как! Почему? — воскликнул он. — А! Понимаю. Ты не хочешь целовать мужа Берты Мейсон? Считаешь, что мои руки заняты, мои объятия принадлежат другой?

— Во всяком случае, для меня в них нет места, сэр, как и права на них.

— Почему, Джейн? Я избавлю тебя от необходимости говорить и отвечу за тебя: потому что у меня уже есть жена, ответила бы ты. Я угадал?

— Да.

— Если ты правда так думаешь, то у тебя странное мнение обо мне. Значит, ты считаешь меня коварным распутником, низким презренным соблазнителем, который изображал бескорыстную любовь, чтобы завлечь тебя в заранее расставленные силки, лишить чести, отнять у тебя самоуважение? Как ты ответишь на это? Вижу, ты ничего не можешь сказать. Во-первых, ты еще слишком слаба и свои силы тратишь на то, чтобы дышать; во-вторых, ты еще не свыклась с мыслью, что должна обвинять и обличать меня; к тому же, если ты начнешь говорить, откроются шлюзы слез, и они неудержимо хлынут из твоих

глаз. А ты не хочешь бранить, упрекать, устраивать сцену и думаешь о том, как поступить, считая разговоры бесполезными. Я тебя знаю, и я настороже!

— Сэр, у меня нет намерения поступать во вред вам, — сказала я, и дрожь в моем голосе предупредила меня, что продолжать не стоит.

— Да, с вашей точки зрения, но с моей — вы замышляете погубить меня. Вы только-только не сказали прямо, что я женатый человек, и вы намерены чураться меня как женатого человека, держаться от меня подальше. Вот, например, сейчас вы отказались поцеловать меня. Вы намерены стать совершенно чужой мне, жить под этим кровом только в качестве гувернантки Адели. И если я скажу вам хоть одно дружеское слово, если вновь в вас проснется дружеское чувство ко мне, вы подумаете: «Этот человек чуть было не сделал меня своей любовницей, с ним я должна быть ледяной и каменной», и превратитесь соответственно в камень и лед.

Я заставила свой голос звучать ясно и твердо:

— Все вокруг меня изменилось, сэр, и я должна измениться сама, в этом сомнения нет, но избежать колебаний, постоянной борьбы с воспоминаниями, тягостных соприкосновений можно

лишь одним способом… Адели нужна новая гувернантка, сэр.

— О, Адель отправится в пансион, я это уже устроил, и я не намерен терзать тебя соприкосновениями с Тернфилд-Холлом, с жуткими воспоминаниями об этом проклятом месте, этом шатре Ахана, этом спесивом склепе, хвастающем перед простором небес жутью живых мертвецов, об этом тесном каменном аде, единственный подлинный демон которого много хуже легиона воображаемых! Джейн, ты не останешься здесь, как не останусь и я. Моей роковой ошибкой было оставить тебя в Тернфилд-Холле, хотя я ни на миг не забывал, какие призраки в нем обитают. Еще не зная тебя, я распорядился, чтобы от тебя скрыли наложенное на него проклятие — просто из опасения, что Адель останется без гувернантки, если та узнает, рядом с кем ей предстоит жить, а мои планы не позволяли мне поселить сумасшедшую где-либо еще, хотя у меня есть старинный дом в маленькой усадьбе Ферндин, еще более уединенный, куда я мог бы водворить ее с полной надежностью, если бы мысль о нездоровом расположении дома, спрятанного в сердце леса, не заставила бы мою совесть восстать против помещения ее туда. Вероятно, сырые стены вско-

ре избавили бы меня от нее, но каждому злодею — свое злодейство, а мое не допускает скрытого убийства даже тех, кого я ненавижу.

Он продолжал:

— Однако скрывать от тебя присутствие рядом сумасшедшей было равносильно тому, чтобы завернуть ребенка с головой в плащ и положить в тени анчара: близость этого демона дышит ядом и всегда дышала. Но я закрою Тернфилд-Холл, забью гвоздями парадную дверь, заколочу досками окна нижнего этажа и буду платить миссис Пул двести фунтов в год, чтобы она жила здесь с моей женой, как ты называешь эту мерзкую ведьму. Грейс на многое согласится за деньги, а общество ей составит ее сын, надзиратель Гримсбайского приюта для умалишенных, и будет помогать ей во время припадков, когда сидящий в моей жене бес подталкивает ее поджигать ночью кровати со спящими, ранить людей ножом, грызть их и так далее…

— Сэр, — перебила я его, — вы безжалостны к этой несчастной, вы говорите о ней с ненавистью, со мстительным отвращением. Это жестоко. Она ведь не виновата в своем безумии.

— Джейн, любимая моя крошка (я буду называть тебя так, потому что это чистая правда), ты

не знаешь, о чем говоришь. Вновь ты судишь обо мне неверно. Я ненавижу ее не потому, что она безумна. Будь ты безумной, думаешь, я ненавидел бы тебя?

— Да, я так думаю, сэр.

— В таком случае ты ошибаешься и ничего не знаешь ни обо мне, ни о любви, на какую я способен. Каждая твоя частичка дорога мне, как моя собственная, и осталась бы столь же дорогой и в страданиях, и в болезни. Твой ум — мое сокровище, и помутись он, все равно был бы для меня сокровищем. Если бы ты буйствовала в бреду, тебя удерживали бы мои объятия, а не смирительная рубашка. Твои руки, царапай они меня, все равно дарили бы мне радость. Если бы ты набросилась на меня с бешенством, как она нынче утром, я воспрепятствовал бы тебе с любящей бережностью. Я бы не отшатнулся от тебя с омерзением, как от нее. В минуты покоя за тобой надзирал бы, за тобой ухаживал бы только я сам — с неустанной нежностью, пусть бы ты не дарила мне в ответ ни единой улыбки. И я не уставал бы смотреть в твои глаза, даже если бы они перестали меня узнавать… Но зачем отвлекаться на такую тему? Я говорил о том, что ты покинешь Тернфилд. Ты знаешь, все готово к немедленному

отъезду, и завтра ты уедешь. Я прошу тебя лишь о том, чтобы ты вытерпела еще одну ночь под этой крышей. А затем ты навсегда простишься с горестями и ужасами, укрытыми под ней! У меня есть место, которое послужит надежным приютом от тягостных воспоминаний, от нежеланных вторжений, даже от лжи и клеветы.

— И возьмите с собой Адель, — перебила я. — Ее общество будет вам утешением.

— О чем ты говоришь, Джейн? Я же сказал тебе, что отсылаю Адель в пансион. Да и на что мне общество ребенка? К тому же даже не моего ребенка, а незаконного отродья французской танцовщицы. Почему ты мне ее навязываешь? Я спрашиваю, почему ты назначаешь мне в спутницы Адель?

— Вы ведь говорили, что хотите удалиться от света, а одиночество всегда тоскливо, и для вас оно будет тоскливей вдвое.

— Одиночество! Одиночество! — повторил он с раздражением. — Я вижу, мне придется объяснить. Не понимаю выражения на твоем лице. Загадка Сфинкса! Мое одиночество разделишь ты! Ты понимаешь?

Я покачала головой. Он был настолько взволнован, что даже такой безмолвный знак несогласия

требовал известного мужества. Перед этим он стремительно расхаживал по комнате, но тут внезапно остановился, словно его пригвоздили к месту. И долго пристально смотрел на меня. Я отвела глаза, устремила их на огонь и постаралась придать себе и сохранить невозмутимый решительный вид.

— Еще одна заусеница в характере Джейн! — сказал он наконец гораздо спокойней, чем я ожидала, судя по выражению его лица. — До сих пор шелковая нить скользила без помех, но я знал, что узелков и путаницы не избежать. И не ошибся. Теперь последуют возражения, увещевания, нескончаемые треволнения. Клянусь Богом! Как мне хочется уподобиться Самсону и разорвать эти путы, как паутину!

Он снова заметался по комнате, но вскоре опять остановился — на этот раз прямо передо мной.

— Джейн! Прислушайся к голосу разума, хорошо? — Он нагнулся и приблизил губы к моему уху. — Не то я прибегну к силе!

Голос у него стал хриплым, он выглядел как человек, готовый сбросить невыносимое иго и очертя голову броситься в омут безумств. Я поняла, что еще немного, еще один толчок — и я уже не смогу на него повлиять. У меня оставалось толь-

ко это мгновение — ускользающее в прошлое, — чтобы удержать его, образумить. Оттолкнуть, попытаться бежать, выдать испуг — значило бы обречь на гибель себя... и его. Но я не боялась. Нисколько. Я ощущала внутреннюю силу, даже власть, и она поддерживала меня. Минута была угрожающей, но не без своего очарования. Наверное, то же чувствует индеец, когда скользит в пироге по быстрине между камнями. Я взяла его стиснутую в кулак руку, разогнула скрюченные пальцы и сказала мягко:

— Сядьте! Я буду разговаривать с вами, сколько вам будет угодно, и выслушаю все, что вы скажете, разумное и неразумное.

Он сел, но не смог заговорить сейчас же. Я уже некоторое время боролась со слезами, изо всех сил старалась их удержать, так как знала: ему не понравится, что я плачу. Однако теперь я сочла, что им следует дать волю. Если этот потоп его рассердит, тем лучше. И вот я разрыдалась.

Вскоре я услышала его умоляющий голос: он просил меня успокоиться. Я сказала, что не сумею, пока он в бешенстве.

— Но я же не сержусь, Джейн, а только слишком уж сильно люблю вас. А вы заставили свое бледное личико хранить такое упрямое ледяное

выражение, что я не выдержал. Ну-ну, утрите глазки.

Его мягкий голос свидетельствовал, что он справился с собой, а потому я, в свою очередь, успокоилась. Теперь он попытался положить голову мне на плечо, но этого я не допустила. И не позволила обнять себя. Нет!

— Джейн! Джейн! — сказал он с такой горькой печалью, что каждый мой нерв затрепетал. — Значит, вы меня не любите? И ценили только мое положение в обществе, привилегии моей жены? А теперь, считая, что стать вашим мужем я не могу, вы избегаете моего прикосновения, будто я жаба или горилла.

Эти слова поразили меня в самое сердце, но что я могла ответить или сделать? Вероятно, мне следовало ничего не делать и ничего не говорить, однако меня охватило глубокое раскаяние из-за того, что я причинила ему подобную боль, и я не могла подавить желание пролить каплю бальзама на нанесенную мною рану.

— Нет, я люблю вас, — сказала я. — Даже больше, чем прежде, но я не должна показывать это чувство или потакать ему. И говорю вам о нем в последний раз.

— В последний раз, Джейн? Как! Ты думаешь,

что сможешь жить рядом со мной, видеть меня ежедневно и — если ты все еще любишь меня — сумеешь оставаться холодной и далекой все время?

— Нет, сэр. Я убеждена, что не смогу, и поэтому вижу лишь один выход. Но вы придете в ярость, если я о нем упомяну.

— Упомяни! Если я взбешусь, то ты ведь владеешь искусством слез.

— Мистер Рочестер, я должна покинуть вас.

— Надолго, Джейн? На несколько минут, чтобы пригладить волосы — они немного растрепались — и умыть лицо, которое горит лихорадочным румянцем?

— Я должна оставить Адель и Тернфилд. Я должна расстаться с вами навсегда. И начать новую жизнь в ином месте среди других людей.

— Разумеется. Я сам сказал тебе то же. Не стану упоминать про это безумство — про разлуку со мной. Наоборот, вы должны стать частью меня. Что до новой жизни, то так и будет. Вы еще станете моей женой. Я не женат, вы будете миссис Рочестер и буквально, и официально. Я буду с вами, пока мы живы. Вы поселитесь в моем доме на юге Франции — в белой вилле на берегу Средиземного моря. Там вы будете вести

счастливую, безмятежную, невиннейшую жизнь. Не страшитесь, что я хочу склонить вас ко греху, сделать моей любовницей… Почему вы покачали головой? Джейн, будьте же разумны, не то я вновь впаду в отчаяние!

Его голос и руки дрожали, крупные ноздри раздулись, глаза засверкали, тем не менее я осмелилась возразить:

— Сэр, ваша жена жива, нынче утром вы сами это признали. Если я буду жить с вами, как вы описали, я буду вашей любовницей. Называть это иначе — просто словесные ухищрения и ложь.

— Джейн, я не кроткий человек, не забывайте об этом! Я не умею долго терпеть, я не хладнокровен и не бесстрастен. Из жалости ко мне и к себе пощупайте мой пульс, убедитесь, как часто он бьется… и поберегитесь!

Он обнажил запястье и протянул мне руку. Кровь отхлынула от его лица, губы побелели. Я была в отчаянии. Довести его до такого состояния сопротивлением, которого он не терпел, было жестоко, но уступить я не могла. И я инстинктивно, как любой человек в безвыходном положении, воззвала о помощи к Высшей Силе.

— Господи, помоги мне! — невольно сорвалось с моих уст.

— Какой я глупец! — внезапно вскричал мистер Рочестер. — Твержу, что не женат, и не объясняю ей почему. Я забыл, что ей ничего не известно ни о характере этой женщины, ни об обстоятельствах заключения моего с ней проклятого союза. О, я знаю, Джейн согласится со мной, когда узнает все, что знаю я! Вложи свою руку в мою, Дженет, просто чтобы не только зрение, но и осязание подтверждало, что ты тут, со мной, и я в нескольких словах изложу тебе истинное положение вещей. Ты способна меня слушать?

— Да, сэр. Часами, если вам угодно.

— Я прошу лишь несколько минут. Джейн, ты слышала, что я был не единственным сыном в семье, что у меня был старший брат.

— Да, миссис Фэрфакс как-то упомянула об этом.

— А ты слышала, что мой отец был алчным скрягой?

— Что-то такое слышала.

— Так вот, Джейн, будучи таким, он твердо решил сохранить наше состояние в полной целости. Мысль о том, чтобы разделить имение и часть его оставить мне, была ему невыносима. Он положил, что все оно должно отойти моему брату Роланду. Но не менее невыносимой для

него была мысль, что его сын будет бедняком. Меня следовало обеспечить браком с богатой невестой. И он подыскал мне невесту. Мистер Мейсон, вест-индский плантатор и негоциант, принадлежал к числу его старинных знакомых. Он не сомневался, что богатство его велико и надежно. И навел справки. У мистера Мейсона, как выяснилось, было двое детей — сын и дочь, и в приданое последней было назначено тридцать тысяч фунтов. Это его удовлетворило. Когда я окончил университет, меня отправили на Ямайку вступить в брак с уже сосватанной мне невестой. О ее деньгах отец мне ничего не сказал, сообщил лишь, что мисс Мейсон слывет первой красавицей Спаниш-Тауна, и это не было ложью. Я увидел девицу, наделенную теми же прелестями, что и Бланш Ингрэм, — высокую статную брюнетку. Ее семья хотела этого брака из-за моего происхождения — и она тоже. Они показывали мне ее на балах и званых вечерах в великолепных туалетах. Я редко виделся с ней наедине и почти не разговаривал с ней. Она мне льстила и старалась обворожить своей красотой и светскими талантами. Казалось, все мужчины восхищаются ею и завидуют мне. Я был ослеплен, восхищен, мои чувства пылали, и я решил, что

влюблен, — я ведь был невежественным, неопытным мальчишкой.

Нет безумия, на которое не толкнуло бы человека дурацкое светское соперничество вкупе с опрометчивостью, необузданностью и слепотой юности. Ее родственники поощряли меня, соперники распаляли, она обвораживала, и брак был заключен прежде, чем я толком понял, что происходит. Нет, я не испытываю к себе уважения, когда вспоминаю о своем поведении, — ничего, кроме мучительного презрения. Я никогда не любил, не уважал, даже почти не знал ее. Не был уверен, что в ее натуре есть хоть одна хорошая черта. Я не заметил ни единого свидетельства скромности, доброты, искренности и утонченности в ее душе или манерах, и все же я женился на ней! Глупый, облапошенный, слепой как крот простофиля, каким я был тогда! Да я меньше согрешил бы… Нет, я не должен забывать, с кем говорю.

Матери моей невесты я представлен не был — мне казалось, что она давно умерла. После медового месяца я узнал, что ошибся: она всего лишь помешалась, и ее поместили в приют для умалишенных. У моей супруги оказался еще и младший брат — полный идиот от рождения.

Таким же, вероятно, рано или поздно станет и другой ее брат, которого ты видела. (Как ни отвратительна мне его родня, к нему я не могу питать ненависти, потому что при всем слабодушии он не лишен способности любить, как доказывает его неугасающий интерес к судьбе злополучной сестры, а также собачья привязанность, которую он когда-то питал ко мне.)

Мой отец и мой брат Роланд все это знали, но думали лишь о тридцати тысячах фунтов и присоединились к заговору против меня.

Это были жуткие открытия, но, если бы не скрытность и обман, я бы не поставил их в вину моей жене, даже когда убедился, до чего мне чужда ее натура, как противны мне ее вкусы, в какой мере вульгарен, низок, узок ее ум, насколько невозможно возвысить его и облагородить; даже когда обнаружил, что не могу с удовольствием в ее обществе провести хотя бы вечер, хотя бы единый час, что мы не способны поддержать интересный разговор, так как любая тема, какой я касался, в ее устах тотчас становилась пошлой и грубой, извращенной и идиотичной; даже когда понял, что в собственном доме никогда не буду знать уюта и покоя, поскольку не находилось прислуги, способной долго терпеть ее злобные

беспричинные вспышки, ее нелепые, противоречивые и требовательные приказания, — даже тогда я сдерживался, избегал упреков, не позволял себе никаких обвинений. Я пытался втайне справляться с моим разочарованием и отвращением. Я подавлял глубочайшую антипатию, которую испытывал.

Джейн, не стану докучать тебе невыносимыми подробностями, ограничусь лишь несколькими словами, идущими к делу. С женщиной, запертой там, наверху, я прожил четыре года, и еще до конца этого срока она истерзала меня — и как! Ее склонности развились окончательно с ужасающей быстротой. Ее пороки расцветали пышным цветом один за другим и были настолько бесстыдными, что обуздать их могла бы лишь жестокость, а к жестокости я прибегать не хотел. Каким крохотным был ее умишко и какими колоссальными животные наклонности! Каким страшным проклятием для меня оборачивались эти наклонности! Берта Мейсон, достойная дочь омерзительной матери, подвергла меня всем адским и унизительным мукам, на какие обречен человек, связанный узами брака с женщиной не знающей узды и развратной.

Тем временем мой брат умер, а к концу этих

четырех лет умер и мой отец. Теперь я стал очень богатым и все же был обречен на самую страшную нищету — натура, такая грубая, нечистая, порочная, какую и вообразить невозможно, была неразрывно связана со мной, признавалась законом и обществом моей половиной. И избавиться от нее законным путем я не мог, так как врачи теперь установили, что моя жена — сумасшедшая, ее излишества ускорили развитие наследственного безумия… Джейн, тебе тягостен мой рассказ? Тебе словно бы дурно. Не отложить ли остальное до другого дня?

— Нет, сэр, продолжайте. Я жалею вас. От всего сердца.

— Жалость некоторых людей, Джейн, это гнусное оскорбление, которое следует швырнуть в лицо тем, от кого она исходит. Но это жалость, присущая черствым, эгоистическим сердцам. Ее порождает неприятная боль, причиненная повестью о чужих бедах, и невежественное презрение к тем, кому пришлось терпеть эти беды. Но это не твоя жалость, Джейн, не то чувство, которым сейчас дышит твое лицо, которое почти исторгает слезы из твоих глаз и переполняет твое сердце… заставляет дрожать твою руку в моих руках. Твоя жалость, милая, это страдающая мать любви, и ее

боль знаменует рождение божественной страсти. И я принимаю ее, Джейн, так не прячь ее дочь — мои объятия открыты ей.

— Продолжайте же, сэр. Как вы поступили, узнав, что она сошла с ума?

— Джейн, я был на грани полного отчаяния, только остатки самоуважения удержали меня на краю бездны. В глазах света я, без сомнения, был покрыт грязью бесчестия, но я решил оставаться чистым в собственных глазах — до последней минуты я не позволял ее порокам запятнать меня, ее безумствам бросить на меня тень. Тем не менее общество связывало с ней и мое имя, и меня самого. И я все еще видел и слышал ее изо дня в день. Ее дыхание (фу!) примешивалось к воздуху, которым я дышал, а кроме того, я не мог забыть, что одно время был ее мужем — мысль об этом и тогда, и теперь невыразимо отвратительна мне. И еще я знал, что не смогу стать мужем другой, несравненно лучшей женщины, пока жива она. А она, хотя и была на пять лет старше меня (ее родня и мой отец скрыли даже ее возраст!), вполне могла прожить дольше, чем я, ибо телом была здорова не менее, чем больна духом. Вот так в возрасте двадцати шести лет я оказался лишенным всяких надежд на будущее.

Как-то ночью меня разбудили ее вопли (разумеется, с тех пор, как доктора признали ее сумасшедшей, она содержалась взаперти). Ночь была одной из тех паляще-душных вест-индских ночей, которые часто предвещают тамошние ураганы. Не в силах уснуть, я встал и открыл окно. Воздух обжигал, будто серные пары, я не обрел желанной прохлады. В окно влетели тучи москитов и с назойливым писком закружили по комнате. Я слышал, как глухо ворчал океан, будто земные недра перед землетрясением. Над ним громоздились темные тучи. Луна, круглая и красная, как раскаленное пушечное ядро, погружалась в них, бросая последний кровавый взгляд на мир, содрогающийся в предчувствии бури. Это зрелище, сама атмосфера воздействовали на меня, в моих ушах отдавались проклятия, все еще изрыгавшиеся безумной. Внезапно она выкрикнула мое имя с такой демонической ненавистью, в таких выражениях! Ни одна портовая блудница не нашла бы ничего гнуснее них! Хотя находилась она в двух комнатах от меня, я слышал каждое слово — тонкие вест-индские стены почти не приглушали ее волчьих завываний.

«Эта жизнь — ад! — сказал я наконец. — Вокруг меня воздух и звуки преисподней! Я имею пра-

во спастись! Я избавлюсь от страданий своего смертного бытия вместе с грубой плотью, сковывающей сейчас мою душу. Я не страшусь вечного огня, которым грозят фанатики: ничто в будущем не может быть хуже того, что я терплю теперь. Я вырвусь отсюда и вернусь к Богу!»

Говорил я это, опустившись на колени и отпирая сундук, в котором хранилась пара пистолетов. Я хотел застрелиться. Однако намерение это тут же и исчезло; ведь я был в здравом уме, а исступленное отчаяние, подсказавшее желание и способ покончить с собой, достигнув предела, через секунду угасло.

С океана подул свежий ветер со стороны Европы и ворвался в окно. Разразилась буря, хлынул ливень, загрохотал гром, заблистали молнии, и воздух очистился. И тут я понял, что мне делать, и принял непоколебимое решение. Я расхаживал под намокшими гранатовыми и апельсиновыми деревьями моего сада среди залитых водой ананасов, а вокруг разгоралось великолепие тропической зари. Вот как я рассуждал, Джейн, — слушай внимательно, ибо в тот час меня утешила истинная Мудрость и указала верный путь.

Душистый ветер из Европы все еще шелестел в освеженной листве. Гремел, не зная оков, Ат-

лантический океан, а мое сердце, столь долго иссушенное и испепеленное, ожило от этих звуков, наполнилось горячей кровью. Все мое существо искало обновления, моя душа жаждала испить чистоты. Я узрел, как воскресает надежда, и почувствовал, что возрождение возможно. Из-под цветущей арки в конце сада я смотрел на океан, более синий, чем небеса. За ним лежал Старый Свет, и путь был свободен.

«Поезжай! — сказала Надежда. — Вновь поселись в Европе, там не знают, как запятнано твое имя, какую грязную ношу ты вынужден влачить. Ты можешь увезти безумную с собой в Англию, поместить ее со всеми предосторожностями под надежный надзор в Тернфилде, а потом путешествуй, где пожелаешь, завязывай связи, какие захочешь. Женщина, которая так мерзко злоупотребляла твоим долготерпением, так опозорила твое имя, так запятнала твою честь, так сгубила твою молодость, — тебе не жена, и ты ей не муж. Позаботься, чтобы за ней ухаживали так, как позволяет ее состояние, и ты выполнишь все, чего от тебя требуют Бог и человечность. Пусть ее личность, ее связь с тобой будут преданы забвению. Ты не обязан сообщать о них кому бы то ни было. Обеспечь ей безопасность и возможный комфорт,

скрой под покровом тайны ее превращение в животное и покинь ее».

Я поступил именно так. Мой отец и брат ничего не говорили о моем браке своим знакомым. В первом же письме, которое я написал им после свадьбы, я настоятельно просил их сохранить его в тайне, так как уже испытывал необратимое отвращение к его последствиям и, судя по тому, что успел узнать о ней и о ее семье, предвидел, какое ужасное будущее меня ожидает. Очень скоро гнусное поведение жены, которую выбрал для меня отец, заставило его самого краснеть от мысли о том, что у него подобная невестка. И он не меньше меня желал скрыть подобное родство.

Итак, я увез ее в Англию. Каким ужасным было плаванье в обществе такого чудовища! Как я был рад, когда наконец добрался до Тернфилда и водворил ее в комнату третьего этажа — за десять лет она превратила примыкающее потайное помещение в берлогу дикого зверя, в обиталище злого духа. Найти для нее надзирательницу оказалось нелегко. Требовалась такая, на кого можно было бы безоговорочно положиться, так как в своем бреду она неминуемо выдала бы мою тайну. К тому же у нее выпадали ясные дни, а иногда и недели, которые она использовала,

чтобы всячески меня поносить. Наконец я нанял Грейс Пул, служившую в Гримсбайском приюте для умалишенных. Она и врач Картер (тот, который перевязывал раны Мейсона в ту ночь, когда она ударила его ножом и искусала) были единственными, кому я доверил мою тайну. Миссис Фэрфакс, возможно, что-то подозревала, но ничего не знала наверное. Грейс в целом оказалась хорошей надзирательницей, хотя из-за одной дурной привычки, от которой ничто не может ее излечить, так как это следствие ее нелегкой профессии, она порой забывает об осторожности и бдительности. Сумасшедшая и хитра, и очень злобна — она не упустила ни единого случая воспользоваться слабостью своей надзирательницы. Один раз припрятала тот самый нож, которым ранила брата, и дважды выкрадывала ключ, чтобы ночью выбраться из заключения. В первый раз попыталась сжечь меня в моей постели, а во второй нанесла тебе этот страшный визит. Благодарю хранящее тебя Провидение, что свою ярость она излила на твою фату — возможно, смутно вспомнив собственную свадьбу. Мне и помыслить жутко, что могло бы произойти! Когда я думаю, что тварь, сегодня утром вцепившаяся мне в горло, наклоняла сине-багровое лицо над

гнездом моей голубки, кровь стынет у меня в жилах…

— А чем занялись вы, сэр, — спросила я, воспользовавшись паузой, — когда устроили ее здесь? Куда вы отправились?

— Чем занялся я, Джейн? Превратился в блуждающий огонек. Куда отправился? Странствовал, бесприютный, как зимние ветра. Уехал на континент, объехал все европейские страны. Моим твердым желанием было искать и найти добрую, умную женщину, которую я мог бы полюбить. Полную противоположность фурии, оставшейся в Тернфилде…

— Но ведь вы не могли жениться, сэр.

— Я решил и убедил себя в том, что и могу, и должен. Сначала я не собирался обманывать, как обманул тебя. Я был намерен рассказать обо всем и сделать свое предложение открыто. Мое право любить и быть любимым казалось мне неоспоримым и абсолютно логичным: я не сомневался, что найдется женщина, готовая и способная понять мое положение и дать мне согласие вопреки моему проклятию.

— И что же, сэр?

— Когда тебя что-то интересует, Джейн, я всегда улыбаюсь. Ты широко раскрываешь глаза,

как любопытная птичка, и порой нетерпеливо встряхиваешь головой, словно словесные ответы кажутся тебе слишком медленными и ты стремишься прочесть скрижали сердца говорящего. Но прежде чем я продолжу, объясни, что ты подразумевала под своим «и что же, сэр?». Этот коротенький вопрос ты задаешь очень часто, и много раз он подталкивал меня говорить и говорить без конца. Но я не совсем понимаю почему.

— Я подразумеваю: «что же дальше?», «как вы поступили?», «какие последствия это имело?».

— Вот именно. И что же ты желаешь узнать сейчас?

— Нашли ли вы женщину, которая вам понравилась, просили ли вы ее стать вашей женой и что она ответила?

— Я могу сказать, что нашел такую и просил ее стать моей женой, однако ее ответ пока еще только должен быть записан в Книгу Судеб. Десять лет я беспрерывно странствовал, жил то в одной столице, то в другой. Иногда в Санкт-Петербурге, чаще в Париже, порой в Риме, Неаполе и Флоренции. Имея много денег и старинную фамилию в паспорте, я мог выбирать общество себе по вкусу — все двери были мне открыты. Я искал свой идеал женщины среди английских

леди, французских графинь, итальянских синьор и немецких баронесс. Но не сумел найти его. Иногда на мгновение мне чудилось, что я поймал взгляд, уловил тон, увидел облик, сулившие осуществление моей мечты, но вскоре разочаровывался. Не думай, будто я искал совершенства души или красоты. Я жаждал только того, что подошло бы мне, — полной противоположности безумной креолке, и жаждал тщетно. Среди всех, с кем меня сводила судьба, ни одну, даже будь я совершенно свободен, я бы — по опыту зная опасности, ужас, отвратительность неудачного брака — не попросил стать моей женой. Разочарования лишили меня разборчивости, я испробовал беспутную жизнь — но не разврат, его я ненавидел и ненавижу. Он был атрибутом моей ямайской Мессалины: глубокое отвращение к ней и к нему удерживало меня от многого даже в удовольствиях. Любое развлечение, граничившее с оргией, словно бы приближало меня к ней, к ее порочности, и я воздерживался.

Однако я не мог жить в полном одиночестве и потому испробовал жизнь с любовницами. Первой я выбрал Селину Варанс, еще один поступок, за который презираешь себя, вспоминая о нем. Ты уже знаешь, какой она была и чем кон-

чилась наша связь. У нее были две преемницы — итальянка Джачинта и немка Клара, — обе редкие красавицы. Но что значила для меня их красота через несколько недель? Джачинта была лживой и разнузданной, через три месяца я с ней расстался. Клара была честной и спокойной, но тяжеловесной, глупой, без каких-либо интересов — совершенно не в моем вкусе. Я с радостью снабдил ее солидной суммой, чтобы она могла открыть мастерскую или лавку, и таким образом избавился от нее к обоюдному удовольствию. Однако, Джейн, я вижу по твоему лицу, что сильно упал в твоем мнении. Ты считаешь меня бесчувственным, безнравственным распутником, не так ли?

— Да, правда, сэр, вы сейчас нравитесь мне меньше, чем в других случаях. Вам не казалось, что вы поступали дурно, живя то с одной любовницей, то с другой? Вы говорите об этом как о чем-то само собой разумеющемся.

— Так и было, хотя мне это не понравилось. Недостойное существование, и мне бы не хотелось вернуться к нему. Нанять любовницу это ведь почти то же, что купить рабыню: обе часто — по природе и всегда по своему положению — стоят ниже тебя, а поддерживать близость с теми, кто

ниже, унизительно. Теперь мне отвратительны воспоминания о времени, которое я провел с Селиной, Джачинтой и Кларой.

Я почувствовала в этих словах правду и вывела из них следующее твердое заключение: если я настолько забудусь и забуду все внушенные мне нравственные начала, что под любым предлогом, с любыми оправданиями, при любом искушении стану преемницей этих бедных женщин, то неизбежно настанет день, когда он и на меня поглядит с тем же чувством, которое сейчас оскверняет воспоминания о них. Вслух я этого вывода не высказала — достаточно было признать про себя его верность. И запечатлела его в своем сердце, чтобы он послужил мне опорой в час испытания.

— Джейн, почему ты не говоришь «и что же, сэр?». Я ведь еще не кончил. Ты выглядишь расстроенной. Вижу, ты все еще не одобряешь меня. Но к делу. В прошлом январе, избавившись от всех любовниц, я вернулся в Англию, куда меня призвали дела, — в мрачном ожесточении от бесполезной скитальческой одинокой жизни, чураясь всего человечества и особенно женской его половины (так как я начал верить, что умная, верная, любящая женщина — всего лишь химера наивного воображения).

В холодный зимний вечер я верхом приближался к Тернфилд-Холлу. Ненавистное место! Я не ждал там ни радости, ни покоя. По дороге из Хея на приступке перелаза я увидел одинокую фигурку. Я проехал мимо, обратив на нее не больше внимания, чем на ивовый куст напротив. Никакое предчувствие не сказало мне, чем она станет для меня. Никакой внутренний голос не предупредил, что там в скромном обличии сидит вершительница моей судьбы, мой гений добра или зла. Я не понял этого, даже когда Месрур упал и она подбежала, предлагая мне помощь. Тоненькая, совсем ребенок! Словно малиновка спорхнула к моей ноге и предложила поднять меня на своих крылышках. Я был груб, но малютка не уходила, она стояла возле меня со странным упорством, говорила с мягкой властностью, которой дышало ее лицо, настаивала, что мне нужна помощь вот этой маленькой руки. И помощь была мне оказана.

Едва я оперся на это хрупкое плечико, как что-то новое — свежий сок, чувства — заструилось в моих жилах. К счастью, я узнал, что этот эльф вернется ко мне, что он обитает в моем доме там, внизу. Иначе какое сожаление испытал бы я, когда он выскользнул из-под моей руки и исчез

бы за тонущей во мгле изгородью. Я слышал в тот вечер, как ты вернулась в дом, Джейн, хотя, вероятно, ты не подозревала, что я думал о тебе и ждал тебя. На следующий день я в течение получаса, оставаясь невидимым, наблюдал за тобой, пока ты играла с Аделью в галерее. Я помню, шел снег, и вы не могли отправиться на прогулку. Я был в спальне и приоткрыл дверь, так что мог и слушать, и наблюдать. Некоторое время Адель требовала твоего внимания, но мне казалось, что твои мысли витают где-то еще. Однако ты была очень терпелива с ней, моя малютка Джейн, ты болтала с ней и придумывала новые игры. Когда же наконец она оставила тебя одну, ты сразу погрузилась в глубокую задумчивость и начала медленно прохаживаться по галерее. Иногда, проходя мимо окна, ты смотрела на густо валящий снег, прислушивалась к рыданиям ветра, а потом тихонько шла дальше, о чем-то мечтая. Мне кажется, эти грезы наяву не были печальными: в твоих глазах часто появлялся радостный свет, лицо дышало приятным волнением, не сочетающимся с горькими, желчными, меланхолическими мыслями. Весь твой вид, напротив, говорил о чудесных мечтаниях юности, когда дух на стремительных крыльях следует за полетом

Надежды все выше, выше к идеальным небесам. Голос миссис Фэрфакс, отдавшей распоряжение кому-то из слуг внизу, заставил тебя очнуться, и как же странно, Дженет, ты улыбнулась себе и над собой! Твоя улыбка таила столько смысла! Она была очень умудренной: казалось, ты подшучиваешь над своей мечтательностью. Она словно говорила: «Мои чудные грезы прекрасны, но я не должна забывать, что они абсолютно несбыточны. В моих мыслях я храню розовое небо и зеленеющий полный цветов Эдем, но я хорошо знаю, что на самом деле передо мной тянется ухабистая дорога, а вокруг собираются черные тучи, и впереди меня ждет одна гроза». Ты побежала вниз и спросила миссис Фэрфакс, чем тебе заняться — привести в порядок еженедельные счета, если не ошибаюсь, а может быть, и что-нибудь еще. Я рассердился на тебя за то, что ты скрылась с моих глаз.

И с нетерпением ожидал вечера, когда мог пригласить тебя к себе. Я подозревал в тебе неизвестный мне совершенно новый характер. Мне хотелось глубже проникнуть в него, узнать его получше. Ты вошла в гостиную одновременно застенчиво и независимо, неказисто одетая — вот как сейчас. Я заставил тебя разговориться и вско-

ре обнаружил в тебе множество удивительных контрастов. Твоя одежда и манеры соответствовали общепринятым условностям, выражение часто казалось робким. И в целом складывалось впечатление, что передо мной утонченная натура, но абсолютно не привыкшая к обществу и сильно опасающаяся поставить себя в неловкое положение каким-нибудь недосмотром или промахом. Однако, выслушав вопрос, ты обращала на спрашивающего пытливый, смелый, пылающий взгляд, в котором были проницательность и сила. На настойчивые вопросы следовали обдуманные исчерпывающие ответы. Вскоре ты словно бы свыклась со мной — мне кажется, Джейн, ты почувствовала существование некой симпатии между собой и твоим угрюмым сердитым патроном. Было поразительно наблюдать, как быстро мягкая непринужденность придала спокойствие твоей манере держаться: как я ни рычал, ты не выказывала удивления, страха, досады или раздражения на мои резкости. Ты смотрела на меня и иногда улыбалась мне с простотой и мудростью, не поддающимися описанию. То, что я видел, одновременно и умиротворяло меня, и будило интерес. Мне понравилось то, что я увидел, и я хотел видеть все больше и больше. Однако

в течение долгого времени я держался с тобой холодно и редко искал твоего общества. Я вел себя как интеллектуальный эпикуреец, желая продлить удовольствие от такого необычного и интригующего знакомства. К тому же некоторое время меня преследовал страх, что при слишком свободном обращении с цветком он увянет, лишится очарования душистой свежести. Тогда я еще не знал, что этот цветок не однодневка, но, напротив, подобен вырезанному из драгоценного камня и неподвластному времени. Кроме того, мне хотелось узнать, будешь ли ты искать встреч со мной, если я начну тебя избегать, — но ты их не искала, а оставалась в классной комнате, не покидая ее, точно твой письменный стол или мольберт. Если я случайно встречал тебя, ты проходила мимо настолько быстро, настолько сторонясь меня, насколько позволяло уважение к хозяину дома. Твоим обычным выражением в те дни, Джейн, была задумчивость. Не унылость, так как ты была здорова, но и не живость, словно у тебя не было надежды, не было никаких радостей. Я гадал, что ты думаешь обо мне, да и думаешь ли. И чтобы узнать наверное, я возобновил наши беседы. Когда мы разговаривали, в твоих глазах сквозило удовольствие, манеры ста-

новились оживленными. Я увидел, что по натуре ты общительна. Безмолвие классной комнаты, однообразие твоей жизни — вот что делало тебя печальной. Я разрешил себе удовольствие быть добрым с тобой. Доброта вскоре оказала свое действие: твое лицо стало безмятежнее, тон более мягким. Мне нравилось слышать, как твои губы произносят мое имя с благодарным радостным выражением. Как я наслаждался в те дни случайными встречами с тобой, Джейн: в тебе сквозила странная неуверенность, ты смотрела на меня с легкой тревогой — с боязливым сомнением, не зная, буду ли я играть роль сурового хозяина или доброго друга. К этому времени я уже так привязался к тебе, что редко поддавался капризу изображать первого. А когда я дружелюбно протягивал руку, твои юные грустные черты озарялись таким блаженным светом, так расцветали, что мне нелегко было удержаться и тут же не прижать тебя к моему сердцу.

— Не говорите больше о тех днях, сэр, — перебила я, незаметно смахивая слезы с глаз. Его слова были для меня пыткой: ведь я знала, что должна сделать — и скоро, — а все эти воспоминания, этот рассказ о его чувствах бесконечно затрудняли исполнение моего плана.

— Да, Джейн, — ответил он. — Что за нужда возвращаться к Прошлому, когда Настоящее настолько определеннее, а Будущее настолько светлее!

Я вздрогнула, услышав это пылкое утверждение.

— Ты ведь поняла положение вещей, не правда ли? — продолжал он. — После того как моя юность и половина зрелости миновали сначала в невыносимых муках, а затем в унылом одиночестве, я впервые в жизни обнаружил, что способен любить по-настоящему, — я нашел тебя! Ты моя гармония, лучшее во мне, мой добрый ангел, я связан с тобой неразрывными узами. Я считаю тебя безупречной, одаренной, прелестной. Жаркая благороднейшая любовь переполняет мое сердце, превращает тебя в его центр и источник жизни, подчиняет мое существование твоему — и, разгораясь чистым могучим пламенем, сплавляет тебя и меня воедино.

Потому что я чувствовал и знал это, я решил жениться на тебе. Утверждать, будто у меня уже есть жена, — простая насмешка. Ты теперь знаешь, что у меня есть лишь ужасный демон. Я поступил дурно, обманывая тебя, но я опасался упрямства, которое есть в твоем характере. Я боялся приви-

тых тебе с детства предрассудков, я хотел, чтобы ты стала моей, прежде чем признаться во всем. Это было трусостью. Мне следовало воззвать к твоему благородству и великодушию сразу же — вот как теперь, открыть, какая вечная агония — мое существование, описать тебе, как я жажду более высокой, более достойной жизни, доказать не мое намерение — это слишком слабое слово! — но мою твердую решимость любить преданно и горячо, если буду любим в ответ столь же преданно и горячо. И тогда бы я попросил тебя принять мою клятву верности и дать такую же клятву мне. Так дай же ее теперь!

Наступила пауза.

— Почему ты молчишь, Джейн?

Я терпела невыразимую муку — все внутри у меня было словно зажато в раскаленном железном кулаке. Жуткий миг: полный борений, черноты, всепожирающего огня! Никто не мог бы пожелать, чтобы его любили сильнее, чем любили меня, а того, кто любил меня, я бесконечно обожала, и я должна была отречься от любви и от моего кумира. Одно грозное слово знаменовало мой невыносимый долг: «Беги!»

— Джейн, ты понимаешь, чего я жду от тебя? Только обещания: «Я буду вашей, мистер Роче-

стер».

— Мистер Рочестер, я не буду вашей.

Вновь долгое молчание.

— Джейн, — начал он снова с нежностью, которая сокрушила меня горем, оледенила зловещим ужасом, потому что этот голос был рыком пробуждающегося льва, — Джейн, ты решила, что пойдешь одним путем и позволишь мне идти другим?

— Да.

— Джейн (наклоняясь и обнимая меня), ты и сейчас это повторишь?

— Да.

— А теперь? (Нежно целуя меня в лоб.)

— Да (быстро вырвавшись из его рук).

— Джейн, это жестоко! Это… это грешно. Любить меня не было бы грехом.

— Но послушаться вас — было бы.

Его брови поднялись над дико вспыхнувшими глазами, лицо исказилось. Он вскочил, но все еще сдерживался. Я оперлась о спинку соседнего кресла, я вся дрожала, я боялась — но не поколебалась.

— Погоди, Джейн. Брось взгляд на мою страшную жизнь, когда ты будешь далеко. Все счастье исчезнет с тобой. И что останется? Вместо жены у

меня сумасшедшая наверху. Почему бы тебе просто не отослать меня к какой-нибудь покойнице на кладбище? Что мне делать, Джейн? Где искать спутницу и хоть немного надежды?

— Поступите, как я: положитесь на Господа и на себя. Уповайте на Небеса. Надейтесь на встречу там.

— Так ты не уступишь?

— Нет.

— Значит, ты обрекаешь меня жить в муках и умереть проклятым? — Он почти кричал.

— Я советую вам жить безгрешно и желаю вам умереть с чистой совестью.

— Значит, ты отнимаешь у меня любовь и чистоту? Бросаешь на милость низкой страсти вместо любви, во власть порока вместо достойных занятий?

— Мистер Рочестер, я предназначаю вам такую судьбу не больше, чем избираю ее для себя. Мы оба рождены бороться и терпеть свой жребий — вы, как и я. Так боритесь. Вы забудете меня прежде, чем я вас.

— Такими словами ты превращаешь меня в лжеца, пятнаешь мою честь. Я поклялся, что не изменюсь, ты говоришь мне в лицо, что я изменюсь, и скоро! И какое извращение понятий о

добре и зле, какую неверность суждений доказывает твое поведение! Разве лучше ввергнуть ближнего в безысходное отчаяние, чем преступить всего лишь людской закон, причем никому не причинив вреда? Ведь у тебя нет ни родственников, ни друзей, кого могло бы оттолкнуть твое решение жить со мной.

Это была правда, и пока он говорил, моя собственная Совесть, мой Рассудок восстали на меня. Они заговорили почти столь же громко, как Чувство, а оно исступленно кричало: «Уступи же! Подумай о его горе, об опасностях, ему угрожающих, — посмотри, в какое состояние он впадает, оставшись один. Вспомни опрометчивость его натуры, взвесь необузданность, которая приходит на смену отчаянию. Так успокой же его, спаси его, люби, скажи ему, что любишь, что будешь его. Кому во всем мире есть до тебя дело? Кому причинят вред твои поступки?»

И все-таки ответ остался твердым. «Мне есть дело. Чем больше мое одиночество без друзей и поддержки, тем больше я хочу уважать себя. Я не нарушу закона, данного Богом, подтвержденного людьми. Я не отступлю от нравственных начал, которые были мне внушены до того, как я обезумела, как схожу с ума сейчас. Законы и

нравственные начала существуют не для времени, свободного от искушения, они — вот для таких мгновений, когда душа и тело поднимают мятеж против их строгости! Да, они суровы! И останутся нерушимыми! Если я могу преступить их святость во имя собственной прихоти, то чего они стоят? А в них — святость, так я верила всегда. А если сейчас утратила эту веру, то потому лишь, что я обезумела, совершенно обезумела. В жилах у меня струится огонь, сердце колотится так, что я не способна сосчитать его удары. Признанные мною заветы, принятые решения — вот все, на что я могу опереться в этот час, и я обопрусь на них безоговорочно».

Мистер Рочестер прочел это по моему лицу. Его ярость достигла предела, и он не мог не уступить ей, каковы бы ни были последствия. Он мгновенно пересек комнату, схватил меня за плечо, обнял за талию. Казалось, его огненный взор пожирает меня. Физически я чувствовала себя в тот миг такой же беспомощной, как сухая трава, на которую дохнуло жаром раскаленной печи, однако я все еще владела своей душой, и это было залогом спасения. К счастью, у души есть толмачи — часто сами того не подозревающие, но тем не менее правдивые, — наши глаза. Я

встретилась взглядом с его взглядом и, смотря на его полное ярости лицо, невольно вздохнула. Его руки больно сжимали меня, и мои измученные силы почти истощились.

— Никогда, — сказал он, скрипнув зубами, — никогда еще не было ничего столь хрупкого и неустрашимого. В моих руках она точно тростинка (и он встряхнул меня столь же сильно, как и сжимал). Я мог бы согнуть ее большим и указательным пальцами, но что было бы толку, если бы я согнул, если бы вырвал с корнем, если бы сокрушил ее? Подумай об этих глазах, подумай о непокоренном, неукротимом, свободном создании, которое выглядывает из них, бросая мне вызов не просто со смелостью, но и с суровым торжеством. Что бы я ни сделал с клеткой, я не могу добраться до него, до вольного прекрасного создания! Если я разорву, сокрушу непрочную темницу, мое насилие лишь выпустит пленницу на свободу. Я могу завоевать обиталище, но обитатель спасется на небеса, прежде чем я смогу назвать себя обладателем жилища, сотворенного из праха. А нужны мне твои воля и сила, светлый дух, твои добродетель и чистота, а не только твоя хрупкая оболочка. Если ты пожелаешь, ты прилетишь на ласковых крыльях и обретешь

гнездышко в моем сердце. Схваченная против воли, ты ускользнешь, как благоухание цветка, исчезнешь, прежде чем я успею его вдохнуть. Приди же, Джейн, приди!

С этими словами он отпустил меня и только смотрел. Сопротивляться этому взгляду было куда труднее, чем судорожному объятию. Но сдаться теперь значило бы потерять разум. Я бросила вызов его ярости и возобладала над ней. От его печали мне следовало бежать. Я направилась к двери.

— Ты уходишь, Джейн?

— Я ухожу, сэр.

— Ты меня покидаешь?

— Да.

— Ты не придешь? Не будешь моей утешительницей, моей спасительницей? Моя глубокая любовь, мое неистовое горе, мои отчаянные мольбы — они все для тебя ничто?

Какая невыразимая скорбь была в его голосе! Как трудно было ответить твердым: «Я ухожу».

— Джейн!

— Мистер Рочестер?

— Так уходи… я согласен. Но помни, ты оставляешь меня в агонии. Поднимись в свою комнату, обдумай все, что я сказал, и, Джейн, брось взгляд

на мои страдания, думай обо мне.

Он отвернулся и бросился ничком на диван.

— О, Джейн! Моя надежда… моя любовь… моя жизнь! — срывались с его губ слова, исполненные муки. Затем раздалось громкое рыдание.

Я уже была у двери, но, читатель, я вернулась — вернулась столь же решительно, как и уходила. Я опустилась рядом с ним на колени, повернула его голову к себе и поцеловала в щеку, пригладила ему волосы ладонью.

— Бог да благословит вас, мой дорогой патрон! — сказала я. — Да спасет вас Бог от всех бед и зла… ведет вас, утешает… вознаградит вас за всю вашу былую доброту ко мне.

— Любовь малютки Джейн была бы мне лучшей наградой, — ответил он. — Без нее мое сердце разбито. Но Джейн подарит мне свою любовь! Да! Великодушно, щедро…

Кровь прихлынула к его лицу, огонь заблистал в глазах. Он вскочил, он протянул руки… но я уклонилась от его объятий и тотчас покинула библиотеку.

«Прощай!» — простонало мое сердце, когда я переступила ее порог, а отчаяние добавило: «Прощай навеки!»

Я думала, что всю ночь не сомкну глаз, однако

сон сморил меня, едва я легла. Я перенеслась в мое детство. Мне снилось, будто я лежу в гейтсхедской Красной комнате, что ночь темна, а моя душа полна неясных страхов. Свет, который в то давнее время повергнул меня в обморок, казалось, скользил вверх по стене и, трепеща, остановился в центре темного потолка. Я подняла голову, чтобы доглядеть, и потолок разошелся высокими смутными облаками, свет же словно возвещал, что сквозь них пробирается луна. Я смотрела, как она выплывает, — смотрела с необыкновенным предчувствием, словно ожидала, что на ее диске начертаны некие роковые слова. Она вырвалась из пелены, но так, как этого еще никогда не бывало: сначала черные клубы пронизала рука и разметала их, а затем в лазури засияла не луна, но белая человеческая фигура, склонявшая блистающее чело в сторону земли. Она устремила взор на меня и заговорила с моей душой. Голос доносился из неизмеримой дали и все же был таким близким! Он прошептал в моем сердце:

«Дочь моя, беги искушения!»

«Матерь моя, исполню!»

Так я ответила, пробудясь ото сна, более походившего на транс. Была еще ночь, но июльские

ночи коротки и заря занимается вскоре после полуночи.

«Чем раньше я приступлю к исполнению задуманного, тем лучше», — сказала я себе и встала. Я была одета, так как, ложась, не сняла ничего, кроме туфель. Я знала, где найти в ящиках комода кое-какое белье, медальон, кольцо. Мои шарящие пальцы прикоснулись к жемчужинам ожерелья, которое мистер Рочестер заставил принять от него несколько дней назад. Его я оставила там: оно не было моим, а принадлежало призрачной невесте, которая растворилась в воздухе. Собранные вещи я завязала в узелок, кошелек с двадцатью шиллингами (все деньги, какие у меня были) положила в карман. Завязала ленты моей соломенной шляпки, зашпилила шаль, взяла в руки узелок, а также туфли, которые пока не могла надеть, и прокралась в галерею.

— Прощайте, добрая миссис Фэрфакс! — прошептала я, проскальзывая мимо ее двери. — Прощай, моя милая Адель! — сказала я, взглянув в сторону детской. О том, чтобы войти и поцеловать ее, нельзя было и подумать. Мне предстояло обмануть чуткий слух: как знать, он мог быть настороже.

Я намеревалась миновать спальню мистера

Рочестера как можно быстрее, но у этого порога мое сердце на мгновение остановилось, принудив мои ноги тоже остановиться. Сна не было и там: я услышала, что хозяин комнаты тревожно расхаживает от стены к стене, вновь и вновь вздыхая. В этой комнате, пожелай я того, был мой рай — преходящий рай. Стоило лишь войти и сказать: «Мистер Рочестер, я буду любить вас и жить с вами до моей смерти», и к моим устам была бы поднесена чаша блаженства. Я подумала об этом.

Мой добрый патрон, не в силах уснуть, с нетерпением ждал прихода следующего дня. Утром он пошлет за мной, а я буду уже далеко. Он начнет поиски. Тщетно. И почувствует себя покинутым, свою любовь отвергнутой. Он будет страдать, быть может, отчается. Я подумала и об этом. Мои пальцы потянулись к ручке, но я отдернула их и проскользнула дальше.

Полная тоски, спускалась я по лестнице. Я знала, что мне нужно делать, и проделывала все машинально. Взяла ключ от боковой двери в кухне. Еще взяла кувшинчик с ламповым маслом и перо. Смазала ключ и скважину. Выпила воды и съела ломоть хлеба — ведь, возможно, мне придется долго идти пешком и надо подкрепить силы, совсем истощенные последними

событиями. Все это я проделала совершенно беззвучно. Потом открыла дверь, вышла и тихонько притворила ее за собой. Над двором занимался серый рассвет. Большие ворота были закрыты и заперты, но калитка в одной створке закрывалась только на засов. Через нее я и вышла, тоже затворив ее за собой. Так я покинула Тернфилд.

В миле за лугами пролегала дорога, тянувшаяся в направлении противоположном Милкоту, — дорога, по которой я ни разу не ездила, хотя нередко замечала ее и гадала, куда она ведет. К ней-то я и направила свои стопы. Теперь нельзя было допустить ни единого воспоминания, ни единого взгляда назад или даже прямо перед собой. Ни единой мысли ни о прошлом, ни о будущем. Первое было страницей такой небесной радости, такой смертоносной печали, что единая прочитанная строка сломила бы мое мужество, лишила бы последних сил. Последняя же страница была пустой и безвидной, точно мир, когда схлынул потоп.

Я торопливо шла через луга, перелазы, между живыми изгородями, пока солнце не поднялось над горизонтом. Кажется, это было чудесное летнее утро: во всяком случае, я помню, что туфли, которые я надела, выйдя из дома, намокли от ро-

сы. Но я не замечала ни восходящего солнца, ни улыбающегося неба, ни пробуждающейся природы. Тот, кого везут на эшафот через прекрасный парк, думает не о цветах, улыбающихся ему со всех сторон, но о плахе и наточенном топоре, о рассечении жил и костей, о могиле, зияющей в конце пути. И я думала о тоскливом бегстве, о скитаниях без крова над головой… и — о! — с какой мукой думала я о том, что покинула. Я ничего не могла с собой поделать: я думала о нем — как он смотрит на восходящее солнце в надежде, что вот-вот войду я и скажу, что останусь с ним, буду принадлежать ему. Как мне этого хотелось! Я жаждала вернуться, ведь было еще не поздно избавить его от горя утраты. Ведь пока еще мое бегство не обнаружено. Я еще могу вернуться и стать его утешительницей, его гордостью, его спасением от горя, а может быть, и от погибели. Как терзал меня страх перед этим его отказом от себя, куда более ужасным, чем мой отказ от него! Мысль эта была как зазубренная стрела в моей груди: она рвала меня, когда я пыталась ее извлечь, убивала, когда воспоминания загоняли ее глубже. В живых изгородях и рощах запели птицы… Птицы верны своим избранникам или избранницам, птицы — символ любви. А чем

была я? Среди мучений сердца, отчаянной борьбы соблюсти верность нравственным началам я испытывала отвращение к себе. Меня не утешало самоодобрение и даже самоуважение. Я оскорбила… ранила… покинула моего возлюбленного. Я была ненавистна себе. И все-таки не могла повернуться, не могла сделать ни единого шага назад. Должно быть, меня вел Господь. Что до моей воли и совести, то безумное горе сломило одну и заставило замолчать другую. Я захлебывалась рыданиями, следуя моему одинокому пути — все быстрее, быстрее, словно в горячке. Слабость, зародившаяся внутри, затем сковала ноги, все мое тело, и я упала. Несколько минут я лежала на земле, уткнув лицо в мокрую траву. Я боялась — или надеялась? — что умру тут. Но вскоре приподнялась и поползла вперед на четвереньках, а затем встала на ноги, полная все той же решимости, того же нетерпения добраться до дороги.

Когда же я достигла ее, то была вынуждена сесть отдохнуть под живой изгородью. Вскоре до меня донесся стук колес, и на дороге показалась почтовая карета. Я встала, замахала рукой, она остановилась, и я спросила кучера, куда он направляется. Он назвал далекий город, где — была я уверена — мистер Рочестер не имел знакомых.

Я спросила, сколько надо заплатить, чтобы он довез меня туда. Тридцать шиллингов, ответил он. Но у меня было всего двадцать. Что же, он попробует обойтись ими. Затем он разрешил мне сесть внутри, так как других пассажиров у него не было. Я забралась внутрь, дверца захлопнулась, карета покатила дальше.

Любезный читатель, да не будет тебе дано испытать чувства, какие я испытывала тогда! Пусть твои глаза никогда не проливают таких бурных, жгучих, надрывающих сердце слез, какие тогда заструились по моему лицу. Пусть тебе никогда не придется возносить к Небесам молитвы столь безнадежные и столь полные мук, как те, что в тот час срывались с моих губ. Пусть тебя никогда не леденит страх, что ты можешь стать причиной непоправимого зла, которое постигнет того, кто тебе дороже всего на свете!

Глава 28

Два дня спустя. Летний вечер. Кучер высадил меня возле Уайткросса. Везти меня дальше за полученные деньги он отказался, у меня не было больше ни шиллинга. Карета уже отъехала на милю. Я тут одна, и в эту минуту я спохватываюсь, что забыла вынуть свой узелок из-под сиденья кареты, куда положила его для сохранности. Он все еще лежит там и будет лежать. И вот теперь я совсем нищая.

Уайткросс не город и даже не деревушка, а всего лишь каменный столб на перекрестке. Он побелен. Вероятно, думаю я, чтобы его было лучше видно издалека и в темноте. Верх его увенчивают четыре руки, указывающие каждая на одну из дорог. Ближайший город, согласно надписи, находится в десяти милях, самый дальний — примерно в двадцати. Всем известные названия этих городов подсказывают мне, в каком графстве я сошла с кареты. Одно из центрально-северных. Край сумрачных вересковых пустошей, пересеченный горным хребтом. Это я вижу. Огромные пустоши простираются позади

меня, справа и слева, а по ту сторону лежащей передо мной широкой и глубокой долины вздымаются волнами горы. Местность как будто безлюдная, и я не замечаю никакого движения на четырех дорогах, которые тянутся на восток, север, запад и юг; белые, широкие, пустынные, они ведут через пустоши, и по их краям встает густой вереск. Однако на той или другой может показаться одинокий путник, а я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел меня в эту минуту. Случайных прохожих может заинтересовать, почему я стою возле столба с указывающими руками, очевидно, не зная, куда идти, заблудившаяся. Меня начнут расспрашивать, и мои ответы неизбежно покажутся неубедительными и вызовут подозрения. В эту минуту ничто не связывает меня с человеческим обществом, никакие чары и надежды не влекут меня к людям, ни у кого не найдется для меня доброй мысли или пожелания. У меня нет близких, кроме вселенской Матери-Природы. У нее на груди поищу я отдыха.

И я пошла прямо по вереску, следуя ложбине, уводившей в глубину бурой пустоши. Следуя ее изгибам, я брела по колено в темном вереске. Когда же увидела обросший мхом высокий наклонный камень, то села под ним. По сторонам

поднимались склоны ложбины, камень укрывал мою голову, а над ним было небо.

Прошло немало времени, прежде чем даже тут я обрела некоторое спокойствие — меня преследовал смутный страх, что поблизости может пастись полудикий скот, что меня заметит какой-нибудь охотник или браконьер. Если над пустошью проносился порыв ветра, я испуганно поднимала голову в уверенности, что на меня несется бык. Если раздавался свист ржанки, мне чудилось, что это свистит человек. Однако всякий раз мои опасения оказывались напрасными, и, успокоенная глубокой тишиной, которая воцарялась кругом по мере того как ночь вступала в свои права, я вновь обрела уверенность в себе. До этих пор я ни о чем не думала, а только слушала, оглядывалась по сторонам, пугалась. Теперь же ко мне вернулась способность мыслить.

Что мне предпринять? Куда идти? Мучительные вопросы! Ведь я ничего не могла предпринять, и идти мне было некуда. Ведь мои усталые подгибающиеся ноги должны были еще проделать длинный путь, прежде чем я доберусь до какого-нибудь селения; ведь придется испрашивать неохотного милосердия, прежде чем я найду кров; молить о сочувствии, почти наверное услы-

шать не один отказ, прежде чем моя история будет выслушана, рука помощи протянута.

Я потрогала вереск, он был сухим и еще хранил тепло летнего дня. Я взглянула на небо, оно было чистым, мирная звезда мерцала у верхнего края ложбины. Выпала роса, но очень легкая, а в воздухе — ни дыхания ветерка. Природа казалась мне благой и доброй. Она открывала мне объятия — мне, бесприютной страннице. И я, от людей ожидавшая лишь недоверия, отказов, оскорблений, предалась ей с дочерней любовью. По крайней мере на эту ночь я буду ее гостьей, а не только дочерью. Моя мать даст мне приют, не требуя взамен ни денег, ни иной уплаты. У меня еще оставалась горбушка булки, которую я купила в городке, который мы проезжали в полдень, — купила на пенни, мою последнюю монету, случайно оказавшуюся у меня в кармане. А среди вереска я увидела кустики черники — спелые ягоды поблескивали, как агатовые бусы. Я набрала горсть и съела их с хлебом. Такая отшельническая трапеза если не утолила, то все-таки притупила мучавший меня острый голод. Затем я прочитала вечерние молитвы и выбрала себе ложе. Вереск вокруг камня был очень густым, и когда я легла, мои ноги погрузились в него, а

по сторонам он стоял так высоко, что почти не пропускал ночного воздуха. Я сложила шаль пополам и укрылась ею точно одеялом, а подушкой мне послужил мшистый бугорок. Мне было очень тепло, во всяком случае, в первые часы ночи.

И мой отдых был бы поистине блаженным, если бы не скорбь в сердце. Оно изнемогало от зияющих ран, сочащейся крови, порванных струн. Оно страдало из-за мистера Рочестера и его тяжкой судьбы, оно оплакивало его с мучительной жалостью, тоскливо искало его рядом и, беспомощное, точно птица со сломанными крыльями, все еще пыталось развернуть их в тщетных попытках улететь к нему.

Измученная этой внутренней пыткой, я приподнялась и встала на колени. Ночь вступила в свои права, взошли ее планеты — тихая ласковая ночь, слишком безмятежная, чтобы ей сопутствовал страх. Мы знаем, что Бог всюду, но, бесспорно, особенно мы ощущаем Его присутствие, когда Его творения предстают перед нами во всем своем величии. И безоблачное ночное небо, где Его миры свершают свое безмолвное кружение, яснее всего открывает нам Его бесконечность, Его всемогущество, Его вездесущность. Я встала на колени, чтобы помолиться за мистера Рочестера.

Глядя в высь, я сквозь слезы узрела величественный Млечный Путь. И, вспомнив, что он такое — какие бесчисленные звездные системы несутся в пространстве, представляясь нам лишь мягким сиянием, — я почувствовала всю мощь и силу Господню. И во мне не было сомнений, что Он спасет все, что создал, я верила, что не погибнет ни Земля, ни единая душа, которой она служит приютом. И возблагодарила Источник Жизни, Спасителя душ. Мистеру Рочестеру ничто не угрожало: он принадлежал Богу, и Богом будет он храним. Вновь я прильнула к теплому вереску и вскоре забыла во сне о своей печали.

Однако на следующий день передо мною предстала Нужда, бледная, обездоленная. Уже давно птички покинули свои гнезда, уже давно пчелы в веселом свете утра спешили собирать вересковый мед, пока не высохла роса, уже давно длинные утренние тени укоротились, а солнце залило лучами небо и землю, когда я наконец поднялась и посмотрела кругом.

Какой тихий, жаркий, бесподобный день! Что за золотая пустыня эта вольно раскинувшаяся пустошь! Всюду — солнце. Если бы я могла жить ею и в ней! Я увидела, как по камню пробежала ящерка, я увидела пчелу на кустике черники. С

какой радостью в эту минуту я превратилась бы в пчелу или в ящерку, чтобы обрести тут постоянный приют и пищу. Однако я была человеком с человеческими потребностями и не могла медлить там, где им нельзя было найти удовлетворения. Я встала, я поглядела на мое покинутое ночное ложе. Будущее казалось безнадежным, и я пожалела, что в эту ночь мой Творец не призвал к Себе мою душу, пока я спала, что эта усталая бренная плоть, освобожденная смертью от новых гонений судьбы, не осталась тихо истлевать во прах, чтобы в вечном покое смешаться с землей этого дикого безлюдного места. Однако жизнь меня не покинула, а с ней — и все ее требования, страдания и обязанности. Я должна была влачить это бремя: найти удовлетворение насущным нуждам, страдания переносить, обязанности исполнять. И я отправилась в путь.

Вернувшись на перекресток, я пошла по дороге в сторону, противоположную солнцу, которое поднялось уже высоко и лило жаркие лучи. Только это определило мой выбор. Шла я долго, и когда подумала, что больше у меня нет сил и я могу со спокойной совестью уступить утомлению, почти валящему меня с ног, могу больше не принуждать себя, а сесть на камень, который увидела

поблизости, и без сопротивления покориться апатии, парализовавшей и сердце, и тело, — в эту минуту я услышала звон колокола, церковного колокола.

Я обернулась на звук и там, среди живописных холмов, прихотливые очертания которых перестала замечать час назад, увидела деревушку и колокольню. По правую мою руку простирались луга и хлебные нивы, далее виднелся лес, и петляющая речка катила сверкающие воды, отражавшие разные оттенки зелени, золото наливающихся колосьев, темнеющий лес, солнечные просторы лугов. Погромыхивание колес заставило меня поглядеть на дорогу: вверх по склону двигалась тяжело нагруженная повозка, а немного сзади брели две коровы и гуртовщик. Человеческая жизнь, человеческие труды окружали меня. Я должна была заставить себя идти дальше, постараться жить и трудиться, как все остальные.

Около двух часов дня я вошла в деревню. В самом начале ее единственной улочки я увидела в окне маленькой лавочки груду свежих булочек. Вид их меня соблазнил. Съев одну, я, возможно, ободрилась бы настолько, чтобы идти дальше. Едва я снова оказалась среди людей, желание

обрести силы вернулось ко мне. Как унизительно было бы упасть в голодный обморок посреди деревни! Может быть, у меня найдется что-то предложить в обмен на булочку? Я задумалась. Шелковая косынка у меня на шее? Перчатки? Но как положено вести себя людям в тисках нужды? Я не знала, получу ли согласие на такой обмен. Скорее всего нет, но попытаться необходимо.

Я вошла в лавочку. Возле полок стояла женщина. Увидев прилично одетую особу, она услужливо поспешила мне навстречу. Что мне угодно? Меня объял стыд, язык отказывался произнести просьбу, которую я приготовила. У меня не хватало духа предложить ей ношеные перчатки, мятую косынку. Я почувствовала, как неуместно это будет, и только попросила разрешения присесть на минуту-другую: я очень устала. Обманутая в своих надеждах продать что-нибудь, она с холодностью кивнула на стул. Я села. Мне хотелось плакать, но я сдержалась, понимая, как глупо буду выглядеть. И спросила ее, есть ли в деревне портниха или просто швея?

Да. Три. Ровно столько, чтобы работы хватало на всех.

Я задумалась. Я достигла предела, оказалась лицом к лицу с Необходимостью. У меня не было

ничего — ни единого друга, ни единого пенни. Я должна что-то предпринять. Но что? Должна обратиться за помощью. Но к кому?

Не знает ли она, никому в окрестностях не требуется прислуга?

Да нет, она ничего такого не слышала.

А чем занимаются местные жители? Как зарабатывают себе на хлеб?

Некоторые батрачат на фермах, а многие работают на игольной фабрике мистера Оливера и в кузнице.

— А мистер Оливер нанимает женщин?

— Да нет. Работа-то мужская.

— А чем занимаются женщины?

— Откуда мне знать? Одни одним, другие другим. Бедняки ведь перебиваются кто как может.

Казалось, ей надоели мои вопросы, да и какое у меня было право затруднять ее? Тем временем в лавку вошли две покупательницы. Мой стул мог понадобиться. Я попрощалась и вышла.

Я направилась дальше по улице, разглядывая подряд все дома справа и слева, но не находила предлога, да и причины постучаться хотя бы в одну дверь. Около часа я бродила вокруг деревушки, иногда возвращаясь в нее. Совсем измученная, терзаемая голодом, я свернула на какой-то про-

селок и села под живой изгородью. Однако не прошло и нескольких минут, как я снова была на ногах и возобновила поиски — если не помощи, то хотя бы каких-нибудь полезных сведений. Начинался проселок у красивого домика с палисадником, где пышно цвели ухоженные цветы. Я остановилась перед ним. С какой стати подойду я к белой двери, возьмусь за начищенный дверной молоток? С какой стати должны обитатели домика заинтересоваться моей судьбой? Тем не менее я подошла и постучала. Ее открыла чисто одетая молодая женщина с благожелательным лицом. Голосом, какого можно было ожидать, когда тело совсем ослабело, а сердце лишено надежд — голосом тоскливо-тихим и прерывающимся, — я спросила, не нужна ли им прислуга?

— Нет, — сказала она, — мы служанку не держим.

— Не могли бы вы посоветовать, где я могла бы найти работу? — продолжала я. — Я тут чужая, без друзей и знакомых. Мне нужна работа, и я готова на любую.

Однако она не была обязана думать обо мне или искать мне место. К тому же какими сомнительными должны были казаться ей мой вид и объяснения. Она покачала головой. Ей очень

жаль, только ничего посоветовать она мне не может, и белая дверь была закрыта — осторожно, вежливо, но оставив меня снаружи. Не закрой она ее тогда, думаю, я попросила бы кусок хлеба, потому что у меня не оставалось ни сил, ни гордости.

Я не могла себя заставить еще раз вернуться в неприветливую деревушку, где к тому же надеяться было не на что. Я предпочла бы свернуть в лес, который увидела неподалеку, его густая тень сулила тихий приют. Но я чувствовала себя так дурно, меня одолевала такая слабость, томил такой голод, что инстинкт гнал меня к людским жилищам, где все-таки была надежда получить какую-нибудь еду. Уединение не будет уединением, отдых — отдыхом, пока коршун-голод вонзает когти и клюв в мои внутренности.

Я приблизилась к домам, пошла прочь, вернулась и вновь побрела прочь. Меня гнала от них одна и та же мысль: у меня нет права просить, нет оснований ожидать участия к моему одинокому жребию. Тем временем день начинал клониться к вечеру, а я все кружила там, будто заблудившаяся голодная собака. Переходя луг, я увидела впереди церковный шпиль и поспешила туда. Возле кладбища, посреди сада стоял небольшой,

но отличной постройки дом — жилище священника, решила я. Мне вспомнилось, что люди, в поисках работы оказавшиеся в незнакомом месте, иногда обращаются к священнику за советом и помощью. Долг священника — помогать (во всяком случае, советом) тем, кто старается сам себе помочь. Да, у меня было право поискать помощи тут. Воспрянув духом и собрав жалкие остатки сил, я ускорила шаг и, достигнув дома, постучала в дверь черного хода. Ее открыла старуха. Я осведомилась, не дом ли это священника.

Да.

А он дома?

Нет.

Но скоро вернется?

Да нет. Он уехал.

Далеко?

Не очень. Мили за три. Его отец скончался без времени, так что он теперь в Марш-Энде и пробудет там еще недели две.

А хозяйка?

Да нет, в доме, кроме нее, никого. Она тутошняя экономка.

Нет, читатель, к ней я не могла воззвать о поддержке, без которой погибала. Пока еще я не могла просить подаяния и вновь побрела прочь.

Еще раз я сняла с шеи косынку, еще раз подумала о булочках в окне лавки. О, хотя бы черствую корку! Хотя бы глоток, чтобы смягчить муки голода! Машинально я пошла назад, доплелась до лавки и вошла. Хотя там были покупательницы, я все-таки спросила, не даст ли она мне булочку в обмен на вот эту косынку?

Она смерила меня подозрительным взглядом.

Нет, она так не торгует.

В полном отчаянии я попросила хотя бы половину булочки. И снова отказ: откуда ей знать, моя это косынка или нет.

А мои перчатки она не возьмет?

Нет! К чему они ей?

Читатель! Тяжко излагать все эти подробности. Некоторые утверждают, будто есть своя приятность в воспоминаниях о былых невзгодах, но и по сей день меня ранит малейший намек на то, что мне довелось пережить тогда: моральное унижение вкупе с физическими страданиями было слишком мучительным, чтобы вновь его переживать даже в памяти. Я ни в чем не виню тех, кто отвечал мне отказом. Иного, чувствовала я, и ожидать не следовало. Обычная нищенка часто вызывает подозрения, но прилично одетая нищенка вызывает их вдвойне. Да-да, конечно, я

просила работы, но кто был обязан предоставить мне эту работу? Уж конечно, не те, кто видел меня впервые и ничего обо мне не знал. Ну а женщина, не пожелавшая взять у меня косынку в обмен на булочку, была, безусловно, в своем праве, если сочла мое предложение подозрительным или сделку невыгодной. Но позвольте мне быть краткой. Эта тема меня угнетает.

Уже смеркалось, когда я прошла мимо дома фермера — хозяин сидел на крыльце, ужиная хлебом с сыром. Я остановилась и сказала:

— Вы не дадите мне ломоть? Я очень голодна.

Он посмотрел на меня с удивлением, однако молча отрезал большую краюшку и протянул мне. Полагаю, он не счел меня нищенкой, а подумал, что я просто чудачка и захотела попробовать его ржаного хлеба. Едва его дом скрылся из виду, как я села и съела краюшку до последней крошки.

Надежды найти кров на ночь не было никакой, и я переночевала в лесу, о котором упомянула выше. Однако уснуть мне почти не удавалось, земля была сырой, воздух холодным. К тому же не раз я слышала, как кто-то проходил мимо, и перебиралась в другое место, не чувствуя себя в безопасности, не находя целительного покоя.

Под утро зарядил дождь и продолжал идти почти весь следующий день. Не просите у меня, читатель, подробного рассказа об этом дне. Я искала работы, как и накануне. Как и накануне, получала отказ за отказом. Я изнывала от голода, но один раз мне все-таки довелось поесть. У дверей крестьянского домика я увидела, как девочка собралась соскрести остатки застывшей овсянки в корыто для свиней.

— Ты не отдашь ее мне? — спросила я.

Она уставилась на меня с удивлением.

— Матушка! — воскликнула она. — Тут какая-то женщина хочет, чтобы я отдала овсянку ей!

— Так отдай, доченька, коли она нищая, — донесся ответ из дома. — Свиньи-то, может, на нее и не посмотрят.

Девочка вывалила слипшийся ком мне на ладони, и я съела его с жадностью.

Сумерки уже совсем сгустились, когда я остановилась на тропе, по которой брела уже около часа.

— Силы мне совсем изменили, — сказала я вслух, словно произнося монолог. — Я чувствую, что не смогу идти дальше. Неужели и эту ночь я проведу будто изгой? Неужели под таким дождем я должна положить голову на размокшую

стылую землю? Боюсь, ничего другого мне не остается! Ведь никто не даст мне приюта. Но как это ужасно, когда меня томит голод, одолевает слабость, пробирает озноб, а главное — гнетет безысходное уныние, утрата всех надежд! Вероятно, впрочем, я не доживу до утра. Но почему я не могу смириться с близкой смертью? Почему я тщусь сохранить никчемную жизнь? Потому что я знаю — или верю, — что мистер Рочестер жив, да и к тому же умереть от голода и холода — это жребий, которому человеческая природа не способна подчиниться без борьбы. О Провидение, поддержи меня еще немного! Помоги мне, будь моим поводырем!

Мой остекленевший взор скользнул по темнеющему, подернутому туманом пейзажу вокруг. Я увидела, что ушла далеко от деревни: не только она, но и окружающие ее возделанные поля остались позади. Тропы и тропинки вновь вывели меня к холмистой пустоши, и теперь лишь один-два луга, почти столь же одичалые и бесплодные, как вереска́, у которых они были отвоеваны, отделяли меня от склона тонущего в сумраке холма.

«Что же, пожалуй, я предпочту умереть там, чем на деревенской улице или проезжей дороге, — подумалось мне. — И куда лучше, чтобы мое

тело послужило пищей для ворон и воронов — если в этом краю есть вороны — вместо того, чтобы истлевать в могиле для нищих иждивением работного дома».

И я побрела к холму, я добралась до него, и оставалось лишь найти ложбинку, где можно было бы лечь, чувствуя себя если не в безопасности, то хотя бы укрытой от случайного взгляда. Однако склон казался совершенно ровным. Лишь в оттенках замечалось некоторое разнообразие: зелень камышей и мхов, прятавших болотце, чернота там, где на сухой земле рос только вереск. Хотя уже совсем смерклось, я различала разницу — но лишь как более темные и светлые пятна, поскольку цвета исчезли вместе со светом дня.

Мой взгляд все еще бродил по угрюмому склону и началу пустоши, теряясь среди дикости пейзажа, как вдруг вдали, там, где между двумя грядами холмов ютилось болото, он заметил луч света. «Конечно, это блуждающий огонек», — тут же пришло мне в голову, и я полагала, что вскоре он исчезнет. Однако он продолжал ровно гореть, не приближаясь и не удаляясь. «Или кто-то развел там костер?» — спросила я себя. И продолжала наблюдать, не разгорится ли он в пожар. Но нет! Хотя меньше он не становился, но и

не ширился. «Возможно, это свеча в чьем-то окне, — предположила я затем. — Но если так, мне туда не добраться. Слишком далеко! Впрочем, будь это расстояние равно двум шагам, какая была бы от этого польза мне? Если бы дверь на мой стук и отворилась, то лишь для того, чтобы захлопнуться перед моим лицом».

Я опустилась на землю там, где стояла, и прижалась к ней лицом. Так я пролежала некоторое время. Порыв ночного ветра пронесся над склоном, надо мной и со стоном затих где-то вдали. Дождь припустил, и вновь моя одежда промокла насквозь. Ах, если бы мороз окоченил мои члены в блаженном окостенении смерти! Пусть бы он лил и лил — я бы его не чувствовала. Однако мое еще живое тело дрожало от его промозглости, и я вновь поднялась на ноги.

За струями дождя огонек все еще светился — тускло, но ровно. Я попыталась идти. Еле волоча изнемогающие ноги, я брела и брела к нему — наискось через склон, через болотце — зимой оно было бы непроходимым, но и теперь, в разгар лета, зыбкая почва содрогалась и хлюпала у меня под подошвами. Я дважды упала там, но дважды же поднялась и продолжила путь, напрягая все силы. Этот огонек был моей последней надеждой,

и я должна, должна была добраться до него!

Перейдя болотце, я увидела в вереске белую полосу и направилась к ней. Она оказалась дорогой, которая вела прямо на огонек. Теперь он светил с пригорка, окруженного деревьями — видимо, елями, насколько я могла судить по их силуэтам во мгле. Когда я приблизилась, моя путеводная звезда вдруг исчезла — что-то заслонило ее от меня. Я протянула руку к черной преграде, возникшей передо мной, и ощутила под пальцами нетесаные камни невысокой стены. Над ней я разглядела что-то вроде решетки и высокую колючую живую изгородь между ними. Почти ощупью я пошла вдоль каменной ограды, и вновь впереди что-то забелело. Калитка! Когда я прикоснулась к ней, она повернулась на петлях. Справа и слева чернели не то два остролиста, не то два тиса.

Пройдя между ними, я увидела силуэт дома — черный, низкий, довольно длинный. Но ни в одном окне не сиял мой путеводный огонек. Все было погружено в темноту. Может быть, обитатели дома отошли ко сну, подумала я со страхом. В поисках двери я обогнула угол — и вновь увидела дружелюбный свет. Его лучи лились сквозь частый переплет маленького окошка всего в

футе над землей. Оно выглядело еще меньше, так как его заслонял плющ — или другое подобное растение, — густо вившийся по этой стене дома. Видимо, поэтому на окне не было ни занавески, ни ставень. Нагнувшись и отстранив плеть плюща, я смогла заглянуть внутрь. Моему взору открылась комната с посыпанным песком тщательно выскобленным полом, буфет орехового дерева с рядами оловянных тарелок, отражавших алые блики торфа, весело горящего в очаге. Я увидела часы, белый сосновый стол, несколько стульев. Свеча, чьи лучи послужили мне маяком, горела на столе, и пожилая женщина грубоватого облика, но безупречно чистая, как и все вокруг, вязала чулок при ее свете.

Все это я заметила лишь бегло — таким обыденным оно выглядело. Куда более интересной оказалась группа, тихо и уютно расположившаяся у очага в его теплых розовых отблесках. Две юные изящные девушки, благовоспитанные барышни до кончиков ногтей, сидели там — одна в низком кресле-качалке, другая на еще более низком табурете. Обе были в глубоком трауре: черный креп и бомбазин оттеняли очень белую кожу лица и шеи. На колени одной положил массивную морду крупный старый пойнтер, на

коленях другой свернулась черная кошка.

Каким странным обрамлением была эта скромная кухня для подобных обитательниц! Кто они были такие? Во всяком случае, не дочери пожилой женщины у стола. У нее был деревенский облик, а они казались воплощением утонченности. Я никогда не видела похожих лиц, и все-таки чем больше я в них вглядывалась, тем более знакомыми казались мне их черты. Назвать их воплощением красоты я не могу — слишком бледными и серьезными они выглядели. Обе склонялись над книгами, и их сосредоточенность граничила с суровостью. На столике между ними горела вторая свеча, а рядом с ней лежали два пухлых тома, в которые барышни часто заглядывали, как будто сверяя с ними более тонкие книги у них в руках — как обычно делают люди, пользуясь словарем для перевода. Тишина там стояла такая, что озаренную огнем кухню можно было счесть за картину, а ее обитателей — за тени. Мне было слышно, как шуршат угольки, проваливаясь сквозь решетку, как тикают часы в темном углу, и мне даже казалось, будто я различаю пощелкиванье спиц. А потому, когда наконец голос нарушил эту необыкновенную тишь, я без труда расслышала его.

— Послушай, Диана, — сказала одна из внимательных читательниц. — Франц и старик Даниэль ночью одни, и Франц рассказывает сон, от которого пробудился в ужасе. Так слушай! — И тихим голосом она прочла какой-то отрывок, из которого я не поняла ни единого слова, так как язык был мне незнаком — во всяком случае, не французский и не латынь. А греческий или немецкий, я сказать не могла.

— Как сильно! — воскликнула она, дочитав. — Мне так понравилось!

Вторая девушка, которая оторвалась от книги, чтобы выслушать сестру, повторила, глядя на огонь, строку из прочитанного. Много позже я узнала и язык, и произведение, а потому процитирую здесь эту строку, хотя в ту минуту она прозвучала для меня точно звон меди, не неся в себе смысла.

— Da trat hervor Einer, anzusehen wie die Sternen Nacht.[61] — Отлично! Отлично! — вскричала она, а ее темные глубокие глаза заблестели. — Как обрисован неведомый могучий архангел! Эта строка стоит сотни страниц высокопарного пустословия. Ich wage die Gedanken in der Schale

---

[61] Примечания: 61

Но вот выступил вперед один из них, подобный звездной ночи… (нем.)

meines Zornes und die Wake mit dem Gewichte meines Grimms.[62] Как мне нравится!

И обе вновь умолкли.

— Это что же, есть страна, где говорят по-таковски? — спросила пожилая женщина, поднимая глаза от вязанья.

— Да, Ханна, в стране, которая гораздо больше Англии, разговаривают именно так.

— И как же это они друг дружку понимают, а? А коли вы туда поедете, так разберете, чего они говорят, верно?

— Что-нибудь из того, что они говорили бы, наверное, мы поняли бы, но не все. Мы ведь, Ханна, совсем не такие ученые, как ты нас считаешь. И по-немецки мы не говорим, да и читать умеем только со словарем.

— Так польза-то вам от этого какая?

— Мы собираемся когда-нибудь учить этому языку, вернее, его началам, как это называется, и тогда будем зарабатывать больше денег, чем сейчас.

— Так-то так, да только хватит вам глаза портить, начитались на сегодня.

---

[62] Примечания: 62

Я взвешиваю помышления на чаше моего гнева, а дела — гирями моей ярости (нем.). (Цитаты из драмы Фридриха Шиллера «Разбойники», акт V, сц. I).

— Пожалуй. Во всяком случае, я устала. А ты, Мэри?

— Смертельно. В конце-то концов, изучать язык только со словарем вместо учителя труд очень утомительный.

— Справедливо. А уж тем более такой язык, как громоздкий, хотя и великолепный, немецкий. Но когда же Сент-Джон вернется домой?

— Наверное, скоро, сейчас ровно десять (она поглядела на золотые часики, пришпиленные у нее к поясу). Дождь все льет. Ханна, будь так добра, посмотри, как горит огонь в гостиной.

Ханна встала, открыла дверь, за которой я смутно разглядела коридор, а вскоре я услышала, как она помешала в камине — где-то по ту его сторону. Вскоре она вернулась.

— Ах, деточки! — сказала она. — Так-то мне тяжело в ту комнату заходить. Кресло-то пустое, в угол задвинуто, просто сердце надрывается.

Она утерла глаза краем передника. Серьезные лица девушек исполнились печали.

— Оно правда, он теперь в светлой обители, — продолжала Ханна, — и не след нам жалеть, что он нас оставил. А уж спокойней-то смерти и пожелать нельзя.

— Ты говорила, что он про нас даже не упомя-

нул? — спросила одна из них.

— Времени ему дано не было, деточка. Скончался в единый миг батюшка-то ваш. Накануне ему неможилось, да не так чтоб очень. И когда мистер Сент-Джон спросил, не послать ли за вами, он только посмеялся над ним. А утром проснулся — ровнехонько две недели назад это было, — пожаловался, что голова у него тяжелая, снова уснул, да и не проснулся больше. Когда ваш братец к нему вошел, он уже похолодел. Ах, деточки! Последним он был старого-то закала. Вы-то и мистер Сент-Джон совсем другие, чем они были, хоть матушка ваша, правду сказать, такая же была, как вы, и в книгах начитана разве чуть поменее. Мэри, ты прямо ну вылитая она. Диана больше в вашего батюшку пошла.

Мне они казались настолько похожими, что я не могла понять, какое различие видит в них старая служанка (никем другим она быть не могла, решила я). Обе были стройными, их лица отличались свежестью, дышали достоинством и умом. Правда, волосы у одной были чуть темнее, и причесывались они по-разному: светло-каштановые кудри Мэри были разделены на прямой пробор, заплетены в косы и уложены у висков; более темные волосы Дианы ниспадали ей на плечи

пышными локонами. Часы пробили десять.

— Небось вы проголодались, — сказала Ханна. — Ну, мистер Сент-Джон как раз к ужину поспеет.

И она занялась приготовлением ужина, а барышни встали, видимо, намереваясь перейти в гостиную. До этой минуты я следила за ними с таким интересом, их внешность и разговоры так меня увлекли, что я почти забыла о своем бедственном положении. Теперь весь его ужас нахлынул на меня, и по контрасту оно показалось еще более отчаянным и безнадежным. И мне представлялось невозможным пробудить в обитательницах дома сочувствие ко мне, заставить их поверить в истинность моей нужды, моих бед, растрогать настолько, чтобы они приютили меня, дали отдохнуть от моих скитаний. Когда я нащупала дверь и робко в нее постучалась, то почувствовала, какой несбыточной была моя последняя мысль. Дверь открыла Ханна.

— Чего тебе надо? — спросила она удивленно, оглядывая меня в лучах свечи, которую держала.

— Могу я поговорить с вашими хозяйками?

— Нет, ты допрежь мне скажи, о чем хочешь с ними разговаривать. Ты откуда?

— Я нездешняя.

— И какие это у тебя за дела в эдакую пору?

— Я хотела бы попросить разрешения переночевать в сарае. И еще кусок хлеба.

Как я и опасалась, на лице Ханны появилось настороженное выражение.

— Хлеба-то я тебе дам, — сказала она после паузы, — а вот ночевать мы бродяжек не пускаем. Еще чего!

— Вы не позволите мне поговорить с вашими хозяйками?

— И не думай. Чего они для тебя сделать-то могут? Вольно ж тебе шляться по ночам! Не к добру это.

— Но куда же мне идти, если вы меня прогоните? Что мне делать?

— Небось сама знаешь, куда тебе идти и что делать. Только от дурных дел остерегись. Вот тебе пенни, а теперь уходи…

— Пенни меня не накормит, а идти дальше у меня нет сил. Не закрывайте дверь! Бога ради, не закрывайте!

— Ишь чего захотела! Дождь-то внутрь так и хлещет.

— Доложите своим барышням… Позвольте мне с ними поговорить…

— И не подумаю. И не такая ты, какой прики-

дываешься, не то не шумела бы так. Уходи, кому говорю!

— Если вы меня прогоните, я умру.

— Как не так! Что-то ты недоброе замышляешь как пить дать, не то бы не стучала в чужие двери по ночам. Коли у тебя есть товарищи, грабители там или разбойники, так скажи им, что мы в доме не одни, а с нами джентльмен, и у нас есть собаки и ружья!

С этими словами честная, но неумолимая служанка захлопнула дверь и задвинула засов.

Это было последней каплей. Мучительнейшая боль — судорога беспредельного отчаяния — сжала, сдавила мое сердце. Я ведь была совершенно измучена и не могла сделать ни шагу. Рухнув на мокрую ступеньку, я застонала, заломила руки, зарыдала в невыносимой агонии. Призрак смерти возник передо мной. Каким ужасным будет мой последний час! В невыносимом одиночестве, отвергнутая людьми!

Я лишилась не только якоря надежды, но и твердости духа — последней, впрочем, ненадолго. Вскоре я постаралась укрепить ее.

— Я могу всего лишь умереть, — сказала я. — Я верую Богу, так постараюсь в смиренном молчании ждать свершения Его воли.

Эти слова я произнесла вслух и, затворив свою смертную тоску в сердце, приложила все силы, чтобы она осталась там — немая и покорная.

— Все люди должны умереть, — произнес голос почти надо мной, — но не все осуждены встретить долгую и преждевременную кончину, какой будет ваша, если вы погибнете тут от изнурения.

— Кто говорит? Человек или нет? — Эти нежданные слова ввергли меня в ужас, и ничто уже не могло пробудить во мне надежду. Совсем рядом я увидела смутную фигуру: ночная тьма и мое слабеющее зрение не позволяли разглядеть ее. Раздался громкий долгий стук в дверь.

— Это вы, мистер Сент-Джон? — спросила Ханна изнутри.

— Да-да! Скорее открой!

— Небось вы совсем промокли и иззябли в такую-то непогоду! Входите, входите! Сестрицы ваши очень из-за вас беспокоились, а я боюсь, тут бродят лихие люди. Нищая в дом лезла… Да она, никак, не ушла! Валяется тут… А ну вставай! Постыдилась бы! Убирайся, говорят тебе!

— Ш-ш-ш, Ханна! Мне надо поговорить с ней. Ты исполнила свой долг, не впустив ее. Теперь я исполню мой долг и приглашу ее в дом. Я был рядом и слышал весь ваш разговор. Мне кажется,

случай необычный, и мне следует хотя бы разобраться в нем. Встаньте, женщина, и войдите в дверь передо мной.

С большим трудом я выполнила его приказание. И вскоре уже стояла в чистенькой светлой кухне — у самого очага, вся дрожа, борясь с дурнотой, понимая, как страшно я выгляжу, как течет с меня вода. Обе барышни, их брат, мистер Сент-Джон, и старая служанка — все смотрели на меня.

— Сент-Джон, кто это? — услышала я голос одной из сестер.

— Не знаю. Я нашел ее у порога, — ответил он.

— Она совсем белая, — сказала Ханна.

— Белая как мел, как смерть, — отозвался он. — Она вот-вот упадет. Придвиньте ей стул.

И правда, голова у меня закружилась, ноги подкосились… но опустилась я на подставленный стул. Я все еще оставалась в сознании, хотя не могла вымолвить ни слова.

— Может быть, ей надо выпить воды? Ханна, налей стакан. Но она так изнурена! Исхудалая, и ни кровинки в лице!

— Почти призрак.

— Она больна или просто изголодалась?

— Я думаю, изголодалась. Ханна, это молоко?

Дай его мне и ломтик хлеба.

Диана (я узнала ее по длинным локонам, которые заслонили от меня огонь, когда она нагнулась надо мной) отломила кусочек хлеба, окунула его в молоко и прижала к моим губам. Ее лицо было совсем близко, я увидела в нем жалость и уловила сочувствие в ее ускорившемся дыхании. В ее простых словах прозвучала та же целительная симпатия.

— Попробуйте проглотить.

— Да, попытайтесь, — ласково сказала Мэри, и руки Мэри сняли мою размокшую шляпку, приподняли мою голову. Я начала жевать хлеб, который они вложили мне в рот. Сначала с трудом, потом с жадностью.

— Сначала не давайте много. Достаточно! — сказал их брат. — Пока ей больше нельзя. — И он забрал у них чашку с молоком и тарелку с хлебом.

— Еще хоть чуть-чуть, Сент-Джон. Посмотри, какой голод у нее в глазах!

— Немного погодя, сестра. Посмотрим, может быть, она уже способна говорить. Надо узнать ее имя.

Я почувствовала, что на это сил у меня хватит, и ответила:

— Меня зовут Джейн Эллиот. — По-прежнему опасаясь выдать себя, я решила назваться вымышленной фамилией.

— Где вы живете? Где ваши друзья?

Я промолчала.

— Можем ли мы послать за кем-нибудь?

Я покачала головой.

— Вы не объясните, что с вами произошло?

Почему-то, все-таки переступив порог этого дома, оказавшись в обществе его обитателей, я перестала чувствовать себя гонимой, бездомной, отверженной миром. Я осмелилась сбросить личину нищей, вновь стать самой собой. Вновь я обрела свою истинную натуру и, когда Сент-Джон потребовал объяснений — пока я была еще слишком слаба, чтобы приступить к ним, — ответила после короткой паузы:

— Сэр, сейчас я не в состоянии сообщить вам какие-либо подробности.

— В таком случае, — сказал он, — что, по-вашему, я могу сделать для вас?

— Ничего, — ответила я. Моих сил хватало лишь на самые короткие ответы.

Тут заговорила Диана.

— То есть мы уже оказали вам всю помощь, какой вы ожидали? — спросила она. — И можем

выгнать вас на пустошь в дождливую ночь?

Я посмотрела на нее и подумала, что у нее удивительное лицо, в котором сочетаются сила воли и доброта. Внезапно я осмелела и, ответив улыбкой на ее сострадательный взгляд, сказала:

— Я доверяю вам. Будь я бездомной собакой, знаю, вы не прогнали бы меня от своего очага. И потому не боюсь. Делайте со мной и для меня все, что сочтете нужным, но, прошу, не требуйте, чтобы я много говорила: мне трудно дышать, и при каждом слове горло мне сжимает спазма.

Брат и сестры внимательно смотрели на меня, все трое молчали.

— Ханна, — сказал наконец мистер Сент-Джон, — пусть она пока посидит здесь. Никаких вопросов ей не задавай, а через десять минут пусть допьет молоко и съест хлеб. Мэри, Диана, идемте в гостиную, обсудим, как поступить.

Они ушли. Вскоре одна из сестер вернулась — я не могла различить которая. От ласкового тепла очага меня все больше охватывало приятное оцепенение. Вполголоса она отдала Ханне какие-то распоряжения. Вскоре с помощью служанки я кое-как поднялась по лестнице. Мокрая одежда была с меня снята, и мне открыла объятия теплая сухая постель. Я возблагодарила Бога — несмотря

на неописуемое утомление, меня согревала радость, — и уснула.

Глава 29

У меня сохранились лишь самые смутные воспоминания о последующих трех днях и ночах. В памяти у меня всплывают некоторые ощущения, но не связные мысли и уж тем более не поступки. Я знаю, что лежала в тесной комнатке на узкой кровати. К кровати этой я словно приросла — лежала неподвижно, будто каменная, и если бы меня попытались от нее оторвать, то, наверное, убили бы. Я не замечала течения времени, переходов от утра к полудню, от полудня к вечеру. Когда кто-нибудь входил ко мне, я это сознавала и даже могла бы назвать их, понимала, что говорилось, если говорящий стоял рядом со мной. Но ответить не могла: пошевелить губами было невозможно, как и вообще шевельнуться. Чаще всего ко мне заходила Ханна, старая служанка. Ее появления вызывали во мне тревогу: я чувствовала, что она предпочла бы, чтобы меня здесь не было, что она не понимает ни меня, ни моего положения и предубеждена против меня. Диана и Мэри заходили в комнату один-два раза на дню. И я слышала, как они перешептывались:

— Хорошо, что мы ее приютили.

— Да. Если бы ей пришлось провести ночь снаружи, утром, конечно, мы бы нашли ее мертвой у двери. Что довелось ей пережить?

— Самые тяжкие испытания, я полагаю. Бледная, исхудала, бедная скиталица!

— Судя по ее манере говорить, она получила образование. Такая чистая речь! А ее одежда, хотя вся мокрая и в грязи, сшита из хорошей материи и почти не ношена.

— У нее необычное лицо. Оно мне нравится, даже такое измученное, осунувшееся. А пополневшее, порозовевшее, оно, полагаю, приобретет миловидность.

Ни разу в их разговорах не проскользнуло намека на сожаление, что они дали мне приют, на подозрения или антипатию ко мне. И это меня утешало.

Мистер Сент-Джон зашел лишь однажды. Он поглядел на меня и объявил, что мое летаргическое состояние это результат длительного переутомления. Он сказал, что за врачом посылать надобности нет: природа сама справится, если ей не препятствовать. Он сказал, что каждый нерв был так или иначе изнурен и организму необходимо на некоторое время погрузиться

в беспробудный сон. Но это не болезнь, и мое выздоровление, он уверен, раз начавшись, будет очень быстрым. Все это он высказал кратко, тихим голосом, а затем добавил тоном человека, не привыкшего хвалить или восторгаться:

— Лицо довольно необычное и, безусловно, не свидетельствует о вульгарности или нравственном падении.

— Как раз наоборот, — согласилась Диана. — Правду сказать, Сент-Джон, бедняжка внушает мне симпатию. Я хотела бы, чтобы мы могли оставить ее у себя.

— Ну, это весьма маловероятно, — последовал ответ. — Без сомнения, выяснится, что эта барышня повздорила со своими близкими и, весьма вероятно, сгоряча покинула их. Возможно, нам удастся убедить ее вернуться, если она не заупрямится, но я замечаю в ее лице признаки сильной воли, а потому сомневаюсь в ее покладистости. — Некоторое время он испытующе смотрел на меня, а потом добавил: — Она выглядит неглупой, но совсем лишена красоты.

— Так она же очень больна, Сент-Джон!

— Больная или здоровая, она останется некрасивой. Эти черты совершенно лишены гармонии, присущей красоте.

На третий день мне стало лучше, на четвертый я уже могла говорить, двигаться, приподниматься на постели и поворачиваться с боку на бок. Ханна принесла мне жидкой овсянки и сухарики, примерно, как я решила, в час обеда. Я поела с наслаждением — еда была отличной, а привкус лихорадочного жара, до сих пор отравлявший каждый мой глоток, исчез бесследно. Когда Ханна ушла, я уже чувствовала себя относительно окрепшей и ободрилась. Вскоре я почувствовала, что устала лежать, во мне проснулось желание действовать, и мне захотелось встать. Но во что мне одеться? В сырую, пропитанную болотной грязью одежду, в которой я спала и в которой падала в трясину? Мне было стыдно предстать перед моими благодетелями в таком облике. Но от подобного унижения я была избавлена.

Все мои вещи лежали на стуле возле кровати, высушенные и вычищенные. А черное шелковое платье висело на стене. Никаких следов тины; складки, оставленные сыростью, расправились, и оно выглядело вполне прилично. Даже туфли и чулки были соответственно вычищены и выстираны; надеть их можно было не смущаясь. Я увидела кувшин с водой и таз для умывания и щетку причесать волосы. После долгих стараний,

отдыхая каждые пять минут, я сумела одеться. Платье висело на мне, как на вешалке, так сильно я исхудала, но я закуталась в шаль, чтобы скрыть это. Я вновь выглядела аккуратно и прилично — не осталось ни грязного пятнышка, ни следов беспорядка в одежде, который так меня угнетал, придавал мне унизительный вид побирушки. Держась за перила, я осторожно спустилась по каменным ступенькам лестницы в узкий коридор и добралась до кухни.

Она благоухала свежеиспеченным хлебом, полнилась теплом от весело пылающего огня. Ханна хлопотала над тестом. Как известно, предрассудки и предубеждения особенно трудно изгнать из сердца, почва которого не была разрыхлена и удобрена образованием, — они взрастают там, как бурьян среди камней. Вначале Ханна держалась холодно и сухо, но последнее время начала слегка оттаивать, а когда увидела, как я вошла, хорошо и аккуратно одетая, она даже чуть улыбнулась.

— Как, встали, значит? — сказала она. — Так вам полегчало! Коли хотите, садитесь в мое кресло у очага.

Она указала на кресло-качалку, и я села. Ханна продолжала свои хлопоты, поглядывая на меня

уголком глаза. Потом, вынув булки из духовки, она повернулась ко мне и спросила без обиняков:

— А прежде-то вам доводилось просить подаяния?

Я было возмутилась, но тут же вспомнила, что мне никак не следует давать волю досаде. Да к тому же я и правда появилась перед ней как нищенка. И я ответила спокойно, однако не без некоторой строгости:

— Вы ошибаетесь, считая меня нищенкой. Я нищенка не больше, чем вы и ваши барышни.

Помолчав она сказала:

— Чегой-то я не понимаю: у вас же ни дома нет, ни серебряников, а?

— Отсутствие дома и серебряников (полагаю, так вы называете деньги) еще не делает людей нищими в вашем понимании.

— Вы что же, книги читаете? — спросила она затем.

— Да. И много.

— Но в пансионе-то вы не учились?

— Я жила в пансионе восемь лет.

Она вытаращила глаза.

— Так чего же вы себя содержать не можете?

— Я содержала себя, и, надеюсь, так будет и

дальше. А для чего вам крыжовник? — спросила я, когда она достала корзинку с этими ягодами.

— Начинка для пирогов.

— Дайте-ка их мне. Я их очищу.

— Да нет. Чего вам утруждаться?

— Но мне надо чем-то заняться. Дайте мне корзинку.

Она согласилась и даже принесла чистое полотенце, чтобы я прикрыла свое платье.

— А то еще запачкаете! — сказала она. — К черной-то работе вы непривычная, по вашим рукам видно, — добавила она. — Может, вы портниха?

— Нет, вы ошиблись. Да и не важно, кем я была, не думайте об этом. А лучше скажите мне, как называется этот дом?

— Одни его называют Марш-Энд, другие — Мур-Хаус.

— А джентльмена, который здесь живет, зовут мистер Сент-Джон?

— Да нет, он тута не живет, гостит пока. А живет он у себя в приходе. В Мортоне.

— В деревне в нескольких милях отсюда?

— Вот-вот.

— А чем он занимается?

— Священник он.

Я вспомнила, что мне ответила старая эко-

номка в доме при церкви, когда я спросила священника.

— Так, значит, это дом его отца?

— Ну да. Старый мистер Риверс жил здесь, а допрежь его и его отец, и дед, и прадед.

— Так, значит, этого джентльмена зовут Сент-Джон Риверс?

— Да.

— И их отец скончался?

— Вот уж три недели. От удара.

— А их мать?

— Хозяйка померла много лет назад.

— А вы давно у них служите?

— Да тридцать лет будет. Я их всех вынянчила.

— Это доказывает, что вы честная и верная. И я хвалю вас, хотя вы невежливо назвали меня нищенкой.

Она вновь посмотрела на меня с удивлением.

— Кажись, я про вас худо подумала, — сказала она, — да ведь сколько всяких мошенников развелось, так уж вы меня простите.

— Хотя, — продолжала я с некоторой суровостью, — вы гнали меня от своей двери в ночь, когда вы бы и собаку наружу не выставили.

— Оно, конечно, нехорошо получилось, да что делать-то? Я же не о себе думала, а о деточках.

Бедненькие, о них ведь некому позаботиться, окромя меня. Вот и надо остерегаться.

Несколько минут я хранила суровое молчание.

— Вы уж не держите на меня сердца, — сказала она затем.

— Как же не держать! — ответила я. — И объясню вам почему. Не за то, что вы отказались дать мне приют или сочли меня мошенницей, а потому, что вы вот сейчас попрекнули меня тем, что у меня нет «серебряников» и своего дома. Многие из лучших людей, каких только знал свет, были столь же неимущими, как я. И если вы христианка, так не должны считать бедность пороком.

— Что верно, то верно, — сказала она. — Мистер Сент-Джон мне то же толкует. И я вижу, что дала маху. Но теперь-то я вас получше узнала. Тощенькая-то вы тощенькая, но, видать, порядочная.

— Довольно-довольно! Я вас простила. На чем и пожмем руки.

Она вложила мозолистую выпачканную мукой ладонь в мою руку, еще одна, уже совсем сердечная, улыбка озарила ее грубоватое лицо, и с этой минуты мы стали друзьями.

Видимо, Ханна любила поговорить. Пока я чистила крыжовник, а она готовила начинку, я наслушалась множества подробностей о ее

покойных хозяине и хозяйке и о «деточках», как она их называла.

Старый мистер Риверс, поведала она, человек был простой, но джентльмен, и происходил из такого старинного рода, каких поискать. Марш-Энд принадлежал Риверсам с тех пор, как был построен, а было это, заверила она, «лет, надоть, двести тому назад, пусть он и скромный, махонький, коли сравнить с дворцом, какой мистер Оливер выстроил себе в Мортон-Вейл. Да она-то помнит, как папаша Билла Оливера ремеслом занимался — иголки делал, а Риверсы рыцарями были в старину при королях Генрихах: кто хочет, может сверить с записями в книге мортонской церкви». Тем не менее, признала она, «старый хозяин был как все прочие — и жил по-простому: на птиц охотился, хозяйство вел и все такое прочее. Вот хозяйка была другая. Все над книгами сидела, науками занималась» и «деточки» пошли в нее. В здешних местах никого на них похожего нет, да и не было. Они любили учиться, все трое, с тех пор почти, как начали говорить. И всегда были «на свой лад скроены». Мистер Сент-Джон, когда вырос, захотел учиться в университете и стал священником, а девочки, как закончили пансион, так пошли в гувернантки. Потому что, как

они ей объяснили, несколько лет назад их отец потерял почти все свои деньги, когда человек, которому он доверял, объявил себя банкротом. А раз он теперь не может обеспечить их будущее, они должны сами себя содержать. И дома они уже давно почти не живут, да и сейчас приехали ненадолго из-за кончины отца. Но они очень любят и Марш-Энд, и Мортон, и пустошь, и холмы. Побывали и в Лондоне, и во всяких больших городах, но всегда говорят, что лучше дома на свете места нет. И до того друг дружку любят — никогда не ссорятся, не затевают свар. Такой дружной семьи поискать!

Дочистив крыжовник, я спросила, где барышни и их брат.

— Пошли прогуляться до Мортона, вернутся к чаю, через полчасика.

Они вернулись в указанный Ханной срок и вошли в дом через кухонную дверь. Мистер Сент-Джон, увидев меня, только поклонился и направился в гостиную. Но его сестры задержались. Мэри в нескольких словах ласково и спокойно выразила удовольствие, что я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы спуститься к чаю. Но Диана взяла меня за руку и укоризненно покачала головой.

— Вам следовало бы дождаться моего разрешения! — сказала она. — Вы все еще очень бледны. И сильно исхудали! Бедняжка! Бедняжка!

Голос Дианы напомнил мне воркование голубки. Глаза у нее были такие, что я радовалась, встречая ее взгляд. Ее лицо, казалось мне, дышало очарованием. Лицо Мэри было не менее умным, черты выглядели столь же миловидными, но в них сквозила некоторая сдержанность, и ее манеры, хотя и мягкие, казались чуть менее приветливыми. Диане была свойственна некоторая властность: она, несомненно, обладала большой силой воли. Я же по натуре склонна подчиняться разумной властности и, если позволяют моя совесть и уважение к себе, с радостью уступаю деятельной воле.

— И почему вы здесь? — продолжала она. — Вам здесь не место. Мы с Мэри иногда сидим на кухне, потому что дома любим чувствовать себя свободно, порой даже чересчур. Но вы — гостья, и ваше место в гостиной.

— Мне тут очень хорошо.

— Вовсе нет! Когда Ханна хлопочет рядом и посыпает вас мукой?

— И тут для вас слишком жарко, — объявила Мэри.

— Разумеется, — согласилась ее сестра. — Идемте! Вы должны быть послушной. — И, не выпуская моей руки, заставила меня встать и увела в гостиную.

— Посидите тут, — сказала она, усаживая меня на кушетку, — пока мы переоденемся и приготовим чай. Это еще одна привилегия, которую мы присвоили себе в нашем домике посреди пустоши, — готовить еду самим, когда нам захочется или когда Ханна печет хлеб и пироги, варит пиво, стирает и гладит.

Она закрыла за собой дверь, оставив меня наедине с Сент-Джоном, который сидел напротив меня не то с книгой, не то с газетой. Я обвела взглядом комнату, а затем остановила его на мистере Сент-Джоне.

Гостиная, небольшая, очень просто меблированная, тем не менее дышала уютом — так она была тщательно прибрана. Старомодные стулья весело блестели, а стол орехового дерева мог бы заменить зеркало. На выкрашенных стенах висели старинные портреты мужчин и женщин, одетых по модам былых времен; за стеклянными дверцами шкафа виднелись книги и старинный фарфоровый сервиз. Тут не было никаких безделушек, ни единого современного предмета, если

не считать рабочих шкатулок и дамского бювара розового дерева на столике сбоку. Все — включая ковер и занавески — выглядело одновременно и видавшим виды, и бережно сохраняемым.

Мистер Сент-Джон сидел неподвижно, словно одна из фигур на темных портретах, не отводя глаз от страницы, которую читал, и плотно сжав губы. Поэтому смотреть на него можно было без стеснения, словно я разглядывала не человека, а статую. Он был молод (лет двадцати восьми-тридцати), высок, строен, а его лицо просто приковывало взгляд. Оно было истинно греческим — правильные черты, прямой классический нос, афинский лоб и подбородок. Очень редко видишь английское лицо, столь близкое античным образцам. Да, было понятно, почему он обратил внимание на неправильность моих черт — ведь его лицо было сама гармония. Большие голубые глаза с каштановыми ресницами; на высокий лоб, белый, как слоновая кость, небрежно падали пряди светлых волос.

Такой мягкий облик, не правда ли, читатель? Однако тот, кто здесь нарисован, вовсе не производил впечатления мягкой, уступчивой, впечатлительной или даже просто покладистой натуры. Хотя он не сделал ни единого движения, его нозд-

ри, губы, лоб, казалось мне, свидетельствовали о внутреннем огне, твердости, целеустремленности. Он не сказал мне ни слова, даже не посмотрел на меня, пока не вернулись его сестры. Диана, которая входила и выходила, занимаясь приготовлениями к чаю, принесла мне пирожок прямо из духовки.

— Съешьте его, — сказала она, — вы же голодны. Ханна говорит, что после завтрака вы съели лишь несколько ложек овсянки.

Я не отказалась, так как у меня разыгрался аппетит!

Мистер Риверс закрыл книгу, подошел к столу и, садясь, устремил на меня взгляд голубых глаз, словно нарисованных живописцем. В этом взгляде была бесцеремонная прямота, упорная пристальность, свидетельствовавшие, что на незнакомку он прежде не смотрел нарочно, а отнюдь не из робости.

— Вы очень голодны, — сказал он.

— Да, сэр.

Я всегда инстинктивно встречаю немногословие краткостью, прямолинейность — простотой.

— К счастью для вас, прошлые три дня жар притуплял голод. Было бы опасно сразу же наедаться досыта. Теперь вам можно есть, но все еще

соблюдая умеренность.

— Надеюсь, мне недолго придется есть ваш хлеб, сэр, — был мой неловкий, не слишком вежливый ответ.

— Да, — сказал он невозмутимо, — как только вы назовете нам адрес ваших близких, мы им напишем, и вы сможете вернуться домой.

— Это, должна я сказать вам прямо, не в моей власти. У меня нет ни дома, ни друзей.

Все трое посмотрели на меня, но не с недоверием. В их взглядах, казалось мне, не было подозрения, только любопытство. Собственно, я имею в виду сестер. Глаза Сент-Джона, хотя в буквальном смысле и ясные, оставались непроницаемыми, они словно служили ему инструментом, чтобы читать чужие мысли, а не посредниками для выражения собственных. И это сочетание проницательности и замкнутости смущало больше, чем ободряло.

— Вы хотите сказать, что вы совершенно одиноки? — спросил он.

— Да. Ничто не связывает меня с кем-либо из живущих, и у меня нет права искать приюта ни под одним кровом Англии.

— Весьма странное положение в вашем возрасте!

Я заметила, что он посмотрел на мои руки, которые я положила на стол перед собой. Меня удивило, чем они могли его заинтересовать, но его следующие слова все объяснили.

— Вы не были замужем? Вы девица?

Диана засмеялась:

— Ах, Сент-Джон! Ей же не больше семнадцати-восемнадцати лет!

— Мне почти девятнадцать, но я не замужем. Совершенно верно.

Я почувствовала, что по моему лицу разливается жгучая краска — упоминание о браке пробудило горчайшие тревожные воспоминания. Они все заметили, как я смутилась и взволновалась. Диана и Мэри милосердно отвели глаза, но их более холодный и суровый брат продолжал смотреть на меня, хоть пробужденные им страдания добавили к краске стыда еще и слезы.

— Где вы жили последнее время? — спросил он затем.

— Ты слишком настойчив, Сент-Джон, — тихо сказала Мэри, но он наклонился над столом и потребовал ответа новым пристальным взглядом.

— Место, где я жила, и те, у кого я жила, моя тайна, — ответила я без обиняков.

— По моему мнению, вы имеете право хранить

ее и от Сент-Джона, и от всех, кто будет задавать вам вопросы, — заметила Диана.

— Однако, если я не буду ничего знать ни о вас, ни о вашем прошлом, я не смогу вам помочь, — сказал он. — А вы нуждаетесь в помощи, не так ли?

— Очень, сэр, но мне будет более чем достаточно, если какой-нибудь истинный филантроп поможет мне найти работу, какую я могла бы выполнять за вознаграждение, которое обеспечивало бы меня самым необходимым.

— Не берусь судить, истинный ли я филантроп, однако я готов оказать вам всю помощь, какая в моих силах, для достижения столь почетной цели. Во-первых, скажите мне, что вы делали и что вы умеете делать?

Я уже допила чай, очень меня подкрепивший, будто вино великана. Этот напиток успокоил мои возбужденные нервы и позволил мне ответить настойчивому молодому судье рассудительно и подробно.

— Мистер Риверс, — сказала я, повернувшись к нему и глядя на него так же, как он смотрел на меня, — открыто и без робости, — вы и ваши сестры оказали мне великую услугу — величайшую, какую дано человеку оказывать своим ближним,

— ваше великодушное гостеприимство спасло меня от смерти. Такое благодеяние дает вам безграничное право на мою благодарность и некоторое право на мою откровенность. Я расскажу вам о прошлом скиталицы, которую вы приютили, столько, сколько совместимо с моим душевным покоем и не подвергнет нравственной и физической опасности не только меня, но и других. Я сирота, дочь священника. Мои родители скончались прежде, чем я могла их узнать. Меня воспитывали как приживалку, дали образование в благотворительном приюте. Я даже назову вам заведение, в котором пробыла шесть лет ученицей и два года учительницей. Ловудский сиротский приют в ***шире. Возможно, вы о нем слышали, мистер Риверс? Там казначеем преподобный Роберт Броклхерст.

— О мистере Броклхерсте я слышал и как-то побывал в этом заведении.

— Я покинула Ловуд почти год назад, получив место гувернантки в частном доме. И была там счастлива. Однако была вынуждена покинуть его за четыре дня до того, как пришла сюда. Причину я не могу и не должна открывать. Это было бы бесполезно… опасно… да и поверить трудно. Я ни в чем не провинилась, моя совесть чиста, как

и у вас троих. Однако я несчастна и пока еще не утешусь, так как катастрофа, изгнавшая меня из дома, где я обрела рай, была крайне необычной и губительной. Покидая тот дом, я думала только о том, как исчезнуть побыстрее и в тайне. Поэтому мне пришлось оставить все, чем я владела, кроме небольшого узелка, который из-за спешки и расстройства мыслей я забыла в почтовой карете, довезшей меня до Уайткросса. Вот так я попала в эти края совсем неимущей. Две ночи я провела под открытым небом, а два дня бродила, лишь дважды переступив порог чьего-то дома. И лишь дважды за все это время мне удалось немного поесть. И вот когда голод, усталость и отчаяние почти убили меня, вы, мистер Риверс, воспрепятствовали мне умереть у ваших дверей и дали мне приют в своем доме. Мне известно все, что потом сделали для меня ваши сестры, так как в забытьи я сознавала окружающее, и я в столь же неоплатном долгу за их бескорыстнейшее, искреннейшее сострадание, как и за ваше евангельское милосердие.

— Не заставляй ее говорить еще, Джон, — вмешалась Диана, когда я умолкла. — Ей, конечно, же, нельзя волноваться. Сядьте-ка на кушетку, мисс Эллиот.

Я невольно вздрогнула, услышав свою придуманную фамилию, которую успела забыть. Мистер Риверс, от чьего внимания, казалось, не ускользало ничто, тотчас это заметил.

— Вы ведь сказали, что вас зовут Джейн Эллиот? — спросил он.

— Да, я так сказала и думаю пока называться так. Но это не моя настоящая фамилия, и пока еще она для меня звучит странно.

— Свою настоящую фамилию вы не назовете?

— Нет. Больше всего я боюсь, что меня отыщут, а потому избегаю всего, что могло бы этому способствовать.

— По-моему, вы совершенно правы, — сказала Диана. — А теперь, братец, все-таки оставь ее в покое.

Однако Сент-Джон лишь на минуту-другую задумался, а затем возобновил расспросы с той же невозмутимостью и проницательностью, как и раньше.

— Вам не понравится долго пользоваться нашим гостеприимством, вы, я вижу, предпочтете как можно быстрее перестать быть предметом сострадания моих сестер, а главное, моего ми-ло-сер-дия (я прекрасно понимаю тонкое различие, но принимаю его, оно справедливо). Вы не хотите

зависеть от нас?

— Да. Я уже это сказала. Дайте мне работу или объясните, как ее найти, — это все, чего я прошу теперь. А тогда отпустите меня, пусть это будет самая убогая лачужка. Но до тех пор разрешите мне остаться здесь. Мне страшно вновь испытать ужасы бездомности и нищеты.

— Конечно, вы останетесь здесь! — сказала Диана, положив белую руку на мои волосы.

— Конечно! — повторила Мэри с мягкой искренностью, видимо, ей присущей.

— Как видите, мои сестры хотят оставить вас здесь, — сказал мистер Сент-Джон, — как оставили бы и выхаживали полузамерзшую птичку, которую порыв зимнего ветра занес бы к ним в окошко. Я более склонен к тому, чтобы посодействовать вам самой зарабатывать свой хлеб насущный, и попытаюсь это сделать. Но заметьте, мои возможности невелики. Я ведь всего лишь священник бедного сельского прихода, и помощь моя, по необходимости, будет самой скудной. Если вам не по душе смиренный труд, поищите чего-то более для вас подходящего, чем могу предложить я.

— Она ведь уже сказала, что готова на любую честную работу, какая ей по силам, — ответила

за меня Диана. — И ты знаешь, Сент-Джон, у нее нет выбора: она вынуждена довольствоваться помощью черствых людей вроде тебя.

— Я согласна быть швеей, я согласна на любую черную работу — буду прислугой, нянькой, если не найдется ничего лучше, — ответила я.

— Отлично, — сказал Сент-Джон с полной невозмутимостью. — Если таково ваше настроение, я обещаю помочь вам, когда смогу и как смогу.

Он снова взял книгу, которую читал перед чаем, а я ушла к себе: и так я уже пробыла на ногах дольше и говорила больше, чем пока позволяли мои силы.

Глава 30

Чем ближе я узнавала обитателей Мур-Хауса, тем больше они мне нравились. Через два-три дня мое здоровье настолько поправилось, что я уже проводила внизу весь день и даже неподолгу гуляла. Теперь я могла разделять с Дианой и Мэри все их занятия, беседовала с ними, сколько им хотелось, и помогала им, когда и где они мне разрешали. В этой дружеской близости заключалась живейшая радость, которую мне довелось изведать впервые, — радость, рожденная полной гармонией вкусов, взглядов и нравственных убеждений.

Мне нравилось читать то, что читали они; то, что доставляло удовольствие им, приводило меня в восторг; то, что они одобряли, у меня вызывало благоговение. Они любили свое уединенное жилище, и я тоже оказалась во власти непреходящего очарования этого серого небольшого старинного здания с низкой крышей, мелким переплетом окон, обомшелыми стенами, двумя рядами старых елей, стволы которых все наклонились в одну сторону под ударами горных

ветров, садом, где среди тисов и остролистов росли и цвели лишь самые неприхотливые цветы. Им были дороги лиловые вересковые пустоши, окружавшие их дом, неглубокая долина, в которую вела усыпанная галькой тропа, от ворот их дома: сначала она вилась между поросшими папоротником откосами, а затем — между совершенно неухоженными, граничившими с морем вереска лужками, где паслись серые местные овцы и их ягнятки с мохнатыми мордочками. Как я уже сказала, все это было им бесконечно дорого. Я понимала их чувство, разделяла его силу и искренность. Меня покоряло волшебство этого края. Я ощущала благостность его уединенности, мои глаза наслаждались прихотливыми очертаниями холмов, необыкновенными красками склонов и долин, которые им дарили мхи, вереск, рассыпанные в траве цветы, ярко-зеленый папоротник и мягкие тона гранитных утесов. Все это было для меня тем же, что и для сестер, — чистым и пленительным источником радости. Порывы бури и нежные ветерки, ненастные и погожие дни, часы восхода и заката, лунный свет и облачные ночи этого края приобрели для меня то же обаяние, что и для них, наложили на меня те же чары, какими околдовали их.

И внутри дома мы находили то же единство вкусов. Обе они были образованнее и начитаннее меня, но я с увлечением следовала пути знания, которым они прошли до меня. Я пожирала книги, которые они мне одалживали. Каким наслаждением было обсуждать с ними вечером то, что я успевала проштудировать за день! Мысль встречалась с мыслью, мнение оказывалось созвучным мнению — короче говоря, гармония между нами была совершенной.

Если кто-то возглавлял наше трио, то, конечно, Диана. Физически ее превосходство надо мной было полным — красавица, исполненная энергии. В ее жизнерадостности чувствовался избыток сил и сознание цели, вызывавшие у меня изумление и ставившие меня в тупик. В начале вечера я поддерживала разговор, но вскоре мое красноречие истощалось, порыв угасал, и мне было вполне довольно сидеть на скамеечке у ног Дианы и, положив голову к ней на колени, просто слушать, как они с Мэри подробно разбирают тему, которую я только затронула. Диана предложила учить меня немецкому. Мне нравилось учиться у нее. Я видела, как приятна и как подходит ей роль наставницы, а мне не меньше нравилась и подходила роль ученицы.

Наши характеры удивительно дополняли друг друга, и результатом явилась сильнейшая взаимная привязанность. Сестры узнали, что я рисую, — немедленно их карандаши и краски оказались в полном моем распоряжении. В этом искусстве — и только в этом! — я их превосходила, что удивило и восхитило их. Мэри часами сидела и смотрела, как я рисую, и вскоре выразила желание поучиться у меня: более внимательной, все схватывающей на лету и прилежной ученицы невозможно было бы пожелать. За подобными занятиями и развлечениями дни пролетали точно часы, а недели — точно дни.

Что до мистера Сент-Джона, то дружба, которая столь естественно и быстро возникла у меня с его сестрами, его не включала. Одна причина этого сохраняющегося между нами отчуждения заключалась в том, что он редко бывал дома, посвящая большую часть времени посещению бедных и больных среди своих прихожан, чьи жилища были разбросаны по пустошам.

Никакая погода не служила препятствием исполнению его пастырских обязанностей: и в дождь, и в вёдро, завершив часы утренних занятий, он брал шляпу и в сопровождении Карло, старого пойнтера его отца, отправлялся по зову

любви или долга — не знаю, как сам он на это смотрел. Порой, когда день выпадал особенно ненастный, сестры старались удержать его дома, и тогда он говорил с особой улыбкой, более серьезной, чем веселой:

— Если я позволю какому-то ветру или побрызгавшему дождю помешать мне исполнить столь простую работу, как подобная лень подготовит меня к будущему, которое я себе избрал?

Диана с Мэри обычно отвечали на эти слова легким вздохом и на несколько минут погружались в печальные мысли.

Но и кроме этих частых отлучек, для дружбы с ним было еще одно препятствие: его характер казался сдержанным, замкнутым и даже мрачным. Ревностный в пастырских трудах, безупречный в жизни и привычках, он тем не менее, казалось, не обладал той душевной безмятежностью, которая должна быть наградой каждому истинному христианину и добродетельному человеку. Часто по вечерам, сидя у окна за письменным столом, заваленным бумагами, он отрывался от книги или откладывал перо, опирался подбородком на ладонь и предавался не знаю каким мыслям, но особый блеск в глазах, расширение и сужение зрачков свидетельствовали, что они были бурны-

ми и волнующими.

Кроме того, мне кажется, Природа для него не была той сокровищницей радости, как для его сестер. Один лишь раз — всего один раз — он в моем присутствии упомянул о суровом очаровании холмов и своей врожденной любви к древним стенам, которые называл своим домом. Однако и тон, и слова, в какие были облечены эти чувства, казались скорее мрачными, чем благодарными, и он словно бы никогда не гулял по пустоши, чтобы просто насладиться окутывающей ее благостной тишью, никогда не искал и не упоминал тысячи маленьких радостей, источником которых могли служить эти вересковые просторы.

Такая необщительность долго не позволяла оценить его ум. В первый раз мне довелось почувствовать силу этого ума, пока я слушала, как мистер Сент-Джон проповедовал у себя в мортонской церкви. Если бы я могла воспроизвести эту проповедь! Но подобное мне не по силам. Я даже не способна точно описать свое впечатление от нее.

Начал он спокойно — более того, тон и звучание его голоса оставались неизменными до конца, — однако строго обуздываемый жар веры скоро дал о себе знать в выразительности интонаций,

во внутренней мощи его слов. Она все возрастала, оставаясь подавляемой, сжатой, управляемой. Красноречие проповедника заставляло сердце трепетать, ошеломляло ум. И с начала и до конца — отзвуки странной горечи, отсутствие утешительной кротости. Частыми были упоминания суровых догматов кальвинизма — избранности, предопределения, осуждения. И каждая ссылка на них звучала точно смертный приговор. Когда он кончил, я не почувствовала себя успокоенной, просветленной, возвысившейся духом — напротив, меня преисполнила невыразимая печаль. Мне казалось — не знаю, какое впечатление осталось у других, — что красноречие это вырывалось из глубин, где осела густая тина разочарований, где бурлили неутолимые устремления, высокие, но пугающие в своей неукротимости помыслы. Я уверилась, что Сент-Джон, ведущий столь чистую жизнь, добродетельный, ревностный, тем не менее еще не обрел того мира в Боге, который превосходит человеческое понимание. Не обрел, как не обрела этого мира и я, жертва скрытых надрывающих душу сожалений о моем разбитом кумире и потерянном элизиуме. На этих страницах я перестала упоминать о них, но они по-прежнему беспощадно терзали и угнетали

меня.

Меж тем миновал месяц. Диане и Мэри вскоре предстояло покинуть Мур-Хаус и вернуться к совсем иной жизни и обстановке, к жизни гувернанток в большом оживленном городе на юге Англии, где обе служили в семьях, богатые и чванливые члены которых видели в них лишь прислугу и ничего не желали знать об их внутренних достоинствах, ценя только приобретенные ими знания, как ценили искусство своего повара или вкус своей камеристки. Мистер Сент-Джон все еще не сказал мне ни слова о работе, которую обещал подыскать для меня, однако время было на исходе — я должна была найти какое-нибудь место. Как-то утром на несколько минут оставшись в гостиной наедине с ним, я осмелилась приблизиться к эркеру, который его стол, кресло и книжная полка превратили в подобие кабинета. Я намеревалась поговорить с ним, хотя никак не находила слов, в которые могла бы облечь свой вопрос, — ведь всегда очень трудно разбить лед сдержанности, защищающий подобные натуры. Но тут он вывел меня из нерешительности, заговорив сам. Подняв голову на звук моих шагов, он сказал:

— Вы хотите о чем-то меня спросить?

— Да. Я бы хотела узнать, не слышали ли вы о каком-нибудь месте, для которого я могла бы подойти?

— Да, я нашел и кое-что придумал для вас уже три недели назад, но, поскольку вы как будто были полезны и счастливы здесь, поскольку мои сестры, несомненно, привязались к вам и ваше общество доставляло им редкое удовольствие, я не счел нужным мешать вам до тех пор, пока их отъезд из Мур-Хауса не должен будет заставить и вас его покинуть.

— Они ведь уезжают через три дня? — сказала я.

— Да, а когда они уедут, я вернусь в свой дом при церкви в Мортоне, Ханна переберется туда, и старый дом будет заперт.

Я подождала, полагая, что он продолжит объяснения, но он, казалось, вновь погрузился в свои мысли и, судя по выражению его глаз, забыл и о моем деле, и обо мне. Я была вынуждена вернуть его к теме, которая, понятно, представляла для меня живейший интерес и не терпела отлагательств.

— Какое место имеете вы в виду, мистер Риверс? Надеюсь, проволочка не усугубит для меня трудности получить его?

— О нет, поскольку только от меня зависит предложить его вам, а от вас — принять его.

Он вновь помолчал, словно ему не хотелось продолжать. Я потеряла терпение. Быстрый жест, требовательный устремленный на него взгляд сообщили ему о том, что творилось в моей душе, лучше всяких слов и с меньшими затруднениями.

— Вы напрасно так торопитесь, — начал он. — Скажу откровенно: я не могу предложить вам ничего заманчивого или выгодного. Прежде чем объяснить, я хотел бы напомнить, как уже ясно дал вам понять, что моя помощь вам может быть не более, чем помощь слепого хромому. Я беден. Выяснилось, что после уплаты долгов моего отца в наследство мне достанется лишь этот ветшающий дом, ряды кривых елей за ним и кусок местной почвы перед ним с тисами и остролистами. Я ничтожен. Риверсы — древний род, но из трех последних его потомков две зарабатывают горькую корку зависимости среди чужих людей, а третий считает себя чужим в родной стране, причем не только в жизни, но и в смерти. Да, и считает, обязан считать этот жребий честью для себя и уповает лишь на тот день, когда на его плечи будет возложен крест разрыва со всеми

плотскими связями и когда Глава церкви воинствующей, коей он — смиреннейший воин, прикажет: «Встань, следуй за Мной!»

Эти слова Сент-Джон произнес тем же голосом, каким читал свои проповеди, — спокойным глубоким голосом, храня бледность лица и блистая взглядом. Затем он продолжал:

— А так как я сам беден и ничтожен, то могу предложить вам лишь место бедное и ничтожное. Возможно, вы даже сочтете его унизительным для себя — ведь я успел увидеть, что вы привыкли к утонченности, как выражаются в свете. Ваши вкусы влекут вас к идеальному, и вы жили в обществе людей, во всяком случае, образованных, я же считаю, что никакое служение не может унизить, если оно — на благо человеков. Я утверждаю: чем засушливей и тверже почва, которую вспахать — долг христианского труженика, чем скуднее плоды, кои приносит его труд, тем выше честь. Тогда он уподобляется первопашцу, а первопашцами Слова Божьего были апостолы, вел же их сам Иисус Искупитель.

— Так что же? — сказала я, когда он снова умолк. — Продолжайте.

Прежде чем продолжить, он посмотрел на меня: казалось, он неторопливо читает по моему

лицу словно по раскрытой книге. Выводы, к которым он пришел, отчасти нашли выражение в его следующих словах:

— Мне кажется, вы примете место, которое я вам предложу, и на некоторое время останетесь здесь — но не навсегда. Как и я не мог бы до конца жизни вести мирное, узкое и все время сужающееся существование английского деревенского священника. Ибо вашей природе, как и моей, присуще свойство, не приемлющее покоя, хотя и по иным причинам.

— Объясните же! — попросила я настойчиво, когда он снова умолк.

— Не премину. И вы узнаете, как скудно мое предложение, как буднично, как неблагодарно. Теперь, когда мой отец скончался и мне дано самому распоряжаться моей судьбой, в Мортоне я останусь недолго — думаю, что покину его еще до истечения года. Но пока я здесь, я буду отдавать все свои силы благу прихода. Когда два года назад я его принял, в Мортоне не было школы: детей бедняков изначально лишали возможности улучшить свой жребий. Я учредил школу для мальчиков, а теперь намерен открыть школу для девочек. Ради этой цели я снял строение, к которому примыкает домик в

две комнаты для учительницы. Получать она будет тридцать фунтов в год. Предназначенный ей дом уже обмеблирован — очень скромно, но вполне достаточно благодаря доброте мисс Оливер, дочери единственного богатого человека в моем приходе — мистера Оливера, владельца игольной фабрики и литейной в долине. Та же барышня платит за образование и одежду сироты из работного дома с условием, что она будет оказывать учительнице помощь в той домашней работе и уборке школьного помещения, на какую у нее самой не будет хватать времени, занятого ее прямыми обязанностями. Хотите стать этой учительницей?

Вопрос он задал торопливо, видимо, почти ожидая негодующего или в лучшем случае пренебрежительного отказа — не зная всех моих мыслей и чувств, хотя о некоторых и догадываясь, он не мог предугадать, как я восприму такое предложение. Бесспорно, место было более чем скромным, но, с другой стороны, я искала безопасного убежища, а что-либо укромнее Мортона трудно было бы найти. Оно требовало большого труда, зато в сравнении с местом гувернантки в богатом доме обеспечивало самостоятельность, а страх перед зависимостью от чужих людей

жег мою душу как раскаленное железо. В такой работе не было ничего неблагородного, недостойного или нравственно унизительного. Я приняла решение.

— Благодарю вас за это предложение, мистер Риверс, и принимаю его с радостью.

— Но вы поняли меня? — сказал он. — Это деревенская школа, и вашими ученицами будут самые бедные девочки, дочери батраков, в лучшем случае не слишком зажиточных фермеров. Учить их вам придется вязать, шить, читать, писать, считать, и только. Что вы будете делать с остальными вашими знаниями? Ведь большая часть вашего ума, чувств, вкусов останется без применения.

— Постараюсь сохранить их до того времени, когда они понадобятся.

— Так вы понимаете, за что беретесь?

— Да.

Теперь он улыбнулся — и не горькой, не печальной улыбкой, но радостной и очень довольной.

— Когда вы приступите к выполнению своих обязанностей?

— Завтра я отправлюсь в свой дом, а школу, если вы желаете, открою на следующей неделе.

— Отлично. Пусть будет так.

Он встал, прошелся по комнате, остановился, снова посмотрел на меня и покачал головой.

— Что именно во мне вызывает у вас неодобрение, мистер Риверс? — спросила я.

— Долго вы в Мортоне не останетесь, нет-нет!

— Почему? Какая у вас причина думать так?

— Я прочел это в ваших глазах. Они не из тех, что обещают мириться с однообразием жизни.

— Я лишена честолюбия.

При слове «честолюбие» он вздрогнул и повторил его.

— Нет. Почему вы подумали о честолюбии? Кто честолюбив? Я знаю, во мне есть честолюбие, но как вы догадались?

— Я говорила о себе.

— Ну, если вы не честолюбивы, в таком случае вы…

— Что?

— Я хотел бы сказать: «страстны». Но вы могли бы понять меня неверно и рассердиться. А в виду я имел следующее: человеческие привязанности и симпатии для вас крайне важны. Я убежден, что вы не сможете долго довольствоваться досугом, проводимым в одиночестве, и монотонным трудом, не дающим никакой пищи ни уму, ни сердцу. Как не могу я, — добавил он с особой

выразительностью, — прозябать в этой трясине, замкнутой горами. Вся моя натура, данная мне Богом, противится этому. Способности, дарованные мне Небом, парализованы, не приносят пользы. Вы слышите, как я противоречу себе? Я, который в проповедях призывал довольствоваться самым смиренным жребием, указывал, что даже дровосеки и водоносы своим трудом славят Господа, — я, Его служитель, носящий сан, впадаю почти в исступление от желания вырваться отсюда. Что же, приходится искать средство примирить склонности с нравственными принципами.

Он вышел из комнаты. За этот короткий час я узнала о нем больше, чем за весь прошлый месяц, и все же он оставался для меня загадкой.

По мере приближения дня разлуки с братом и отчим домом Диана и Мэри становились все грустнее. Обе пытались держаться как обычно, но, как ни старались побороть свою печаль, им не удавалось полностью победить ее или утаить. Диана дала мне понять, что это будет совсем иное расставание, чем прежние. Вероятно, новая разлука с Сент-Джоном будет продолжаться долгие годы, если не всю их жизнь.

— Он все принесет в жертву своему давнему решению, — сказала она. — Родственные узы

и чувство даже еще более могучее. Сент-Джон держится невозмутимо, Джейн, но он просто скрывает лихорадку, снедающую его изнутри. Возможно, вам он кажется мягким, но в некоторых вещах он неумолим, как смерть. А хуже всего то, что совесть не позволяет мне отговаривать его от необратимого решения, и, разумеется, я даже на миг не могу его осудить. Верное, благородное, истинно христианское решение, и все же оно сокрушает мне сердце. — На ее прекрасные глаза навернулись слезы, а Мэри ниже наклонила голову над шитьем.

— Мы остались без отца, а скоро останемся без дома и без брата, — тихо произнесла она.

И тут наш разговор был прерван одной из тех неожиданностей, которые судьба словно нарочно подстраивает в доказательство поговорки «беда никогда не приходит одна», усугубляя эти беды подтверждением присловия о том, что «близок локоток, да не укусишь». Мимо окна прошел Сент-Джон, читая письмо. Переступив порог, он сказал:

— Дядя Джон скончался.

Обе сестры замерли. Но они не были ни потрясены, ни сражены горем: известие это, видимо, имело для них важность, но не поразило их

чувства.

— Скончался? — повторила Диана.

— Да.

Она пристально посмотрела на брата.

— Ну и?.. — спросила она тихо.

— Что — ну и? — сказал он, храня мраморную неподвижность черт. — Ди, что — ну и? Да ничего. Прочти.

Он бросил письмо ей на колени. Она пробежала его глазами и протянула Мэри, которая прочла письмо молча, а затем вернула брату. Все трое обменялись взглядом, все трое улыбнулись — задумчиво и тоскливо.

— Аминь! Будем жить, как жили, — сказала наконец Диана.

— В любом случае для нас это ничего не меняет, — заметила Мэри.

— Но с большой силой понуждает воображение рисовать картину того, что быть могло бы, — сказал мистер Риверс, — создавая слишком яркий контраст с тем, что есть на самом деле.

Он сложил письмо, запер его в ящике письменного стола и ушел.

Несколько минут царило молчание, затем Диана обернулась ко мне.

— Джейн, вас, конечно, удивили и мы, и на-

ши тайны, — сказала она. — И вы считаете нас жестокосердыми, потому что нас не слишком удручила смерть такого близкого родственника, как дядя. Но мы не знали его, не видели ни разу в жизни. Он был братом нашей матери. Между ним и нашим отцом очень давно возникла ссора. Это по его совету батюшка вложил большую часть своего состояния в коммерческие предприятия, которые его разорили. Они обвиняли друг друга, расстались в гневе и так никогда и не помирились. Позднее дядя повел дела более удачно и, как оказывается, нажил состояние в двадцать тысяч фунтов. Он так и не женился, и, кроме нас, за одним исключением, других родственников у него не было. Впрочем, то родство не ближе нашего. Отец всегда лелеял надежду, что дядя искупит свою вину, оставив свое состояние нам. В этом письме нас известили, что он завещал все до последнего пенни не нам, если не считать тридцати гиней, которые должны быть поделены между Сент-Джоном, Дианой и Мэри Риверсами для покупки трех траурных колец. Разумеется, у него было полное право поступать, как ему вздумалось. И все же подобные известия повергают в некоторое уныние. Мы с Мэри считали бы себя богатыми, получи мы по тысяче фунтов

каждая, а Сент-Джон принял бы такую же сумму с радостью, так как она дала бы ему возможность сделать много добра.

Объяснение было дано, выслушано, и тема оставлена. Больше ни мистер Риверс, ни его сестры ни словом к ней не возвращались. На следующий день я отправилась из Марш-Энда в Мортон. Днем позже Диана и Мэри покинули его и отбыли в далекий Б. Еще через неделю мистер Риверс и Ханна переехали в дом священника при мортонской церкви, и старая усадьба была покинута всеми.

Глава 31

Итак, мой дом — когда я наконец обрела дом — это хижина: комнатка с белеными стенами и усыпанным песком полом. В ней стоят четыре выкрашенных масляной краской стула, стол, напольные часы, буфет с несколькими тарелками и блюдами, а также с фаянсовым чайным сервизом. Такая же комнатка над ней служит кухней, где, кроме того, стоит кровать из сосновых досок и комод — небольшой, что не помешало половине ящиков остаться свободными, хотя мой скромный гардероб благодаря доброте моих заботливых и щедрых друзей пополнился всем необходимым.

Сейчас вечер. Вознаградив апельсином, я отпустила маленькую сиротку, которая помогает мне в доме. Я сижу одна у очага. Сегодня утром состоялось открытие деревенской школы. У меня двадцать учениц. Всего три умеют читать, и ни одна — писать и считать. Некоторые вяжут, три-четыре немножко шьют. Говорят они только на местном наречии, и пока мы с трудом понимаем друг друга. Некоторые не только неве-

жественны, но совершенно невоспитанны, грубы и непослушны, однако остальные ведут себя хорошо, хотят учиться, и я замечаю в их характерах черты, которые мне нравятся. Мне не следует забывать, что по плоти и крови эти крестьяночки в домотканой одежде ничуть не хуже отпрысков самых древних аристократических родов и что зачатки природных талантов, утонченности, ума, прекрасных чувств могут жить в их сердцах с той же вероятностью, что и в сердцах самых высокородных наследниц. Моим долгом будет помочь развиться этим зачаткам, и, конечно же, конечно, я обрету некоторое счастье в его исполнении. Особых радостей от открывающейся передо мной жизнью я не ожидаю, но, без сомнения, если я смирюсь духом и приложу надлежащие усилия, мои дни будут достаточно заполнены.

Были ли те часы, которые я провела утром и днем в голой, убогой классной комнате, приятными, спокойными, счастливыми? Не обманывая себя, я должна ответить: «нет!» Я испытывала немалое уныние. Я чувствовала себя — да, я была такой дурочкой! — униженной. Меня одолевало сомнение, не решилась ли я на шаг, который унизил, а не возвысил меня в глазах света? Меня угнетали невежество, бедность, грубость всего,

что я видела и слышала вокруг себя. Но разрешите мне не питать к себе ненависти и презрения за эти чувства. Я знаю, что они дурны, и это уже большой шаг вперед. Я постараюсь их побороть. Завтра, надеюсь, мне удастся отчасти возобладать над ними, и через несколько недель, быть может, они будут совершенно усмирены. А через два-три месяца радость, с какой я буду наблюдать успехи моих учениц, перемену к лучшему в них, наверное, подарит меня спокойствием духа, и брезгливость, какую я ощущала сегодня, будет совсем забыта.

Тем временем позвольте я спрошу себя: что лучше? Уступить искушению, послушаться страсти, не бороться, не мучиться, напрягая все силы, а упасть в шелковые силки, уснуть на цветах, их скрывающих, чтобы проснуться под небесами юга среди роскоши великолепной виллы — жить сейчас во Франции любовницей мистера Рочестера, опьяняясь его любовью, почти каждую минуту, потому что он бы… о да, он бы безумно любил меня… какое-то время. И ведь он меня любил! Никто больше никогда не будет любить меня так. Никогда более мне не изведать сладостной дани, которую платят красоте, юности и грации, — ведь ни в чьих других глазах не буду я наделена

этими чарами. Он отдал мне сердце и гордился мной — ни один другой мужчина этого не сделает… Но где блуждают мои мысли? О чем я говорю и, главное, о чем я думаю? Так было бы лучше, спрашиваю я, жить рабыней в мишурном раю где-нибудь под Марселем — час лихорадочно упиваясь обманчивым блаженством, а в следующий — захлебываясь жгучими слезами раскаяния и стыда, или же быть деревенской учительницей, свободной и честной, в укромном уголке верескового сердца Англии, где дуют чистые ветры гор?

Да, теперь я чувствую, что поступила правильно, когда последовала требованиям нравственных устоев и законов, презрев и подавив горячечный порыв, рожденный минутой безумия. Бог указал мне верный выбор, и я благодарю Его, что не оставил меня на распутье.

Придя в своих вечерних размышлениях к этому выводу, я встала, направилась к двери и остановилась на пороге, глядя на пылающий летний закат и на тихие луга перед моей хижиной, которая находилась в полумиле от деревни. Птицы допевали свои песенки.

«Был воздух теплым, а роса — бальзамом».

Я стояла, смотрела, полагала себя счастливой — и, к моему изумлению, вскоре расплакалась

— из-за чего? Из-за роковой судьбы, оторвавшей меня от моего патрона, которого я больше никогда не увижу; из-за отчаянного горя и гибельной ярости, которые рождены моим бегством и в эту самую минуту, возможно, сталкивают его с пути добродетели в такую бездну, что возврат на благую стезю окажется невозможным. При этой мысли я отвернула лицо от чудесного вечернего неба и пустынной Мортонской долины — я называю ее пустынной потому, что с моего порога не было видно ни одного жилья, ни одного строения, кроме церкви и дома священника, почти заслоненных деревьями, да в противоположной стороне крыши Вейл-Холла, где проживал богатый мистер Оливер со своей дочерью. Я закрыла глаза руками и прислонила голову к дверному косяку. Однако вскоре меня заставил поднять ее легкий шум, донесшийся со стороны калитки в ограде, отделявшей мой крохотный садик от луга. Я увидела, что калитку открывает носом Карло, старый пойнтер мистера Риверса, а сам Сент-Джон, скрестив руки, облокотился на нее. Его брови были нахмурены, очень серьезный, почти недовольный взгляд впивался в меня. Я пригласила его войти.

— Нет, я не могу остаться. И просто принес вам

пакет от моих сестер. Мне кажется, в нем краски для вас, карандаши и бумага.

Я направилась к калитке, чтобы взять пакет — это был самый желанный подарок! Подходя, я подумала, что Сент-Джон смотрит на меня очень строгим взглядом — без сомнения, следы слез на моем лице сразу бросались в глаза.

— Первый день в школе оказался труднее, чем вы ожидали? — спросил он.

— О нет! Напротив, мне кажется, что со временем я отлично полажу с моими ученицами.

— Может быть, что-то — ваш домик, мебель — обмануло ваши ожидания? Все это, бесспорно, очень скудно, но…

— Мой домик, — перебила я, — очень чист и отлично защищает от непогоды. Мебель удобна, и ее вполне достаточно. Все, что я тут вижу, меня ободряет, а не расстраивает. Я не настолько глупа и избалована, чтобы меня огорчило отсутствие ковра, мягкой кушетки и серебряной посуды. К тому же пять недель назад у меня не было ничего, я была отверженной, нищей бродяжкой, а теперь у меня есть дом, друзья, занятие. Я лишь дивлюсь милости Господней, щедрости моих друзей, благам, выпавшим на мою долю. Я ни о чем не сожалею.

— Но вас угнетает одиночество? Домик позади вас пуст и темен.

— У меня еще не было времени прийти в себя, а уж тем более расстроиться из-за одиночества.

— Ну что же, надеюсь, вы правда всем довольны, как говорите. Во всяком случае, ваш здравый смысл подскажет вам, что пока еще рано уступать страхам и колебаниям Лотовой жены. Что вы оставили позади себя до того, как я познакомился с вами, мне неизвестно, но я советую вам твердо противостоять всем искушениям оглянуться. Хотя бы несколько месяцев трудитесь здесь, как начали.

— Именно таково мое намерение, — ответила я, и Сент-Джон продолжал:

— Совладать с желаниями и поступать наперекор собственной натуре очень нелегко, но это возможно, как я знаю по собственному опыту. Бог в какой-то мере дал нам власть творить собственную судьбу. И когда наша энергия словно бы нуждается в подкреплении, которого не получает, когда наша воля тянет нас на дорогу, нам заказанную, мы должны не поддаваться слабости, не застывать в отчаянии, а поискать другую духовную пищу, более заманчивую, чем предыдущие, нам запретные лакомства, и, быть

может, более чистую. И проложить для дерзающих ног дорогу столь же прямую и широкую, как та, которую преградила перед нами судьба, хотя и не столь гладкую.

Год назад я сам был глубоко несчастен: мне казалось, я ошибся, приняв духовный сан. Будничные обязанности священника казались мне смертельно скучными. Меня снедало желание испробовать более деятельную мирскую жизнь, например, более увлекательный труд литератора; меня влекла судьба художника, писателя, оратора — да кого угодно, лишь бы не священника. О, под моим смиренным облачением билось сердце политика, солдата, поклонника славы; оно томилось по известности, жаждало власти. Я задумался; моя жизнь стала настолько несчастной, что ее необходимо было изменить, чтобы не умереть. И вот в долгом мраке тщетной борьбы воссиял свет, и пришло облегчение. Сдавившая меня теснина вдруг раскинулась безграничным простором. Силы моего духа услышали зов Небес восстать, обрести полную мощь, развернуть крылья и унестись в неизмеримую даль. Господь поручал мне нести Его весть, а чтобы доставить ее далече и сообщить достойно, требуются умение и сила, смелость и красноречие — все лучшие каче-

ства солдата, государственного мужа и оратора, ибо все они необходимы хорошему миссионеру.

Я решил стать миссионером. С этого мгновения состояние моего духа изменилось. Оковы распались, освободив все мои способности, не оставив от цепей ничего, кроме еще не заживших ссадин, исцелить которые способно лишь время. Правда, мой отец воспротивился, но после его кончины на моем пути уже нет неодолимых препятствий. Остается уладить кое-какие дела, найти себе преемника в Мортоне, разорвать или рассечь путы чувства — последний бой с человеческой слабостью, которую, знаю, я преодолею, так как поклялся ее преодолеть, — и я покину Европу ради Востока.

Он произнес это своим особым спокойным, но удивительно выразительным голосом, глядя под конец не на меня, а на заходящее солнце, за которым следила и я. Мы оба стояли спиной к тропке, которая вела к калитке через луг. Мы не слышали шагов на траве, тишину вокруг нарушало лишь баюкающее журчание ручья, и понятно, почему мы оба вздрогнули, когда веселый голос, прелестный, как звон серебряного колокольчика, воскликнул:

— Добрый вечер, мистер Риверс! Добрый вечер

и тебе, старичок Карло! Ваша собака быстрее вас, сэр, узнает своих друзей. Карло навострил уши и завилял хвостом, когда я только шла через луг, а вы и сейчас стоите ко мне спиной!

Это была чистая правда. Хотя мистер Риверс, едва зазвучал мелодичный голос, вздрогнул, точно удар грома расколол небо у него над головой, он и теперь, при завершении фразы, продолжал стоять в той же позе, в какой его застало ее начало, — опираясь локтями на изгородь, лицом к западу. Наконец он обернулся с нарочитой медленностью. Мне почудилось, что рядом с ним возникло дивное видение. В двух шагах от него стояла фигурка в белоснежной одежде — юная грациозная фигурка, чарующая изяществом форм. Когда же, погладив Карло, она выпрямилась и откинула длинную вуаль, взору предстало личико совершенной красоты. Совершенная красота — сильное выражение, но я не беру его назад и не оговариваю. Нежные черты, какие когда-либо сотворял умеренный климат Альбиона, безупречные краски розы и лилеи, какие его влажные ветры и облачные небеса вскармливали и укрывали, оправдывают такое определение. Все совершенства без исключения и ни единого изъяна. Черты лица юной девушки были тонкими и

правильными, глаза ни разрезом, ни цветом не уступали тем, которые мы видим на прекрасных полотнах — большие, темные, выразительные; длинные загнутые ресницы, придающие такую притягательность очам, которые ослепляют; тонко очерченные брови, дарящие им ясность; лилейный лоб, добавляющий безмятежность сочетанию красок и блеска; гладкий нежный овал щек; губы тоже нежные, алые, красиво очерченные; ровные сверкающие зубы без единого порока; миниатюрный подбородок с ямочкой. Лицо это обрамляли густые пышные кудри. Короче говоря, она обладала всеми чарами, которые вместе слагаются в идеал красоты. Я поражалась, глядя на это пленительное создание, и восхищалась ею от всего сердца. Природа, бесспорно, создала ее в благую минуту и, забыв скупость, с какой обычно отмеривает свои дары точно суровая мачеха, осыпала ими эту свою любимицу со щедростью доброй бабушки.

Что думал Сент-Джон об этом сошедшем на землю ангеле? Естественно, я задала себе этот вопрос, когда он обернулся и посмотрел на нее. Столь же естественно я попыталась прочитать ответ по его лицу. Он уже отвел свой взгляд от этой пери и устремил его на смиренный кустик

маргариток возле калитки.

— Чудесный вечер, но час слишком поздний, чтобы гулять одной, — сказал он, наступив на белые головки закрывшихся цветов.

— О! Я вернулась домой из С… (она назвала большой город милях в двадцати от Мортона) только сегодня днем. Папенька сказал, что вы открыли свою школу, потому что нашли учительницу. Так что после чая я надела шляпку и пробежала по долине посмотреть на нее. Это она? — Кивок в мою сторону.

— Да, — сказал Сент-Джон.

— Как вы думаете, Мортон вам понравится? — спросила она у меня с наивной простотой в тоне и манерах, очень приятной, хотя и детской.

— Надеюсь. Для этого есть много причин.

— А ваши ученицы так прилежны, как вы ожидали?

— О да.

— А ваш дом вам понравился?

— Очень.

— Я ведь мило его обставила?

— Очень-очень мило.

— И сделала хороший выбор, подобрав для вас Элис Вуд?

— Превосходный. Девочка услужлива и быстро

все схватывает. (Так, значит, подумала я, это и есть мисс Оливер, наследница, получившая, как видно, щедрые дары не только от Природы, но и от Фортуны! Какое счастливое сочетание планет благословило ее рождение?)

— Иногда я буду приходить и помогать вам мучить ваших девочек, — добавила она. — Навещать вас будет для меня новым удовольствием, а я люблю все новое. Мистер Риверс, я так веселилась в С… Вчера, а вернее — сегодня, танцевала до двух часов утра! Из-за этих беспорядков там стоит … полк, а офицеры ведь самые любезные кавалеры на свете! Совсем затмили наших молодых точильщиков ножей и торговцев ножницами!

Мне на миг показалось, что нижняя губа мистера Сент-Джона выпятилась, а верхняя изогнулась. Пока девушка со смехом делилась с нами этими новостями, его рот был крепко сжат, а подбородок стал совсем квадратным. Он оторвал взгляд от маргариток и обратил на нее — неулыбчивый, испытующий, многозначительный взгляд. В ответ она вновь засмеялась, и смех этот очень шел ее юности, розам на ее щечках, ее ямочкам. Ее ясным глазам.

Он стоял молча, с мрачным видом, и она опять принялась ласкать Карло.

— Бедненький Карло любит меня, — говорила она. — Он вот не строг к своим друзьям, не сторонится их. А умей он говорить, так не молчал бы.

Она гладила голову пойнтера, с безыскусственной грациозностью наклоняясь совсем рядом с его молодым аскетичным хозяином, и я увидела, как по лицу этого хозяина разлилась краска. Я увидела, как огонь растопил лед его взгляда и запылал под властью необоримого чувства. Раскрасневшийся, озаренный этим внутренним пламенем, он не уступал ей в красоте. Его грудь вздымалась, будто его сердце против воли освободилось от тиранических оков и рвалось наружу. Однако он обуздал его точно так же, как, мне кажется, обуздывает вздыбившегося коня искусный наездник. Ни словом, ни движением он не отозвался на эти мягкие шаги ему навстречу.

— Папенька говорит, что вы больше у нас не бываете, — продолжала мисс Оливер, поднимая на него глаза. — Вы стали в Вейл-Холле совсем чужим. Нынче вечером он дома один, и ему нездоровится. Может быть, вы меня проводите и посидите с ним?

— Час слишком поздний, чтобы навязывать мое общество мистеру Оливеру, — возразил Сент-Джон.

— Слишком поздний? Вот уж нет! Именно в этот час папенька особенно нуждается в обществе. Фабрика закрылась на ночь, и ему нечем заняться. Мистер Риверс, пожалуйста, навестите его. Ну почему вы такой робкий и такой мрачный?

Он промолчал, и она сама ответила на свой вопрос.

— Совсем забыла! — вскричала она, встряхивая кудрявой головой, словно пеняя себе. — Я такая легкомысленная дурочка! Простите, простите меня! Мне следовало помнить, что вам не захочется болтать со мной по очень серьезной причине. Диана и Мэри уехали, Мур-Хаус заперт, и вы совсем, совсем один. Мне вас так жалко! Ну пожалуйста, загляните к папеньке!

— Не сегодня, мисс Розамунда, не сегодня.

Мистер Сент-Джон произнес эти слова почти как говорящий автомат: только он сам знал, чего ему стоил такой отказ.

— Ну, если вы такой упрямый, я с вами попрощаюсь! Выпадает роса, и я боюсь задерживаться дольше. До свидания.

Она протянула руку, он едва коснулся ее пальцев.

— До свидания, — повторил он голосом тихим и глухим, точно эхо.

Она повернулась, сделала несколько шагов по тропинке и возвратилась.

— Вы здоровы? — спросила она, и с полным на то правом: лицо у него было белее ее платья.

— Совершенно здоров, — произнес он четко и с поклоном отошел от калитки.

Она направилась в одну сторону, он в другую. Легкой походкой пересекая луг, она дважды оборачивалась и смотрела ему вслед. Он шагал размашисто и твердо и ни разу не оглянулся.

Это зрелище чужих страданий и отречения отвлекло мои мысли от собственных. Диана Риверс сказала, что ее брат «неумолим, как смерть». Она не преувеличила.

Глава 32

Я продолжала трудиться в деревенской школе со всем усердием, на какое была способна. Вначале труд этот был действительно тяжким. И прошло время, прежде чем я наконец сумела понять моих учениц, оценить их характеры. Ничему не учившиеся, совершенно неразвитые, они все на первый взгляд показались мне безнадежными тупицами, однако вскоре я убедилась в своей ошибке. Они так же мало походили друг на друга, как ученицы в любом пансионе. И когда я узнала их поближе, а они — меня, различия между ними вскоре дали о себе знать. Когда они свыклись со мной, моей речью, моими правилами и требованиями, на первых порах их просто ошеломлявшими, некоторые из этих разевавших рты сельских тугодумок оказались просто умницами. Многие, кроме того, были приветливыми и услужливыми, и я обнаружила среди них немало примеров не только прекрасных способностей, но и врожденной деликатности, внутреннего достоинства, которые завоевали мое расположение и восхищение. Все эти девочки вскоре уже нача-

ли находить удовольствие в том, чтобы хорошо выполнять все, что от них требовалось, всегда быть чистенькими и аккуратно одетыми, прилежно учить уроки, вести себя благовоспитанно. Быстрота успехов некоторых из них казалась поразительной, и я испытывала приятную заслуженную гордость. Кроме того, самые лучшие девочки мне просто нравились, как и я им. Среди них были дочери фермеров, уже почти взрослые девушки. Они умели читать, писать, шить, и я их обучала грамматике, географии, истории, а также разным тонкостям рукоделия. Их отличала любознательность, желание усовершенствоваться, и я проводила немало интересных вечеров в гостях у них. Их родители (фермер с супругой) не знали, как меня усадить и чем потчевать. Была своя радость в том, чтобы принимать простодушные знаки внимания и платить за них скрупулезным уважением к чувствам и обычаям моих гостеприимных хозяев — уважением, которое они, возможно, встречали не всегда и которое не только чаровало их, но и шло им на пользу, так как, поднимая их в собственных глазах, оно вызывало желание быть в полной мере достойными такого учтивого с ними обхождения. Я чувствовала, что становлюсь общей любимицей. Когда

я выходила из дома, то слышала только самые сердечные приветствия, и всюду меня встречали только дружеские улыбки. Жить в окружении такого теплого расположения, пусть всего лишь расположения простых тружеников, это то же, что «сидеть в лучах благословенных солнца»: безмятежность духа рождается и расцветает под такими лучами. В те месяцы мое сердце куда чаще преисполнялось благодати, чем погружалось в уныние. И тем не менее, читатель, если быть откровенной до конца, каким бы спокойным, каким полезным ни было мое существование, но после дня, проведенного в достойных трудах среди моих учениц, после приятного вечера за мольбертом или с книгой, ночью я погружалась в необычайные сны, многокрасочные, бурные, исполненные идеального, волнующего, грозного. В этих снах среди приключений, захватывающих дух опасностей, романтичных случайностей я вновь и вновь встречалась с мистером Рочестером — и всегда в какую-нибудь решающую минуту. И я опять ощущала жар его объятий, слышала его голос, встречала его взгляд, прикасалась к его руке, к его щеке, любила его, была им любима — и надежда провести жизнь подле него воскресала со всей своей прежней силой и огнем.

Тут я просыпалась. Тут я вспоминала, где нахожусь и в каком положении. Тут я вставала с моей кровати без полога, дрожа и трепеща, а потом глухая темная ночь становилась свидетельницей припадка отчаяния и слышала страстные рыдания. Утром в девять часов я пунктуально открывала дверь школы, спокойная, сосредоточенная, готовая к дневным трудам.

Розамунда Оливер сдержала слово и навещала меня довольно часто. Обычно она заезжала в школу во время утренней верховой прогулки в сопровождении грума в ливрее. Спешившись у крыльца, она входила в неказистое здание, ослепляя деревенских девочек, в лиловой амазонке, в черной бархатной шапочке, изящно надетой на длинные кудри, которые ласкали ее щеки и ниспадали на плечи, она была воплощением красоты и грации, превосходивших всякое воображение. Обычно в школу она приезжала в час, когда мистер Риверс вел урок катехизиса. Боюсь, что глаза обворожительной посетительницы поражали молодого священника в самое сердце. Казалось, некий инстинкт предупреждал его о ее появлении, даже когда он не смотрел в сторону двери. Но стоило ей перешагнуть порог, его щеки заливала краска, его словно бы мраморные черты

хотя и не смягчались, тем не менее претерпевали изменение, не поддающееся описанию. И самая их неподвижность свидетельствовала о подавленной пылкости куда более ясно, чем любое движение мышц или быстрый взгляд.

Разумеется, она знала о своей власти над ним — да он и не скрывал этого, потому что не мог. Несмотря на его христианский стоицизм, когда она подходила, здоровалась и улыбалась ему весело, ободряюще, даже нежно, у него дрожали руки, а глаза вспыхивали. Его печальный, полный решимости вид, казалось, говорил то, о чем умалчивали губы: «Я люблю вас и знаю, что вы предпочитаете меня всем другим. И нем я не потому, что отчаялся в успехе. Я знаю, что вы примете мое предложение, если я его сделаю. Но это сердце уже возложено на священный алтарь, огонь вокруг него зажжен. И вскоре оно станет жертвой, преданной этому огню».

Тогда она надувала губки, словно обиженный ребенок, задумчивость омрачала ее жизнерадостную веселость, она торопливо отдергивала руку и разочарованно отворачивалась от его лица — и героя, и мученика. Сент-Джон, несомненно, отдал бы целый мир, лишь бы броситься за ней, позвать ее, удержать, когда она вот так покидала

его, однако не ценой своего упования на Царствие Небесное. Он не мог пожертвовать ради Элизиума ее любви истинным вечным Раем. К тому же не в его силах было наложить путы одной страсти на все стороны своей натуры — скитальца, искателя, поэта, священнослужителя. Он не мог, он не хотел отказаться от битв на поприще своего миссионерства ради гостиных и беззаботности Вейл-Холла. Все это я узнала от него самого в тот единственный раз, когда вопреки его обычной сдержанности посмела добиться от него откровенности.

Мисс Оливер уже почтила меня частыми визитами ко мне домой. Я хорошо изучила ее характер, впрочем, ничуть не загадочный или скрытный. Она была кокетливой, но не бессердечной, требовательной, но не бездушно эгоистичной. Ее баловали с самого рождения, однако не слишком испортили. Она была своевольной, но и покладистой; тщеславной (да и как могло быть иначе, когда каждый взгляд в зеркало заверял ее в ее неотразимости?), но не ломакой; щедрой; чуждой чванства, сопутствующего богатству; наивной, отнюдь не глупой, веселой, живой и легкомысленной. Короче говоря, она казалась очаровательной даже беспристрастным судьям

одного с ней пола вроде меня, однако не обладала ни интересной, ни сколько-нибудь значительной натурой. Ее склад ума разительно отличался от склада ума, например, сестер Сент-Джона. Тем не менее она мне нравилась почти как моя маленькая ученица Адель, с той разницей, что к ребенку, которого учим и воспитываем, мы привязываемся сильнее, чем ко взрослым знакомым, пусть и столь же привлекательным.

Она же прониклась ко мне симпатией, несколько сродни капризу. Говорила, что я похожа на мистера Риверса (но, разумеется, добавила она, «совсем не такая красивая». Хотя я вообще-то довольно миленькая, он ведь ангел!). Однако я хорошая, умная, спокойная и твердая, как он. Как деревенская учительница, утверждала она, я просто lusus naturae:[63] она убеждена, что мое прошлое, стань оно известным, оказалось бы интереснее любого романа.

Как-то вечером, когда со своей обычной детской непосредственностью и немного назойливым, хотя и не оскорбительным любопытством она рылась у меня на кухне в ящиках буфета и стола, ей под руку попались две французские книги,

---

[63] Примечания: 63
диковинка (лат.).

томик Шиллера, немецкая грамматика и словарь, а затем мои рисовальные принадлежности и наброски, включавшие головку хорошенькой, как херувимчик, девочки, одной из моих младших учениц, а также пейзажи, которые я рисовала в Мортонской долине и на вересковых пустошах. Сначала она окаменела от удивления, а затем загорелась восторгом.

Это я рисовала? Так я знаю французский и немецкий? Какая я прелесть — ну просто чудо! Рисую я бесподобнее даже ее учителя в лучшем пансионе С... Я не сделаю набросок ее головы, чтобы показать папеньке?

— С удовольствием, — ответила я, ощущая радостное волнение при мысли, что буду писать с такой совершенной, исполненной жизнью натуры. На ней было синее шелковое платье, открывавшее шею и руки. Единственным украшением ей служили каштановые кудри, ниспадавшие на плечи очаровательными естественными волнами. Я взяла лучший кусок картона и тщательно набросала ее карандашный портрет, обещав себе сделать его в красках. Но час был уже поздний, и я сказала, что ей придется попозировать мне на следующий день.

Она так расхвалила меня отцу, что мистер

Оливер на следующий вечер приехал с ней сам — высокий дородный человек в летах с массивным лицом и седеющими волосами. Рядом с ним его прелестная дочь выглядела как чудесный цветок возле обомшелой башни. Он казался молчаливым и, пожалуй, очень гордым, однако со мной он был вполне любезен. Набросок ему весьма понравился, и он выразил желание, чтобы я написала настоящий портрет Розамунды. И настоял, чтобы вечер следующего дня я провела в Вейл-Холле.

И я отправилась туда. Это оказался обширный красивый особняк, где все свидетельствовало о богатстве его владельца. Все время, пока я там оставалась, Розамунда была очень весела и оживлена. Ее отец держался весьма учтиво и после чая рассыпался в похвалах тому, чего я достигла в мортонской школе. Но, судя по тому, что он слышал и видел сам, у него есть сильные опасения, что я останусь там недолго и найду место, более достойное моих знаний и талантов.

— Правда-правда! — вскричала Розамунда. — Папенька, она такая умная, что может стать гувернанткой в самой знатной семье!

Я подумала про себя, что предпочту мое нынешнее место любой самой знатной семье в стране. Мистер Оливер с большим уважением заговорил

о мистере Риверсе, о его семье. Он сказал, что это один из стариннейших родов в здешних краях, что предки мистера Риверса были богаты, что некогда весь Мортон принадлежал им, и даже теперь, по его мнению, человек, носящий эту фамилию, мог бы, если бы пожелал, получить согласие любой невесты. Он выразил сожаление, что столь талантливый во всех отношениях молодой человек решил стать миссионером — такая напрасная растрата многообещающей жизни. Иными словами, отец Розамунды не стал бы препятствовать ее браку с Сент-Джоном. Мистер Оливер, видимо, считал, что хорошее происхождение молодого священника, его старинная фамилия и сан вполне компенсируют отсутствие состояния.

Был праздник — пятое ноября. Моя маленькая служанка помогла мне прибраться в доме и ушла, весьма довольная пенни, который получила за свои труды. Все вокруг меня сияло безупречной чистотой — выскобленный пол, начищенная решетка очага и отполированные стулья. Я и сама приоделась. В моем распоряжении теперь был целый свободный день.

Перевод нескольких страниц с немецкого языка занял час, затем я достала палитру, карандаши и

взялась за более приятное, потому что более легкое дело — приступила к завершению портрета Розамунды Оливер. Голова была уже закончена, оставалось только закрасить фон и отретушировать драпировку. Ну и добавить чуточку кармина на пухлые губки, там и сям оттенить кудри, наложить больше тени на ресницы над лазурными глазами. Я была поглощена этими мелкими деталями, когда, отрывисто постучав, мою дверь открыл Сент-Джон Риверс.

— Я пришел посмотреть, как вы проводите свой свободный день, — сказал он. — Надеюсь, не в размышлениях? О, прекрасно! Пока вы рисуете, вас не может мучить одиночество. Как видите, я все еще вам не доверяю, хотя до сих пор ваше терпение кажется неистощимым. Для вечерних развлечений я принес вам книгу.

И он положил на стол новинку — поэму, одно из тех истинно высоких произведений, которые столь часто радовали счастливых читателей той поры — золотого века современной литературы. Увы! Нынешние читатели не столь взысканы судьбой. Но не падайте духом! Я не прерву повествование, чтобы порицать или сетовать. Я знаю: поэзия не погибла и гении не исчезли. Да и Маммона не приобрел власти заключать их в оковы

или сражать. Придет день, и они заявят о своем существовании, о своем присутствии в нашей жизни, своей свободе и мощи. Могучие ангелы в безопасности Небес, они улыбаются, когда торжествуют низкие душонки, а слабые оплакивают их гибель. Поэзия уничтожена? Гении изгнаны? Нет! Посредственность, не допускай, чтобы зависть внушала тебе подобные мысли! Нет, они не только живы, но и царят, и дарят спасение. Без их Божественного влияния, разлитого повсюду, вы пребывали бы в аду — аду вашего собственного ничтожества!

Пока я жадно перелистывала блистательные страницы «Мармиона» (потому что это был «Мармион»), Сент-Джон наклонился над моим рисунком, но тут же резко выпрямился. Однако он ничего не сказал. Я подняла на него глаза, он отвел свои. Я знала, о чем он думает, и без труда читала в его сердце. В эти минуты он уступал мне в спокойствии и невозмутимости. Иными словами, я обладала некоторым преимуществом перед ним, и у меня возникло желание помочь ему, насколько было в моих силах.

«Он слишком далеко заходит в твердости и власти над собой, — подумала я. — Замыкает все чувства, всю боль внутри себя, ничего не выдает,

ни в чем не признается, ничем не делится. Не сомневаюсь, ему будет полезно немного поговорить о своей прелестной Розамунде, на которой он, по его убеждению, не должен жениться. Я заставлю его говорить».

Но первой заговорила я:

— Прошу вас, садитесь, мистер Риверс.

Как всегда, он ответил, что не может остаться.

«Очень хорошо! — отозвалась я мысленно. — Если хочешь стоять, так стой. Но пока ты не уйдешь. Мое решение твердо: одиночество вредно тебе по меньшей мере, как и мне. Попытаюсь найти тайную пружину твоей откровенности, щелочку в этой мраморной груди, чтобы пролить в нее капельку бальзама сочувствия».

— Портрет похож? — спросила я без обиняков.

— Похож? На кого похож? Я взглянул на него лишь мельком.

— Совсем не мельком, мистер Риверс.

Он чуть не вздрогнул от моей неожиданной и странной резкости и смерил меня удивленным взглядом.

«Это еще пустяки! — пробормотала я про себя. — Твои нахмуренные брови меня не остановят. Я готова зайти очень далеко!» Вслух я сказала:

— Вы рассмотрели его очень внимательно, но

взгляните еще раз. Я ничего против не имею. — Я встала и вложила лист ему в руку.

— Очень неплохо, — сказал он. — Мягкий чистый колорит. Изящный и верный рисунок.

— Да, да! Я все это знаю. Но сходство? Кого вам напоминает этот портрет?

Преодолев некоторые колебания, он ответил:

— Полагаю, это мисс Оливер.

— Ну разумеется. А теперь, сэр, в награду за вашу верную догадку обещаю нарисовать для вас точную копию этого портрета, если вам подобный подарок будет приятен. Я не хочу напрасно тратить свое время и труд на то, что вы можете отвергнуть.

Он продолжал смотреть на портрет. Чем дольше он смотрел, тем крепче сжимал лист в пальцах и, казалось, все больше желал оставить его себе.

— Такое сходство! — прошептал он. — Глаза превосходны: цвет, светотени, выражение — чудесно. А улыбка!

— Подаренный вам такой же портрет станет для вас источником утешения или боли? Ответьте! На Мадагаскаре, или на юге Африки, или в Индии будет ли вам приятна такая память о прошлом? Или он будет пробуждать горькие и гнетущие воспоминания?

Он бросил на меня беглый взгляд, нерешительный и взволнованный, затем вновь сосредоточился на портрете.

— Бесспорно, я хотел бы его иметь. Другой вопрос, насколько это было бы разумно.

Успев убедиться, что Розамунда отдает ему предпочтение перед всеми и что ее отец не станет возражать против их брака, я, не будучи столь возвышенной в моих взглядах, как Сент-Джон, была весьма склонна посодействовать их союзу. Мне казалось, что он, если бы стал обладателем богатства мистера Оливера, мог бы сделать не меньше добра, чем отправившись туда, где под тропическим солнцем его гений иссохнет, а силы истощатся. Поэтому я сказала:

— Насколько мне дано судить, наиболее разумным с вашей стороны было бы сделать своим оригинал.

Он сел, положил портрет на стол перед собой и, опираясь лбом на обе ладони, с нежностью наклонился над ним. Я увидела, что он уже не поражен моей дерзостью и не сердится на меня. И мне даже показалось, что столь откровенный разговор на тему, которую он считал запретной, обрел для него некоторую привлекательность, что, услышав, как ее касаются свободно, он испытал

нежданное облегчение. Замкнутые люди нередко нуждаются в открытом обсуждении своих чувств и страданий, больше, чем люди общительные и откровенные. Стоик самого сурового обличил в конце-то концов всего лишь человек. Смело и доброжелательно «проникнуть в безмолвный океан» его души, возможно, значит оказать ему неоценимую услугу.

— Вы ей нравитесь, я уверена, — сказала я, остановившись за спинкой его стула, — а ее отец вас уважает. Кроме того, она очаровательная девушка, хотя и немножко глупенькая. Но у вас достаточно ума на двоих. Вам следует жениться на ней.

— Но я ей нравлюсь? Это верно?

— Несомненно. Гораздо больше, чем кто-либо еще. Она только о вас и говорит. Нет такой темы, какая вызывала бы у нее больший интерес и к какой она возвращалась бы так часто.

— Слышать это очень приятно, — сказал он, — очень! Продолжайте еще четверть часа. — Он действительно вынул часы и положил их на стол, чтобы отсчитывать время.

— Но какой смысл продолжать, — спросила я, — если вы скорее всего готовите какое-нибудь сокрушающее возражение или куете новую цепь,

чтобы наложить ее на свое сердце?

— Не воображайте ничего столь мрачного. Представьте себе, что я уступаю и таю, как и происходит: человеческая любовь чудным родником забила в моей душе, и ее упоительные волны затопляют поле, которое я подготовил с таким тщанием, с такими трудами и с таким усердием засеял семенами добрых намерений, планами самоотречения. И вот теперь его скрыл разлив благоуханного нектара, юные ростки захлебнулись, сладкий яд рубит их, и я вижу, как возлежу на оттоманке в гостиной Вейл-Холла у ног моей юной жены Розамунды Оливер: в моих ушах звучит музыка ее голоса, она смотрит на меня вот этими глазами, которые ваша искусная рука воспроизвела с такой верностью, улыбается мне вот этими коралловыми губками. Она моя, я — ее. Мне достаточно сей жизни и преходящего мира. Ш-ш-ш! Ничего не говорите: мое сердце исполнено блаженства, мои чувства заворожены, пусть назначенные мной четверть часа пройдут в безмятежности.

Я исполнила его желание. Тикали часы, его дыхание было тихим и прерывистым. Я стояла не шевелясь и молчала. В безмолвии пролетели четверть часа, он вернул часы на место, положил

портрет, встал и остановился на коврике перед очагом.

— Ну вот, — сказал он. — Этот малый срок был отдан горячечному бреду и миражу. Я преклонил лоб на грудь соблазна, добровольно подставил шею под его сплетенное из цветов иго, пригубил его чашу. Подушка жгла раскаленными углями, в гирлянде пряталась гадюка, вино отдавало желчью. Его обещания пусты, его приманка — ложь. Я видел и знаю все это.

Я смотрела на него в изумлении.

— Странно! — говорил он. — Любя Розамунду Оливер столь безумно, со всей пылкостью первой страсти к такому безмерно красивому, грациозному, пленительному созданию, одновременно я спокойно и беспристрастно сознаю, что она не будет мне хорошей женой, что она не годится мне в спутницы жизни, что не пройдет после свадьбы и года, как это станет для меня бесповоротно ясным, и что за двенадцатью месяцами экстаза последуют сожаления до конца моих дней. Вот что я знаю.

— Да, очень странно! — воскликнула я, не сумев сдержаться.

— Что-то во мне, — продолжал он, — безмерно чувствительно к ее чарам, нечто другое столь

же глубоко чувствует ее недостатки, а они таковы, что она не способна разделить ни одну из моих надежд, не способна ни в чем стать моей помощницей. Розамунда — самоотверженная труженица, женщина-апостол? Розамунда — жена миссионера? Нет!

— Но вам ведь не обязательно быть миссионером. Вы можете отказаться от этого плана.

— Отказаться! Как? Мое призвание? Мой великий труд? Фундамент, закладываемый мной на земле для обители на Небесах? Мои надежды войти в число тех, кто слил все честолюбивые помыслы в единое славное устремление трудиться на благо рода человеческого? Нести свет знания в пределы невежественных заблуждений? Даровать мир взамен войны, свободу взамен рабства, веру взамен суеверий, надежду на Небеса взамен обреченности Аду? Я должен отказаться от всего этого? От того, что мне дороже крови в моих жилах? Но это же цель, к которой я должен устремлять все мои помыслы, во имя которой жить!

После долгой паузы я сказала:

— А мисс Оливер? Ее разочарование и горе ничего для вас не значат?

— Мисс Оливер окружена поклонниками и

льстецами. Не пройдет и месяца, как мой образ сотрется в ее сердце. Она забудет меня и выйдет за того, кто, вероятно, сделает ее гораздо счастливее, чем мог бы сделать я.

— Вы говорите об этом достаточно спокойно, но внутреннее борение заставляет вас страдать. Вы слабеете.

— Нет. Если я и похудел немного, то из-за тревоги о моем будущем, еще не устроенном, из-за постоянных проволочек с моим отъездом. Не далее как нынче утром меня известили, что мой преемник, чьего прибытия я ожидаю так долго, не сможет сменить меня здесь по меньшей мере еще три месяца, а может быть, и все шесть.

— Вы вздрагиваете и краснеете, когда мисс Оливер входит в класс.

Вновь по его лицу скользнуло удивление. Ему и в голову не приходило, что женщина посмеет говорить с мужчиной подобным образом. Что до меня, то я чувствую себя во время подобных разговоров как рыба в воде. Встречая сильные, сдержанные, утонченные умы, будь они мужскими или женскими, я не успокаивалась до тех пор, пока не проникала за стену условностей и замкнутости, не переступала порог недоверчивости, не завоевывала местечка у самого очага

их сердца.

— Да, вы оригинальны, — сказал он, — и не из робкого десятка. Вашему духу присуща храбрость, как и проницательность вашему взгляду. Однако разрешите заверить вас, что вы не совсем правильно истолковали мое чувство. Вы считаете его более глубоким и сильным, чем оно есть на самом деле. И дарите меня большей мерой сочувствия, чем та, на какую я имею право. Когда я краснею и вздрагиваю при виде мисс Оливер, я не жалею себя. Я презираю мою слабость. Знаю, насколько она недостойна — всего лишь плотская лихорадка, а не… говорю я, не судороги души. Душа же моя незыблема, как скала среди волн беспокойного моря. Узнайте меня таким, каков я есть — холодный, неуступчивый человек.

Я недоверчиво улыбнулась.

— Вы взяли мою откровенность приступом, — продолжал он, — и теперь она к вашим услугам. В природном состоянии — если совлечь очищенный искупительной кровью покров, каким христианство укрывает людские уродства, то я — холодный, неуступчивый, честолюбивый человек. Из всех сердечных чувств лишь любовь к родным имеет надо мной непреходящую власть. Разум, а не чувство — вот мой поводырь; мое че-

столюбие безгранично, неутолимо мое желание подняться выше остальных, сделать больше, чем сделали другие. Я почитаю настойчивость, неколебимость, усердие, таланты — ибо это орудия, с помощью которых люди достигают великих целей и поднимаются на неизмеримые высоты. Я с интересом слежу за вами, так как уважаю в вас образец деятельной, разумной, энергичной женщины, и вовсе не сострадаю тому, что вам довелось перенести, или терзаниям, какие вы еще продолжаете испытывать.

— То есть вы представляете себя языческим философом.

— Отнюдь! Между мной и философами-деистами есть различие: я верую, и верую я Слову Божию. Вы употребили неверное прилагательное: я не языческий, но христианский философ, последователь секты Иисусовой. Как Его ученик я принимаю Его чистые, Его милосердные, Его благие доктрины. Я проповедую их, я принес обет распространять веру в них. В нежном возрасте я открыл сердце вере, и вот как она взлелеяла заложенные во мне душевные свойства: крохотное семечко естественной привязчивости она взрастила в раскидистое дерево — человеколюбие; ее заботами дикий жесткий корень

требовательности к себе и другим дал высокий побег понятия о божественной справедливости; честолюбивое желание добиться власти и славы для себя, жалкого смертного, она преобразила в стремление расширять границы царствия Господа моего, одерживать победы для знамени креста. Вот сколько сделала для меня вера — использовала природный материал наилучшим образом, окапывала и обрезала мою натуру. Но совсем уничтожить человеческую натуру невозможно: она не поддается уничтожению, пока не «облечется смертное сие в бессмертное».

С этими словами он взял шляпу, которая лежала на столе рядом с моей палитрой, и еще раз посмотрел на портрет.

— Да, она пленительна, — прошептал он. — Не напрасно ее нарекли Розамундой — Розой Мира.

— Так написать мне еще один портрет, для вас?

— Cui bone?[64] Нет.

И он накрыл портрет листом тонкой бумаги, на которую я, чтобы не засалить картон, опирала руку, когда рисовала. Я не поняла, что он внезапно увидел на этом пустом листе, но, несо-

---

[64] Примечания: 64
Для чего? (лат.)

мненно, что-то привлекло его взгляд. Он схватил лист, посмотрел на его край, затем с неописуемо странным и совершенно непостижимым выражением посмотрел на меня, словно вбирая и замечая каждую особенность моей фигуры, лица, одежды быстрым как молния взором. Рот его приоткрылся, будто он хотел что-то сказать, но фраза замерла у него на губах непроизнесенной.

— Что случилось? — спросила я.

— Совершенно ничего, — последовал ответ, и я увидела, как, водворяя лист на место, он ловко оторвал от него узкую полоску.

Она исчезла в его перчатке, и, быстро кивнув с коротким «до свидания», он исчез.

— Ну-ну! — воскликнула я, прибегая к местному выражению: — Светопреставление, да и только!

И в свою очередь принялась рассматривать бумажный лист, но увидела лишь несколько мазков краски там, где пробовала оттенки. Минуты две я ломала голову над этой тайной, но, признав ее непостижимой и полагая, что особой важности она иметь не может, я выкинула ее из головы и скоро забыла о ней.

Глава 33

Едва мистер Сент-Джон ушел, как повалил снег. Вьюга бушевала всю ночь. Наутро бешеный ветер пригнал новые снежные тучи и метели. К вечеру долину загромоздили почти непроходимые сугробы. Я закрыла ставни, постелила половичок у двери, чтобы снег не заметало внутрь, помешала в очаге, подбросила торфа, просидела почти час возле очага, слушая приглушенные завывания бурана, а затем зажгла свечу и взяла томик «Мармиона».

Заря над Норхемом видна.
Утесов грозных крутизна,
Вершин Чевьота ряд,
Донжон, зубчатая стена
И Твида вольная волна
Все золотом горят.

Вскоре музыка стихов заглушила рев бури.

Вдруг я услышала какой-то шум. Ветер, подумала я, сотрясает дверь. Однако щеколда поднялась, и в отворившейся двери из снежных вихрей и воющей тьмы появился Сент-Джон, он остановился

передо мной. Плащ, облегавший его высокую фигуру, был покрыт блестящей ледяной коркой. Я совсем растерялась, так мало я ожидала, что кто-то может добраться до меня в этот вечер через погребенную в сугробах долину.

— Дурные новости? — спросила я. — Что-то случилось?

— Нет. Как легко вы пугаетесь! — ответил он, снял плащ, повесил его на двери и невозмутимо вновь подложил под нее половичок, который отбросил, входя. Потом он стряхнул снег с сапог.

— Я запятнаю чистоту вашего пола, — сказал он. — Но вы должны на этот раз извинить меня. — Он подошел к огню и протянул над ним руки. — Уверяю вас, добраться сюда было очень нелегко. Один раз я увяз в сугробе по пояс. К счастью, снег еще совсем мягкий.

— Но зачем вы пришли? — спросила я, не удержавшись.

— Не слишком радушный вопрос, обращенный к гостю, но, раз уж вы его задали, я отвечу: просто чтобы немножко поболтать с вами. Мне надоели мои немые книги и пустые комнаты. К тому же со вчерашнего дня я испытываю любопытство человека, который узнал лишь часть удивительной истории и с нетерпением ожидает продолжения.

Он сел, а я, припомнив его необычное поведение накануне, всерьез обеспокоилась, не помешался ли он. Однако, если он был сумасшедшим, сумасшествие это казалось на редкость невозмутимым и уравновешенным. Никогда еще я не видела, чтобы его красивое лицо настолько походило на мраморное изваяние, как в тот миг, когда он отбросил со лба увлажненные снегом пряди и огонь беспрепятственно озарил бледность этого лба и такую же бледность щек. И я с огорчением заметила, насколько его лицо осунулось под воздействием забот или печали. Я ждала, чтобы он сказал что-нибудь внятное, но его ладонь теперь подпирала подбородок, пальцы были задумчиво прижаты к губам. Он размышлял, а я увидела, что рука столь же исхудала, как и лицо. На меня нахлынула жалость, за которую он вряд ли меня поблагодарил бы, и я сказала порывисто:

— Если бы Диана или Мэри поселились с вами! Так нехорошо, что вы совсем один, и к тому же легкомысленно пренебрегаете своим здоровьем.

— Вовсе нет, — возразил он. — Когда необходимо, я берегу себя. Но сейчас я совершенно здоров. Или вы заметили какие-то симптомы?

Сказано это было с рассеянным безразличием, показавшим, что моя тревога — во всяком случае,

с его точки зрения, — была совершенно неуместной. Так что я умолкла.

Он все еще поглаживал пальцем верхнюю губу, и все еще взгляд его был устремлен на рдеющую золу. Испытывая непреодолимое желание прервать молчание, я спросила, не дует ли ему от двери, к которой он стоял спиной.

— Нет-нет, — ответил он коротко и с некоторым раздражением.

«Что же! — подумала я. — Если разговаривать ты не расположен, так сиди и молчи. Я оставлю тебя в покое и возвращусь к моей книге».

И, поправив свечу, я вновь взяла «Мармиона». Сент-Джон вскоре пошевелился, и мои глаза тотчас обратились на него. Однако он просто достал сафьяновый бумажник, вынул из него письмо, молча прочитал, сложил, убрал в бумажник и погрузился в размышления. Пытаться читать в присутствии этого истукана не имело смысла, однако нетерпение не позволяло мне согласиться на роль немой: пусть он обрывает меня, сколько захочет, но я завяжу разговор!

— Вы не получили письма от Дианы или Мэри?

— Ни одного, после того, которое показывал вам на прошлой неделе.

— А в ваших планах никаких перемен не произошло? Вам не придется покинуть Англию раньше, чем вы предполагаете?

— Боюсь, что на это надежды нет. Вряд ли мне улыбнется такая удача.

Терпя поражение за поражением, я переменила тему и заговорила о моих ученицах.

— Матери Мэри Гаррет полегчало, и утром Мэри была на уроках. А у меня на следующей неделе будут четыре новые ученицы из литейного поселка. Они пришли бы сегодня, если бы не метель.

— А!

— Мистер Оливер платит за двух!

— Да?

— На Рождество он думает устроить праздник для всей школы.

— Я знаю.

— Вы подали ему мысль об этом?

— Нет.

— Так кто же?

— Его дочь, я полагаю.

— Да, это на нее похоже. Она любит делать приятное.

— Да.

Вновь пустая пауза. Часы пробили восемь. Их звон заставил его очнуться. Он сел прямо и обер-

нулся ко мне.

— Оставьте пока вашу книгу, — сказал он, — и сядьте поближе к огню.

Удивляясь и не находя предела своему удивлению, я послушалась.

— Полчаса назад, — сказал он, — я упомянул, с каким нетерпением жду продолжения некой истории. Однако по размышлении я вижу, что будет лучше, если роль рассказчика я возьму на себя, а вам отведу роль слушательницы. Но прежде чем я начну, будет только честно предупредить вас, что вашим ушам история может показаться несколько избитой, однако приевшиеся подробности часто обретают некоторую новизну, когда их излагают чужие уста. А в остальном, старая или новая, она коротка.

Двадцать лет назад бедный священник, еще не получивший прихода — фамилия его пока не важна, — влюбился в дочь богатого человека, она влюбилась в него и вышла за него замуж вопреки возражениям всех своих близких, которые поэтому отреклись от нее сразу после свадьбы. Не прошло и двух лет, как оба опрометчивых супруга сошли в могилу и упокоились рядом под одной плитой. (Я видел их могилу: она со многими другими составляет как бы мощеный двор

огромного кладбища, которое окружает черный от копоти старинный собор в разросшемся фабричном городе в ***шире). Они оставили дочь, которую в самую минуту ее рождения приняла в объятия милость ближних — столь же холодная, как сугробы, в которых я чуть было не увяз нынче вечером. Милость ближних водворила беспомощную малютку в дом богатых родственников ее матери. Тетку звали (теперь я дохожу до имен) миссис Рид, и она жила в поместье Гейтсхед… Вы вздрогнули — вам послышался какой-то шум? Думаю, это просто крыса на чердаке классной комнаты за стеной: до того, как я привел ее в порядок и перестроил, она была простым амбаром, а амбары обычно кишат крысами. Но далее. Миссис Рид держала сиротку у себя в доме десять лет — были ли это для нее счастливые годы или нет, я не знаю, так как мне никто ничего об этом не говорил, но в конце указанного срока ее отослали в известный пансион — в Ловудский приют, где вы так долго жили сами. По-видимому, она там показала себя с наилучшей стороны: из ученицы стала учительницей, как и вы. Право же, я замечаю много параллелей ее истории с вашей. Она покинула Ловуд, чтобы стать гувернанткой. Опять-таки ваши судьбы оказались сходными.

Она стала воспитательницей девочки, опекаемой неким мистером Рочестером.

— Мистер Риверс! — перебила я.

— Я догадываюсь о ваших чувствах, — сказал он, — но сдержите их еще немного. Я уже почти кончил, так дослушайте меня до конца. О мистере Рочестере мне известно лишь то, что он предложил этой юной девушке брак, но у самого алтаря она узнала, что он женат и его жена жива, хотя и сумасшедшая. Как он повел себя дальше, какие намерения у него были, можно лишь предположить, но когда произошло некое событие и понадобилось навести справки о гувернантке, выяснилось, что она уехала, причем никто не знал когда, куда или как. Она покинула Тернфилд-Холл ночью. Все поиски оказались тщетными. Окрестности были обысканы, но так ничего и не выяснилось. Однако найти ее нужно было весьма настоятельно: объявления поместили во все газеты. Сам я получил письмо от некоего мистера Бригса, нотариуса, с изложением подробностей, которые я только что сообщил вам. Ведь правда удивительная история?

— Скажите мне только одно, — воскликнула я. — Раз вам столько известно, конечно же, вы можете рассказать мне про мистера Рочестера.

Как он? И где? Что делает? Здоров ли он?

— О мистере Рочестере мне ничего не известно. В письме упомянут лишь преступный обман, о котором я говорил. Лучше вам спросить, как фамилия гувернантки и по какому поводу ее разыскивают.

— Так, значит, никто не ездил в Тернфилд-Холл? Никто не говорил с мистером Рочестером?

— Полагаю, что нет.

— Но ему писали?

— Разумеется.

— И что он ответил? У кого его письмо?

— Мистер Бригс указывает, что ответ он получил не от мистера Рочестера, но от дамы, которая подписалась «Элис Фэрфакс».

Я похолодела от отчаяния. Видимо, сбылись мои худшие опасения: скорее всего он покинул Англию и с беззаботностью отчаяния поспешил в какое-нибудь былое свое убежище в Европе. И какой опиум от страшных страданий, какую отдушину для своих бурных страстей избрал он там? Я не смела искать ответа на эти вопросы. О, мой бедный патрон — одно время почти мой муж, которого я часто называла «мой дорогой Эдвард!».

— Видимо, он был очень дурным человеком,

— заметил мистер Риверс.

— Вы его не знаете, так не выносите ему приговора! — возразила я с горячностью.

— Хорошо, — ответил он негромко. — Да и мои мысли заняты совсем не им. Я должен закончить свой рассказ. Так как вы не спросили о фамилии гувернантки, я должен назвать ее по собственному почину… погодите… вот она… Всегда полезно наиболее важные подробности иметь в письменном виде, ясно запечатленными черным по белому.

Вновь он неторопливо достал бумажник, открыл его, порылся в нем и из одного отделения извлек мятый клочок бумаги, явно оторванный второпях. Я узнала его текстуру, ультрамариновые и карминные мазки. Это был край листа, прикрывавшего портрет. Сент-Джон встал и поднес клочок к моим глазам. Я прочла написанные тушью моим почерком слова «Джейн Эйр», без сомнения, плод минутной рассеянности.

— Бригс написал мне о некой Джейн Эйр, — сказал он. — Объявления адресовались некой Джейн Эйр. Мне же была известна Джейн Эллиот, хотя некоторые подозрения у меня и появились. Однако лишь вчера они превратились в уверенность. Вы признаете, что это ваша настоящая фамилия,

и отказываетесь от вымышленной?

— Да-да! Но где мистер Бригс? Возможно, ему о мистере Рочестере известно больше, чем вам?

— Бригс в Лондоне, и я весьма сомневаюсь, что он вообще хоть что-то знает о мистере Рочестере. Его интересует не мистер Рочестер. Вы же, отвлекаясь на пустяки, забыли о главном и не спросили, почему мистер Бригс вас разыскивал, что ему нужно от вас.

— Ну так что же ему нужно?

— Всего лишь сообщить вам, что ваш дядя, мистер Эйр, проживавший на Мадейре, скончался, что он оставил свое имущество вам и что вы теперь богаты. Только это, и ничего более.

— Я? Богата?

— Да, вы богаты. И очень.

Наступило молчание.

— Конечно, вы должны доказать, что вы — это вы, — вновь заговорил Сент-Джон. — Впрочем, это не составит никакого труда, и вы сможете сразу же вступить во владение своим наследством. Оно вложено в английские ценные бумаги. Завещание и все необходимые документы у Бригса.

Да, карта выпала самая неожиданная! Читатель, это чудесно — за единый миг перенестись из бедности в богатство, очень чудесно! Однако

сразу постичь случившееся и обрадоваться никак не возможно. В жизни выпадают другие счастливые случайности, гораздо более волнующие и дарящие восторг. Подобное же — сугубо материально, весомо, в нем нет и тени идеального. Все следствия столь же материальны и весомы и гасят бурные проявления радости. Услышав, что тебе досталось богатство, ты не прыгаешь, не пляшешь, не кричишь «ура!». Задумываешься о ложащихся на тебя обязанностях и ответственности, начинаешь прикидывать, что и как. На фундаменте удовлетворения вырастают серьезные заботы, и мы сдерживаемся и обдумываем выпавшую нам удачу, хмуря брови.

Кроме того, слова «наследство», «завещание» сопутствуют словам «смерть», «похороны». Мой дядя, узнала я, скончался — мой единственный родственник. С тех пор, как я услышала о его существовании, во мне теплилась надежда, что когда-нибудь я его увижу, теперь же ей не сбыться никогда. И ведь эти деньги достались только мне — а не мне и моим обрадованным близким, только мне, мне одной! Без сомнения, богатство — большое благо, а независимость чудесна — да, вот это я почувствовала, и мое сердце воспрянуло.

— Наконец ваш лоб разгладился, — сказал

мистер Риверс. — Я было подумал, что вы посмотрели на Медузу Горгону и превратились в камень. Может быть, теперь вы осведомитесь, как велико ваше состояние?

— Как велико мое состояние?

— О, сущие пустяки! Даже не стоит упоминания — по-моему, двадцать тысяч фунтов, но это же мелочь!

— Двадцать тысяч фунтов?

Еще одно потрясение — я думала о четырех-пяти тысячах. У меня на миг в буквальном смысле слова перехватило дыхание. Мистер Сент-Джон, чьего смеха я еще ни разу не слышала, теперь засмеялся.

— Ну-ну! — сказал он. — Если бы вы совершили убийство, а я сообщил бы вам, что вы изобличены, вряд ли у вас на лице отразился бы больший ужас.

— Такая большая сумма… Вы не думаете, что произошла ошибка?

— Никакой ошибки нет.

— Возможно, вы неверно прочли цифры, возможно, там две тысячи.

— Сумма написана буквами: «двадцать тысяч».

Я вновь почувствовала себя как человек со средним аппетитом, которого одного усадили за

обеденный стол, уставленный угощением для ста человек. Мистер Риверс встал и надел плащ.

— Не будь ночь такой бурной, — сказал он, — я бы прислал Ханну составить вам компанию. У вас такой несчастный вид, что вам не следовало бы оставаться одной. Однако Ханна, бедная женщина, не сумела бы перебираться через сугробы с такой же ловкостью, как я. У нее ноги не столь длинные. А посему мне придется оставить вас вашей печали. Спокойной ночи.

Он поднял щеколду, но тут меня осенила неожиданная мысль.

— Погодите! — воскликнула я.

— Ну?

— Мне непонятно, почему мистер Бригс написал вам обо мне? Откуда он вас знает и почему решил, что вы, живя в такой глуши, сможете помочь ему отыскать меня?

— О, я же священник, — ответил он, — а к нам часто обращаются при необычных обстоятельствах.

Вновь скрипнула щеколда.

— Нет! Это не объяснение! — воскликнула я. И правда, что-то в этом поспешном, ничего не говорящем ответе не только не успокоило мое любопытство, но, наоборот, еще сильнее возбу-

дило его.

— Все это очень странно, — добавила я. — Мне необходимо узнать больше!

— В другой раз.

— Нет, сегодня! Сейчас же!

И когда он повернулся ко мне, я встала между ним и дверью. Он выглядел немного смущенным.

— Нет, вы не уйдете, пока не расскажете мне все.

— Я бы не хотел. Не сейчас.

— Нет, вы должны! Непременно!

— Я бы предпочел, чтобы вам сообщила Диана. Или Мэри.

Разумеется, эти отговорки только распалили мое нетерпение: я должна была узнать все, и немедленно. Так я ему и сказала.

— Но ведь я объяснял вам, что я неуступчив и меня трудно уговорить.

— Я тоже неуступчива, и от меня невозможно отделаться.

— И кроме того, — продолжал он, — я холоден, меня нельзя воспламенить.

— А я — огонь. Огонь же расплавляет лед. Жар очага растопил снег на вашем плаще. И таким образом залил мой пол, придав ему сходство с

дорогой в распутицу. И если вы надеетесь, мистер Риверс, заслужить помилование за тяжкое преступление, жертвой которого стал посыпанный песком кухонный пол, расскажите мне то, что я хочу узнать.

— Ну хорошо, — сказал он. — Я уступаю если не вашему нетерпению, то вашей настойчивости: так капля точит камень. К тому же узнать вы все равно должны, так почему бы и не теперь? Вас зовут Джейн Эйр?

— Разумеется. Все это ведь уже выяснено.

— Возможно, вам неизвестно, что я отчасти ваш тезка: мое полное имя Сент-Джон Эйр Риверс.

— Разумеется, нет! Теперь вспоминаю, что видела инициал «Э» в вашей надписи на книгах, которые вы одалживали мне. Но ни разу не спросила, что этот инициал означает. Ну так что же? Разве…

Я умолкла, боясь признать и уж тем более произнести вслух мысль, внезапно меня осенившую, утвердившуюся и через секунду почти превратившуюся в уверенность. Факты собирались воедино, примыкали друг к другу, выстраивались стройными рядами. Цепь, только что лежавшая беспорядочной грудой, звено за звеном повисла прямо, и каждое было на месте, и все соединения

были целы. Я инстинктивно поняла все, прежде чем Сент-Джон произнес хотя бы еще одно слово. Но от читателей я не могу требовать той же интуитивной догадки, а потому мне следует повторить здесь его объяснение.

— Фамилия моей матери была Эйр. У нее было два брата: священник, который женился на мисс Джейн Рид, дочери владельца Гейтсхеда, и второй, Джон Эйр, негоциант, до своей кончины проживавший в Фуншале на Мадейре. Мистер Бригс, поверенный мистера Эйра, в августе написал нам, извещая о кончине дяди и о том, что он оставил все свое состояние осиротевшей дочери своего брата, священника, не упомянув о нас из-за давней ссоры между ним и моим отцом, которого он так и не простил. Несколько недель спустя мистер Бригс написал снова, сообщая, что наследница исчезла, и спрашивая, нет ли у нас каких-либо сведений о ней. Фамилия, машинально написанная на листе бумаги, подсказала мне ответ. Остальное вам известно.

Вновь он положил руку на щеколду, но я прислонилась к двери спиной.

— Дайте мне сказать, — попросила я. — Погодите минуту, пока я переведу дух и соберусь с мыслями.

Я умолкла, он стоял передо мной со шляпой в руке, и вид у него был почти спокойный. Я спросила:

— Ваша мать была сестрой моего отца?

— Да.

— Следовательно, моей тетей?

Он наклонил голову.

— Мой дядя Джон был вашим дядей Джоном? Вы, Диана и Мэри — дети его сестры, как я — дочь его брата?

— Совершенно верно.

— Значит, вы мой двоюродный брат, а они — мои двоюродные сестры? Половина крови в наших жилах из одного источника?

— Да, вы наша двоюродная сестра.

Я уставилась на него. Значит, я нашла брата, и такого, каким могу гордиться, кого могу любить! И двух сестер, чьи душевные достоинства таковы, что внушили мне искреннюю любовь и восхищение, даже когда мы считались чужими. Те две девушки, на которых, стоя на мокрой земле и заглядывая в низенькое кухонное оконце Мур-Хауса, я смотрела с таким интересом и с таким горьким отчаянием, были моими близкими родственницами. А молодой стройный красавец, который нашел меня при смерти у своего порога,

был моим кровным родственником! Какое чудесное открытие для бесприютной скиталицы! Вот это поистине богатство! Богатство сердца, сокровище чистой родственной любви. Это было счастье — безоблачное, светлое, пьянящее. Не похожее на громоздкий дар золота — по-своему драгоценного и желанного, однако отрезвляющего своей тяжестью. Внезапно я радостно захлопала в ладоши. Сердце у меня заколотилось, кровь побежала быстрее в жилах.

— Ах, как я рада! Как я рада! — воскликнула я.

Сент-Джон улыбнулся.

— Разве я не сказал, что вы в погоне за пустяками пренебрегаете главным? — спросил он. — Вы хранили серьезность, когда я сообщил вам, что вы теперь богаты, и вдруг пришли в волнение почти без всякого повода.

— О чем вы? Для вас, возможно, это не повод — у вас есть сестры и кузина вам ни к чему. Но у меня никогда не было близких, а теперь — трое — или двое, если вы предпочитаете быть не в счет, — родились для меня совсем взрослые! И я повторю, что бесконечно рада!

Я быстро прошлась по комнате и остановилась, задыхаясь от мыслей, которые возникали быстрее, чем я могла их воспринять, понять, обдумать.

Мысли о том, что могло бы, может, должно бы и должно сбыться! Вскоре, когда я взглянула на заднюю стену, она показалась мне небом в хороводах восходящих звезд, и каждая дарила мне цель или восторг. Теперь я могла помочь тем, кто спас мне жизнь, кому до этого часа я отплачивала лишь бесполезной любовью! Они влачат ярмо, я в силах освободить их, они разлучены, я в силах соединить их — независимость, обеспеченность, доставшиеся мне, могут принадлежать и им. Нас ведь четверо? Двадцать тысяч фунтов, поделенные поровну, это по пяти тысяч на каждого — вполне достаточно, и с лихвой. Справедливость будет восстановлена, взаимное счастье укреплено. Вот теперь богатство больше меня не подавляло, теперь оно перестало быть просто завещанной мне кучей денег, а сулило жизнь, надежду, радость.

Какое у меня было лицо, пока эти мысли брали меня приступом, судить не могу, однако вдруг я заметила, что мистер Риверс подставил мне стул и пытается мягко усадить меня. И еще он уговаривал меня успокоиться. Я отмела эти намеки на беспомощность и растерянность, оттолкнула его руку и вновь прошлась по комнате.

— Завтра же напишите Диане и Мэри, — сказала

я. — Попросите их немедленно приехать домой. Диана говорила, что они обе считали бы себя богатыми, будь у них по тысяче фунтов, так что с пятью тысячами каждая устроится еще лучше.

— Скажите, где вода, я налью вам стакан, — сказал Сент-Джон. — Сделайте над собой усилие, успокойтесь.

— Вздор! А как повлияет на ваши планы эта сумма? Побудит остаться в Англии, жениться на мисс Оливер и вести жизнь простого смертного?

— Вы бредите. У вас мешаются мысли. Мне следовало исподволь подготовить вас к этому известию. Вы слишком возбуждены.

— Мистер Риверс, не выводите меня из терпения! Я достаточно спокойна. Это вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете.

— Возможно, если вы объясните свою мысль полнее, я пойму лучше.

— Объясню! Что тут объяснять? Вы не можете не понимать, что двадцать тысяч фунтов, сумма, о которой идет речь, разделенная между племянником и тремя племянницами нашего дяди, обеспечит каждому из нас пять тысяч фунтов? А хочу я, чтобы вы написали своим сестрам и сообщили им о деньгах, которые они унаследовали.

— Вы унаследовали, хотите вы сказать.

— Я уже изложила свою точку зрения и изменить ее не могу. Животный эгоизм, моральная слепота и адская неблагодарность мне не свойственны. Кроме того, я твердо решила обзавестись домом и родственниками. Мне нравится Мур-Хаус, и я поселюсь в Мур-Хаусе. Мне нравятся Диана и Мэри, и я всю дальнейшую жизнь буду тесно связана с Дианой и Мэри. Пять тысяч фунтов принесут мне пользу и радость. Двадцать тысяч фунтов будут мучить меня и угнетать. К тому же, что бы ни говорил закон, по справедливости они не мои. Следовательно, я передаю вам то, что для меня лишнее. Не надо ни возражать, ни спорить. Договоримся друг с другом немедля и все решим.

— Вы действуете под влиянием первого порыва. Вам нужны дни, чтобы обдумать все, а до тех пор ваше слово — пустой звук.

— О! Если вы просто сомневаетесь в моей искренности, то мне не о чем тревожиться. Вы согласны, что разделить эти деньги будет только справедливо?

— Да, я вижу, что некоторая справедливость в этом есть. Но она вступает в противоречие с обычаями. Кроме того, вся сумма принадлежит вам по праву. Дядя нажил эти деньги сам, был волен оставить их, кому счел нужным, и оставил

их вам. Нет, справедливость позволяет вам принять всю сумму целиком, вы с чистой совестью можете считать ее абсолютно своей.

— Для меня, — заявила я, — дело не только в совести, но и в чувстве: я хочу послушаться своих чувств. Мне так редко представлялся случай сделать это! Можете спорить, возражать и допекать меня хоть целый год, я не откажусь от поманившей меня упоительной радости — от возможности хоть отчасти вернуть неоплатный долг и завоевать себе друзей на всю жизнь.

— Вы думаете так теперь, — возразил Сент-Джон, — потому что не знаете, что такое обладать богатством, и, следовательно, не умеете им наслаждаться. Вы просто не представляете себе, какое положение двадцать тысяч фунтов помогут вам занять, место, которое они обеспечат вам в обществе, будущее, которое они откроют перед вами. Вы не можете…

— А вы, — перебила я, — не можете вообразить, насколько мне необходима родственная любовь. У меня никогда не было родного дома, не было братьев и сестер. А теперь я могу получить их и получу! Вы же не против того, чтобы признать меня и принять в свой семейный круг?

— Джейн, я буду вашим братом, мои сестры

будут вашими сестрами и без того, чтобы вы принесли в жертву свои законные права.

— Братом? Да, на расстоянии тысяч миль! Сестрами? Да, в рабском услужении у чужих людей! Я — богачка, по шею в золоте, которого не заработала и не заслужила! Вы трое — без единого пенни! Великолепное равенство и родственные узы! Тесный союз! Нежная привязанность!

— Джейн, но ваша жажда семейных уз и домашнего счастья может найти другое утоление, чем то, о котором вы твердите. Вы можете выйти замуж.

— И снова вздор! Замуж! Я не хочу выходить замуж и никогда не выйду!

— Это уж чересчур! И лишь доказывает, в каком вы возбуждении!

— Нет, не чересчур. Я знаю свои чувства, знаю, как мне противна даже мысль о браке. Никто не женится на мне по любви, а я не потерплю, чтобы во мне видели всего лишь ключ к деньгам. И мне не нужен чужой человек, не сходный со мной, не симпатичный мне. Мне нужны мои близкие, те, с кем я ощущаю полную гармонию взглядов и вкусов. Скажите еще раз, что вы будете мне братом: когда вы произнесли эти слова, я почувствовала себя обрадованной, счастливой. Так повторите

же их искренне, если можете.

— Думаю, что могу. Я знаю, что всегда любил своих сестер, и я знаю, на чем основано мое чувство к ним — на уважении к их достоинствам, на восхищении их талантами. У вас тоже есть нравственные принципы и ум. Ваши вкусы и склонности схожи с вкусами и склонностями Дианы и Мэри. Ваше общество всегда мне приятно; в беседах с вами я уже некоторое время черпаю поддержку и одобрение. Я чувствую, что способен открыть мое сердце вам, моей третьей и младшей сестре.

— Благодарю вас! Пока мне этого достаточно. А теперь вам лучше уйти. Если вы задержитесь, возможно, вы снова меня рассердите какими-нибудь недоверчивыми возражениями.

— А школа, мисс Эйр? Полагаю, ее придется закрыть?

— Нет, я буду исполнять свои обязанности, пока вы не подыщете мне замену.

Он одобрительно улыбнулся, мы пожали друг другу руки, и он ушел.

Нет нужды подробно рассказывать о дальнейших спорах, которые мне пришлось выдержать, о доводах, которые я приводила, чтобы решить вопрос с наследством так, как хотелось мне. Моя

задача оказалась чрезвычайно трудной, но мое решение осталось непоколебимым. В конце концов мои родные убедились, что я твердо намерена разделить наследство по справедливости, а так как, несомненно, в глубине души они ощущали мою правоту и к тому же, конечно, чувствовали, что на моем месте поступили бы именно так, как хотела поступить я, то в конце концов пошли на уступку и согласились предоставить решение третейскому суду. В качестве судей были избраны мистер Оливер и известный адвокат. Оба они сошлись во мнении со мной, так что я добилась своего. Соответствующие документы были составлены. Сент-Джон, Диана, Мэри и я получили суммы, обеспечивающие безбедную жизнь.

Глава 34

Когда все завершилось, уже почти настало Рождество. Подходили праздники, и я распустила учениц, позаботившись проститься с ними не с пустыми руками. Улыбка Фортуны удивительно открывает сердца и не позволяет оскудеть рукам. А дарить, когда прежде мы главным образом получали, значит дать выход настоящему взрыву чувств. Я уже давно с радостью замечала, что нравлюсь многим моим ученицам, и, когда мы расставались, это подтвердилось: свою привязанность они выразили открыто и горячо. С каким восторгом я убедилась, что действительно нашла местечко в их простых сердцах! И обещала им, что буду навещать их каждую неделю, чтобы давать один урок.

Пришел мистер Риверс — в ту минуту, когда девочки, число которых теперь достигло шестидесяти, прошли мимо меня и я, заперев дверь, стояла с ключом в руке на крыльце, отдельно прощаясь с пятью-шестью лучшими моими ученицами, такими благонравными, достойными, скромными и грамотными юными девушка-

ми, каких только можно найти в английских деревнях. А ведь это значит очень много: что ни говори, а в Европе английское крестьянство может похвастать наибольшей грамотностью, наилучшими манерами и чувством собственного достоинства. С тех пор мне довелось увидеть paysannes и Bäuerinnen,[65] и даже лучшие из них казались мне невежественными, грубыми и полными суеверий в сравнении с моими мортонскими девочками.

— Вы считаете, что получили свою награду за потраченный труд? — спросил мистер Риверс, когда они ушли. — Ведь сознание, что вы потратили свое время на что-то полезное для своих ближних, дарит удовольствие, не так ли?

— Бесспорно.

— А ведь вы трудились всего месяцы! Не правда ли, жизнь, посвященная спасению рода человеческого, будет потрачена не даром?

— Да, — сказала я. — Но продолжать так без конца я вряд ли смогла бы. Мне хочется найти полное применение моим способностям, а не только развивать их в других. И заняться этим сейчас же. Не заставляйте меня возвращаться в

---

[65] Примечания: 65
крестьянки (по-французски и по-немецки соответственно).

школу духом или телом. Я оставила ее позади и думаю устроить себе полные каникулы.

Он слегка нахмурился.

— Что дальше? Что означает этот внезапный прилив энергии? Что вы намерены предпринять?

— Заняться делом во всю меру моих сил. И для начала покорнейше прошу вас отпустить Ханну и найти кого-нибудь еще прислуживать вам.

— Она нужна вам?

— Да, чтобы вернуться со мной в Мур-Хаус. Диана и Мэри будут дома через неделю, и я хочу до их приезда привести все в порядок.

— Ах вот что! Я полагал, что вы торопитесь отправиться в какое-нибудь путешествие. Но это много лучше, и Ханна будет к вашим услугам.

— Скажите ей, чтобы она была готова завтра с утра. Вот ключ от классной комнаты. Ключ от дома я отдам вам завтра утром.

Он взял ключ.

— Вы отдаете его с такой радостью! — заметил он. — Я не совсем понимаю эту беззаботность, так как не знаю, чем вы собираетесь заниматься с этих пор. Какую цель, какое назначение, какое устремление нашли вы для себя теперь?

— Первая моя цель — произвести полную убор-

ку (вы постигаете всю силу этого выражения?), генеральную уборку Мур-Хауса, с чердака до подвала; моя следующая цель — с помощью бесчисленных тряпок натереть воском все и вся до полного сияния; моя третья — расположить все стулья, столы, кровати, ковры с математической точностью. Затем я доведу вас почти до разорения, накупив столько угля и торфа, чтобы камины пылали во всех комнатах, и, наконец, последние два дня перед приездом ваших сестер мы с Ханной посвятим взбиванию белков, переборке изюма, толчению специй, замешиванию теста для рождественских пирогов, нарезанию начинок и совершению других кулинарных обрядов, о которых непосвященным вроде вас никакие слова не могут дать ясного понятия. Короче говоря, мое назначение — довести все до совершенства для Дианы и Мэри к следующему четвергу, а мое устремление заключается в том, чтобы устроить им сказочную встречу, когда они приедут.

Сент-Джон слегка улыбнулся, но этот ответ его не удовлетворил.

— На первое время неплохо, — сказал он. — Однако, говоря серьезно, я надеюсь, когда первый пыл уляжется, вы поищете чего-либо более высокого, чем веселые хозяйственные хлопоты и

домашние радости.

— Это самое лучшее, что есть в мире! — воскликнула я.

— Нет, Джейн, нет! Мир этот не место для отдохновения от трудов. Не пытайтесь сделать его таким — он создан не для покоя. Не предавайтесь лени!

— Вот уж нет! Не собираюсь отдыхать хотя бы минуту!

— Джейн, я даю вам отпуск на время — два месяца, чтобы вы сполна насладились своим новым положением и насытились новообретенным очарованием родственной близости. А тогда, надеюсь, вы бросите взгляд за пределы Мур-Хауса, Мортона, общества сестер, откажетесь от эгоистической безмятежности и потакания чувственным потребностям, на какое толкает богатство. Надеюсь, тогда ваша энергия вновь лишит вас покоя и будет требовать выхода.

Я посмотрела на него с удивлением.

— Сент-Джон, — сказала я, — по-моему, говорить так не слишком хорошо с вашей стороны. Мне хочется быть счастливой по-королевски, а вы стараетесь пробудить во мне беспокойство. Для чего?

— Для того, чтобы вы нашли применение та-

лантам, которые Бог дал вам употребить в оборот и за которые Он строго с вас спросит. Джейн, предупреждаю вас: я буду следить за вами внимательно и с тревогой. И попытайтесь укротить чрезмерный пыл, с каким вы предаетесь обычным домашним радостям. Не цепляйтесь с такой настойчивостью за узы плотского родства. Приберегите свое упорство, свое горение для достойного дела, не расточайте их на преходящие пустяки. Вы слышите, Джейн?

— Да. Но вы словно говорите на непонятном языке. Я чувствую, что у меня есть достойная причина быть счастливой — и я буду счастливой! До свидания.

И счастливой я в Мур-Хаусе была, пока трудилась не покладая рук, как и Ханна. Она радовалась, наблюдая, как весело я хлопочу в доме, где все перевернуто вверх дном, — как я усердно подметаю, протираю, чищу, стряпаю. Впрочем, полный хаос царствовал день-два, а потом было так приятно постепенно наводить порядок в нами же учиненном кавардаке. Я предварительно съездила в С..., чтобы купить кое-какие новые предметы обстановки: мои кузины и кузен дали мне полную свободу менять в доме все, что я сочту нужным, и на это нами всеми была выде-

лена определенная сумма. В гостиной и спальнях я почти ничего не тронула, так как знала, что Диане с Мэри будет куда приятнее снова увидеть привычные старые столы, стулья и кровати, чем самые модные и новые. Тем не менее какое-то обновление было необходимо, чтобы сделать их возвращение таким замечательным, как мне хотелось. Темные прекрасные ковры и занавески, несколько тщательно выбранных старинных безделушек из фарфора и бронзы, новые чехлы, зеркала и шкатулки для туалетных столиков создали желаемый эффект обновления без навязчивости. Вторую гостиную, а также спальню, которые стояли запертыми, я обставила заново старинной мебелью красного дерева с малиновой обивкой. В коридорах я расстелила холщовые дорожки, лестницы устлала коврами. Когда все было завершено, я решила, что Мур-Хаус внутри настолько же дышит светлым скромным уютом, насколько снаружи он выглядит по-зимнему унылым и мрачным.

Наконец наступил долго ожидаемый четверг. Они должны были приехать вечером, и с наступлением сумерек наверху и внизу были затоплены камины, кухня сияла и сверкала, мы с Ханной приоделись, и все было готово к их приему.

Первым явился Сент-Джон. Я упросила его не заглядывать в Мур-Хаус, пока все не будет устроено. Впрочем, одной мысли о кавардаке, царящем в его стенах, одновременно и неприглядном, и ничем не примечательном, оказалось достаточно, чтобы он к нему не приближался. Меня он нашел на кухне, где я следила, как пекутся кексы к чаю. Подойдя к очагу, он осведомился, не пресытилась ли я наконец трудами горничной. В ответ я пригласила его пойти со мной поглядеть на результаты этих трудов. С некоторым трудом мне удалось добиться, чтобы он согласился осмотреть дом. Но он лишь заглядывал в двери, которые я открывала, и, едва поднявшись на второй этаж, тотчас спустился, сказав, что я, видимо, не пожалела никаких сил и не убоялась никакой усталости, если сумела достичь подобных перемен за такой короткий срок. Но он ничем не показал, что ему приятно обновление фамильного дома.

Его молчание угасило мою радость. Я подумала, не омрачили ли перемены какие-то дорогие его сердцу воспоминания, и спросила, не в этом ли дело, — без сомнения, довольно огорченным тоном.

Отнюдь! Напротив, он заметил, как бережно я

сохранила все в прежнем виде. Однако он опасается, что мыслей и сил я потратила больше, чем оно того заслуживало. Сколько, например, мне потребовалось минут, чтобы обдумать перестановку в этой самой комнате? И кстати, не могу ли я сказать ему, где стоит такая-то книга?

Я показала нужную полку. Он взял искомый том и, удалившись в свою оконную нишу, погрузился в чтение.

Мне, читатель, это не понравилось. Сент-Джон был хорошим человеком, но я начинала верить, что он говорил правду, когда называл себя холодным и неуступчивым. Простые радости жизни, уют и комфорт его не привлекали, он не находил в них никакого очарования. Он буквально жил устремлением к — да, неоспоримо, — к доброму и великому, не мог сам принять покоя и не одобрял, когда видел, как кто-то предается отдыху. Глядя на его высокий лоб — недвижный и бледный, как мрамор, — на его прекрасное лицо, сосредоточенное в чтении, я внезапно поняла, что он не может быть хорошим мужем, что его жену ожидают тяжкие испытания. Как по наитию я поняла природу его любви к мисс Оливер и согласилась с ним, что она была чувственной, и только. Мне стало ясно, как должен он презирать

себя за горячечную власть этой любви над ним, как он жаждет удушить и уничтожить ее, как не может он верить, что она способна принести счастье ему — или мисс Оливер. Я постигла, что он — тот материал, из которого природа ваяет своих героев — и христианских, и языческих, — своих законодателей, своих государственных мужей, своих завоевателей. Надежная опора для великих замыслов, но у домашнего очага — чаще всего холодный, тяжелый столп, угрюмый и неуместный.

«Эта гостиная не для него, — думала я. — Хребты Гималаев, или край кафров, или даже полное миазмов болотистое побережье Гвинеи подошли бы ему больше. С полным правом может он чураться домашней жизни, это не его стихия. Здесь его способности хиреют, они не могут ни развиваться, ни представать в выгодном свете. Его место среди борьбы и опасностей, там, где проверяется смелость, где энергия находит применение, а стойкость закаляется; там, где он смог бы говорить и действовать как вождь в силу своего превосходства. А здесь, у камина, он не сравнится даже с резвым ребенком. Решив стать миссионером, он поступил правильно, теперь я это вижу».

— Едут! Едут! — закричала Ханна, распахивая дверь гостиной. Тут же раздался радостный лай Карло. Я кинулась наружу. Уже совсем стемнело, но из мрака доносился стук колес. Ханна поспешила зажечь фонарь. Экипаж остановился у калитки. Кучер открыл дверцу, из нее появилась знакомая фигура, затем вторая. Через секунду мое лицо уже скрылось под полями одной шляпки, потом другой, прикоснувшись сперва к нежной щеке Мэри, потом к пышным локонам Дианы. Сестры, радостно смеясь, расцеловались со мной, потом с Ханной, приласкали Карло, прямо-таки обезумевшего от восторга, с беспокойством спросили, все ли хорошо, а услышав утвердительный ответ, поспешили в дом.

Во время долгой и тряской поездки от Уайткросса в ночном морозном воздухе они совсем окоченели, но их милые лица просияли в теплых отблесках огня. Кучер и Ханна занялись багажом, а сестры потребовали Сент-Джона. Но он уже выходил из гостиной. Обе вместе повисли у него на шее. Он спокойно поцеловал каждую, негромко произнес несколько приветственных слов, немного постоял, слушая их, а затем, дав понять, что ждет их в гостиной, удалился в свое убежище.

Я зажгла свечи, готовясь проводить их наверх, но Диана прежде должна была распорядиться, чтобы кучера хорошо накормили. Затем они пошли за мной. Обе пришли в восторг от своих обновленных и приукрашенных комнат — от новых занавесок, ковров и ярких фарфоровых ваз. И они не скупились на благодарности. Мне было очень приятно, что я сумела предвосхитить их желания и что мои труды добавили очарования к радости их возвращения домой.

Чудесным был этот вечер! Мои кузины в самом радужном настроении рассказывали, обменивались мыслями с таким увлечением, что молчаливость Сент-Джона оставалась почти незамеченной. Он был искренне счастлив увидеться с сестрами, но не мог разделить их веселого оживления. Главное событие дня — иными словами, возвращение Дианы и Мэри, — было ему приятно, но все, чем оно сопровождалось — веселая суматоха, восторженные восклицания, — ему досаждало. Мне казалось, он жалеет, что не наступил следующий, более тихий день. В самый разгар вечернего празднования, примерно через час после чая, послышался стук в дверь. В гостиную вошла Ханна и сообщила, что «в такое-то время прибежал малец позвать мистера Риверса

к своей матери — она на смертном одре лежит».

— Где они живут, Ханна?

— Да чуть не у вершины Уайткросс-Брау. Туда добрых четыре мили будет, и все пустошами да мшаниками.

— Скажи ему, что я иду.

— Не надо бы, сэр! Дорога-то уж больно плоха, чтоб в потемках шагать. А через болото так и тропки нет. И ночь — хуже некуда, ветер прямо с ног валит. Пусть он дома скажет, что вы утречком придете.

Но Сент-Джон уже надевал плащ в коридоре и ушел, не возражая, не ропща.

Было девять часов, а вернулся он за полночь. Голодный, уставший — но вид у него был более счастливый, чем прежде. Он исполнил свой долг священнослужителя, не пожалел себя, испытал свои силы, устоял перед соблазном отказаться и потому был в большом мире с самим собой.

Боюсь, вся последующая неделя явилась тяжким испытанием для его терпения. Ведь было Рождество, мы не занимались ничем серьезным и проводили время в веселых домашних развлечениях. Воздух пустошей, свобода родного дома, заря преуспеяния действовали на настроение Дианы и Мэри точно живительный

эликсир. Они были веселы с утра до полудня и с полудня до ночи. Они были расположены к разговорам, и их беседы, остроумные, содержательные, оригинальные, так меня пленяли, что я всему остальному предпочитала слушать их и принимать в них участие. Сент-Джон не порицал нашей веселости, но избегал ее. Он редко бывал дома — его приход был обширным, жилища прихожан разбросаны по пустошам, и каждый день он отправлялся навещать больных и бедняков то в одном глухом углу, то в другом.

Как-то утром за завтраком Диана после некоторого раздумья спросила его, не изменил ли он свои планы.

— Не изменил и не изменю, — был ответ. И он сообщил нам, что с его отъездом все улажено и он покинет Англию в наступающем году.

— А Розамунда Оливер? — Эти слова почти нечаянно сорвались с губ Мэри. Едва договорив, она сделала беспомощный жест, словно хотела взять их назад. Сент-Джон держал в руке книгу — у него была не слишком вежливая привычка читать за едой. Он закрыл ее и поднял голову.

— Розамунда Оливер, — сказал он, — выходит замуж за мистера Грэнби, одного из самых родовитых и достойнейших жителей С..., внука и

наследника сэра Фредерика Грэнби. Об этом мне вчера сказал ее отец.

Его сестры переглянулись, посмотрели на меня, и мы все трое посмотрели на него. Он был невозмутим как стекло.

— Как-то это неожиданно! — сказала Диана. — Они ведь, несомненно, познакомились совсем недавно.

— Всего два месяца назад. В октябре на балу в С… Но если для брака нет никаких препятствий, как у них, если он желателен во всех отношениях, то отсрочки ни к чему. Они поженятся, как только будет отделан дом в С…, который сэр Фредерик дарит им.

Когда я в первый раз после этого разговора оказалась с Сент-Джоном наедине, мне нестерпимо хотелось спросить, очень ли он расстроен. Однако он, видимо, так мало нуждался в сочувствии, что я не только не осмелилась выразить ему свои сожаления, но испытала стыд, припомнив предыдущую свою попытку. К тому же я отвыкла разговаривать с ним. Он вновь оледенел в своей замкнутости, замораживая и мою откровенность. Обещания, что будет обходиться со мной, как со своими сестрами, он не сдержал и постоянно делал между нами словно бы незначительные, но

обескураживающие различия, которые отнюдь не способствовали сердечности. Короче говоря, теперь, когда я была признана его родственницей и жила под одним кровом с ним, мне казалось, что расстояние между нами заметно увеличилось по сравнению с тем временем, когда он знал меня просто как учительницу деревенской школы его прихода. Вспоминая, насколько откровенным он был со мной однажды, я и вовсе не могла понять его нынешнюю холодную замкнутость.

Вот почему я очень удивилась, когда он неожиданно поднял голову от книги, над которой склонялся, и сказал:

— Как видите, Джейн, битва была дана и завершилась победой.

Растерявшись от неожиданности, я не сразу нашлась, что сказать, и ответила лишь после некоторого колебания:

— Но вы уверены, что не оказались в положении полководца, убеждающегося, что победа обошлась ему слишком дорого? И что вторая такая не обернется вашей гибелью?

— Полагаю, что нет. Но если бы даже и так, значения это никакого не имеет. Мне никогда больше не придется вступать в подобную битву. Исход этой борьбы решающ: мой путь теперь,

благодарение Богу, чист. — С этими словами он вернулся к своей книге и к своему молчанию.

Когда наша взаимная радость (то есть Дианы, Мэри и моя) поулеглась и мы вернулись к обычным занятиям и привычкам, Сент-Джон начал чаще оставаться дома и сидел с нами в гостиной иногда часами. Пока Мэри рисовала, Диана штудировала тома «Энциклопедии» (к моему благоговейному изумлению), а я корпела над немецким, он приобщался к тайнам одного из восточных языков, изучение которого считал необходимым для своих планов.

Он безмолвно сидел в своей нише и казался совершенно поглощенным своим предметом, однако его голубые глаза нет-нет да отрывались от грамматики очень необычного вида, начинали блуждать по комнате и иногда со странной сосредоточенностью останавливались на той или иной из нас. Он тотчас отводил взгляд, если мы его перехватывали, но затем его глаза вновь обращались на наш стол. Я не понимала, что кроется за этим, как не понимала неизменное одобрение, которое он никогда не забывал выразить по, казалось мне, совершенно ничтожному поводу — моих еженедельных посещений мортонской школы. И еще больше я недоумевала, что в дни,

когда валил снег, шел дождь или дул сильный ветер и его сестры уговаривали меня остаться дома, он неизменно отметал их опасения и настаивал, чтобы я выполнила эту свою обязанность, невзирая на непогоду.

— Джейн вовсе не так слаба здоровьем, как вы ей внушаете, — говорил он. — Ветер с гор, ливень или десяток-другой снежинок опаснее для нее не более, чем для нас. Конституция у нее и крепкая, и выносливая — и она гораздо легче приспосабливается к капризам климата, чем многие и многие словно бы более здоровые.

И когда я возвращалась, порой очень утомленная, иззябшая или промокшая, то не смела пожаловаться, так как видела, что мой ропот рассердил бы его. Стойкость во всем вызывала у него неизменное одобрение, слабости же он не прощал.

Однако как-то раз мне было разрешено остаться дома — я, правда, простудилась, — и в Милтон вместо меня отправились его сестры. Я сидела над Шиллером, он наклонялся над испещренным закорючками восточным свитком. Затем я отложила книгу, намереваясь заняться грамматикой, случайно взглянула на него и оказалась под властью этих неусыпно наблюдающих глаз.

Не знаю, как долго он изучал меня снова и снова, насквозь и насквозь — таким напряженным был этот взгляд и все же таким холодным, что на миг меня охватил суеверный страх, будто в комнате со мной находилось нечто потустороннее.

— Джейн, чем ты занимаешься?

— Учу немецкий.

— Я хочу, чтобы ты оставила немецкий и выучила хиндустани.

— Ты не серьезно?

— Настолько серьезно, что должен настоять на своем, и я объясню тебе почему.

Он сказал, что сейчас изучает хиндустани, однако, продвигаясь вперед, забывает основы, и ему очень помогло бы, если бы он вновь и вновь повторял начала, преподавая их кому-то: вот тогда они закрепятся у него в памяти. Некоторое время он колебался в выборе между мной и своими сестрами, но остановил свой выбор на мне как на самой прилежной. Так не окажу ли я ему это одолжение? Жертвовать собой мне придется недолго, ведь до его отъезда остается всего три месяца.

Сент-Джон был не тем человеком, которому легко отказать: вы чувствовали, что любое впечатление, болезненное или приятное, врезалось

глубоко и уже никогда не стиралось. Я согласилась. Когда Диана и Мэри вернулись, первая узнала, что ее ученица стала теперь ученицей ее брата. Она засмеялась, и они с Мэри согласились, что их ему никогда не удалось бы уговорить. Сент-Джон сказал невозмутимо:

— Я знаю.

Он оказался очень терпеливым, очень снисходительным и тем не менее очень требовательным учителем. Мне приходилось заниматься с утра до вечера, и когда я оправдывала его ожидания, он по-своему сполна выражал свое одобрение. Мало-помалу он приобрел надо мной власть, подавлявшую мою волю, — его похвала и внимание сковывали больше его безразличия. Когда он был рядом, я уже не могла свободно разговаривать и смеяться, потому что докучливый инстинкт напоминал мне, что живость (во всяком случае, во мне) ему неприятна. Я всеми фибрами ощущала, что для него приемлемы только серьезные настроения и занятия, и из-за этого в его присутствии ничего другого позволить себе уже не могла. Я оказалась во власти леденящих чар. Когда он говорил «уходи!», я уходила, когда он говорил «приди!», я приходила, когда он говорил «сделай это!», я делала. Но мне не нравилась моя

кабала. Много раз я от всей души желала, чтобы он вновь перестал меня замечать.

Как-то вечером, когда настало время сна, я и его сестры подошли к нему пожелать спокойной ночи. По обыкновению их он поцеловал, а мне по обыкновению пожал руку. Диана была в проказливом настроении (ее он своей волей не поработил: по-своему ее воля была столь же сильной) и вдруг воскликнула:

— Сент-Джон! Ты назвал Джейн своей третьей сестрой, а обходишься с ней иначе. Тебе следует поцеловать и ее.

И она подтолкнула меня к нему. Я подумала, что Диана позволяет себе лишнее, и меня охватило болезненное ощущение. Но пока я думала и чувствовала все это, Сент-Джон наклонил голову, его греческое лицо приблизилось к моему, его глаза испытующе уставились в мои, и он меня поцеловал. Ни мраморных, ни льдистых поцелуев не существует, не то я сказала бы, что поцелуй моего кузена-священнослужителя был именно мраморным или льдистым, однако бывают испытующие поцелуи, и его поцелуй был именно испытующим. Поцеловав меня, Сент-Джон посмотрел, каким оказался результат. Думаю, поразительным он не был: я уверена, что не

покраснела; напротив, я могла чуть побледнеть — ведь поцелуй этот показался мне печатью, накладываемой на мои оковы. С этого вечера такой поцелуй вошел в обычай: серьезность и покорность, с какой я терпела эту церемонию, казалось, придавали ей для него известное очарование.

Что до меня, то с каждым днем я все больше хотела угождать ему. Однако ради этого, как с каждым днем я убеждалась все больше, мне необходимо было отречься от половины моей натуры, задушить половину моих способностей, заставить мои вкусы перемениться и насильственно посвятить себя служению, к которому у меня не было естественного призвания. Он хотел подготовить меня к достижению высот, мне недоступных. А для меня устремляться к провозглашенному им идеалу было ежечасной мукой. С тем же успехом могла бы я пытаться подогнать неправильные черты моего лица к его классическим, придать моим изменчивым зеленым глазам морскую голубизну и проникновенное сияние его глаз.

Однако не только подчинение ему давило меня как тяжкий гнет. Последние недели у меня были другие причины для грусти: неотступная мука терзала мое сердце, губила мое счастье у самых

его истоков — мука неизвестности.

Быть может, читатель, ты решил, что среди всех этих перемен судьбы вдали от него я забыла мистера Рочестера? Ни на единый миг! Мысль о нем не оставляла меня, ибо это был не туман, тающий под солнцем, и не рисунок на песке, стираемый ветром, но имя, высеченное на скрижали, которое сохраняется, пока сохраняется ее мрамор. Пока я жила в Мортоне, жажда узнать, что сталось с ним, не оставляла меня ни на миг — каждый вечер я возвращалась в свой домик, думая о нем, и теперь, в Мур-Хаусе, затворяясь вечером у себя в спальне, я тоскливо размышляла все о том же.

Во время моей деловой переписки с мистером Бригсом касательно завещания я осведомилась, не известно ли ему чего-либо о том, где сейчас мистер Рочестер и здоров ли он. Однако, как и предположил Сент-Джон, мистер Бригс не знал ничего. Тогда я написала миссис Фэрфакс, умоляя ее сообщить мне новости о нем. Я твердо рассчитывала, что таким способом достигну своей цели, и не сомневалась, что быстро получу ответ. И удивилась, когда миновали две недели, не принеся ответа. Меня охватила тревога.

Я снова написала — ведь первое мое письмо

могло пропасть на почте. И надежда опять воскресла, она опять сияла мне, затем опять угасла — не пришло ни строчки, ни слова. Когда в тщетном ожидании прошло полгода, моя надежда умерла, и вот тогда у меня стало по-настоящему черно на душе.

Вокруг меня сияла прекрасная весна, но меня она не радовала. Приближалось лето. Диана пыталась меня подбодрить, говорила, что у меня больной вид, и предложила поехать со мной к морю. Сент-Джон решительно возразил. Он сказал, что мне нужны не пустые развлечения, но серьезные занятия. Моя нынешняя жизнь слишком бесцельна, и, полагаю, чтобы поправить это, он и дальше продолжал учить меня хиндустани, становясь все более требовательным. А я, как дурочка, ни разу даже не попыталась воспротивиться ему — у меня не было для этого сил.

Однажды я приступила к занятиям очень расстроенная: причиной было горькое разочарование. Утром Ханна сказала мне, что пришло письмо на мое имя, а когда я сбежала за ним вниз, почти в полной уверенности, что наконец-то получу столь долгожданные вести, то нашла лишь несколько строк от мистера Бригса, касавшиеся не слишком важного дела. Такой удар вызвал у

меня слезы, и вот теперь, пока я склонялась над кудрявыми буковками, каллиграфически выведенными индийским писцом, мои глаза вновь наполнились слезами.

Сент-Джон подозвал меня к себе, чтобы приступить к чтению. Но голос изменил мне, рыдания заглушили слова. В гостиной были только мы с ним. Диана занималась музыкой в соседней комнате, Мэри трудилась в саду — был чудесный майский ясный, солнечный день с легким теплым ветерком. Сент-Джон не выразил никакого удивления и не спросил о причине моих слез. Он лишь сказал:

— Сделаем небольшой перерыв, Джейн, тебе надо успокоиться.

И пока я торопливо пыталась совладать с собой, он спокойно и терпеливо сидел, положив руки на стол, словно врач, опытным взором наблюдающий ожидаемый и совершенно понятный кризис болезни своего пациента. Подавив рыдания, утерев глаза и пробормотав что-то о легком недомогании, я сумела прочесть то, что от меня требовалось. Сент-Джон убрал свои и мои книги, запер стол, а потом сказал:

— А теперь, Джейн, ты пойдешь погулять со мной.

— Я позову Диану и Мэри.

— Не надо. Нынче утром мне нужна только одна спутница — ты. Оденься, выйди через дверь кухни и поверни в сторону Марш-Глена. Я скоро нагоню тебя.

Имея дело с жесткими волевыми натурами, противоположными моей собственной, я никогда не умела найти золотой середины между полной покорностью и решительным бунтом. Я оставалась покорной до последней секунды, чтобы тогда взбунтоваться порой с бурностью вулканического взрыва. Но ни обстоятельства, ни мое настроение в эти минуты не толкали меня к бунту, а потому я послушно выполнила все указания Сент-Джона и через десять минут уже шла по заросшей тропинке вдоль лощины.

Ветер дул с запада, неся с холмов душистость вереска и камышей, небо было безоблачно голубым, ручей, напоенный весенними дождями, катил по дну лощины прозрачные воды, отражающие золото солнца и сапфир небосвода. Потом мы сошли с тропинки и зашагали по мягкой изумрудно-зеленой траве, инкрустированной белыми и желтыми звездочками цветов. Теперь нас со всех сторон окружали холмы, так как лощина уводила в самое их сердце.

— Отдохнем здесь, — сказал Сент-Джон, когда мы достигли первых валунов и скал, которые словно каменные часовые охраняли подобие ущелья, по которому ручей устремлялся вниз пенистым каскадом, а чуть выше холм сбрасывал наряд из травы и цветов, оставался одетым лишь в вереск, украшенным только валунами, переходил от пустынности к дикости, уже не улыбаясь, а хмурясь на страже безлюдья и последнего приюта нерушимой тишины.

Я села, Сент-Джон остановился рядом со мной. Он посмотрел вверх на ущелье, потом на лощину внизу, его взгляд проследил путь ручья и вернулся, обратясь к небесам, даривším краски этому ручью. Он снял шляпу, и ветер играл его волосами, целовал его лоб. Казалось, он безмолвно беседует с гением холмов, его глаза прощались с чем-то.

— Да, я снова увижу все это, — сказал он вслух, — в моих снах, когда буду спать возле вод Ганга, и еще раз в более отдаленный час, когда меня скует иной сон на берегу более темной реки.

Странное выражение странной любви! Аскетическая страсть патриота к отечеству!

Он сел, и полчаса мы молчали — ни он не заговаривал со мной, ни я с ним. Когда эти полчаса

миновали, он продолжал:

— Джейн, я уеду через полтора месяца. Я уже купил каюту на корабле, который отплывает в Индию двадцатого июня.

— Господь поможет тебе, — сказала я, — потому что ты будешь трудиться во имя Его.

— Да, — ответил он. — В этом моя слава и радость. Я слуга всеведущего Владыки. И отправляюсь в свой путь не по людскому велению, не подчиняясь несовершенным законам, ошибочным установлениям таких же смертных червей, как я сам. Мой царь, мой законодатель, мой вожатый — само Сущее Совершенство. Мне кажется странным, что все вокруг меня не жаждут стать под то же знамя, принять участие в том же подвиге.

— Не все обладают твоей силой, а для слабых было бы безумием выступить в поход рядом с могучими.

— Я не говорю о слабых и не думаю о них. Я обращаюсь только к тем, кто достоин таких трудов и способен к ним.

— Таких мало, и отыскать их нелегко.

— Верно. Однако, найдя их, необходимо пробудить от сна. Призывать и побуждать к свершению, показать им, каковы их дары и зачем

они им даны, прокричать весть Небес им в уши, предложить им от имени Бога место в рядах избранных Им.

— Если подобный труд им по силам, разве не их собственные сердца первыми возвестят им это?

Мне казалось, что меня опутывают какие-то страшные чары, и я трепетала при мысли, что вот-вот прозвучит роковое слово, которое и откроет смысл этих чар и скрепит их навсегда.

— А что говорит твое сердце? — властно спросил Сент-Джон.

— Мое сердце немо… мое сердце немо, — ответила я потрясенно.

— Тогда за него должен говорить я, — продолжал звучный беспощадный голос. — Джейн, ты поедешь со мной в Индию как моя помощница, разделяющая со мной все труды.

Ущелье и небо завертелись вокруг меня, холмы закачались. Я словно услышала призыв с небес: точно вестник в видении, точно муж Македонянин воззвал к апостолу Павлу: «Приди и помоги нам!» Но я ведь не апостол, я не могла узреть вестника, я не могла услышать зова.

— Ах, Сент-Джон! — воскликнула я. — Сжалься!

Но я молила того, кто, исполняя свой долг, как он его понимал, не знал ни милосердия, ни сожа-

лений. И он продолжал:

— Бог и природа предназначили тебя в жены миссионеру. Они одарили тебя не внешней красотой, а достоинствами духа. Ты создана не для любви, а для труда. Женой миссионера ты должна стать и станешь. Ты будешь моей женой, я беру тебя: не ради себя, но для служения моему Владыке.

— Я не подхожу для этого. У меня нет призвания, — сказала я.

Он предвидел эти первые возражения, и они его не раздражили. Когда он откинулся на валун у себя за спиной, скрестил руки на груди и придал лицу невозмутимое выражение, я поняла, что он приготовился к длительному, трудному спору и запасся терпением, чтобы довести его до конца, твердо решив, что концом будет его победа.

— Смирение, Джейн, — сказал он, — это основа всех христианских добродетелей. Ты верно сказала, что не подходишь для этих трудов. А кто подходит? И кто, истинно призванный, когда-либо считал себя достойным этого призыва? Я, например, лишь прах и тлен. Вместе со святым Павлом я признаю себя первейшим из грешников, но я не позволяю, чтобы сознание моей недостойности устрашило меня. Я знаю моего

Вожатого, знаю, что Он столь же справедлив, как и всемогущ. И если Он избрал хрупкое орудие для свершения великой задачи, то по безграничной милости Своей Он подаст и средства для достижения цели. Думай, как я, Джейн, веруй, как я. Ведь я прошу тебя опереться на Скалу и Твердыню. Не сомневайся, она выдержит вес твоей человеческой слабости.

— У меня нет представления о миссионерской деятельности, я никогда ничего о ней не читала.

— В этом я, как ни ничтожен, могу оказать тебе необходимую помощь. Я буду из часа в час объяснять каждую твою задачу, всегда стоять рядом с тобой, помогать от минуты к минуте. Но лишь вначале — ведь скоро (я знаю тебя) ты будешь столь же сильна и умела, как я сам, и больше тебе мое содействие не потребуется.

— Но мои силы для этих трудов, где они? Я их не чувствую. Ты говоришь, но ничто не отзывается, не шевелится во мне. Я не замечаю никакого просветления, не ощущаю особого прилива сил, не слышу голоса, советующего или ободряющего. Как заставить тебя понять, насколько мой дух сейчас подобен темнице, куда не проникает ни луча света, и лишь страх в цепях жмется в ее углу, страх, что ты убедишь меня взяться за то, что

исполнить мне не дано.

— У меня есть для тебя ответ. Выслушай его. Я наблюдал тебя с первого дня твоего появления у нас. Десять месяцев я изучал тебя. Устраивал тебе бесчисленные испытания и проверки. И что же я увидел, к каким выводам пришел? В деревенской школе я убедился, что ты способна хорошо, добросовестно, не жалея сил исполнять работу, противную твоим привычкам и склонностям. Я увидел, что ты выполняешь ее умело и с тактом, завоевывая тех, кем руководишь. В спокойствии, с каким ты приняла известие о своем внезапном богатстве, я узрел дух, чистый от порока Димаса — злато не пробуждало в тебе алчности. В непоколебимой настойчивости, с какой ты разделила свое богатство на четыре доли и только одну оставила себе, уступив три остальные во имя принципа абстрактной справедливости, я распознал душу, наслаждающуюся пламенем и жаждой самопожертвования. В уступчивости, с какой ты по моему желанию отказалась от изучения предмета, тебя интересовавшего, и занялась тем, который интересовал меня, в неутомимости, с какой ты продолжаешь его изучать с тех пор, в неколебимом упорстве и неизменном усердии, с каким ты преодолеваешь его трудности, — во

всем этом проявилась полнота искомых мною качеств. Джейн, ты кротка, трудолюбива, бескорыстна, верна, постоянна и мужественна, очень добра и очень героична. Так перестань же не доверять себе — ведь я же доверяю тебе безоговорочно. Как наставницы индийских девочек в школе, как наперсницы индийских женщин твоя помощь мне будет бесценной.

Железный саван все теснее сжимал меня, настояния медленно и верно подминали меня. Как ни старалась я закрывать глаза, последние его слова сумели более или менее расчистить путь, который выглядел непроходимым. Мои занятия, которые казались такими неясными, такими безнадежно неопределенными, наполнялись смыслом, пока он говорил, обретали четкую форму под его лепящими руками. Он ждал ответа. Я потребовала четверть часа на обдумывание, прежде чем ответить.

— Охотно, — отозвался он, встал, отошел на некоторое расстояние вверх по ущелью, бросился на вереск и замер в неподвижности.

«Я способна на то, чего он хочет от меня, — размышляла я. — То есть если мне будет дарована жизнь. Но я чувствую, что под индийским солнцем мое существование долго не продлится. И

что тогда? Его это не заботит. Когда мне придет время умереть, он со всей безмятежностью и благочестием вернет меня Богу, которым я была ему дана. Вопрос для меня совершенно ясен. Покинув Англию, я покину любимую, но опустевшую страну, мистера Рочестера здесь нет, да если бы и не так, что в этом мне — и сейчас, и когда-либо? Я должна жить без него, и нет ничего более нелепого, более слабого, чем существовать ото дня ко дню будто в ожидании невероятного изменения в обстоятельствах, которое могло бы воссоединить меня с ним. Разумеется (как однажды сказал Сент-Джон), мне следует найти другой интерес в жизни, чтобы возместить потерянное, и разве труд, который он предлагает мне, поистине не самый славный, какой может взять на себя человек или назначить Бог? Разве не эта благородная деятельность, не ее правдивые плоды лучше всего заполнят пустоту, оставшуюся после того, как любовь была вырвана с корнями и надежды уничтожены? Я верю, что должна ответить "да", и все же я трепещу. Увы! Если я уеду с Сент-Джоном, то покину половину самой себя, если я поеду в Индию, то поеду навстречу преждевременной смерти. И чем будет заполнен промежуток между днем, когда я оставлю Англию ради Индии, и

днем, когда я оставлю Индию ради могилы? О, это я знаю прекрасно! Это я тоже вижу четко! Стараниями оправдать ожидания Сент-Джона, пока каждая косточка в моем теле не заноет. И я их оправдаю до самой центральной точки и самой дальней окружности его ожиданий! Если я все-таки поеду с ним, если принесу жертву, на которой он настаивает, то сделаю это безоговорочно. Я возложу на алтарь все сердце, внутренности, всю жертву целиком. Он никогда не полюбит меня, но научится ценить: я покажу ему энергию, о какой он пока и не подозревает, усилия, каких он еще не видел. Да, я способна трудиться не менее усердно, чем он. И столь же безропотно.

Значит, можно согласиться на его требования, если бы не одно условие, одно неприемлемое условие. Он просит меня стать его женой, а в его сердце любви ко мне не больше, чем вон у того мрачного утеса, с которого ручей, клубясь, скатывается в ущелье. Он ценит меня, как солдат ценит надежное оружие, но и только. Пока я не замужем за ним, меня это ничуть не удручает, но как могу я позволить, чтобы его расчеты увенчались успехом, чтобы он и глазом не моргнув привел в исполнение свой план, чтобы брачная церемония состоялась? Смогу ли я принять от него обручаль-

ное кольцо, стерпеть все положенные формы любви (которые, без малейшего сомнения, будут скрупулезно соблюдаться), зная, что его душа остается холодно безучастной? Смогу ли я стерпеть мысль о том, что каждое его ласковое слово — это жертва, приносимая во имя принципа? Нет, такое мученичество слишком чудовищно! Я никогда не соглашусь на подобное. Как сестра я бы могла его сопровождать, как жена — никогда! Так я ему и скажу».

Я поглядела выше по склону, туда, где он лежал среди вереска. Лежал он неподвижно, точно опрокинутая колонна. Лицо его было обращено ко мне, глаза смотрели напряженно и зорко. Он встал и направился ко мне.

— Я готова поехать в Индию, но только если не буду связана ничем.

— Твой ответ требует пояснений, — сказал он. — В нем нет ясности.

— До сих пор ты был моим названым братом, я — твоей названой сестрой, пусть же все так и останется. В брак нам лучше не вступать.

Он покачал головой.

— Названое родство тут не подходит. Будь ты моей настоящей сестрой, все было бы иначе: я мог бы взять тебя с собой и не искать жены. В

настоящих же обстоятельствах либо наш союз будет скреплен священными узами брака, либо он невозможен. Любой другой план столкнется с непреодолимыми препятствиями. Неужели ты не понимаешь, Джейн? Подумай немного, и твой ясный здравый смысл послужит тебе советчиком.

Я подумала, но мой здравый смысл, каким бы он ни был, указал мне лишь на тот факт, что мы с Сент-Джоном не любим друг друга, как положено мужу и жене, а потому, заключил он, вступать в брак нам не следует. Я так и объяснила.

— Сент-Джон, — сказала я, — я считаю тебя братом, ты меня — сестрой, пусть так и останется.

— Невозможно, нет, невозможно! — возразил он резко и бесповоротно. — Ничего не получится. Но вспомни, ты же сказала, что поедешь со мной в Индию, ты это сказала!

— На определенном условии.

— Ну что же. Против главного — покинуть со мной Англию, быть помощницей в моих будущих трудах, ты не возражаешь. Ты практически уже взялась за ручки плуга, и ты их не выпустишь: такая переменчивость не в твоей натуре. А думать ты должна только об одном: как наилучшим образом выполнить начатую работу. Упрости свои сложные побуждения, чувства, мысли, же-

лания, цели, подчини все соображения единому долгу, требующему, чтобы ты успешно, прилагая все силы, исполнила долг, возложенный на тебя твоим великим Владыкой. Для этого тебе необходим сподвижник, и не брат — эти узы слишком непрочны, — но муж. Мне тоже сестра не нужна: сестру у меня могут в любую минуту отнять. Мне нужна жена, единственная помощница, на которую я могу полагаться всю жизнь, так как она останется безраздельно моей до смерти.

Слушая его, я дрожала. Я ощущала, как его воля пронизывает меня до мозга костей, как его влияние сковывает меня по рукам и ногам.

— Поищи ее в ком-нибудь другом, Сент-Джон, поищи ту, что создана для тебя.

— Создана для моей цели, хочешь ты сказать, создана для моего призвания. Вновь я повторяю, что предлагаю тебе брак не с ничтожным индивидом, всего лишь человеком с мелкими суетными эгоистическими желаниями, но с миссионером.

— Я отдам миссионеру все мои силы, ему требуются только они! Но себя — нет. Это значит лишь добавить шелухи и мякины к зерну. Ему они не нужны, и я оставлю их себе.

— Этого ты не можешь, не должна! Ты полагаешь, Богу достаточно лишь половины? И он

примет жертву с изъянами? Я солдат Бога и призываю тебя под его знамя. И не могу принять от Его имени неполную клятву. Ты должна предаться Ему всецело.

— О! Я отдам свое сердце Богу, — сказала я. — Ведь тебе оно не нужно.

Не поклянусь, читатель, что в тоне, каким я произнесла эту фразу, и в чувстве, ее подсказавшем, совсем не было сарказма. До этой минуты я питала к Сент-Джону немой страх, так как не понимала его. Он вызывал у меня благоговейный трепет, так как держал меня в постоянном недоумении. И поэтому я не могла решить, сколько в нем было от святого, а сколько от простого смертного. Однако в течение этой беседы мне многое открылось, его характер обнажился перед моими глазами. Я увидела его недостатки, я постигла их суть. Я поняла, что на поросшем вереском бугорке я сижу у ног человека, столь же несовершенного, как я сама, какой бы совершенной ни была его красота. Покров спал с его черствости и деспотизма. Обнаружив в нем эти качества, я почувствовала, насколько он далек от идеала, и обрела смелость. Я разговаривала с равным мне, с тем, с кем могу спорить, кому, если сочту, что так лучше, могу противостоять.

Он хранил молчание, и вскоре я осмелилась поднять глаза на его лицо. Устремленные на меня глаза выражали суровое изумление и недоуменный вопрос. «Она позволяет себе быть саркастичной? — казалось, говорили они. — Саркастичной со мной?! Что это значит?»

— Не станем забывать, что речь идет о святом деле, — сказал он затем. — Говорить и думать о нем без почтения граничит с кощунством. Уповаю, Джейн, ты искренна, когда говоришь, что отдашь свое сердце Богу. Ничего иного мне и не надо. Стоит тебе отвратить свое сердце от человеков и отдать его своему Творцу, как твоей главной радостью, сосредоточением всех твоих усилий станет утверждение Его духовного царствия на земле. И ты будешь готова тотчас исполнить все, что способствует этой цели. Ты убедишься, сколь увеличит твои и мои усилия наше физическое и духовное единение в браке, единственном союзе, который придает характер постоянства судьбам и предназначениям людей. И, презрев мелочные причуды, ничтожные помехи и тонкости чувств, все сомнения по поводу степени, рода, силы или нежности того, что является не более чем капризом личных склонностей, ты не медля поспешишь вступить в этот союз.

— Да? — спросила я коротко и посмотрела на его лицо, такое гармоничное в своей красоте, но странно грозное из-за суровой неподвижности — на лоб, властный, но свидетельствующий о замкнутости, на глаза, сверкающие, глубокие, проницательные, но никогда не смягчающиеся, на его высокую внушительную фигуру, — и попыталась вообразить себя его женой. Нет, это невозможно! В качестве его помощницы, соратницы — другое дело. Я могла бы переплыть с ним через океан, трудиться под восточным солнцем, в азиатских пустынях. Могла бы восхищаться его мужеством, истовостью его веры, его энергией, стараясь по мере сил подражать им; могла бы кротко уступать его властности, невозмутимо улыбаться его неискоренимому честолюбию, отличать в нем христианина от человека, глубоко почитать первого и искренне прощать второго. Несомненно, трудясь с ним даже в этом качестве, я часто страдала бы, мое тело испытывало бы довольно тяжкий гнет, однако мой ум и сердце были бы свободны. У меня по-прежнему оставалась бы моя непорабощенная личность, я все так же владела бы моими чувствами и могла бы искать у них утешения в минуты тоски. В моей душе было бы убежище, доступное лишь мне

одной, закрытое для него, и там, в безопасности, зеленели бы ростки чувств, которые не были бы засушены его суровостью, не были бы растоптаны размеренной поступью воина, шагающего вперед под своим знаменем. Но быть его женой — всегда рядом с ним, и всегда подвластной, и всегда под надзором, вынужденной непрерывно гасить огонь моей натуры, прятать его внутри себя и не позволять вырваться даже единому крику, хотя пленное пламя пожирало бы один жизненно важный орган за другим, — вот это было бы нестерпимо.

— Сент-Джон! — воскликнула я при этой мысли.

— Да? — спросил он ледяным тоном.

— Повторяю: я охотно поеду с тобой как твоя соратница, но не как твоя жена. Я не могу выйти за тебя замуж и стать твоей половиной.

— Стать моей половиной ты должна, — ответил он неумолимо, — иначе все это пустые слова. Как могу я, мужчина, еще не достигший тридцати лет, взять с собой в Индию девятнадцатилетнюю девушку, если она не связана со мной узами брака? Как сможем мы все время быть вместе, иногда в безлюдии, иногда среди диких племен, не будучи женаты?

— Но ведь, — возразила я резко, — в подобных обстоятельствах с тобой вполне могла бы быть либо твоя настоящая сестра, либо товарищ-священник.

— Известно, что ты мне не сестра. И выдавать тебя за нее я не могу — подобная попытка навлекла бы на нас опасные подозрения. Ну а что до остального, то пусть ум у тебя энергичный, мужской, однако сердце женское и… Короче говоря, это бессмысленно.

— Вовсе нет, — заявила я с некоторым пренебрежением. — У меня женское сердце, но тебя оно не касается. Тебе я предлагаю товарищескую верность, солдатскую взаимную поддержку, преданность, братство, если хочешь. Уважение и покорность послушника своему наставнику, больше ничего, можешь не опасаться.

— Это мне и нужно, — сказал он, словно говоря сам с собой. — Именно это мне и нужно. Все препятствия должны быть сметены. Джейн, ты не пожалеешь, если станешь моей женой, можешь не сомневаться. Но пожениться мы должны. Должны! Повторяю: другого выхода нет, и, без сомнения, в браке придет и любовь, которая сделает этот союз праведным даже в твоих глазах.

— Я презираю твое понятие о любви! — неволь-

но воскликнула я, вскочила и прислонилась спиной к валуну прямо перед ним. — Я презираю фальшивое чувство, которое ты предлагаешь. Да-да, Сент-Джон, и презираю тебя, когда ты его предлагаешь.

Он пристально посмотрел на меня, крепко сжимая красивые губы. Нельзя было понять, рассержен он, удивлен или им управляет еще какое-то чувство. Владеть своим лицом он умел в совершенстве.

— Я не ждал услышать от тебя это слово, — сказал он. — По-моему, я не сделал ничего и не предложил ничего, заслуживающего презрения.

Меня тронул его мягкий тон и ошеломило высокое спокойствие его лица.

— Прости мне эти слова, Сент-Джон, но ты сам виноват, что я была вынуждена говорить с такой запальчивостью. Ты коснулся темы, которая нам противопоказана, столь разное она для нас означает. Самое слово «любовь» для нас — яблоко раздора. Если бы мы поступили по-твоему, что делали бы, что чувствовали? Дорогой кузен, оставь мысль о нашем браке. Забудь ее.

— Нет, — сказал он, — это давно лелеемая мысль и единственный план, который может обеспечить достижение моей великой цели. Но

пока я не стану больше убеждать тебя. Завтра я уезжаю в Кембридж, там есть друзья, с которыми мне хочется попрощаться. Я буду отсутствовать две недели. Употреби это время, чтобы обдумать мое предложение, и не забывай, что, отвергнув его, ты откажешь не мне, а Богу. С моей помощью Он открывает тебе доступ к благороднейшей деятельности, но участвовать в ней ты можешь, только если станешь моей женой. Откажись стать моей женой, и ты обречешь себя на эгоистичное благополучие и бесплодное прозябание. Трепещи: ведь ты можешь быть сопричислена к тем, кто отрекается от веры и хуже язычников.

Он кончил и, отвернувшись от меня, «взглянул на реку, взглянул на холмы».

Теперь все его чувства были замкнуты у него в сердце: я была недостойна приобщения к ним. Пока я шла рядом с ним домой, его каменное молчание яснее слов говорило о его отношении ко мне: разочарование сухой и деспотичной натуры, встретившей сопротивление там, где ждала покорности; неодобрение холодного категоричного ума, который столкнулся с чувствами и взглядами, для него неприемлемыми. Короче говоря, как человек он постарался бы принудить меня к повиновению и лишь как истинный христианин

с таким терпением сносил мое возмутительное упрямство и дал мне столь продолжительный срок для размышлений и раскаяния.

Вечером, поцеловав сестер, он не счел нужным даже пожать мне руку и молча покинул комнату. Меня больно ранила такая подчеркнутая забывчивость — пусть я не любила его, но питала к нему самую теплую дружбу, — настолько ранила, что мне на глаза навернулись слезы.

— Вижу, Джейн, вы с Сент-Джоном поссорились во время вашей прогулки по вересках, — сказала Диана. — Но пойди за ним. Он медлит в коридоре, дожидаясь тебя, и хочет помириться.

В подобных обстоятельствах я забываю о гордости и всегда предпочту мир в душе оскорбленному достоинству. Я побежала за ним. Он стоял у лестницы.

— Спокойной ночи, Сент-Джон, — сказала я.

— Спокойной ночи, Джейн, — ответил он невозмутимо.

— Так пожмем друг другу руки, — добавила я.

Как холодно и небрежно прикоснулся он к моим пальцам! Его глубоко задело случившееся днем. Сердечность не могла растопить его льда, а слезы — растрогать. Радостное примирение с ним было невозможно — ни ободряющей улыбки,

ни ласкового слова. Тем не менее христианин хранил терпение и безмятежность духа, и когда я спросила, прощает ли он меня, он ответил, что не имеет привычки затаивать досаду и что ему нечего прощать, так как он не был обижен.

Ответив так, он поднялся по лестнице. Я предпочла бы, чтобы он свалил меня с ног ударом кулака.

Глава 35

На следующий день, вопреки своим словам, в Кембридж он не уехал. Отложил отъезд на неделю и всю эту неделю показывал мне, какой суровой каре хороший, но безжалостный, добродетельный, но неумолимый человек может подвергнуть обидевших его. Без единого открыто враждебного поступка, без единого упрека он ежеминутно внушал мне, что я навсегда лишилась его расположения.

Нет, Сент-Джон не затаил в душе нехристианскую мстительность, нет, он бы и пальцем меня не тронул, даже будь у него такая власть. И натура, и принципы не позволили бы ему снизойти до столь низменного сведения счетов: он простил мой выкрик, что я презираю его и его любовь, но он не забыл и не смог бы забыть до конца своих или моих дней. Когда он оборачивался ко мне, я видела по его лицу, что мои слова горят в воздухе между мной и им. О чем бы я ни говорила, он слышал их в моем голосе, и эхо их отзывалось в каждом ответе мне.

Он не избегал разговоров со мной и даже каж-

дое утро приглашал меня заниматься за его столом. Боюсь, грешный человек в нем получал удовольствие, чуждое и неприемлемое для истинного христианина, от того, с каким искусством он, хотя говорил и вел себя словно бы совсем как обычно, умел лишить каждое свое действие, каждую фразу того интереса и одобрения, какие прежде сообщали некое суровое обаяние его речи и манерам. Мне он теперь и правда казался сотворенным не из плоти, а из мрамора. Его глаза были холодными сверкающими голубыми сапфирами, его язык — орудием речи, и только.

Для меня все это было пыткой, утонченной, нескончаемой пыткой. Во мне тлел огонь негодования, я трепетала от безутешного горя, оно терзало и сокрушало меня. Я ощущала, как, будь я его женой, этот хороший человек, чистый, подобно подземному не озаренному солнцем роднику, вскоре убил бы меня, не пролив ни капли моей крови, и его незапятнанная кристальная совесть осталась бы такой же кристальной. Особенно я чувствовала это, когда пыталась умилостивить его. Мое раскаяние не встречало ответа. Отчуждение между нами ему страданий не причиняло, он не испытывал потребности помириться. И хотя не раз мои быстро капающие слезы испещ-

ряли страницы, над которыми мы наклонялись вместе, они никак его не трогали, будто сердце у него и правда было каменным или железным. С сестрами же он был чуть ласковее обычного, словно опасался, что одной холодности мало, чтобы показать мне, какой отверженной я стала, а потому прибегал к контрасту. И я убеждена, что поступал он так не по злобе, а из принципа.

Накануне его отъезда, увидев на закате, что он прогуливается в саду, я вспомнила, что этот человек, как он ни отдалился от меня теперь, однажды спас мне жизнь, что он мой близкий родственник, и мной овладело желание сделать последнюю попытку вернуть его дружбу. Я вышла из дома и направилась туда, где он теперь стоял, облокотившись на калитку, и без обиняков сказала:

— Сент-Джон, я несчастна, потому что ты все еще сердишься на меня. Будем друзьями.

— Я надеюсь, что мы уже друзья, — последовал холодный ответ, и он продолжал смотреть на восходящую луну.

— Нет, Сент-Джон, между нами нет прежней дружбы, и ты это знаешь.

— Разве? Ничего подобного. Со своей стороны я не желаю тебе ничего, кроме самого хорошего.

— Верю, Сент-Джон. Я убеждена, что ты не способен никому желать зла. Но как твоей родственнице мне хотелось бы большего, чем та благожелательность, с которой ты относишься ко всем посторонним людям.

— Разумеется, — сказал он, — твое желание разумно, и я отнюдь не считаю тебя посторонней.

Произнесено это было невозмутимым равнодушным тоном, ранящим и ставящим в тупик. Если бы я послушалась гордости и гнева, то немедленно ушла бы от него, но что-то во мне было сильнее их. Я глубоко почитала дарования и принципы моего кузена. Его дружба была мне дорога. Ее потеря глубоко меня ранила. И я не хотела так легко отказаться от попытки вернуть ее.

— Неужели мы должны расстаться вот так, Сент-Джон? И когда ты уедешь в Индию, то оставишь меня, не сказав на прощание слов, добрее этих?

Теперь он отвернулся от луны и посмотрел мне в лицо.

— Оставлю тебя, когда уеду в Индию, Джейн? Как! Разве ты не едешь в Индию?

— Ты ведь сказал, что поехать я могу только как твоя жена.

— Ты не выйдешь за меня? Ты тверда в своем

решении?

Читатель, известно ли тебе, как мне, какой ужас внушает лед, который такие холодные люди умеют вложить в свой вопрос? Какой лавиной обрушивается их гнев? Насколько их неудовольствие подобно буре, взламывающей льдины замерзшего моря?

— Нет, Сент-Джон, я не выйду за тебя, мое решение твердо.

Лавина сдвинулась, нависла, но еще не обрушилась.

— Объясни свой отказ еще раз.

— Прежде причина была в том, что ты меня не любишь, теперь же она в том, что ты меня почти ненавидишь. Если я выйду за тебя, ты меня убьешь. Ты и сейчас убиваешь меня.

Его щеки и губы побелели, стали белее мела.

— Я… убью тебя? Я тебя убиваю? Как ты можешь употреблять такие слова? В них полно злобы, не подобающей женщине, и лжи. Они говорят о прискорбном состоянии духа и заслуживают суровейшего порицания. Их можно назвать неизвинительными, однако долг человека — прощать ближним своим хотя бы до седмижды семидесяти раз.

Я довершила начатое. Изо всех сил тщась сте-

реть из его памяти следы первой обиды, я теперь оставила на ее неподдающейся поверхности еще один, даже более глубокий, отпечаток, неизгладимый, как выжженное клеймо.

— Вот теперь ты и правда меня возненавидишь, — сказала я. — Бесполезно искать примирения с тобой. Я вижу, ты стал моим вечным врагом.

Эти слова нанесли новый удар, и даже худший, так как граничили с правдой. Бескровные губы судорожно искривились. Я понимала, какой неумолимый гнев пробудила, и у меня мучительно сжалось сердце.

— Ты неверно толкуешь мои слова, — сказала я, беря его за руку. — Я не хочу ни огорчать тебя, ни причинять тебе боль. Поверь мне, поверь!

Как горько он улыбнулся, как решительно вырвал руку!

— Полагаю, теперь ты возьмешь назад свое обещание поехать в Индию? — сказал он после долгой паузы.

— Нет, я поеду. Как твоя помощница.

Наступило очень долгое молчание. Не могу судить, какая борьба происходила в нем между человеческой природой и милосердием. Лишь в глазах у него появлялся и исчезал непонятный блеск, лишь странные тени скользили по его

лицу. Наконец он заговорил:

— Я уже указывал тебе, насколько нелепо даже думать, чтобы незамужняя женщина твоего возраста сопровождала за границу неженатого мужчину моих лет. Я изложил тебе все неопровержимые доводы настолько ясно, что, казалось бы, ты постыдишься вновь упоминать про свой план. Мне очень жаль, что я ошибся, — жаль тебя.

Я перебила его. Прямой упрек тотчас придал мне смелости.

— Постарайся мыслить здраво, Сент-Джон. Ты говоришь вздор. Делаешь вид, будто возмущен тем, что я сказала. Но ведь это не так. Столь умный человек, как ты, не может быть столь туп или столь самодоволен, чтобы истолковать мои слова превратно. Я повторяю: я буду твоей помощницей, если ты пожелаешь, но женой — никогда.

Вновь он смертельно побледнел, но, как и раньше, сумел справиться со своим гневом. Ответил он с силой, но невозмутимым тоном:

— Помощница в моей миссии, если только она не моя жена, мне не нужна. Значит, поехать со мной ты не можешь. Однако, если твое предложение искренно, в Кембридже я поговорю с каким-нибудь женатым миссионером, чья жена

нуждается в помощнице. Ты достаточно богата, чтобы обойтись без вспомоществования Миссионерского общества, и таким образом у тебя будет возможность избежать бесчестного нарушения данного тобой обещания и не изменить воинству, в чьи ряды ты обязалась вступить.

Как известно тебе, читатель, я никакого обещания не давала и не брала на себя никаких обязательств. Для подобной категоричности и тираничности ни малейших оснований не было. Я ответила:

— Ни о бесчестности, ни о нарушении обещания, ни об измене здесь не может быть и речи. Я вовсе не обязана ехать в Индию, а тем более с незнакомыми людьми. С тобой я осмелилась бы на многое, потому что восхищаюсь тобой, полагаюсь на тебя и, как сестра, люблю. Тем не менее у меня нет сомнений, что в этом климате, когда бы и с кем бы я туда ни отправилась, жить мне останется недолго.

— А, так ты боишься за себя! — сказал он, и его губы искривились.

— Да. Бог дал мне жизнь не для того, чтобы я пренебрегла ею, а мне начинает казаться, что уступить твоим настояниям почти равносильно самоубийству. Кроме того, прежде чем покинуть

Англию, я должна узнать, не принесу ли я больше пользы, если останусь в ее пределах.

— Не понимаю.

— Объяснить невозможно, но есть одно сомнение, которое давно меня терзает, и я никуда не могу уехать, пока не разрешу его тем или иным способом.

— Мне известно, к чему тяготеет твое сердце, чего оно ищет. Интерес, который владеет тобой, противозаконен и кощунственен. Тебе давно следовало подавить его, и ты должна стыдиться упоминать о нем. Ты ведь думаешь о мистере Рочестере?

Он не ошибся, и мое молчание подтвердило его догадку.

— Ты намерена увидеться с мистером Рочестером?

— Я должна узнать, что с ним произошло.

— В таком случае, — сказал он, — мне остается лишь поминать тебя в моих молитвах, со всем смирением ходатайствуя перед Богом, чтобы ты не стала поистине отверженной. Мне мнилось, я узнал в тебе одну из избранных, но Бог видит не так, как дано человеку: да свершится воля Его.

Он открыл калитку, вышел в нее и вскоре исчез из виду за изгибом лощины.

Я вернулась в гостиную и увидела, что Диана задумчиво стоит у окна. Диана много выше меня ростом. Она положила ладони мне на плечи и нагнулась, всматриваясь в мое лицо.

— Джейн, — сказала она, — последнее время ты выглядишь такой бледной и расстроенной! Я уверена, этому есть причина. Скажи, что происходит между тобой и Сент-Джоном? Я полчаса наблюдала за вами из окна. Прости мне такое подглядывание, но я уже долгое время подозреваю сама не знаю что. Сент-Джон — особенный человек…

Она замолчала, но я ничего не ответила, и после паузы она продолжала:

— Мой брат строит какие-то планы, касающиеся тебя, в этом я уверена. Он давно отличает тебя вниманием и интересом, каких никогда ни к кому не проявлял. В чем же причина? Я бы хотела, чтобы он полюбил тебя, Джейн. Это так?

Я прижала ее прохладную ладонь к моему пылающему лбу.

— Нет, Ди, вовсе нет.

— Тогда почему же его глаза все время следят за тобой? Почему он проводит столько времени наедине с тобой и почти не отпускает от себя? Мы с Мэри обе заключили, что он хочет жениться

на тебе.

— Да, это так. Он просил меня стать его женой.

Диана захлопала в ладоши.

— Именно то, на что мы надеялись, чего хотели! И ты выйдешь за него, Джейн, правда? И тогда он останется в Англии!

— Ничего подобного, Диана. Предложение он мне сделал только для того, чтобы обзавестись подходящей помощницей для своих трудов в Индии.

— Как! Он хочет, чтобы ты поехала в Индию?

— Да.

— Просто безумие! Ты там и трех месяцев не проживешь, я в этом уверена. Ты не поедешь туда! Ты ведь не согласилась, верно, Джейн?

— Я отказалась выйти за него замуж…

— Чем рассердила его? — предположила она.

— Очень. Боюсь, он никогда меня не простит. Хотя я предложила сопровождать его как сестра.

— И поступила бы как сумасшедшая, Джейн! Подумай, какие обязанности ты взяла бы на себя. Как уставала бы ты там, где усталость убивает даже сильных, а ты ведь слабенькая. Сент-Джон — ты же его знаешь! — требовал бы от тебя невозможного. И не позволял бы отдыхать в жаркие часы. А я заметила, что, к несчастью, ты вынуж-

даешь себя подчиняться всему, чего бы он ни потребовал. И я удивляюсь, как у тебя достало смелости отказать ему. Ты его не любишь, Джейн?

— Не как мужа.

— Но ведь он очень красив.

— А я дурнушка, Ди. Мы не подходим друг другу.

— Дурнушка? Ты? Ничего подобного. Ты не только слишком хороша душой, но и слишком миловидна, чтобы заживо поджариться в Калькутте. — И она опять со всей серьезностью стала настаивать, чтобы я оставила всякую мысль о том, чтобы уехать с ее братом.

— Об этом и речи нет, — сказала я. — Ведь только что, когда я предложила быть его служкой, он изъявил глубокое негодование: как я могла настолько забыть о нравственности! Он, видимо, думает, что я поступила неприлично, предложив поехать с ним, оставаясь незамужней. Словно бы я с самого начала не надеялась обрести в нем брата и не привыкла с тех пор относиться к нему как к брату.

— Но почему ты полагаешь, что он тебя не любит, Джейн?

— Слышала бы ты, что он говорил об этом! Вновь и вновь втолковывал мне, что ищет супру-

гу не для себя, а во имя своей миссии. Он прямо сказал мне, что я создана для труда. А не для любви. Вероятно, так оно и есть. Но, по-моему, раз я не создана для любви, из этого следует, что я не создана и для брака. Ди, ведь недопустимо оказаться на всю жизнь связанной с человеком, который видит в тебе лишь полезное орудие.

— Невыносимо, противоестественно… Об этом даже говорить смешно!

— Кроме того, — продолжала я, — хотя пока моя привязанность к нему остается чисто сестринской, если мне придется стать его женой, по-моему, не исключено, что у меня возникнет невольная, необычная, мучительная любовь к нему — ведь он так одарен и так часто в его облике, манерах, словах ощущается героическое величие! И вот тогда мой жребий стал бы невыразимо тяжким! Он не пожелал бы, чтобы я его любила, и если бы я выдала свою любовь, он бы заставил меня почувствовать, насколько она не нужна ему и как мало прилична мне. Я знаю, так было бы!

— И тем не менее Сент-Джон — хороший человек, — сказала Диана.

— И хороший, и великий, но он безжалостно забывает о чувствах и правах заурядных людей,

преследуя собственные великие цели. А потому маленьким людям лучше не оказываться у него на дороге, иначе, устремляясь вперед, он может и растоптать их. Он возвращается! Я должна оставить тебя, Диана!

Он вошел в сад, я поспешила к себе наверх.

Однако мне пришлось встретиться с ним за ужином. Он казался таким же сдержанно-спокойным, как обычно. Я полагала, что он будет меня игнорировать, и не сомневалась, что он оставил свои брачные планы. Дальнейшее показало, что я ошиблась как в отношении одного, так и в отношении другого. Он обращался ко мне совершенно так, как всегда, а вернее, в манере последних дней — с безупречной вежливостью. Без сомнения, он воззвал к Святому Духу, чтобы подавить гнев, который я в нем пробудила, и поверил, что простил меня еще раз.

Для чтения перед вечерними молитвами он выбрал двадцать первую главу «Откровения». Всегда было удовольствием слушать, как он произносит слова Священного Писания: ведь никогда его голос не казался одновременно таким проникновенным и звучным, никогда его манера чтения не достигала такой внушительности в своей благородной простоте, как в минуты,

когда он произносил речения Божьи. А в этот вечер его голос обрел новую торжественность, чтение особенно волновало душу. Он сидел в своем домашнем кругу (в незанавешенное окно лила лучи майская луна, делая почти ненужной свечу, горевшую на столе), сидел, склоняясь над большой старинной Библией, и читал о видении нового неба и новой земли, пророчествовал, как Бог будет обитать с людьми, как он отрет с очей их всякую слезу, и обещал, что не будет более ни смерти, ни печали, ни плача и никакого страдания, ибо прежнее прошло.

Однако следующие слова преисполнили меня странным трепетом, тем более что чуть заметная, не поддающаяся описанию перемена в его голосе сказала мне, что его глаза обратились на меня, пока он произносил их.

«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же, — прочел он особенно внятно, — и неверных… участь в озере, горящем огнем и серою; это смерть вторая».

Теперь мне стало ясно, какой судьбы опасается для меня Сент-Джон.

Тихое затаенное торжество и истовое благочестие прозвучали в том, как он прочел дивное завершение этой главы. Он, несомненно, верил,

что имя его уже вписано у Агнца в книге жизни, и жаждал того часа, когда будет допущен в град, в который цари земные принесут славу и честь свою, который не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец.

В молитву, которая последовала за чтением, он вложил всю свою энергию, всю суровую ревностность — не допуская сомнений, боролся он с Богом, веруя в победу. Он молился о ниспослании силы слабодушным, о возвращении в стадо заблудившихся овец, о возвращении на узкий путь даже в одиннадцатый час тех, кого мирские соблазны и искушения плоти прельстили свернуть с него. Он молил, просил, требовал, чтобы даровано было ему выхватить головню из пламени. Ревностность всегда победительна. Слушая эту молитву, сначала я удивлялась его истовости, потом, по мере того как он становился все истовее, я была тронута, а затем почувствовала благоговейный страх. Он так искренне ощущал величие и благостность своей цели, что те, кто слушал его мольбу, не могли в свою очередь не почувствовать их.

По завершении молитвы мы попрощались с ним — он должен был уехать на рассвете. Диана

с Мэри, поцеловав его, вышли из комнаты — мне кажется, выполняя его просьбу, высказанную шепотом. Я протянула руку и пожелала ему доброго пути.

— Благодарю тебя, Джейн. Как я говорил, из Кембриджа я вернусь через две недели. Значит, у тебя еще есть этот срок для размышления. Если бы я слушал голос человеческой гордости, я не сказал бы тебе больше ни слова о браке со мной, но я слушаю голос моего долга и вижу перед собой мою главную цель: делать все к вящей славе Господней. Мой Владыка был многотерпелив, и я следую его примеру. Я не могу допустить, чтобы ты погибла аки сосуд гнева; раскайся, решись, пока еще есть время. Помни, нам повелено делать дела, доколе есть день, нас предостерегли, что «приходит ночь, когда никто не может делать». Вспомни судьбу богатого, получившего свое сокровище в жизни сей. Господь же дает тебе силу избрать для себя благую часть, которую у тебя никто не отнимет.

Произнося последние слова, он возложил руку мне на голову. Говорил он искренне, коротко. Нет, его взор не был взором, каким любящий смотрит на любимую, но взором пастыря, отыскивающего свою заблудившуюся овечку, а вернее — взором

ангела-хранителя, бдящего над порученной ему душой.

Всякому наделенному талантом человеку, чувствителен он или нет, ревностен или вдохновлен или же деспотичен, всегда (при условии, что он искренен) выпадают высочайшие мгновения, когда он покоряет и властвует. Сент-Джон внушал мне благоговение — столь сильное, что оно во мгновение ока ввергло меня в состояние, которого я так долго избегала. Я почувствовала искушение перестать сопротивляться ему, унестись с потоком его воли в бездну его бытия и потерять в ней свою сущность. Я теперь почти так же покорилась ему, как однажды по-иному покорилась другому. И оба раза я была дурочкой. Уступить тогда — значило бы предать нравственные начала, уступить сейчас — значило предать собственную волю. Так я думаю в этот час, когда оглядываюсь на эту критическую минуту сквозь даль времени, все ставящего на свои места. В тот миг я не сознавала своей глупости.

Я замерла под дланью моего наставника. Мои отказы были забыты, страхи побеждены, сопротивление подавлено. И Невозможное — то есть мой брак с Сент-Джоном — обернулось Возможным. Все мгновенно переменилось. Вера

призывала, ангелы простирали ко мне руки, Бог повелевал, жизнь свернулась в тугой свиток — врата смерти распахнулись, открыв лежащую за ними вечность, и казалось, что ради спасения и блаженства там все, что здесь, следовало без колебаний принести в жертву. Сумеречную комнату заполнили видения.

— Не могла бы ты решить сейчас? — спросил миссионер самым ласковым тоном и столь же ласковым движением привлек меня к себе. О ласковость! Насколько она могущественнее силы! Я могла противостоять гневу Сент-Джона, его доброта превращала меня в гибкий тростник. И тем не менее я ни на минуту не забывала, что, покорившись теперь, я все равно когда-нибудь должна буду поплатиться за свой прежний бунт. Один час молитвы не изменил его натуру, а только возвысил.

— Я могла бы решить сейчас, — ответила я, — будь у меня полная уверенность, что брак между нами — это воля Божья. Я бы сейчас же поклялась стать твоей женой, а там будь что будет!

— Мои молитвы услышаны! — воскликнул Сент-Джон и крепче прижал ладонь к моей голове, словно объявляя меня своей. Потом обнял меня — почти так, словно любил. Я говорю «по-

чти», улавливая разницу: ведь я знала, что такое быть любимой. Однако, подобно ему, я теперь отвергла любовь и думала только о долге. И стараясь побороть туман, все еще застилавший мой внутренний взор, я искренне, глубоко, горячо жаждала поступить правильно — и только этого. «Покажи! Покажи мне путь!» — мысленно молила я небеса. Никогда еще я не испытывала подобного волнения, так пусть читатель судит, было ли то, что последовало, лишь плодом разгоряченного воображения.

В доме стояла глубокая тишина — полагаю, все, кроме нас с Сент-Джоном, уже отошли ко сну. Единственная свеча догорала, комнату заливал лунный свет. Мое сердце билось часто и сильно — я слышала его стук. Внезапно оно замерло от невыразимого ощущения, которое заполнило его, тут же достигнув головы и разлившись по всему телу. Ощущение это не было подобно электрическому удару, однако по резкости, силе и необъяснимости не уступало ему. Казалось, прежнее возбуждение всех моих чувств было лишь сонной одурью, от которой их теперь принудили очнуться. Все они необычайно обострились, зрение и слух ожидали чего-то, я вся трепетала.

— Что ты услышала? Что ты видишь? — спро-

сил Сент-Джон.

Я ничего не видела, но я услышала голос, где-то звавший: «Джейн! Джейн! Джейн!» И только.

— О Боже! Что это? — ахнула я.

Вернее, мне следовало бы сказать: «где это?» Ибо звуки раздались не в комнате, и не в доме, и не в саду. Они донеслись не из воздуха, и не из-под земли, и не с небосвода. Я услышала их — откуда, из какого «когда», постигнуть невозможно. И это был человеческий голос — знакомый, любимый, незабвенный, — голос Эдварда Фэрфакса Рочестера. В нем звучали боль и горе, он звал отчаянно, жутко, настойчиво.

— Я иду! — закричала я. — Подожди меня! Я иду! Иду!

Бросившись к двери, я выглянула в коридор. Там было темно. Я выбежала в сад, там было пусто.

— Где ты? — вскричала я.

Холмы за Марш-Гленом еле слышно отозвались в ответ: «Где ты?»

Я прислушалась. В елях вздыхал ветер. Ничего, кроме безлюдья пустошей и полуночной тишины.

«Прочь, суеверие! — приказала я черному призраку, возникшему из черного тиса у калитки.

— Это не твой обман, не твои злые чары! Это Природа! Она пробудилась и сотворила… нет, не чудо, но то, что в ее власти».

Я вырвалась от Сент-Джона, который последовал за мной и хотел меня остановить. Настал мой миг одержать верх. Мои силы вступили в бой, и я бесстрашно велела ему ни о чем меня не спрашивать и ничего не говорить. Я потребовала, чтобы он ушел: я должна остаться одна. Непременно! Он сразу подчинился. Когда хватает силы приказать, нельзя не подчиниться. Я поднялась к себе в комнату, заперлась в ней, упала на колени и стала молиться по-своему — не как Сент-Джон, но находя облегчение. Казалось, я приблизилась к Всемогущему Духу, и моя душа, благоговея, устремилась к Его стопам. Возблагодарив Его, я поднялась с колен, приняла решение и легла в постель, обретя мужество, узрев свет. Теперь надо было лишь дождаться утра.

Глава 36

Утро наступило. Я встала с зарей и часа полтора наводила порядок в своей комнате, в ящиках комода и в гардеробе. Я слышала, как из своей комнаты вышел Сент-Джон. Он остановился у моей двери, и я было испугалась, что он постучит в нее. Нет! Однако из-под двери появился сложенный листок бумаги. Я подобрала его. Это была записка:

«Вчера вечером ты ушла от меня слишком неожиданно. Останься ты еще немного, то приняла бы в чаянии крест христианина и ангельский венец. Я буду ждать твоего окончательного решения, когда вернусь через две недели. А тем временем молись и поостерегись впасть в искушение: дух, уповаю, готов, но плоть, я вижу, слаба. Я буду молиться о тебе ежечасно. Твой Сент-Джон».

«Мой дух, — ответила я мысленно, — готов поступить правильно, а моя плоть, надеюсь, достаточно сильна, чтобы исполнить волю Небес, когда эта воля ясно мне откроется. И во всяком случае, у нее хватит сил искать, нащупывать, об-

рести выход из этого облака сомнений под ясный небосвод уверенности».

Был первый день июня, однако утро выдалось пасмурное и прохладное, в мое окно стучали капли дождя. Я услышала, как открылась дверь внизу и Сент-Джон вышел на крыльцо. В окно я смотрела, как он идет по саду. Потом он направился через окутанные туманом вереска к Уайткроссу, чтобы там сесть в почтовую карету.

«Через несколько часов, кузен, и я пройду этой же дорогой, — подумала я. — Я тоже сяду в почтовую карету, мне тоже надо увидеть кое-кого и навести справки кое о ком, прежде чем я покину Англию навсегда».

До завтрака оставалось еще два часа. Все это время я тихонько прохаживалась по своей комнате и размышляла о том, что произошло накануне, придав моим планам их теперешний оборот. Я вспоминала охватившее меня чувство, которое моя память хранила во всей его невыразимой необычности. Я вспоминала голос, который услышала, и вновь спрашивала себя, откуда он донесся, и вновь не находила ответа. Казалось, он звучал внутри меня, а не снаружи. Я спросила себя, не было ли это просто нервное переутомление, иллюзия? Нет, не может быть, я не поверю.

Это больше походило на озарение. На чудесное внезапное землетрясение, которое поколебало основание темницы, где томились Павел и Сила. Оно отворило дверь темницы души, разбило ее оковы, пробудило от сна, и душа воспрянула, трепеща, внимая, ужасаясь. И тогда мой пораженный слух трижды уловил этот зов, проникший в мое содрогающееся сердце и поразивший мой дух, который не устрашился, не содрогнулся, а возликовал, будто от радости, что ему дано свершить нечто без помощи неуклюжего тела.

«В ближайшие дни, — сказала я себе в заключение своих раздумий, — я что-нибудь узнаю о том, чей голос вчера ночью, казалось, звал меня. Письма остались без ответа, надо самой поискать этот ответ».

За завтраком я сообщила Диане и Мэри, что уезжаю и пробуду в отсутствии по меньшей мере четыре дня.

— Ты едешь одна, Джейн? — спросили они.

— Да. Навестить друга, о котором я последнее время тревожусь. Или что-нибудь узнать о нем.

Они могли бы сказать — как, несомненно, подумали, — что у меня словно бы не было иных друзей, кроме них, в чем я постоянно их заверяла. Однако истинная деликатность не позволила им

коснуться этой темы, и Диана только спросила, уверена ли я, что поездка мне по силам. Ведь я очень бледна. Я ответила, что совсем здорова и меня мучает только душевная тревога, которую я надеюсь скоро развеять.

Готовиться к поездке было просто, так как мне не докучали ни расспросами, ни догадками. Когда я объяснила сестрам, что пока не могу сказать ничего определенного о своих намерениях, они с большой добротой и тактом позволили мне заниматься сборами в молчании, мудро предоставив мне ту свободу действий, какую в подобных обстоятельствах я предоставила бы им.

Я покинула Мур-Хаус в три часа пополудни и в начале пятого уже стояла возле столба Уайткросса, ожидая почтовую карету, которая должна была доставить меня в далекий Тернфилд. В тишине, окутывающей эти безлюдные дороги и пустынные холмы, до меня еще издалека донесся стук ее колес. Она оказалась той самой, из которой летним вечером год назад я сошла возле этого столба, исполненная горя, без надежды, без цели! По моему знаку карета остановилась. Я забралась в нее — на этот раз мне не пришлось отдать за проезд все мое достояние. Когда мы покатили в сторону Тернфилда, я почувствовала

себя почтовым голубем, летящим домой.

Поездка заняла тридцать шесть часов. Уайткросс я покинула днем во вторник, а рано утром в четверг карета остановилась у придорожной гостиницы, где предстояло напоить лошадей. Вокруг шелестели листвой живые изгороди, среди пологих холмов простирались широкие луга (какой ласковый, какой зеленый пейзаж в сравнении с суровыми вересковыми пустошами Мортона!). Моему взору они представлялись чертами некогда знакомого лица. Да, я знала эти места и не сомневалась, что моя цель близка.

— Далеко отсюда до Тернфилд-Холла? — спросила я конюха.

— Прямиком через луга, сударыня, аккурат две мили будет.

Я приехала!

Подумав так, я вышла из кареты, поручила мой сундучок заботам конюха, пока я за ним не вернусь, и расплатилась с кучером, не поскупившись на чаевые. Утреннее солнце озарило вывеску гостиницы, и я прочла надпись из вызолоченных букв: «Герб Рочестеров». У меня взыграло сердце — я уже во владениях моего патрона… И тут же оно замерло из-за поразившей меня мысли:

«Твой патрон, возможно, сейчас где-то по ту

сторону Ла-Манша, а если он и в Тернфилд-Холле, куда ты торопишься, кто еще там, кроме него? Его сумасшедшая жена, и тебе там нечего делать. Ты не смеешь искать с ним встречи, разговаривать с ним. Напрасно ты затеяла эту поездку. Никуда не ходи, — настаивал здравый смысл. — Наведи справки в гостинице — и ты узнаешь все, что тебе нужно, сразу же разрешишь все свои сомнения. Подойди вон к тому человеку и спроси, здесь ли мистер Рочестер».

Разумный совет! И все же я не могла заставить себя подчиниться ему: так страшилась я ответа, который мог погрузить меня в бездну отчаяния. Продлить сомнения значило продлить надежду. Ведь я могу еще раз увидеть Тернфилд-Холл в лучах солнца! Прямо передо мной был перелаз, а за ним — те самые луга, через которые я бежала, ослепшая, оглохшая, теряющая разум, преследуемая бичами мстительных фурий, в то утро, когда я покинула Тернфилд. И еще не решив, что мне следует делать, я очутилась на дороге, ведущей через эти луга. Как быстро я шла! А иногда и пускалась бегом. Как жаждала поскорее увидеть такой знакомый парк! Какие чувства охватили меня, когда я узнала деревья и луг и холм между ними!

Вот наконец и опушка парка. И грачиная роща, вся в черных птицах. Тишину утра тут нарушало громкое карканье. Непонятное ликование придало мне силы, и я еще ускорила шаги. Последний луг остался позади, дорога между живыми изгородями — и вот передо мной ограда, службы… Дом все еще заслоняла грачиная роща. «Свой первый взгляд я брошу на фасад, — решила я, — пусть взгляд обрадуют благородные зубцы парапета. Я смогу увидеть окно моего патрона — и вдруг он будет стоять перед ним? Он ведь просыпается рано и, может быть, как раз сейчас прогуливается в плодовом саду или по двору. Если бы мне было дано его увидеть! На один миг! Но, конечно же, я не окажусь настолько безумной, чтобы кинуться к нему? Не знаю… я ни в чем не уверена. А если не удержусь — что тогда? Бог да благословит его! Что тогда? Кому будет плохо, если я вновь пригублю жизнь, которую подарит мне его взгляд?.. Но я брежу. Возможно, в эту минуту он смотрит, как солнце восходит над Пиренеями или над гладью южного моря».

Я прошла вдоль нижней стены плодового сада, свернула за угол к выходящей на лужайку калитке между двух каменных столбов, увенчанных шарами. Из-за одного можно будет тихонечко

посмотреть прямо на фасад дома. Я осторожно вытянула шею, желая проверить, подняты ли уже шторы на каком-нибудь окне. Отсюда моему взгляду откроются парапет, окна, длинный фронтон, а сама я останусь невидимой.

Вверху кружили вороны, возможно, наблюдая за мной, пока я производила эту разведку. Что они думали про меня? Наверное, решили, что сначала я была очень осторожна и робка, а потом постепенно обрела смелость и даже отчаянность. Быстрый взгляд, затем очень долгий, затем я покидаю свой приют и выбегаю на лужайку и окаменеваю перед домом, не отводя от него напряженного взгляда. «Какая боязнь вначале! — могли бы прокаркать вороны. — И какая опрометчивость теперь!»

Вот сходная картина, читатель.

Влюбленный находит свою возлюбленную спящей на зеленой лужайке и хочет полюбоваться ее прекрасным лицом, пока она не пробудилась. Он бесшумно ступает по траве, замирает — ему почудилось, что она шевельнулась, — и пятится: ни за что на свете он не хочет, чтобы она его увидела. Но все тихо, и он вновь идет вперед, наклоняется над ней. Легкое покрывало скрывает ее черты, он откидывает покрывало, нагибается ниже. О,

как предвкушают его глаза узреть чудо красоты в минуту покоя — такую теплую, цветущую, пленительную! Как тороплив их первый взгляд! Но как он вздрагивает! С какой внезапностью и силой обнимает обеими руками ту, к которой за миг до этого не посмел бы прикоснуться и пальцем! С каким отчаянием он называет имя, роняет свою ношу и смотрит на нее безумным взглядом! Он обнимает, он кричит, он смотрит, ибо уже не страшится нарушить ее сон ни голосом, ни движением. Он думал, что его возлюбленная спит сладким сном, и обнаруживает, что она мертва!

Я с робкой радостью посмотрела на величественный дом… и увидела почернелые развалины.

Можно не прятаться за каменным столбом, о да! Не вглядываться в окна, опасаясь, что кто-нибудь выглянет из них! Нет нужды вслушиваться, не открылась ли дверь, не послышались ли шаги по гравию дорожки или плитам двора! Лужайка, сад были истоптаны, на месте двери зияла пустота. Фасад был таким, каким я однажды увидела его во сне, — всего лишь стеной, высокой, разрушающейся, с дырами окон. Ни крыши, ни парапета, ни труб — все обрушилось.

И все окутывало безмолвие смерти — безлюдья

самой унылой пустыни. Неудивительно, что письма, адресованные жившим здесь людям, оставались без ответа — почему бы не отправлять послания в церковный склеп? Страшная чернота развалин объясняла, что сгубило Тернфилд-Холл. Без сомнения, пожар. Но отчего он вспыхнул? Какая история скрывается за этим непоправимым несчастьем? Что еще погибло, кроме штукатурки, мрамора и дубовых панелей? Не погибли ли в огне и жизни? Если да, то чьи? Ужасный вопрос — и некому дать ответ, ни единого немого свидетельства, бессловесного указания.

Бродя вокруг еще торчащих стен и опустошения между ними, я убедилась, что страшный пожар бушевал давно. Зимние сугробы, решила я, наметало в провалы дверей, зимние дожди хлестали в пустые окна: ведь намокшие развалины зазеленели с приходом весны. Между обломками и почернелыми балками пробивался бурьян. Но-о! — где находится злополучный владелец этих руин? В каком краю? Как обошлась с ним судьба? Мой взгляд невольно обратился на серую квадратную колокольню за воротами, и я спросила себя: «Не делит ли он с Дамером де Рочестером его тесный мраморный приют?»

Однако на все эти вопросы, разумеется, су-

ществовали ответы. Найти их я могла только в гостинице, и я поспешила вернуться туда. Завтрак в снятую мной комнату мне подал сам хозяин, почтенный человек в годах. Я попросила его закрыть дверь и сесть — мне надо кое о чем его расспросить. Однако, когда он сел, я никак не могла собраться с духом и начать — слишком велик был ужас перед тем, что я могла узнать. Однако зрелище черных развалин должно было отчасти подготовить меня к самому страшному.

— Вы, конечно, знаете Тернфилд-Холл? — наконец сумела я выговорить.

— Да, сударыня. Я даже служил там.

— Неужели? («Не в мое время, — подумала я. — Мы не знакомы».)

— Я был дворецким покойного мистера Рочестера, — добавил он.

Покойного! Удар, которого я старалась избежать, обрушился на меня со всей силой.

— Покойного! — ахнула я. — Он умер?

— Я говорил про батюшку нынешнего хозяина, мистера Эдварда, — пояснил он.

Я вздохнула свободнее, замершее сердце снова забилось. Эти слова полностью уверили меня, что мистер Эдвард — мой мистер Рочестер (Господи, охрани его, где бы он ни был!), — во всяком

случае, жив, что он, короче говоря, «нынешний хозяин». Благословенные слова! Теперь я смогу выслушать все — каким бы оно ни оказалось — с относительным спокойствием. Раз он не в могиле, то я выдержу, даже услышав, что он у антиподов, решила я.

— А мистер Рочестер сейчас в Тернфилд-Холле? — осведомилась я, разумеется, зная, каким будет ответ, однако не желая спрашивать прямо, где он теперь.

— Нет, сударыня, нет! Теперь там никто не живет. Думается, вы нездешняя, не то знали бы, что приключилось прошлой осенью. От Тернфилд-Холла одни развалины остались: сгорел дотла в самую жатву. Вот уж беда так беда! Сколько ценных вещей погибло, почти ничего вынести не удалось. Загорелось-то в глухую ночь, и когда пожарные приехали из Милкота, пожар бушевал вовсю. Смотреть было жутко. Я ведь и сам там был.

— В глухую ночь! — повторила я. Да, для Тернфилда эти часы всегда были роковыми. — А известно, как он начался? — спросила я.

— Догадки-то есть, сударыня, догадки есть. Да прямо сказать, это точно известно. Может, вы не знаете, — продолжал он, придвигая стул чуть

ближе к столу, — что там содержали взаперти одну даму… сумасшедшую?

— Что-то такое я слышала.

— Ее, можно сказать, прятали, сударыня. Многие так даже сомневались. Ее же никто не видел. Просто годами ходили слухи, что живет такая в Тернфилд-Холле. А кто она да откуда, толком известно не было. Поговаривали, что мистер Эдвард привез ее из чужих краев, так некоторые думали, не любовница ли она ему. Только год назад тут такое дело приключилось! Очень странное дело.

Я испугалась, что буду вынуждена выслушать собственную историю, и попыталась вернуть его к главной теме.

— Так что эта дама?

— Эта дама, сударыня, — ответил он, — оказалась супругой мистера Рочестера! И выяснилось это самым удивительным образом. В доме служила в гувернантках молодая барышня, ну и мистер Рочестер в нее…

— А пожар, пожар? — напомнила я.

— Я к тому и веду, сударыня. Так мистер Эдвард в нее влюбился. Слуги говорили, что никогда не видели, чтобы кто-то так влюблялся. Просто надышаться на нее не мог. Они ведь за ним подсматривали, как у слуг водится, сударыня, так он

от нее без ума был, хотя никто, кроме него, не считал ее писаной красавицей. Говорят, щупленькая такая, ну прямо ребенок. Сам-то я в глаза ее не видел, а вот Лия, она там в горничных служила, про нее рассказывала. Лии она нравилась. Мистеру Рочестеру около сорока, а гувернантке этой еще двадцати не сровнялось, а уж когда джентльмены его возраста влюбляются в молоденьких, так просто кажется, что их околдовали, не иначе. Ну и он возжелал на ней жениться.

— Об этом вы мне расскажете как-нибудь в другой раз, — перебила я. — А пока про пожар, у меня есть особая причина узнать про него побольше. Значит, подозревают сумасшедшую миссис Рочестер?

— Вот-вот, сударыня! Подожгла она, и никто другой, тут сомнений нет. При ней состояла женщина, миссис Пул, умелая в своем деле и надежная, если бы не один грешок, какой водится за ночными сиделками и всеми такими прочими. Держала при себе бутылку джина и порой отхлебывала лишнего. Понять-то можно: жизнь у нее нелегкая была, да только опасная это привычка. Выпьет миссис Пул джина с водой и уснет крепким сном, а сумасшедшая дама (хитра она, говорят, была что твоя ведьма) вытащит у

нее ключи из кармана и давай бродить по дому, устраивать всякие пакости, какие ей в голову взбредут. Говорят, один раз чуть мужа в постели не сожгла, хотя поручиться не поручусь. Ну и в ту ночь она подожгла занавески в комнате рядом со своей, спустилась этажом ниже и забралась в комнату, где гувернантка прежде жила, — выходит, будто она соображала, откуда ветер дует, да и затаила на нее зуб. Забралась, да и подожгла кровать, да на счастье комната пустой стояла: гувернантка сбежала за два месяца до этого, и хоть мистер Рочестер ее разыскивал так, будто у него ничего дороже на свете нет, да все впустую. Ну он и осатанел, прямо осатанел из-за этого своего разочарования. Никогда прежде с ним такого не случалось, но как он ее потерял, к нему просто подойти нельзя было. И он совсем один остался. Миссис Фэрфакс, экономку, отослал куда-то к ее родне, но по-хорошему — большую пенсию ей положил. Ну да она заслужила, преотличная, значит, женщина! Мисс Адель, свою воспитанницу, отправил в пансион. Порвал знакомство со всеми соседями и заперся в доме будто отшельник.

— Как? Он не уехал из Англии?

— Уехал из Англии? Куда там! Он за порог дома не выходил. Только по ночам бродил по двору

и по саду что твое привидение, будто рассудка лишился. Думается мне, так оно и было. Ведь другого такого деятельного, смелого, умного джентльмена вы бы нигде не сыскали, сударыня, пока эта фитюлька-гувернантка не поступила ему наперекор. Он ведь вина, карт или там скачек особо не любил, не то что некоторые джентльмены, да и особым красавцем не был, а вот гордость имел и мужество, каких поискать. Я же его еще мальчиком знал, понимаете? И сколько раз жалел, что эта мисс Эйр в море не утопла, прежде чем в Тернфилд-Холл приехать.

— Значит, мистер Рочестер был дома, когда занялся пожар?

— Ну да. И все уже пылало и наверху, и внизу, а он поднялся на верхний этаж, разбудил всех слуг и самолично помог им спуститься, а потом вернулся, чтобы забрать сумасшедшую жену из ее комнаты. Но тут ему крикнули, что она на крыше. Стояла там, руками над зубцами парапета размахивала и так вопила, что ее за милю было слыхать. Я ее своими глазами видел и своими ушами слышал. Такая крупная женщина и с длинными черными волосами — мы видели в свете огня, как они колышутся. У нас на глазах мистер Рочестер выбрался на крышу из люка, и

мы услышали, как он крикнул: «Берта!» и пошел к ней. И тут, сударыня, она как завопит, как прыгнет! И вот уже лежит во дворе, разбившись.

— Мертвая?

— Мертвая, как плиты, по которым ее мозги и кровь разбрызгало.

— Боже великий!

— Оно так, сударыня, страшней некуда. — Он поежился.

— А что потом? — спросила я настойчиво.

— Что ж, сударыня, потом дом сгорел дотла. Только стены стоят.

— Кто-нибудь еще погиб?

— Да нет, хоть, может, оно бы и к лучшему было.

— Как так?

— Бедный мистер Эдвард! — воскликнул он. — Вот уж я не думал дожить до такого! Иные говорят, будто это ему кара за то, что скрыл свой брак и задумал взять вторую жену при живой первой. А мне его жаль, так-то жаль!

— Но вы говорите, он жив? — вскричала я.

— Да-да. Жив-то он жив, только многие думают, лучше бы ему умереть.

— Почему? Как же так? — Вновь кровь похолодела у меня в жилах. — Где он? — спросила я

резко. — В Англии?

— Вот-вот — в Англии. Думается, ему из Англии больше не уехать никогда.

Какая это была пытка! А старик, казалось, нарочно старался ее продлить.

— Ослеп он, — сказал он наконец. — Совсем ослеп, мистер Эдвард-то.

Я боялась худшего. Боялась, что он сошел с ума. У меня достало сил спросить, как произошло это несчастье.

— Да все его храбрость, ну и, можно сказать, его доброта. Не хотел выходить из дома, пока там хоть кто-нибудь оставался. Ну а как миссис Рочестер бросилась с парапета и он уже по парадной лестнице сбегал, раздался страшный грохот. Крыша провалилась. Его вытащили из развалин живым, но совсем искалеченным. Балка так упала, что немножко его прикрыла, да все равно один глаз повредило, а левую кисть так размозжило, что мистер Картер, лекарь, ее тут же и отнял. Уцелевший глаз воспалился, и он перестал им видеть. Теперь он совсем беспомощным стал — слепой калека.

— Но где он? Где он теперь живет?

— В Ферндине, в старом господском доме. Милях отсюда в тридцати. Совсем глухое место.

— А кто с ним?

— Старый Джон да его жена. Больше он никого к себе не допускает. Говорят, он совсем плох.

— У вас есть какой-нибудь экипаж?

— Коляска, сударыня. Преотличнейшая коляска.

— Распорядитесь, чтобы ее немедленно запрягли, и если ваш кучер успеет отвезти меня в Ферндин до сумерек, я заплачу ему и вам вдвое больше, чем вы обычно берете за такую поездку.

Глава 37

Господский дом в Ферндине был старинной постройки, не очень большим, без архитектурных ухищрений. Стоял он в глубине леса. Я знала про эту усадьбу. Мистер Рочестер часто ее упоминал, а иногда ездил туда. Купил усадьбу его отец, главным образом из-за прилегавших к ней охотничьих угодий. Дом он с удовольствием сдал бы в аренду, но никто не пожелал его снять из-за того, что места вокруг были глухие и нездоровые. Так Ферндин и стоял необитаемый и необмеблированный, если не считать двух-трех комнат, чтобы в охотничий сезон владельцу было где переночевать.

Вот к этому дому я и подошла, когда наступал вечер, помеченный хмурым небом, холодным ветром, моросящим дождем. Последнюю милю я прошла пешком, отпустив кучера с коляской и вручив ему обещанную двойную плату. Даже на очень близком расстоянии дом оставался невидимым, так тесно его обступили темные деревья угрюмого леса. Чугунные ворота между гранитными столбами подсказали мне, куда

идти. Миновав их, я сразу оказалась в глубоком сумраке под сплетающимися ветвями. Среди обомшелых стволов под сплетенными арками ветвями извивалась дорога. Я пошла по ней, ожидая вот-вот увидеть дом, но она убегала все дальше, дальше, и нигде никаких признаков обитаемого дома или ухоженного сада.

Я испугалась, что свернула не туда и заблудилась. Вокруг меня теперь смыкались не только лесные сумерки, но еще и вечерние. Я огляделась, не ответвляется ли другая дорога? Но нет! Кругом ничего, кроме густых кустов, колоннады стволов, пышной летней листвы, — нигде ни единого просвета.

Я пошла дальше. Наконец деревья впереди поредели, я увидела жердяную изгородь, а затем и дом, в полумраке почти не отличимый от деревьев, такими влажными и позеленелыми были его обветшалые стены. Войдя через калитку, запертую только на щеколду, я остановилась в огороженном пространстве, окруженном полукольцом леса. Ни клумб, ни грядок — только лужайка, по краю которой вдоль угрюмой стены леса тянулась усыпанная гравием дорожка. Фасад дома завершали две выступающие мансарды; окна были узкие с частым переплетом. Входная

дверь тоже была узкой и лишь на одну ступеньку выше земли. Да, хозяин «Герба Рочестеров» был прав: «совсем глухое место». И тишина — будто в церкви в будний день. Только слышно было, как капли дождя шуршат в лесной листве.

«Неужели тут кто-то живет?» — спросила я себя.

Но кто-то тут жил. Потому что до меня донесся скрип и узкая дверь начала отворяться: кто-то намеревался выйти из дома.

Очень медленно дверь открылась, в сумрак вступила неясная фигура и остановилась на ступеньке. Мужчина без шляпы. Он протянул ладонь, словно проверяя, идет ли дождь. Я узнала его и в полумраке. Это был мой патрон, Эдвард Фэрфакс Рочестер, и никто другой.

Я замерла на месте, затаила дыхание, устремила на него взгляд, чтобы рассмотреть его, оставаясь незамеченной и для него, увы, невидимой. Встреча была внезапной, и восторг обуздывался болью. Мне не составило труда удержаться от восклицания, не броситься к нему сразу же.

Фигура его выглядела такой же мощной и прямой, как прежде. Плечи не горбились, волосы сохранили свой цвет воронового крыла. Не осунулось и его лицо, не запали щеки. Ни-

какие страдания не могли за год истощить его атлетические силы, изменить гордую осанку. Но выражение его лица стало иным, полным угрюмого отчаяния, точно у дикой птицы в клетке или у вольного могучего зверя за железной решеткой, опасного для всякого, кто посмеет потревожить его безысходную тоску. Да, плененный орел, чьи темно-золотые глаза жестокая рука ослепила навсегда, мог бы выглядеть, как этот незрячий Самсон.

Читатель, не думаешь ли ты, что меня испугала его слепая свирепость? Если так, то ты плохо меня знаешь. К моей печали примешалась сладкая надежда, что скоро я осмелюсь запечатлеть поцелуй на этом гранитном лбу, на этих столь сурово сомкнутых губах. Но не сейчас. Пока еще я не подойду к нему.

Он сошел с единственной ступеньки и, осторожно переставляя ноги, медленно побрел в сторону лужайки. Куда исчезла его былая гордая и быстрая походка? Потом он остановился, словно не зная, в какую сторону повернуть. Он откинул голову, раскрыл веки и с усилием, незряче уставился на небосвод, потом повернулся в сторону темного полукруга деревьев. Но, увы, я понимала, что для него повсюду был лишь нагромождаемый

мрак. Он протянул правую руку (левая, лишенная кисти, была спрятана за бортом сюртука). Казалось, он пытается на ощупь узнать, что находится перед ним, но его пальцы встретили лишь пустоту — до ближайших деревьев оставался еще десяток шагов. Отказавшись от этой попытки, он скрестил руки на груди и продолжал молча и неподвижно стоять под дождем, который, усилившись, хлестал по его непокрытой голове. Тут откуда-то к нему приблизился Джон.

— Вы не обопретесь на мою руку, сэр? — спросил он. — Дождь-то всерьез зарядил. Может, лучше в дом вернетесь?

— Оставь меня в покое, — был ответ.

Джон ушел, не заметив меня. Мистер Рочестер вновь попытался пойти дальше, но почти тут же отказался от этого намерения и ощупью вернулся в дом, закрыв за собой дверь.

Теперь к ней направилась я и постучала. Мне открыла Мэри, жена Джона.

— Мэри! — сказала я. — Здравствуйте!

Она вздрогнула, словно узрев привидение.

Я поспешила ее успокоить, и в ответ на ее сбивчивое: «Это и правда вы, мисс? В такой поздний час, да еще лесом!» пожала ей руку и последовала за ней на кухню, где Джон уже сидел у жарко

пылающего огня.

В двух словах я объяснила им, что знаю обо всем случившемся после того, как я покинула Тернфилд, и добавила, что хочу увидеть мистера Рочестера. Я попросила Джона сходить за моим сундучком на дорожную заставу, где я отпустила коляску, а затем, снимая шляпку и шаль, осведомилась у Мэри, найдется ли для меня место переночевать здесь. Она ответила утвердительно, хотя и с некоторым сомнением. Я объявила, что остаюсь, и тут в гостиной зазвонил колокольчик.

— Когда войдете, — сказала я, — доложите вашему хозяину, что с ним хотят поговорить, но меня не называйте.

— Не думаю, что он вас примет, — сказала она. — Он до себя никого не допускает.

Когда она вернулась, я осведомилась, что он ответил.

— Велел, чтобы вы сказали свое имя и какое у вас к нему дело.

С этими словами она поставила на поднос стакан с водой и свечи.

— Он поэтому и звонил?

— Да. Когда темнеет, он всегда свечи требует, хоть ничего не видит.

— Дайте мне поднос. Я отнесу.

Я забрала у нее поднос, и она проводила меня до двери гостиной. Поднос у меня в руках дрожал, вода расплескалась, сердце громко стучало. Мэри открыла дверь передо мной и закрыла ее, когда я вошла.

Комната выглядела мрачной. Огонь в камине еле теплился, а над ним, прижимаясь лбом к высокой старомодной каминной полке, нагибался слепой обитатель дома. Сбоку лежал его старый пес Лоцман, свернувшись в тугой клубок, будто опасаясь, как бы на него ненароком не наступили. Когда я вошла, Лоцман навострил уши, потом тявкнул, вскочил и радостно прыгнул ко мне, чуть не выбив поднос у меня из рук. Я опустила поднос на стол, потрепала пса по спине и шепнула: «Лежать!»

Мистер Рочестер машинально обернулся взглянуть, что происходит, но тут же со вздохом вновь нагнулся к огню.

— Подайте мне воду, Мэри, — сказал он.

Я подошла к нему со стаканом, полным теперь только до половины. Лоцман, не угомонившись, прыгнул за мной.

— В чем дело? — спросил мистер Рочестер.

— Лежать, Лоцман! — снова шепнула я, и рука мистера Рочестера, взявшая стакан, повисла в

воздухе. Он будто прислушивался к чему-то. Потом выпил воды и поставил стакан.

— Это же вы, Мэри?

— Мэри на кухне, — сказала я.

Он быстро протянул руку, но не коснулся меня, так как не мог определить, где я стою.

— Кто это? Кто это? — требовательно повторял он и, казалось, принуждал свои незрячие глаза увидеть (какая тщетная душераздирающая попытка!). — Отвечайте мне! Говорите же! — властно приказал он.

— Принести вам еще воды, сэр? А то я наполовину ее расплескала, — сказала я.

— Да кто же это? Кто? Кто говорит?

— Лоцман меня знает, Мэри и Джон знают, что я здесь. Я только что пришла.

— Боже Великий! Какой обман чувств играет со мной? Какое сладкое безумие охватило меня?

— Никакого обмана чувств, никакого безумия. Ваш ум слишком могуч, чтобы поддаться обману, и слишком здоров, чтобы уступить безумию.

— Но где та, что говорит? Или это бестелесный голос? Да, увидеть я не могу, но я должен прикоснуться, иначе у меня разорвется сердце и разрушится мозг! Кем бы, чем бы ты ни была, дай коснуться себя, или я умру!

Он протянул руку, я перехватила ее и сжала в моих обеих.

— Ее пальцы! — вскричал он. — Ее нежные тонкие пальчики! А раз так, то здесь и она сама.

Сильная рука вырвалась из плена, схватила меня за локоть, за плечо, обвила мне шею, талию и привлекла к его груди.

— Это Джейн? Кто… что это? Ее фигура, ее рост…

— И ее голос, — добавила я. — Она вся здесь. Как и ее сердце. Бог да благословит вас, сэр! Я так рада снова быть с вами!

— Джейн Эйр! Джейн Эйр! — Вот все, что он сказал.

— Мой любимый патрон, — ответила я. — Да, я Джейн Эйр. Я нашла вас, я вернулась к вам.

— Поистине? Во плоти? Моя живая Джейн?

— Вы прикасаетесь ко мне, сэр, вы обнимаете меня — и очень крепко. Я ведь не холодна, как труп, не бесплотна, как воздух?

— Моя живая любовь! Да, это ее плечи, ее лицо, но я не могу быть так вознагражден за все мои горести! Это сон, как те, что я вижу по ночам, когда вновь прижимал ее к сердцу — вот так. И целовал — вот так, и чувствовал, что она любит меня, и верил, что она больше никогда со мной

не расстанется!

— И не расстанусь, сэр. С этого дня я всегда буду с вами.

— Всегда со мной? Но вот я проснусь, как просыпался всегда, и слова эти обернутся горькой насмешкой! Сколько раз я оставался брошенным на волю отчаяния! Моя жизнь была все такой же темной, одинокой, безнадежной, моя душа изнывала от жажды, но ей было не дано испить, мое сердце терзал голод, и ничто его не утоляло. Милая, нежная, сонная греза, льнущая ко мне сейчас, ты тоже улетишь, подобно всем твоим сестрам до тебя, но прежде поцелуй меня, обними меня, Джейн.

— Вот, сэр! И вот!

Я прижала губы к его прежде таким сверкающим, а теперь таким неподвижным глазам, откинула волосы с его лба и поцеловала этот лоб.

Мистер Рочестер словно очнулся, поверил, что все это — наяву.

— Это ты? Правда, Джейн? Значит, ты вернулась ко мне?

— Да.

— И не лежишь мертвой в канаве или на дне какой-нибудь речки? И не влачишь свои дни

всеми отверженная, тоскуя среди чужих людей?

— Нет, сэр. Я теперь независимая женщина.

— Независимая? Как так, Джейн?

— Мой дядя, живший на Мадейре, скончался и оставил мне пять тысяч фунтов.

— А, деньги! Значит, это явь! Подобное мне никогда бы не пригрезилось. А к тому же этот ее особый голосок, не просто нежный, но полный веселого лукавства и такой бодрящий! Он оживляет мое засохшее сердце, воскрешает его… Так ты теперь независимая женщина, Дженет? Богатая?

— Да, богатая, сэр. Если вы не разрешите мне жить у вас, я построю себе дом дверь в дверь с вашим, чтобы вы могли приходить ко мне в гостиную скоротать вечерок, когда соскучитесь по моему обществу.

— Но раз ты богата, Джейн, то теперь у тебя, конечно, есть друзья, которых заботит твоя судьба, и они не потерпят, чтобы ты посвятила себя такому слепому калеке, как я.

— Я сказала вам, сэр, что я независимая женщина, а не просто богатая. Я сама себе хозяйка.

— И ты останешься со мной?

— Конечно. Если только вы не будете возражать. Я буду вашей сиделкой, экономкой. Как вижу, вы одиноки. Я буду вашей компаньонкой,

буду читать вам, гулять с вами, сидеть подле вас, служить вам. Буду вашими глазами и руками. Прогоните свою меланхолию, милый патрон! Пока я жива, вы не останетесь один.

Он ничего не ответил. Лицо у него стало сосредоточенным, очень серьезным. Он было открыл рот, собираясь что-то сказать, и вновь закрыл. Мне стало не по себе. Быть может, я поступила опрометчиво, не посчитавшись с условностями? И он, подобно Сент-Джону, счел такое пренебрежение к ним неприемлемым? Ведь я говорила в убеждении, что он попросит меня стать его женой, что он хочет этого: меня поддерживала уверенность, пусть невысказанная, но от этого не менее твердая, что он не медля назовет меня своей. Но он молчал, его лицо становилось все более сумрачным, и я вдруг спохватилась, что могла ошибиться, что, возможно, невольно поставила себя в глупое положение. И я начала потихоньку высвобождаться из его объятий, но он поспешно вновь притянул меня к своей груди.

— Нет-нет, Джейн, не уходи! Нет! Я обнял тебя, слышал твой голос, черпал отраду из твоей близости, из нежности твоих утешений. Я не могу отказаться от этого счастья, когда для меня все черно. Ты должна быть моей! Пусть смеется

свет, пусть называет меня безумцем, эгоистом — пусть! Это не имеет значения. Самая моя душа жаждет тебя. И либо обретет то, чего ищет, либо смертельно отомстит своей бренной оболочке.

— Так, сэр, я же останусь с вами. Я ведь уже сказала это.

— Да, но под этим ты понимаешь одно, а я совсем другое. Возможно, ты решишь остаться при мне — ухаживать за мной, как добрая сиделочка (ведь у тебя нежное сердечко и благородная душа, и они пробуждают в тебе желание жертвовать собой ради тех, кого ты жалеешь!). Без сомнения, мне следовало бы удовлетвориться этим. Полагаю, теперь я должен питать к тебе лишь отеческие чувства? Ты так думаешь? Не молчи же, ответь мне!

— Думать я буду так, как пожелаете вы, сэр. Если вы полагаете, что мне следует быть только вашей сиделкой, я буду довольна и этим.

— Но вечно оставаться моей сиделкой, Дженет, ты не можешь. Рано или поздно ты выйдешь замуж.

— Замужество меня не привлекает.

— Напрасно, Дженет! Будь я прежним, то заставил бы тебя переменить мнение, но… слепой калека!

Он вновь помрачнел. А я, напротив, повеселела и ободрилась. Его последние слова объяснили мне, в чем заключалась трудность. А так как для меня этой трудности не существовало, то я с радостью забыла про недавнее смущение и возобновила разговор уже в шутливом тоне.

— Пора вернуть вам человеческий облик, — сказала я, приглаживая его густые, давно не подстригавшиеся волосы. — Как погляжу, вы мало-помалу превращаетесь не то во льва, не то еще в какого-то не менее дикого зверя. Так или не так, но, во всяком случае, вы напоминаете Навуходоносора среди зверей полевых. Волосы у вас смахивают на орлиные перья, хотя насколько ваши ногти уже превратились в птичьи когти, судить пока не берусь.

— Эта моя рука осталась не только без ногтей, но и без пальцев, — сказал он, показывая мне свою изувеченную руку. — Жалкий обрубок… омерзительное зрелище… ты согласна, Джейн?

— Смотреть на нее грустно. Как и на ваши глаза, и на след ожога на вашем лбу. Но куда грознее опасность полюбить вас за них еще сильнее и совсем избаловать.

— Я думал, моя рука, шрамы на моем лице внушат тебе отвращение, Джейн.

— Вот как! Не говорите мне этого, не то я скажу что-нибудь обидное о вашей проницательности. А теперь разрешите покинуть вас на минуту. Надо распорядиться, чтобы в огонь подкинули дров и прочистили решетку. Вы способны видеть пылающий огонь?

— Да, правым глазом я различаю сияние — багровый отсвет.

— И свечи видите?

— Очень смутно. Каждая будто светящееся облачко.

— А меня?

— Нет, моя фея. Но я бесконечно рад, что могу слышать тебя, прикасаться к тебе.

— Когда вы ужинаете?

— Я не ужинаю.

— А сегодня будете! Я голодна, как, наверное, и вы. Только вы об этом забываете.

Позвав Мэри, я вскоре навела в комнате некоторый уют. И кроме того, приготовила для него недурной ужин. Мной владело радостное волнение, и я свободно и весело разговаривала с ним, пока мы ели и еще долго после того, как Мэри убрала со стола. С ним не нужно было все время сдерживаться, подавлять веселость и живость. С ним я чувствовала себя совершенно непринуж-

денно, так как знала, что ему хорошо со мной. Все, что я говорила или делала, казалось, либо ободряло его, либо приводило в более легкое настроение. Какое восхитительное чувство! Моя натура расцветала в лучах его близости. Он вдыхал в меня жизнь, как и я в него. Слепота не препятствовала улыбкам играть на его губах, лбу — разглаживаться, выражению лица — смягчиться и потеплеть.

После ужина он засыпал меня вопросами, где я жила все это время, что делала, как отыскала его. Но я отвечала коротко — час для подробного рассказа был слишком поздний. К тому же я не хотела касаться струн его сердца, вновь пробуждать бурю чувств. Пока моей единственной целью было ободрить его, и, как я уже упоминала, мне это удавалось — хотя лишь время от времени. Стоило наступить паузе, как он тревожно притрагивался ко мне и говорил «Джейн?».

— Ты правда принадлежишь людскому племени, Джейн? Ты в этом уверена?

— Убеждена, мистер Рочестер.

— Однако каким таким образом могла ты в этот темный и ненастный вечер вдруг появиться возле моего одинокого очага? Я протягиваю руку, чтобы взять стакан воды у служанки, а его

мне даешь ты. Я задаю вопрос, ожидая, что мне ответит жена Джона, а рядом со мной раздается твой голос.

— Просто вместо Мэри с подносом вошла я.

— И даже самый этот час, который я провожу с тобой, таит в себе волшебство. Кто был бы способен поведать, какую темную, унылую, безнадежную жизнь влачил я все эти месяцы? Ничего не делая, ничего не ожидая, не различая дней и ночей. Ничего не чувствуя, кроме холода, когда камин угасал, и голода, когда забывал поесть. И еще — неизбывную печаль и порой горячечное желание вновь увидеть мою Джейн. Да, ее возвращения я жаждал даже более, чем моего утраченного зрения. Так как же может Джейн вдруг оказаться здесь со мной? И говорить, что любит меня? Конечно, она исчезнет столь же внезапно, как появилась. Завтра, боюсь, ее не будет здесь.

Я решила, что успешнее всего перебьет эти тревожные мысли и успокоит его какая-нибудь самая простая и житейская фраза. Я провела пальцем по его бровям и сказала, что они опалены. И что я знаю мазь, которая поможет им снова стать такими же широкими и черными, как прежде.

— Какой смысл, благой дух, что-то делать для

меня, когда в роковую минуту ты меня вновь покинешь? Исчезнешь, куда и как, мне неведомо? И останешься вовеки недостижимой для меня?

— У вас при себе нет гребня, сэр?

— Для чего, Джейн?

— Да расчесать вашу спутанную черную гриву. Когда я гляжу на вас с близкого расстояния, вы меня немножко пугаете. Вот вы говорите, что я фея, но сами вы, по-моему, больше похожи на гоблина.

— Я так безобразен, Джейн?

— Даже очень. Ну, совсем как раньше.

— Хм! Где бы ты ни жила все это время, злоехидство тебя не покинуло.

— Однако я жила с очень хорошими людьми, куда лучше вас! В сто раз лучше. С высокими идеалами и взглядами, о каких вы и понятия не имеете! Куда более утонченными и возвышенными, чем доступны вам!

— С кем, черт возьми, ты была?

— Если вы будете так вертеться, я выдеру у вас клок волос, и уж тогда-то вы уверуете в мою материальность!

— С кем ты была, Джейн?

— Сегодня вы этого не услышите, сэр. Погодите до завтра. То, что моя история окажется

рассказанной лишь наполовину, послужит ручательством, что я появлюсь к завтраку досказать ее. Кстати, постараюсь не возникнуть у вашего очага с одним стаканом воды на подносе. Мне следует принести хотя бы яйцо всмятку, не говоря уж о жареной ветчине.

— Ах ты, насмешливое отродье фей, подброшенное на воспитание людям! Ты возвращаешь мне способность чувствовать, вот уж год как забытую. Если бы ты была с Саулом вместо Давида, то для изгнания злого духа арфа не понадобилась бы.

— Ну вот, сэр, теперь у вас вид аккуратный и приличный. А сейчас я вас покину. Последние три дня я провела в пути и, мне кажется, подустала. Спокойной ночи.

— Еще только одно слово, Джейн! В том доме, где ты жила, никого, кроме женщин, не было?

Я засмеялась и продолжала смеяться, пока взбегала по лестнице наверх.

«Отличная мысль! — решила я не без злорадства. — Как вижу, у меня есть средство развеивать его меланхолию, и на ближайшее время его будет достаточно».

Рано поутру я услышала, что он встал и бродит из комнаты в комнату. Едва Мэри сошла вниз, как до меня донесся вопрос: «Мисс Эйр здесь?», а

затем: «В какую комнату вы ее поместили? Стены там сухие? Она встала? Пойдите спросите, не надо ли ей чего-нибудь. И когда она спустится?»

Спустилась я, как только решила, что пора заняться завтраком. Бесшумно войдя в гостиную, я смогла увидеть его до того, как он обнаружил мое присутствие. Как больно было наблюдать, насколько телесная немощь поработила этот могучий дух! Он неподвижно сидел в кресле — но не отдыхая, а в видимом ожидании. Сильное лицо избороздили морщины долгой скорби. Оно казалось погасшей лампой, которая ждет, чтобы ее снова зажгли. Но — увы! — сам он не мог теперь озарить свои черты блеском оживления и зависел в этом от кого-то другого! Я намеревалась быть веселой и беззаботной, но беспомощность сильного человека поразила меня в самое сердце. Тем не менее я заговорила с ним таким беззаботным тоном, какой сумела придать своему голосу.

— Утро ясное, солнечное, сэр, — сказала я. — Дождь давно перестал, и тучи рассеялись. Все такое свежее и умытое! Скоро вы отправитесь на прогулку.

Я вернула свет его чертам: они просияли.

— Ты правда здесь, мой жаворонок! Подойди же ко мне! Ты не скрылась, не исчезла? Час назад

я слышал, как высоко над лесом распевал твой родич. Но его песня для меня так же лишена музыки, как восходящее солнце — лучей. Для меня вся музыка земли сосредоточена в устах моей Джейн (хорошо, что они не молчаливы от природы!), весь мой солнечный свет — это ее присутствие.

Такое признание своей зависимости вызвало слезы на мои глаза: будто царственный орел, прикованный к тонкой жердочке, был вынужден просить воробушка быть его защитником и питателем.

Прочь слезливость! Я смахнула с лица соленые капли и занялась приготовлением завтрака.

Почти все утро мы провели на воздухе. Я вывела его из сырого дремучего леса на веселые луга. Я описывала ему, как ярко они зеленеют, какими освеженными выглядят цветы и живые изгороди, как бездонна голубизна небес. В прелестном уголке я нашла ему сиденье — широкий сухой пень. А когда он сел и привлек меня к себе на колени, я не воспротивилась. Зачем? Если и ему, и мне равно хотелось быть как можно ближе друг к другу? Лоцман улегся рядом с нами, кругом царили тишина и покой.

Внезапно он крепче сжал меня в своих объятиях и заговорил со страстностью:

— Жестокая, жестокая беглянка! Ах, Джейн, что я пережил, когда обнаружил, что ты покинула Тернфилд, что тебя нигде нет, а осмотрев твою комнату, понял, что ты не взяла с собой денег и ничего ценного, что могла бы продать! Подаренное мной жемчужное ожерелье покоилось в своем футляре, твой багаж стоял упакованный для свадебного путешествия, по-прежнему запертый и перевязанный ремнями. Что будет с моей любимой? — спрашивал я себя, — без денег, без крова над головой? Так что же с ней было? Расскажи!

Подчинившись, я начала рассказывать о том, что произошло со мной за этот год, постаравшись как можно меньше касаться подробностей первых трех дней скитаний и голода. Ведь открыть все значило причинить ему ненужные страдания. Даже то немногое, что он услышал, ранило его любящее сердце глубже, чем мне хотелось бы.

Мне не следовало, твердил он, бежать от него без всяких средств к существованию. Я должна была открыть ему свое намерение, должна была довериться ему. Он ни за что не принудил бы меня стать его любовницей. Каким необузданным ни выглядел он в своем отчаянии, он слишком

сильно, слишком нежно любил меня и не смог бы быть моим тираном. Он отдал бы мне половину своего состояния, не потребовав взамен даже поцелуя, лишь бы я не отправилась скитаться по белому свету без друзей и поддержки. Он уверен, что я натерпелась куда больше, чем призналась ему.

— Ну, какими бы ни были мои страдания, длились они очень недолго, — ответила я и перешла к тому, как меня приняли в Мур-Хаусе, как я стала деревенской учительницей и прочее. Дошел черед и до того, как я внезапно узнала о своем наследстве и обрела родственников. Разумеется, в моем рассказе часто упоминался Сент-Джон Риверс. И когда я завершила повествование, он тотчас вернулся к этому имени.

— Так, значит, этот Сент-Джон твой кузен?

— Да.

— Ты все время о нем говорила. Он тебе нравится?

— Он очень хороший человек, сэр, и не может не нравиться.

— Хороший человек? Подразумевает ли это почтенного, солидного мужчину пятидесяти лет?

— Сент-Джону только двадцать девять лет, сэр.

— «Jeune encore»,[66] как говорят французы. Он небольшого роста, флегматичен и некрасив? Человек, который слывет хорошим более потому, что не предается порокам, а не потому, что блещет добродетелями?

— Он на редкость деятелен и ставит себе самые благородные и возвышенные цели.

— Но его ум? Вероятно, невелик? Намерения у него наилучшие, однако, слушая его, люди пожимают плечами?

— Говорит он мало, сэр, но то, что он говорит, всегда уместно. Он очень умен, и ум его хотя и не податлив, но первой величины.

— Значит, он талантливый человек?

— Истинно талантливый.

— И отлично образованный?

— Сент-Джон широко осведомлен в самых разных областях и очень учен.

— Мне кажется, ты упомянула, что его манера держаться не в твоем вкусе? Чопорная и ханжеская?

— Я не упоминала про его манеру держаться. Но у меня был бы очень дурной вкус, если бы она мне не нравилась. Он держится любезно и

---

[66] Примечания: 66
Еще достаточно молод (фр.).

спокойно, как истинный джентльмен.

— Его внешность… Я забыл, что ты говорила о его внешности. Неотесаный деревенский попик, полузадушенный белым шарфом, грохочущий сапогами на толстой подошве?

— Сент-Джон одевается безупречно. И очень красив. Высокий, белокурый, с голубыми глазами и греческим профилем.

(В сторону.) — Черт бы его побрал! (Мне.) — Тебе он нравился, Джейн?

— Да, мистер Рочестер, он мне нравился. Но вы меня об этом уже спрашивали.

Разумеется, я сразу поняла, куда он клонит. Им овладела ревность, она жалила его. Но ему ее укусы были только полезны, так как отвлекали от тягостной меланхолии. А потому я не стала тут же зачаровывать эту змею.

— Быть может, мисс Эйр, вы предпочтете больше не сидеть у меня на коленях? — последовал неожиданный вопрос.

— Но почему, мистер Рочестер?

— Портрет, который вы сейчас набросали, указывает на слишком уж большой контраст. Ваши слова весьма мило нарисовали изящнейшего Аполлона. Он живет в вашем воображении — высокий, белокурый, голубоглазый да еще с

греческим профилем. А ваши глаза сейчас устремлены на Вулкана, всего лишь кузнеца, смуглого, коренастого, а вдобавок слепого и безрукого.

— Мне раньше как-то в голову не приходило, сэр, но вы и правда похожи на Вулкана.

— Ну так можете покинуть меня, сударыня, но прежде, — тут он обнял меня даже еще крепче, — извольте ответить мне на вопрос-другой.

Он помолчал.

— Так на какие вопросы, мистер Рочестер?

И вот тут начался подлинный допрос.

— Сент-Джон предложил тебе место учительницы в Мортоне до того, как узнал, что ты его кузина?

— Да.

— Значит, ты часто его видела? Он иногда посещал школу?

— Ежедневно.

— Он одобрял планы твоих уроков, Джейн? Я знаю, они были превосходными, ты ведь очень талантлива.

— Он одобрял их. Да.

— И открыл в тебе много такого, чего не ожидал? Ведь некоторые твои способности — большая редкость.

— Этого я не знаю.

— Ты говоришь, что жила в хижине при школе. Он навещал тебя там?

— Иногда.

— По вечерам?

— Раза два.

Пауза.

— Как долго ты жила с ним и с его сестрами после того, как вы узнали о своем родстве?

— Пять месяцев.

— Риверс проводил с вами тремя много времени?

— Да. Вторая гостиная служила кабинетом для его занятий и наших. Он сидел у окна, а мы за столом.

— Он отдавал много времени занятиям?

— Порядочно.

— Что он изучал?

— Хиндустани.

— А чем тем временем занималась ты?

— Сначала немецким.

— Тебя учил он?

— Он не знает немецкого.

— Так он тебя ничему не учил?

— Немножко хиндустани.

— Риверс учил тебя хиндустани?

— Да, сэр.

— И своих сестер тоже?

— Нет.

— Только тебя?

— Только меня.

— Ты попросила его об этом?

— Нет.

— Он сам захотел учить тебя?

— Да.

Вторая пауза.

— Почему ему вздумалось учить тебя? Для чего тебе хиндустани?

— Он хотел, чтобы я поехала с ним в Индию.

— А! Вот я и докопался до сути. Он хотел жениться на тебе?

— Он попросил меня выйти за него замуж.

— Это вздор, дерзкая выдумка, чтобы меня помучить!

— Прошу прощения, это чистая правда: он предлагал мне свою руку не один раз и в настойчивости не уступал вам.

— Мисс Эйр, повторяю, вы можете меня покинуть. Сколько раз мне твердить одно и то же? Почему вы продолжаете упрямо ютиться на моем колене, когда я предупредил вас, что вы должны его освободить?

— Потому что мне очень удобно сидеть так.

— Нет, Джейн, ничего подобного, потому что твое сердце не здесь, со мной, а там, с этим твоим кузеном, с этим Сент-Джоном. О, до этой минуты я думал, что моя маленькая Джейн совсем моя! Я верил, что она любила меня, даже покинув: это была единственная капля сладости в море горечи. Как ни долга была наша разлука, как ни жгучи слезы, которые я проливал из-за нее, я не подозревал, что она, пока я тоскую без нее, — она любит другого! Но что толку горевать. Джейн, оставь меня. Отправляйся к Риверсу, выходи за него замуж.

— Так стряхните меня с колен, сэр. Оттолкните, потому что по доброй воле я от вас не уйду.

— Джейн, меня всегда пленял твой голос, и вот сейчас он вновь возрождает надежду, так правдиво он звучит! Когда я его слышу, то переношусь в прошлое, на год назад. Я забываю, что ты связала себя новыми узами… Но я не глупец… Уезжай!

— Куда прикажете мне уехать, сэр?

— Ты нашла свой путь… с мужем. Которого ты избрала.

— Кто это?

— Ты знаешь. Сент-Джон Риверс.

— Он мне не муж и никогда им не будет. Он меня не любит, я не люблю его. Любит он (так,

как способен любить, только его любовь — не ваша любовь) юную красавицу Розамунду. На мне он хотел жениться только потому, что видел во мне жену, подходящую для миссионера, чего о Розамунде сказать никак нельзя. Он добродетелен, высок духом, но безжалостно суров, а со мной — холоднее айсберга. Он не похож на вас, сэр. Рядом с ним я не чувствую себя счастливой, ни вблизи от него, ни с ним. У него нет ко мне тепла, привязанности. Он не видит во мне ничего привлекательного, даже юности — ничего, кроме некоторых способностей, которые были бы полезны в его деятельности. Так, значит, я должна уехать от вас, сэр, к нему?

Я невольно вздрогнула и инстинктивно теснее прильнула к моему слепому, но любимому патрону. Он улыбнулся.

— Как, Джейн! Неужели это правда? И твои отношения с Риверсом именно такие?

— Именно, сэр. У вас нет никаких причин ревновать! Я просто хотела вас немного подразнить, отвлечь от тоски. Мне кажется, гнев все-таки лучше печали. Но если вы хотите знать, люблю ли я вас, то, откройся вам, как сильно я вас люблю, вы забыли бы о своих тревогах. Мое сердце целиком ваше, сэр, оно принадлежит вам и останется с

вами, даже если судьба навеки прогонит меня от вас.

Он поцеловал меня, но его лицо вновь омрачили тягостные мысли.

— Мои ослепшие глаза! Моя искалеченная сила! — скорбно прошептал он.

Я поцеловала его, стараясь утешить. Я понимала, о чем он думает, но не осмеливалась заговорить. Он отвернул лицо, но я заметила, как из-под сомкнутых век выкатилась слеза и заскользила по смуглой щеке. Мое сердце готово было разорваться.

— Я не лучше старого разбитого молнией каштана в тернфилдском саду, — сказал он затем со вздохом. — Какое право было бы у разбитого ствола ждать, чтобы юная жимолость скрыла своей зеленью его немощь?

— Вы не разбитое молнией дерево, сэр! Вы сохраняете свою мощь, свою листву. Вокруг ваших корней пробьются ростки, и не потому, что вы призовете их, но потому, что манит ваша щедрая тень. И они потянутся к вам и обовьются вокруг вас, ведь ваша сила послужит им надежнейшей опорой!

Вновь он улыбнулся — мои слова поддержали его.

— Ты имеешь в виду друзей, Джейн?

— Да, друзей, — ответила я нерешительно, так как знала, что подразумевала нечто большее, но не посмела употребить другое слово. Но он помог мне.

— Но, Джейн, мне нужна жена.

— Да, сэр?

— Да. Для вас это новость?

— Разумеется. Вы раньше об этом не упоминали.

— Такая новость вам неприятна?

— Это зависит от обстоятельств, сэр. От вашего выбора.

— Его за меня сделаешь ты, Джейн. Я подчинюсь твоему решению.

— В таком случае, сэр, выберите ту, кому вы дороже всего.

— Ну, по крайней мере я выберу ту, кто мне дороже всего. Джейн, ты станешь моей женой?

— Да, сэр.

— Женой бедного слепого, которого тебе придется водить за руку?

— Да, сэр.

— Правда, Джейн?

— Чистая правда, сэр.

— Любовь моя! Да благословит, да вознаградит

тебя Бог!

— Мистер Рочестер, если я хотя бы раз совершила в жизни хороший поступок, если когда-нибудь меня посещали благие мысли, если я когда-нибудь возносила искреннюю и бескорыстную молитву, если когда-нибудь стремилась к добродетели, то сейчас я получила свою награду сполна. Быть вашей женой — это высшее счастье, которое может быть мне даровано в этом мире.

— Потому что для тебя блаженство приносить жертвы.

— Жертвы! Чем я жертвую? Голодом ради пищи, ожиданием ради безмятежной радости. Обрести право обнимать того, кто мне дорог, целовать того, кого я люблю, опираться на того, кому доверяю, — это ли значит приносить жертвы? Если так, то приносить их для меня и правда блаженство.

— А также терпеть мою слепоту, Джейн, не замечать, что у меня нет руки.

— Что тут терпеть, сэр? Я люблю вас даже сильней теперь, когда могу вам быть полезной, чем в дни вашей надменной независимости, когда вы гордо не признавали для себя иной роли, кроме дарителя и защитника.

— До сих пор я не терпел, чтобы мне помогали,

чтобы меня водили за руку. Теперь это не будет меня угнетать. Мне не хотелось опираться на руку слуги, но совсем другое дело — чувствовать, как пальчики Джейн сжимают мои пальцы. Я предпочитал полное одиночество постоянному присутствию наемных служителей, но нежные заботы Джейн будут для меня вечной отрадой. Я нуждаюсь в Джейн. Но нуждается ли во мне Джейн?

— Всеми фибрами моего существа, сэр.

— Раз так, то чего же нам ожидать? Мы должны пожениться немедля.

В его выражении и голосе была живая настойчивость, в нем просыпалась былая пылкость.

— Мы должны стать едины. И без отсрочки, Джейн! Надо только получить специальное разрешение на брак, и мы тут же его заключим.

— Мистер Рочестер, я только что заметила, что солнце давно миновало зенит, а Лоцман уже убежал домой обедать. Позвольте я посмотрю на ваши часы.

— Прицепи их к своему поясу, Дженет, и не снимай. Мне они больше не нужны.

— Уже почти четыре часа, сэр! Вы не проголодались?

— Через три дня должна быть наша свадьба,

Джейн. Свадебный наряд и драгоценности теперь не нужны. Вся эта мишура — вздор!

— Солнце высушило дождевые капли, сэр. Ветер стих. Стало очень жарко.

— Знаешь, Джейн, твоя жемчужная нитка обвивает жилистую шею под моим шарфом. Я носил ее с того дня, как потерял мое единственное сокровище. В память о нем.

— Мы вернемся в дом по лесной тропинке, она такая тенистая!

Он продолжал говорить, не слушая меня:

— Джейн, полагаю, ты считаешь, что я закоренел в неверии, но в этот миг мое сердце переполняет благодарность милостивому Богу. Он видит не как видит человек, но несравненно яснее, Он судит не как судит человек, но несравненно мудрее. В заблуждении я готов был осквернить мой чистый цветок, запятнать дыханием греха его чистоту, и Всемогущий отнял его у меня. Я в моем упрямом бунтарстве почти проклял Его волю; вместо того чтобы склониться перед Его решением, я восстал на него. Божественное правосудие свершилось: одна за другой на меня посыпались беды. Я прошел Долиной Смерти. Грозны Его кары, и назначенная мне навеки научила меня смирению. Ты знаешь, я кичился своею силой, но

чего она стоит теперь, когда меня водят за руку точно малого ребенка? Лишь недавно, Джейн, совсем недавно, распознал я Руку Божью в моей роковой судьбе. И почувствовал сожаление, раскаяние, возжаждал примирения с моим Творцом. И возносил к нему молитвы. Очень короткие, но глубоко искренние.

Несколько дней назад, — продолжал он после паузы, — нет, я могу сказать совершенно точно: это было четыре дня назад, вечером в прошлый понедельник. Мое душевное состояние непонятно изменилось: исступление уступило место горю, угрюмость — печали. Мне давно казалось, что ты умерла, ведь я так и не сумел тебя отыскать. И вот в ту ночь, очень поздно (по-моему, это было между одиннадцатью и двенадцатью часами), перед тем как отойти к беспокойному сну, я вознес моление Богу поскорее послать мне смерть, если на то будет Его воля, и ввести меня в мир грядущий, где у меня есть надежда воссоединиться с Джейн. Я сидел у открытого окна моей спальни. Я не видел звезд, и лишь смутное пятно указывало на присутствие луны, но я вдыхал душистый ночной воздух, и это меня успокаивало. Как я томился по тебе, Дженет! Томился и душой, и телом! И я спросил Бога в муках и в смирении,

не достаточно ли долго терплю я отчаяние, боль, терзания и не дано ли мне будет вновь вкусить блаженство и покой. Я признал, что сполна заслужил свою кару, но сил терпеть и далее у меня не осталось. Я молил, молил, и невольно с моих губ сорвались слова — альфа и омега упований моего сердца: «Джейн! Джейн! Джейн!»

— Вы произнесли их вслух?

— Да, Джейн. Тот, кто услышал бы их, счел бы меня сумасшедшим, с таким неистовым отчаянием я их выкрикнул.

— И было это в прошлый понедельник перед полуночью?

— Да, но час не имеет значения. Важно то, что произошло дальше. Ты сочтешь меня суеверным, и это правда: некоторые суеверия всегда жили во мне. Однако так произошло на самом деле. Во всяком случае, я слышал то, о чем сейчас расскажу. Едва я воскликнул «Джейн! Джейн! Джейн!», как голос — не знаю, откуда он донесся, но я его узнал, — голос ответил: «Я иду! Подожди меня!», и мгновение спустя в шепоте ветра послышалось: «Где ты?» Попробую описать тебе, какую мысль, какую картину пробудили в моей душе эти слова, но так трудно выразить то, что я хотел бы выразить! Как ты видела, Ферндин окружен дремучим

лесом, где звуки замирают без отголосков. Но «Где ты?» раздалось будто среди холмов, потому что я услышал, как откликнулось эхо. И на мгновение ветерок, обдувавший мой лоб, показался мне гораздо более прохладным и сильным. Я мог бы вообразить, что мы с Джейн встретились вблизи диких и пустынных холмов. И я верю, что наши души встретились. В тот час ты, Джейн, несомненно, была погружена в сон, и, быть может, твоя душа покинула плотскую оболочку, чтобы принести утешение моей. Ибо голос был твоим. Клянусь жизнью, он был твоим!

Читатель, таинственный зов я услышала ночью в понедельник около полуночи и ответила на него именно этими словами. Я выслушала мистера Рочестера, но промолчала. Такое совпадение показалось мне слишком ошеломляющим и необъяснимым, чтобы поведать о нем, обсуждать его. Если бы я проговорилась, мой рассказ, несомненно, произвел бы глубокое впечатление на моего собеседника, а он из-за своих страданий слишком уж легко впадал в мрачность, и его следовало оберечь от лишнего воздействия сверхъестественного. И я промолчала, хотя сама продолжала размышлять об этой тайне.

— Теперь тебя перестанет удивлять, — продол-

жал мой патрон, — почему вчера вечером, когда ты столь внезапно оказалась рядом со мной, мне было так трудно поверить, что ты не просто голос, не бесплотное видение и не растворишься без следа в тишине, будто полуночный шепот и дальнее эхо, как было в тот раз. Теперь, благодарение Богу, я знаю, этого не случится. Да, я благодарю Бога.

Он снял меня с колен, встал и, благоговейно опустив долу незрячие глаза, замер в безмолвной молитве. Я расслышала только последние слова:

— Благодарю Творца моего, что, карая, Он не забыл о милосердии. И смиренно молю Искупителя моего дать мне силы впредь вести более чистую жизнь, чем я вел раньше.

Потом он протянул руку, чтобы опереться на мою. Я взяла эту любимую руку, на миг прижала к губам, а потом обвила ею мои плечи. Я ведь была настолько ниже его ростом, что могла служить ему не только поводырем, но и посохом. Мы вошли под свод леса и направились по тропинке к дому.

Глава 38
Заключение

Читатель, я вышла за него замуж. Церемония была самой скромной: в церкви были только мы с ним, священник и причетник. Когда мы вернулись из церкви, я пошла на кухню, где Мэри стряпала обед, а Джон чистил ножи, и сказала:

— Мэри, сегодня утром мы с мистером Рочестером поженились.

Экономка и ее муж оба принадлежали к тем порядочным флегматичным людям, которым в любое время можно сообщить самую ошеломляющую новость, не опасаясь, что твои уши пронзит визгливое восклицание, а затем оглушит многословный поток оханий и аханий. Мэри, правда, отвернулась от плиты и, правда, уставилась на меня. Правда, ложка, с помощью которой она поливала жиром пару жарящихся кур, минуты три висела в воздухе неподвижно, и ровно такой же срок ножи Джона не прикасались к точильному камню. Однако Мэри, вновь нагнувшись над своими курами, сказала только:

— Вот как, мисс? Подумать только!

Затем она продолжала:

— Я видела, как вы с хозяином уходили, да только не знала, что вы в церковь идете кольцами меняться.

И опять занялась курами. Джон, когда я посмотрела на него, ухмылялся до ушей.

— Я Мэри говорил, что так все и обернется, — сказал он, — я знал, что мистер Эдвард (Джон служил у Рочестеров еще в то время, когда его хозяин был младшим сыном, а потому часто называл его по имени, как тогда), я знал, что мистер Эдвард сделает. И уж времени зря терять не станет. А лучше он и придумать не мог, так мне сдается. Желаю вам счастья, мисс! — И он почтительно мне поклонился.

— Спасибо, Джон. Мистер Рочестер просил меня передать вам с Мэри вот это. — Я вложила ему в руку пятифунтовую банкноту и тут же покинула кухню. Проходя мимо двери этого святилища попозже, я услышала:

— Она ему больше подходит, чем какие ни на есть знатные барышни. — И далее: — Пусть она и не красавица писаная, да носа не задирает и сердцем добрая. А для него краше нее нету, сразу видно.

Я тут же написала в Мур-Хаус и в Кембридж,

сообщая о своем браке, и подробно объяснила, почему поступила так. Диана и Мэри от всего сердца меня поздравили, и Диана добавила, что приедет повидать меня сразу же, как кончится наш медовый месяц.

— Лучше ей не откладывать свой визит на такой долгий срок, Джейн, — заметил мистер Рочестер, когда я прочла ему письмо. — А не то она опоздает: ведь наш медовый месяц будет длиться до конца нашей жизни, и его счастье померкнет только над твоей или моей могилой.

Как принял это известие Сент-Джон, я не знаю, на мое письмо он не ответил. Однако через полгода он написал мне, хотя не упомянул ни про мистера Рочестера, ни про мой брак. Письмо его было спокойным и добрым, хотя и очень серьезным. С тех пор он поддерживает со мной постоянную, хотя и довольно редкую переписку: надеется, что я счастлива, и уповает, что я не из тех, кто живет в свете без Бога и помышляет лишь о земном и суетном.

Ты ведь не забыл малютку Адель, читатель? Я — нет. Очень скоро я попросила и получила у мистера Рочестера разрешение навестить ее в пансионе. Она так бурно обрадовалась, увидев меня, что я была растрогана. Выглядела она

бледной и худенькой и сказала, что ей тут плохо. Я убедилась, что правила этого пансиона были слишком строги, а курс обучения труден для девочки ее возраста. И тут же забрала ее домой, намереваясь вновь взять на себя обязанности ее гувернантки. Но это оказалось невозможным. Ведь все мои заботы, все мое время теперь требовались другому: они были необходимы моему мужу. Поэтому я подыскала пансион с более мягкими правилами и достаточно близко, чтобы почаще ее навещать, а иногда и брать домой погостить. Я следила, чтобы она никогда ни в чем не нуждалась. К новой школе она вскоре привыкла. Была там очень счастлива и делала большие успехи в учении. Со временем разумное английское воспитание избавило ее от большинства французских недостатков, и, когда она окончила курс, я нашла в ней милую, усердную помощницу — послушную, с добрым характером и с прочными нравственными началами. Своим благодарным вниманием ко мне и моим она давно полной мерой отплатила мне за то немногое, что было в моей власти сделать для нее.

Моя повесть приближается к концу. Несколько слов о моей семейной жизни, короткий взгляд на судьбы тех, чьи имена чаще всего встреча-

лись на этих страницах, — и мой рассказ будет завершен.

Я замужем уже десять лет. И знаю, что такое жить всецело ради того и с тем, кто тебе дороже всех на свете. Я считаю, что мне даровано высшее счастье, такое, какое невозможно выразить словами, ибо я — жизнь моего мужа, как и он — моя жизнь. Ни одна женщина не была ближе своему спутнику жизни, чем я, более кость от кости, плоть от плоти его. Общество моего Эдварда мне никогда не надоедает, а ему — мое, как не надоедает нам биение наших сердец, и поэтому мы всегда вместе. Быть вместе — это для нас одновременно и свобода одиночества, и радость общения. Мне кажется, мы разговариваем весь день напролет: разговаривать для нас — значит думать вслух, только с большей живостью и удовольствием. Я всецело полагаюсь на него, он всецело верит мне. Мы идеально подходим друг другу по характеру, и это рождает совершеннейшую гармонию.

Первые два года нашего брака мистер Рочестер оставался слепым. Быть может, именно это так нас сблизило, связало такими неразрывными узами! Ведь тогда я была его зрением, как до сих пор остаюсь его рукой. Я в буквальном смысле была (как он часто меня называл) зеницей его

ока. Он любовался природой, он читал книги через меня, и я никогда не уставала рисовать словами луг, дерево, город, реку, облако, солнечный луч — все-все, что окружало нас, чтобы звуки производили на его слух то впечатление, какое свет уже не мог подарить его глазам. Никогда я не уставала читать ему, никогда не уставала сопровождать туда, куда он хотел пойти, делать для него то, чего он пожелал бы. И все это было для меня наслаждением, хотя и грустным, но самым глубоким, самым сладостным, — потому что он пользовался моими услугами, не испытывая тягостного стыда или унижения. Он так истинно любил меня, что принимал их охотно. И чувствовал, что я люблю его безгранично, а потому попросить меня о чем-то значило исполнить мое заветнейшее желание.

Как-то утром на исходе этих двух лет, когда я писала письмо под его диктовку, он нагнулся надо мной и спросил:

— Джейн, у тебя на шее какое-то блестящее украшение?

Это была золотая цепочка с часиками, и я ответила утвердительно.

— И на тебе светло-голубое платье?

Да, мое платье было светло-голубым.

И тут он сказал мне, что уже некоторое время ему кажется, будто тьма перед его уцелевшим глазом становится менее плотной, и вот теперь он в этом убедился.

Мы с ним поехали в Лондон. Он прибегнул к помощи именитого окулиста, и в конце концов этот его глаз вновь обрел зрение. Нет, и теперь он видит не очень четко, не может подолгу читать или писать, однако находит дорогу без посторонней помощи, небо для него больше не черная бездна, а земля — не черная пустота. Когда ему на руки положили его первенца, он смог увидеть, что мальчик унаследовал его глаза — такие, какими они были прежде, — черные, большие и сверкающие. В эту минуту он вновь возблагодарил Бога, карающего, но и милосердного.

Итак, мой Эдвард и я счастливы, и наше счастье тем полнее, что те, кого мы особенно любим, тоже счастливы. Диана и Мэри Риверс обе вышли замуж и по очереди раз в год приезжают погостить у нас, а мы гостим у них. Муж Дианы — капитан военного корабля, бравый офицер и отличный человек. Мэри вышла за священника, университетского друга ее брата, вполне заслужившего эту дружбу и по своим дарованиям, и по своим принципам. Капитан Фицджеймс и мистер Уор-

тон любят своих жен и любимы ими.

Сент-Джон покинул Англию ради Индии. Он вступил на избранную им стезю и следует по ней до сих пор. Никогда еще столь мужественный пионер не пролагал дорогу среди диких скал и грозных опасностей. Твердый, верный, преданный, исполненный энергии и света истины, он трудится ради ближних своих, расчищает их тяжкий путь к спасению. Точно исполин, он сокрушает препятствующие им суеверия и кастовые предрассудки. Пусть он суров, пусть требователен, пусть даже все еще честолюбив, но суров он, как воин Великое Сердце, оберегающий вверившихся ему паломников от дьявола Аполлиона. Его требовательность — требовательность апостола, который повторяет слова Христа, призывая: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Его честолюбие — честолюбие высокой самоотверженной души, взыскующей обрести место в первом ряду спасенных — тех, кто непорочен стоит перед престолом Божьим, тех, кто разделит последние великие победы Агнца, тех, кто суть званые, и избранные, и верные.

Сент-Джон не женат и теперь уже не женится никогда. Труд его был по силам ему, а ныне труд

этот близок к завершению — его дивное солнце спешит к закату. Его последнее письмо исторгло у меня из глаз человеческие слезы и все же исполнило мое сердце божественной радости: ему уже мнится заслуженная награда, его нетленный венец. Я знаю, следующее письмо, начертанное рукой мне не известной, сообщит, что добрый и верный раб наконец призван был войти в радость господина своего. Так к чему лить слезы? Никакой страх не омрачит последний час Сент-Джона, ум его будет ясен, сердце исполнено мужества, надежда неугасима, вера тверда. Залогом тому его собственные слова.

«Мой Господин, — пишет он, — предупредил меня. Ежедневно Он возвещает все яснее: "Ей, гряду скоро!", и ежечасно все более жаждуще я отзываюсь: "Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!"»